

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ в воспоминаниях современников



МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ в воспоминаниях современников

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ в воспоминаниях современников

(1755 — 1917)

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1989

ББК74.58
М82

М82 **Московский университет в воспоминаниях современников:** Сборник/Сост. Ю. Н. Емельянов.— М.: Современник, 1989.— 735 с.— («Память»).

Эта книга посвящена истории Московского университета с 1755-го (начало основания) до 1917 года. Представленная мемуарами его воспитанников, оставивших яркий след в отечественной науке и культуре, она раскроет двери этого замечательного учебного заведения России, созданного великим русским ученым-энциклопедистом М. В. Ломоносовым, каждому, кто прочитает ее.

Московский университет стал первым российским вузом, заложившим прочные основы народного образования в России, создавшим ядро отечественных научных кадров, воспитавшим многих деятелей культуры.

М $\frac{4702010100-029}{М106(03)-89}$ 14—89 ББК 74.58

ISBN—5—270—00686—3

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ — ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Роль и значение Московского университета в истории отечественной науки, просвещения и культуры трудно переоценить. Возникший по инициативе и проекту великого русского ученого и гражданина М. В. Ломоносова, он стал первым отечественным университетом. Его основание явилось результатом жестокой и многолетней борьбы передовых деятелей России во главе с Ломоносовым против не знавших пощады сил реакции, тормозивших просвещение русского народа, народа великой страны.

Создание университета в России в XVIII в. диктовалось задачами политического, экономического и военного характера. Страна нуждалась в образованных людях. Поэтому необходимо было поднять уровень учебных заведений, в том числе и высшей школы, на качественно иную высоту. Это означало, что организация высшего образования должна подразумевать научные исследования. Возникшие в первой четверти XVIII в. различные школы устарели. Петровские школы, готовившие в первую очередь специалистов по военному, морскому и инженерному делу, принимали все более характер привилегированных училищ. Кроме того, уровень получаемых в них знаний исключал возможность подготовки специалистов высокого класса, которые сами, в свою очередь, могли бы стать в этих учебных заведениях преподавателями, способными улучшить процесс обучения.

Все это можно было бы преодолеть созданием университетов и Академии наук.

Настоятельная необходимость учреждения в Москве высшего учеб-

ного заведения осознавалась еще выдающимися людьми XVII в. Так, с инициативой создания учебного заведения в Москве, которое ставило бы своей целью подготовку специалистов для государственного и церковного аппарата, выступили Симеон Полоцкий, писатель, просветитель, и его ученик Сильвестр Медведев. Их инициатива нашла свое выражение в организации в Москве в 1678 г. Славяно-греко-латинской академии. В ней, соединявшей черты высшей и средней школы, преподавались славянский, латинский и древнегреческий языки, грамматика, пиитика, риторика, физика, психология, богословие. Она содействовала распространению общего образования в стране, но не решала проблемы[1]. В 1685 г. Сильвестр Медведев выступил с проектом учреждения в Москве уже университета, ибо необходимо «свет наук явити». Но и этому не суждено было осуществиться. Все было впереди — на пороге стоял XVIII век.

Открытие в 1725 г. в Петербурге Академии наук с университетом явилось первой попыткой «свет науки явити». Но, несмотря на то что в университете преподавали М. В. Ломоносов, С. П. Крашенинников, Г. В. Рихман и другие передовые ученые, им не удалось наладить работу университета и превратить его в общерусский центр просвещения — этому препятствовали действия академической и придворной клики. Главная неудача в деятельности первого академического университета крылась в стремлении дворянского государства исключить возможность для поступления в университет людям «подлых» сословий. Университет оказался второстепенным в системе Академии наук, что наглядно подтверждается и таким фактом — за двадцать лет его существования никто из его выпускников не получил профессорского звания.

Академики-иноземцы, преследуя своекорыстные цели, стремились сохранить свое исключительное положение в России, а потому предлагали выписывать из Германии и студентов, и профессоров, вместо того чтобы воспитывать их в России. Это и привело к тому, что после смерти Ломоносова университет практически перестал существовать. Но тем не менее был дан толчок становлению русской науки и просвещения.

Университетская практика Ломоносова этого периода, стремившегося к общедоступности образования, окончательно укрепила его в намерении создать в России университет, основанный именно на демократических началах. Подобную задачу мог решить только Ломоносов.

---

[1] С открытием Московского университета значение Славяно-греко-латинской академии окончательно упало, а в преподавании определяющее место заняло богословие. В 1814 г. она была преобразована в Московскую духовную академию и переведена в Троице-Сергиеву лавру, где находится и поныне.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765) по своему значению был первым просветителем в России в XVIII веке. Этот гениальный выходец из народа, истинный патриот своего Отечества, стоял у истоков русской естественной и гуманитарной профессиональной науки, высшей школы. Справедлива характеристика, данная ему А. С. Пушкиным: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, ибо он все испытал и все проник...» (XI, 32.) Он был первым из русских ученых, оказавшимся не только на высоте задач современной ему мировой науки, но во многих областях далеко опередившим западноевропейских исследователей, что с достоинством, в свою очередь, ими признавалось. Великий математик Леонард Эйлер писал в 1747 г.: «Желать надобно, чтобы все прочие Академии были в состоянии показать такие изобретения, какие показал г. Ломоносов»[1]. Трудами русского ученого интересовался и высоко их ценил американский ученый и политический деятель Бенджамин Франклин[2]. Французский ученый Н.-Г. Леклерк говорил, что имя Ломоносова «составит эпоху в летописях человеческого разума», человека «обширных знаний и блестящего гения, обнимавшего и озарявшего вдруг многие отрасли»[3].

Усилиями наших современников во всей полноте оценен вклад М. В. Ломоносова в отечественную науку. По словам С. И. Вавилова: «Влияние его гения, его труда неизмеримо. Наш язык, наша грамматика, поэзия, литература выросли из Ломоносова. Наша Академия наук получила свое настоящее бытие и смысл только через Ломоносова... Если внимательно оглянуться, то станет ясным, что краеугольные камни успехов нашей науки были заложены в прошлом еще Ломоносовым»[4].

Многие замыслы, которые Ломоносов настойчиво и безнадежно стремился осуществить в отношении академического университета, были претворены им в жизнь при основании Московского университета.

По собственному его признанию, он «первый причину подал к основанию памятного корпуса»[5], т. е. университета, а в письме к И. И. Шувалову 1760 года прямо пишет о том, что он «и прежде сего давал советы о Московском университете»[6].

[1] М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. М.; Л., 1962. С. 108.

[2] Болховитинов Н. Н. Б. Франклин и М. В. Ломоносов (из истории первых научных связей между Россией и Америкой).— Новая и новейшая история. 1973. № 3, с. 80.

[3] Записки имп. Академии Наук. Спб., 1867, т. X, с. 178.

[4] Вавилов С. И. Михаил Васильевич Ломоносов. М., 1961, с. 32.

[5] Ламанский В. И. Ломоносов и Петербургская Академия Наук. М., 1865, с. 69.

[6] Ломоносов М. В. Сочинения. М.; Л., 1948, т. VIII, с. 217.

Зимой 1753 г. он уезжает из Петербурга в Москву, где в то время находился двор императрицы Елизаветы Петровны, не получив на это разрешения академического начальства, и начинает усиленно хлопотать о создании университета в первопрестольной. Проектом, детально им разработанным и представленным Шувалову, были определены основные положения деятельности и структуры национального университета.

Заслугой Ломоносова явилась также организация высшего учебного заведения и общеобразовательных средних школ нового типа с открытым доступом в них разночинцев. По мысли Ломоносова: «В университете тот студент почтеннее, кто больше научился, а чей он сын — в том нет нужды»[1]. В будущий университет был открыт доступ всем сословиям, даже вольноотпущенным крестьянам (кроме крепостных). Ломоносов пошел дальше. Он настоял на бесплатном обучении не только в университете, но и в гимназии при нем. Он добился и стипендий (казенного содержания) для 30 студентов и 100 гимназистов, что давало возможность учиться детям податного сословия. Эти усилия и привели к тому, что первыми студентами университета были сплошь разночинцы.

Он решительно выступил против посягательств церкви на свободу научного творчества. Показательно, что Московский университет был единственным в Европе, не имевшим в своем составе богословского факультета, что способствовало избавлению всех изданий университета от предварительной церковной цензуры. Защита науки от притязаний церкви, обеспечение свободного развития научных знаний — все это, несомненно, способствовало становлению русской передовой материалистической науки.

Как видим, развитие науки и просвещения в стране Ломоносов неразрывно связывал, прежде всего, с задачей преобразования российских общественных порядков. С особой остротой вставала и потребность развития национальной культуры в условиях господствовавшего в привилегированной среде преклонения перед иностранной культурой и оскорбительного пренебрежения к творческим силам своего народа. Н. Г. Чернышевский писал: «Ломоносов страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, что нужно было для блага его родины. Он хотел служить не чистой науке, а только отечеству» (Чернышевский Н. Г. III, 137).

Таким образом, разработанный им проект отличался своей демократичностью и патриотической направленностью и преследовал две цели: общеобразовательную — «да процветут здесь мужи, закрытые натуры таинства открывающие», и практическую — «доставлять государству людей, могущих отправлять служение».

Основание Московского университета неотделимо и от имени

---

[1] Билярский П. С. Материалы для биографии Ломоносова. Спб., 1865, с. 448.

И. И. Шувалова, роль которого в последние годы оценивалась не всегда объективно. Инициатором создания университета был Ломоносов, и это так. Но несомненно и то, что проведение этой идеи в жизнь и быстрое ее осуществление в условиях того времени, менее всего способствовавших этому предприятию, принадлежит Шувалову.

Иван Иванович Шувалов (1727—1797) — одна из интереснейших личностей эпохи Просвещения. Будучи человеком высокой европейской образованности[1], он понимал значение и необходимость развития просвещения, науки и культуры. По его инициативе в 1757 году основывается Академия художеств, бывшая в ведении Московского университета до 1764 года, после чего она была выделена в самостоятельное учебное заведение. Живя за границей в 1763—1777 годах, он скупал и переправлял в Россию лучшие образцы произведений искусства. Являясь президентом Академии художеств, Шувалов подарил ей не только прекрасную библиотеку, но и коллекцию из 104 картин кисти Рембрандта, Рубенса, Ван-Дейка, Веронезе, Тинторетто, Перуджино, Остенде, Пуссена и других замечательных мастеров. Русские и советские историки весьма высоко оценивают шуваловский период (1757—1763) Академии художеств.

У Шувалова было несомненное чутье на талантливых людей, которым он оказывал свое высокое покровительство. Одним из первых он с восхищением приветствовал поэтическое дарование Г. Р. Державина и во многом способствовал становлению его известности. На акте Московского университета им был выделен бакалавр университета Е. И. Костров, который в 1767 году впервые в России перевел шесть песен «Илиады» Гомера. Ему многим обязаны Фонвизин, Богданович, Херасков. В 1784 г. Шувалов выдвинул известного крестьянина-самоучку Свешникова. Выпускниками шуваловского периода Академии художеств были скульптор Ф. Шубин, художник А. Лосенко, архитекторы В. Баженов и И. Старов — целая плеяда блестящих мастеров, без которых сегодня невозможно представить себе русское искусство XVIII века.

Подчеркнутый патриотизм Шувалова находил свое выражение в понимании им равенства России в семье европейских народов, осознании собственной значимости, ценности, как нации, способной на равных «соревноваться в образованности» с развитыми народами Европы. Гнев Шувалова вызывало распространенное в Европе мнение о неумении русских без помощи других народов стать культурной нацией. Убедить всех в обратном — такова центральная идея Шувалова и близких к

[1] В этой связи уместно сослаться на свидетельство Вольтера, который в письме к И. И. Шувалову от 1 августа 1758 г. писал следующее: «Узнав, что вам всего двадцать пять лет, не мог не надивиться глубине и разнообразию ваших познаний». См.: Бартенев П. И. Биография И. И. Шувалова. М., 1857, с. 3.

нему деятелей русской культуры. Эту идею с четкой определенностью выразил М. В. Ломоносов в известной оде, посвященной императрице Елизавете Петровне:

О, Вы, которых ожидает
Отечество от недр своих,
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих...

О, Ваши дни благословенны!
Дерзайте, ныне ободренны
Раченьем Вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Подъем национального самосознания приводил к тому, что для современников открывались новые возможности нации. В этом отношении примечательна речь Н. Н. Поповского, любимого ученика Ломоносова и протеже Шувалова, при открытии гимназии Московского университета в 1755 г. Обращаясь к будущим ученикам, Поповский сказал: «Если будет ваша охота и прилежание, то вы скоро можете показать, что и вам от природы даны умы такие же, какие и тем, которыми целые народы хвалятся; уверьте свет, что Россия больше за поздним начатием учения, нежели за бессилием, в число просвещенных народов войти не успела». Эти взгляды полностью разделялись и Шуваловым, по мнению которого, в России «мало своих искусных людей или почти никого нет, чему не склонность и понятие людей, но худые смотрения в премудрых учреждениях виноваты»[1].

Эти и многие другие высказывания Шувалова отражают его общее понимание концепции Просвещения применительно к России: государство может путем создания «премудрых учреждений» воспитать просвещенных, сознательных верноподданных. Кстати, осуществление намерения Ломоносова об исключении из структуры университета богословского факультета опиралось на известный индифферентизм в вопросах религии И. И. Шувалова. В соответствии с этой концепцией просветительской миссии государства Шувалов и предполагал создать систему образования, основу которого должно было составить учреждение по главным городам России гимназий, а в небольших городах — школ для обучения русской грамоте и арифметике. Особое место в этой системе должно принадлежать университету.

Сближение Ломоносова и Шувалова послужило к взаимной пользе и общему интересу. Их отношения, сохранявшиеся почти 13 лет, были довольно тесными и влияние обоюдным. Гениальный выходец из народа казался личностью яркой, незаурядной. Ломоносов привлекал Шувало-

[1] Из произведений русских мыслителей второй половины XVIII века. М., 1952, с. 92.

ва не только успехами в естественных науках, но прежде всего блестящим поэтическим талантом. Со своей стороны, Шувалов влиял на Ломоносова, способствуя его увлечению литературой, искусством, историей. Будучи вдохновителем многих начинаний Ломоносова, Шувалов был воспет им во многих одах и «рассуждениях». Именно Шувалов убедил Ломоносова писать историю России, в знании которой чувствовал настоятельную необходимость. В этой связи следует отметить и тот факт, что при самом непосредственном участии и наблюдении Шувалова увидела свет «История России при Петре Великом» Вольтера.

Итак, в сентябре 1754 г., во время пребывания двора Елизаветы Петровны в Москве, и было принято окончательное решение об основании в древней русской столице университета. 19 июля того же года Сенат утвердил составленный Ломоносовым проект и штаты учреждаемого университета для дворян и разночинцев и соответственно двух гимназий[1]. 12 (24) января 1755 года императрица подписывает указ об основании университета, кураторами которого назначены И. И. Шувалов, Л. Блюментрост (лейб-медик) и директором — А. М. Аргамаков (до 1757 г.). 26 апреля рядом с Красной площадью, на месте нынешнего Исторического музея[2], открывается университет с тремя отделениями (факультетами) наук: нравственных и политических, физических и математических и врачебных (или медицинских), объединявших 10 кафедр, каждую из которых занимал один профессор. По уставу 1804 года было открыто четвертое отделение — словесных наук. Позже, в 1849 году, философский факультет был разделен на историко-филологический и физико-математический.

Возникает законный вопрос — а почему именно в Москве определено было быть первому российскому университету? Ответ был дан в правительственном указе. Здесь: 1) великое число... живущих дворян и разночинцев; 2) положение столицы в центре Русского государства; 3) дешевые средства к содержанию; 4) обилие родства и знакомства у студентов и учеников; 5) великое число домашних учителей, содержимых помещиками в Москве[3].

Профессора на первых порах были большей частью приглашены из-за границы и только двое: Н. Н. Поповский — по словесности и философии и А. А. Барсов — по математике и словесности, а также преподаватель русского и латинского языков Ф. Я. Яремский были определены из воспитанников Петербургского Академического университета. В 1767 году их было уже пять: С. Г. Забелин (медицина),

---

[1] История Московского университета. М., 1955, т. 1, с. 21.

[2] 23 августа 1776 г. было начато строительство большого университетского корпуса на Моховой улице по проекту архитектора М. Ф. Казакова, которое было завершено в 1793 г. Здание было впервые спроектировано и построено как учебное заведение.

[3] Полное собрание законов, т. XIV, № 10346, наст. изд., с. 30.

П. Д. Вениаминов (ботаника), Д. С. Аничков (философия), И. А. Третьяков (история права) и С. Е. Десницкий (римское право). В 1783 году, кстати, А. А. Барсов и С. Е. Десницкий были первыми из университетских профессоров, которые были избраны действительными членами Российской академии[1].

Ломоносов добивался, чтобы в первом русском университете лекции читались русскими профессорами и на русском языке. В первой же лекции, прочитанной в Московском университете, ученик Ломоносова Н. Н. Поповский провозгласил: «Нет такой мысли, кою бы по-российски изъяснить было невозможно». Старания Ломоносова увенчались успехом только через три года после его смерти: согласно указу Екатерины II «для лучшего распространения в России наук начались лекции во всех трех факультетах природными россиянами на российском языке»[2].

Ученики и последователи Ломоносова, работавшие в университете, отстаивали и развивали его патриотические и материалистические взгляды, внесли значительный вклад в дальнейшее развитие науки. Почти все они принадлежали к непривилегированным сословиям.

Первым куратором университета, согласно правительственному указу, стал И. И. Шувалов, который с тщанием входил во все подробности деятельности университета, и в первую очередь — его учебного процесса. Он лично занимался покупкой книг и пособий, приглашал для преподавания лучших европейских профессоров и преподавателей. В то же время он руководил отправкой за границу способных молодых русских студентов для усовершенствования знаний, которые по возвращении занимали профессорские кафедры (как, например, первый русский профессор права С. Е. Десницкий).

В марте 1756 года его стараниями была основана университетская типография «ради успешного распространения знаний на пользу общую»[3] и книжная лавка при ней. В этой типографии стала печататься и первая московская газета — «Московские ведомости», основанная 26 апреля того же года. Только за один первый год своей деятельности типография опубликовала 14 книг, в числе которых был и первый том (состоящий из двух книг) сочинений М. В. Ломоносова. Роль и значение университетской типографии особенно поднялись, когда во главе ее в 1779—1789 годах стоял Н. И. Новиков, выдающийся русский просветитель и общественный деятель, начинавший образование в 50-х годах XVIII в. в университетской гимназии. Типография явилась центром по

---

[1] Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Спб., 1878, вып. I, с. 16.

[2] Московские ведомости, 1768, 15 янв., № 5.

[3] 225 лет издательской деятельности Московского университета. 1756—1981. Летопись. М., 1981, с. 24.

изданию научной, художественной, детской и политической литературы. За разные годы здесь были опубликованы сочинения Фонвизина, Сумарокова, Хераскова, Вольтера, Лессинга, Шиллера, Бомарше. Особое значение имеет издание Новиковым сочинений французских энциклопедистов: Монтескье, Дидро, Руссо, что вызвало гнев русской церкви. Основанный в 1790 году профессорами университета А. П. Сохацким и М. Г. Гавриловым «Политический журнал, с показанием ученых и других вещей...», несмотря на запрет и строжайшую цензуру, публиковал материалы о Великой Французской революции. Здесь впервые на польском языке были опубликованы «Сонеты» Адама Мицкевича (1826 г.), первое издание романа Н. В. Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (1842 г.), отдельным изданием «Записки охотника» И. С. Тургенева (1852 г.) и др. В 1864 году впервые в России увидел свет труд Ч. Дарвина «Происхождение видов» (русский перевод профессора С. А. Рачинского). С. 1851 года здесь начала публиковаться «История России с древнейших времен» С. М. Соловьева. Большой общественный резонанс вызвал выход в свет в 1878 году десяти общедоступных лекций К. А. Тимирязева под общим названием «Жизнь растений» и т. д.

3 июля 1756 г. была открыта университетская библиотека, одна из старейших в нашей стране, которая с самого начала своей деятельности стала публичной, общедоступной, открывавшаяся два раза в неделю (среда и суббота) «для любителей наук и охотников чтения». В ее фондах имелось значительное число книг на многих европейских языках. Тяжелый урон библиотеке (состоявшей из 20 000 томов) нанес пожар 1812 года. 12 июля 1813 года в «Московских ведомостях» от имени университета было помещено воззвание «К благотворителям просвещения, особенно к его питомцам, о пожертвовании книг и других учебных пособий». Было сразу же собрано более 5000 книг, и к 1815 году их число достигло 7500. В этом благородном акте участвовали Академия наук, Медико-хирургическая академия, Публичная библиотека, Дерптский, Казанский и Абовский университеты. Но, в свою очередь, и библиотека Московского университета не оставалась в долгу. В январе 1828 года из ее дубликатов началось комплектование книжного фонда библиотеки Александровского (Абовского) университета и к 1830 году было передано более 3500 книг.

Большое место в формировании фондов библиотеки имели личные пожертвования. В 1844 году Е. Ф. Муравьева, мать декабриста Н. М. Муравьева и вдова бывшего попечителя М. Н. Муравьева, передала в дар университету книжное собрание редких изданий (свыше 4000 томов). По ее желанию это собрание хранится под названием «Муравьевская библиотека». В 1847 году профессора университета Г И. Фишер фон Вальдгейм и В М. Рихтер передали в дар уникальное собрание первопечатных книг XV в. и медицинскую библиотеку (свыше

1400 томов). В 1832 году у А. И. Тургенева была куплена университетом библиотека семьи Муравьевых[1].

Здесь уместно остановиться на следующем факте. Осознание современниками общественной значимости университета нашло свое выражение в широкой благотворительной деятельности в его пользу. Начало этому было положено уже в феврале 1755 года, когда горнопромышленник Н. А. Демидов передал университету коллекцию минералов, которая составила основу Минералогического кабинета. Впоследствии, уже в 1791 году эта коллекция легла в основу создания, по инициативе профессора Ф. Г. Политковского, Музея естественной истории. Надо отметить, что Демидовы особенно активно участвовали в этой благотворительной деятельности и их вклады составили существенную часть музейных коллекций университета, стипендиального фонда и т. д.[2]. В 1807 году Е. Р. Дашкова передала университету кабинет натуральной истории, в котором насчитывалось свыше 15 000 предметов, собрание драгоценных камней, и библиотеку.

В числе дарителей в 1893 году выступил и С. М. Третьяков, основавший стипендиальный фонд лицам, оставленным в университете для подготовки к профессорскому званию.

Учреждение Московского университета и Академии художеств было лишь началом. Шувалов предполагал подвести под систему высших учебных заведений мощный фундамент — провинциальные гимназии и школы.

Московский университет с первых лет своего существования, способствуя развитию просвещения, вел большую работу по становлению в стране среднего образования. Успешная деятельность основанной при университете гимназии позволила уже в июле 1758 года открыть гимназию в Казани. Уместно отметить, что в это время не было гимназии в самом Санкт-Петербурге. Распоряжением Шувалова при гимназии основывалась библиотека, для чего им предписывалось «из напечатанных в Московском университете книг отпустить по одному экземпляру». Казанская гимназия входила в структуру Московского университета и была его своеобразным филиалом. Она явилась одним из значительных культурных центров на востоке страны. На ее основе в 1804 г. был основан Казанский университет.

В 1779 г. стараниями куратора М. М. Хераскова при Московском университете основывается Благородный пансион (с 1830 года — дворянская гимназия), из стен которого в будущем вышли многие выдающиеся деятели русской культуры. В этом же году была основана

[1] В 1906 году по проекту архитектора К. М. Быковского было построено новое здание библиотеки.

[2] Любопытная деталь: в 1786 г., когда было начато строительство большого университетского корпуса на Моховой улице, Н. А. Демидов пожертвовал на его нужды 5500 листов кровельного железа и 800 пудов связного железа.

педагогическая (учительская) семинария, а в 1782 году — филологическая (переводческая) семинария.

По указу Екатерины II от 4 марта 1784 года профессора Московского университета и члены Академии наук привлекались к работе в Комиссии по созданию народных училищ. Уже через четыре года профессором университета А. А. Барсовым была закончена работа над «Российской грамматикой», написанной для этих училищ. Активность профессуры университета привела к тому, что вскоре были открыты гимназии в Твери, Ярославле, Владимире, Костроме, Вологде и других городах.

Можно с уверенностью говорить о том, что все культурные и научные начинания связаны с Московским университетом. По инициативе и самом непосредственном участии передовых профессоров и преподавателей университета в различные годы было положено начало многим научным учреждениям и просветительным обществам, сыгравшим большую роль в развитии отечественной науки и культуры. Уже в 1771—1783 годах при Московском университете существовало «Вольное российское собрание», ставящее своей целью очищение и разработку русского литературного языка, изучение и пропаганду русской литературы, подготовку материалов для составления первого полного словаря русского языка. В 1781—1782 годах профессор философии Г. И. Шварц, последователь Н. И. Новикова, создает два общества — «Собрание университетских питомцев» и «Дружеское ученое общество». В 1789 г. возникает «Общество любителей учености».

Начало XIX в. было ознаменовано учреждением одного из самых авторитетных обществ — «Московского общества истории и древностей российских», активная деятельность которого продолжалась с 1804 по 1918 год (официальное закрытие состоялось в 1929 году) и находила свое отражение на страницах специального его органа — «Чтения... Во главе общества в разные годы стояли выдающиеся историки, профессора университета — М. П. Погодин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский.

В 1805 году возникает Общество испытателей природы, ставящее своей целью изучение природных богатств и содействие успехам естественных наук в России. С декабря 1806 года стали выходить его «Записки... а с 1829 года «Бюллетень...» (на русском и французском языках), издающийся до настоящего времени. В октябре 1836 года по предложению члена общества декабриста М. Ф. Орлова была предпринята попытка открытия в зале общества «публичных курсов» «для образования любителей естественных наук», которые должны были читать профессора университета. В то время эти курсы не были открыты, их разрешение (в различных видах) имело место уже во второй половине века. Не лишне заметить, что международный авторитет этого общества был очень высок, достаточно сказать, что в числе его почетных членов

были английский физик Майкл Фарадей (1855 г.) и французский микробиолог Луи Пастер (1893 г.).

В 1811 году основывается Общество любителей российской словесности, ставшее центром исследовательской работы в области языкознания и литературы. Действительными членами общества в разные годы были выдающиеся деятели русской культуры — А. С. Пушкин, З. А. Волконская, Е. А. Баратынский, А. Н. Верстовский, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, П. И. Мельников-Печерский, И. А. Гончаров, В. М. Гаршин, Г. И. Успенский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Д. Н. Мамин-Сибиряк, В. Г. Короленко, С. Я. Надсон, А. П. Чехов, Н. К. Михайловский, Марко Вовчок (М. А. Маркович), А. М. Горький, В. И. Немирович-Данченко, М. Н. Ермолова. Среди зарубежных деятелей, бывших членами этого общества, следует отметить избрание в 1862 г. французского писателя Проспера Мериме, в знак признания его заслуг как переводчика произведений русской классики во Франции. Деятельность этого общества имела большое общественное звучание, что особенно проявилось в июньские дни 1880 г. по случаю открытия в Москве памятника А. С. Пушкину. Общество совместно с университетом, проводило торжественные заседания, на которых с докладами выступили Ф. М. Достоевский, В. О. Ключевский, И. С. Тургенев, Н. С. Тихонравов. Особое значение имела речь Достоевского «О Пушкине», произнесенная им 8 июня. В 1887 году Ключевский на заседании общества, посвященном 50-летию гибели Пушкина, прочитал доклад «Евгений Онегин и его предки».

Дальнейшие успехи науки, неизбежное ее дифференцирование, привели во второй половине XIX в. к появлению новых научных обществ. Так, в 1863 г. возникает Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. На заседании этого общества впервые в 1902 году адмирал С. О. Макаров сделал доклад на тему «Об исследовании Северного Ледовитого океана при посредстве ледокола». Большой вклад в развитие отечественной истории и археологии внесло Московское археологическое общество, основанное в 1864 году. На регулярно проводимых его заседаниях и особенно съездах (с 1869 по 1911 год) кроме вопросов собственно археологических ставились доклады по этнографии, исторической географии, нумизматике, истории культуры и т. д. В 1883 году возникает Психологическое общество, на заседании которого в 1887 году Л. Н. Толстой выступил с рефератом «О понятии жизни».

Отсчет этим обществам, в числе которых были математическое, физико-медицинское, юридическое, историческое, невропатологов и психиатров, русских врачей, педагогическое и многие другие, можно продолжить до бесконечности, и дело не в этом. Главное, что они охватывали самые различные стороны научного знания. Объединение ученых-профессионалов и любителей способствовало широкому распространению

знаний и совершенствованию русской науки. Кроме того, создавались самые демократические возможности научного общения.

При университете возникли и ведущие московские музеи, ставшие со временем самостоятельными. Можно проследить связь между развитием русской науки и созданием в Москве музеев не только как обязательного звена в учебном процессе, но и как очага народного просвещения. Начало этому было положено деятельностью первого директора университета А. М. Аргамакова, предложившего Сенату рассмотреть вопрос о преобразовании Московской Оружейной палаты в Музей национальной славы. Его взгляды на музейное строительство существенно опережали положение музейного дела в Европе. В декабре 1805 года был открыт для посещения Музей натуральной истории университета. По инициативе профессора Московского университета А. П. Богданова была организована Политехническая выставка, из которой впоследствии (в 1877 г.) вырос Политехнический музей. В свою очередь, материалы отдела истории этой выставки послужили основанием для создания Исторического музея (1883 г.). В 1870 году был открыт Нумизматический музей при историко-филологическом факультете университета. Материалы Географической выставки в Москве в 1892 году стали основой, открытого на будущий год, соответствующего музея. В 1863—1864 годах были открыты для посещения Зоологический музей (для которого в 1902 году было построено новое здание на Б. Никитской улице) и Зоологический сад.

К 1831 году относится оформление идеи Н. И. Надеждина о создании в Москве Музея искусств. В «Проэкте эстетического музея при имп. Московском университете» приняли участие С. П. Шевырев и З. А. Волконская, за подписью которой и был опубликован этот проект в журнале «Телескоп» (1831, № 11, с. 385—399), где нашла свое выражение идея организации общедоступного музея. К этому вернулись еще раз через семнадцать лет, когда в ноябре 1848 года Совет университета одобрил проект учреждения при университете Музея изящных искусств и древностей (первоначально — кабинет), но за отсутствием средств он не был осуществлен. Но в 1912 году, по инициативе профессора университета И. В. Цветаева, был открыт Музей изящных искусств (архитектор Р. И. Клейн), сооруженный на значительные пожертвования частных лиц и общественных организаций (с 1937 года Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).

Просветительская роль Московского университета не ограничивалась только обучением студентов. Он распространял просвещение и уважение к науке в самых широких кругах общества. Так, согласно уставу 1755 года, профессора обязаны были еженедельно читать свою «науку» (предмет) для всех желающих. Московский университет стал центром пропаганды научных знаний и образования в самых широких слоях общества, и эта благородная традиция в его деятельности ни-

когда не прерывалась. К. А. Тимирязев, читавший с 1876 года свои популярные лекции по основам физиологии растений в Политехническом музее, писал: «Я позволяю себе утверждать, что ни в лондонском Кенсингтоне, ни в парижском Conservatoire'е не встречал я картины более утешительной. Вы встретите здесь толпу самую пеструю, какую, по старой привычке, могли бы себе представить где угодно, но уже никак не в аудитории. А между тем, это — факт; эта толпа в аудитории, она составляет аудиторию, внимательно, жадно ловящую слова не сказки..., а ставшего доступным ее пониманию научного вопроса»[1]. В своих лекциях профессора откликаются на все животрепещущие вопросы современности: лекции в пользу голодающих, в пользу пострадавших в войне 1877—1878 гг. и т. д.[2]

В этой связи следует сказать и то, что университет, его профессура и студенчество всегда были в первых рядах тех, кто мгновенно откликался на нужды Отечества в тяжкие для него годы. Профессора-медики И. Е. Грузинов, М. Я. Мудров, Х. И. Лодер, Т. Реннер, студенты — А. А. Альфонский (будущий ректор), Ф. Г. Ушаков участвовали в сражениях, работали в военных госпиталях во время войны 1812 года. Студент медицинского факультета С. П. Боткин и физико-математического факультета Н. Г. Столетов находились в действующей армии во время Крымской войны. В 1877 году Сербским обществом Красного Креста был прислан благодарственный лист университету за услуги, оказанные сербским раненым во время войны 1876 г. В сентябре 1878 года было принято постановление об открытии подписки на сооружение памятника в г. Тырново в честь русских врачей, погибших в Болгарии в 1877—1878 годах.

На основе университета или при его участии создавались различные культурно-просветительные учреждения и высшие учебные заведения нового типа. В них под влиянием передовой профессуры складывались прогрессивные традиции, сыгравшие положительную роль в развитии высшего образования в стране. Так, в 1872 г. стараниями выдающегося историка В. И. Герье были основаны в Москве Высшие женские курсы. В 1878 г. питомец Московского университета, профессор Петербургского университета К. Н. Бестужев-Рюмин, племянник декабриста, стал учредителем женских курсов в Петербурге (Бестужевские). Инициатива университетской профессуры привела и к созданию Вольной высшей школы П. Ф. Лесгафта, Московского общества народных университетов. Изгнанный из Московского университета его молодой профессор М. М. Ковалевский в 1901 г. основывает в Париже с группой единомышленников Русскую высшую школу общественных

[1] Тимирязев К. А. Сочинения. М., 1938, т. V, с. 74.

[2] Так, например, в 1878 году К. А. Тимирязев читает лекцию «Дарвин как тип ученого» в пользу детей и воинов, пострадавших в войне, а Н. И. Стороженко — «Лорд Байрон как защитник угнетенных народностей Востока».

наук для эмигрантской молодежи. Деятельность этой школы послужила основой для создания Народного университета А. Л. Шанявского.

В июне 1860 года в Москве была открыта первая воскресная школа, одним из учредителей которой был ректор Московского университета профессор Н. С. Тихонравов. И. М. Сеченов, будучи глубоким стариком, в 1903 году стал читать лекции на Пречистенских рабочих курсах. По его собственным словам, рабочая аудитория «производила на меня отрадное впечатление своим вниманием и явным пониманием читаемого. Еще большим уважением я проникся к этой аудитории, когда узнал, что некоторые рабочие бегут на эти лекции по окончании вечерних работ на фабрике из-за Бутырской заставы... Дай бог сохраниться и расшириться этому симпатичному учреждению — прообразу народного университета»[1].

Нельзя не упомянуть и о широких международных контактах Московского университета. Достаточно только сказать, что в 1858 году по инициативе профессоров О. М. Бодянского, Ф. И. Буслаева, С. М. Соловьева и М. П. Погодина было положено начало деятельности благотворительного комитета, целью которого было оказание помощи славянам, приезжавшим в Москву для получения образования. В пользу этого общества профессорами университета читались многочисленные публичные лекции[2]. Университет устанавливал научные связи с другими университетами и музеями славянских стран. Так, в 1869 году Естественноисторическому музею в Дубровнике была передана существенная часть экспонатов Зоологического и Минералогического музеев университета. В 1878 г., в разгар русско-турецкой войны, решением Совета университета устанавливается научное сотрудничество с Хорватским университетом в Загребе.

Большую роль сыграл Московский университет и в возникновении русского национального театра. Созданный при нем в 1756 году по инициативе и под руководством М. М. Хераскова студенческий театр положил начало традиции, получившей блистательное развитие в XIX в., когда выросли и окрепли связи Малого театра и Московского университета, когда, по свидетельству современников, в Москве стало два университета. Великое реалистическое искусство актеров Малого театра формировалось под непосредственным воздействием передовых деятелей русской науки. По признанию самого М. С. Щепкина, несмотря на то, что «я не сидел на скамьях студентов, но я с гордостью скажу, что я много обязан Московскому университету в лице его преподавателей; одни научили меня мыслить, другие — глубоко понимать искусство»[3]. Великий русский трагик П. С. Мочалов свою друж-

---

[1] Сеченов И. М. Автобиографические записки. М., 1952, с. 289.

[2] Краткий очерк о деятельности (1858—1868) Славянского благотворительного комитета в Москве. Сост. Н. А. Попов. М., 1868.

[3] Щепкин М. С. Записки. М., 1952, с. 303.

бу с Т. Н. Грановским считал замечательной школой, развивающей «и благородные чувства, и серьезные мысли»[1]. Позже, в 1891 году профессора Московского университета А. Н. Веселовский, Н. И. Стороженко и Н. С. Тихонравов приняли участие в создании Театрально-литературного комитета, созданного для руководства репертуаром русских театров. Н. С. Тихонравов стал первым председателем Московского отделения комитета.

Мировую известность получила университетская научная школа, предопределившая в значительной степени дальнейшее развитие науки.

Здесь работал создатель «кометной астрономии» Ф. А. Бредихин. Московскую школу астрономии достойно представляли также В. К. Церасский и А. А. Белопольский.

Н. Е. Жуковский и С. А. Чаплыгин стали основоположниками научной школы в области теоретической механики, аэродинамики, авиации.

Московская физическая школа стала знаменита работами А. Г. Столетова по выявлению фотоэффекта, П. Н. Лебедева — по измерению давления света, Н. А. Умова и др.

Ученик великого В. А. Бутлерова В. В. Марковников вел исследования по химии нефти. Рядом трудился замечательный химик Н. Д. Зелинский. Работы Е. И. Шпитальского положили начало физико-химической школе Московского университета.

Деятельность (с 1840 г.) К. Ф. Рулье привела к возникновению московской школы зоологов и предвосхитила идеи Дарвина. Рулье был главой единственной в мире додарвинской школы биологов-эволюционистов.

Профессором Петербургского и Московского (с 1889 г.) университетов был основоположник русской физиологической школы И. М. Сеченов.

Здесь многие годы преподавал создатель научной физиологии растений К. А. Тимирязев, трудились зоологи С. Н. Северцов и М. А. Мензбир.

Достойно представляли московскую школу агрономии и минералогии М. Г. Павлов и Ф. Ф. Рейе, а А. П. Павлов — геологии и палеонтологии.

География, этнография, антропология были представлены именами А. П. Богданова и Д. Н. Анучина, усилиями последнего при университете в 1879 году был основан и антропологический музей.

С именем великого В. И. Вернадского связана московская школа геохимии, а Г. Е. Щуровского — геотектоники.

Клиниками Московского университета руководили терапевт Г. А. За-

---

[1] Вейнберг П. И. Из моих театральных воспоминаний.— Ежегодник имп. театров. Сезон 1854—1855 гг., приложение. Спб., 1895, кн. I, с. 84.

харьин, невропатолог А. Я. Кожевников, педиатр Н. Ф. Филатов, хирург Н. Ф. Склифосовский. На медицинском отделении работали Н. Я. Мудров, С. П. Боткин, А. А. Остроумов, С. С. Корсаков, Ф. Ф. Эрисман, А. И. Абрикосов, С. И. Спасокукоцкий. Это отделение закончил великий русский хирург Н. И. Пирогов.

Правоведение было представлено именами Б. Н. Чичерина (дядя Г. В. Чичерина, советского наркома иностранных дел), социология — М. М. Ковалевского («научного друга» Карла Маркса), экономика — И. К. Бабста[1], А. И. Чупрова, И. И. Янжула.

О. М. Бодянским была создана первая в России школа русской славистики.

Русское языкознание и лингвистика блистали именами Ф. И. Буслаева и Ф. Ф. Фортунатова, литературоведение — Н. С. Тихонравова и Н. И. Стороженко, востоковедение — В. Ф. Миллера.

Замечательных результатов достигла историческая школа Московского университета, что связано с деятельностью ее ведущих исследователей — Т. Н. Грановского, М. П. Погодина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, В. И. Герье, П. Г. Виноградова.

По справедливому замечанию В. Г. Белинского, относящемуся к 1839 году, «Московский университет — единственное высшее учебное заведение в России; он не знает себе соперников; у него есть история, потому что для него всегда существовало органическое развитие. В Московском университете есть дух жизни, и его движение, его ход к усовершенствованию так быстр, что каждый год он уходит вперед на видимое расстояние». (Белинский В. Г. III, 226.)

О высоком научном международном авторитете Московского университета свидетельствуют факты избрания его представителей почетными членами других университетов и международных организаций. Примеров этому много, укажем лишь, что членами Королевского Копенгагенского общества северных антиквариев были избраны историки М. П. Погодин и И. М. Снегирев. Астроном Ф. А. Бредихин был избран действительным членом Немецкой академии исследователей природы «Леопольдина» в Галле, а также членом-корреспондентом Королевского астрономического общества в Англии, Ливерпульского астрономического общества и общества итальянских спектроскопистов; физик П. Н. Лебедев — Лондонского королевского института. Почетным членом многих обществ и университетов был К. А. Тимирязев. Химику

---

[1] В январе 1860 г. И. К. Бабст прочитал в Московской практической академии коммерческих наук лекцию, в которой впервые излагались некоторые идеи К. Маркса из его работы «К критике политической экономии». Известна реакция на этот факт самого Маркса, который в письме Ф. Лассалю от 15 сентября 1860 г. писал: «В России моя книга вызвала большой шум, и один профессор прочел о ней в Москве лекцию» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч, т. 30, с. 465).

В. В. Марковникову была вручена золотая медаль имени Нобеля за заслуги в развитии нефтяной промышленности и т. д.

В свою очередь в числе почетных членов Московского университета мы видим великие имена И.-В. Гете, И. Шиллера, Х.-М. Виланда, А. Гумбольдта, Г. Гельмгольца, трех сыновей Чарльза Дарвина и многих других не менее известных деятелей мировой науки и культуры. Почетными членами Московского университета были и ведущие деятели отечественной науки и культуры: А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь, Н. И. Пирогов, С. П. Боткин, Б. Н. Чичерин, М. В. Остроградский, Н. И. Лобачевский, мореплаватель И. Ф. Крузенштерн, министр иностранных дел А. М. Горчаков (лицейский товарищ Пушкина), Н. Н. Бекетов, И. П. Павлов и Н. П. Кондаков, П. М. Чебышев и А. В. Востоков и т. д.

Велика роль университета в развитии русской культуры. Его питомцами являлись крупнейшие русские писатели: Д. И. Фонвизин, А. С. Грибоедов, Д. В. Веневитинов, В. А. Жуковский, В. Г. Белинский, П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, А. И. Полежаев, М. Ю. Лермонтов, И. А. Гончаров, А. А. Фет, Ап. А. Григорьев, Я. П. Полонский, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. Ф. Писемский, А. П. Чехов, В. Я. Брюсов, Дмитрий Фурманов и др.

Питомцами его являлись и замечательные музыканты: композиторы С. Н. Василенко и А. А. Спендиаров, основатель Московской консерватории Н. Г. Рубинштейн, великий русский певец Л. В. Собинов.

Славной страницей истории Московского университета является его активное участие в революционной и общественной борьбе XIX—XX веков. В его стенах воспитывались представители первого поколения русских революционеров — декабристы А. М. и Н. М. Муравьевы, А. Н. Муравьев, Н. И. Тургенев, И. А. Анненков, И. Д. Якушкин, Н. В. Басаргин, С. П. Трубецкой, П. Г. Каховский, М. П. Бестужев-Рюмин, В. Д. Вальховский. Воспоминания Д. Н. Свербеева оставили нам облик студента этико-политического отделения, увлекающегося идеями французских энциклопедистов, С. М. Семенова, будущего секретаря «Союза спасения». В университетском пансионе учились А. Г. Родзянко и «первый декабрист» В. Ф. Раевский. Этот список включает в свой состав более 60 человек.

В 30—50-е годы XIX века университет стал центром общественной идейной борьбы, той борьбы, которая заложила основы революционно-демократического мировоззрения. В это время здесь оформляется плеяда крупнейших деятелей освободительного движения — В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарев.

После поражения восстания декабристов в университете оформился кружок братьев Критских (1827 г.). Члены этого кружка учли печальный опыт славных предшественников и в своей революционной пропаганде намеревались бороться «за народ» и «вместе с народом». Кружок

Н. П. Сунгурова продолжил революционное начало университета, но был разгромлен в 1831 году.

Именно в стенах университета проходили ожесточенные споры западников и славянофилов о возможных путях развития России. В кружке Н. В. Станкевича (1831—1840 гг.) изучалась классическая немецкая философия, вырабатывалось общее философское мировоззрение.

И именно в это время студент В. Г. Белинский читает членам своего кружка «Литературного общества 11 нумера» свою драму «Дмитрий Калинин», проникнутую пафосом ненависти к крепостному праву. Белинский и его кружок занимает особое место в ряду студенческих объединений того времени, ибо он, по определению В. И. Ленина, был «предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении»[1].

В студенческом кружке Герцена — Огарева (1831—1834 гг.) изучают французский утопический социализм. Именно с деятельности этого кружка в России начинает свою историю социалистическая проповедь, закладываются основы будущей революционной агитации его организаторов.

Все это, не без основания, заставляло царское правительство более внимательно следить за деятельностью Московского университета, становившегося опальным. Только боязнь европейского общественного мнения помешала властям ликвидировать университет. Но при этом было сделано все, чтобы снизить его культурное значение: число «своекоштных» студентов (кроме медиков) доведено до 300 человек; даже для детей дворян при поступлении в университет установлен ряд ограничений, творческая работа бралась под сомнение, как признак революционности.

События середины века дают новый импульс развитию революционной теории и практики. В стране складывается первая революционная ситуация 1859—1861 годов. И в университете возникает революционная организация — «Библиотека казанских студентов» (1859 г.), целью которой было создание библиотеки запрещенной литературы и политическое самообразование его участников. Революционный кружок Зайчневского-Аргиропуло выпускает в 1861 году одну из первых прокламаций тех лет «Молодая Россия», а в следующем году напечатал листовки Н. Г. Чернышевского «К барским крестьянам» и Н. В. Шелгунова «К солдатам». Впервые было издано на русском языке литографированным способом сочинение А. И. Герцена «О развитии революционных идей в России».

Развитие марксизма в стенах университета происходит легальным и нелегальным путем. В первом случае следует сказать об издании профессором Московского университета М. М. Ковалевским в 1879 году в журнале «Критическое обозрение» (№ 5) работы Ф. Энгельса «Анти-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 94.

Дюринг». С другой стороны, в донесениях жандармских дознаний все чаще фигурируют упоминания, что во время обысков у студентов находят произведения «немецких коммунистов», и в их числе «Капитал». В 1881 году в университете было организовано студентами Общество переводчиков и издателей, ставившее своей целью распространение марксистской литературы. В получении иностранных книг большое содействие оказывали профессора Чупров, Ковалевский, Янжул, Иванюков[1]. В 80—90-х годах получили распространение работы Г. В. Плеханова, прежде всего — «Наши разногласия», а в 1894 году, в год написания, работа В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

В конце века московское студенчество еще активнее втягивается в революционную борьбу ее высшего витка — пролетарского этапа русского освободительного движения. В 1889 году создается первый марксистский кружок В. К. Курнатовского. В 1893 году возникает марксистская группа во главе со студентами медицинского факультета А. Н. Винокуровым и С. И. Мицкевичем. Следует отметить, что в январе 1894 г. на квартире Винокурова происходила встреча В. И. Ленина с членами этой марксистской группы[2]. Вскоре происходит оформление марксистских кружков Д. И. Ульянова, М. Ф. Владимирского, П. Г. Смидовича. В феврале 1902 г. на общегородской сходке в университете была принята резолюция, в которой впервые были сформулированы политические лозунги демократического переустройства в стране и выражена солидарность с российским пролетариатом. Ленинская «Искра» дала отчет об этой сходке и опубликовала принятую ею резолюцию[3]

Все это привело к тому, что уже в январе 1904 г. при Московском комитете РСДРП была создана «Социал-демократическая организация высших учебных заведений Москвы». К концу этого года социал-демократическая фракция только одного университета насчитывала около 600 студентов[4]. Все это не без основания дало возможность В. И. Ленину характеризовать Московский университет периода первой русской революции 1905 года как «революционный университет»[5] Питомцами университета были большевики Н. А. Семашко, И. И. Скворцов-Степанов, С. И. Мицкевич, П. К. Штернберг[6], М. Н. Покровский, Н. М. Лукин, В. П. Потемкин, В. В. Воровский, Сурен Спандарян, И. Ф. Арманд, Г. Н. Корганов (один из 26 бакинских комиссаров), ге-

---

[1] Анатольев П. Общество переводчиков и издателей.— Каторга и ссылка, 1933, № 3, с. 90—101.

[2] Владимир Ильич Ленин. Биохроника, т. I, с. 85.

[3] Искра, 1902, № 8, 10 марта.

[4] История Московского университета, т. I, с. 515.

[5] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. II, с. 377.

[6] Воспоминания Н. А. Семашко, С. И. Мицкевича см.: Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1956. Здесь же помещены и воспоминания о П. К. Штернберге.

рои гражданской войны Сергей Лазо и Николай Руднев и другие[6].

С 1917 года открывается новая страница в славной истории Московского университета: его двери оказались раскрытыми для всех жаждущих образования, он стал подлинной сокровищницей богатств, которые выработало человечество. Авторитетная часть университетской профессуры перешла на сторону Советской власти. В 1840 г. В. Г. Белинский писал: «Завидую внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940-м году — стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке, и искусству и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества». (Белинский В. Г. Ш, 488.) В 1940 году, когда вся наша страна торжественно отмечала 185-летие Московского университета, ему было присвоено имя его основателя — Михаила Васильевича Ломоносова, который, по словам Пушкина, не только «создал первый университет», но «сам был первым нашим университетом». (Пушкин А. С., XI, 249.)

* * *

Воспитанники Московского университета отдавали дань уважения и признательности своей alma mater, что нашло свое выражение, прежде всего, в их многочисленных воспоминаниях. Жизненные пути развели их по разным городам и весям. Но, несмотря на разные судьбы, на принадлежность к различным общественным лагерям, у них оставалось неизменным одно — неистребимая любовь к своему университету. Собранные воедино, эти воспоминания отражают славную историю университета за 172 года его существования, с 1755 по 1917 год.

В предлагаемом читателю сборнике воспоминаний, посвященных Московскому университету, выступают его воспитанники, люди различных профессий, различной общественной ориентации. Среди них известные писатели и поэты (Д. И. Фонвизин, Е. Ф Тимковский, С. П. Жихарев, И. А. Гончаров, А. И. Герцен, А. Н. Плещеев, А. Н. Афанасьев, Я. П. Полонский, Б. А. Щетинин), деятели просвещения (И. Ф. Тимковский, Н. Н. Мурзакевич), композиторы (С. Н. Василенко), замечательные ученые: физики, химики, историки, юристы, биологи, медики (Н. И Пирогов, Ф. И. Буслаев, С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин, В. О. Ключевский, М. М. Ковалевский, К. Н. Бестужев-Рюмин, И. М. Сеченов, Н. И. Кареев, А. К. Тимирязев, Б. А. Келлер, С. И. Радциг, В. И. Пичета, Ю. В. Готье, Н. М. Дружинин), издатель М. В. Сабашников, видные общественные деятели (К. С. Аксаков, Н. А. Белоголовый), чиновники государственного аппарата (Д. Н. Свербеев, П. Ф. Вистенгоф, Н. А. Аргилландер, П. И. Прозоров), деятели революционного движения (И. А. Худяков, И. Г. Прыжов). Нет необходимости давать подробную характеристику воспоминаний каждого из авторов, это сделает читатель. Но сказать, отметить, что дают те или иные воспоминания, в ре-

зультате чего складывается единая канва истории Московского университета, следует.

Уже официальные документы, открывающие наше издание, представляют несомненный интерес. Сам правительственный указ об основании университета является документом историко-культурного значения, дающим оценку состояния России и необходимости развития в стране наук и просвещения. Корреспонденция из «Спб. ведомостей», воссоздающая обстановку торжественного события, отчетливо демонстрирует в то же время факт общественного значения основания первого в стране университета и соответственно тот огромный интерес, который был проявлен к этому событию в различных социальных слоях московского общества. Это был подлинный праздник отечественной культуры.

До нас дошло слишком мало свидетельств о внутренней жизни университета в первые годы его существования. Пожар 1812 года уничтожил весь богатейший университетский архив. Вот почему мы с таким вниманием вчитываемся в сохранившиеся строки воспоминаний первых выпускников университета — Фонвизина, Тимковского, Лубяновского. Д. И. Фонвизин доносит до нас впечатления юного воспитанника от встречи в Петербурге с М. В. Ломоносовым. И. Ф. Тимковский был непосредственным свидетелем споров Ломоносова и Шувалова: на каких основах будет воздвигнуто здание будущего университета — будет ли это университет типа Лейденского, основанный на гражданских началах (позиция Ломоносова), или ему будет уготована роль сословного высшего учебного заведения.

В воспоминаниях Е. Ф. Тимковского рисуется страшная картина урона, нанесенного университету московским пожаром 1812 года, лишившему его многих научных ценностей: библиотеки (состоявшей из 20 000 томов), архива, лабораторий, музейных коллекций. Пожар уничтожил все здания университета, за исключением Ректорского дома и больничного корпуса. Но, несмотря на колоссальные потери, университет не мог не возродиться. В этом помогло ему осознание широкими русскими общественными кругами места Московского университета как общенационального центра просвещения и культуры. Эта мысль получила свое выражение в замечательных строках А. И. Герцена из «Былого и дум», посвященных славной истории университета в 30-е годы XIX века. Воспоминания питомцев университета первой половины века рисуют университет уже нового состояния. Среди воспоминаний этой поры — Герцена, Пирогова, Афанасьева, Гончарова и др.— следует отметить записки таких авторов, как Аргилландер, Прозоров и Вистенгоф, которые оставили не только яркие зарисовки быта и нравов московского студенчества начала 30-х годов, но и сведения о замечательных питомцах университета того времени — М. Ю. Лермонтове и В. Г. Белинском.

Мы сочли не только возможным, но и необходимым составить по письмам студенческого периода замечательного историка В. О. Ключевского летопись университетской жизни начала 60-х годов прошлого века. Исключительный интерес представляют его воспоминания, посвященные выдающимся русским ученым — Ф. И. Буслаеву и С. М. Соловьеву. Человек, обладавший необыкновенным даром живописать картины и образы прошлого, оставил нам замечательные образцы и литературного портрета. В данном сборнике они нашли надлежащее им место.

Воспоминания шестидесятника И. А. Худякова многое проясняют в исследованиях советских историков, посвященных истории революционного движения середины XIX в. Благодаря им мы можем говорить о наличии в Московском университете филиала партии «Земля и воля», основанной в Петербурге в 1862 году Н. Г. Чернышевским. Хотелось бы обратить внимание на воспоминания замечательных советских историков-академиков — В. И. Пичеты, Ю. В. Готье и Н. М. Дружинина, которые в данном составе публикуются впервые. Они с наглядностью демонстрируют тот качественный скачок, который произошел в мировоззрении авторов, что естественно привело их впоследствии в первые ряды активных строителей советской исторической науки.

Выявленный корпус воспоминаний, посвященных Московскому университету, конечно же не исчерпывается лишь предлагаемыми. Мы стремились дать читателю наиболее яркие свидетельства, посвященные дореволюционной истории нашего Московского университета.

Ю. Емельянов

ПИСЬМО М. В. ЛОМОНОСОВА И. И. ШУВАЛОВУ (1754 г., ИЮНЬ — ИЮЛЬ)

Милостивый государь
Иван Иванович!

Полученным от вашего превосходительства черновым доношением Правительствующему Сенату к великой моей радости я уверился, что объявленное мне словесно предприятие подлинно в действо произвести намерились к приращению наук, следовательно, к истинной пользе и славе отечества. При сем случае довольно я ведаю, сколь много природное ваше несравненное дарование служить может и многих книг чтение способствовать. Однако и тех совет вашему превосходительству небесполезен будет, которые сверх того университеты не токмо видали, но и в них несколько лет обучались, так что их учреждения, узаконения, обряды и обыкновения в уме их ясно и живо, как на картине, представляются. Того ради, ежели Московский университет по примеру иностранных учредить намереваетесь, что весьма справедливо, то желал бы я видеть план, вами сочиненный. Но ежели ради краткости времени или ради других каких причин того не удостоюсь, то, уповая на отеческую вашего превосходительства ко мне милость и великодушие, принимаю смелость предложить мое мнение о учреждении Московского университета кратко вообще.

1) Главное мое основание, сообщенное вашему превосходительству, весьма помнить должно, чтобы план Университета служил во все будущие роды. Того ради, несмотря на то, что у нас ныне нет довольства людей ученых, положить в плане профессоров и жалованных студентов[1] довольное число. Сначала можно проняться теми, сколько найдутся. Со временем комплет наберется. Остальную с порожних мест сумму полезнее употребить на собрание университетской библиотеки, нежели, сделав ныне скудный

и узкий план по скудости ученых, после, как размножатся, оный снова переделывать и просить о прибавке суммы.

2) Профессоров в полном университете меньше двенадцати быть не может в трех факультетах.

В Юридическом три

I. Профессор всей юриспруденции вообще, который учить должен натуральные и народные права, также и узаконения Римской древней и новой империи.

II. Профессор юриспруденции российской, который, кроме вышеписанных, должен знать и преподавать внутренние государственные права.

III. Профессор политики, который должен показывать взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей между собою, как были в прошедшие веки и как состоят в нынешнее время.

В Медицинском 3 же

I. Доктор и профессор химии.

II. Доктор и профессор натуральной истории[2].

III. Доктор и профессор анатомии.

В Философском шесть

I. Профессор философии.

II. —»— физики.

III. —»— оратории.

IV. —»— поэзии.

V. —»— истории.

VI. —»— древностей и критики.

3) При Университете необходимо должна быть Гимназия, без которой Университет, как пашня без семян. О ее учреждении хотел бы я кратко здесь вообще предложить, но времени краткость возбраняет.

Не в указ вашему превосходительству советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целый полный план предложить могу, непременно с глубоким высокопочитанием пребывания

вашего превосходительства
всепокорнейший слуга
Михайло Ломоносов.

1755, ГЕНВАРЯ 24. ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И ДВУХ ГИМНАЗИЙ. С ПРИЛОЖЕНИЕМ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОГО ПРОЭКТА* ПО СЕМУ ПРЕДМЕТУ

Когда бесмертныя славы в Бозе почивающий, любезнейший наш родитель и государь Петр Первый, император великий и обновитель отечества своего, погруженную во глубине невежеств и ослабевшую в силах Россию к познанию истинного благополучия роду человеческому приводил, какие и коликие во все время дражайшей своей жизни монаршеские в том труды полагал, не только Россия чувствует, но и большая часть света тому свидетель; и хотя во время жизни толь высокославнаго монарха, отца нашего и государя, всеполезнейшия его предприятия к совершенству и не достигли, но мы всевышняго благоволением, со вступления нашего на всероссийский престол, всечасное имеем попечение и труд, как о исполнении всех его славных предприятий, так и о произведении всего, что только к пользе и благополучию всего отечества служить может, чем уже действительно по многим материям все верноподданные матерними нашими милосердиями ныне пользуются и впредь потомки пользоваться станут, что времена и действии повсядневно доказывают. Сему, последуя, из наших истинных патриотов и зная довольно, что единственно наше желание и воля состоит в произведении народного благополучия к славе отечества, упражняясь в том, к совершенному нашему удовольствию прилежность свою и труд в общенародную пользу прилагали; но как всякое добро происходит от просвещенного разума, а напротив того зло изкореняется, то следовательно нужна необходимая о том стараться, чтоб способом пристойных наук, возрастало в пространной нашей империи всякое полезное знание; чему подражая для общей отечеству славы, Сенат наш, и

* Написание слов и пунктуация в данной публикации соответствуют традиции XVIII в. (*Прим. сост.*)

признав за весьма полезное к общенародному благополучию, всеподданнейше нам доносил, что действительный наш камергер и кавалер Шувалов поданным в Сенат доношением, с приложением проэкта и штата о учреждении в Москве одного университета и двух гимназий, следующее представлял: как наука везде нужна и полезна, и как способом той просвещенные народы превознесены и прославлены над живущими во тьме неведения людьми, в чем свидетельство видимое нашего века от бога дарованного, к благополучию нашей империи родителя нашего государя императора Петра Великого доказывает, который божественным своим предприятием исполнение имел через науки, безсмертная его слава оставила в вечныя времена, разум превосходящия дела, в толь краткое время перемена нравов и обычаев и невежеств, долгим временем утвержденных, строение градов и крепостей, учреждение армии, заведение флота, исправление необитаемых земель, установление водяных путей, все к пользе общего житья человеческого, и что наконец все блаженство жизни человеческой, в которой безчисленные плоды всякого добра всечастно чувствам представляются; и что пространная наша империя установленною здесь дражайшим родителем нашим, государем Петром Великим, Санктпетербургскою Академиею, которую мы между многими благополучиями своих подданных милосердиями немалою суммою против прежнего к вящшей пользе и к размножению и ободрению наук и художеств, всемилостивейше пожаловали, хотя оная со славою иностранною и с пользою здешнею плоды свои и производит, но одним оным ученым корпусом довольствоваться не может, в таком разсуждении, что за дальностию дворяне и разночинцы к приезду в Санктпетербург многия имеют препятствия, и хотя ж первые к надлежащему воспитанию и научению к службе нашей, кроме Академии, в Сухопутном и Морском кадетских корпусах, в Инженерстве и Артиллерии открытой путь имеют, но для учения вышним наукам желающим дворянам, или тем, которые в вышеписанныея места для каких-либо причин не записаны, и для генерального обучения разночинцам, упомянутый наш действительный камергер и кавалер Шувалов, о учреждении вышеобъявленнаго в Москве университета для дворян и разночинцов, по примеру европейских университетов, где всякаго звания люди свободно наукою пользуются, и двух гимназий, одну для дворян, другую для разночинцов, кроме крепостных людей, усердствуя нам

и отечеству, о вышеупомянутом изъяснял для таковых обстоятельств, что установление онаго университета в Москве тем способнее будет: 1) великое число в ней живущих дворян и разночинцов; 2) положение оной среди Российскаго государства, куда из округ лежащих мест способно приехать можно; 3) содержание всякаго не стоит многаго иждивения; 4) почти всякой у себя имеет родственников или знакомых, где себя квартирою и пищею содержать может; 5) великое число в Москве у помещиков на дорогом содержании учителей, из которых большая часть не токмо учить науке не могут, но и сами к тому никакого начала не имеют, и только чрез то младыя лета учеников, и лучшее время к учению пропадает, а за учение оным безполезно великая плата дается; все ж почти помещики имеют старание о воспитании детей своих, не щадя иные по бедности великой части своего имения и ласкаясь надеждою произвести из детей своих достойных людей в службу нашу, а иные, не имея знания в науках или по необходимости не сыскав лучших учителей, принимают таких, которые лакеями, парикмахерами и другими подобными ремеслами всю жизнь свою препровождали; и показывая он камергер и кавалер Шувалов, что такие в учениях недостатки реченным установлением исправлены будут, и желаемая польза надежно чрез скорое время плоды свои произведет, паче ж когда довольно будет национальных достойных людей в науках, которых требует пространная наша империя к разным изобретениям сокровенных в ней вещей, и ко исполнению начатых предприятиев и ко учреждению впредь по знатным российским городам российскими профессорами училищ, от которых и во отдаленном простом народе суеверие, расколы и тому подобныя от невежества ереси истреблятся. Того ради мы, признавая упомянутаго камергера и кавалера Шувалова представление, поданное нам чрез доклад от Сената, за весьма нужное и полезное нашей империи следующее к благополучию всего отечества, и которое впредь к немалой пользе общаго добра быть может, всемилостивейше конфирмовали[1] и надеемся несомненно, что все наши, верноподданные, видя толь многия наши об них матерния попечения, как и сие весьма потребное учреждение, простираться станут детей своих пристойным образом воспитав обучить, и годными чрез то в службу нашу и в славу отечества представить; а чтоб сие вновь предпринятое дело доброй и скорой успех имело с надлежащим порядком, без малейшаго потеряния времени; того для

всемилостивейше мы повелели над оным университетом и гимназиями, быть двум кураторам, упомянутому изобретателю того полезного дела действительному нашему камергеру и кавалеру Шувалову и статскому действительному советнику Блюментросту, а под их ведением директором коллежскому советнику Алексею Аргамакову; а для содержания в оном университете достойных профессоров и в гимназиях учителей, и для прочих надобностей, как ныне на первой случай, так и повсягодно, всемилостивейше мы определили довольную сумму денег, дабы ни в чем и никакого недостатка быть не могло, но тем более от времени до времени чрез прилежание определенных кураторов, которым сие толь важное дело от нас всемилостивейше вверено, и чрез искуснейших профессоров науки в нашей империи распространялись и в цветущее состояние приходили, чего мы к совершенному нашему удовольствию ожидать имеем; и для того всех находящихся в оном университете, высочайшею нашею протекциею обнадеживаем; а кои особливую прилежность и добропорядочные свои поступки окажут, те пред другими с отменными авантажами в службу определены будут; и об оном для всенароднаго известия сие наше всемилостивейшее соизволение публиковать повелели, о чем сим и публикуется. На каком же основании оному учрежденному в Москве университету и гимназиям, и в них профессорам и учителям, и во скольких классах быть надлежит, о том публиковано будет впредь регламентом, со внесением в оной всего, что потребно для лучшаго установления онаго университета и гимназии. <...>

Проэкт о Учреждении Московского университета

§ 1. На содержание сего университета и при оном гимназии довольно десяти тысяч рублей в год.

§ 2. 1) Весьма за нужно ко ободрению наук почитается, чтоб е. и. в. новоучреждаемой университет в собственную свою высочайшую протекцию принять и одну или двух из знатнейших особ, как в других государствах обычай есть, кураторами университета определить соизволила, которые бы весь корпус в своем смотрении имели и о случающихся нуждах ево докладывали е. и. в.

2) Чтоб сей корпус, кроме Правительствующего сената, не подчинен был никакому иному присутственному месту и ни от кого бы иного повеления принимать не был обязан.

3) Чтоб как профессоры и учители, так и прочие под университетского протекциею состоящие без ведома и поз-

воления университетских кураторов и директора неповинны были ни перед каким иным судом стать кроме университетского.

4) Чтоб все принадлежащие к университету чины в собственных их домах свободны были от постоев и всяких полицейских тягостей, тако ж и от вычетов из жалования и всяких других сборов.

§ 3. При том надлежит быть особому директору, который бы по предписуемой ему инструкции о благосостоянии университета старался и его доходами правил, с профессорами науки в университете и учение в гимназии учреждал, со всеми присутственными местами по делам, касающимся до университета, переписку имел и о всем вышеписанном кураторам представлял и их апробации требовал.

§ 4. Хотя во всяком университете кроме философских наук и юриспруденции должно такожде предлагаемы быть богословские знания, однако попечение о богословии справедливо оставляется святейшему Синоду.

§ 5. Профессоров в университете будет в трех факультетах десять. В юридическом: 1) Профессор всей юриспруденции, который учить должен натуральные и народные права и узаконения Римской древней и новой империи.

2) Профессор юриспруденции российской, который сверх вышеписанных должен знать и обучать особливо внутренние государственные права.

3) Профессор политики, который должен показывать взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей между собою, как были в прошедшие века и как состоят в нынешнее время.

В медицинском: 1) Доктор и профессор химии должен обучать химии физической, особливо и аптекарьской.

2) Доктор и профессор натуральной истории должен на лекциях показывать разные роды минералов, трав и животных.

3) Доктор и профессор анатомии обучать должен и показывать практикою строение тела человеческого на анатомическом театре и приучать студентов в медицинской практике.

В философском: 1) Профессор философии обучать должен логике, метафизике и нравоучению.

2) Профессор физики обучать должен физике экспериментальной и теоретической.

3) Профессор красноречия для обучения оратории и стихотворства.

4) Профессор истории для показания истории универсальной и российской, також древности и геральдики.

§ 6. Каждый профессор должен по крайней мере два часа в день, выключая воскресные и в табели предписанные праздничные дни, также и субботу, в университетском доме публично и не требуя за то от слушателей особливой платы о своей науке лекции давать, кроме того, вольно ему за умеренную плату кого хочет приватно обучать, только чтоб оттого в его публичных лекциях никакой остановки и препятствия не происходило.

§ 7. Всем профессорам иметь по-однажды в неделю, а именно по субботам до полудни, в присутствии директора собрания, в которых советовать и рассуждать о всяких распорядках и учреждениях, касающихся до наук и до лучшего оных произвождения, и тогда каждому профессору представлять обо всем, что он по своей профессии усмотрит за необходимо нужное и требующее поправления. В тех же общих собраниях решить все дела, касающиеся до студентов, и определять им штрафы, ежели кто приличится в каких продерзостях и непорядках.

§ 8. Никто из профессоров не должен по своей воле выбрать себе систему или автора и по оной науку свою слушателям предлагать, но каждый повинен следовать тому порядку и тем авторам, которые ему профессорским собранием и от кураторов предписаны будут.

§ 9. Все публичные лекции должны предлагаемы быть либо на латинском, либо и на русском языке, смотря как по приличеству материи, так и по тому, иностранной ли будет профессор или природный русской.

§ 10. Всякий профессор должен курс своей науки так расположить, чтоб чрез каждые полгода, то есть от одной ваканции[2] до другой, часть оныя, а чрез год весь курс окончать мог.

§ 11. О предлагаемых в каждую половину года новых лекциях объявлять выставляемым в университетском доме листом или каталогом лекций.

§ 12. Большим ваканциям в университете быть два раза в году, а именно: зимою от 18 декабря по 6 генваря, а летом от 10 июня по 1 число июля.

§ 13. По окончании каждого месяца выбрать день субботный, в который профессорам, согласясь между собою, заставлять студентов приватно диспутоваться и задавать им для того тезисы, которые за три дни наперед прибивать

к дверям большой аудитории, дабы желающие то предприять заблаговременно приготовить могли.

§ 14. Пред наступлением каждой ваканции иметь публичные диспуты, приглася ко оным всех любителей наук. <...>

§ 15. И дабы не оставить ничего, что бы могло молодых людей поощрять к наукам, то по однажды в году, а имянно 26 апреля, роздавать им публичные награждения, которые могут состоять в небольшой золотой или серебреной медали. <...>

§ 22. Каждый студент должен три года учиться в университете, в которое время все предлагаемые во оном науки, или по крайней мере те, которые могут ему служить к будущим его намерениям, способно окончать может, а прежде того сроку никого против его воли и желания от наук не отлучать и к службе не принуждать. Сверх того, не соизволено ль будет содержать студентов двадцать человек записанных на жалование, чтоб из них в гимназию определять в нижние классы учителями. <...>

§ 23. Всяк желающий в университете вышним наукам учиться, должен явиться у директора, который прикажет профессорам его экзаменовать, и ежели явится способен к слушанию профессорских лекций, то, записав его в число университетских студентов и показав ему порядок учения, приличный его склонности и будущему состоянию, отослать при письменном виде к тем профессорам, у кого какия лекции слушать имеет; и во ободрение позволено ль будет иметь шпагу, как и в прочих местах водится.

§ 24. Учащиеся в университете студенты не должны ни в каком другом суде ведомы быть, кроме университетского, и ежели приличатся в каких-либо непорядочных поступках, то, не касаясь до них никаким образом, приводить их немедленно в университетский дом, и директор, который, смотря по вине, учинит им надлежащий штраф или отошлет к тому суду, до которого такия дела принадлежат. <...>

§ 26. Понеже науки не терпят принуждения и между благороднейшими упражнениями человеческими справедливо счисляются, того ради как в университет, так и в гимназию, не принимать никаких крепостных и помещиковых людей. Однако ежели который дворянин, имея у себя крепостного человека сына, в котором усмотрит особливую остроту, пожелает ево обучить свободным наукам, оный должен наперед того молодого человека объявить вольным и, отказавшись от всего права и власти, которую он прежде

над ним имел, дать ему увольнительное письмо за своею рукою и за приписанием свидетелей. <...>

§ 27. При допущении в университете и в гимназию такого студента или ученика, принять от него и хранить в университете данное ему от бывшаго его господина письменное увольнение, и когда он науки свои порядочно окончает и от университета с аттестатом отпущен будет для определения в службу государеву или на вольное пропитание, тогда вручить ему паки помянутое письмо прежняго его господина и дать волю, чтоб никаким образом никто его в холопство привести не мог; ежели же имев волю и пользуясь одним тем, будет в худых поступках, то такого выписать вон и отдать как его, так и увольнительное письмо его помещику.

§ 28. Всяк желающий в университете слушать профессорских лекций, должен наперед научиться языкам и первым основаниям наук. Но понеже в Москве таких порядочно учрежденных вольных школ не находится, где бы к вышним наукам молодые люди надлежащим образом приготовлены и способными учинены быть могли; того ради е. и. в. всемилостивейше не соизволит ли указать, чтоб при Московском университете и под его ведомством учредить две гимназии: одну для дворян, а другую для разночинцев, кроме крепостных людей.

§ 39. Для различения дворян от разночинцев учиться им в разных гимназиях, а как уже выйдут из гимназии и будут студентами у вышних наук, таким быть вместе как дворянам и разночинцам, чтоб тем более дать поощрение к прилежному учению. <...>

§ 41. Быть при университете приставу, котораго должность состоит в том: 1) чтоб с приданными ему сторожами содержать университетский дом и аудиторию в надлежащей чистоте; 2) иметь ему роспись всем студентам и где кто жительство имеет, дабы в потребном случае каждаго сыскать мог; 3) рапортовать по всякое утро директора о том, что за день перед тем в университете происходило.

§ 42. Всем профессорам, учителям и прочим университетским служителям иметь жительство свое в близости от университетскаго дому и гимназии, дабы в прохаживании туда и назад напрасно время не теряли. <...>

ИЗ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ». ИЗ МОСКВЫ ОТ 1 МАИЯ

ОПИСАНИЕ ИНАВГУРАЦИИ* ПРИ НАЧИНАНИИ ГИМНАЗИИ МОСКОВСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕГО 1755 ГОДА, АПРЕЛЯ 26 ДНЯ

В назначенный день в 8 часу поутру учители с учениками собраны были в Университете, куда и все знатные персоны, которые прошены были чрез печатные программы, во многом числе прибыли, также чужестранные и знатное купечество по их требованию допущены были: тогда в надлежащем порядке ученики разделены на классы, с учителями пошли в церковь Казанския богородицы[1] и в присутствии директора отправлялся молебен соборной за высочайшее здравие е. и. в. и императорской фамилии.

Родители учеников также благодарные молитвы свои богу приносили. Возвращались оттуда таким же порядком, как и в церковь шли, и вшед в большую залу говорены были речи: на российском языке магистром Антоном Барсовым, на латинском — магистром и конректором Николаем Поповским, на французском — учителем вышнего[2] французского класса — ла Бомом, на немецком — учителем вышнего немецкого класса Литкеном.

По окончании оных речей знатнейшие персоны прошены были во внутренные покои, где трактованы были разными ликерами и винами, кофеем, чаем, шоколадом и конфектами, и так все с удовольствием около второго часа пополудни разъехались.

В шестом часу после обеда множество народа приезжали смотреть в университетские покои представленную иллюминацию, которая изображала Парнасскую гору[3], Минерва[4] поставляет обелиск во славу е. и. в.

В низу обелиска многие младенцы упражняются в науках, между которыми один пишет имя его превосходитель-

---

* Здесь: открытия; от лат.— *inauguratio* — посвящение. *(Прим. сост.)* Написание слов и пунктуация в данной публикации соответствуют традиции XVIII в. *(Прим. сост.)*

ства господина куратора и основателя университегского[5], имя, которое в ученом свете забвенно быть не может. Там виден еще рог изобилия и источник вод как символ будущего плода. Еще изображается ученик с книгою, восходящий по ступеням к Минерве, которая любительно его приемлет; представляется пальмовое древо, с которого один младенец ломает ветви и держит в руке венцы и медали и показывает, что награждение тем готово, которые по достоинству заслужить имеют.

Вся оная иллюминация как днем, так и ночью делала преизрядный вид к удовольствию всех знающих и всего народа.

Оная иллюминация освещена была многими тысячами ламп с такою приятностию, как бы огород с аллеями и деревьями казался. Все университетские покои и башня до самого верьха иллюминованы были внутри и снаружи. Музыка инструментальная, трубы и политавры[6] слышны были чрез весь день, как звук радостного и всем любезного торжества.

Среди конфектов поставлена была галерея с портиками, между столбов видны были фигуры младенцев, держащих разные математические инструменты, книги, карты географические, глобусы и прочее; среди оной галереи был фонтан натуральный; фронтоны оной галереи содержали имя и герб его высокопревосходительства господина куратора и основателя университета.

Вокруг университетского дому народа было несчетное число чрез весь день даже до четвертого часа полуночи, а которые входили в университетские покои смотреть иллюминации также трактованы были, как и поутру.

Тимковский И. Ф.

ЗАПИСКИ

...Вступление мое в университет так произошло, что мне приятно было бы означить здесь эту часть жизни; но эта часть вся классическая, и подробности ее неуместны. Из всего сказать надобно, какое действие занимает в ней старейший профессор, статский советник Антон Алексеевич Барсов. Он грозен и суров был для меня в приеме, когда я после curriculum vitae* в данной теме изъявил предпочтение латинского языка греческому. Но я скоро на его курсе угодил ему в разборе и чтении речей Цицерона, в горацианских метрах[1], в тираде из «Киропедии» Ксенофонта[2] и в критике вариантов, так что он, из проходимых авторов, на Плауте[3] посадил меня близ себя. А нападая, по своему обычаю, на других за неисправности и упрекая иных получаемым жалованьем, раз он, переходом от тех, обратясь ко мне, спросил: почему я не на жалованье? На ответ же мой, что моя просьба о том далеко в очереди ваканций, он отозвался: «Nulla regula sine excepione»** — нет правил без исключения; и недели через две объявили мне из конференции, что я определен. Я принес благодарность Барсову на дому; он занялся мною и дал позволение бывать у него на досуге. <...>

Как старший сын в семействе, которое оставалось на попечении дяди Ивана Наз., я чувствовал мой долг дать путь самому себе и четырем братьям. Кончив первый курс, я предался правам и политике, удержал только прикладную математику, по любви моей: знание побочное, но которое на веку часто было мне пригодно. <...>

---

* Течение жизни, жизнеописание *(лат.)*.
** Нет правил без исключения *(лат.)*.

До того, запасаясь на чаемую службу, я твердил себе народное право Ваттеля, народное положительное Мартенса, европейское публичное Мабли с трактатами и тешился мечтой, в какой лучше быть мне миссии. Теперь я налег более на юридический объем от практики до антропологии, особенно на римское право, corpus juris civilis* и в нем Пандекты[4]. Тогда зародилась у меня мысль составить подобно, из наших законов, сравнительное право, и действительно эту мысль я обработал после в «Опыте систематического свода законов», за который в августе 1802 года пожалован царскою наградою[5], и рукопись передана в Коммиссию законов, чрез начальника ее Петра Вас[ильевича] Завадского, у которого я имел по тому случаю большие объяснения о наших законах. <...>

Начальник Черноморского флота, вице-адмирал Николай Семенович Мордвинов, представив на высочайшее утверждение новые проекты и штаты своего управления, чтоб иметь готовых на места людей, по обычаю тех времен, просил начальство университета дать ему трех студентов на должности секретарей с хорошим чином, жалованьем и проездом. Требование внесено в конференцию. Я поступил в число назначенных. Но бывший из давних студентов секретарем у куратора Хераскова изъявил желание поступить в то число. Им заменили меня, как младшего. <...>

Почти вслед за веселым сбором и отъездом Черноморской партии, профессор Петр Ив[анович] Страхов объявил мне, что куратор Херасков желает меня видеть. Я отыскал дом его на Гороховом поле. Он, спросив меня, давно ли я в университете, предложил занять у него место секретаря. Я объяснил ему, с круглым извинением, что без отца, как старший сын, по состоянию дому и семейства, я обязан служить в статской службе. «А! — произнес он с трясущеюся головой,— откуда вы родом?» — «Я родился в Переяславле». Глаза у него прояснились. «О! так мы земляки; и я там родился»,— сказал он с видом больше удивления, нежели приятности, протянувши ко мне руки. Я низко поклонился. Мать его была Трубецких[6], что выразил он в поэме «Возрожденный Владимир». «Есть там у вас имение?» — «Есть в Переяславском и Золотоношском уездах». Наконец, с важностью куратора, он сказал мне, тряся головою: «Я доволен, молодой человек, что узнал вас; желаю

* Свод гражданского права (*лат.*).

вам счастливой службы». Раза два случилось потом, что, завидев меня на выходе от обедни, повторял он: «Здравствуй, земляк!» <...>

Университет имел трех попечителей с именем кураторов. Первым был основатель его в век императрицы Елисаветы, знаменитый предстатель муз, действительный обер-камергер, Иван Иванович Шувалов. Он, в четыре царствования, кроме долговременной отлучки в чужие краи (о чем скажу после) как начальник и проректор университета имел пребывание в Петербурге. Имя его в университете с благоговением произносилось. Другие два были налицо в Москве. Старейшим оставался тайный советник Иван Иванович Мелиссино, и прибавлен вышеупомянутый Михайло Матвеевич Херасков; известен как поэт. Управление более относилось к Мелиссино. Он был добр и любил науки. В собраниях, раздавая шпаги, дипломы, награды или когда мы приходили к нему поздравительным обществом, он свое приветствие заключал всегда латинскою сентенциею. Как помню одну: «Qui proficit in litteris et deficit in moribus, plus deficit quam proficit»*; и другую: «Vis consilii expers mole ruit sua». Hor.** Дом его был на Петровке[7] за театром. Он умер к весне или осенью 1796 года. <...>

В последние годы курсов я обращал свободные дни и часы на особые занятия дома, вмещая в них долю на переводы книг, иногда на журнальные статьи в прозе, и подчас охоты стихами; получал доходы, не далеко вдаваясь в них, скопил библиотеку, имел в обществе почетныя и приятные знакомства, не развлекаясь на многие домы. На досугах любил беседовать у избранных профессоров, каковы для меня были начально: латинской элоквенции, упомянутый А. А. Барсов; позднее потом, прикладной математики, Михайло Ив[анович] Панкевич; римских прав и древностей Федор Франц[евич] Баузе; общих прав и политики Матвей Богданович Шаден. Первый ввел меня в филологию и критику. Он уважал формы малороссийского языка, завидовал употреблению в нем «бо» и многих лаконизмов. Второй был у меня упорный философ пространства. Третий, с охотою антиквария, обратил мое внимание в обширности на ingenium practicum et applicativum***. У четвертого

* Кто богатеет в науках и скудеет в нравственности, тот больше скудеет, чем богатеет (*лат.*).

** Сила без разума гибнет от собственной тяжести. *Гораций* (*лат.*).

*** Врожденное, присуще (*лат.*).

решены многие публичные вопросы и система долговечности. У обоих последних я получил навык латинской и немецкой речи. Наконец я изготовлялся отправиться в Петербург искать места, для чего имел посредников.

В ноябре того года со вступлением на престол императора Павла произведены в лицах и вещах великие перемены и новости. <...>

Директор университета Павел Ив[анович] Фон-Визин поступил сенатором. Место его занял вызванный из жизни в деревне Иван Петров[ич] Тургенев. На место Мелиссино куратором университета определен тайный советник и камергер князь Федор Николаевич Голицын, племянник Шувалова по сестре. В декабре новый куратор приехал в Москву и занял дом на Покровке. Недели за две до праздника рождества, в день воскресный, мы большим числом были ему представлены, по факультетам. В день конференции он имел в ней первое присутствие, осматривал университет, обошел по всем заведениям. А в первый день праздника мы опять, только меньшим числом, были у него с поздравлением. Обходя всех приветливо, нашел он, что сказать каждому отдельно.

Между тем как я располагал себе, когда у кого из моих знакомых проводить дни и вечера святок, на другой день утром я получил записку от содержателя университетской типографии Клауди, с которым уже был знаком по заказному переводу, просить к себе в контору для надобности. Велось тогда, на новый год, первый нумер издаваемых при «Московских ведомостей», в заглавие, начать стихами. Тот, кто обещал ему стихи на 1797 год, занемог. Время готовить первый нумер, а стихов нет; просит у меня. Я отказался не моим делом, коротким временем, связями на праздник, стыдом пошлости. Но убеждения и добрая цена заставили потереть лоб. Я согласился на честном условии, что мое имя останется неизвестным, и весь тот день прогулял, в ожидании, где мне встретится моя муза. <...>

Новый генерал-прокурор князь Куракин отлично уважал университет. Говорили, что он и учился из него несколько. При том он почитался в родствах с племянником Шувалова. В январе он отнесся в университет доставить ему в канцелярию двоих, знающих правоведение. Конференция избрала меня и другого товарища. <...>

В ранних годах славы Шувалова, при императрице Елисавете, лучшее место занимает Ломоносов. С ним он

составлял проект и устав Московского университета. Ломоносов тогда много упорствовал в своих мнениях и хотел вполне удержать образец Лейденского, с несовместными вольностями[8]. Судили и о том, что у Красных ли ворот, к концу города, поместить его или на средине, как и принято, у Воскресенских ворот[9]; содержать ли гимназию при нем или учредить отдельно; предпочтено первое, обое по своим причинам и проч. <...>

Лубяновский Ф. П.

ВОСПОМИНАНИЯ

Отец и мать не скоро решились отпустить меня в Москву одинокого. Не имея, однако ж, в виду ничего для меня лучшего, помолясь, благословили и отдали меня промыслу божиему. Не скоро потом и я доехал до Москвы, не к началу курсов, а только уже в конце декабря. Немедленно просил я начальство позволить мне с нового, 1793 года слушать профессорские лекции. По правилам, сказано мне, без предварительного экзамена это не допускается.

В назначенный впоследствии для экзамена день введен я в обширную конференц-залу с троном и портретом императрицы под балдахином. Профессоры, сидя за столом, рассуждали. Ректор[1], подозвав меня к себе, спросил, чему и где я учился, и благосклонно затем предоставил мне написать на латинском языке, что сам придумаю, о необходимости и пользе учения. «Изъясните нам вкратце,— говорил он мне,— ваши мысли об этом важном предмете». Профессор Страхов, заметив, вероятно, что я струсил, сказал мне ласковое слово и указал комнату, где я, заключась от всего мира, должен был пройти сквозь огонь испытания. Собрался я с духом, написал, что мог и сумел, и предстал перед ареопаг[2]. Ректор мне же поручил прочитать вслух и внятно написанное. Слушали со вниманием. Ректор, обратясь к собранию с довольным лицем, громко сказал optime*, и никий же осуди. Помню, как сердце мое в тот момент уж подлинно взыграло радостию. Единогласно положено выдать мне вид на профессорские лекции. Дверь храма наук мне отверзлась. С трудом, невдалеке от университета, нашел я себе приют весьма некрасный, не совсем и безопасный от ветхой на нем крыши, но по моим

---

* Отлично, превосходно (*лат.*).

тогда средствам: что отец мог назначить мне на содержание в год, того и на полгода недоставало.

Спустя месяца три в этот обветшалый домишко зашел неизвестный мне с вида боярин, и когда, на спрос его о студенте Лубяновском, я вышел к нему из-за угла своего: «Познакомимся»,— сказал он мне, благосклонно взяв меня за руку. Это был Иван Владимирович Лопухин. «Пишет мне о тебе старый друг мой, Захарий Яковлевич Карнеев (родной брат моей матери, мне дядя, тогда орловский вице-губернатор, впоследствии минский гражданский губернатор, сенатор, член Государственного совета). Я хотел видеть, где и как ты живешь: не просторно, оттого и воздух не благорастворенный. День нынче воскресный, ученья нет, погуляем». Пришли мы в дом к профессору Чеботареву. Представив меня ему и супруге его: «Это,— сказал он им,— тот молодой человек, о котором я говорил вам, примите его в свою семью». Мне же сказал, что у Харитона Андреевича и Софии Ивановны я буду как дома, ни в чем не буду нуждаться, докладывал бы им о своих надобностях. Заключил, обратясь ко мне, этими словами: «Помни бога, молись не только языком, но и сердцем, старайся успевать в науках, веди себя скромно. Мы будем видеться». Удивленный такою простотою благотворного великодушия и в неожиданном изменении тогдашняго моего быта видя явный знак небесного милосердного промысла и о мне ничтожном юноше, слезами только мог я выразить волнение сердца.

На другой же день переселился я к Харитону Андреевичу, и с того же дня Иван Владимирович не только во все время ученья моего в Московском университете, но и в начале службы моей был мне, мало скажу, другим отцом: будь я сын его, не был бы он и тогда мне лучшим отцом. Он оставил по себе «Записки»[3], и кто не читал их, кто не видел в них, как в зеркале, мужа глубокого разума и возвышенной в истинном духе евангельском добродетели?

Курсы далеко ушли в последние четыре месяца истекшего года; предлежало мне и догнать их, и не отставать от них. Большое пособие оказали мне профессора и товарищи; не щадил я и сам себя; жажда во всем успеть снедала меня. К тому же русская словесность была в тот год на очереди к получению золотой и двух серебряных медалей; было до 20-ти соискателей, в том числе и я; и мне, разумеется, не хотелось ударить лицом в грязь. В срок подали мы свои диссертации профессору красноречия, каждый за сво-

ею печатью; так они внесены и в Конференцию, где рассматривались в общем собрании профессоров. Моя по оценке заняла второе место — и первая серебряная медаль мне предназначена.

В день торжественного университетского акта собрание стариков в голубых и красных лентах[4], также и дам, было не малочисленно; говорены речи, одна на латинском, другая на русском языке; читана длинная ода; была и музыка. Затем куратор, знаменитый М. М. Херасков, вышел и стал у подножия императорского трона, и, когда инспектор провозгласил имена новопроизведенных студентов, мы вышли на сцену. Куратор сказал нам следующее приветствие: «Е<е> и<мператорское> в<еличество>, премудрая наша монархиня, в воздаяние за ваше прилежание и успехи в науках, всемилостивейше изволит жаловать вам офицерские шпаги» — и каждому из нас вручил стальную шпагу. Провозглашены затем таким же порядком имена трех состязателей медалей, и куратор от ее же и. в. вручил нам медали. Поднялись тогда голубые, красные ленты, дамы и все любители просвещения — сонмом к нам, увенчанным, с поздравлением нас с монаршею милостью; от нас все обращались к куратору, ректору и инспектору с изъявлением признательности за труды, ими подъятые, в распространении просвещения в империи.

На этой, казалось, невинной выставке я в первый раз почувствовал в себе движение какого-то до той поры бездыханного червя (впоследствии с летами и он рос) целого насекомого, преувертливого и прелукавого, с которым долго было мне много хлопот и работы нередко до поту, даже до слез; а тогда щекотанье этого червяка — самолюбия так мне было по сердцу. Худое и не худое, видно, замертво спало во мне до будильника, до случая.

Во все время, что я пробыл в университете, постоянно думал о том, не потерять бы мне времени без полезного приобретения. Грешно было бы, впрочем, и не занять, много ли, мало ли, от таких профессоров, каковы были Шаден, Баузе, Виганд, Мельман, Чеботарев, Страхов. Если позволено сослаться на пословицу — из кожи лезли, чтобы все то, что сами приобрели неутомимым трудом, передать нам с логическою ясностью, в систематическом порядке, с обдуманным суждением. Что в иностранных университетах, то и в Московском преподавалось; студенты выбирали себе предметы и профессоров по совету и по желанию; изредка переходили из одного в другой факультет. В том числе и я,

изучая со тщанием и рвением предметы историко-филологического факультета, отдавал по нескольку послеобеденных часов в неделю профессорам химии и анатомии, в надежде получить хотя некоторое понятие от первого — о превращении вещества из вида в лучший вид, по сказанному, что тварь покорилась суете неволею, в уповании освободиться от работы истления; от второго — о чудном устроении тела человека для временной, преходящей жизни его на земле. Эти послеобеденные часы не совсем были потеряны; но не было от них и ожидаемого приобретения.

Мельман, любимый, говорили, ученик Канта, был нашим профессором эстетики. Мужчина лет под сорок, всегда один, словно в келье, всегда погруженный в размышления, он слыл в литературном кружке бесстрастным отшельником от мира, влюбленным по уши в безжалостную «Критику», дщерь философа Канта[5]. Был он, однако же, с отличными способностями и с даром слова,— Цицерон в латинской словесности. Познакомив нас с Горацием, Вергилием, Люкрецием, Цицероном, Тацитом, он удачно развивал их мысли нравственныя и политическия, превозносил их ум и с приятным велеречием водил нас от одного к другому из них, как по цветистому лугу от одного прекрасного к другому цветку, еще превосходнейшему, присваивая им, иногда казалось нам, и такие идеи, о которых те господа не думали и не гадали. Представлялось нам также, что он не всегда и высказывал нам все то, что было у него на сердце. Несмотря на то, мы слушали его с удовольствием. Неожиданно он перестал являться на лекции. Через несколько дней шепотом заговорили, что Мельмана велено отправить к митрополиту Платону; потом, что он выслан и по секрету отвезен за границу; наконец, что, не доезжая до Кенигсберга, он застрелился.

Начав учиться в семинарии и окончив, как говорится, науки в университете, я нередко сравнивал себя с собою же с концов промежутка между семинариею и университетом. Из семинарии вышел я с благоговением к Евангелию и учению церкви, с покорностью начальству и не от страха, а по чувству необходимости в руководстве, с привычкою к нужде, с равною охотою к учению и к исполнению обязанности, в чем бы она ни состояла. В университете семинарское семя не скажу, чтобы совсем засохло во мне; но по мере развития во мне круга понятий странные мечты вкрадывались в голову. Составилась во мне прежде всего забавная самонадеянность: не только я умел бы сам

везде ходить без помочей, но и других водить. Семинарского учения в мое время была решительно одна цель: приготовление молодых людей к духовному званию. Меня к тому не готовили, но я шел со всеми по одной и той же тропе; другой в том месте тогда еще не было. В университете никто из нас, за исключением медицинского факультета, не имел определительной цели, хотя и то правда — не знаешь, куда бог поведет. Все мы просвещались, приготовляли себя, думали и не на шутку,— к государственной службе, и, чем более хвалили нас за прилежание и успехи, тем более мечтали мы о себе. Смеешься теперь над этими юношескими мечтаниями, а они не всегда без последствий, не ветром и наносятся. Много ли молодых людей с здравым, холодным и разборчивым смыслом, способных не вдруг поддаваться первому впечатлению от того, что видят и слышат? В жар бросало не одного меня, когда, бывало, наши профессора — мастера на это немцы,— вызывая тени греков и римлян, с силою и властию, славословили их высокую мудрость, их несравненные, в бессмертный пример человечеству, доблести, сами приходили и нас приводили в восторг, отчего в воображении нашем зарождались пустые надежды, безрассудные притязания, а сердце между тем оставалось без пищи. Так, один из моих товарищей студентов уведомлял меня в декабрь 1796 г. о царской милости университету: последовало высочайшее повеление пригласить на службу 12 из казенных студентов и немедленно прислать их в Петербург. Вызвались отличнейшие по успехам в науках и поведению, в том числе и корреспондент мой, по письму которого приглашение на службу по высочайшему повелению обещало им горы золотые. Приехав в столицу, я отыскал шестерых из них,— где же? в холодных, сырых и темных подвалах огромного здания: то была канцелярия С.-Петербургского тогда коменданта барона А. А.Аракчеева[6] Унылые, бледные, в унтер-офицерских доспехах, они переписывали набело формулярные списки нижних воинских чинов, и не забыть мне отчаяния, с которым они, не смея оторваться от дела, под надзором старого беспощадного капрала, томными глазами высказывали все, что было у них на сердце; недолго и пожили на белом свете.

В это время, 1793—1796, Московский университет, еще до пятидесятилетия своей жизни, был уже в славе, и справедливо; но и некоторые недостатки его не укрывались. По себе сужу, а, чай, не согрешил бы, сказав то же и о сото-

варищах: между тем, как я, приготовляя себя ко всему, порядочно ни к чему себя не подготовил; изучал историю греков, римлян, других народов, их законы, религию, нравы, внутренние учреждения, междоусобные несогласия, раздоры, войны, увлекался рассказом, как и от чего эти колоссы и потрясались и падали; восхищался Вергилием, Горацием, Тацитом, переходил от одного к другому возрасту мудрования ума человеческого, скитался таким образом, может быть, и не совсем тщетно, все же за рубежом, в чужих краях; с родным отечественным краем, и не только с русскою историею, но с русскою землею, с русскими реками и морями был я знаком так мало, поверхностно, что, если бы велели нам тогда описать битву русских с татарами на Куликовом поле, я охотнее согласился бы описать Пунические войны[7]. Кафедра русской истории тогда ожидала еще профессора. По русскому законодательству мы были на руках г. Горюшкина, славившегося тогда в Москве всеобъемлющим законоведением, разумом в сочинении прошений и практическим знанием применять закон к данному случаю. Под руководством его можно было научиться писать прошения на высочайшее имя по изданной форме и по пунктам. Если дозволено назвать это недостатками, то нельзя не принять в уважение, что тогда не было еще ни «Русской истории» Карамзина, ни «Полного собрания», ни «Свода законов»[8], ни лицеев, ни училища правоведения.

Фонвизин Д. И.

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ В ДЕЛАХ МОИХ И ПОМЫШЛЕНИЯХ*

<...>Остается мне теперь сказать об образе нашего университетского учения; но самая справедливость велит мне предварительно признаться, что нынешний университет уже не тот, какой при мне был. Учители и ученики совсем ныне других свойств, и сколько тогдашнее положение сего училища подвергалось осуждению, столь нынешнее похвалы заслуживает. Я скажу в пример бывший наш экзамен в нижнем латинском классе. Накануне экзамена делалося приготовление; вот в чем оно состояло: учитель наш пришел в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзоле четыре; удивленный сею странностию, спросил я учителя о причине. «Пуговицы мои вам кажутся смешны,— говорил он,— но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значат пять склонений, а на камзоле четыре спряжения; итак,— продолжал он, ударяя по столу рукою,— извольте слушать все, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смело отвечайте: второго склонения. С спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете». Вот какой был экзамен наш! О вы, родители, восхищающиеся часто чтением газет, видя в них имена детей ваших, получивших за прилежность свою прейсы**, послушайте, за что я медаль получил. Тогдашний наш инспектор покровительствовал одного немца, который принят был учителем географии. Учеников у него было только трое. Но как учитель наш был тупее прежнего, латинского, то пришел на экзамен с полным партищем пуговиц, и мы, следственно,

* Написание слов и пунктуация в данной публикации соответствуют традиции XVIII в. *(Прим. сост.)*.

** Награды *(нем.)*.

экзаменованы были без всякого приготовления. Товарищ мой спрошен был: куда течет Волга? *В Черное море,*— отвечал он; спросили о том же другого моего товарища; *в Белое,*— отвечал тот; сей же самый вопрос сделан был мне; *не знаю,*— сказал я с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно мне медаль присудили. Я, конечно, сказать правду, заслужил бы ее из класса практического нравоучения, но отнюдь не из географического. <...>

Склонность моя к писанию являлась еще в младенчестве, и я, упражняясь в переводах на российский язык, достиг до юношеского возраста. Глас совести велит мне сказать, что сего дня *от юности моея мнози борят мя страсти.*

А какие они были, то возвестит книга вторая...

В университете был тогда книгопродавец, который услышал от моих учителей, что я способен переводить книги. Сей книгопродавец предложил мне переводить Голберговы басни[1]; за труды обещал чужестранных книг на пятьдесят рублей. Сие подало мне надежду иметь со временем нужные книги за одни мои труды<...>

В бытность мою в университете учились мы весьма беспорядочно. Ибо, с одной стороны, причиною тому была ребяческая леность, а с другой — нерадение и пьянство учителей. Арифметический наш учитель пил смертную чашу; латинского языка учитель был пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков, но голову имел преострую и как латинский, так и российский язык знал очень хорошо.

В сие время тогдашний наш директор[2] вздумал ехать в Петербург и везти с собою несколько учеников для показания основателю университета[3] плодов сего училища. Я не знаю, каким образом попал я и брат мой[4] в сие число избранных учеников. Директор с своею супругою и человек десять нас, малолетних, отправились в Петербург зимою. Сие путешествие было для меня первое и, следственно, трудное, так, как и для всех моих товарищей; но благодарность обязывает меня к признанию, что тягость нашу облегчало весьма милостивое внимание начальника. Он и супруга его имели смотрение за нами, как за детьми своими; и мы с братом, приехав в Петербург, стали в доме родного дяди нашего. Он имеет характер весьма кроткий, и можно с достоверностью сказать, что во всю жизнь свою с намерением никого не только делом, ниже словом не обидел.

Чрез несколько дней директор представил нас куратору. Сей добродетельный муж, которого заслуг Россия позабыть не должна, принял нас весьма милостиво и, взяв меня за

руку, подвел к человеку, которого вид обратил на себя почтительное мое внимание. То был бессмертный Ломоносов! Он спросил меня: чему я учился? «По-латыни»,— отвечал я. Тут начал он говорить о пользе латинского языка с великим, правду сказать, красноречием. После обеда в тот же день были мы во дворце на куртаге; но государыня не выходила. Признаюсь искренно, что я удивлен был великолепием двора нашей императрицы. Везде сияющее золото, собрание людей в голубых и красных лентах, множество дам прекрасных, наконец, огромная музыка — все сие поражало зрение и слух мой, и дворец казался мне жилищем существа выше смертного. Сему так и быть надлежало: ибо тогда был я не старее четырнадцати лет, ничего еще не видывал, все казалось мне ново и прелестно<...>

Но ничто в Петербурге так меня не восхищало, как театр, который я увидел в первый раз отроду. Играли русскую комедию, как теперь помню, «Генрих и Пернилла»[5] Тут я видел Шумского, который шутками своими так меня смешил, что я, потеряв благопристойность, хохотал из всей силы. Действия, произведенного во мне театром, почти описать невозможно: комедию, виденную мною, довольно глупую, считал я произведением величайшего разума, а актеров — великими людьми, коих знакомство, думал я, составило бы мое благополучие. Я с ума было сошел от радости, узнав, что сии комедианты вхожи в дом дядюшки моего, у которого я жил. И действительно, чрез некоторое время познакомился я тут с покойным Федором Григорьевичем Волковым, мужем глубокого разума, наполненного достоинствами, который имел большие знания и мог бы быть человеком государственным. Тут познакомился я с славным нашим актером Иваном Афанасьевичем Дмитревским, человеком честным, умным, знающим и с которым дружба моя до сих пор продолжается. Стоя в партерах, свел я знакомство с сыном одного знатного господина, которому физиономия моя понравилась; но как скоро спросил он меня, знаю ли я по-французски, и услышал от меня, что не знаю, то он вдруг переменился и ко мне похолодел: он счел меня невеждою и худо воспитанным, начал было надо мною шпынять; а я, приметя из оборота речей его, что он, кроме французского, коим говорил также плохо, не смыслит более ничего, стал отъедаться и моими эпиграммами загонял его так, что он унялся от насмешки и стал звать меня в гости; я отвечал учтиво, и мы разошлись приятельски. Но тут узнал я, сколько нужен молодому человеку француз-

ский язык, и для того твердо предпринял, и начал учиться оному, а между тем продолжал латинский, на коем слушал логику у профессора Шадена, бывшего тогда ректором. Сей ученый муж имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши были очевидны и мы с братом скоро потом произведены были в студенты. В самое же сие время не оставлял я упражняться в переводах на российский язык с немецкого: перевел «Сифа, царя египетского»[6], но не весьма удачно. Знание мое в латинском языке пособило мне весьма к обучению французского. Через два года я мог разуметь Волтера и начал переводить стихами его «Альзиру». Сей перевод есть не что иное, как грех юности моея, но со всем тем встречаются и в нем хорошие стихи.

В 1762 году был уже я сержант гвардии[7]; но как желание мое было гораздо более учиться, нежели ходить в караулы на съезжую, то уклонялся я сколько мог от действительной службы. По счастию моему, двор прибыл в Москву, и тогдашний вице-канцлер[8] взял меня в иностранную коллегию переводчиком капитан-поручичья чина, чем я был доволен. А как переводил я хорошо, то покойный тогдашний канцлер[9] важнейшие бумаги отдавал именно для перевода мне<...>

Жихарев С. П.

ДНЕВНИК СТУДЕНТА

1805-Й ГОД

2 января, понедельник

Не беспокойся, любезный брат, я не перестану быть твоим неизменным Гриммом[1]. Писать к тебе обратилось мне в привычку. Благодарю за присылку денег; теперь, вероятно, не одна красненькая запечатывается в пакет для подарка новому студенту. Звание мое не безделица и порадует моих домашних. Ожидаю непременно экстраординарной благостыни. Правду сказать, если б кто шесть месяцев назад вздумал предрекать мне, что в нынешний новый год я поеду поздравлять родных и знакомых моих в синем мундире с малиновым воротником и при шпаге, я бы принял это за обидную насмешку. Однако ж это сбылось. Конечно, прилежания, трудов и хлопот было немало, но что значило бы все это без помощи и содействия доброго моего Петра Ивановича?* Он об успехах моих заботился более меня самого. Математика мне не очень далась; но на нее не обратили внимания, и Алексей Федорович** — дай бог ему здоровья — сильно поддерживал меня.

Вчера ездил с поздравлением к графу Ивану Андреевичу***, Ивану Петровичу Архарову... к брату Ивану Петровичу****...

Граф Иван Андреевич[2] добивался, сколько мне лет и куда я намерен определиться в службу. Не хотел верить, что мне только 16 лет. Не советовал служить в архиве[3], но ехать прямо в Петербург и определиться в коллегию[4], спер-

---

* Магистр Богданов. *(Прим. авт.)*
** Мерзляков, адъюнкт-профессор. *(Прим. авт.)*
*** Остерман, государственный канцлер. *(Прим. авт.)*
**** Поливанов, впоследствии сенатор. *(Прим. авт.)*

ва на черную работу; обещал дать к кому-то письмо; обласкал, однако ж не посадил. Старик чем-нибудь огорчен или угрюм по природе. Зато как обнимал меня Иван Петрович Архаров[5]! Созвал все семейство смотреть на мой мундир и чего-чего не наговорил: называл милым, умницею, родным и проч. Заставлял насильно завтракать, приглашал обедать, хотел пить шампанское за мое здоровье — словом, я не знал, куда деваться от его нежностей. Говорят, что он со всеми таков, и, чем малозначительнее человек, тем больше он старается обласкать его. Это мне растолковала тетка, которая, бог знает почему, называет эту приветливость кувырканьем; иначе я мог бы возмечтать о себе и бог знает что! Между тем я сегодня попал туда, куда бы и ездить не следовало. Кудрявцев, в великой заботе о моих знакомствах, возил меня к графу Михаилу Федотовичу Каменскому[6], бог весть зачем, разве только для того, чтоб похвастаться своими связями и что он некогда в кадетском корпусе преподавал графу немецкий язык. Граф бесспорно знаменитый полководец и недаром фельдмаршал, но мог бы и не уничтожать меня своим приемом: «В какой это ты, братец, мундир нарядился? В полку бы тебе не мешало послужить солдатом: скорее бы повытерли». И только. Не посадил; простоял больше часу, покамест старики вдоволь не наговорились о прежнем житье-бытье: видишь, в их время будто бы все было лучше. Немудрено: в их время у них зрение было острее, слух был тонее и желудок исправнее.

Таскался по профессорам: я начал с Страхова и кончил Снегиревым. Добрые, благонамеренные, почтенные люди! все время жизни своей посвящают другим, в беспрерывных трудах, а с нашей стороны признательности немного. Вот, пример, хоть бы взять Никифора Евтроповича*. До сих пор, как только появится на кафедре, так тотчас наши шалуны и давай повторять третьегоднишную его фразу: «Оное Гарнеренево воздухоплавание не столь общеполезно, сколько оное финнов Петра Великого о лаптях учение есть»...[7]

28 июня, среда

Мы непременно выезжаем в воскресенье, 2 июля, и прямо в Липецк, потому что мои домашние должны быть теперь

---

* Профессор Черепанов. (*Прим. авт.*)

уже там. Болезнь унесла у меня много времени и осадила меня по крайней мере на месяц...

Сообщаю тебе последнее из Москвы сведение: табель профессорских лекций на будущий университетский курс, о которой ты так заботился для Верзилина. Предчувствую, что недолго слушать мне добрых моих профессоров. Отец, обрадовавшись моему 12-му классу, торопит службою.

Физику	Страхов
Натуральную историю	пр. Антонский
Философию	Брянцев
Статистику	Гейм
Эстетику	Сохацкий
Чистую математику	Аршеневский
Историю	Черепанов
Российское право	Горюшкин
Теорию законов	Цветаев
Теорию поэзии	Мерзляков
Приложение алгебры к геометрии	Загорский
На французском языке	
Историю натуральную и сравнительную анатомию	Фишер
Естественное и народное право	Шлецер
Химию	Рейс
Нравственную философию	Рейнгард
Астрономию	Гольдбах
На немецком языке	
Высокую геометрию	Иде
Ботанику	Гофман
Немецкую литературу	Санглен

Особенные уроки, lectiones privatae, и особеннейшие, privatissimae, зависят от взаимных условий желающих учиться с профессорами.

23 декабря, суббота

Экзамены кончились благополучно, и акт прошел как следует, то есть как проходил он двадцать лет назад и проходить будет опять через двадцать лет. Спрашивали известное, отвечали заученное, представляли судебное действие Горюшкина[8], в котором нет никакого действия; любовались рисунками, рисованными учителем Синявским, под видом поправок; играли на клавикордах те же пьесы,

которые играли прошлого года и будут играть в будущем году все те же братья Лизогубы; танцевали тот же балет с гирляндами, которым старик Морелли[9] угощает посетителей ежегодно в продолжение почти четверти века; читали «Благость» Мерзлякова[10], «Гения» Петра Ивановича, «Гимн истине» Грамматина с поправками Жуковского, очень несчастное «Счастие» Соковнина, «Французский диалог» вроде разговора: «Comment portez-vous?» — «Très bien, monsieur»* Провозгласил и я немецкую речь Hochzuverehrende Versammlung**, которую подсказывал мне приехавший в отпуск Александр Тургенев и которой никто не слушал,— словом, все прошло как нельзя лучше. Столичное начальство делало комплименты Антонскому, а он передавал их учителям и некоторым воспитанникам. Все довольны, но более всех доволен я, потому что все это кончилось...

1806-Й ГОД

21 января, воскресенье

Добродушный хитрец Антон Антонович в самом деле думает, что я ничем не занимаюсь, кроме театра. Я пришел просить его о выдаче мне студенческого аттестата, а он свое: «А больше учиться-та не хочешь?» — «Не хочу, Антон Антоныч».— «Как Митрофанушка-та: не хочу учиться, хочу жениться?» — «Хочу, Антон Антоныч».— «Небось туда же в дармоеды-ты, в иностранную коллегию?» — «Туда и отправлюсь, Антон Антоныч».— «Ректората попроси, а я изготовить аттестат велю. А новые стихи-та Жуковского знаешь?» — «Знаю, Антон Антоныч».— «Ну-ка, прочитай-ка».

«...Поэзия, с тобой
И скорбь, и нищета теряют ужас свой!
В тени дубравы, над потоком,
Друг Феба с ясною душей
В укромной хижине своей,
Забывший рок, забвенный роком,
Поет, мечтает — и блажен!
И кто, и кто не оживлен
Твоим божественным влияньем?
Цевницы грубыя задумчивым бряцаньем
Лапландец, дикий сын снегов,

---

* «Как вы себя чувствуете?» — «Прекрасно, сударь!» *(франц.)*
** Высокочтимое собрание *(нем.)*.

Свою туманную отчизну прославляет
И неискусственной гармонией стихов,
Смотря на бурные валы, изображает
И хладный свой шалаш, и шум морей,
И быстрый бег саней,
Летящих по снегам с еленем быстроногим...»[11]

«Полно-та, полно-та! — вскричал мой Антонский, развеселившись,— уж вижу, что знаешь. Когда успеваешь выучивать-та? все с актерками танцуешь-та!» — «Я стихов не учу, Антон Антоныч, сами в память врезываются».— «Ну а прозу также помнишь-та?» — «Помню, Антон Антоныч».— «Ну-ка, прочитай что-нибудь, хотя из «Марфы Посадницы» или из «Вадима»-та!»

«Раздался звук вечевого колокола — и вздрогнули сердца в Новгороде!»[12] «Безмолвные дубравы, тихие долины, обители меланхолии! к вам стремлюсь душою, певец природы, незнаемый славою: сокройте меня, сокройте!..»[13]

Я отхватил ему пол-«Посадницы» и чуть не треть «Вадима», и мой Антонский давай целовать меня! «Слышал, слышал, что у тебя память-та хороша, а этого не ожидал. Говорят, что и «Пророков» знаешь, и «Притчи», и «Иисуса Сираха».— «Знаю, Антон Антоныч».— «Ну, жаль, жаль, что я прежде-та не знал, а теперь Христос с тобой. Да съезди в Донской и молебен отслужи».

Антонский полагает, что молебны действительнее в Донском монастыре, потому что брат его там архимандритом.

15 февраля, четверг

Наконец получил я сегодня аттестат свой, подписанный вчера Страховым, и окончательно распростился как с ним, так и с Антонским и со всеми профессорами, кроме Мерзлякова, с которым прощусь 18 числа, в день моего рождения, у нас на пирушке. Не думал я так скоро оставить университет и оставить его таким олухом, в каком-то нравственном расслаблении; а каким молодцом, с какими энергическими надеждами, с какою самоуверенностью в непременных успехах я вступал в него! Вот тебе и успехи!..

Впрочем, все к лучшему! С самого детства я так привык верить в промысл, что теперь, не будучи ни ханжою, ни суевером, ни изувером, ни лицемером, без всякого опасения и предосторожности пускаюсь в житейское море, предаваясь какому-то особому безотчетному путеводному чув-

ству. Знаю, что человек посылается в этот пестрый мир не для того только, чтоб покоиться на розах; но знаю также, что он и не осужден целую жизнь жариться на решетке св. Лаврентия[14]. Если бог продлит веку, придется отведать всего: и горького и сладкого, но я убежден в одном, что если мера горестей превзойдет меру радостей, то последние, в замену, будут сильнее и живее, и наоборот, а потому:

Смелее с жизнью в бой! advienne quá pourra!*
Ура! Ура!

15 апреля, воскресенье

Обедал у Антонского с Страховым, протоиереем Малиновским, Мерзляковым, Буле, Двигубским, Буринским и Петром Ивановичем, которому он поручил непременно привезти меня. «Своего-та привезите,— сказал он Петру Ивановичу,— мы с ним жили-та не в большом ладу, надобно помириться-та». Сверх чаяния моего, обед был очень веселый и очень сытный. Говорили большею частью о новых университетах: Харьковском и Казанском, открытых в прошедшем году; хвалили очень выбор кураторов: графа Потоцкого и Румовского. Страхов утверждал, что они отлично знают свое дело. Превозносили государя, который так печется о распространении просвещения, и удивлялись, как в такое беспокойное военное время[15] он успевает всем заниматься.

Страхов спрашивал Буле и Двигубского, готовят ли они что-нибудь к торжественному акту. Буле отвечал, что он намерен написать диссертацию о лучшем способе сочинить историю народов, населявших Россию прежде IX века, а Двигубский объявил, что будет говорить о нынешнем состоянии земной поверхности. Слава богу! это уже не прежние сухие рассуждения, никого не интересующие, следовательно, на акте будут говорить и слушать дельное. Отец Федор сказывал, что и он, на старости лет, хочет произнести, может быть в последний раз, написанное уже им слово о том, что милость есть главная обязанность, достойная человека, и вместе собственное его благополучие. Пили за здоровье государя, министра просвещения, куратора и Страхова как ректора уни-

* Будь что будет! *(франц.)*

верситета, а при конце обеда хозяин предложил выпить и заупокойную чашу в воспоминание почтенного Харитона Андреевича, скончавшегося в начале прошлого года[16]. Между прочим, Страхов объявил, что мы наконец будем иметь краткую историю университета, которою занимается Павел Афанасьевич Сохацкий, по давнему желанию куратора М. Н. Муравьева...

Тимковский Е. Ф.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 1805 — 1810 гг. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

...На другой день по моем вступлении в университет праздновали юбилей, т. е. 50 лет его существования. Торжество великолепное, при многолюдном стечении знаменитостей московских, украшенное стройными хорами Данилы Кашина, кои превосходно пели университетские певчие с аккомпанировкою прекрасной музыки графа Ал<ексея> Кир<илловича> Разумовского, все это восхитило меня до небес.

Потом еще через год, т. е. в 1806 г. после строгого экзамена, я произведен в действительные студенты университета.

Взгляните на этого 16-летнего юношу в день университетского годичного собрания. С каким радостным трепетом принимает он из рук своего ученого начальника маленькую шпагу. Он уже *офицер* — важный человек в нашей географической долготе и широте. Он близок к совершеннолетию, и как сильно бьется его сердце... Словом сказать: это молодой студент! Он во цвете лет, во цвете радостей и надежд своих. Он стоит в мирной пристани наук; на все взирает сквозь светлую призму добродушной неопытности и только готовится еще запастись всеми потребностями к предстоящему плаванию по морю, которое так часто вздымается напастей бурею. О, юноша! Помедли в сей блаженной храмине, под крылом твоих добрых наставников, в тесном круге твоих товарищей-друзей. Но твоя душа сгорает нетерпением; любопытство подстрекает тебя скорее вкусить из тяжелой чаши светских наслаждений и скорбей... Исполненный таких чувствований, я начал посещать университетские лекции профессоров, русских и немцев, людей с глубокою ученостью. По преданию, или по какой-то симпатии, были между ними наставники — наши любимцы, которых мы почти

боготворили, не менее стародавних учеников блистательного Платона, достойного ученика Сократова, или гениального, светского Аристотеля, законодателя всех наук, коего произведения, основанные на опытности, составляли некогда единственное чтение царей. К другим (бог да простит им и нам) являлись мы в классы по долгу ученической исправности, для исполнения предписанного начальством годичного учебного курса...

С другой стороны, в челе наставников первой категории я доселе с признательностью почитаю профессора физики П. И. Страхова, получившего превосходное образование в заграничных университетах, и особенно в Париже, потом профессора русской словесности А. Ф. Мерзлякова, любимого поэта тех времен, а равно профессора латинской и греческой словесности П. А. Сохацкого. К ним, по всем правам, должен быть причислен профессор статистики И. А. Гейм, читавший лекции свои хотя и неправильным русским языком, как иностранец, но всегда умно и привлекательно. Между немцами я уважал более всех ученого и отменно доброго профессора практической, или нравственной, философии Рейнгарда и Буле, профессора логики и метафизики, истории, философии и проч.

Не берусь произнести оценку моим наставникам в частности. Каждый из них имел свою меру знаний, свои достоинства и заслуги; но с другой стороны, в некоторых из них очевидно отражался дух келии и лампады, как на языке, так и на одежде, и самом образе жизни. Притом, к сожалению, не все из них обладали даром слова — необходимым условием для хорошего преподавателя публичных уроков. Профессор, по моему мнению, непременно должен быть основательно ученый, благообразный, скромный и красноречивый оратор, даже несколько светский человек, как, например, блаженной памяти Страхов, Шлецер (сын знаменитого историка), и даже мой незабвенный Рейнгард, бывший прежде, как говорят, пастором в Ростоке,— мудрец, который привлекал пламенною беседою своей, украшал прелестными очарованиями все правила нравственности и которому внимая в восторге не раз готов я был сказать, подобно древнему Эсхину: «Сократ, я беден, отдаю тебе себя; вот все, что я могу принесть тебе!»[1]

Должен я, однако, сознаться, что уроки наших почтенных наставников могли бы принести обильнейшие и лучшие плоды, если бы они принимали на себя труд лично, или через репетиторов, от времени до времени заглядывать

в духовную сокровищницу своих молодых слушателей и таким образом поверять их успехи, степень их прочного обогащения нужными познаниями или же отвращать какую-либо пагубную растрату талантов, ниспосланных им от бога и раскрытых благонамеренными учителями. Согласитесь, любезные слушатели или читатели, что какой-нибудь 16-летний студент, не всякий, и конечно уже не всегда, может охотно с постоянным вниманием углубляться в темный кладезь премудрости или с напряженною бодростию преходить довольно сухое и тернистое поле, особливо в начале, наук философского, политического или математического отделения... Преследуйте бдительным оком учебные занятия и самую жизнь юноши, еще не твердо стоящего на пути благоразумия, легко ослабевающего под тягостию учения и тем скорее увлекаемого живостию чувств в мрачную сферу рассеянности...

Невзирая на разные лишения и самые неудобства, мое университетское учение шло общим путем. И тут природные дарования выкупали то, что теряла беспечность; и тут я удостоился получить серебряную медаль за мою диссертацию — рассуждение на латинском языке на задачу из уголовного права. Золотая досталась в награду отличному лифляндцу В. Шнейдеру...

Патриархальная простота господствовала тогда в университете, особливо между студентами казенными, т. е. получающими жалованье и живущими в университетском здании. Многие из них остались верными ей и на высших степенях государственной службы... О вольноприходящих, или своекоштных, товарищах моих ничего не могу сказать; ибо они отделены были от нас — казенных, как говорится, и временем и пространством...

Всякое учение требует отдыха и разнообразия. Приятнейшим для меня занятием в часы досуга было чтение книг... Путешествия более всего занимали меня...

Не могу без умиления вспомнить о сладких часах того упоения, в которое приводила меня игра хороших актеров. На московской сцене отличались тогда: престарелый Померанцев, как уверяли, портрет славного парижского актера Моле, Плавильщиков, Злов, Мочалов, а равно искусный комик Сила Сандунов, жена его г-жа Сандунова, пленявшая всех своим очаровательным пением, подобно как восхищала игрою актриса Воробьева и проч. <...>

Неглубокие дипломаты были мы с незабвенным, добрейшим братом моим Романом Ф[едоровичем]. Возможность

вторжения Наполеона в самые недра нашего отечества была слишком невероятна для нас. Итак, по окончании университетского учебного курса, мы с братом отправились в июне рокового 1812 г. к берегам нашей тихой Згари... Проведя месяца полтора в тесном родственном кругу... мы в конце августа поехали обратно в Москву. Но что же? В Орле нас встретили плачевною вестию: нет уже Москвы! Она пала славною жертвою во искупление всей России и даже Европы...

Частыми письменными разведываниями... кое-как отыскали мы... наше благотворное университетское начальство, кажется, в Нижнем Новгороде. Получив наконец от него и родительский призыв, и денежное пособие, мы поспешили отъездом своим в Москву еще в марте 1813 г. <...>

Кто из россиян не знает, в каком страшном положении, в каком плачевном виде была Москва, по выходе из нее мстительных полчищ французских...

С Поклонной горы, на Серпуховской дороге, представилась глазам моим, в глубоком трауре, Москва... Между развалинами пустых домов и палат, закоптевших от дыма, по черным улицам побежал я тотчас в университет. Одни опаленные стены сего достославного храма наших муз стояли передо мною, как вещий скелет славного человека, и в самом истлении поучающего своих потомков.

По особенному вниманию начальства к брату моему[2] немедленно были мы с ним водворены в университетском флигеле, уцелевшем от рокового пожара. Встреча моя с товарищами была истинно трогательна; но их осталось уже немного. Волею правительства, на то время отменено было постановление, чтобы казенные воспитанники, по окончании университетского курса, прожили в ученом звании (так-то оно привлекательно) по крайней мере шесть лет. Вследствие такого разрешения, многие студенты и ученики тогда же поступили в службу, военную или гражданскую. На мою долю... выпала последняя...[3]

Свербеев Д. Н.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Нисколько не подготовившись к слушанию университетских лекций, все мы допущены были в университет без всякого экзамена вольными слушателями. Когда я в первый раз предстал перед грозным ректором, профессором статистики Иваном Андреевичем Геймом, известным, впрочем, не статистикой, а своим российско-немецким словарем[1], беззубый немец удивился нежной моей юности и покачал головой. Тогда на право слушания лекций выдавалась каждому на латинском языке табель, в которой по каждому факультету выставлены были с именами профессоров все предметы университетского учения, ректор отмечал в них, по собственному своему усмотрению, все предметы, слушание которых делалось для снабженного табелью обязательным. Мне на первый год предписано было постоянное посещение следующих лекций: статистики Гейма, славянской словесности у Гаврилова, российской словесности у Мерзлякова, таковой же истории у Каченовского, всеобщей истории у Черепанова, чего-то вроде риторики у Победоносцева, логики у Брянцева, латинского языка и римских древностей у Тимковского, немецкого и французского языка у каких-то басурманов, и, наконец, по собственной охоте, учился я танцеванию у Морелли. В наше время мы не имели счастия слушать ни пространного катехизиса, ни богословия. Поскольку старый университет после пожара не начинал еще отстраиваться, то все кафедры, кроме медицинского факультета, помещались в четырех аудиториях в небольшом каменном доме купца Яковлева, в Долгоруковском, между Тверской и Никитской, переулке; там же была и камера для университетских заседаний, и канцелярия правления. В нижних этажах здания размещены были на самых тесных квартирах в 4 или 5 па-

латах казенные студенты всех факультетов, за исключением медиков; инспектор же их жил опять-таки наверху. Все жило в тесноте, теперешнему уму непостижимой, и все жило ладно. Лекции начинались зимой при свечах желтых, сальных, вонючих; утренние кончались в 12 часов, возобновлялись тотчас после обеда казенных студентов в 2 ч. и продолжались до 6 ч., и это всякий день, к неописанному нашему удовольствию.

Чуть ли не слишком много насчитал я себе профессоров на первый год моего курса. Все университетское 4-летнее пребывание представляется моей памяти как-то смешанно, безотчетно, а происходит это оттого, что я был слишком молод и даже, по отношению к самой моей молодости, слишком мало приготовлен к серьезному слушанию университетских лекций. По-русски умел кое-как составить правильный период, но не знал правописания. Русскую историю до Петровского времени я знал в главных чертах, о новейшей не имел я никакого понятия, то же и со всеобщей. Греки и римляне были еще мне сведомы; дошли до моего слуха и варвары, и переселение народов, и средние века, но что касается реформации и особливо французской революции, такой близкой к моему отрочеству, то я всегда боялся, когда меня о них что-нибудь спрашивали. Благодаря Никольскому мне далась латынь. Корнелий Непот, Цицерон, Тит Ливий были мне, судя по годам, довольно доступны. По-французски я мог читать, по-немецки долбил неправильные глаголы и приходил в отчаяние от длинных периодов этого языка с отсеченною от глагола частичкой в конце периода. В бытность мою на полупансионе у Мерзлякова подготовление к лекциям шло из рук вон дурно, а потому и самое преподавание профессоров, как оно ни было поверхностно, не могло идти впрок ни одному из моих сверстников-студентов. В наше время можно было разделить студентов на два поколения: на гимназистов и особенно семинаристов, уже бривших бороды, и на нас, аристократов, у которых не было и пушка на губах. Первые учились действительно, мы баловались и проказничали. Впрочем, и самый университет в 1813 г. в составе своем был гораздо плоше, чем за год или за два перед французами. Он лишился к этому времени лучших представителей науки: из русских — красноречивого профессора Страхова, а из германских своих ученых — Маттеи, Рейнгардта, Бунге, Буле и др. При всей моей несостоятельности некоторых профессоров своих слушал я охотно и — сколько мо-

3 Заказ № 858

гу за отдаленностью воспоминаний — постараюсь дать самому себе отчет в том, что я именно слушал с прилежанием. Начну, как и следует, с хозяина нашего пансиона, профессора Мерзлякова.

Он был человек несомненно даровитый, отличный знаток и любитель древних языков, верный их переводчик в стихах, несколько напыщенных, но всегда благозвучных, беспощадный критик и в этом отношении смелый нововводитель, который дерзал, к соблазну современников, посягать на славу авторитетов того времени, как, напр., Сумарокова, Хераскова, и за то подвергался не раз гонению литературных консерваторов. Иногда, но уже робкой рукой, касался он в строгих своих разборах и самого Державина, окруженного в то время ореолом славы[2]. Тогда только что появились в полном собрании его сочинения, где преобладала жалкая посредственность рядом с самою возвышенною звучною поэзией. У Мерзлякова было более таланта, чем постоянства и прилежания в труде... В его преподавании особенно хромал метод. К своим импровизированным лекциям он, кажется, никогда не готовился; сколько раз случалось мне, почему-то его любимцу, прерывать его крепкий послеобеденный сон за полчаса до лекции; тогда второпях начинал он пить из огромной чашки ром с чаем и предлагал мне вместе с ним пить чай с ромом. «Дай мне книгу взять на лекцию»,— приказывал он мне, указывая на полки. «Какую?» — «Какую хочешь». И вот, бывало, возьмешь любую, какая попадется под руку, и мы оба вместе, он, восторженный от рома, я навеселе от чая, грядем в университет. И что же? Развертывается книга, и начинается превосходное изложение. Какого бы автора я ему ни сунул, автор этот втесняется во всякую рамку последовательного его преподавания; и басня Крылова, если она подвернется, не мешала Мерзлякову говорить о лиризме, когда в порядке, им задуманном, нужно было говорить о лириках. Таков был Алексей Федорович Мерзляков в мое время, имевший сверх того и как поэт, по преимуществу поэт-лавреат, т. е. поэт торжественных случаев, огромные достоинства. Он умел заказной казенной оде дать смысл и облечь ее одушевленною торжественностью. Студенты его любили и уважали, он был с ними добр и не заносчив. Учтивости от профессоров мы не требовали.

Второй из любимых моих профессоров был Михаил Трофимович Каченовский, желчный, пискливый, подозрительный, завидливый, человеконенавистный скептик, раз-

биравший по всем косточкам и суставчикам начатки российской истории, которую он преподавал, ничего не принимавший на одну веру, отвергавший всякое предание,— одним словом, сомневавшийся во всем. Верил он одному только Нестору, не верил ни «Русской правде» Ярослава Великого, ни духовному завещанию Владимира Мономаха, ни подлинности «Слова о полку Игореве», ни тому, что куньи мордки заменяли монету. В изложении всякого рода исторических сомнений и опровержении достоверности источников проходил целый год курса. Бывало, начнет перечислять славянские и другие племена по Нестору, бьется с ними целый месяц и никак не сладит с корсами, что это был за народ или народец. Дойдет до них дело, и мы, бывало, спрашиваем: «Что же, Михаил Трофимович, корсы?» — «Очень уж ты любопытен! Корсы пусть будут корсы; будет с вас. Мне и варягов определить мудрено». Все знают, как впоследствии он сох и желтел от успеха истории Карамзина и как под нее подкапывался[3]. Многие помнят бранчливое к нему послание кн. Вяземского[4], начинающееся следующими словами:

Перед судом ума сколь Каченовский жалок,
Талантов низкий враг, завистливый зоил...[5]

Несмотря на то, он был человек умный и достойный глубокого уважения по истинной любви к честному и бескорыстному труду и по своему критическому таланту, который, к сожалению, не всегда отличался беспристрастием.

Довольно еще молодой по сравнению со своими учеными товарищами — профессор латинской словесности и римских древностей Роман Федорович Тимковский, учившийся в Геттингенском университете, отличался от всех благовидной, красивой наружностью, приличными манерами и пристойной одеждой того времени. Он страстно любил древнюю словесность и был, так сказать, нежен к тем немногим из своих студентов, которые охотно занимались его предметом. Таких было немного, человек пять из старших гимназистов и семинаристов с основательным познанием латыни, а между молодыми — я из первых. Мы переводили с ним à livre ouvert* которого-нибудь из римских классиков, но мне не удалось дойти в латыни до Тацита. Тимковский преподавал также греческий язык, но — увы! — на этих уроках у него было всего трое слушателей из семинаристов.

* С листа (*франц.*).

Ученик Вольфа, соученик Канта, философ Андрей Михайлович Брянцев, чуть ли не 80-летний старик, в голубом своем кафтане, со стоячим воротником и перламутровыми большими пуговицами, с седыми волосами à la vergette*, при косе, восходил на свою кафедру ровно в 8 часов утра, следовательно, зимой при свечах, и преподавал нам неудобоисследуемую пучину логики и метафизики. Он всецело принадлежал какому-то допотопному времени, объяснял нам свои премудрости в сухих выражениях, недоступных нашему пониманию. Его ученая терминология была латино-германская; его наука была нещадно сухая и схоластическая; даже русский язык испещрен был какими-то старинными словами, оскорблявшими наш слух. Он употреблял *СКОРЯЕ* вместо скорее, *ЧЕГО ДЛЯ* вместо для чего и т. д. Тешил он юных студентов, сам того, конечно, не желая, презабавными примерами, избираемыми им для своих силлогизмов и логических доказательств. Ему особенно любезен был Кай; напр., в простом силлогизме, что все люди смертны, второю посылкой всегда было: «Кай человек, следовательно, Кай смертен». Для силлогизма рогатого, а может быть для какой-нибудь другой логической демонстрации, которой выводы я забыл, он между прочим говорил нам с кафедры:

Танцевальщик танцевал,
А в углу сундук стоял;
Танцевальщик не видал,
Что в углу сундук стоял,
Зацепился и упал.

Что из этого следовало,— извините, я забыл.

Жизни он был самой строгой и аскетически суровой; глубоко религиозный, чуждался всякого общества. Сказывают, что, кончив свою лекцию и побывав иногда в конференции университетского совета, все свободное время проводил он с любимым своим котом. Я вгладь ничего не понимал в его лекции и, придя на лавку к 8 часам утра, еще не проспавшись, имел привычку зевать во всеуслышание. Один раз юнейшие из моих товарищей пристали ко мне и навели зевоту на самого нашего мудреца, что заставило его сделать мне, давно уже замеченному в таких проделках, строгое и вместе гуманное замечание.

Из такой краткой характеристики профессора Брянцева читатели мои увидят, что я учился очень плохо и что во

* Как щетка *(франц.)*.

мне развивалась в стенах университета одна способность — схватывать смешную сторону моих наставников; да простит мне эту слабость строгая фигура Брянцева! Он, как уверяли меня впоследствии мои товарищи, продолжавшие изучать философию, был замечательный мыслитель своего времени, немногими понятый и оцененный. Покойный Мих<аил> Александр<ович> Дмитриев, занимавшийся целую жизнь философией, говорил о Брянцеве, что сам всеразрушающий Кант не отрекся бы признать в своем соученике брата во философии. Когда я с обычным моим глумлением припомнил Дмитриеву дефиницию души: «Душа есть безусловное условие всякого условия», Дмитриев объяснял мне глубокий смысл этого изречения, и я, в том убежденный, с ним соглашался, но теперь должен признаться, что опять позабыл глубокий смысл дефиниции.

Профессор всеобщей истории, Никифор Евтропиевич Черепанов, был бичом студенческого рода. Он умерщвлял в нас всякое умственное стремление к исторической любознательности, будучи сам воплощенною скукою и бездарностью. И такого-то профессора в коротко обстриженном рыжем парике, в коричневом полинялом фраке, в пестром жилете, в желтых панталонах с пятнами, немытого и с небритой бородой, обязаны мы были слушать в послеобеденное время с 2-х часов до 4-х без перерыва. Такую пытку пришлось мне выдерживать целые два года и прослушать бессвязные его сказания об Ассирийской, Вавилонской, Мидийской и Персидской монархиях с самыми сухими подробностями и в непонятном переводе древних историков. Как же мы его слушали все без исключения!

Не успеет пройти $^1/_4$ часа, и уже начинает слышаться сопенье, а потом и храпенье то в том, то в другом углу обширной аудитории, наполненной до тесноты студентами. (Всеобщая история была обязательна для всех студентов.) Не засыпали у него только те, которые запасались какой-нибудь книгой. Читал он вяло, длинно, монотонно и каким-то гробовым голосом. Раз как-то неумышленно разыгралась в этом классе презабавная историйка. Ему, входящему в этот класс с поклонами слушателям, мы отвечали шарканьем и продолжали этот шум и скрип от наших ног гораздо дольше, чем было нужно для поклона. Он догадался, что тут вместо овации кроется насмешка, и заговорил обычным своим учительским тоном: «С вашего позволения, государи мои, такое учтивство, так сказать, хуже всякого невежества» — и тем же тоном, без перерыва, шагая по

ступеням на кафедру: «Семирамида была хотя и легкомысленная женщина, но монархиня наизамечательнейшая». Такой даровитый профессор у всех, у кого только мог, отбил надолго охоту изучать всякую человеческую историю.

Адъюнкт Мерзлякова по кафедре российской словесности, П<етр> Вас<ильевич> Победоносцев, преподавал нам с соблюдением всех условий схоластики российскую риторику и пиитику...

Профессор славянской словесности Матвей Гаврилов обучал нас, собственно говоря, церковному нашему языку посредством одного упражнения в чтении божественных книг и преимущественно Четь-Миней. Едва ли и сам знал он во всем объеме язык, им преподаваемый, у которого не было, кажется, настоящей грамматики, да и теперь, не знаю, существует ли такая, которая бы отвечала всем требованиям филологии, потому-то и выбраны были для чтения жития святых, составленные св. Дмитрием Ростовским. Славянский язык Четь-Миней ростовского святителя был доступен[6], ибо сближался уже с простонародным. У Гаврилова я, с детства начетчик священных книг по милости моего дядьки, Варфоломеевича, отличался перед всеми. В борзом чтении и даже в разумении читаемого мне уступали и иные семинаристы, и часто перед классом забавлял я моих товарищей передразниванием Гаврилова, такого же допотопного во всем старика, как и наш всеобщий историк, подбирая, подобно ему, забавные синонимы славянских слов и изобретая, тоже подобно ему, самые затейливые объяснения. Расскажу кстати, чтобы показать, какие были отношения студентов к профессору и профессоров к попечителю, что раз случилось со мной на лекции Гаврилова. У него был обычай перед приходом своим на лекцию посылать со сторожем тяжело переплетенные с медными задвижками книги, из которых он располагал читать для перевода, примера или объяснения. Кто-то из преподавателей перед ним почему-то не пришел, мы же не расходились в ожидании Гаврилова. И вот младшие из нас вздумали предложить мне его передразнивать.

Я уселся на кафедру, старательно принял на себя образ и подобие Матвея Гавриловича, вынул из кармана свои очки, спустил на самый кончик носа, по его обычаю, разложил увесистую Четь-Минею и начал публичное свое чтение рассевшимся по лавкам студентам. Начало было весьма торжественное, объяснения были подходящие к профессорским со всеми его синонимами, как, например, бог (творец,

вседержитель) и т. д., как вдруг, подняв глаза сверх очков, увидел я смиренно прислонившуюся к двери фигуру профессора. Это видение поразило меня благоговейным ужасом, я обомлел и онемел, ноги мои подо мною подкосились, я даже не мог встать, а Гаврилов просил продолжать. Все благополучно кончилось приличными извинениями одного и увещаниями другого. Сам учитель воссел на кафедру и с каким-то необыкновенным одушевлением, на этот раз довольно увлекательно, начал читать житие св. мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (кому покажется, что я подобрал эти имена на смех, советую прочесть это житие и увериться в действительно изящном изложении). И что же? Тихо отворилась дверь, и к ней прислонился внезапно вошедший новый попечитель университета, князь Андрей Петрович Оболенский; чтение продолжалось в тишине, не нарушаемой даже скрипом студенческих перьев. В свою очередь мой профессор взглянул сверх очков, узрел вновь назначенного университету попечителя и вострепетал, подобно мне, несчастному, благоговейным ужасом...

Пройду молчанием двух профессоров германского происхождения с их немецко-русскою речью: ректора, Ивана Андреевича Гейма[7], бестолково преподававшего варварским русским языком статистику, науку, которая была слишком нова и несостоятельна тогда даже и в германских университетах, и другого профессора также мало установившейся в то время науки — политической экономии, Августа Христиановича Шлецера, сына великого нашего академика. Профессор Шлецер три раза менял язык для удобнейшего чтения: сперва пробовал начать преподавание по-немецки,— все слушатели в один голос сказали, что они вгладь ничего не понимают; потом по-латыни,— студенты повторили то же, а профессор убедился сам, что науку новую преподавать на древнем языке было бы и для него неодолимым затруднением, поневоле надобно было взяться за русский язык, которым профессор не владел и на каждой лекции смешил нас злоупотреблением уменьшительных, приводя в примеры «скотиков, мужичков, сенца, лошадок и проч.» Он был невзыскателен; его посещали немногие.

Старейшие и прилежнейшие из студентов-юристов с уважением отзывались о лекциях строгого и дельного профессора прав, римского и естественного, Льва Алексеевича Цветаева, но для меня оставался он всегда недоступным, и я очень редко надоедал ему и себе посещением этих лекций. Мудрено было подумать, а оно на самом деле было

так, что самым почтенным преподавателем и самыми веселыми предметами были профессор Михаил Матвеевич Снегирев и его кафедра — история философии и церковная история. В той и другой рассказывалось множество всякого рода анекдотов и заманчиво любопытных повествований. Приведу из них два, мне особенно памятные. Желая дать понятие слушателям о древней философии индейцев либо аравитян и об определении их философами божественных свойств творца вселенной, Снегирев выразился однажды так: «По созерцанию такого-то древнего философа, перешедшему в сознание его народа, Бог так всевидящ, что он в самую черную ночь на самом черном камне самого черного жука видит». Я, любя всегда посмеяться, конечно исподтишка, обыкновенно садился на снегиревских лекциях на правой лавке, прямо у него под носом, и, выслушав такое древнее восточное учение о всевидении божием, имел неосторожность довольно громко засмеяться. Благочестивый профессор сделал мне выговор не дерзать глумиться над священными предметами. Как нарочно, мне на беду, следующая снегиревская лекция была из преподаваемой им же церковной истории. Повествуя о различных ересях, он дошел до одной из них, в которой (не упомню ее названия) христианство нисходило с высоты своего великого значения и обращало последователей этой ереси к самому невежественному суеверию. Преподаватель перешел тут к различным грубым видам последнего и в нашем народе: «Вот, например, расскажу я вам, как прошлым летом, будучи визитатором народных школ нашего учебного округа, зашел я в небольшом городке Владимирской губернии в одну церковь, и вдруг, теперичка (любимое его слово), вижу я огромнейшую икону. Подхожу, теперичка, к ней,— горит лампадка, да и без того это было днем, смотрю: образ человеческий, длины необычайной, волосы взъерошены, борода всклокочена, глазища страшнейшие, руки, ноги длиннейшие, сумрачный, дикий, ужасающий, и вижу надпись: «Велик Господь и страшен зело». Видите, господа, теперичка, какой-то суздальский богомаз». Тут я, сидевший напротив, уронил платок, которым во все время этого рассказа заглушал мой смех, и разразился таким хохотом, а за мной и все без исключения слушатели, что профессор сперва покраснел, а потом страшно побледнел от негодования; встали ли дыбом у него волосы, осталось покрыто мраком неизвестности, но глаза страшно вытаращились, и в виде описываемой им иконы сбежал он с кафедры, дернул

меня за руку; велел сейчас выйти из класса и ждать его в канцелярии. Что происходило в аудитории по моем исчезновении, мне не было до того дела, я придумывал, что со мною будет, и обдумывал, как бы не оробеть. Класс кончился скорее обыкновенного; профессор настоятельно приказал мне просить прощения, я отвечал: «Я не виноват».— «Как ты смеешь смеяться?» — «Воля ваша, смешно рассказываете».— «Я непременно отведу тебя сейчас к ректору».— «Пойдемте». Мы оба с ним надели наши теплые платья и пошли. Он меня взял за ворот и всю дорогу торговался, чтобы я просил прощения,— я упорствовал; наконец мы пришли к самой двери ректорской квартиры, и тут только выпустил он меня из рук, впрочем, нисколько не убежденного в моей виновности, но с надеждой, как он заключил, что я исправлюсь в моем неприличном поведении. Студенты встретили меня, освобожденного, рукоплесканиями.

Последние два года моего университетского образования с живейшим участием, любовью и великою для себя на всю жизнь пользою слушал я лекции профессора практического законоискусства Николая Николаевича Сандунова. Приготовлением студентов к этому предмету была кафедра российского законодательства, которую занимал бездарный адъюнкт Смирнов. Его и университетское начальство терпело по снисхождению; слушатели имели к нему отвращение. Потеряв всякое терпение, я бросил эти лекции после двух месяцев, не дослушав их до Судебника царя Ивана Васильевича[8]; все читаемое им было сбивчиво и бестолково до нелепости. У Сандунова, напротив, все было заманчиво, живо, весело даже для нашего младшего поколения студентов. Сам профессор не имел никакого научного образования и, вероятно, вследствие крайнего незнания науки права вообще отвергал самую науку и при всяком удобном случае выражал к ней свое презрение. Он был человек необыкновенной остроты ума, резкий, энергичный, не подчиняющийся никаким приличиям (впрочем, до известной черты осторожного благоразумия), бесцеремонный и иногда бранчливый со студентами, которые, однако, все его любили и уважали. Сам он не читал нам ничего, и порядок его лекций весь заключался в следующем: для слушателей своих он составил возможно правильную систему из громадного количества всех российских законов, начиная от Уложения царя Алексея Михайловича[9], бывшего тогда главным их основанием, и той массы уставов, наказов, инструкций и общих сепаратных указов, разбросанных всюду

и нигде в одно целое не собранных, которыми управлялось до издания «Свода Законов»[10] Русское государство и которые представляли все вообще самую трудную задачу для исполнения суда и расправы на самом деле и для защиты своего права как в делах уголовных, так и в делах гражданских...

Первые полчаса 2-часовой своей лекции назначал он для чтения этих законов: студенты читали, он объяснял читаное; следующий час посвящался чтению подробной записки какого-нибудь дела из сената, которое производилось потом практически в двух судебных инстанциях — низшей, т. е. в уездном суде, и средней, т. е. в гражданской палате. Членами этих судов были избранные профессором студенты; секретари и поверенные тяжущихся были также по его выбору... Трудно представить себе теперь, с какой охотой, с каким возбуждением, скажу — с какою юною запальчивостью происходили в классах Сандунова наши судебные представления, в которых главные роли разыгрывались бойкими студентами и страстными поверенными тяжущихся сторон. Подумаешь, что каждый боялся проиграть в своем процессе целое состояние.

По особенной моей охоте к этой, своего рода полезной, комедии, я постоянно выбирался, а иногда и сам напрашивался в поверенные и считал себя обиженным, когда приходилось уступать это звание товарищу и попадать в секретари. Последние, как это бывало и в настоящих судах, писали за судей резолюции, члены же присутствий, как это бывало и в настоящих судах, были и у нас люди ленивые и не очень грамотные.

Не знаю, где и в каком заведении воспитывался сам Сандунов и какого он был происхождения,— не думаю, чтобы он был дворянин,— но он был и не из духовного звания. Выходящие из семинарии, а особливо люди с дарованием, носят на себе отпечаток науки; в нем видна была одна начитанность; едва ли знал он по-латыни, но много читал по-немецки; брат его был актером и любимцем московской публики.

Московский университет для кафедры российского закoноискусства взял этого профессора из сената, где он был обер-секретарем и откуда старались выжить его, как доку и знатока и в то же время человека неподкупного никакими взятками, независимого характера и не слишком уклончивого перед начальством. В классе своем обращал он особенно внимание на отчетливое чтение студентов, требо-

вал от них, чтобы они умели разбирать скоропись сенатских записок, не всегда разборчивую. Беда бывала тому студенту, который спутается в чтении и делает непонятным для всех читаемое. Однажды сидевший возле меня казеннокоштный студент, лет около 25, с небритой бородой, в голубоватом фризовом сюртуке, каких нет теперь и на свете не бывает, вызван был к чередному чтению записки. Взяв толстую тетрадь в руки, он сейчас замялся, кое-как пробормотал длинный приказный период; никто его не понял; профессор спросил, понимает ли сам чтец. Громкое «нет» было ответом. Последовал хохот, которому поддался и сам наставник, любивший насмешку, часто самую ядовитую. Приказано читать следующему, т. е. мне; я прочел целую страницу отлично, с чувством, с толком, с расстановкой. «Как твоя фамилия?» — спросил профессор, несмотря на то что знал меня очень хорошо. Я назвал себя. «Сколько тебе лет?» — «Шестнадцать».— «Ты из каких?» — «Дворянин».— «Твой отец?» Я сказал, что мой отец умер, что он был статский советник. «Есть у тебя какое-нибудь состояние?» Я отвечал, что есть. «Какое?» Я объяснил. Заметьте, что все это очень хорошо было известно профессору. «Ну, а ты, батенька, —обратился он к первому чтецу,— из каких?» — «Из духовного звания».— «Который тебе год?» — «24-й».— «А твоя фамилия?» Семинарист назвал какую-то из двунадесятых праздников от богоявленского до рождественского включительно. «Состояние есть?» — «Никакого».— «Ну уж, батенька, ты шалопай; есть нечего, бороду бреешь, а читать не умеешь!» Но в нем не было ни пристрастия к дворянам, ни нерасположения к прочим сословиям; напротив, тех студентов из духовного звания, равно и гимназистов, которые отличались своим образованием и примерным прилежанием, с любовью приготовлял он по своему классу к полезной гражданской службе и всегда им покровительствовал. Таких студентов, старших нас годами, мы имели в большом уважении, мы называли их патрициями, и таких было в наше время очень много. В живых остался теперь еще один, бывший секретарь московского земледельческого общества, Степан Алексеевич Маслов, почти 80-летний, человек весьма замечательный.

Следуя такому же беспристрастию к богатым и бедным, к старым и юным студентам, Сандунов обращался со всеми одинаково бесцеремонно. Выходок его с нами не вытерпели бы теперь и мальчишки уездных училищ, не говорю уже о гимназистах. Приведу другой случай. Один из наших меньших

братий громко во время класса заговорил с товарищем; профессор заметил и, указав на него пальцем, громко сказал: «Встань-ка, батенька, кто ты таков?» — «Мещеринов».— «А, дворянин!.. слыхал. Татарщина, батенька, татарщина! Татарского происхождения! Шалопай ты, даром что дворянин».

<...> Редкую в профессорах в то время независимость характера перед начальством резко выказал Сандунов в одном, известном мне случае. Добродушному попечителю, князю Оболенскому, нужно было по одному частному делу посоветоваться с человеком, вполне знающим законы. Не предупредив Сандунова, он вздумал позвать его к себе в неурочный час; необычный призыв удивил Сандунова. «Что прикажете, ваше сиятельство?» — сказал он, входя, своему начальнику, принявшему его стоя. «Я хочу посоветоваться с вами по одному делу».— «По какому, ваше сиятельство?» — «Моему собственному».— «Ну, уж извините; вероятно, нам долго придется толковать, я устал, второпях пришел пешком». Тогда он взял стул и сел перед попечителем. В справедливую похвалу кн. Оболенскому надобно прибавить, что он почувствовал свою неловкость и просил в ней у Сандунова извинения. Честь и слава им обоим: оба они были выше своего времени... Хореографическое искусство было также в числе образовательных предметов университетского юношества. Мы учились танцевать у сухопарого, небольшого ростом старца Морелли и при вступлении его в класс шагами на третьей позиции всегда приветствовали его восклицанием: «У Морелли ноги подгорели!» По временам в танцевальную залу, для большого эффекта, приносили ему хлопушки, производившие на нас приятное, а на него ужасающее впечатление.

Перебрав по именам всех профессоров, я должен помянуть и товарищей. Во главе их были так называемые patres conscripti*, слава и краса студенчества если не изящностью форм и облачения, то духом премудрости и разума и глубиною познаний (разумеется, относительно нас). Между сими патрициями выше всех стоял для меня выдержавший в скором времени экзамен кандидат а через год и магистр этико-политического отделения (по-нынешнему, философского и юридического вместе), к которому принадлежал и я, Степан Михайлович Семенов. Он замечателен был, кроме познаний, строгою диалектикою и неумолимым анализом всех, по его мнению, предрассудков, обладал класси-

* Отцы сенаторы (*лат.*).

ческою латынью и не чужд был древней философии. Он всею душою предан был энциклопедистам XVIII века; Спиноза и Гоббс были любимыми его писателями. Лет семь, восемь после этот Семенов сделался душою тайного политического общества, подготовившего мятеж декабристов. Он содержался в крепости и был под следствием, как секретарь общества, но ответы его пред следователями были до того преисполнены осторожной, хитрой и при всем том строго честной и юридической мудрости, что, как ни хотели предать его суду вместе с прочими, исполнить этого не могли, и он без суда, вместо всех других наказаний, подвергся отправлению на службу в Томскую, а потом в Тобольскую губернии, где и кончил жизнь. Вторым из мудрецов-студентов был для меня, конечно, мой Никольский, также кандидат, который и жил со мною. Потом, по образцу и по подобию Сандунова, законоискусник Яковлев, Любимов, воспитавший графов Толстых, Лидин и другие; все они еще в мою бытность вышли в магистры и все были духовного звания.

Являясь на лекции особняком от нас, юношей, почти отроков, эта фаланга патрициев отличалась особенно на диспутах в нашем факультете и часто отчаянно боролась и побеждала стоящего на кафедре для защиты своей диссертации какого-либо товарища-магистранта, защищающего свою магистерскую и докторскую диссертацию. Чтобы дать понятие, как происходили при мне подобные диспуты, сообщаю один случай. Кандидат нашего отделения, если не ошибаюсь, Бекетов, сам ли выбрал тему для своей магистерской диссертации, или задана она была ему факультетом, но выбор был весьма опасный и скользкий, даже для того времени. Тема была следующая: «Монархическое правление есть самое превосходное из всех других правлений». В первом тезисе этой диссертации было прибавлено к монархическому *неограниченное,* к превосходному — *в России необходимое и единственно возможное.* Деканом факультета был Сандунов, а потому он и управлял диспутом кандидата также из patres conscripti. Товарищи его патриции его недолюбливали: он был, говорят, подловат и, по их выражению, *элестничал.* По этой причине вся старшая братия готовилась возражать магистранту, особливо на первый задорный тезис его диссертации. Диспуты походили тогда на кулачные бои; на них, как и на этой площадной забаве, зачинщиками в первых рядах являлись бойкие мальчики, т. е. мы, молоденькие студенты, с какими-нибудь

подсказанными от стариков вопросами или возражениями диспутанту. Так было и на диспуте у Бекетова. Мы открыли сражение восторженными речами за греческие республики и за величие свободного Рима до порабощения его Юлием Кесарем и Августом. После нескольких слов в отпор нашим преувеличенным похвалам свободе,— слов, брошенных с высоты кафедры с презрительною насмешкою, вступила в бой фаланга наших передовых мужей, и тяжелые удары из арсенала философов XVIII века посыпались на защитника монархии самодержавной. Бекетов оробел, смущение его наконец дошло до безмолвия; тут за него вступился декан Сандунов, явно недовольный ходом всего диспута. «Господа,— сказал он, обращаясь к оппонентам,— вы выставляете нам, как пример, римскую республику; вы забываете, что она не один раз учреждала диктаторство». Мерною, спокойною, холодною речью отвечал ему Семенов: «Медицина часто прибегает к кровопусканиям и еще чаще к лечению рвотным, из этого нисколько не следует, чтобы людей здоровых, а в массе, без сомнения, здоровых более, чем больных, необходимо нужно было подвергать постоянному кровопусканию или употреблению рвотного». На такой щекотливый ответ декан Сандунов, еще на конференции своего отделения противившийся выбору темы, с негодованием воскрикнул: «На такие возражения всего бы лучше мог отвечать московский обер-полицмейстер, но как университету приглашать его сюда было бы неприлично, то я, как декан, закрываю диспут».

Все, однако, обошлось благополучно, и наш вольнолюбивый диспут не произвел никакой молвы в городе.

Кроме упомянутых мною выше студентов-патрициев, были еще моими товарищами другого закала студенты-казеннокоштные. Они, числом около сотни, тесными кучками жили в нижнем этаже нашего небольшого университетского дома, человек по пяти в одной комнате, и жили грязно, бедно и голодно...

От них можно было попользоваться и книжкой, и записками лекций; многие из них работали серьезно и приготовлялись к полезной себе и обществу жизни; некоторые имели драматические таланты и обыкновенно два раза в год разыгрывали на своем домашнем театре лучшие комедии того времени.

Мой любимый профессор, Сандунов, их строгий, но чрезвычайно добрый инспектор, дирижировал их театром, который смотреть собирались родные и приятели студентов.

«Недоросль», «Бригадир» Фонвизина, «Ябеда» Капниста, «Модная лавка» Крылова давались превосходно, женские роли играли младшие. Не один раз предлагали и мне участвовать, но у меня никогда недоставало на это храбрости...

В 1815 году, по окончании лекций, я долго оставался весною в городе, почитая обязанностью ждать публичного университетского экзамена; настоящих серьезных испытаний тогда не было, и потому почти все мои товарищи разъехались. Торжественный экзамен перед самым актом происходил в собрании всего университета под председательством попечителя. Попечителем в то время был в 1817 г. сенатор Павел Иванович Голенищев-Кутузов, очень плохой стихотворец, но человек весьма неглупый и весьма пронырливый.

Публичный наш экзамен единственный, на котором я по неопытности почел нужным присутствовать, был совершенно бесполезен. Из весьма небольшой кучки студентов спрашивали немногих и не по всем кафедрам. Мне, например, досталось привести пример *высокого* в нашем красноречии, и я отвечал, к удовольствию всех, целым периодом из похвального слова Ломоносова Петру Великому. «Часто размышлял я, каков тот»... и далее сравнение Петра с богом...

Желание профессора славянского языка, Гаврилова, уверить свой факультет, что он действительно обучает студентов славянскому языку, а не одному простому чтению, внушило ему изобрести неудавшуюся штучку. По числу своих студентов (нас было 25) он выработал 25 пошлых вопросов и вместо того, чтобы потребовать от слушателей заучить их, все очень немудреные, назначил по одному каждому, на экзамене же их все перепутал и произвел этим великий конфуз. За экзаменом последовал акт, потом торжественный обед; десятка два студентов назначены были являться во время этой трапезы и, не участвуя в ней, выпить за чье-то здоровье бокал не настоящего, конечно, шампанского, а доморощенного, горского. Перед этим обедом на торжественном заседании университета профессора читали речи, новопроизведенным студентам раздавались шпаги, и я получил от попечителя свою. Имена наши напечатаны были в «Московских ведомостях».

Пирогов Н. И.

ИЗ ЖИЗНИ МОСКОВСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 20-х ГОДОВ XIX ВЕКА

Это было в сентябре 1824 года. С этого дня началась новая эра моей жизни...

Началось посещение лекций. Выдали матрикул без всяких церемоний. Приход Троицы в Сыромятниках не близок к университету,— будет с час ходьбы; положено было оставаться в обеденное время у Феоктистова, и только в 4—5 часов вечера возвращаться на извозчике.

Феоктистов был казеннокоштный студент и жил вместе с пятью другими студентами в 10-м нумере корпуса квартир для казеннокоштных.

Надо остановиться на воспоминании о 10-м нумере и об извозчике.

Немудрено, что воспоминания эти сохранились. 10-й нумер я посещал ежедневно, несколько лет сряду, а на извозчике ездил, пока нужда не заставила ходить пешком,— и 10-й нумер, и вечерняя езда на извозчике совпадают с первым выходом на поприще жизни; дебюты не забываются.

Вхожу в большую комнату, уставленную по стенам пустыми кроватями со столиками; на каждом столике наложены кучки зеленых, желтых, красных, синих книг и пачки тетрадей; вижу — лежит на одной кровати чья-то фуражка, дном наружу; на дне — надпись; читаю: «Huns pil...— тут стерто, не разберу...— Fur rapidis manibus tangere noli; possessor cujus fuit semperque erit Tschistof, qui est studiosus quam maxime generosus»*.

Понимаю. Где же этот г. Чистов? А вот, он входит в дверь; испитый, с густыми темными волосами, свинцового цвета лицом, темно-синей, выбритой гладко, бородой; за

* «К шапке не смей прикасаться, вор, хищными руками; ее владельцем был и всегда будет Чистов — благороднейший студент» (*лат.*).

ним приходит с лекции и мой Феоктистов; дверь начинает беспрестанно отворяться и затворяться; являются одно за другим все новые и новые лица, рекомендуются, приветливо обращаются ко мне; вот г. Лейченко, самый старший,— действительно, на вид лет много за 30; вот Лобачевский, длинный, рыжий, усеянный, должно быть, веснушками по всему телу, судя по лицу и рукам, и еще человек шесть нумерных и посторонних.

Начинаются беседы, закуривание трубок; говорят все разом,— ничего не разберешь; дым поднимается столбом; слышится по временам и брань неприличными словами.

Мой бывший наставник, Феоктистов, представляется мне совсем в ином свете, не тем, каким я его знал до сих пор: он тут перед некоторыми просто пас,— тише воды, ниже травы.

Вот хоть бы Чистов, обладатель фуражки с латинскими стихами,— тот берет со стола книгу, ложится на кровать и, обращаясь ко мне (я стою вблизи его кровати), спрашивает: «С какими римскими авторами вы знакомы?» Я краснею. «Что же? Феоктистов, верно, вам немногое сообщил; где же ему: он и сам ничего не понимает в латыни. Садитесь-ка вот здесь,— я вам кое-что прочту из Овидия; слыхали о «Метаморфозах» Овидия? А? слыхали?» — «Да, немного слыхал».— «Ну, слушайте же!» И Чистов начал скандировать плавно и с увлечением, и тут же я научился у него больше, чем во все время моего приготовления к университету от Феоктистова. Оказалось потом, что Чистов был действительно знаток римских классиков; я редко видал его за медицинскими книгами; всегда, бывало, лежит и читает своего любимого Овидия Назона или Горация.

Родом из духовных, воспитанник семинарии, Чистов отличался, однако же, резко от других сотоварищей, по большей части тоже семинаристов; это была мебель из елового, а он из красного дерева и, должно быть, поэт в душе.

Чего я не насмотрелся и не наслышался в 10-м нумере!

Представляю себе теперь, как все это виденное и слышанное там действовало на мой 14—15-летний ум! Является, например, какой-то гость Чистова, хромой, бледный, с растрепанными волосами, вообще странного вида на мой взгляд,— теперь его можно было бы, по наружности, причислить к нигилистам,— по тогдашнему это был только вольнодумец.

Говорил он как-то захлебываясь от волнения и обдавая своих собеседников брызгами слюны.

В разговорах быстро, скачками переходит от одного предмета к другому, не слушая или не дослушивая никаких возражений. «Да что Александр I,— куда ему,— он в сравнение Наполеону не годится. Вот гений, так гений!.. А читали вы Пушкина «Оду на вольность»? А? Это, впрочем, винегрет какой-то. По-нашему, не так; révolution, так révolution*, как французская — с гильотиной!» Услыхав, что кто-то из присутствующих говорил другому что-то о браке, либерал 1824 — 1825 гг. вдруг обращается к разговаривающим: «Да что там толковать о женитьбе! Что за брак! На что его вам? Кто вам сказал, что нельзя попросту спать с любою женщиною?.. Ведь это все ваши проклятые предрассудки: натолковали вам с детства ваши маменьки, да бабушки, да нянюшки, а вы и верите. Стыдно, господа, право, стыдно!» А я-то, я — стою и слушаю, ни одного слова не проронив.

Вдруг соскакивает со своей кровати Катонов, хватает стул и — бац его посредине комнаты! «Слушайте, подлецы,— кричит Катонов,— кто там из вас смеет толковать о Пушкине? Слушайте, говорю!» — вопит он во все горло, потрясая стулом, закатывая глаза, скрежеща зубами:

Тебя, твой род я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
Я с злобной радостию вижу,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле...[1]

Катонов, восторженный обожатель Мочалова, декламируя, выходит из себя,— не кричит уже, а вопит, ревет, шипит, размахивает во все стороны поднятым вверх стулом, у рта пена, жилы на лбу переполнились кровью, глаза выпучились и горят. Исступление полное. А я стою, слушаю с замиранием сердца, с нервной дрожью: не то восхищаюсь, не то совещусь.

Рев и исступление Катонова наконец надоедают; на него наскакивает рослый и дюжий Лобачевский. «Замолчишь ли ты, наконец, скотина!» — кричит Лобачевский, стараясь своим криком заглушить рев Катонова. Начинается схватка; у Лобачевского ломается высокий каблук. Падение. Хохот и аплодисменты. Бросаются разнимать борющихся на полу.

Не проходило дня, в который я не услыхал бы или не увидел чего-нибудь новенького, вроде описанной сцены,

* Революция *(франц.)*.

особенно памятной для меня потому только, что она была для меня первой невидалью; потом все вольнодумное сделалось уже делом привычным.

За исключением одного или двух, обитатели 10-го нумера были все из духовного звания, и от них-то именно я наслышался таких вещей о попах, богослужении, обрядах, таинствах и вообще о религии, что меня на первых порах, с непривычки, мороз по коже продирал...

Все запрещенные стихи, вроде «Оды на вольность», «К временщику» Рылеева, «Где те, братцы, острова» и т. п., ходили по рукам, читались с жадностью, переписывались и перечитывались сообща при каждом удобном случае.

Читалась и барковщина[2], но весьма редко, а заменяла в то время более современная поэзия, подобного же рода, студента Полежаева.

О боге и церкви сыны церкви из 10-го нумера знать ничего не хотели и относились ко всему божественному с полным пренебрежением...

Вот и настало первое число месяца. Получено жалованье. Нумер накопляется. Дверь то и дело хлопает. Солдат, старик Яков, ветеран, служитель нумера, озабоченно приходит и уходит для исполнения разных поручений. Являются чайники с кипятком и самовар.

Входят разом человека четыре, двое номерных студентов, один чужой и высокий, здоровенный протодьякон. Шум, крик и гам. Протодьякон что-то басит. Все хохочут. Яков является со штофом под черной печатью за пазухой, в руках несет колбасу и паюсную икру. Печать со штофа срывается с восклицанием: «Ну-ка, отец дьякон, белого панталонного хватим!» — «Весьма охотно»,— глухим басом и с расстановкой отвечает протодьякон. Начинается попойка. Приносится Яковом еще штоф и еще,— так до положения риз.

— Знаете ли вы,— говорит мне кто-то из жильцов 10-го нумера,— что у нас есть тайное общество? Я член его, я и масон[3].

— Что же это такое?

— Да так, надо же положить конец.

— Чему?

— Да правительству, ну его к черту!

И я, после этого открытия, смотрю на господина, сообщившего мне такую любопытную вещь, с каким-то подобострастием.

Масон! Член тайного общества? То-то у него книги все

в зеленом переплете. А я уже прежде где-то слыхал, что у масонов есть книги в зеленом переплете...

— Ну, братцы, угостил сегодня Матвей Яковлевич![4]

— А что?

— Да надо ручки и ножки его расцеловать за сегодняшнюю лекцию. Недаром сказал: «Запишите себе от слова до слова, что я вам говорил; этого вы нигде не услышите. Я и сам недавно узнал это из Бруссе». И пошел, и пошел...

— Теперь уже, братцы, Франков, и Петра, и Иосифа побоку; теперь подавай Пинеля, Биша, Бруссе!

— А в клинике-то, в клинике как Мудров отделал старье! Про тифозного-то что сказал. Вот, говорит, смотрите, он уже почти на ногах после того, как мы поставили с лишко́м 80 пиявиц к животу; а пропиши я ему по-прежнему валериану да арнику, он бы уже давно был на столе.

— Да, Матвей Яковлевич молодец, гений! Чудо, не профессор. Читает божественно.

— Говорят, в академии хорош также Дядковский. Наши ходили его слушать. Да где ему против Мудрова! Он недосягаем.

— Ну, ну! А Лодер Юст-Христиан?

— Да, невелика птичка, старичок невелик, да нос востер. Слышали, как он обер-полицмейстера отделал? Едет это он на парад в карете, а обер-полицмейстер подскакал и кричит кучеру во все горло: «Пошел назад, назад!» Лодер-то высунулся из кареты да машет кучеру — вперед, мол, вперед. Полицмейстер прямо и к Лодеру. «Не велю,— кричит,— я обер-полицмейстер».— «А я,— говорит тот,— Юст-Христиан Лодер; вас знает только Москва, а меня — вся Европа». Вчера-то — слышали — как он на лекции спохватился?

— А что?

— Да начал было: «Sapientischissima (Лодер шамкал немного) natura,— да, спохватившись, и прибавил: Aut potuis, Creator sapientischissimae naturae voluit»*.

— Да, ныне, брат, держи ухо востро.

— А что?

— Теперь там в Петербурге, говорят, министр наш Голицын такие штуки выкидывает, что на-поди.

— Что такое?

— Да, говорят, хочет запретить вскрытие трупов.

— Неужели? Что ты!

* «Мудрейшая природа... вернее, создатель мудрейшей природы пожелал» (*лат.*).

— Да у нас чего нельзя,— ведь деспотизм. Послал, говорят, во все университеты запрос: нельзя ли обойтись без трупов или заменить их чем-нибудь?

— Да чем тут заменишь?

— Известно, ничем,— так ему и ответят.

— Толкуй! А не хочешь картинами или платками?

— Чем это? Что ты врешь, как сивый мерин! — слышу чей-то вопрос.

— Нет, не вру; уже где-то, сказывают, так делается. Профессор-то анатомии привяжет один конец платка к лопатке, а другой — к плечевой кости, да и тянет за него; «Вот,— говорит,— посмотрите: это Deltoideus».

Дружный хохот; кто-то плюнул с остервенением.

Да, нумер 10-й был такой школой для меня, уроки которой, как видно, пережили в моей памяти много других, более важных воспоминаний.

Впоследствии почуялись и в 10-м нумере веяния другого времени; послышались чаще имена Шеллинга, Гегеля, Окена. При ежедневном посещении университетских лекций и 10-го нумера все мое мировоззрение очень скоро изменилось; но не столько от лекций остеологии Терновского (в первый год Лодера не слушали) и физиологии Мухина, сколько именно от образовательного влияния 10-го нумера.

На первых же порах, после вступления моего в университет, 10-й нумер снабдил меня костями и гербарием; кости конечностей, несколько ребер и позвонков были, по всем вероятиям, краденные из анатомического театра от скелетов, что доказывали проверченные в них дыры, а кости черепа, отличавшиеся белизной, были, верно, украдены у Лодера, раздававшего их слушателям на лекциях остеологии.

Когда я привез кулек с костями домой, то мои домашние не без душевной тревоги смотрели, как я опоражнивал кулек и раскладывал драгоценный подарок 10-го нумера по ящикам пустого комода, а моя нянюшка, Катерина Михайловна, случайно пришедшая в это время к нам в гости, увидев у меня человеческие кости, прослезилась почему-то,— когда я стал ей демонстрировать,— очень развязно поворачивая в руках лобную кость, бугры, венечный шов и надбровные дуги,— то она только качала головой и приговаривала: «Господи, боже мой, какой ты вышел у меня бесстрашник!»

...Кроме костей и гербария, я принес еще домой из 10-го нумера и мое новое мировоззрение, удивив и опеча-

лив этим немало мою благочестивую и богомольную матушку. В церковь к заутреням и даже всенощным я продолжал еще ходить, соблюдал посты и все обряды; но при каждом случае, когда заходила речь с матерью и домашними о святости внешнего богопочитания, о Страшном суде, муках в будущей жизни и т. п., я сильно протестовал, глумился над повествованиями из Четьи-Минеи[5] о дьяволе и его проказах и пр.

— Да рассудите, сделайте милость, маменька, сами,— доказывал я логически,— как же это может быть? Ведь бог, вы знаете, всеведущ, всевидящ, правосуден, милосерд; поэтому он знал наверное, что мы будем злы, и все-таки накажет нас за то, что мы были злы,— где же тут справедливость и милосердие?

— Да ведь тебе бог дал волю; выбирай, не делай зла.

— А, позвольте, к чему же мне эта воля, когда богу заранее было известно,— ведь он всеведущ,— что я согрешу и буду грешником?

Так резонировал я с моей старушкой (тогда она не была еще так стара), и замечу кстати, что этим же самым пошленьким резонерством я затыкал не однажды рот православным догматикам из семинаристов...

Немудрено, что, при моем складе ума, при моем воспитании, при моем возрасте, формация моего мировоззрения, тотчас же по вступлении в университет, началась не снизу; ломка началась сверху. Сначала я стал потихоньку мести мою лестницу с верхних ступеней; но выбрасывать сор не смел. Обрядность и внешность богопочитания сохранялись мною отчасти по привычке, отчасти из страха. Но если прежнее дело оставалось in statu quo*, то прежняя мысль уже сильно потрясалась и рушилась.

— Какой, право, Яков Иванович (Смирнов, о котором я говорил, кажется) пересудник и зубоскал! — говорит матушка,— как можно так отзываться о священнослужителях!

Я.— Да, послушали бы вы, что поповские сынки в университете говорят о своих батюшках, так другое бы и сами подумали о попах; ведь это жрецы.

Матушка.— Что ты, бог с тобой! Ведь у нас бескровная жертва.

Я.— Да что же, что бескровная? Все-таки и наши попы надувают народ, как жрецы прежде надували.

Матушка.— Как же это можно так сравнивать?

* В первоначальном виде (*лат.*).

Я.— Да отчего же не сравнивать? Ведь религия везде, для всех народов была только уздой (это выражение я слышал накануне разговора от одного старого семинариста на лекции); а попы и жрецы помогали затягивать узду.

Матушка.— Религия — ведь это значит вера; так неужели же теперь, по-вашему, и веры не надо иметь?

Я.— Послушали бы вы, маменька, что говорит вон немецкий философ Шеллинг (я только что слышал о нем в 10-м нумере от одного ярого поклонника — профессора петербургской медико-хирургической академии Велланского).

Матушка.— Да я читала его «Угроз Световостоков»[6].

Я (с насмешкой).— Да это не Шеллинга, а Штиллинга вы читали. Где же вам, маменька, понять Шеллинга; его и не всякий ученый поймет. Это натурфилософ.

Матушка.— Да ты, Николаша, уже не хочешь ли сделаться масоном?

Я.— А что же такое масон? У нас там, в университете, между нашими студентами есть и масоны (я намекаю на сделанное мне втайне сообщение из 10-го нумера).

Матушка (крестится).— Ну, бог с тобой! С тобой теперь не сговоришь. Вот время-то какое настало! Куда это свет идет?

Я.— Да куда же ему идти, и что такое время? Прошедшее невозвратимо; настоящего не существует; его не поймаешь,— оно то было, то будет; а будущее неизвестно.

Эта последняя тирада понравилась матушке, и она долго после напоминала мне всегда: «А помнишь ли, как ты мне говорил, что прошедшее не возвратишь, настоящего нет, а будущее неизвестно. Это так, так».

Десятый нумер остался мне памятным навсегда не только потому, что воспоминание о нем совпадает у меня с развитием первого в жизни мировоззрения, но и потому еще, что слышанное и виденное мною в этом нумере, в течение целых трех лет, служило мне с тех пор всегда руководной нитью в моих суждениях об университетской молодежи. 10-й нумер 1824 года, перенесенный в наше время, наверное, считался бы притоном нигилистов. И тогда почти все отрицалось: бога не нужно было; религия была вредной уздой; не отрицались только свобода, вольность и даже буйство, при получении жалованья...

Вот в 1824 — 1825 годах... не было ни попечителей, ни инспекторов в современном значении этих званий. Попечителя, князя Оболенского, видели мы только на акте, раз в

год, и то издали; инспекторы тогдашние были те же профессора и адъюнкты, знавшие студенческий быт потому, что сами были прежде (иные и не так давно) студентами.

Экзаменов курсовых и полукурсовых не было. Были переклички по спискам на лекциях и репетиции,— у иных профессоров и довольно часто; но все это делалось так себе, для очищения совести. Никто не заботился о результатах. Между тем аудитории были битком набиты и у таких профессоров, у которых и слушать было нечего, и нечему научиться. Проказ было довольно, но чисто студенческих. Болтать, даже и в самых стенах университета, можно было вдоволь, о чем угодно, и вкривь, и вкось. Шпионов и наушников не водилось; университетской полиции не существовало; даже и педелей[7] не было; я в первый раз с ними познакомился в Дерпте. Городская полиция не имела права распоряжаться со студентами и провинившихся должна была доставлять в университет. Мундиров еще не существовало. О каких-нибудь демонстрациях никогда никто не слыхал. А надо заметить, что это было время тайных обществ и недовольства; все грызли зубы на Аракчеева; запрещенные цензурой вещи ходили по рукам, читались студентами с жадностью и во всеуслышание; чего-то смутно ожидали...

Я убежден, однако же, что, не тяготей над нашими студентами с 1826 года, целых 30 лет, систематический гнет попечительств, инспекторств и т. п., молодежь встретила бы веяния нового времени совсем иным образом. Несмотря на мою незрелость, неопытность и детски наивное равнодушие к общественным делам, я все-таки тотчас же почувствовал начинавшийся с 1825 года гнет в университете.

Гнет этот, как известно, усиливался crescendo* и даже до сегодня, с некоторыми перемежками,— следовательно, не 30, как я сейчас сказал, позабыв, что делалось в последние 20 лет,— а целых 50 лет. Довольно времени, чтобы, исковеркав lege artis** молодую натуру и ожесточив нравы, перепортить и погубить многие сотни и тысячи душ.

---

* По восходящей (*лат.*).

** По всем правилам искусства (*лат.*).

Мурзакевич Н. Н.

В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, 1825.

После девятидневного шествия, поражавшего новизною всего виденного, с Поклонной горы открылась глазам нашим златоглавая Москва — беспредельная и поразительная. С напряженным вниманием рассматривая все встречавшееся, 29 августа 1825 г. мы въехали в Кремль и, в так называемом «Зарядье», остановились на постоялом дворе; оттоль вскоре перешли ближе к университету — в Газетный переулок.

Утром 30-го числа пришли к нам мой брат Константин и недавно прибывший в Москву смоленский купеческий сын Я. Арефьев, получивший в рижской гимназии хорошее образование. И этот — почти 30-летний детина — желал поступить в университет! На совете домашнем решено было жить нам троим вместе; брат мой брался облегчить наши хлопоты по университетской канцелярии. Весь этот день табельный я провел с братом в осмотре Кремля... Иллюминация кремлевского сада меня занимала сильно, но многолюдство утомляло до головокружения.

1-го сентября 1825 г. с трепетом вступил я на университетское крыльцо и со страхом подал прошение о принятии в студенты ректору университета, опрятному и чистенькому старичку с Владимирским крестом на шее,— Антону Антоновичу Прокоповичу-Антонскому. 7-го числа, после обеда, нас человек 30, экзаменовали ректор и профессоры: Ризенко, Чумаков и Снегирев. Со всех предметов ответы мои были удовлетворительны, из латыни и греческого также, но зато в математике я окончательно срезался, подобно многим. Секретарь правления, Кондратьев, которому я сообщил свое несчастье, сказал, что «теперь нечего мне ждать хорошего; могу ехать восвояси!» Больше меня срезался добрый Васильев: ему наотрез было отказано в при-

еме. Арефьев выдержал экзамен хорошо. Придя на квартиру, мы с Васильевым уже решили о возврате восвояси. Но приход моего брата, однако, изменил наши намерения: он мне объявил, что, из внимания к знанию греческого и латинского языка и других предметов, я не токмо принят в студенты, но и допущен, мимо приготовительного отделения, прямо слушать лекции ординарных профессоров. Следовательно, вместо 4 лет пробуду в университете 3 года...

9-го сентября в правлении университета записался слушателем на называвшееся тогда «этико-политическое отделение»; мне выдали латинскую табель, вмещавшую, кроме расписания преподаваемых в университете лекций, правила поведения студентов. К сожалению, эти добрые правила не многим были понятны, по поводу латыни. Посещение лекций профессорских и сторонних, которые мне навязал ректор, было вначале исправное; но чрез месяц я нашелся вынужденным некоторые оставить. Вот что было внесено в мою табель: по нравственно-политическому отделению: богословие догматическое и нравственное — преподаватель архимандрит Иннокентий Платонов; политическая экономия — ординарный профессор Христ<иан> Шлецер (сын знаменитого автора «Нестора»)[1]; римское гражданское право, сравниваемое в главнейших предметах с законами египтян, евреев и греков, немцев, англичан, пруссаков и французов,— профессор Лев Алекс<еевич> Цветаев; русское практическое производство дел гражданских и уголовных — профессор Ник<олай> Ник<олаевич> Сандунов; политическое право и дипломатия — профессор Дм<итрий> Еф<имович> Василевский; история русского законодательства и порядок дел гражданских и уголовных — адъюнкт Мих<аил> Як<овлевич> Малов. По физико-математическому: физика — профессор Ив<ан> Алекс<еевич> Двигубский. По словесному: теория словесности с критическим разбором сочинений — профессор Алексей Фед<орович> Мерзляков; русская история и статистика — профессор Мих<аил> Троф<имович> Каченовский; всеобщая история и статистика — профессор Юл<ий> Петр<ович> Ульрихс; римская словесность — профессор Ив<ан> Ив<анович> Давыдов; греческий язык и литература — экстраординарный профессор Сем<ен> Март<ынович> Ивашковский; теория французского языка — лектор Ив<ан> Пельт. Всю эту длинную и тяжкую вереницу знаний и наук навязал мне ректор, прибавив к избранным мною профессорам политического

(по-теперешнему юридического) отделения всех остальных, приговаривая: «Вы приехали-та учиться-та, а не лениться-та!»

Попробовав прослушать все это в первый месяц, сколько по совету товарищей, столько и по собственному убеждению, решился я облегчить себя. К Ульрихсу, читавшему по тетрадям переводы Шректа, и к архимандриту, часто хмельному, стал ходить пореже, то же и к Давыдову, а к Ивашковскому и Пельту вовсе не ходил: первый — объяснял грамматику, которую я знал, а второй — литературу, а мне необходима была грамматика... Сколько увлекательны были импровизации, воевавшего против романтизма, профессора Мерзлякова, бывшего в душе романтиком, столько назидательны были лекции Цветаева и обильны разнообразными сведениями Каченовского. Ученый-скептик этот так обширно развивал свой предмет, что в целый год едва успевал прочесть «Введение в русскую историю и статистику». Сандунов умными, бойкими, хоть частенько грубыми, поговорками и дельными замечаниями умел заставить полюбить его предмет и его самого. Ему же я обязан тем, что научился верно и быстро разбирать древние русские деловые акты и документы. Посредством их я исподволь познакомился с русскою археологиею. Жальче, смешнее, бесполезнее всех были чтения адъюнкта Малова. Известный остряк университетский И. М. Снегирев удачно приложил к этому бездарному, но честному человеку стишок из басен Крылова: «и нашего Малова...»

Аудитория политического отделения находилась в левом крыле величественного здания университетского, во втором этаже. Круглая зала, замещенная в три четверти амфитеатром, простым столом и профессорским креслом, с несколькими скамьями и стульями, поражала своей скромностью глаза молодые, предполагавшие встретить блеск. Картина была чудесная, когда весь амфитеатр, о нескольких рядах уступов, наполнялся молодежью здоровой, красивой, изящной и разнохарактерно одетой! Тогда еще не была введена полувоенная форма. Тогда модный изящный сюртук или полуфрак безразлично усаживался с фризовой шинелью, или выцвелым демикотоновым сюртуком, или казакином. Кандидат, кончивший курс, студент 30 лет, студентик 15-летний, преклонных лет любознательный сенатский чиновник, армейский офицер — все это сидело, стояло, лепилось где попало на изящных лекциях Мерзлякова. Иногда в длиннополом сероватом сюртуке

виднелось выразительно приятное, немного косоглазое, лицо Ивана Ивановича Дмитриева.

На противоположном углу университета была такая же аудитория, где Двигубский читал физику, сопровождая ее постоянно не удающимися опытами. Недоумение неповоротливого механика и добродушное ворчанье профессора сопровождались общим здоровым смехом. Однажды, когда показывали свет электричества и затворили ставни, две трети улизнуло из аудитории, без неприятных для себя последствий. В словесной аудитории на чтениях дряхлого, но некогда полезного профессора М. Г. Гаврилова, всегда рьяного славянофила, постоянно собиралась вся шаловливая молодежь. Лишь старец взойдет на кафедру и начнет похвалы высоким мыслям псалтиря, бормотанье шалунов: «Чужак! Чужак!» — останавливало пафос старца. Чужак, т. е. студент иного отделения, изгонялся; затем другой, третий, и тем лекция кончалась... Места в аудиториях занимались студентами по произволу: более внимательные, или желавшие казаться такими, усаживались ближе к профессору; рассеянные и желавшие между собою поболтать восходили на высшие ступени амфитеатра, Мерзляков прозвал их «Парнасом», «небожителями». Середина амфитеатра была избрана мною...

По денежным расчетам я должен был выбирать себе дешевые и дальние квартиры. Все, что добрый мой отец мог мне дать, простиралось не далее 240 рублей ассигнациями в год. Поэтому квартирки мои были — то у Каменного моста на Ленивке, то на Бронной за Тверским бульваром, то у Харитония в огородниках, что за Никитской. Шесть месяцев я прожил в университете в известном 14 нумере. Так называлась проходная трехугольная комната, в конце других нумеров, занимаемых казеннокоштными студентами. В 14 нумере помещались, с разрешения инспектора студентов (которым был в то время профессор Сандунов), беднейшие студенты, платившие за этот страшно холодный зимою и постоянно проходной приют да за очень скромный обед и ужин — 12 рублей в месяц. Но и эта весьма умеренная сумма неисправно вносилась, в том числе и мною. Все жила голь перекатная! Ветхая летняя шинель моя служила и для прочих моих сожителей. Холод в номере бывал зимою такой, что на столах вода замерзала; а продрогши ночь или вечер, с трудом могли набрать втроем и четвером 10 копеек серебром. Сборище для питья чая было в плохоньком трактире, что в «железных рядах», ок-

нами на кремлевский сад. В «железном», как постоянные посетители, мы имели свою комнатку, и услужливые «половые», трактирные служители, первым нам доставляли свежие «Московские ведомости», «Телеграф» Н. Полевого, «Инвалид»[2] и «Дамский вестник»[3] «сладкого спички — Шаликова» (князь). Более разгульные студенты, казенные, пристанище имели в том же железном ряду, но у содержателя «Сучка». Денежные студенты посещали кондитерскую Педотти, Шевалдышева и знаменитый едой Новотроицкий трактир в «городе».

* * *

Конец 1825 года ознаменовался кончиною Александра I, также петербургскими смутами декабристов. В промежутке трех дней посылали нас в университетский приход «Георгия на красной горке» присягать на верноподданство императорам Константину, а потом Николаю I...

Видно, Москва еще не забыла старинное «слово и дело»[4], когда о всех современных событиях говорила и судила не иначе как вполголоса, и то с оглядкой. На лекциях профессоров стали иногда показываться военные мундиры. На пробной лекции философии, которую разрешено было в 1826 году читать профессору Давыдову, мы в первый раз увидели императорского флигель-адъютанта: это был молодой полковник граф Сергей Григ<орьевич> Строганов, впоследствии попечитель университета. Не знаю, заключения ли гр. Строганова о духе лекции или чьи другие, но только кафедра философии была закрыта и предназначенный профессор Ив<ан> Ив<анович> Давыдов остался без места[5].

Бывший в это время «попечителем университета и его учебного округа» генерал-майор А. А. Писарев стал вводить мундирную форму. До сего студенты одевались во что могли; теперь же первыми были обмундированы казеннокоштные студенты. Прежде парадный мундир имели только кандидаты, магистры, доктора наук, адъюнкты и профессора, отличаемые меньшим или большим золотым шитьем по малиновому сукну на воротниках и обшлагах мундиров синего цвета; теперь цвет синий заменился темно-зеленым, и на студенческих малиновых воротниках появились по две петлицы из галунов. Чтобы отличить казенных студентов от своекоштных, своего рода «генерал Скалозуб»[6] придумал суконные погончики вроде почтальон-

ских. Все это было утверждено полумертвым министром просвещения А. С. Шишковым[7], прибывшим в Москву к празднику коронации императора...

Среди приготовлений к торжественному событию, вполслуха мы узнали, что выпущенный в сем году (1826) действительным студентом Александр Полежаев и читавший 3-го июля на университетском акте замечательное стихотворение «Гений» (известный разгулом, а еще более его цинической поэмою «Сашка», пародией на Онегина) был потребован к императору, читал пред ним места из «Сашки», указанные ему самим императором, в присутствии долголетнего старца Шишкова и попечителя Писарева, и затем отдан в военную службу...[8] После этого случая обращение и без того плохого литератора Писарева (автора «Калужских вечеров»)[9] со студентами сделалось невыносимо нелепым. После нескольких размолвок с ним, профессор Сандунов, благоразумно строгий и благодетельный, оставил инспекторскую должность. Ее передали бесхарактерному и рассеянному профессору (как острили студенты) «сбивчивой математики» Чумакову, а затем Д. М. Перевощикову. Чтобы избегнуть беды, которая могла произойти от стеснения казенных студентов, я вынужденным нашелся переселиться на вольную квартиру...

Начавшийся второй год нашего курса я облегчил тем, что взял табель на слушание лекций только двух факультетских профессоров с добавлением Каченовского. На место Прокоповича-Антонского, удаленного императором от ректорства (причем удален был и из университетского благородного пансиона, совместно с инспектором Давыдовым), был назначен И. А. Двигубский. Всех нас, своекоштных студентов, заставили носить форменные сюртуки; баричи же пошили мундиры с шитыми петлицами. Но как-то форма не клеилась: при виц-мундире надевалась шапка эриванка, крымская или круглая шляпа, шаровары à la cosaque* и т. д. Все это до глубины души мучило Писарева, шалунов же тешило, хотя иногда они и квитались карцерным заключением; поплатился и я за «единственные» гороховые панталоны...

1827-й год не проявил ничего особого. Прилежно посещали лекции, читанные от 8 часов утра до 2 часов пополудни. Прежний утомительный обычай вечерних лекций был отменен. Бывало, в холодный или дождливый вечер плетешься, невесть откуда, на лекцию, читаемую в 5-м часу;

* Как казак *(франц.)*.

пришед в аудиторию, часто слышишь от громогласного солдата Колобова: «Льва Алексеевича не будет!»[10] (декана, читавшего римское право), и снова, понурив голову, идешь домой. Всю эту зиму сильно страдал простудным ревматизмом, которым щедро одарил пресловутый 14-й нумер, или «Сибирь», как его прозвали своекоштные. Болезнь моя поддерживалась плохой одеждой: летняя шинель, фуражка, без галош и, часто на босу ногу, плохонькие сапоги составляли мой скудный покров. Беспокоить отца[11], обремененного семьей, было нечестно. Частных уроков не представлялось, да и недостало бы времени; делать заем не осмеливался, не имея в виду чем вовремя уплатить. Бедный деньгами, я, однако, был богат книгами. Часть книг я имел из хорошей библиотеки отцовской, а другую передал мне брат Константин; остальное все нужное охотно ссужали друзья и прочие товарищи, с которыми я умел уживаться, помогая в некоторых случаях школьными советами. У меня были: Монтескье, Беккария, Юсти, Фейербах, Вейс, аббат Миллот, Уложение, Наказ, Учреждение о губерниях, даже Памятник законов Максимовича[12]. Платье, что на себе, сундук с книгами, тетрадями и бельем, кровать — вот «omnia mea!»* Зато перевозка с квартиры на другую никогда не превышала 20 копеек серебром. В этом году я стал примечать некоторые, отличавшиеся от многих студентов, личности: А. А. Краевского, Н. Любимова, Н. Аничкова, Ф. Морошкина, П. Г. Редкина, А. П. Заблоцкого-Десятовского, Савича, М. Розберга, Г. Соколова, М. И. Топильского, Я. Кетчера, А. Ротчева, П. Севастьянова, Вадима и Диомида Пассеков; на анатомических лекциях знаменитого Лодера указывали на маленького молоденького студента Ник<олая> Иванов<ича> Пирогова, уже обращавшего на себя внимание своих сверстников. В том же году панический страх навел почти на всех студентов трех отделений (кроме медицинского) назначенный профессор богословия, протоиерей П. Терновский. Полное, хотя и сжатое, преподавание этого предмета, по новости, всех обременяло...[13] Полный до сего беспредельного уважения к профессорам, я сильно разочаровался Сандуновым, Цветаевым и Василевским. Я осведомился от Кирьякова и Шостака, что они и еще Загряжский, да Воронцы двое, берут у сказанных лиц частные уроки с платою: Сандунову — 15 р., Цветаеву — 12 р., Василевскому меньше. Это, по общему говору студентов, означало, что все эти слушатели, при

* Все мое! (*лат.*)

окончании курса, выступят кандидатами. Предполагая, по крайней мере, в Кирьякове стремление к большим знаниям, я не верил и не слушал злоречия. Но к душевному прискорбию, мнимое злоречие оказалось сущей правдой. Все, кроме одного из Воронцов, прошли кандидатами. Видно, овощи Курия Деканта не пришлись по желудкам престарелых профессоров.

Наступивший 1828 год мы встретили дружными занятиями. Все, кончающее курс, зашевелилось; призадумались и те, которые редко о своей цели думали. Прилежнее стали прислушиваться к лекциям, стали собираться в группы для повторений, объяснений взаимных. Даже стали рассчитывать баллы, которые придется получить от экзаменаторов. Сходились, читали, повторяли, спорили, вздыхали. Наконец наступила и пора экзаменов. Первый предмет — богословие, как прежде сказал, для меня прошел благополучно, за ним почти все главные факультетские, даже смутная политическая экономия. Но, о горе! Жестоко срезался у Ульрихса на вопросе: «кальмарский съезд»[14]. Степени кандидата я не получил. В отчете университетском о выпускных между студентами своего отделения я, однако ж, был поставлен в числе «оказавших весьма хорошие успехи». Я не ставлю себя судьею в собственном деле, но участь мою справедливо обсудили благородные товарищи!

21-го февраля 1830 года университет выдал мне аттестат с засвидетельствованием, что я «оказал весьма хорошие успехи при похвальном поведении».

Аргилландер Н. А.

ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ

(Из моей студенческой с ним жизни)

Виссарион Григорьевич Белинский, воспитанник Пензенской гимназии, по предварительно выдержанному им университетскому испытанию, в 1828 году[1], вместе со мною поступил на филологический факультет Московского университета казеннокоштным студентом, и я, в числе еще пяти товарищей студентов*, поместился с ним в одном номере университетского казенного здания, где и прожил с ним почти неразлучно три года. Белинский был всегда отличный товарищ, и, несмотря на небольшую вспыльчивость его характера, я жил с ним, что называется, душа в душу. В конце 1830 года появилась в Москве холера, сопровождаемая таким паническим страхом, что все присутственные места, театры, собрания позакрывались и чтение университетских лекций прекратилось. Все казеннокоштные студенты медицинского факультета, не исключая даже и вновь только что поступивших, в числе 70 человек, размещены были по вновь устроенным холерным больницам, и, что всего удивительнее, что ни один из этих студентов, несмотря на страшную эпидемию и постоянное обращение с труднобольными и умирающими, не почувствовал даже малейшего признака этой болезни. Мы от нечего делать ходили неоднократно с Белинским по этим холерным больницам к студентам-медикам и пили с ними постоянно прямо из бочек чуть ли не ковшами больничное красное вино, что, может быть, нас и предохраняло. Самая неприятная вещь — это было возвращение наше в здание университета, где нас окуривали какою-то гадостью с омерзительным запахом. Белинский всегда этим страшно возмущался.

Студенты прочих факультетов, как своекоштные, так и

*М. Б. Чистяков, П. С. Нечай, Н. П. Матюшенко, В. С. Саренко[2]. *(Прим. авт.)*

казеннокоштные, оставаясь без занятий, устроили по подписке, в одной из зал университета, любительские спектакли, на которых женские роли исполнялись тоже студентами. Оркестр для театра был свой, из своекоштных студентов, под управлением знаменитого в то время своими музыкальными способностями студента Радивилова; он играл на всевозможных инструментах и играл, как артист, в особенности же он увлекал публику своею игрой на устроенной им самим так называемой балалайке, на которой струны были без ладов. Все увертюры были собственного его сочинения, но, странно, он не имел зато никаких способностей к научному образованию и, просидев почти семь лет на скамье университета, выпущен был с чином 12-го класса, по милости профессоров, во внимание только к его замечательному музыкальному таланту. Все необходимое для театра, как-то: занавес, декорации и прочие принадлежности,— все это сделано было собственноручно студентами. Спектакли были до того хороши и занимательны, что М. С. Щепкин — знаменитость того времени — не пропускал ни одного спектакля и ходил к нам постоянно за кулисы; для московской же интеллигентной публики, несмотря на продолжавшуюся панику, за день до представления не было уже свободного места. Белинский не принимал участия в представлениях, по неимению для того никаких сценических способностей, но был не один раз хорошим суфлером. Нам, казеннокоштным студентам филологического факультета, так называемым словесникам, эти невинные развлечения, как-то: заучивание ролей и самые репетиции, доставляли [не] мало удовольствия. Мы согласились, сверх того, устроить между собою еженедельные литературные вечера, на которых каждый из нас должен был представить свое какое-либо литературное произведение и прочесть его вслух, а затем на этих вечерах начинались учено-литературные диспуты о всех вышедших в то время замечательных сочинениях, с должным на них критическим взглядом. Белинский в этих диспутах мало высказывался, но, обладая огромною памятью и вместе с тем необыкновенною способностью, одну и ту же идею развивать или, как мы тогда выражались, мыкать на двух, трех и более страницах, все эти наши взгляды и суждения поместил в своих ранних литературно-критических сочинениях[3].

На этих наших вечерних собраниях Белинский читал большею частью из своей, тогда задуманной им, как он

называл, трагедии «Владимир и Ольга»[4]. Вся основа этой трагедии или, лучше сказать, драмы была та, что, при существовавшем тогда крепостном праве, один из дворовых людей какого-то богатого помещика, случайно как-то получивший университетское образование и притом страстно еще влюбленный в какую-то Ольгу, делается жертвою грубого произвола своего неразвитого барина. Белинский читал все эти сцены с большим увлечением, и всем, по тому времени весьма резким, монологам мы страшно аплодировали, и многие из нас советовали даже, с окончанием этой пиесы, представить ее на рассмотрение цензурного комитета, для того, чтоб можно было поставить ее на сцену нашего университетского театра. С окончанием этой пиесы и некоторыми сделанными в ней изменениями, при общей нашей помощи, она была переписана, и Белинский самолично представил ее в комитет, состоявший из профессоров университета. Прошло несколько дней в нетерпеливом ожидании, как вдруг, раз утром,— в это время я был один с ним в номере, и мы занимались чтением какого-то периодического журнала,— его потребовали в заседание комитета, помещавшегося в здании университета. Спустя не более получаса времени вернулся Белинский, бледный, как полотно, и бросился на свою кровать лицом вниз; я стал его расспрашивать, что такое случилось, но ничего положительного не мог добиться; он произносил только одно, и то весьма невнятно: «Пропал, пропал, каторжная работа, каторжная работа!»

Заглянув ему в глаза и увидев почти смертельную бледность лица, я крикнул сторожа, приказал принести воды и, сбрызнув его, дал немного напиться. Когда же он стал успокаиваться, я более его не расспрашивал, догадавшись, в чем было дело, и только настоял на том, чтоб он сей же час отправился в клиническое отделение казеннокоштных студентов, помещавшееся на том же университетском дворе, близ анатомического театра, и проводил его туда вместе со сторожем.

Вечером того же дня я был в больнице и узнал от него, что профессора цензурного комитета распекли его таки порядком и грозили, что с лишением прав состояния он будет сослан в Сибирь, а могло случиться еще что-нибудь и хуже[5]. Я его успокаивал по мере возможности и доказывал ему, что самое большее, что могли с ним сделать,— это послать его, как неокончившего курс казеннокоштного воспитанника, учителем приходского училища или исключить

из университета. Мне душевно стало жаль Белинского и сделалось досадно на самого себя, что, говоря откровенно, хотя и не советовал представлять эту трагедию в цензурный комитет, но мог [бы] удержать его от этого, тем более что он бы меня послушался.

В начале 1831 года холера почти прекратилась, и я стал готовиться к выпускному экзамену, и, несмотря на свои усиленные занятия, я все-таки постоянно навещал Белинского в больнице, носил ему чай, сахар, табак и, по усиленному его желанию, малую толику *очищенной*. В знак своей признательности он вызвался написать мне одно рассуждение по кафедре русской словесности, за которое я, вместо ожидаемой отметки — четыре, получил от профессора Давыдова *единицу**. Рассчитывая, таким образом, окончить курс со степенью кандидата, я выпущен был со степенью действительного студента и вскоре затем, как казеннокоштный воспитанник, послан был в распоряжение Дерптского университета, где и получил место преподавателя русского языка, истории и географии. Перед отъездом моим из Москвы Белинский оставался еще в больнице, где я и простился с ним по-приятельски. Впоследствии, как я узнал, мои предсказания сбылись; но не могу понять только одного, как такой студент, как Белинский, не мог выдержать экзамена на звание приходского учителя и затем, вместе с одним студентом-медиком, действительным идиотом, по освидетельствовании их медицинским профессором Армфельдтом признан был неспособным к слушанию университетских лекций и исключен из университета[6]. Бывший когда-то моим домашним учителем в Рязани, профессор эстетики и археологии Н. И. Надеждин принял в Белинском большое участие, поместил его у себя на квартире, и Виссарион Григорьевич стал помещать в издаваемых Надеждиным тогда журналах «Телескоп» и «Молва» большею частью свои переводные статьи, а иногда свои учено-литературные критические статьи[7] Н. И. Надеждин, как издатель, за помещенную им в своем журнале «Телескоп» философскую статью Чаадаева был сослан на жительство в Вологодскую губернию; Белинский же, как замечательно даровитый сотрудник журнала, был приглашен в Петербург, где за три тысячи рублей годового содержания стал помещать свои статьи в «Отечественных записках».

По приезде в Петербург Белинский избегал всякой встречи со своими прежними университетскими товарища-

* Почему? было плохо или, может, либерально? (*Прим. авт.*)

ми, в особенности с бывшими казеннокоштными воспитанниками; он возненавидел их окончательно (?)[8], но со мною он обходился всегда по-приятельски. Последняя встреча его со мною была в 1844 году в Павловском вокзале, за буфетом. Он был уже женат, и я, желая его поздравить, предложил ему налитой стакан шампанского; он обругал меня непечатным словом и велел налить две рюмки очищенного; я, зная раздражительный его характер, должен был с ним чокнуться и поцеловаться. С тех пор я уже больше с ним не встречался.

Прозоров П. И.

БЕЛИНСКИЙ И МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЕГО ВРЕМЯ

(Из студенческих воспоминаний)

В 1830 году, при появлении в Москве холеры, прекращено было чтение лекций в университетских аудиториях; казенным студентам воспрещен был выход за ограду университета; предписаны правила гигиены; из казенных студентов медицинского факультета многие размещены по учрежденным тогда временным больницам. Но при паническом страхе и унынии в столице не слишком робели и унывали казенные студенты в своем карантинном заточении, особенно *словесники,* жившие в 11-м номере, который инспектор студентов прозвал *зверинцем.*

В этом номере, вместе с другими студентами, жили Белинский и я. Название же зверинца нашему номеру дано было по следующим обстоятельствам. Однажды Белинский, М. Б. Чистяков и я сидели на столах, табуреты были под ногами. Разговор шел о каком-то очень интересном предмете. Вдруг неожиданно явился перед нами инспектор[1]. «О чем оратурствуете на своих трибунах?» — спросил он. Старший из нас, Чистяков, отвечал: «О Байроне и о предметах важных»[2]. Инспектор после такого ответа сделал оборот и вышел из комнаты, не сказав ни слова. В наших спальнях засвечались после ужина лампы, которые и горели везде в продолжение ночи. Мы не любили спать при огне и всегда гасили лампу перед обходом субинспектора. Блюстители порядка сначала приказывали комнатному солдату засвечать погасшую лампу, но, узнавши, что мы сами гасим, оставили нас спать в темноте. Одному студенту необходимо было отлучиться во время холеры из университета по весьма важному делу; но так как ему отказано было в просьбе, то мы и положили в общем совете, чтобы он шел без позволения, принимая на себя ответственность за последствия

самовольной отлучки. Возвратившийся, разумеется, был посажен в карцер. На нас лежала обязанность освободить от наказания товарища, решившегося нарушить порядок в надежде, что его выручат из беды. Все студенты одиннадцатого номера и некоторые из других номеров, находившиеся с нашим обществом в сношениях, приступили к дежурному субинспектору, чтоб он передал нашу общую просьбу инспектору: освободить виновного или посадить всех нас в карцер. Наша просьба не была уважена. Оскорбленное самолюбие возмутилось. Чистяков и Белинский собрали большую часть студентов в круглую залу и потребовали инспектора. Инспектор, извещенный о волнении студентов, признал за лучшее прийти к нам. Благоразумная умеренность и даже уступчивость не совсем разумному требованию молодых людей смягчили наше раздражение. Опальный студент (И. С. Савинич) был освобожден из карцера. Студенты успокоились.

Второй случай был такого рода. Случилось, что некоторые из студентов нашего номера, отлучаясь из университета, опаздывали к обходу спален помощником инспектора или вовсе не ночевали дома. На случай посещения инспектора, а особенно помощника попечителя, которым тогда был Д. П. Голохвастов, когда кого-нибудь из нас не оказывалось на кровати, мы делали на ней чучелу из халатов и шинелей, которая, будучи прикрыта чехлом, при слабом освещении лампы или свечки, сопровождавшей обход, была похожа на спящего человека. Когда не успевали сделать чучелы, приглашали более близкого студента из соседней комнаты, который и ложился на кровать отсутствующего и вслед за выходящим помощником скрывался в свою комнату; когда же не успевал лечь на кровать в собственном номере, то старался попасть обозревателям на глаза, чтобы тем показать, что он не в отсутствии. Такие поздние посещения Голохвастова были всегда неприятны и студентам и инспектору. Особенно оскорбляло нас грубое обхождение Голохвастова со студентами, который при посещении комнат, даже во время студенческих занятий, никогда не снимал с своей головы фуражки, шляпы и не делал приветствия кланявшимся студентам. Все это до крайности бесило нас, и мы провожали его всегда такими благословениями, которые были не по вкусу превосходительного начальства. В этот же холерный год случилось в университете такое происшествие, которое возмутило мир и покой университетских властей и привело в движение бдительные

власти столицы. То было волнение казенных студентов, и вот по какому поводу. Студенты не один раз обнаруживали свое неудовольствие на неумеренное усердие эконома к казенным интересам; но это общее выражение неудовольствия оставлено ближайшим начальством без внимания. Видно, справедлива пословица: «рука руку моет» или другая: «ворон ворону глаз не выклюнет». Студенты, выведенные из терпения экономическими злоупотреблениями, решились не ходить в столовую[3]. О таком заговоре тотчас же дано знать ректору[4], который вместе с инспектором, деканом медицинского факультета[5] и свитой субинспекторов прибыл в студенческие комнаты для исследования случившегося. Большая часть студентов на вопрос ректора, почему они не пошли обедать, отвечали, что дурен стол; оробевших отправили в карцер для внушения прочим страха. Свита прибыла в 11-й №, из которого некоторые ушли обедать в *Железный* или к *Сучку**, другие были на пути идти туда же. Первому, бывшему ближе к дверям, был сделан вопрос: куда он идет? Тот отвечал, что идет обедать к знакомым. «Отчего же вы не обедали в столовой?» — «Оттого, что стол очень дурен»,— был ответ. «Почему же вы знаете, что стол дурен, если не ходили нынче в столовую?» — «Слышал от тех, кто возвратился из столовой». Медицинский декан сказал на ответ студента, что «не всякому слуху надо верить». Студент возразил, что «не первый нынешний день дурна пища, а уже в продолжение целой недели». Этот ответ лично задел инспектора, который с едкостью спросил: «А чем вас кормили до университета-то? Полагаю, вместо говядины варили тряпки во щах?» Студент на такую колкость с живостью отвечал, что «в том заведении, где он учился, стол был очень недурен».— «Так зачем же вы ехали сюда и поступали на казенный счет?» — сказал инспектор. «Я ехал в университет,— отвечал студент с улыбкой,— но так как университет есть высшее учебное заведение в государстве, то я предполагал, что и само содержание будет соответствовать его значению».— «В солдаты его!» — отрывисто сказал ректор и обратился к другому студенту, которого счастливая физиономия с первого взгляда располагала в его пользу. И от него был тот же ответ, что «пища не хороша». «У него и лицо-то не такое, чтобы не пойти обедать»,— сказал декан, как бы

---

* Сучком назывался тогда студенческий трактир по имени содержателя и находился на Моховой, против церкви Георгия. *(Прим. авт.)*

в защиту упомянутого студента. «Эх, братцы, присовокупил он,— всякое даяние благо, и всяк дар совершен; я пришел вас защищать»,— говорил он студентам тихо. «За этот дар мы должны заплатить казне шестью годами службы»,— возражали студенты. Видя, что все наличные студенты 11-го № твердо отвечают, ректор удалился от нас в круглую залу. Что касается до декана, защитника студенческого, то без преувеличения можно сказать, что это был преоригинальный старик, о котором можно написать много прекурьезных анекдотов. Для образчика приведу хоть два. Однажды, когда требовалось от преподавателей, по какому руководству они будут читать лекции — по своему ли собственному или другого какого известного автора, он отвечал, что «будет читать по Пленку, что умнее Пленка-то не сделаешься, хоть и напишешь свое собственное». В другой раз, когда стали при нем хвалить молодого преподавателя, только что возвратившегося из Италии, он преналвно отвечал: «Ну, не хвалите прежде времени,— поживет с нами, так поглупеет»[6] Несмотря на все эти, может быть даже и несколько школьные, проделки, умственная деятельность, особенно в 11 номере, шла бойко: спор о классицизме и романтизме еще не прекратился тогда между литераторами, несмотря на глубокомысленное и многостороннее решение этого вопроса молодым ученым Н. И. Надеждиным в его докторском рассуждении о происхождении и судьбах поэзии романтической, который вскоре после этого замечательного защищения своей диссертации занял в университете кафедру эстетики в звании ординарного профессора[7]. И между студентами были свои классики и свои романтики, сильно ратовавшие между собою на словах. Некоторые из старших студентов, слушавшие теорию красноречия и поэзии Мерзлякова и напитанные его переводами из греческих и римских поэтов, были в восторге от его перевода Тассова «Иерусалима» и очень неблагосклонно отзывались о «Борисе Годунове» Пушкина, только что появившемся в печати, с торжеством указывая на глумливые об нем отзывы в «Вестнике Европы»[8] Первогодичные студенты, воспитанные в школе Жуковского и Пушкина и не заставшие уже в живых Мерзлякова[9], мало сочувствовали его переводам, но взамен этого знали наизусть прекрасные песни его и беспрестанно декламировали целые сцены из комедии Грибоедова, которая тогда еще не была напечатана[10]; Пушкин приводил нас в неописанный восторг. Между младшими студентами самым ревностным поборни-

ком романтизма был Белинский, который отличался необыкновенной горячностью в спорах и, казалось, готов был вызвать на битву всех, кто противоречил его убеждениям. Увлекаясь пылкостью, он едко и беспощадно преследовал все пошлое и фальшивое, был жестоким гонителем всего, что отзывалось риторикою и литературным староверством. Доставалось от него иногда не только Ломоносову, но и Державину за риторические стихи и пустозвонные фразы. Вследствие особенной настроенности своего духа он никак не мог равнодушно слушать бургиевские лекции первого курса[11]. Не забыть мне забавного случая с ним на лекции риторики. Преподаватель ее, Победоносцев, в самом азарте объяснения хрий вдруг остановился и, обратившись к Белинскому, сказал: «Что ты, Белинский, сидишь так беспокойно, как будто на шиле, и ничего не слушаешь? Повтори-ка мне последние слова, на чем я остановился?» — «Вы остановились на словах, что я сижу на шиле»,— отвечал спокойно и не задумавшись Белинский. При таком наивном ответе студенты разразились смехом. Преподаватель с гордым презрением отвернулся от неразумного, по его разумению, студента и продолжал свою лекцию о хриях, инверсах и автониянах, но горько потом пришлось Белинскому за его убийственно едкий ответ. По поводу этого анекдота припоминаются мною некоторые другие черты из жизни тогдашних преподавателей, которые, может быть, объяснят отчасти такое усердие Белинского и других даровитых студентов к посещению профессорских лекций. И вот самый близкий пример. Один из тогдашних преподавателей греческого языка, Семен Мартынович Ивашковский, по приходе в аудиторию имел обыкновение ходить по ней несколько минут. А так как очень немногие из своекоштных студентов занимались греческим языком, то и просили нас, занимающихся этим языком, поговорить о чем-нибудь с прогуливающимся по аудитории профессором, с целию сократить время его занятий. И вот мы, как знатоки греческого языка, имевшие к преподавателю более доступа, чем другие, подходили к нему в числе двоих или троих с вопросами, относившимися к его предмету, и таким образом вступали с ним в продолжительный разговор. Между прочим, однажды мы высказали ему трудность успеть по всем преподаваемым предметам. «Да,— говорит он,— это правда.— В наше время, бывало, кто знает хорошо по-латыни да как еще по-гречески, так тот и кандидат; а нынче черт знает, что делается: для действительного студента нужно

знать хорошо десять предметов». В таких разговорах проходило с четверть, а иногда и полчаса времени.

Когда разговор истощался, Семен Мартыныч начинал посматривать на часы; это было знаком, что уже время заняться делом, и мы удалялись на свои места, а он — на кафедру. Начинался обычный перевод из достопамятностей Ксенофонта, из разговоров Платона или из «Илиады». Когда студенты переводили плохо, наш добряк начинал сердиться и, выведенный из терпения, с сильной энергией восклицал на всю аудиторию: «Скверно *будет*. Нуля — *будет* — вам более не поставлю». Как истолкователь учения Сократа и Платона, он не любил лжи, софизмов и шуток, которыми отличался его собрат, преподаватель латинской стилистики[12]. Однажды собрались наши ученые у Мерзлякова в Сокольниках. Истолкователь Горация и Саллюстия, зная рьяную натуру своего собрата, завел с ним какой-то спор и всеми мерами старался поддержать ложное мнение. Ревнитель истины рассердился и незаметно скрылся. Проходит часа два, как вдруг увидели Семена Мартыныча в окно, крупно шагающего с фолиантом под мышкою. Вошедши в комнаты, весь в пыли и поте, он с торжествующим видом восклицает, указывая на замеченное место раскрывшегося фолианта: «Вот — *будет* — смотрите! Ведь я говорил, что моя правда». Таков был Семен Мартыныч! Нипочем было ему прошагать десять верст взад и вперед, чтобы принесенным из дома фолиантом опровергнуть ложную мысль, незаконно защищаемую. Преподаватель римской литературы и археологии наделен был от природы каким-то особенным юмором и комизмом; все его приемы и слова заранее были рассчитаны на то, чтобы потешить и посмешить других какою-нибудь неожиданною находкою или остротою. Он выбирал для переводов со студентами такие места из классиков, которые отличались нескромностью, и любил в присутствии своих слушателей формовать глаголы страдательные, отделяя наращение от коренных слогов. Произведя между студентами смех, он останавливался, как бы удивляясь неожиданному смеху. Он имел обыкновение крестить свой рот при зевоте. Н. И. Надеждин, заметив такую операцию, спросил его однажды, для чего он это делает? Тот простодушно отвечал ему: «Чтоб черт в него не вскочил».— «Скажите лучше, чтоб из вас не выскочил»,— возразил ему Надеждин. Много можно было бы сказать характеристического о прочих преподавателях, но все такие подробности заставили бы меня

перейти за пределы предположенной статьи[13] Итак, возвратимся в 11-й номер, где случайные сходки и споры студентов приняли серьезный и как бы официальный характер. Из студентов составилось литературное общество под названием *литературных вечеров*, на которых читались собственные сочинения, переводы и высказывались суждения о журнальных статьях и о лекциях преподавателей[14] Главными учредителями этих вечеров были М. Б. Чистяков, переводивший тогда с немецкого «Теорию изящных искусств» Бахмана и посвятивший свой перевод студентам университета*[15], и В. Г Белинский, сочинявший собственную драму в романтическом духе. В нашем обществе не было президента, а только секретарь, которого обязанность состояла в том, чтобы читать во время заседаний приготовленные сочинения. Секретарем был переводчик Бахмановой «Эстетики». Несколько вечеров продолжалось чтение драмы, но не секретарем, а самим автором. Наружность его, сколько могу припомнить, была очень истощена. Вместо свежего, живого румянца юности, на лице его был разлит какой-то красноватый колорит; прическа волос на голове торчала хохлом; движения резкие, походка скорая, но зато горячо и полно одушевления было чтение автора, увлекавшее слушателей страстным изложением предмета и либеральными, по-тогдашнему, идеями. Но при изяществе изложения, смелости мыслей и глубине чувств читаная драма была слишком растянута и содержала в себе больше лиризма, чем действия. Очевидно, что драматическое поприще не было истинным призванием Белинского, и эта первая и, если не ошибаюсь, единственная попытка его[16] на этом поприще была лишь плодом молодого увлечения театром, который любил он до страсти, так увлекательно им выраженной впоследствии в «Молве»**, и свежего еще влияния «Разбойников» Шиллера, «Коварства и любви» и Шекспирова «Отелло», часто игравшихся тогда на сцене. Белинский очень огорчился, когда по прочтении драмы сделали ему замечание о недостатках его произведения, хотя он сам через четыре года сознавал, что «растянутость происходит от юности таланта, не умеющего сосредоточивать и сжимать свои порывы»***. Но этого сознания тогда еще не было

* До сих пор сохранилась у меня «Эстетика» Бахмана с подписью переводчика, которую он презентовал мне в день пасхи вместо красного яичка. *(Прим. авт.)*

** См. соч. Белинского, т. I, стр. 92—95, 1859 г.[17]. *(Прим. авт.)*

*** Соч. Белинского, ч. 1, стр. 1, 193[18]. *(Прим. авт.)*

в авторе. По изменившимся чертам лица его и засверкавшим глазам можно было ожидать, что вот он вцепится коршуном в дерзкого, осмелившегося унизить его авторский авторитет перед товарищами, однако ж он сдержал свой порыв, и только по чертам лица можно было прочесть чувство презрения, как будто говорившее: Odi vulgus profanus et urceo!*[19] Но что ж это была за драма, о которой я так распространился, не назвавши ее по имени? Память изменила бы мне, если б я вздумал через 30 лет говорить о ее содержании. Могу сказать только то, что слышал я от покойного П. Ф. Попова[20], бывшего со мною в дружеских отношениях, одноземца Белинского, а именно: герой читаной драмы был сам автор, и представляемое в ней действие взято из его семейной жизни и напоминает рассказ Карамзина об острове Борнгольме, из которого тогда в моде была песня «Законы осуждают предмет моей любви». Постигшая тогда меня горячка от сильной простуды прекратила мое участие в литературных вечерах, и по прекращении холеры начавшиеся лекции и устройство домашнего театра в университете расстроили и совсем наши литературные вечера. Устройством театра усердно занимался тогда инспектор студентов, П. С. Щепкин. Костюмы актеров доставлялись из Петровского театра, на репетициях присутствовал М. С. Щепкин, объясняя студентам характер каждой роли и показывая все сценические приемы в игре, дикцию и жестировку. Искусная игра студентов и необыкновенная игра Радивилова на четырехструнной балалайке привлекали на наши спектакли значительную часть московского общества. Здесь у места заметить, что ни один из студентов словесного отделения не принимал участия в игре на сцене,— они, как дилетанты, наслаждались спектаклем не менее самих действующих; Белинский при этом случае решился представить читанную на вечерах драму в цензурный комитет; но она к печатанию не одобрена. После описанного мною случая с Белинским в аудитории он перестал посещать бургиевские лекции первого курса и вместо их в эти часы, как и многие из нас, стал посещать лекции Н. И. Надеждина[21], который начал свой курс чтением истории изящных искусств**. Можно ли обвинять мо-

---

* «Ненавижу и отстраняю непросвещенную чернь» — стих из оды Горация[22]. *(Прим. авт.)*

** Очерк истории изящных искусств Надеждина изложен в речи, произнесенной им на акте и напечатанной в «Ученых записках Московского университета» в первых номерах[23]. *(Прим. авт.)*

лодых людей, жаждавших знания, за нарушение университетского порядка, за естественный порыв, побудивший нас преждевременно устремиться в аудиторию Надеждина послушать вместо мертвых родов красноречия (Demonstratium, deliberativum, et judiciale) живую, одушевленную речь даровитого профессора о неслыханном нами индийском *трим урти* и воплощении Кришны[24]; вместо карточной детской постройки хриек — об исполинских построениях пагод и пирамид, Пантеона и Колизея, о Страсбургском соборе и куполе Петра, об Аполлоне Бельведерском и Лаокооне и о Мадонне и преображении Рафаэля?[25]

Холерный год можно назвать переходною эпохою в жизни Московского университета. Начиная с высших властей до преподавателей, устаревшие для науки уступили свое место новым деятелям, с современными взглядами и новым направлением. На кафедру Мерзлякова поступил И. И. Давыдов, внесший в русскую словесность как науку философские начала, хотя и заменявший профессорский дар слова на кафедре искусною ораторскою декламациею. Место преподавателя всеобщей истории, читавшего свои лекции по Кайданову[26], занял М. П. Погодин, познакомивший нас с историческими воззрениями Герена, Робертсона, Беттигера. Каченовский, неизменно верный своему скептическому направлению, продолжал очищать исторические материалы, придираясь к мелочам и внушая слушателям подозрение к несомненным фактам и мало заботясь о разъяснении идеи и духа русской истории. Надеждин принес с собою на кафедру всеобъемлемость Шеллингова воззрения на искусство и свободную живую импровизацию бесед, своим светлым умом и необыкновенным даром слова умел самым отвлеченным гегелевским понятиям сообщить осязаемость и заставил некоторых из своих слушателей ближе познакомиться с системой тождества и логическо-историческим учением о развитии мирового духа (Weltgeist) Гегеля, обработавшего идеальную сторону природы*, а в других применить впоследствии развитые им идеи и воззрения на изящные искусства к литературе собственно русской. Редким профессорским даром и приветливым, гуманным обращением Николай Иванович возбуждал в студентах необыкновенный энтузиазм; его обширная аудитория, кроме студентов словесного отделения, наполнялась студентами дру-

* Другую сторону природы (Die Naturphilosophie) назначено было развить в Германии Окену, у нас в России — Велланскому и Павлову. (*Прим. авт.*).

гих факультетов и сторонними слушателями. И под холодом лет не остыл еще этот энтузиазм, и при взгляде на портрет Надеждина, висящий передо мною на стене, оживает в душе моей прекрасная личность его, окруженная ореолом в тот момент жизни профессора, когда он читал лекцию в присутствии товарища министра народного просвещения Уварова и многих прибывших с ним знатных посетителей. Предметом лекции было объяснение *идеи безусловной красоты,* являющейся под *схемою гармонии жизни,* о ее осуществлении в боге под образом *вечной отчей любви* к творению и проявлении в духе человеческом *стремлением к бесконечному, божественным восторгом,* а в душе художника образованием *идеалов.* Студенты, записывавшие лекции, бросили свои перья, чтоб через записыванье не проронить ни одного слова, и только смотрели на профессора, которого глаза горели огнем вдохновения; одушевленный голос сопровождался оживленностью физиономии, живостью движений, торжественностью самой позы; даже посторонние посетители, вместо тяжелой неподвижности, которую соблюдали на лекциях других профессоров, невольно обратились к профессору и смотрели на него, как будто на оракула. Уваров, пораженный возвышенностью развиваемого предмета и изящным изложением, спросил Николая Ивановича, понимают ли его студенты. Профессор отвечал, что «по журналам (запискам) его лекций он утвердительно может сказать, что слушатели вполне понимают его», Сергей Семенович, обращаясь к прибывшим с ним посетителям, тихо и неслышно сказал профессору: «Читает лучше, чем пишет». А писал Надеждин, как это было известно каждому, прекрасно (в смысле стиля, а не почерка, которого нельзя было похвалить»). Увлеченный лекциями Надеждина, я убежал на целый год от описываемого мною времени и потому возвращусь к нему, сказавши еще два-три слова о Шевыреве, который по возвращении из-за границы занял вновь учрежденную кафедру истории литературы. Своими щегольски обработанными лекциями и одушевленными теплым дилетантизмом, развившимся в классической стране искусства (который, впрочем, доходил тогда у него до педантизма и детства), Шевырев познакомил студентов с содержанием и формою поэзии индийцев (Магаборатою, Рамайяною и Саконталою)[27].

Наступила вакация после холерного года. В первых числах июня я уехал на родину... Целые полгода пространствовал я в Новгородской и Ярославской губерниях, где

мне было гораздо и приятнее и веселее, чем слушать другой год лекции приготовительного курса, потому что, по распоряжению университетского начальства, холерный год не положен был в счет курса. В такой продолжительный промежуток времени произошли многие перемены в университете, и, между прочим, все своекоштные студенты, просрочившие после вакации больше месяца, были исключены из университета.

Белинский тоже попал под этот разряд: по возвращении моем в университет я уже не нашел его между студентами[28]. Он был исключен из университета ни больше ни меньше как за *«безуспешность»*; и это было сказано в выданном ему аттестате. Во время постигшей его невзгоды он приютился на квартиру, против сандуновских бань, к землякам своим Ивановым, из которых старший брат служил тогда, помнится, в сенате, а младший был студентом юридического факультета. Без всяких средств к существованию Виссарион Григорьевич обратился тогда с просьбой к прибывшему в Москву попечителю Белорусского учебного округа Карташевскому об определении его в уездные учители, в которых тогда очень нуждалась Белоруссия. Попечитель, просмотревши незавидный его аттестат, усомнился исполнить просьбу исключенного студента и предложил ему занять место приходского учителя, на которое Белинский поступить не решился[29], и, чтобы сколько-нибудь поправить свои плохие обстоятельства, он принялся переводить роман Поль де Кока «Монфермельская молочница»[30], за который и получил от издателя сто рублей ассигнациями. Несколько раз посещал я переводчика Польдекокова романа в квартире Ивановых. В одно из этих посещений я начал ему читать свои созерцания природы, в которых она рассматривалась как откровение творческих идей, как беспредельная пучина зиждительных сил, вырабатывающих из вещества художественные образы и стройными хороводами небесных сфер возвещающих гармонию вселенной. Не успел я прочесть несколько страниц, как Белинский судорожно остановил меня. «Не читай, пожалуйста,— сказал он,— у меня у самого носятся в душе подобные мысли о творчестве природы, которым я не успел еще дать формы, и не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что я занял их у других и выдаю за свои». Эти мысли о творчестве высказаны Белинским печатно в «Литературных мечтаниях», помещенных в «Молве». Кто мог предвидеть, что этот бедный студент, исключенный из университета за безуспешность и не-

способность, которому было отказано в скромном месте уездного учителя, через несколько лет сделается первым нашим критиком, двигателем юных поколений по пути прогресса и (в сообществе с Станкевичем) пламенным проповедником гуманистических идей в нашей литературе? По рассеянии членов литературного общества в нашем 11-м № образовался литературный кружок у своекоштного студента Станкевича, который жил тогда у профессора Павлова. От Ивановых Белинский переселился в квартиру Н. И. Надеждина, в доме Самарина, подле Страстного монастыря. И здесь привелось мне быть у Виссариона Григорьевича по особенному случаю. По распоряжению товарища министра народного просвещения Уварова, посещавшего в то время каждый день профессорские лекции, назначено было, в числе прочих, и мне говорить с профессорской кафедры лекцию. Предметом лекции я выбрал развитие идей о творческой силе в искусстве, или о гении. Николай Иванович, выслушав наши приготовительные чтения и приготовясь к ответам на могущие встретиться со стороны Уварова возражения, обратился ко мне и сказал: «Я вполне надеюсь на вас». Обрадованный словами любимого профессора, я прямо устремился в комнату Белинского передать ему о будущих наших чтениях. Виссарион Григорьевич, заваленный книгами и французскими журналами, доканчивал тогда свои «Литературные мечтания». Кто только посещал лекции Надеждина, не хотел верить, что эти мечтания писаны Белинским, а не Надеждиным. Так они были проникнуты духом самого редактора «Телескопа» и «Молвы».[31] Составляя записки полного курса «Эстетики» Надеждина* и будучи членом литературного студенческого общества, я могу хорошо отличить, что в этих мечтаниях принадлежит Надеждину и что Белинскому. Из своекоштных студентов занимался составлением лекций Надеждина Н. В. Станкевич, которому я сообщил в пособие записки эстетики профессора Московской духовной академии Доброхотова, о которой упоминается в автобиографии Надеждина. То же можно сказать и о некоторых других статьях Белинского. Во время посещений Виссарионом Григорьевичем прежних своих товарищей, живших уже не в 11-м №, а в круглой зале, я слышал от него, что «Литературные мечтания» доставили

---

* Идеи, развиваемые Надеждиным на лекциях, напечатаны в нескольких статьях в «Телескопе» об *эстетическом образовании: в очерке истории эстетики,* в энциклопедическом лексиконе — *о вкусе* в школе живописи, *об изображении Авидонны в живописи*[32]. *(Прим. авт.)*

ему выгодные уроки и что он уже по недостатку времени отказывался от предлагаемых вновь. Сочувствуя вполне восторженному удивлению молодого поколения к плодотворной деятельности Белинского, я обязан сказать, однако, что он в первые годы своей литературной деятельности был только сознательным органом выражения идей Надеждина. Как редактор журнала, Николай Иванович, найдя в Белинском человека, одаренного эстетическим пониманием, вполне способного развивать его мысли и излагать их в изящной форме, сообщил молодому таланту философско-художественное направление для последующей независимой деятельности. Когда талант Белинского созрел под благотворным влиянием Надеждина, он пошел далее своего учителя в приложении к литературе, как это и должно быть по закону прогресса, тем более что деятельность Надеждина приняла более обширные размеры, чем одна изящная литература. В последний раз посетил я Белинского пред отъездом моим из Москвы на службу, в университетском ректорском доме, куда переехал Н. И. Надеждин. На прощанье подарил он мне на память Шиллерова «Дон Карлоса» в переводе Лихонина и номер «Телескопа», в котором был помещен «Другой из тринадцати» Бальзака[33]. «Первый же из тринадцати» достался мне из числа тех номеров, которые получались по билету, подаренному казенным студентам словесного факультета самим редактором «Телескопа». С Николаем Ивановичем Надеждиным в последний раз я виделся 12 января, в день праздника основания университета. По окончании торжества, выходя из залы собрания и встретясь со мною, он сказал мне: «Вы еще не уехали?» Я отвечал ему, что «сейчас отправляюсь в путь, только хотелось мне побывать здесь на празднике». Николай Иванович, взявши меня за руку, сошел вместе со мною по лестницам на двор и, садясь в сани, на прощанье пожелал мне на новом поприще жизни всех возможных успехов и поручил мне кланяться от него будущему моему начальнику, с которым он служил в прежние годы вместе. Через двадцать лет жизни в провинции судьба привела меня опять провесть 12 января в университете при праздновании столетнего юбилея; но не встретился я там ни с незабвенным своим наставником, которому некогда под сводами акционного зала раздавались громкие рукоплескания публики и студентов после произнесения им речи, ни с прежним товарищем, которого имя сделалось так дорого всем, кто любит русскую литературу.

Герцен А. И.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ГЛАВА ИЗ РОМАНА «БЫЛОЕ И ДУМЫ»)

<...> В истории русского образования и в жизни двух последних поколений Московский университет и Царскосельский лицей играют значительную роль.

Московский университет вырос в своем значении вместе с Москвою после 1812 года; разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волею, а вдвое того неволею) в столицы народа русского. Народ догадался по боли, которую чувствовал при вести о ее занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвой. С тех пор началась для нее новая эпоха. В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены — историческое значение, географическое положение и отсутствие царя.

Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге после Павла мрачно замкнулась 14 декабря. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом.

Все пошло назад, кровь бросилась к сердцу, деятельность, скрытая наружи, закипела, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться изза всеобщего тумана. Государь его возненавидел с полежаевской истории. Он прислал А. Писарева, генерал-майора «Калужских вечеров», попечителем, велел студентов одеть в мундирные сертуки, велел им носить шпагу; отдал Полежаева в солдаты за стихи[1], Костенецкого с товарищами за прозу[2], уничтожил Критских за бюст[3], отправил нас в ссылку за сен-симонизм, посадил князя Сергея Михайловича Голицына попечителем и не занимался больше «этим рассадником разврата», благочестиво советуя молодым лю-

дям, окончившим курс в Лицее и в школе правоведения, не вступать в него.

Голицын был удивительный человек, он долго не мог привыкнуть к тому беспорядку, что когда профессор болен, то и лекции нет; он думал, что следующий *по очереди* должен был его заменять, так что отцу Терновскому пришлось бы иной раз читать в клинике о женских болезнях, а акушеру Рихтеру — толковать бессеменное зачатие.

Но, несмотря на это, опальный университет рос влиянием, в него как в общий резервуар вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее.

До 1848 года устройство наших университетов было чисто демократическое. Двери их были открыты всякому, кто мог выдержать экзамен и не был ни крепостным, ни крестьянином, ни уволенным своей общиной. Николай все это исказил; он ограничил прием студентов, увеличил плату своекоштных и дозволил избавлять от нее только бедных *дворян*. Все это принадлежит к ряду безумных мер, которые исчезнут с последним дыханием этого тормоза, попавшего на русское колесо,— вместе с законом о пассах[4], о религиозной нетерпимости и проч. <...>

Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавлялась в компактную массу товарищества. Общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречаем в английских школах и казармах; об английских университетах я не говорю: они существуют исключительно для аристократии и для богатых. Студент, который бы вздумал у нас хвастаться своей *белой костью* или богатством, был бы отлучен от «воды и огня», замучен товарищами.

Внешние различия, и то не глубокие, делившие студентов, шли из других источников. Так, например, медицинское отделение, находившееся по другую сторону сада, не было с нами так близко, как прочие факультеты; к тому же его большинство состояло из семинаристов и немцев[5] Немцы держали себя несколько в стороне и были очень пропитаны западномещанским духом. Все воспитание несчастных семинаристов, все их понятия были совсем иные, чем у нас, мы говорили разными языками; они, выросшие под гнетом монашеского деспотизма, забитые своей рито-

рикой и теологией, завидовали нашей развязности; мы — досадовали на их христианское смирение*.

Я вступил в физико-математическое отделение, несмотря на то что никогда не имел ни большой способности, ни большой любви к математике. Учились ей мы с Ником у одного учителя[6], которого мы любили за его анекдоты и рассказы; при всей своей занимательности, он вряд мог ли развить особую страсть к своей науке. Он знал математику включительно до конических сечений, то есть ровно столько, сколько было нужно для приготовления гимназистов к университету; настоящий философ, он никогда не полюбопытствовал заглянуть в «университетские части» математики. Особенно замечательно при этом, что он только одну книгу и читал, и читал ее постоянно, лет десять, это Франкеров курс[7]; но, воздержанный по характеру и не любивший роскоши, он не переходил известной страницы.

Я избрал физико-математический факультет потому, что в нем же преподавались естественные науки, а к ним именно в это время развилась у меня сильная страсть. <...>

Итак, наконец затворничество родительского дома пало. Я был au large**; вместо одиночества в нашей небольшой комнате, вместо тихих и полускрываемых свиданий с одним Огаревым — шумная семья в семьсот голов окружила меня. В ней я больше оклиматился в две недели, чем в родительском доме с самого дня рождения.

А дом родительский меня преследовал даже в университете в виде лакея, которому отец мой[8] велел меня провожать, особенно когда я ходил пешком. Целый семестр я отделывался от провожатого и насилу официально успел в этом. Я говорю: официально — потому что Петр Федорович, мой камердинер, на которого была возложена эта должность, очень скоро понял, во-первых, что мне неприятно быть провожаемым, во-вторых, что самому ему гораздо приятнее в разных увеселительных местах, чем в передней физико-математического факультета, в которой все удовольствия ограничивались беседою с двумя сторожами и взаимным потчеванием друг друга и самих себя табаком.

---

* В этом отношении сделан огромный успех; все, что я слышал в последнее время о духовных академиях и даже семинариях, подтверждает это. Само собою разумеется, что в этом виновато не духовное начальство, а дух учащихся. *(Прим. авт.)*

** На просторе *(франц.)*.

К чему посылали за мной провожатого? Неужели Петр, с молодых лет зашибавший по нескольку дней сряду, мог меня остановить в чем-нибудь? Я полагаю, что мой отец и не думал этого, но для *своего* спокойствия брал меры недействительные, но все же меры, вроде того, как люди, не веря, говеют. Черта эта принадлежит нашему старинному помещичьему воспитанию. До семи лет было приказано водить меня за руку по внутренней лестнице, которая была несколько крута; до одиннадцати меня мыла в корыте Вера Артамоновна; стало, очень последовательно — за мной, студентом, посылали слугу и до двадцати одного года мне не позволялось возвращаться домой после половины одиннадцатого. Я практически очутился на воле и на своих ногах в ссылке; если б меня не сослали, вероятно, тот же режим продолжался бы до двадцати пяти лет... до тридцати пяти.

Как большая часть живых мальчиков, воспитанных в одиночестве, я с такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, с такой безумной неосторожностью делал пропаганду и так откровенно сам всех любил, что не мог не вызвать горячий ответ со стороны аудитории, состоящей из юношей почти одного возраста (мне был тогда семнадцатый год).

Мудрые правила — со всеми быть учтивым и ни с кем близким, никому не доверяться — столько же способствовали этим сближениям, как неотлучная мысль, с которой мы ступили в университет,— мысль, что *здесь* совершатся наши мечты, что здесь мы бросим семена, положим основу союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней.

Молодежь была прекрасная в наш курс. Именно в это время пробуждались у нас больше и больше теоретические стремления. Семинарская выучка и шляхетская лень равно исчезали, не заменяясь еще немецким утилитаризмом, удобряющим умы наукой, как поля навозом, для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный проселок, которым скорее объезжают в коллежские асессоры. Возникавшие вопросы вовсе не относились до табели о рангах.

С другой стороны, научный интерес не успел еще выродиться в доктринаризм; наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало *гражданскую* нравственность

студентов. Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки *запрещенных* стихов[9] ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся,— но и те молчали*.

Один пустой мальчик, допрашиваемый своей матерью о маловской истории[10] под угрозою прута, рассказал ей кое-что. Нежная мать — *аристократка* и княгиня — бросилась к ректору и передала донос сына как доказательство его раскаяния. Мы узнали это и мучили его до того, что он не остался до окончания курса.

История эта, за которую и я посидел в карцере, стоит того, чтоб рассказать ее.

Малов был глупый, грубый и необразованный профессор[11] в политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним.

— Сколько у вас профессоров в отделении? — спросил как-то попечитель у студента в политической аудитории.

— Без Малова девять,— отвечал студент.

Вот этот-то профессор, которого надобно было *вычесть* для того, чтоб осталось девять, стал больше и больше делать дерзостей студентам; студенты решились прогнать его из аудитории. Сговорившись, они прислали в наше отделение двух парламентеров, приглашая меня прийти с вспомогательным войском. Я тотчас объявил клич идти войной на Малова, несколько человек пошли со мной; когда мы пришли в политическую аудиторию, Малов был налицо и видел нас.

У студентов на лицах был написан один страх, ну, как он в этот день не сделает никакого грубого замечания. Страх этот скоро прошел. Через край полная аудитория была непокойна и издавала глухой, сдавленный гул. Малов сделал какое-то замечание, началось шарканье.

— Вы выражаете ваши мысли, как лошади, ногами,— заметил Малов, воображавший, вероятно, что лошади думают галопом и рысью, и буря поднялась — свист, шиканье, крик: «Вон его, вон его. Pereat**!» Малов, бледный как полотно, сделал отчаянное усилие вновь овладеть шумом и не мог; студенты вскочили на лавки. Малов тихо со-

* Тогда не было инспекторов и субинспекторов, исправляющих при аудиториях роль моего Петра Федоровича. *(Прим. авт.)*

** Да сгинет! *(лат.)*

шел с кафедры и, съежившись, стал пробираться к дверям; аудитория — за ним, его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслед за ним его калоши. Последнее обстоятельство было важно, на улице дело получило совсем иной характер; но будто есть на свете молодые люди 17—18 лет, которые думают об этом.

Университетский совет перепугался и убедил попечителя представить дело оконченным и для того виновных или так кого-нибудь посадить в карцер. Это было неглупо. Легко может быть, что в противном случае государь прислал бы флигель-адъютанта, который для получения креста сделал бы из этого дела заговор, восстание, бунт и предложил бы всех отправить на каторжную работу, а государь помиловал бы в солдаты. Видя, что порок наказан, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора. Мы Малова прогнали до университетских ворот, а он его выгнал за ворота. Vae victis* с Николаем; но на этот раз не нам пенять на него.

Итак, дело закипело; на другой день после обеда приплелся ко мне сторож из правления, седой старик, который добросовестно принимал à la lettre**, что студенты ему давали деньги на водку, и потому постоянно поддерживал себя в состоянии более близком к пьяному, чем трезвому. Он в обшлаге шинели принес от «лехтура» записочку — мне было велено явиться к нему в семь часов вечера. Вслед за ним явился бледный и испуганный студент из остзейских баронов, получивший такое же приглашение и принадлежавший к несчастным жертвам, приведенным мною. Он начал с того, что осыпал меня упреками, потом спрашивал совета, что ему говорить.

— Лгать отчаянно, запираться во всем, кроме того, что шум был и что вы были в аудитории,— отвечал я ему.

— А ректор спросит, зачем я был в политической аудитории, а не в нашей?

— Как зачем? Да разве вы не знаете, что Родион Гейман не приходил на лекцию, вы, не желая потерять времени по-пустому, пошли слушать другую.

— Он не поверит.

— Это уж его дело.

Когда мы входили на университетский двор, я посмотрел на моего барона: пухленькие щечки его были очень бледны, и вообще ему было плохо.

---

* Горе побежденным (*лат.*).

** Буквально (*франц.*).

— Слушайте,— сказал я,— вы можете быть уверены, что ректор начнет не с вас, а с меня; говорите то же самое с вариациями; вы же и в самом деле ничего особенного не сделали. Не забудьте одно: за то, что вы шумели, и за то, что лжете,— много-много вас посадят в карцер; а если вы проболтаетесь да кого-нибудь при мне запутаете, я расскажу в аудитории, и мы отравим вам ваше существование.

Барон обещал и честно сдержал слово.

Ректором был тогда Двигубский, один из остатков и образцов допотопных профессоров или, лучше сказать, *допожарных,* то есть до 1812 года. Они вывелись теперь; с попечительством князя Оболенского вообще оканчивается патриархальный период Московского университета[12]. В те времена начальство университетом не занималось, профессора читали и не читали, студенты ходили и не ходили, и ходили притом не в мундирных сертуках à l'instar* конно-егерских, а в разных отчаянных и эксцентрических платьях, в крошечных фуражках, едва державшихся на девственных волосах. Профессора составляли два стана, или слоя, мирно ненавидевшие друг друга: один состоял исключительно из немцев, другой — из не-немцев. Немцы, в числе которых были люди добрые и ученые, как Лодер, Фишер, Гильдебрандт и сам Гейм, вообще отличались незнанием и нежеланием знать русского языка, хладнокровием к студентам, духом западного клиентизма, ремесленничества, неумеренным курением сигар и огромным количеством крестов, которых они никогда не снимали. Не-немцы, с своей стороны, не знали ни одного (живого) языка, кроме русского, были отечественно раболепны, семинарски неуклюжи, держались, за исключением Мерзлякова, в черном теле и вместо неумеренного употребления сигар употребляли неумеренно настойку. Немцы были больше из Геттингена, не-немцы — из поповских детей.

Двигубский был из не-немцев. Вид его был так назидателен, что какой-то студент из семинаристов, приходя за табелью, подошел к нему под благословение и постоянно называл его «отец ректор». Притом он был страшно похож на сову с Анной на шее, как его рисовал другой студент, получивший более светское образование. Когда он, бывало, приходил в нашу аудиторию или с деканом Чумаковым, или с Котельницким, который заведовал шкапом с надписью «Materia Medica»**, неизвестно зачем проживавшим в

* Вроде *(франц.).*
** «Медицинское вещество» *(лат.).*

математической аудитории, или с Рейсом, выписанным из Германии за то, что его дядя хорошо знал химию,— с Рейсом, который, читая по-французски, называл светильню — bâton de coton*, яд — рыбой (poisson**), а слово «молния» так несчастно произносил, что многие думали, что он бранится,— мы смотрели на них большими глазами, как на собрание ископаемых, как на последних Абенсерагов, представителей иного времени, не столько близкого к нам, как к Третьяковскому и Кострову,— времени, в котором читали Хераскова и Княжнина, времени доброго профессора Дильтея, у которого были две собачки: одна вечно лаявшая, другая никогда не лаявшая, за что он очень справедливо прозвал одну *Баваркой****, а другую *Пруденкой*****.

Но Двигубский был вовсе не добрый профессор, он принял нас чрезвычайно круто и был груб; я порол страшную дичь и был неучтив, барон подогревал то же самое. Раздраженный Двигубский велел явиться на другое утро в совет, там в полчаса времени нас допросили, осудили, приговорили и послали сентенцию на утверждение князя Голицына.

Едва я успел в аудитории пять или шесть раз в лицах представить студентам суд и расправу университетского сената, как вдруг в начале лекции явился инспектор, русской службы майор и французский танцмейстер, с унтерофицером и с приказом в руке — меня взять и свести в карцер. Часть студентов пошла провожать, на дворе тоже толпилась молодежь; видно, меня не первого вели, когда мы проходили, все махали фуражками, руками; университетские солдаты двигали их назад, студенты не шли.

В грязном подвале, служившем карцером, я уже нашел двух арестантов: Арапетова и Орлова, князя Андрея Оболенского и Розенгейма посадили в другую комнату, всего было шесть человек[13], наказанных по маловскому делу. <...>

Итак, первые ночи, которые я не спал в родительском доме, были проведены в карцере. Вскоре мне приходилось испытать другую тюрьму, и там я просидел не восемь дней[14], а девять месяцев, после которых поехал не домой, а в ссылку. Но до этого далеко.

---

* Хлопчатобумажной палкой вместо: «cordon de coton» — хлопчатобумажным фитилем (*франц.*).

** Яд — poison; рыба — poisson (*франц.*).

*** Болтушкой (*от франц.* bavard).

**** Трусихой (*от франц.* prudent).

С этого времени я в аудитории пользовался величайшей симпатией. Сперва я слыл за хорошего студента; после маловской истории сделался, как известная гоголевская дама, хороший студент во всех отношениях.

Учились ли мы при всем этом чему-нибудь, могли ли научиться? Полагаю, что «да». Преподавание было скуднее, объем его меньше, чем в сороковых годах. Университет, впрочем, не должен оканчивать научное воспитание; его дело — поставить человека à même* продолжать на своих ногах; его дело — возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как М. Г Павлов, а с другой стороны, и такие, как Каченовский. Но больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений... Московский университет свое дело делал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей.

А какие оригиналы были в их числе и какие чудеса — от Федора Ивановича Чумакова, *подгонявшего* формулы к тем, которые были в курсе Пуансо, с совершеннейшей свободой помещичьего права, прибавляя буквы, принимая квадраты за корни и *x* за известное, до Гавриила Мягкова, читавшего самую *жесткую* науку в мире — тактику. От постоянного обращения с предметами героическими самая наружность Мягкова приобрела строевую выправку: застегнутый до горла, в несгибающемся галстуке, он больше командовал свои лекции, чем говорил.

— Господа! — кричал он,— на поле! *Об артиллерии!*

Это не значило: на поле сражения едут пушки, а просто, что на марже** такое заглавие. Как жаль, что Николай обходил университет, если б он увидел Мягкова, он его сделал бы попечителем.

А Федор Федорович Рейс, никогда не читавший химии далее второй химической ипостаси, то есть водорода! Рейс, который действительно попал в профессора химии, потому что не он, а его дядя занимался когда-то ею. В конце царствования Екатерины старика пригласили в Россию; ему ехать не хотелось — он отправил, вместо себя, племянника...

К чрезвычайным событиям нашего курса, продолжавшегося четыре года (потому что во время холеры универ-

---

* Дать ему возможность *(франц.)*.

** Полях книги (от *франц.* marge).

ситет был закрыт целый семестр),— принадлежит сама холера, приезд Гумбольдта и посещение Уварова.

Гумбольдт, возвращаясь с Урала, был встречен в Москве в торжественном заседании общества естествоиспытателей при университете[15], членами которого были разные сенаторы, губернаторы,— вообще люди, не занимавшиеся ни естественными, ни неестественными науками. Слава Гумбольдта, тайного советника его прусского величества[16], которому государь император изволил дать Анну[17] и приказал не брать с него денег за материал и диплом[18], дошла и до них. Они решились не ударить себя лицом в грязь перед человеком, который был на Шимборазо и жил в Сан-Суси[19].

Мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на столичных жителей,— с подобострастием и чувством собственной вины, принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая. Дело в том, что мы были застращены и не оправились от насмешек Петра I, от оскорблений Бирона, от высокомерия служебных немцев и воспитателей-французов. Западные люди толкуют о нашем двоедушии и лукавом коварстве; они принимают за желание обмануть — желание выказаться и похвастаться. У нас тот же человек готов наивно либеральничать с либералом, прикинуться легитимистом, и это без всяких задних мыслей, просто из учтивости и из кокетства; бугор de l'approbativité* сильно развит в нашем черепе. <...>

Прием Гумбольдта в Москве и в университете было дело нешуточное. Генерал-губернатор, разные вое- и градоначальники, сенат — все явилось: лента через плечо, в полном мундире, профессора воинственно при шпагах и с треугольными шляпами под рукой. Гумбольдт, ничего не подозревая, приехал в синем фраке с золотыми пуговицами и, разумеется, был сконфужен. От сеней до залы общества естествоиспытателей везде были приготовлены засады: тут ректор, там декан, тут начинающий профессор, там ветеран, оканчивающий свое поприще и именно потому говорящий очень медленно,— каждый приветствовал его по-латыни, по-немецки, по-французски, и все это в страшных каменных трубах, называемых коридорами, в которых нельзя остановиться на минуту, чтобы не простудиться на

* Желания понравиться (*франц.*).

месяц. Гумбольдт все слушал без шляпы и на все отвечал — я уверен, что все дикие, у которых он был, краснокожие и медного цвета, сделали ему меньше неприятностей, чем московский прием.

Когда он дошел до залы и уселся, тогда надобно было встать. Попечитель Писарев счел нужным в кратких, но сильных словах *отдать приказ,* по-русски, о заслугах его превосходительства и знаменитого путешественника; после чего Сергей Глинка, «офицер», голосом тысяча восьмисот двенадцатого года, густо-сиплым, прочел свое стихотворение, начинавшееся так:

Humboldt — Prométhée de nos jours!*

А Гумбольдту хотелось потолковать о наблюдениях над магнитной стрелкой[20], сличить свои метеорологические заметки на Урале с московскими — вместо этого ректор пошел ему показывать что-то сплетенное из высочайших волос Петра I...; насилу Эренберг и Розе нашли случай кой-что рассказать о своих открытиях. <...>

Второй «знаменитый» путешественник был тоже в некотором смысле «Промифей наших дней», только что он свет крал не у Юпитера, а у людей. Этот Промифей, воспетый не Глинкою, а самим Пушкиным в послании к Лукуллу[21], был министр народного просвещения С. С. (еще не граф) Уваров[22] Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал; настоящий сиделец за прилавком просвещения, он берег в памяти образчики всех наук, их казовые концы или, лучше, начала. При Александре он писал либеральные брошюрки по-французски[23], потом переписывался с Гете по-немецки о греческих предметах[24]. Сделавшись министром, он толковал о славянской поэзии IV столетия, на что Каченовский ему заметил, что тогда впору было с медведями сражаться нашим праотцам, а не то что песнопеть о самофракийских богах и самодержавном милосердии. Вроде патента он носил в кармане письмо от Гете, в котором Гете ему сделал прекурьезный комплимент, говоря: «Напрасно извиняетесь вы в вашем слоге: вы достигли до того, до чего я не мог достигнуть,— вы забыли немецкую грамматику».

Вот этот-то действительный тайный Пик де ла Мирандоль завел нового рода испытания. Он велел отобрать лучших студентов для того, чтоб каждый из них прочел по

---

* Гумбольдт — Прометей наших дней! *(франц.)*

лекции из своих предметов вместо профессора. Деканы, разумеется, выбрали самых бойких.

Лекции эти продолжались целую неделю. Студенты должны были приготовляться на все темы своего курса, декан вынимал билет и имя. Уваров созвал всю московскую знать. Архимандриты и сенаторы, генерал-губернатор и Ив. Ив. Дмитриев — все были налицо.

Мне пришлось читать у Ловецкого из минералогии... И он уже умер!

Где наш старец Ланжерон!
Где наш старец Бенигсон!
И тебя уже не стало,
И тебя как не бывало![25]

Алексей Леонтьевич Ловецкий был высокий, тяжело двигавшийся, топорной работы мужчина, с большим ртом и большим лицом, совершенно ничего не выражавшим. Снимая в коридоре свою гороховую шинель, украшенную воротниками разного роста, как носили во времена первого консулата,— он, еще не входя в аудиторию, начинал ровным и бесстрастным (что очень хорошо шло к каменному предмету его) голосом: «Мы заключили прошедшую лекцию, сказав все, что следует о кремнеземии», потом он садился и продолжал: «о глиноземии...» У него были созданы неизменные рубрики для формулярных списков каждого минерала, от которых он никогда не отступал; случалось, что характеристика иных определялась отрицательно: «Кристаллизация — не кристаллизуется, употребление — никуда не употребляется, польза — вред, приносимый организму...»

Впрочем, он не бежал ни поэзии, ни нравственных отметок, и всякий раз, когда показывал поддельные камни и рассказывал, как их делают, он прибавлял: «Господа, это обман». В сельском хозяйстве он находил *моральными* качествами хорошего петуха, если он «охотник петь и до кур», и отличительным свойством аристократического барана — «плешивые коленки». Он умел тоже трогательно повествовать, как мушки рассказывали, как они в прекрасный летний день гуляли по дереву и были залиты смолой, сделавшейся янтарем, и всякий раз добавлял: «Господа, это — прозопопея»*.

Когда декан[26] вызвал меня, публика была несколько утомлена; две математические лекции распространили уны-

* Олицетворение (от *франц.* prosopopée).

ние и грусть на людей, не понявших ни одного слова. Уваров требовал что-нибудь поживее и студента с «хорошо повешенным языком». Щепкин указал на меня[27].

Я взошел на кафедру. Ловецкий сидел возле неподвижно, положа руки на ноги, как Мемнон или Озирис, и боялся... Я шепнул ему:

— Экое счастье, что мне пришлось у вас читать, я вас не выдам.

— Не хвались, идучи на рать...— отпечатал, едва шевеля губами и не смотря на меня, почтенный профессор.

Я чуть не захохотал, но, когда я взглянул перед собой, у меня зарябило в глазах, я чувствовал, что я побледнел и какая-то сухость покрыла язык. Я никогда прежде не говорил публично, аудитория была полна студентами — они надеялись на меня; под кафедрой за столом — «сильные мира сего» и все профессора нашего отделения. Я взял вопрос и прочел не своим голосом: «О кристаллизации, ее условиях, законах, формах».

Пока я придумывал, с чего начать, мне пришла счастливая мысль в голову: если я и ошибусь, заметят, может, профессора, но ни слова не скажут, другие же сами ничего не смыслят, а студенты, лишь бы я не срезался на полдороге, будут довольны, потому что я у них в фавёре. Итак, во имя Гайю, Вернера и Митчерлиха я прочел свою лекцию, заключил ее философскими рассуждениями и все время относился и обращался к студентам, а не к министру. Студенты и профессора жали мне руки и благодарили, Уваров водил представлять князю Голицыну — он сказал что-то одними гласными, так, что я не понял. Уваров обещал мне книгу в знак памяти и никогда не присылал. <...>

Но не довольно ли студенческих воспоминаний? Я боюсь, не старчество ли это, останавливаться на них так долго; прибавлю только несколько подробностей о холере 1831 года.

Холера — это слово, так знакомое теперь в Европе, домашнее в России до того, что какой-то патриотический поэт называет холеру союзницей Николая,— раздалось тогда в первый раз на севере. Все трепетало страшной заразы, подвигавшейся по Волге к Москве. Преувеличенные слухи наполняли ужасом воображение. Болезнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдруг грозная весть: «Холера в Москве!» — разнеслась по городу.

Утром один студент политического отделения почувствовал дурноту, на другой день он умер в университетской больнице. Мы бросились смотреть его тело. Он исхудал, как в длинную болезнь, глаза ввалились, черты были искажены; возле него лежал сторож, занемогший в ночь.

Нам объявили, что университет велено закрыть. В нашем отделении этот приказ был прочтен профессором технологии Денисовым; он был грустен, может быть, испуган. На другой день к вечеру умер и он.

Мы собрались из всех отделений на большой университетский двор; что-то трогательное было в этой толпящейся молодежи, которой велено было расстаться перед заразой. Лица были бледны, особенно одушевлены, многие думали о родных, друзьях; мы простились с казеннокоштными, которых от нас отделяли карантинными мерами, и разбрелись небольшими кучками по домам. А дома всех встретили вонючей хлористой известью, «уксусом четырех разбойников» и такой диетой, которая одна без хлору и холеры могла свести человека в постель.

Странное дело, это печальное время осталось каким-то торжественным в моих воспоминаниях.

Москва приняла совсем иной вид. Публичность, не известная в обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях; кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими; люди сторонились от черных фур с трупами. Бюльтени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы, страх перед болезнию отнял страх перед властями, жители роптали, а тут весть за вестью — что тот занемог, что такой-то умер...

Митрополит устроил общее молебствие. В один день и в одно время священники с хоругвями обходили свои приходы. Испуганные жители выходили из домов и бросались на колени во время шествия, прося со слезами отпущение грехов; самые священники, привыкшие обращаться с богом запанибрата, были серьезны и тронуты. Доля их шла в Кремль; там на чистом воздухе, окруженный высшим духовенством, стоял коленопреклоненный митрополит и молился — да мимо идет чаша сия. На том же месте он молился об убиении декабристов шесть лет тому назад. <...>

Проповедь Филарета на молебствии по случаю холе-

ры[28] превзошла все остальные; он взял текстом, как ангел предложил в наказание Давиду избрать войну, голод или чуму; Давид избрал чуму. Государь приехал в Москву взбешенный, послал министра двора князя Волконского намылить Филарету голову и грозился его отправить митрополитом в Грузию. Митрополит смиренно покорился и разослал новое слово по всем церквам, в котором пояснял, что напрасно стали бы искать какое-нибудь приложение в тексте первой проповеди к благочестивейшему императору, что Давид — это мы сами, погрязнувшие в грехах[29]. Разумеется, тогда и те поняли первую проповедь, которые не добрались до ее смысла сразу.

Так играл в оппозицию московский митрополит.

Я был все время жесточайшей холеры 1849 года в Париже. Болезнь свирепствовала страшно. Июньские жары ей помогали, бедные люди мерли, как мухи; мещане бежали из Парижа, другие сидели взаперти. Правительство, исключительно занятое своей борьбой против революционеров, не думало брать деятельных мер. Тщедушные коллекты* были несоразмерны требованиям. Бедные работники оставались покинутыми на произвол судьбы, в больницах не было довольно кроватей, у полиции не было достаточно гробов, и в домах, битком набитых разными семьями, тела оставались дни по два во внутренних комнатах.

В Москве было не так.

Князь Д. В. Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество, и как-то все уладилось по-домашнему, то есть без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей — богатых помещиков и купцов. Каждый член взял себе одну из частей Москвы. В несколько дней было открыто двадцать больниц, они не стоили правительству ни копейки, все было сделано на пожертвованные деньги. Купцы давали даром все, что нужно для больниц,— одеяла, белье и теплую одежду, которую оставляли выздоравливающим. Молодые люди шли даром в смотрители больниц для того, чтоб приношения не были наполовину украдены служащими.

Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря en masse** привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они ос-

* Сборы пожертвований (*от франц.* collecte).
** В полном составе (*франц.*).

тались там до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями,— и все это без всякого вознаграждения и притом в то время, когда так преувеличенно боялись заразы. Я помню одного студента-малороссиянина, кажется Фицхелаурова[30], который в начале холеры просился в отпуск по важным семейным делам. Отпуск во время курса дают редко; он наконец получил его — в самое то время, как он собирался ехать, студенты отправлялись по больницам. Малороссиянин положил свой отпуск в карман и пошел с ними. Когда он вышел из больницы, отпуск был давно просрочен — и он первый от души хохотал над своей поездкой.

Москва, по-видимому сонная и вялая, занимавшаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем, просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза.

Она в 1612 году кроваво обвенчалась с Россией и сплавилась с нею огнем 1812 года.

Она склонила голову перед Петром, потому что в звериной лапе его была будущность России. Но она с ропотом и презрением приняла в своих стенах женщину, обагрённую кровью своего мужа, эту леди Макбет без раскаяния, эту Лукрецию Борджиа без итальянской крови, русскую царицу немецкого происхождения[31],— и она тихо удалилась из Москвы, хмуря брови и надувая губы.

Хмуря брови и надувая губы, ждал Наполеон ключей Москвы у Драгомиловской заставы, нетерпеливо играя мундштуком и теребя перчатку. Он не привык один входить в чужие города.

Но не пошла Москва моя[32],—

как говорит Пушкин,— а зажгла самое себя.

Явилась холера, и снова народный город показался полным сердца и энергии!

В 1830, в августе, мы поехали в Васильевское, останавливались, по обыкновению, в радклифовском замке Перхушкова и собирались, покормивши себя и лошадей, ехать далее. Бакай, подпоясанный полотенцем, уже прокричал «трогай!» — как какой-то человек, скакавший верхом, дал знак, чтоб мы остановились, и форейтор сенатора, в пыли и поту, соскочил с лошади и подал моему отцу пакет. В

этом пакете была *Июльская революция!* — Два листа «Journal des Débats»[32-a], которые он привез с письмом, я перечитал сто раз, я их знал наизусть — и первый раз скучал в деревне.

Славное было время, события неслись быстро. Едва худощавая фигура Карла X успела скрыться за туманами Голируда[33], Бельгия вспыхнула[34], трон короля-гражданина[35] качался, какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе. Романы, драмы, поэмы — все снова сделалось пропагандой, борьбой.

Тогда орнаментальная, декоративная часть революционных постановок во Франции нам была неизвестна, и мы все принимали за чистые деньги.

Кто хочет знать, как сильно действовала на молодое поколение весть июльского переворота, пусть тот прочтет описание Гейне, услышавшего на Гельголанде[36], что «великий языческий Пан умер»[37]. Тут нет поддельного жара: Гейне тридцати лет был так же увлечен, так же одушевлен до ребячества, как мы — восемнадцати.

Мы следили шаг за шагом за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафайетом и за генералом Ламарком, мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется радикальных, и хранили у себя их портреты, от Манюеля и Бенжамена Констана до Дюпон де Лера и Армана Кареля.

Середь этого разгара вдруг, как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о варшавском восстании. Это уже недалеко, это дома, и мы смотрели друг на друга со слезами на глазах, повторяя любимое:

Nein! Es sind keine leere Träume!*[38]

Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили неуспехам поляков[39], и я тотчас прибавил в свой иконостас портрет Фаддея Костюшки.

В самое это время я видел во второй раз Николая, и тут лицо его еще сильнее врезалось в мою память. Дворянство ему давало бал, я был на хорах собрания и мог досыта насмотреться на него. Он еще тогда не носил усов, лицо его было молодо, но перемена в его чертах со времени коронации поразила меня. Угрюмо стоял он у колонны, свирепо и холодно смотрел перед собой, ни на кого не глядя. Он похудел. В этих чертах, за этими оловянными гла-

* Нет! Это не пустые мечты! *(нем.)*

зами ясно можно было понять судьбу Польши, да и России. Он был потрясен, *испуган,* он усомнился в прочности трона и готовился мстить за выстраданное им, за страх и сомнение.

С покорения Польши все задержанные злобы этого человека распустились. Вскоре почувствовали это и мы.

Сеть шпионства, обведенная около университета с самого начала царствования, стала затягиваться. В 1832 году пропал поляк-студент нашего отделения[40]. Присланный на казенный счет, не по своей воле, он был помещен в наш курс, мы познакомились с ним, он вел себя скромно и печально, никогда мы не слыхали от него ни одного резкого слова, но никогда не слыхали и ни одного слабого. Одним утром его не было на лекциях, на другой день — тоже нет. Мы стали спрашивать, казеннокоштные студенты сказали нам по секрету, что за ним приходили ночью, что его позвали в правление, потом являлись какие-то люди за его бумагами и пожитками и не велели об этом говорить. Тем и кончилось, *мы никогда не слыхали ничего о судьбе этого несчастного молодого человека**

Прошло несколько месяцев; вдруг разнесся в аудитории слух, что схвачено ночью несколько человек студентов — называли *Костенецкого, Кольрейфа, Антоновича* и других[41]; мы их знали коротко,— все они были превосходные юноши. Кольрейф, сын протестантского пастора, был чрезвычайно даровитый музыкант. Над ними была назначена *военносудная комиссия,* в переводе это значило, что их обрекли на гибель. Все мы лихорадочно ждали, что с ними будет[42], но и они сначала как будто канули в воду. Буря, ломавшая поднимавшиеся всходы, была возле. Мы уж не то что чуяли ее приближение — а слышали, видели и жались теснее и теснее друг к другу.

Опасность поднимала еще более наши раздраженные нервы, заставляла сильнее биться сердца и с большей горячностью любить друг друга. <...>

Прошло с год, дело взятых товарищей окончилось. Их обвинили (как впоследствии нас, потом петрашевцев) в намерении составить тайное общество, в преступных разговорах; за это их отправляли в солдаты, в Оренбург. Одного из подсудимых Николай отличил — *Сунгурова.* Он уже кончил курс и был на службе, женат и имел детей;

---

* А где Критские? Что они сделали, кто их судил? На что их осудили? *(Прим. авт.)*[43]

его приговорили к лишению прав состояния и ссылке в Сибирь.

«Что могли сделать несколько молодых студентов? Напрасно они погубили себя!» Все это основательно, и люди, рассуждающие таким образом, должны быть довольны *благоразумием* русского юношества, следовавшего за нами. После нашей истории, шедшей вслед за сунгуровской, и до истории Петрашевского, прошло спокойно *пятнадцать лет*, именно те пятнадцать лет, от которых едва начинает оправляться Россия и от которых сломилось два поколения: старое, потерявшее в буйстве, и молодое, отравленное с детства, которого квелых представителей мы теперь видим.

После декабристов все попытки основывать общества не удавались действительно; бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы — предварительной, внутренней. Все это так.

Но что же это была за молодежь, которая могла бы в ожидании теоретических решений спокойно смотреть на то, что делалось вокруг, на сотни поляков, гремевших цепями по Владимирской дороге, на крепостное состояние, на солдат, засекаемых на Ходынском поле каким-нибудь генералом Лашкевичем, на студентов-товарищей, пропадавших без вести. В нравственную очистку поколения, в залог будущего они должны были негодовать до безумных опытов, до презрения опасности. Свирепые наказания мальчиков 16 — 17 лет служили грозным уроком и своего рода закалом; занесенная над каждым звериная лапа, шедшая от груди, лишенной сердца, вперед отводила розовые надежды на снисхождение к молодости. Шутить либерализмом было опасно, играть в заговоры не могло прийти в голову. За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово — годы ссылки, белого ремня, а иногда и каземат; потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной раз, но они гибли не только не мешая работе мысли, разъяснявшей себе сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ее упования.

Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции[44]. Первая игра голубой кошки с мышью началась так.

Когда приговоренных молодых людей отправляли по этапу, пешком, без достаточно теплой одежды, в Оренбург, Огарев в нашем кругу и И. Киреевский в своем сделали подписки. Все приговоренные были без денег. Киреевский

привез собранные деньги коменданту Стаалю, добрейшему старику, о котором нам придется еще говорить. Стааль обещался деньги отдать и спросил Киреевского:

— А это что за бумаги?

— Имена подписавшихся,— сказал Киреевский,— и счет.

— Вы верите, что я деньги отдам? — спросил старик.

— Об этом нечего говорить.

— А я думаю, что те, которые вам их вручили, верят вам. А потому на что ж *нам беречь их имена?* — С этими словами Стааль список бросил в огонь и, само собою разумеется, поступил превосходно.

Огарев сам свез деньги в казармы, и это сошло с рук. Но молодые люди вздумали поблагодарить из Оренбурга товарищей и, пользуясь случаем, какой-то чиновник ехал в Москву, попросили его взять письмо, которое доверить почте боялись. Чиновник не преминул воспользоваться таким редким случаем для засвидетельствования всей ярости своих верноподданнических чувств и представил письмо жандармскому окружному генералу в Москве.

Тогда на месте А. А. Волкова, сошедшего с ума на том, что поляки хотят ему поднести польскую корону (что за ирония — свести с ума жандармского генерала на короне Ягеллонов!), был Лесовский. Лесовский, сам поляк, был не злой и не дурной человек; расстроив свое именье игрой и какой-то французской актрисой, он философски предпочел место жандармского генерала в Москве месту в яме того же города.

Лесовский призвал Огарева, Кетчера, Сатина, Вадима, И. Оболенского и прочих и обвинил их за сношения с государственными преступниками. На замечание Огарева, что он ни к кому не писал, а что если кто к нему писал, то за это он отвечать не может, к тому же до него никакого письма и не доходило, Лесовский отвечал:

— Вы делали для них подписку, *это еще хуже*. На первый раз государь *так милосерд, что он вас прощает,* только, господа, предупреждаю вас, за вами будет строгий надзор, будьте осторожны.

Лесовский осмотрел всех значительным взглядом и, остановившись на Кетчере, который был всех выше, постарше и так грозно поднимал брови, прибавил:

— Вам-то, милостивый государь, *в вашем звании* как не стыдно?

Можно было думать, что Кетчер был тогда вице-канц-

лером российских орденов, а он занимал только должность уездного лекаря.

Я не был призван, вероятно, моего имени в письме не было[45].

Угроза эта была чином, посвящением, мощными шпорами. Совет Лесовского попал маслом в огонь, и мы, как бы облегчая будущий надзор полиции, надели на себя бархатные береты à la Karl Sand и повязали на шею одинакие *трехцветные шарфы!*

Полковник Шубинский, тихо и мягко, бархатной ступней подбиравшийся на место Лесовского, цепко ухватился за его *слабость* с нами, мы должны были послужить одной из ступенек его повышения по службе — и послужили.

Но прежде прибавлю несколько слов о судьбе Сунгурова и его товарищей.

Кольрейфа Николай возвратил через *десять лет* из Оренбурга, где стоял его полк. Он его простил за чахотку так, как за чахотку произвел Полежаева в офицеры, а Бестужеву дал крест за *смерть*[46]. Кольрейф возвратился в Москву и потух на старых руках убитого горем отца.

Костенецкий отличился рядовым на Кавказе и был произведен в офицеры. Антонович тоже.

Судьба несчастного Сунгурова несравненно страшнее. Пришедши в первый этап на Воробьевых горах, Сунгуров попросил у офицера позволения выйти на воздух из душной избы, битком набитой ссыльными. Офицер, молодой человек лет двадцати, вышел сам с ним на дорогу. Сунгуров, избрав удобную минуту, свернул с дороги и исчез. Вероятно, он очень хорошо знал местность, ему удалось уйти от офицера, но на другой день жандармы попали на его след. Когда Сунгуров увидел, что ему нельзя спастись, он перерезал себе горло. Жандармы привезли его в Москву без памяти и исходящего кровью.

Несчастный офицер был разжалован в солдаты.

Сунгуров не умер. Его снова судили, но уже не как политического преступника, а как беглого посельщика: ему обрили полголовы. Мера оригинальная и, вероятно, унаследованная от татар, употребляемая в *предупреждение* побегов и показывающая, больше телесных наказаний, всю меру презрения к человеческому достоинству со стороны русского законодательства. К этому внешнему сраму сентенция прибавила еще *один* удар плетью в стенах острога. Было ли это исполнено, не знаю. После этого Сунгуров был отправлен в Нерчинск в рудники.

Имя его еще раз прозвучало для меня и потом совсем исчезло.

В Вятке встретил я раз на улице молодого лекаря, товарища по университету, ехавшего куда-то на заводы. Мы разговорились о былых временах, об общих знакомых.

— Боже мой,— сказал лекарь,— знаете ли, кого я видел, ехавши сюда? В Нижегородской губернии сижу я на почтовой станции и жду лошадей. Погода была прескверная. Взошел этапный офицер, приведший партию арестантов пообогреться. Мы с ним разговорились; услышав, что я лекарь, он попросил меня дойти до этапа взглянуть на одного больного из пересыльных, притворяется, что ли, он или вправду крепко болен. Я пошел, разумеется, с намерением во всяком случае подтвердить болезнь колодника. В небольшом этапе было человек восемьдесят народу в цепях, бритых и небритых, женщин, детей; все они расступились перед офицером, и мы увидели на грязном полу, в углу, на соломе какую-то фигуру, завернутую в кафтан ссыльного.

— Вот больной,— сказал офицер.

Лгать мне не пришлось: несчастный был в сильнейшей горячке; исхудалый и изнеможенный от тюрьмы и дороги, полуобритый и с бородой, он был страшен, бессмысленно водил глазами и беспрестанно просил пить.

— Что, брат, плохо? — сказал я больному и прибавил офицеру: — Идти ему невозможно.

Больной уставил на меня глаза и пробормотал: «Это вы?» Он назвал меня. «Вы меня не узнаете?»,— прибавил он голосом, который ножом провел по сердцу.

— Извините меня,— сказал я ему, взяв его сухую и каленую руку,— не могу припомнить.

— Я — Сунгуров,— отвечал он.

— Бедный Сунгуров! — повторил лекарь, качая головой.

— Что же, его оставили? — спросил я.

— Нет, однако дали телегу.

После того, как я писал это, я узнал, что Сунгуров умер в *Нерчинске*. Именье его, состоявшее из двухсот пятидесяти душ в Бронницком уезде под Москвой и в Арзамасском, Нижегородской губернии, в четыреста душ, *пошло на уплату за содержание его и его товарищей в тюрьме в продолжение следствия*. Семью его разорили, впрочем сперва позаботились и о том, чтоб ее уменьшить: *жена Сунгурова была схвачена с двумя детьми и месяцев шесть прожила*

в Пречистенской части; грудной ребенок там и умер. Да будет проклято царствование Николая во веки веков, аминь!

ГЛАВА VII

Пока еще не разразилась над нами гроза, мой курс пришел к концу. Обыкновенные хлопоты, неспанные ночи для бесполезных мнемонических пыток, поверхностное учение на скорую руку и мысль об экзамене, побеждающая научный интерес, все это как всегда. Я писал *астрономическую* диссертацию[47] на золотую медаль и получил серебряную. Я уверен, что я теперь не в состоянии был бы понять того, что тогда писал и что стоило вес *серебра*.

Мне случалось иной раз видеть во сне, что я студент и иду на экзамен,— я с ужасом думал, сколько я забыл, срежешься, да и только,— и я просыпался, радуясь от души, что море и паспорты, годы и визы отделяют меня от университета, никто меня не будет испытывать и не осмелится поставить отвратительную единицу. А в самом деле, профессора удивились бы, что я в столько лет так много пошел назад...

После окончательного экзамена профессора заперлись для счета баллов, а мы, волнуемые надеждами и сомнениями, бродили маленькими кучками по коридору и по сеням. Иногда кто-нибудь выходил из совета, мы бросались узнать судьбу, но долго еще не было ничего решено; наконец вышел Гейман.

— Поздравляю вас,— сказал он мне,— вы — кандидат[48].

— Кто еще? Кто еще?

— Такой-то и такой-то.

Мне разом сделалось грустно и весело; выходя из университетских ворот, я чувствовал, что не так выхожу, как вчера, как всякий день; я отчуждался от университета, от этого общего родительского дома, в котором провел так юно-хорошо четыре года; а с другой стороны, меня тешило чувство признанного совершеннолетия, и отчего же не признаться, и название кандидата, полученное сразу.

Alma mater! Я так много обязан университету и так долго после курса жил его жизнию, с ним, что не могу вспоминать о нем без любви и уважения. В неблагодарности он меня не обвинит, по крайней мере, в отношении к университету легка благодарность, она нераздельна с лю-

бовью, с светлыми воспоминаниями молодого развития... и я благословляю его из дальней чужбины!

Год, проведенный нами после курса, торжественно заключил первую юность. Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновенья, разгула...

Небольшая кучка университетских друзей, пережившая курс, не разошлась и жила еще общими симпатиями и фантазиями, никто не думал о материальном положении, об устройстве будущего. Я не похвалил бы этого в людях совершеннолетних; но дорого ценю в юношах. Юность, где только она не иссякла от нравственного растления мещанством, везде непрактична, тем больше она должна быть такою в стране молодой, имеющей много стремлений и мало достигнутого. Сверх того, быть непрактическим далеко не значит быть во лжи; все обращенное к будущему имеет непременно долю идеализма. Без непрактических натур все практики остановились бы на скучно повторяющемся одном и том же.

Иная восторженность лучше всяких нравоучений хранит от *истинных* падений. Я помню юношеские оргии, разгульные минуты, хватавшие иногда через край; я не помню ни одной безнравственной истории в нашем кругу, ничего такого, от чего человек *серьезно* должен был краснеть, что старался бы забыть, скрыть. Все делалось открыто, открыто редко делается дурное. Половина, больше половины сердца была не туда направлена, где праздная страстность и болезненный эгоизм сосредоточиваются на нечистых помыслах и троят пороки.

Я считаю большим несчастием положение народа, которого молодое поколение не имеет юности; мы уже заметили, что одной молодости на это недостаточно. Самый уродливый период немецкого студентства во сто раз лучше мещанского совершеннолетия молодежи во Франции и Англии; для меня американские *пожилые* люди лет в пятнадцать от роду — просто противны.

Во Франции некогда была блестящая аристократическая юность, потом революционная. Все эти С.-Жюсты и Гоши, Марсо и Демулены, героические дети, выращенные на мрачной поэзии Жан-Жака, были настоящие юноши. Революция была сделана молодыми людьми; ни Дантон, ни Робеспьер, ни сам Людовик XVI не пережили своих тридцати пяти лет. С Наполеоном из юношей делаются ординарцы; с реставрацией, «с воскресением старости» — юность

вовсе не совместна,— все становится совершеннолетним, деловым, то есть мещанским.

Последние юноши Франции были сен-симонисты и фаланга[49] Несколько исключений не могут изменить прозаически плоский характер французской молодежи. Деку и Лебра застрелились оттого, что они были юны в обществе стариков. Другие бились, как рыба, выкинутая из воды, на грязном берегу, пока одни не попались на баррикаду, другие — на иезуитскую уду.

Но так как возраст берет свое, то большая часть французской молодежи отбывает юность *артистическим* периодом, то есть живет, если нет денег, в маленьких кафе с маленькими гризетками в quartier Latin*, и в больших кафе с большими лоретками, если есть деньги. Вместо шиллеровского периода это период польдекоковский; в нем наскоро и довольно мизерно тратится сила, энергия, все молодое — и человек готов в commis** торговых домов. Артистический период оставляет на дне души одну страсть — жажду денег, и ей жертвуется вся будущая жизнь, других интересов нет; практические люди эти смеются над общими вопросами, презирают женщин (следствие многочисленных побед над *побежденными* по ремеслу). Обыкновенно артистический период делается под руководством какого-нибудь истасканного грешника из увядших знаменитостей, d'un vieux prostitué***, живущего на чужой счет, какого-нибудь актера, потерявшего голос, живописца, у которого трясутся руки; ему подражают в произношении, в питье, а главное — в гордом взгляде на людские дела и в основательном знании блюд.

В Англии артистический период заменен пароксизмом милых оригинальностей и эксцентрических любезностей, то есть безумных проделок, нелепых трат, тяжелых шалостей, увесистого, но тщательно скрытого разврата, бесплодных поездок в Калабрию или Квито, на юг, на север — по дороге лошади, собаки, скачки, глупые обеды, а тут и жена с неимоверным количеством румяных и дебелых baby****, обороты, «Times», парламент и придавливающий к земле ольдпорт*****.

Делали шалости и мы, пировали и мы, но основной тон

---

* Латинском квартале *(франц.)*.
** Приказчики *(франц.)*.
*** Старого развратника *(франц.)*.
**** Детей *(англ.)*.
***** Старый портвейн (от *англ.* old port.).

был не тот, диапазон был слишком поднят. Шалость, разгул не становились целью. Цель была вера в призвание; положимте, что мы ошибались, но, фактически веруя, мы уважали в себе и друг в друге орудия общего дела. <...>

Так оканчивается первая часть нашей юности, вторая начинается тюрьмой. Но прежде нежели мы взойдем в нее, надобно упомянуть, в каком направлении, с какими думами она застала нас.

Время, следовавшее за усмирением польского восстания, быстро воспитывало. Нас уже не одно то мучило, что Николай вырос и оселся в строгости; мы начали с внутренним ужасом разглядывать, что и в Европе, и особенно во Франции, откуда ждали пароль политический и лозунг, дела идут неладно; теории наши становились нам подозрительны.

Детский либерализм 1826 года, сложившийся мало-помалу в то французское воззрение, которое проповедовали Лафайеты и Бенжамен Констан, пел Беранже,— терял для нас, после гибели Польши, свою чарующую силу.

Тогда-то часть молодежи, и в ее числе Вадим[50], бросились на глубокое и серьезное изучение русской истории.

Другая — в изучение немецкой философии.

Мы с Огаревым не принадлежали ни к тем, ни к другим. Мы слишком сжились с иными идеями, чтоб скоро поступиться ими. Вера в беранжеровскую *застольную* революцию[51] была потрясена, но мы искали чего-то другого, чего не могли найти ни в несторовской летописи, ни в трансцендентальном идеализме Шеллинга.

Середь этого брожения, середь догадок, усилий понять сомнения, пугавшие нас, попались в наши руки сен-симонистские брошюры, их проповеди, их процесс. Они поразили нас.

Поверхностные и неповерхностные люди довольно смеялись над отцом Енфантен и над его апостолами; время иного признания наступает для этих предтеч социализма.

Торжественно и поэтически являлись середь мещанского мира эти восторженные юноши с своими неразрезными жилетами, с отрощенными бородами. Они возвестили новую веру, им было что сказать и было во имя чего позвать перед свой суд старый порядок вещей, хотевший их судить по кодексу Наполеона[52] и по орлеанской религии[53].

С одной стороны, *освобождение женщины*, призвание ее на общий труд, отдание ее судеб в ее руки, союз с нею как с ровным.

С другой — оправдание, *искупление плоти*, réhabilitation de la chair*.

Великие слова, заключающие в себе целый мир новых отношений между людьми,— мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно-нравственный и потому нравственно чистый. Много издевались над свободой женщины, над признанием прав плоти, придавая словам этим смысл грязный и пошлый; наше монашески развратное воображение боится плоти, боится женщины. Добрые люди поняли, что очистительное *крещение плоти* есть отходная христианства; религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты — на смену религии бичевания и худобы от поста и молитвы. Распятое тело воскресало, в свою очередь, и не стыдилось больше себя; человек достигал созвучного единства, догадывался, что он существо целое, а не составлен, как маятник, из двух разных металлов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним, исчез.

Какое мужество надобно было иметь, чтоб произнести всенародно во Франции эти слова освобождения от спиритуализма, который так силен в понятиях французов и так вовсе не существует в их поведении.

Старый мир, осмеянный Вольтером, подшибленный революцией, но закрепленный, перешитый и упроченный мещанством для своего обихода, этого еще не испытал. Он хотел судить отщепенцев на основании своего тайно соглашенного лицемерия, а люди эти обличили его. Их обвиняли в отступничестве от христианства, а они указали над головой судьи *завешенную* икону после революции 1830 года[54]. Их обвиняли в оправдании чувственности, а они спросили у судьи, целомудренно ли он живет?

Новый мир толкался в дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном.

Удобовпечатлимые, искренно молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тот рубеж, на котором останавливаются целые ряды людей, складывают руки, идут назад или ищут по сторонам броду — через море!

Но не все рискнули с нами. Социализм и реализм остаются до сих пор пробными камнями, брошенными на путях революции и науки. Группы пловцов, прибитые волнами событий или мышлением к этим скалам, немедленно рас-

* Реабилитация плоти *(франц.)*.

стаются и составляют две вечные партии, которые, меняя одежды, проходят через всю историю, через все перевороты, через многочисленные партии и кружки, состоящие из десяти юношей. Одна представляет логику, другая — историю, одна — диалектику, другая — эмбриогению. Одна из них *правее,* другая — *возможнее.*

О выборе не может быть и речи; обуздать мысль труднее, чем всякую страсть, она влечет невольно; кто может ее затормозить чувством, мечтой, страхом последствий, тот и затормозит ее, но не все могут. У кого мысль берет верх, у того вопрос не о прилагаемости, не о том — легче или тяжелее будет, тот ищет истины и неумолимо, нелицеприятно проводит начала, как сен-симонисты некогда, как Прудон до сих пор.

Круг наш еще теснее сомкнулся. Уже тогда, в 1833 году, *либералы* смотрели на нас исподлобья, как на сбившихся с дороги. Перед самой тюрьмой сен-симонизм поставил рубеж между мной и Н. А. Полевым. Полевой был человек необыкновенно ловкого ума, деятельного, легко претворяющего всякую пищу; он родился быть журналистом, летописцем успехов, открытий, политической и ученой борьбы. Я познакомился с ним в конце курса — и бывал иногда у него и у его брата Ксенофонта. Это было время его пущей славы, время, предшествовавшее запрещению «Телеграфа»[55].

Этот-то человек, живший последним открытием, вчерашним вопросом, новой новостью в теории и в событиях, менявшийся, как хамелеон, при всей живости ума, не мог понять сен-симонизма. Для нас сен-симонизм был откровением, для него — безумием, пустой утопией, мешающей гражданскому развитию. Сколько я ни ораторствовал, ни развивал, ни доказывал, Полевой был глух, сердился, становился желчен. Ему была особенно досадна оппозиция, делаемая студентом, он очень дорожил своим влиянием на молодежь и в этом прении видел, что она ускользает от него.

Один раз, оскорбленный нелепостью его возражений, я ему заметил, что он такой же отсталый консерватор, как те, против которых он всю жизнь сражался. Полевой глубоко обиделся моими словами и, качая головой, сказал мне:

— Придет время, и вам, в награду за целую жизнь усилий и трудов, какой-нибудь молодой человек, улыбаясь, скажет: «Ступайте прочь, вы — отсталый человек».

Мне было жаль его, мне было стыдно, что я его огорчил, но вместе с тем я понял, что в его грустных словах звучал его приговор. В них слышался уже не сильный боец, а отживший, устарелый гладиатор. Я понял тогда, что вперед он не двинется, а на месте устоять не сумеет с таким деятельным умом и с таким непрочным грунтом.

Вы знаете, что с ним было потом,— он принялся за «Парашу Сибирячку»...[56]

Какое счастье вовремя умереть для человека, не умеющего в свой час ни сойти со сцены, ни идти вперед. Это я думал, глядя на Полевого, глядя на Пия IX и на *многих других!..*

Гончаров И. А.

ВОСПОМИНАНИЯ

В УНИВЕРСИТЕТЕ

*Как нас учили пятьдесят лет назад**

В настоящее время, наряду с важнейшими вопросами русской жизни, стал на очередь университетский вопрос. Это — наш всеобщий вопрос, по тому значению, какое имеет у нас университетское образование. За исключением некоторых специальных и технических частей знания — военной, морской, инженерной и других, имеющих свои заведения, представители высшего универсального образования до сих пор почерпают знания в университетах. Даже, говорят, в военное время, например, в Крымскую кампанию, главнокомандующий войсками, князь Горчаков, свидетельствовал, что прошедшие курс университетского образования были и отличными, из ряда вон выходящими офицерами.

Рассадниками высшего образования служат еще духовные академии, лицеи, училища правоведения. Были так называемые университетские пансионы; эти заведения выпускали — и выпускают — людей высшего образования, но в незначительном против университетов количестве. Университет пока превозмогает все. Немудрено, что и само правительство и общество поглощены разработкой университетского вопроса. И в настоящее время все бывшие студенты с участием ждут его решения, молодые современные — и подавно. Печать то и дело проводит разносторонние взгляды и мнения на занимающую всех тему.

Везде идут оживленные толки, высказываются надежды, ожидания. Молодость волнуется, со свойственным юности нетерпением спешит заявлять свои желания.

---

* Автор не припомнит с точностью года, когда были писаны им настоящие заметки. Но из некоторых подробностей текста можно, почти с уверенностью, заключить, что эти заметки были набросаны им в самом начале 70-х годов. (*Прим. авт.*)

Задача нелегкая со стороны тех, от кого зависит судьба университетского образования,— решить так, чтобы удовлетворить стремлениям молодых людей в духе времени, не делая малодушных уступок в ущерб образованию и во вред самим учащимся.

Нелегко и со стороны последних, заявляя свои задушевные желания, кровные нужды, воздержать раздражительное юношеское нетерпение и не переступить кое-где и кое в чем за черту своих законных желаний.

Бывшие студенты всех возрастов, рассеянные по всем путям общественной деятельности, не могут, конечно, смотреть на эту борьбу равнодушно, как старые инвалиды не смотрят равнодушно на молодых бойцов.

Тем, которые лично не втянуты в эту борьбу по своему положению или занятиям, остается вспоминать прошлое — от этого даже и воздержаться нельзя (спросите любого военного инвалида).

Меня собственно,— глядя на эту современную пчелиную работу в наших университетских ульях и прислушиваясь к толкам в обществе,— как старого студента Московского университета тридцатых годов, тянет к воспоминаниям совсем не самолюбивая мысль о пользе какой-нибудь, не желание поднести публике и студентам урок — нет. Я не одарен никакими свойствами и способностями учительства, да и сам не желал бы напрашиваться на какой-нибудь раздражительный урок от молодежи, если что-нибудь в моих воспоминаниях не пришлось бы ей по сердцу.

Меня влекут просто воспоминания о лучшей поре жизни — молодости — и об ее наилучшей части — университетских годах. Благороднее, чище, выше этих воспоминаний у меня, да, пожалуй, и у всякого студента, в молодости не было.

Мы, юноши, полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом.

Я говорю о Московском университете, на котором, как и всей Москве, по словам Грибоедова, лежал особый отпечаток[1]. Впрочем, всякий из восьми наших университетов, если пристально и тонко вглядываться в их питомцев, сообщает последним некоторое местное своеобразие.

Наш университет в Москве был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств и для всего общества. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим уни-

верситетом, любила студентов, как будущих самых полезных, может быть громких, блестящих деятелей общества. Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение. Они важно расхаживали по Москве, кокетничая своим званием и малиновыми воротниками. Даже простые люди и те, при встречах, ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках. Я не говорю об исключениях. В разнословной и разнохарактерной толпе, при различии воспитания, нравов и привычек, являлись, конечно, и мало подготовленные к серьезному учению, и дурно воспитанные молодые люди, и просто шалуны и повесы. Иногда пробегали в городе — впрочем, редкие — слухи о шумных пирушках в трактире, о шалостях, вроде, например, перемены ночью вывесок у торговцев или задорных пререканий с полициею и т. п. Но большинство студентов держало себя прилично и дорожило доброй репутацией и симпатиями общества.

Эти симпатии вливали много тепла и света в жизнь университетского юношества. Дух юношества поднимался; он расцветал под лучами свободы, падшими на него после школьной и домашней неволи. Он совершал первый сознательный акт своей воли, приходил в университет сам, его не отдают родители, как в школу. Нет школьной методы преподавания, не задают уроков, никто не контролирует употребления им его часов, дней, вечеров и ночей.

Далее следуют шаги все свободнее и сознательнее, достигается «степень зрелости» без всякого на нее гимназического диплома. Свободный выбор науки, требующий сознательного взгляда на свое влечение к той или другой отрасли знания, и зарождающееся из того определение своего будущего призвания — все это захватывало не только ум, но и всю молодую душу. Университет отворял ему широкие ворота, не в одну научную сферу, но и в самую жизнь. С учебной почвы он ступает на ученую. Умственный горизонт его раздвигается, перед ним открываются перспективы и параллели наук и вся бесконечная даль знания, а с нею и настоящая, законная свобода — свобода науки.

Программы, инструкции бессильны против свободы науки. Сжатая в учебных классах, как река в тесных берегах, она с университетской кафедры изливается широким и вольным потоком. Между профессором и слушателями устанавливается живой ток передачи жадному вниманию их ее откровений, истин, гипотез. Этой свободы не дают

или не давали (так как я говорю о прошлом) другие из высших гражданских, военных или духовных заведений.

Я не говорю, чтобы свободе этой не полагалось преград: страх, чтобы она не окрасилась в другую, то есть политическую, краску, заставлял начальство следить за лекциями профессоров, хотя проблески этой, не научной, свободы проявлялись более вне университета; свободомыслие почерпалось из других, не университетских источников. В университетах молодежь, более чем в других заведениях, ограждена серьезной содержательностью занятий от многих опасных увлечений, заносимых туда извне, больше издалека... Но тем не менее на лекции налагалось иногда veto*, как, например, на лекции Давыдова.

Он прочел всего две или три лекции истории философии; на этих лекциях, между прочим, говорят (я еще не был тогда в университете), присутствовал приезжий из Петербурга флигель-адъютант, и вследствие его донесения будто бы лекции были закрыты. Говорили, что в них проявлялось свободомыслие, противное... не знаю чему. Я не читал этих лекций.

Где же, казалось бы, и проявляться свободомыслию, как не в философии? Но как бы то ни было, лекции были закрыты. Это противоречит, по-видимому, сказанному мною выше о свободе науки. Напротив. Наука может быть вовсе отменена, кафедра ее закрыта, как это и сделано с лекциями Давыдова, но если бы она не закрывалась, ограничение профессорского слова, духа и смысла его лекции едва ли было бы возможно. Профессор сумел бы дать понять себя, а слушатели сумели бы угадывать недосказанное, как читатели умеют читать между строками.

Гораздо позже, при императоре Николае Павловиче, преподавание философии поручалось в университетах, как известно, духовным лицам.

Возвращаюсь к своим воспоминаниям.

Я и брат мой и еще некоторые прежние школьные товарищи вместе готовились к вступительному экзамену и вместе подали просьбу ректору университета.

Это было в августе 1831 года: 1830-й — был холерный год, и лекций не было. Бывшим уже в университете студентам не зачли этого года.

Брат и я поступали — он в юридический факультет, а я в филологический, или, как тогда назывались они,— первый «этико-политическим», а второй — «словесным».

* Запрещение (*лат.*).

Мы с братом и товарищи наши готовились и были хорошо приготовлены к экзамену, о требованиях которого, конечно, заблаговременно справились до мелких подробностей, до методы, до книг, и потому вышесказанные страх и трепет умерялись некоторою уверенностию в успехе.

Среди этих надежд надо мной неожиданно разразилось, как громовой удар, известие, что из министерства народного просвещения получено предписание требовать от вступающих в словесное отделение знания греческого языка, который хотя преподавался в университете для филологов, но до тех пор не был, при вступлении, обязательным.

Я знал порядочно по-французски, по-немецки, отчасти по-английски и по-латыни. Без последнего языка нельзя было поступить ни в какой факультет. Я переводил á livre ouvert* Корнелия Непота, по которому все учились, как по «Телемаку» Фенелона во французском языке. Я был совершенно спокоен — а тут вдруг понадобился греческий язык!

К счастью, предписание пришло за несколько месяцев до экзамена, так что с юношескою энергией можно было если не покорить вполне эллинскую речь, на что надо положить чуть не целую жизнь, то хоть что-нибудь выучить, и что окажется в итоге четырех- или пятимесячных молодых стараний и сил, то и принести на экзамен.

Я и другие, кто поступал в словесное отделение, бросились на пеструю микроскопическую грамоту, наняли учителя и, отложив все прочее, напустились на грамматику и синтаксис, и с этим скудным, приобретенным с грехом пополам запасом явились на экзамен.

Много воды подлил этот греческий язык в мои теплые надежды. Но все обошлось благополучно.

В назначенный день вечером мы явились на экзамен, происходивший, помнится, в зале конференций. В смежной, плохо освещенной комнате мы тесной, довольно многочисленной кучкой жались у стен, ожидая, как осужденные на казнь, своей очереди. Вот тут, конечно, сердце билось у всех, у меня — более других, по милости греческого языка.

Нас вызывали по нескольку человек вдруг, потому что экзамен кончался за раз. В зале заседал ареопаг профессоров-экзаменаторов, под председательством ректора. Их было человек семь или восемь. Вызываемые по списку подходили к каждому экзаменатору по очереди.

Профессор задавал несколько вопросов или задачу, на-

* Без предварительной подготовки, с листа *(франц.)*.

пример, из алгебры или геометрии, которую тут же, под носом у него, приходилось решать. Профессор латинского языка молча развертывал книгу, указывая строки, которые надо было перевести, останавливал на какой-нибудь фразе, требуя объяснения. Француз и этого не делал; он просто поговорил по-французски, и, кто отвечал свободно на том же языке, он ставил в своем списке балл и любезным поклоном увольнял экзаменующегося. Немец давал прочитать две-три строки и перевести, и, если студент не затруднялся, он поступал, как француз.

Я не успел оглянуться, как уже был отэкзаменован. Многие тоже отделались до меня и веселыми ногами уходили вон, в том числе и мой брат. И я довольно легко решил какую-то задачу из алгебры и получил одобрительный кивок от адъюнкт-профессора Коцаурова. Француз сделал мне два-три вопроса: «Vous avez bien profité de votre temps»*,— похвалил он меня, отпуская. Профессор истории задавал общеизвестные вопросы о крупных событиях. Я отбыл свой экзамен в каких-нибудь полчаса.

Тут бы и уйти —вон и дверь полуотворена, но я сделал последний шаг и очутился —около греческого профессора.

Это был старик лет семидесяти с лишком, с редкими, как чахлые кусты полыни, седыми клочками волос на голове, худощавый, с изломанными чертами лица, отчасти с крючковатым носом, в очках. Он в своем вицмундире сидел точно в мешке. Физиономии у него не было никакой, и по лицу его нельзя было догадаться, умен он или нет, добр или сердит. Это был известный эллинист — С. М. Ивашковский, о котором придется говорить ниже.

Он взглянул на меня, спросил фамилию, посмотрел в список. «Учились по-гречески?» — спросил он. «Да-с»,— отвечал я и опустил глаза к полу, сам чувствуя, что в моем «да» присутствует вместе и «нет». Там, под столом, я успел заметить, что профессор был в высоких сапогах, в которые были запрятаны его панталоны. «Так вот, извольте читать»,— сказал он, указывая начало параграфа в греческой книге, помнится, «Отступление десяти тысяч греков» Ксенофонта. Тут у нас с ним началась некоторая борьба: я читал, а он на каждом слове поправлял: я не там делал ударения, где следовало. Его ухо не выносило этого. «Не так, не так»,— останавливал он меня. А мне было вовсе не

---

* Вы хорошо использовали предоставленное вам время *(франц.)*.

до ударений: я в это время в прочитанном ловил глазами знакомые слова, как друзей в толпе.

Через две-три минуты я увидел, что профессор делает заметные уступки: добиваясь значения слова и встречая остановку с моей стороны, он договаривал сам, а когда получал удачный ответ или только намек на него — радовался. Вопросы делал легкие, больше из грамматического анализа, как в гимназии. Потом отпустил с одобрением. После уже я услышал, что начальство не желало затруднять вступление в университет из-за греческого языка и представило экзаменовать из последнего снисходительно, так как его включили в программу вступительного экзамена поздно. И слава богу: умное было начальство — спасибо ему. Тогда министром был С. С. Уваров[2].

Не учиться по-латыни считалось еще ересью даже в обществе. Бывало, претенденты на высшее образование притворялись знающими по-латыни и щеголяли заученными латинскими цитатами, часто не зная грамматики. О греческом же языке в обществе не поминал никто: его как будто не было на свете. Знали, что учат по-гречески в духовных училищах, что есть кафедра этого языка в университете — и только.

Не пройти, учась в университете, через эти классические ворота было нельзя: связь древнего мира с новым поддерживалась этим дряхлым мостиком, но это только относительно лингвистики. Чуткие умы проникали в глубину древности — в ее историю, дух и нравы — и помимо профессоров, и даже классиков в оригиналах. Они читали известные переводы на французский, немецкий, английский и отчасти русский языки и создавали себе более или менее определенный образ отжившего мира, иногда, может быть, живее, и пожалуй — и ближе к правде, нежели те, которые корпели над преодолением трудностей умершей грамоты.

«Ах, господа, вы не можете себе представить, как велико наслаждение читать древних классиков в оригинале!» — сказал однажды нам адъюнкт греческого языка на первом курсе, Оболенский, не встречая, вероятно, в нас слишком живого стремления к этому «наслаждению».

Но в чем состояло наслаждение — он не объяснил. Мне тогда показалось, что он преувеличил или хотел нас пришпорить. Но рецепт был слабый. Ведь главного наслаждения чтения — то есть образа и подобия живой речи, живых людей — нет более. Читая французские, немецкие и английские книги, мы как будто видим и слушаем живого фран-

;уза, немца и англичанина, ловим звуки, интонацию, сло-
юм — нам говорит живой человек. Мы сличаем говор с пе-
атным словом, чуем живой дух и всегда в состоянии сде-
іать надлежащую аналогию. По-латыни и по-гречески это-
о нет.

Подозревать неискренность «наслаждения» этого поч-
енного адъюнкта или кого бы то ни было я не хочу: я
олько думаю, что знатоки древних языков наслаждаются
іе тем, чем наслаждаются все, читая писателей живых
ізыков. Тут входит, я думаю, больше тщеславия: «Это
очень трудно, немногие владеют знанием древних языков,
а вот мы одолели и владеем ими свободно».

Это своего рода «наслаждение» и по другим предметам нередко встречается в людях, начиная с гоголевского Петрушки до... многих из нас.

Я вовсе не отвергаю относительной полезности изучения древних языков —такой ереси я проповедовать не хочу. Пусть желающие учатся им до самых корней, пусть «наслаждаются» преодолеванием филологических трудностей и даже пусть тщеславятся этим: скорее уж этим, чем тем, что влезают на Мон-Блан. Я только —как почти и все общество — против принудительного изучения этих языков в ущерб другим знаниям, иногда даже и знанию своего отечественного языка.

Но, кажется, этот вопрос если не решился, то решается уже в желательном для большинства смысле — и ломать копья против подавляющего натиска классицизма не приходится. Скорее, может быть, при известной способности, в борьбе за что-нибудь, вдаваться в крайности, приходится —в споре с решительными противниками классицизма — кое-что отстаивать в пользу последнего.

Крайние противники хотят сжечь и разорвать всякую связь с минувшим. Нередко слышишь какое-то озлобление против всего древнего и прошлого. «Расстались с древностью, и она нам больше не нужна. Новое время принесло новые всходы и плоды. Новое знание ушло от старого на неизмеримое расстояние и не имеет никакой связи с минувшим! Это значит напрасно тратить время и затруднять умы пустяками, пренебрегая новым, нужным» и т. д.

Это слышится нередко в обществе и читается в печати*.

Между тем минувшее напоминает о себе на каждом шагу — уже одною терминологиею во всех отраслях зна-

* Не следует забывать, что это писано давно, когда эти споры и толки были в полном ходу. (*Прим. авт.*)

ния, открытиях, а особенно, например, романские наречия, кроме более или менее отдаленной связи в корнесловии, кишат древними словами.

Странно интеллигентному человеку, претендующему на высшее и полное образование, для которого открыта грамота новых иностранных литератур, пользоваться слепо этой грамотой, не зная ее происхождения и корней.

Это не татарский след, который оставили монголы, например, в нашем языке: от этих и подобных им вторжений остались одни звуки языка и более ничего. А древние языки внесли вместе и след своей цивилизации. Поэтому умеренные борцы по классическому вопросу (в том числе и я) никогда не подадут голоса за совершенную отмену латинского и греческого языков в отношении лингвистики.

Продолжаю свои воспоминания.

Наконец все трудности преодолены: мы вступили в университет, облекшись в форменные сюртуки с малиновым воротником, и стали посещать лекции. Вне университета разрешалось желающим ходить в партикулярном платье*.

Первый курс был чем-то вроде повторения высшего гимназического класса. Молодые профессора, адъюнкты — заставляли нас упражняться в древних и новых языках. Это были замечательно умные, образованные и прекрасные люди, например, француз Куртенер, немецкий лектор Геринг, профессор латинского языка Кубарев и греческого — Оболенский. Они много помогли нам хорошо приготовиться к слушанию лекций высшего курса и, кроме того, своим добрым и любезным отношением к нам сделали первые шаги вступления в университет чрезвычайно приятными. Между ними, как патриарх, красовался убеленный сединами почтенный профессор русской словесности, человек старого века — П. В. Победоносцев.

Нас, первогодичных, было, помнится, человек сорок. Между прочими был тут и Лермонтов, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый, одутловатый юноша, с чертами лица как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть. Он не долго пробыл в университете. С первого курса он вышел и уехал в Петербург. Я не успел познакомиться с ним.

---

* В следующем за окончанием нами курса году студентам изменена была форма, и малиновые воротники заменились синими. *(Прим. авт.)*

Тут была еще замечательная личность — Бодянский, впоследствии известный профессор славянских наречий.

Курс, или класс наш, был какою-то беспечною, веселою толпою юношей, собиравшихся как будто только повидаться и изучать не науки, а друг друга, потому что все, что проходили, мы более или менее знали.

Мы легко справились с переходным экзаменом и на второй год весело перешли на следующий курс, из маленькой аудитории в большую, окнами на обширный двор и улицу. Там мы застали человек пятьдесят опередивших нас целым годом товарищей, переведенных, по случаю холеры, на третий курс. Нас всего было, помнится, человек восемьдесят.

Перед нами были Герцен и Белинский в университете, но когда мы перешли на второй курс,— их уже не было[3]. Там были, между прочим, Станкевич, Константин Аксаков, Сергей Строев (впоследствии писавший статьи под псевдонимом Скромненко) и перешедший с нами из первого курса Бодянский.

С Белинским я познакомился уже в 1846 году, в Петербурге, а с Герценом виделся только один раз, мельком, когда он был короткое время в Петербурге, проездом за границу.

Этот год (с авг<уста> 1832 по авг<уст> 1833) был лучшим и самым счастливым нашим годом. Наша юная толпа составляла собою маленькую ученую республику, над которой простиралось вечно ясное небо, без туч, без гроз и без внутренних потрясений, без всяких историй, кроме всеобщей и российской, преподаваемых с кафедр. Если же и бывали какие-нибудь истории, в которых были замешаны бывшие до нас студенты, то мы тогда ничего об этом не знали. Мы вступили на серьезный путь науки, и не только серьезно, искренно, но даже с некоторым педантизмом относились к ней. Кроме нее, в стенах университета для нас ничего не было. Дома всякий жил по-своему, делал, что хотел, развлекался, как умел,— все вразброд, но в университет мы ходили только учиться, не внося с собою никаких других забот и дел.

И точно была республика: над нами не было никакого авторитета, кроме авторитета науки и ее последователей. Начальства как будто никакого не было,— но оно, конечно, было, только мы имели о нем какое-то отвлеченное, умозрительное понятие: знали о нем, можно сказать, по слухам. Был ректор, был попечитель, может быть, даже и инспектор (кажется, был), но мы его никогда не видали. Если я не

ошибаюсь, он заведовал казенными студентами, имевшими квартиры и стол в университете. Тогда никаких стипендий не было, и многие бедные студенты принимаемы были на казенный счет. Прочие же небогатые, раскиданные по разным углам Москвы, содержали себя, как знали и как могли, никаких пособий от университета не получали. Казенных студентов было, кажется, если не ошибаюсь, около ста человек.

И ректора и попечителя мы видели только два раза. Ректор был профессор физики в математическом факультете, Двигубский. Он однажды зашел в нашу аудиторию — во время лекции, и, кажется, сам удивился своему приходу. Грузный мужчина, небольшого роста, с широкими плечами, на которых плотно сидела большая, точно медвежья, голова,— он как-то боком, точно нехотя, взглянул на толпу студентов, как будто говоря глазами: «Ну, чего тут смотреть? невидаль какая!» — кивнул профессору, кивнул нам в ответ на общий наш поклон и скрылся. Он, кажется, зашел, что называется, для очистки совести: чтоб нельзя было сказать, что он ни разу не был в аудитории.

После него ректором был профессор восточных языков Болдырев. И этот поступил точно так же, то есть зашел однажды на лекцию посмотреть на нас. Его посещение особенно памятно мне: передо мною одним на столе лежала книга «Войны Югурты», Саллюстия, в маленьком формате. У других ничего не было перед собою. А лекция была немецкой литературы лектора Кистера. Вдруг ректор подошел ко мне, взял книгу и посмотрел. «Отчего у вас латинская книга на лекции немецкой литературы?» — спросил он. «Она лежит тут от предыдущей лекции из римской словесности»,— был мой ответ. «А где же немецкая книга?» — «У меня ее нет». И ни у кого не было. Кистер издал какой-то краткий, очень наивный курс немецкой литературы, скомпилированный с больших немецких курсов, и, конечно, рассчитывал на сбыт между студентами, но так как большинство их знало все, что там было, то книгу и не покупали.

Ректор не справился, есть ли она у других, а мне посоветовал приобрести ее. Я не приобрел, потому что у студента денег, обыкновенно, не бывает, особенно на книги. Доставать книги — это другое дело: мы это и делали, а покупать — нет. Эту роскошь могли себе позволить очень немногие, которые и снабжали ими своих товарищей.

Кроме того, я не купил книги еще потому, что все в ней

было мне известно, и притом я знал, что ректор больше никогда не придет на лекцию.

Попечителем был тогда известный в Москве богатый вельможа — князь С. М. Голицын. Только это мы и знали о нем, да знали еще его большой, барский дом на Пречистенке и прекрасную дачу, Кузьминки, в семи верстах от Москвы, куда нередко отправлялись гулять пешком взад и вперед. Знали также все ходившие в обществе анекдоты о его широкой благотворительности, о его роскошных праздниках, даваемых во время посещения Москвы царскою фамилиею,— и больше ничего.

И вот однажды кто-то из передней просунул в аудиторию голову и сказал: «Попечитель приехал». Вслед за тем он вошел к нам, сияя довольством, добротой на лице и звездами на груди мундирного фрака. Это был невысокий, плотный человек, с небольшой головой, с коротко остриженными волосами. Сбоку, ближе к брюшку, у него покачивался большой Владимирский крест на скрытой под жилетом ленте через плечо.

Он весело поздоровался с нами, присел рядом к профессору и поглядывал на нас кротко и ласково, как добрые крестные отцы смотрят на своих крестников или дяди — на любимых племянников. Посидев с четверть часа, он живо встал, с улыбкой раскланялся с нами и пошел в другие аудитории. Больше мы его не видали.

Посетил нас еще назначенный, кажется, после него попечителем граф А. Н. Панин. Он так же, как ректор Двигубский, взглянул на нас — не то мрачно, не то сердито, почти про себя заметил, что у многих студентов очень длинны волосы, и ушел.

Тогда длинные волосы считались у начальства признаком вольнодумства, и в учебных заведениях, особенно военных, производилась, как мы слышали, усиленная стрижка.

Вот все, что мы видели от попечителей. Тогда между нами невольно возникал вопрос о том, кто такие эти попечители, что они делают, о чем пекутся и зачем они университету?

Нам, собственно, было за глаза достаточно одних профессоров, из которых старший (в нашем факультете — М. Т. Каченовский) назначался деканом. И об обязанностях декана у нас было тоже неясное понятие. Только на экзаменах он был нечто вроде председателя.

Личный состав наших профессоров был очень удачный, с малыми, едва заметными исключениями. Первым считали

мы — и по старшинству лет, и по достоинствам — помянутого декана, М. Т. Каченовского. Это был тонкий, аналитический ум, скептик в вопросах науки и отчасти, кажется, во всем. При этом — строго справедливый и честный человек. Он читал русскую историю и статистику; но у него была масса познаний по всем частям. Он знал древние и новые языки, иностранные литературы, но особенно обширны были его познания в истории и во всем, что входит в ее сферу — археология и проч. Любимая его часть в истории была этнография. Особенную симпатию он питал к польским историкам (сам он был родом из Малороссии и выказывал явное расположение к своим землякам) и летописцам. И томил же он нас подробностями происхождения одних народов и племен от других! До сих пор иногда будто слышишь его рассказы о разветвлениях народов, более всего — о финских племенах, далее о печенегах, о половцах, о турках, о берендеях, черных клобуках, о том, что северные и южные славяне — никак не одно, а два различных племени, сошедшиеся с противоположных сторон, с севера и с юга, и т. д.

Когда он касался последнего излюбленного им вопроса о различии происхождения северных и южных русинов или вообще какого-нибудь спорного в истории вопроса, щеки его, обыкновенно бледные, загорались алым румянцем и глаза блистали сквозь очки, а в голосе слышался задор прежнего редактора «Вестника Европы»[4]. Он мысленно видел перед собою своих ученых противников и поражал их стрелами своего неумолимого анализа. Он терпеть не мог никаких мифов в истории и начинал лекции русской истории с Владимира, предупредив нас, что он не станет повторять басен, которые мы слышали в школе, например, об оригинальном мщении Ольги за смерть Игоря, о змее, ужалившей Олега, о кожаных деньгах,— особенно о кожаных деньгах. Как теперь помню его подлинные слова: «Как мог Карамзин, человек с необыкновенным умом, допустить, чтобы могли быть в обращении кожаные клочки, не обеспеченные никакой гарантией!» О шкурках кожаных, представлявших будто бы свою собственную ценность, он и слышать не хотел.

Он отвергал также подлинность «Слова о полку Игореве», считая его позднейшей подделкой, кажется XIV века, о чем однажды вошел в горячий спор с Пушкиным, которого привез на лекцию министр Уваров[5].

Здесь я сделаю небольшое отступление по поводу этого приснопамятного мне — конечно, и всем тогдашним студен-

ам — посещения великого поэта, тогда уже в апогее его лавы.

Когда он вошел с Уваровым, для меня точно солнце зарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния т его поэзии; я питался ею, как молоком матери; стих его риводил меня в дрожь восторга. На меня, как благотворый дождь, падали строфы его созданий («Евгения Онегиа», «Полтавы» и др.). Его гению я и все тогдашние юноии, увлекавшиеся поэзиею, обязаны непосредственным влинием на наше эстетическое воспитание.

Перед тем однажды я видел его в церкви, у обедни,— и е спускал с него глаз. Черты его лица врезались у меня в амяти. И вдруг этот гений, эта слава и гордость России— еред мною в пяти шагах! Я не верил глазам. Читал лекию Давыдов, профессор истории русской литературы.

«Вот вам теория искусства,— сказал Уваров, обращась к нам, студентам, и указывая на Давыдова,— а вот и амое искусство»,— прибавил он, указывая на Пушкина. Эн эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приотовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о «Слове о полку Игоревом», разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор. «Подойдите ближе, господа,— это для вас интересно»,— пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не могу выразить, как велико было наше наслаждение —видеть и слышать нашего кумира.

Я не припомню подробностей их состязания,— помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к этому раздражению много огня прибавлял и известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным. Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так что за толпой трудно было расслушать. Впрочем, меня занимал не Игорь, а сам Пушкин.

С первого взгляда наружность его казалась невзрачною. Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека. Лучше всего, по-моему, напоми-

нает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос выдающимся — это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу, голова, с негустыми, кудрявыми волосами.

Обращаюсь к Каченовскому.

Он отвергал участие всяких сантиментов в изучении истории, а разнимал ее холодной критикой, как анатомическим ножом труп. Места священным, патриотическим чувствам — в науке для него не было. Все подобные спорные вопросы он, говорю, разбирал с некоторым раздражением в лице, в голосе. Обыкновенно же он читал медленно, вяло — и, пожалуй, если не вслушиваться глубоко в его речь, то и скучно. Точно как старый дядька мямлит в сотый раз сказку детям, чтоб усыпить их. Некоторые и засыпали или, по крайней мере, дремали под его однообразный, монотонный говор.

Но все, следившие за непрерывной нитью его исторических рассказов, слушали с глубоким интересом этот тонкий анализ, в котором сам профессор никогда не приходил к синтезу. Последний возникал у слушателя сам собою, по окончании лекции или лекций. Он принесет с собой несколько каких-то листочков, клочков пергамента, книгу, летопись какую-нибудь. Начнет с подробности, мелочи и около нее опытной, твердой рукой начертит узор события, подтвердит или опровергнет принятые гипотезы и осветит эпоху со всех сторон. Однажды принес, например, книгу с рисунками абраксасов, печатей новгородских посадников, и при этом объяснил способы управления их.

И всю историю так читал, словно смотрел в нее глубоко, как в бездну, сквозь свои критические очки. Мы слушали, записывали: это и было программою его лекций, без которой мы не знали бы, что делать на экзамене, потому что он лекций не давал. Да тогда почти и никто не давал их, по крайней мере в словесном факультете.

О литографированных лекциях и помину не было. Это — новейшее баловство, которое, конечно, имеет свою хорошую сторону в том, что сберегает много времени, избавляя слушателей от скучного труда переписывать, хотя... переписка эта служила в то же время и повторением лекций.

Мы должны были записывать изустную речь профессора, и этот трудный процесс приносил нам массу добра. Стенографии не было, ловить каждое слово и записывать нельзя, следовательно, надо было схватывать общий смысл

каждого периода и сжато излагать на бумаге. Легко понять, как такая умственная гимнастика должна была изощрять соображение, развязывать ум и перо! Нет, слава богу, что у нас не было литографированных лекций! С этой стороны, могу сказать, у нас было лучше.

В юридическом факультете, напротив, почти все профессора сообщили перечни своих лекций, а иные читали прямо по известным источникам. От этого там случались такие примеры, что иногда кончавшие курс юристы плохо владели пером.

Между тем в новое время кто-то (едва ли не Писарев) горько упрекал профессоров, что его долго томили над упражнениями переводов иностранных или древних авторов[6]. Полноте! да не этим ли упражнениям обязаны молодые писатели и, между прочим, тот же Писарев бойкостью, живостью, правильностью и свободой речи!

Пусть для опыта нынешний студент отложит хоть на время в сторону литографированные лекции — и сам приготовит для себя ученое блюдо: он увидит в непродолжительное время, как лекции незаметно врежутся в память, и какую свободу почувствует он в своей письменной речи! Я полагаю, что он, после опыта, откинул бы совсем помощь литографии.

Конечно, для этого надо аккуратно посещать лекции, чего, говорят, в новое время в точности не соблюдают и что будто бы к этому преподаватели относятся снисходительно или равнодушно. В мое время этому бы не поверили. Конечно, и у нас бывали отсутствующие, или случайные, или ленивые, но процент их так был незначителен, что это отсутствие было незаметно, и аудитории были полны. Да и как студенту не посещать лекций? Что же он делает, спросили бы мы, и почему он студент? Говорят — он дома может заниматься, читать книги в библиотеках, составлять по ним записки и т. д. Тогда зачем университет, кафедра и профессор? — спросили бы мы. Под личным руководством опытного представителя знания, кроме догматики науки, фактов, событий, почерпается сила убеждения, взгляд, критическая оценка, передаваемая нередко с жаром, с увлечением. Любовь профессора к своему предмету связывает слушателя живою связью с наукой, влагает в нее «душу живу» живою речью, живым человеком. Никакой книжный курс этого не даст.

Все это мы понимали и, любя лекции и профессоров, дружно и весело наполняли аудитории. Конечно, было не-

мало исключений: в нашем ученом стаде было не без козлищ, не поклонников знания и науки, а или домогавшихся диплома, или несших иго университетского учения по воле родителей; наконец, были просто ленивые, беспечные. Они нуждались в принудительных мерах — и они были. Например, некоторые профессора держались старинного обычая делать перекличку и отсутствующего отмечали сокращенным латинским *aвs.*, то есть *aвsens**: у кого в течение года число этих *абсов* превышало известную цифру, того не переводили на следующий курс.

Скажут, что это — школьная, ферульная манера, недостойная молодых людей, пришедших с аттестатами зрелости. Да, пожалуй, манера эта, так сказать, не республиканская в нашей ученой «республике», где не было начальства. Но... она имела и некоторую хорошую сторону, вместе с полугодовыми репетициями, на которые мы, студенты, бывало, роптали. И как не роптать: в самый разгар зимнего сезона, в веселой и гостеприимной Москве, вдруг лучшие ее дети, студенты, живой пульс балов, пикников, ходят с хмурыми лицами или прячутся по своим углам, уткнув носы в книги и записки!

Между тем эти репетиции подгоняли ленивых, беспечных и облегчали слабых памятью при сдаче экзаменов. А боязнь абсов, как боязнь долгов, волей-неволей приводила рассеянных и нерадивых по утрам в университетские аудитории, где они, конечно, с большей пользой проводили утренние часы, чем в садах, кондитерских и ресторанах. Впрочем, при нас абсы выходили из употребления: помнится, лектор французской литературы, Декамп, прибегал к ним, да еще профессор Сандунов, в юридическом факультете.

Вместе с Каченовским наше уважение и симпатию разделял профессор теории изящных искусств и археологии, Н. И. Надеждин. Это был человек с многостороннею, всем известною ученостью по части философии, филологии. Его известная диссертация о классицизме и романтизме имела огромный успех и сразу сделала ему имя в ученой литературе. Потом он получил кафедру и основал журналы: «Телескоп» и «Молву».

Это был самый симпатичный и любезный человек в обращении, и как профессор он был нам дорог своим вдохновенным, горячим словом, которым вводил нас в таинственную даль древнего мира, передавал дух, быт, искусство

* Отсутствовать (*лат.*).

и историю Греции и Рима. Чего только не касался он в своих импровизированных лекциях!

Он читал на память, не привозя никаких записок с собою. Память у него была изумительная. Он один заменял десять профессоров. Излагая теорию изящных искусств и археологию, он излагал и общую историю Египта, Греции и Рима. Говоря о памятниках литературы, о живописи, о скульптуре, наконец, о творческих произведениях слова, он касался и истории философии. Изливая горячо, почти страстно, перед нами сокровища знания, он учил нас и мастерскому владению речи. Записывая только одни его лекции, можно было научиться чистому и изящному складу русского языка.

А тут еще Шевырев, тогда молодой, свежий человек, принес нам свой тонкий и умный критический анализ чужих литератур, начиная с древнейших — индийской, еврейской, арабской, греческой — до новейших западных литератур.

Он тоже блистал изяществом речи, но это была менее искренняя и кипучая речь, чем у Надеждина, зато более сдержанная, мерная, щегольская, заранее заготовленная, всегда тщательно обдуманная, обработанная. Он и читал по рукописи. Как благодарны мы были ему за этот бесконечный ряд, как будто галерей обширного музея — ряд произведений старых и новых литератур, выставляемых им перед нами с тщательною подготовкою, с тонкой и глубокой критической оценкой их! И как не благодарить за бесчисленные ключи, которые оба эти учителя давали к уразумению всех европейских, греческих, римских и новых западных произведений ума и фантазии, по лучшим старым и современным критическим оценкам, независимо от своей собственной? Долго без таких умных истолкований пришлось бы нам потом самостоятельным путем открывать глаза на библейских пророков, на произведения индийской поэзии, на эпопеи Гомера, Данта, на Шекспира — до новейших, французской, немецкой, английской литератур, словом — на все, что мы читали по их указанию тогда и что дочитывали после них. Глубокий и благодарный поклон их памяти!

Кстати, о чтении классических и вообще замечательных произведений ума, фантазии, а также и произведений научной литературы. Профессорские лекции, как бы они ни были полны, содержательны, исполнены любви к знанию самого профессора, все-таки суть не что иное, как только программы, систематические, постепенные указатели, регулиру-

ющие порядок приобретаемых познаний. Кто прослушает только их и сам не заразится живой жаждой чтения, у того, можно сказать, все прослушанное в университете будет — как здание на песке. А таких немало, глядя на которых и слушая их не заметишь и следа прочного университетского образования и невольно усомнишься, были ли они в университете. А они были, сдали экзамен и получили диплом.

Только тому университет и сослужил свою верную службу, кто из чтения сделает себе вторую жизнь. Мы — в нашей группе товарищей — читали все, что попадалось под руку; без сомнения, в других кружках делали то же. Но доставали мы книги, как я сказал, с большим трудом. Тогда не было, как теперь, множества библиотек на каждом шагу, журналов; особенно мало было переводов замечательных сочинений. Приходилось, что называется, из кожи лезть, знакомиться с теми, у кого были запасы книг на дому, или сообща, в складчину, покупать иное издание. В этом отношении наши современные товарищи гораздо счастливее нас.

С меньшей симпатией, или, говоря правду, вовсе без симпатии относились мы к профессору истории русской литературы, хотя в своем роде знаменитому — И. И. Давыдову.

Эта знаменитость была какая-то деланная, с натяжками. В обществе его принимали за то, чем он хотел казаться, но мы, юноши, чутко презирали в нем что-то искусственное, декоративное. Высокого роста, несколько сутуловатый, с довольно благообразным лицом, умными серыми глазами, с мерными, округленными жестами, он держал себя с условным достоинством; речь его была плавная, исполнена приличия. Но от него веяло холодом, напускною величавостью, которая быстро превращалась в позу покорности и смирения при появлении какой-нибудь важной персоны из начальства.

Он считался универсальным ученым: читал когда-то лекции высшей алгебры, занял было кафедру философии, но с первых же лекций, как упомянуто выше, кафедра была закрыта.

При нас он занимал, как я сказал, кафедру истории русской литературы, после профессора Мерзлякова — человека умного, даровитого, старой школы. Я не застал его: он оставил кафедру за год или за два перед моим вступлением. Старые студенты симпатично вспоминали его умные, живые разборы произведений тогдашней школы наших

классиков — Державина, Ломоносова, Фонвизина, Княжнина, Озерова и других. Кажется, до новых — Жуковского, Батюшкова, Пушкина — он не договорился. Он, конечно, судя по воспоминаниям о нем слушавших его студентов, умел бы понять и оценить по достоинству и этих — тогда еще новых — писателей. Сошел он со сцены — не столько по летам, сколько по слабости, нередкой у нас даже и в его положении, чему в пример можно привести и Ломоносова. Он пил запоем и по нескольку недель не являлся на лекции. Сам он писал немало стихами, переводил из древних классиков. Между прочим, он — автор общеизвестной песни или романса «Среди долины ровныя», которая пелась тогда везде и теперь еще, может быть, поется в скромных провинциальных углах.

На лекции Давыдова собирались иногда и посторонние слушатели, разные московские тузы, в качестве гостей. Но ни эти гости, ни студенты не выносили с лекции ничего особенно веского, замечательного, кроме более или менее красивых фраз, сквозь которые виделась нагота мысли, содержания. Сколько помню, один год он читал теорию словесности, а другой — собственно историю литературы.

Особенно много распространялся он об ораторском искусстве: Квинтилиан, Блэр, Батте не сходили у него с языка. Но самому ему не далась ars oratoria*; искры, feu sacré**, у него не было, и мы тихонько позевывали от скуки.

О художественных произведениях он передавал условную, ходячую оценку их, и когда останавливался на признанных всеми красотах — у него никогда не вырывалось горячего слова его собственного сочувствия, даже когда приходилось ему приводить разные места, например из Пушкина, тогда в разгаре его деятельности и славы. Мы глубоко уважали и горячо ценили Каченовского, любили Надеждина, Шевырева, а Ивана Ивановича Давыдова почитали за ученого и... вместе ловкого, практического человека, но симпатии, повторяю, у нас к нему не было.

Ловким и практическим человеком мы считали его потому, что он был в большом ходу в московском обществе, занимал, кроме профессорской, другие должности (кажется, директора сиротского холерного института) и был в большом фаворе у министра. Потом это подтвердилось: он перешел на службу в Петербург, на должность директора пе-

* Ораторское искусство (*лат.*).
** Священный огонь (*франц.*).

дагогического института, нахватал чинов, звезд и достиг звания сенатора.

Но и Иван Иванович принес нам значительную дозу пользы тем, что знакомил нас так же, как и Надеждин с Шевыревым, с историею философии и потом упражнял в русском языке практически. Он поручал двум студентам по очереди составлять перечень каждой прочитанной им лекции и потом разбирал при всех их труд. Эти перечни и служили нам записками для экзаменов. Здесь приходилось на нашу долю выслушивать немало умных и дельных критических заметок и полезных советов. К сожалению, этот смотр производился только один раз, а не все три раза в неделю на его лекциях. Такие практические уроки были бы нам несравненно полезнее его разглагольствований о Ломоносове и Державине, о Квинтилиане и Батте с Блэром.

М. П. Погодин читал нам всеобщую историю и статистику — и то под конец, на третьем курсе. Собственно, он принадлежал к юридическому факультету, где читал русскую историю. Совет университета вдруг как будто спохватился, что мы, словесники, остаемся без кафедры всеобщей истории, и отрядил для этого дела Погодина. Он читал по Герену, скучно, бесцветно, монотонно и невнятно, но был очень щекотлив, когда замечал в ком-нибудь невнимание к себе. Чуть кто-нибудь из слушателей шепнет соседу слово, спросит, который час, он —бог его знает как — непременно поймет и обратится с вопросом: «Г[осподи]н такой-то! позвольте спросить, какое я последнее слово сейчас сказал?» — «Вы изволили говорить о том,— начинает тот заискивающим голосом,— как Валленштейн двинулся с войском...» — «Нет, одно последнее слово скажите!» Тот, конечно, молчал, потому что не слыхал этого слова, и Погодин продолжал читать. Этого рода выговоры были среди скучной лекции развлечением для всех — посмотреть в лицо сконфуженного товарища.

У Михаила Петровича тоже, как и у Давыдова, было кое-что напускное и в характере его, и во взгляде на науку. Мы чуяли, что у него внутри меньше пыла, нежели сколько он заявлял в своих исторических — ученых и патриотических настроениях, что к пафосу он прибегал ради поддержания тех или других принципов, а не по импульсу искренних увлечений. Может быть, казалось мне иногда, он про себя и разделял какой-нибудь отрицательный взгляд Каченовского и его школы на то или иное историческое событие, но отстаивал последнее, если оно льстило патрио-

тическому чувству, национальному самолюбию или касалось какой-нибудь народно-религиозной святыни и т. п. Помнится, он даже одну из своих лекций в этом смысле назвал: «Перчатка Строеву и Каченовскому». Не знаю, подняли они эту перчатку? Словом, мы чувствовали, что он человек — себе на уме. С нами он был и педантически, условно ласков, и педантически требователен.

Все эти пятеро профессоров — одни более, другие менее,— как я сказал, имели вместе огромное влияние на наше развитие и образование.

Зато об остальных нельзя было сказать и десятой доли того же.

Впрочем, эти остальные были профессора: греческой словесности — С. М. Ивашковский, латинской — И. М. Снегирев, оба известные ученые и знатоки своих и чужих древностей; потом лекторы французской и немецкой литератур — Декамп и Кистер.

С. М. Ивашковский, о котором я упоминал выше, был добродушнейший старик, страстный любитель греческих классиков: между нами ходило мнение, что он да какой-то протоиерей Успенского собора были первые эллинисты чуть ли не во всем мире. Ивашковский в течение многих десятилетий высидел свой словарь; не знаю, высидел ли что-нибудь протоиерей.

Ивашковский, углубившись на лекции в книгу, сам как будто упражнялся вместо нас: он читал, перебивал студентов (все больше на ударениях), что не так читают, не так понимают или переводят, как он, с сердцем спешил досказывать сам и потому никогда не мог отличить знающих по-гречески от незнающих. Мы заметили эту его черту и искусно умели ею пользоваться, выжидая, когда он сам доскажет «мудреное место», и повторяли за ним. Он очень был доволен и ставил хорошие баллы всем, то есть собственно самому себе.

У него была странная привычка — шпиговать свою русскую речь словом «будет» — некстати, без всякой надобности. «Скажите — будет — мне, как вы понимаете — будет — вот этот стих — будет — в третьей песне Илиады» и т. д.,— говорил он. Сначала нас это забавляло, а потом мы привыкли и для потехи приводили товарищей из других факультетов послушать. Те ушам не верили и помирали со смеху.

Мы лукаво пользовались еще его добродушием, чтобы сокращать лекции. Он любил с кем-нибудь из близко из-

вестных ему студентов, ходя взад и вперед по аудитории, побеседовать. Для этого и командировался чаще всего кто-нибудь из вышедших из семинарии и знавших по-гречески студентов. И они похаживали вдвоем и беседовали, а мы все беседовали тихо про себя — иногда с полчаса, так что на лекцию оставалось тоже полчаса.

С древностями греческими мы из его лекций не вынесли никакого знакомства, кроме подробнейших и скучнейших описаний утвари, оружия и т. п., по какой-то, с немецкого языка переведенной, прокисшей книге — и заучивали для экзамена, потом забывали.

Никакой общей идеи, никакого рисунка древнего быта, никакого взгляда, синтеза, ничего не мог нам дать этот почтенный греческий книгоед; он давал одну букву, а дух отсутствовал. За него сделали это дело Надеждин и Шевырев.

И. М. Снегирев, профессор латинской словесности и древностей, был очень замечательною фигурой во многих отношениях. Вкрадчивый, тонкий, но в то же время циничный, бесцеремонный, с нами добродушный — он разбирал римских писателей так себе, тоже с одной только лингвистической стороны, мало знакомя нас, как Ивашковский, с духом и историею древних. Кажется, ему до них мало было дела, а нам мало было дела до него. Он, как иногда казалось мне, будто притворялся знатоком римских древностей. Мы были друг к другу равнодушны и уживались с ним очень хорошо. Он же иногда умел сдобривать лекции остротами и анекдотами; балагурство было, кажется, господствующею чертою его характера. Он и в обществе имел репутацию буффона и наживал себе одним этим, кроме разных других проделок, много врагов. Он исподтишка мастер был посмеяться над всяким, кто попадется под руку,— и, говорят, нередко «лил свои пули» перед митрополитом Филаретом, у которого (и вообще у высшего духовенства) он был принят на короткой ноге благодаря более всего своим познаниям в русских, особенно в церковных, древностях, которые дались ему больше, чем римские.

Забавно нам было видеть, как он однажды попался впросак и как на наших глазах во время экзамена старался выпутаться из петли. Некто студент З. написал какую-то брошюру о царе Горохе: я ее читал, но теперь забыл даже точное заглавие; помню только, что там изображались в карикатуре некоторые профессора университета и, между прочим, чопорный и важный И. И. Давыдов. Описывалась

их наружность, манера читать[7]. Снегирев был цензором и пропустил брошюру, зная, конечно, очень хорошо, в чем дело, и заранее наслаждаясь про себя эффектом брошюры. Брошюра действительно произвела эффект и смех. Она ходила по рукам. Профессоры вознегодовали, больше всех — он, le superbe* Иван Иванович: как могло его коснуться дерзкое перо! Потерпел не автор-шалун, а цензор. С ним не говорили, отворачивались от него; Иван Иванович положительно не глядел на него, а тот залезал в глаза, старался замести хвостом свою шутку, льстил, изгибался — и напрасно! Мы видели все это и наслаждались профессорскою комедиею.

Декампа можно было также назвать: le superbe. Это был значительно потертый и поношенный француз старого пошиба, с задиранием головы и носа, с напускною важностью во взгляде и в тоне, с округленною, напыщенною фразою, и прямой, как палка. Злые языки говорили, что он носит корсет. Он, как рога какие-нибудь, носил свое мнимое величие в позе головы, в неподвижности корпуса, говорил — точно изрекал глаголы оракула и смотрел на все свысока.

Историею французской литературы назывался у него перечень писателей с IX века, с поименованием их сочинений и с краткою, в несколько строк, установившеюся в французских учебниках критическою оценкою. Напыщенным, изысканным языком он возвещал нам эти заповеди французских критиков, не освещая ничего своим собственным впечатлением и взглядом. Да едва ли у него и было и то и другое. Всякое живое слово или движение вывело бы его, пожалуй, из позы буддийского идола и нарушило статуарное величие его фигуры.

Говорят, он имел большой успех в светских салонах — разве потому только, что он француз, да за эту скульптурную величавость и за декламированный тон речи.

Конечно, для студентов небесполезно было послушать часа три в неделю такого краснобая — собственно для французского языка, не бесполезно также, в смысле упражнения, и заучить его тетрадку с перечнем имен и сочинений, написанную хорошим, правильным языком.

При этом не могу не вспомнить одного комического эпизода по поводу этих заучиваний. Для знавших по-французски ничего не стоило заучить содержание тетрадки и пересказать его, не с буквальною точностью, а своими сло-

* Великолепный (*франц.*).

вами. Другое дело для студентов из семинаристов: те должны были выдолбить текст слово в слово, буква в букву. И вот на экзамене, в полном присутствии факультетского начальства, декана и других профессоров, один студент из семинаристов вынул вопрос, прочел его и отвечал, переменив член в одном слове la на le... Едва он произнес слово, как раздался гомерический хохот — и профессоров и студентов. Наконец осклабился даже и сам напыщенный Декамп... И стоило смеха: к сожалению, печатно слова, к которому студент приставил член le, привести нельзя.

Еще полезнее было писать сочинения на задаваемые Декампом темы: он по очереди предлагал две-три темы нескольким студентам и потом, как Давыдов, разбирал на лекции написанное.

Задавая, он всегда педантически назначал,— как, бывало, наши старые риторы задавали хрии,— и программу, как писать. Например, из «Илиады» задаст написать о прощании Гектора с Андромахой или из римской истории о каких-нибудь Гракхах скажет тезис, потом péroraison*, потом развитие и заключение,— так что самое сочинение выходило у всех гораздо короче программы. Ну, бог с ним, с французом, и с немцем тоже! — Этот все натуживался пересилить своим старческим, надтреснутым голосом говор студентов, которые не стеснялись при нем,— и все напрасно: в этих усилиях прошли все два года его чтений.

Вообще надо сказать, что лекторы новейших языков из иностранцев почти не нужны в университете. Туда, особенно в филологический факультет, надо поступать молодым людям из русских с значительною подготовкою в языках, чтобы самим справляться, где нужно, с иностранной грамотой. Учиться ей там некогда, да и совестно: не студенческое дело — преодолевать синтаксические трудности, когда надо уже уметь читать писателей в оригинале. Это дело школы. А толкователями иностранных литератур для русских юношей и могут быть только русские люди, которые в то же время сообщают и параллель своей литературы с иностранными. Так это теперь, кажется, и делается везде — и слава богу!

С этой целью и учреждена была у нас кафедра иностранных литератур, которую с успехом и блеском и занимал Шевырев.

Упомяну еще о профессоре богословия, священнике Тер-

---

* Рассуждение *(франц.)*.

новском. Это был не то что «добрый батюшка», а настоящий строгий профессор.

Слушание его лекций, не знаю почему, было обязательно для студентов юридического факультета во весь трехгодичный курс. Для прочих факультетов положено было слушать его только первый год. Один год он читал догматическое, а другой — нравственное богословие. Мне пришлось прослушать последнее. Он читал скоро и много: в час начитает листов шесть писаных и, кончая,— даст программу прочитанного. На следующей лекции он вызовет кого-нибудь пересказать прочитанное в прошлый раз. Этого боялись и прятались за спины товарищей, чтоб он не вызвал. Отметкам его придавали особый вес. Получивший у него единицу не переводился на следующий курс. Его подробные ученые и сухие лекции как-то мало вязались с жизнью. Они выучивались к экзамену и потом забывались.

Таков был персонал наших университетских преподавателей.

С ним мы вступили на последний университетский 1833—1834 год: тогда курс для всех факультетов, кроме медицинского, был трехлетний. Для медиков полагалось четыре года.

Собственно золотым веком нашей университетской республики можно назвать 1832—1833 год. В выпускном 1833/34 году на университет легла какая-то тень. В университете, сначала вне аудиторий, стала появляться новая личность. Это была статная прямая фигура довольно большого роста, высоко державшая голову, в вицмундире, с крестом на шее. Увидя его, так и хотелось сделать ему плюшкинский вопрос Чичикову: не служил ли он в военной службе? Так он держал себя осанисто и гордо, точно в строю, может быть, он и служил там. Мы узнали, что его зовут — Д. П. Голохвастов, что он назначен помощником попечителя.

Он похаживал по обширным дворам университета, как будто осматривая здание. За ним, точно на пристяжке, несколько поодаль, следовал чиновник в мундирном сюртуке. Его называли смотрителем — чего? мы не знали и не любопытствовали знать, полагая, что это лицо назначено для внешней части, может быть по хозяйственной или что-нибудь в этом роде.

Но вскоре вслед за этим похаживанием вокруг да около Голохвастов стал заглядывать и в аудитории, садился, пока молча, около профессора, слушал лекции и внуши-

тельно, начальственно поглядывал на нас. Мы отвечали ему взглядами недоумения.

Затем он стал вмешиваться в лекции, спрашивал студентов, причем посматривал на нас несколько надменно и, без всяких с нашей стороны поводов, строго.

«Что означает сей сон?» — спрашивали мы друг друга и недоумевали. Мы, привыкшие к нашей республиканской свободе, не ведая никого, кроме по очереди сменявшихся на лекциях профессоров, вдруг почувствовали какое-то стеснение, принужденность,— все остерегались «Вот, вот войдет посторонний, совсем чужой университету господин и станет приказывать, распоряжаться!»

Словом, мы почувствовали, что у нас ни с того ни с сего и без всякой, казалось нам, надобности явилось начальство, прямое, непосредственное начальство, непохожее на ректора, декана, которые заведовали учебною частью, и менее всего на ласкового вельможу, князя С. М. Голицына.

Мы стали несколько унывать, осматриваться и всё наблюдали, нет ли поблизости Голохвастова, с надменным и внушительно-строгим, без надобности, взглядом? Он же начал позволять себе делать кое-кому замечания, выговоры и в то же время, как мы слышали, приглашал к себе некоторых студентов, знакомых с иностранными литературами, особенно французской и английской, которые сам он будто бы знал основательно, беседовал с ними, давал книги из своей библиотеки. Словом, опекал нас очень усердно и все более и более входил в свою роль опекуна.

На выпускных экзаменах он уже явился полным хозяином и распорядителем наших судеб. Он занял роль председателя в комитете экзаменаторов; декан при нем стушевался. Он вмешивался в вопросы, задавал свои, одобрял или порицал ответы, даже одного студента довольно грубо удалил из аудитории — и вместе из университета — за какой-то неумелый или непочтительный ответ на его замечание.

Мы не знали, чем вызвано было назначение его. Может быть, не произошла ли какая-нибудь история между студентами, уже покинувшими университет, которая заставила начальство «подтянуть университеты вообще». Не к тому ли времени относилась история с Герценом и высылка его из Москвы,— или другая,— я не знал тогда, да не знаю и теперь, или — если знал когда-нибудь, то забыл совершенно. Об этом могут лучше меня засвидетельствовать — и,

может быть, уже и засвидетельствовали где-нибудь — мои тогдашние университетские товарищи.

Наконец университет пройден. В июне 1834 года, после выпускных экзаменов, мы все, как птицы, разлетелись в разные стороны. Мы с братом уехали домой, на Волгу, где я, прожив около года, в 1835 году переехал в Петербург и остался там навсегда.

Университетский официальный курс кончился, но влияние университета продолжалось. Потеряв из вида своих товарищей, словесников, я не забывал профессоров и их указаний.

В Петербурге, тщательно изучая иностранные литературы, я уже регулировал свои занятия по тому методу и по тем указаниям, которые преподавали нам в университете наши вышеозначенные любимые профессора.

То же самое, конечно, более и лучше меня, делали современные мне студенты: К. Аксаков, Станкевич, Бодянский, Сергей Строев. Не называю их товарищами, потому что не был с ними знаком. Я слыхал только тогда, что они, составляя одну группу и занимая один угол в обширной аудитории, собирались друг у друга, читали, менялись мыслями — и едва ли не являлись в печати уже тогда.

Это, может быть, покажется странным нынешним студентам, что мы, собираясь ежедневно в одной аудитории, могли быть друг с другом незнакомы. Это объясняется очень просто. Тогда студенты не составляли, как теперь*, корпорации и не были ни в чем солидарны между собой, не имели никаких обязательных друг к другу отношений. Университет был просто правительственное учреждение, открывавшее свои двери для всех ищущих знания. Мы собирались там, как собираются на публичные лекции, в церкви и т. п.

Не было никакой платы с студентов; правительство помогало только, как выше сказано, бедным студентам тем, что давало им квартиру и стол. Стипендий никаких не было. Студенты приходили на лекцию и уходили, как посторонние друг другу лица. Никто не заботился о том, что тот или другой делает дома, чем он живет, чем особенно занимается.

Поэтому у нас не было никаких сходок, никаких сборов в пользу неимущих слушателей и, следовательно, никакой студенческой кассы. Все студенты делились на груп-

---

* То есть в начале 70-х годов. *(Прим. авт.)*

пы близких между собой товарищей: иногда прежних соучеников в школе или случайных знакомых, иногда просто соседей на университетской скамье.

Я здесь упомянул о группе Станкевича, Строева и других; потом была группа казенных студентов, семинаристов и много других, мелких кружков. Эти группы не сливались между собою, ничто не связывало их друг с другом. Каждая группа имела свой центр; члены ее собирались между собою, вместе вели записки лекций, вместе читали книги, готовились к экзаменам — и, конечно, часто вместе проводили время вне университета.

Студенты были раскиданы по всей обширной Москве, сходились — кто пешком, кто в экипаже — на лекции. Ничто не отвлекало от занятий тех, кто хотел заниматься, потому что других обязательных занятий, кроме лекций, не было. Никаких балов, концертов, спектаклей в пользу неимущих слушателей не давалось; не было сходок, студенты не являлись в роли устроителей и распорядителей означенных увеселений, также не несли на себе забот решать вопрос о пособиях наиболее нуждающимся товарищам и заведовать классами.

Все было патриархально и просто; ходили в университет как к источнику за водой, запасались знанием кто как мог — и, кончив свои годы, расходились. Не берусь решать — было ли это лучше или хуже нынешнего. Полагаю, что есть своя хорошая и своя дурная сторона медали. Хорошая — та, что студент, как сказано, не отвлекался ничем посторонним от своих прямых занятий, что особенно удобно было в московских уголках и затишьях, отдаленных от всякого шума и суеты. Дурная сторона медали — это равнодушие к товарищам, из которых многие, очевидно, боролись с нуждой. Теперь, кажется, юношеству облегчены средства не только к прохождению курса, но обеспечена поддержка и после, когда не посчастливится кончившему курс вскоре пристроиться к какому-нибудь делу.

Вистенгоф П. Ф.

ЛЕРМОНТОВ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

(Из моих воспоминаний)

С самых малых лет своих и до последующего времени, постоянно слыша около себя одни и те же разговоры о необходимости учиться, дабы потом, в известном уже возрасте, проложить дорогу, сделать себе карьеру, я втайне не соглашался с этими доводами, находя их фальшивыми, неестественными, а потому и смотрел на науку, как на какое-то принудительное средство, и если учился, то лишь по настоянию. Будучи от природы впечатлительным, имея живой, резвый характер, быстро увлекаясь внешними мимолетными предметами, я питал особенную страсть к лошадям, к верховой езде, к собакам, любил пошалить, поповесничать. Не жажда познаний в то время манила меня сделаться студентом, а стремление скорей выйти на свободу, поступить в гусарский полк, схватить офицерский чин и корнетом фигурировать в обществе. К фраку я питал презрение, как и большая часть молодежи того времени. Дворянскому сословию и в особенности его нелепым тогдашним нравам вполне не сочувствовал, между тем мне необходимо было приобрести эти права для наследования родового населенного имения, на владение которым по закону, как не дворянин, я не имел права, и таковое по смерти матери моей должно было отойти в казну.

I

В 1830 году я поступил вольным слушателем в Московский университет. Студентом я быть не мог, потому что не выходили еще года — мне было всего только пятнадцать лет. Но неожиданные обстоятельства помешали мне в этом году посещать и слушать лекции.

В первых числах сентября над Москвой разразилась

губительная холера. Паника была всеобщая. Массы жертв гибли мгновенно. Зараза приняла чудовищные размеры. Университет, все учебные заведения, присутственные места были закрыты, публичные увеселения запрещены, торговля остановилась. Москва была оцеплена строгим военным кордоном и учрежден карантин. Кто мог и успел, бежал из города. С болью в душе вспоминаешь теперь тогдашнее грустное и тягостное существование наше. Из шумной, веселой столицы Москва внезапно превратилась в пустынный, безлюдный город. Полиция силой вытаскивала из лавок и лабазов арбузы, дыни, ягоды, фрукты и валила их в нарочно вырытые (за городом) глубокие, наполненные известью ямы. Оставшиеся жители заперлись в своих домах. Никто без крайней необходимости не выходил на улицу, избегая сообщения между собой. Это могильное, удручающее безмолвие московских улиц по временам нарушалось тяжелым, глухим стуком колес больших четырехместных карет, запряженных парою тощих лошадей, тянувшихся небольшою рысью по направлению к одному из временно устроенных холерных лазаретов. Внутри карет или мучился умирающий, или уже лежал обезображенный труп. На запятках этих злополучных экипажей для видимости ставили двух полицейских солдат-будочников, как их тогда называли. Мрачную картину изображали эти движущиеся рыдваны, заставляя робкого, напуганного прохожего бросаться опрометью в ворота или калитку первого попавшегося дома, во избежание встречи с этими вместилищами ужасной смерти...

К весне 1831 года бедствие столицы прекратилось. Всем памятная по своему ужасающему истреблению страшная эпидемия эта, называемая первой холерой, совершенно ослабела. Москва просияла. Жизнь потекла обычным своим путем. Хотя в январе месяце университет и был открыт, но лекции как самими профессорами, так и студентами посещались неаккуратно, надлежащий порядок еще не был восстановлен, поэтому и злополучный год этот им не зачелся,— все студенты остались на прежних своих курсах.

Под конец лета, перед самым началом вступигельных экзаменов, ко мне пригласили на дом ординарного профессора Московского университета Ивашковского, постоянно назначавшегося экзаменатором греческого языка, в котором я был очень слаб и страшился его более всего. Профессор, дав несколько уроков, заранее предупредил меня о том, что будет спрашивать на экзамене, и указал то место

в греческой хрестоматии, которое я должен был вызубрить. Мне дали множество рекомендательных писем почти ко всем профессорам-экзаменаторам и даже к самому почтенному ректору университета, престарелому Двигубскому. Все эти письма были от более или менее влиятельных лиц, которым профессора в свою очередь желали угодить. Случай с одним из таковых писем остался особенно у меня в памяти.

Двоюродная сестра моей матери, Ольга Антоновна Языкова, дала мне письмо к своему другу, тогдашнему вельможе — писателю, Ивану Ивановичу Дмитриеву, проживавшему у Спиридонья, в собственном доме, впоследствии времени перешедшем во владение писателя С. Т. Аксакова. Меня заранее предупредили, что Иван Иванович человек ученый, очень умный, строгий и даже капризный и что надобно стараться непременно ему понравиться, так как он может сделать очень многое. Уже одно это предостережение пугало меня и заранее делало боязливым.

С трудно скрываемой робостью переступил я порог дома этого ученого магната. Меня впустили в приемную комнату и обо мне доложили. Выходит высокого роста мужчина с густыми седыми волосами на голове, черными большими косыми глазами; борода, усы, бакенбарды тщательно выбриты, в черном сюртуке изысканного покроя. Прочитав поданное ему мною письмо и сурово и апатично оглядев меня с ног до головы, он сказал:

— Хорошо, я скажу, кому следует, чтобы вам по возможности облегчили доступ в студенты. Сожалею, что вы поступаете в университет не для научной цели, а единственно для того, чтобы получить диплом — этот пергамент, дающий известные, исключительные права. А есть бедные молодые люди, пришедшие пешком сюда из Воронежской губернии в худых сапогах, отлично подготовленные. Эти труженики пришли учиться, и учиться серьезно. Вот этим-то людям я вполне сочувствую.

Сказав это, он поклонился и ушел.

Недовольный и сконфуженный, отправился я домой. Всю дорогу ледяные слова Дмитриева гудели у меня в ушах.

II

Меня экзаменовали более нежели легко. Сами профессора вполголоса подсказывали ответы на заданные вопросы. Ответы по билетам тогда еще не были

введены. Я был принят в студенты по словесному факультету. С восторгом поздравляли меня родные, мечтали о будущей карьере, строили различные воздушные замки. Я был тоже доволен судьбой своей. Новая обстановка, будущие товарищи, положение в обществе — все это поощряло, тянуло к университетскому зданию, возбуждало чувство собственного достоинства.

Всех слушателей на первом курсе словесного факультета было около ста пятидесяти человек. Молодость скоро сближается. В продолжение нескольких недель мы сделались своими людьми, более или менее друг с другом сошлись, а некоторые даже и подружились, смотря по роду состояния, средствам к жизни, взглядам на вещи. Выделялись между нами и люди, горячо принявшиеся за науку: Станкевич, Строев, Красов, Компанейщиков, Плетнев, Ефремов, Лермонтов. Оказались и такие, как и я сам, то есть мечтавшие как-нибудь три года промаячить в стенах университетских и затем, схватив степень действительного студента, броситься в омут жизни...

Студент Лермонтов, в котором тогда никто из нас не мог предвидеть будущего замечательного поэта, имел тяжелый, несходчивый характер, держал себя совершенно отдельно от всех своих товарищей, за что в свою очередь и ему платили тем же. Его не любили, отдалялись от него и, не имея с ним ничего общего, не обращали на него никакого внимания.

Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотясь, по обыкновению, на один локоть, и, углубясь в чтение принесенной книги, не слушал профессорских лекций[1]. Это бросалось всем в глаза. Шум, происходивший при перемене часов преподавания, не производил никакого на него действия. Роста он был небольшого, сложен некрасиво, лицом смугл; темные его волосы были приглажены на голове, темнокарие большие глаза пронзительно впивались в человека. Вся фигура этого студента внушала какое-то безотчетное к себе нерасположение.

Так прошло около двух месяцев. Мы не могли оставаться спокойными зрителями такого изолированного положения его среди нас. Многие обижались, другим стало это надоедать, а некоторые даже и волновались. Каждый хотел его разгадать, узнать затаенные его мысли, заставить его высказаться.

Как-то раз несколько товарищей обратились ко мне с

предложением отыскать какой-нибудь предлог для начатия разговора с Лермонтовым и тем вызвать его на какое-нибудь сообщение.

— Вы подойдите к Лермонтову и спросите его, какую он читает книгу с таким постоянным напряженным вниманием. Это предлог для начатия разговора самый основательный.

Не долго думая, я отправился.

— Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую это книгу вы читаете? Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как углубились вы в нее; нельзя ли поделиться ею и с нами? — обратился я к нему не без некоторого волнения.

Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии, сверкнули глаза его. Трудно было выдержать этот неприветливый, насквозь пронизывающий взгляд.

— Для чего вам хочется это знать? Будет бесполезно, если я удовлетворю ваше любопытство. Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать; вы тут ничего не поймете, если бы я даже и решился сообщить вам содержание ее,— ответил он мне резко и принял прежнюю свою позу, продолжая читать.

Как будто ужаленный, отскочил я от него, успев лишь мельком заглянуть в его книгу,— она была английская.

Перед рождественскими праздниками профессора делали репетиции, то есть проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие и согласно ответам ставили баллы, которые брались в соображение потом и на публичном экзамене.

Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос. Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:

— Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?

— Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным.

Мы все переглянулись.

Подобный ответ дан был и адъюнкт-профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику.

Дерзкими выходками этими профессора обиделись

и постарались срезать Лермонтова на публичных экзаменах[2].

Иногда в аудитории нашей, в свободные от лекций часы, студенты громко вели между собой оживленные суждения о современных интересных вопросах. Некоторые увлекались, возвышая голос. Лермонтов иногда отрывался от своего чтения, взглядывал на ораторствующего, но как взглядывал! Говоривший невольно конфузился, умалял свой экстаз или совсем умолкал. Ядовитость во взгляде Лермонтова была поразительна. Сколько презрения, насмешки и вместе с тем сожаления изображалось тогда на его строгом лице.

Лермонтов любил посещать каждый вторник тогдашнее великолепное московское Благородное собрание, блестящие балы которого были очаровательны. Он всегда был изысканно одет, а при встрече с нами делал вид, будто нас не замечает. Не похоже было, что мы с ним были в одном университете, на одном факультете и на одном и том же курсе. Он постоянно окружен был хорошенькими молодыми дамами высшего общества и довольно фамильярно разговаривал и прохаживался по залам с почтенными и влиятельными лицами. Танцующим мы его никогда не видали.

В то время, о котором я говорю, все студенты разделялись на две категории: своекоштных и казеннокоштных.

Казеннокоштные студенты помещались в самом здании университета в особо отведенных для них номерах, по нескольку человек в каждом, и были на полном казенном содержании, начиная с пищи, одежды и кончая всеми необходимыми учебными пособиями. Взамен этого, по окончании курса наук, они обязаны были отслужить правительству известное число лет в местах, им назначенных, большею частью отдаленных. Студенты юридического факультета казенными быть не могли. Всем студентам была присвоена форменная одежда, наподобие военной: однобортный мундир с фалдами темно-зеленого сукна, с малиновым стоячим воротником и двумя золотыми петлицами, треугольная шляпа и гражданская шпага без темляка; сюртук двухбортный, также с металлическими желтыми пуговицами, и фуражка темно-зеленая с малиновым околышком. Посещать лекции обязательно было не иначе, как в форменных сюртуках. Вне университета, также на балах и в театрах, дозволялось надевать штатское платье. Студенты вообще не любили форменной одежды и, относясь индифферентно к этой формальности, позволяли себе ходить по

улицам Москвы в форменном студенческом сюртуке, с высоким штатским цилиндром на голове.

Администрация тогдашнего университета имела некоторую свою особенность.

Попечитель округа действительный тайный советник князь Сергей Михайлович Голицын, богач, аристократ в полном смысле слова, был человек высокообразованный, гуманный, доброго сердца, характера мягкого. По высокому своему положению и громадным материальным средствам, он имел возможность делать много добра как для всего ученого персонала вообще, так и для студентов (казеннокоштных) в особенности. Имя его всеми студентами произносилось с благоговением и каким-то особенным, исключительным уважением. Занимая и другие важные должности в государстве, он не знал, как бы это следовало, да и не имел времени усвоить себе своей прямой обязанности, как попечителя округа, в отношении всего того, что происходило в ученой иерархии; поэтому он почти всецело передал власть свою двум помощникам своим, графу Панину и Голохвастову. Эти люди были совершенно противоположных князю качеств. Как один, так и другой, необузданные деспоты, видели в каждом студенте как бы своего личного врага, считая нас всех опасною толпою как для них самих, так и для целого общества. Они все добивались что-то сломить, искоренить, дать всем внушительную острастку.

Голохвастов был язвительного, надменного характера. Он злорадствовал всякому случайному, незначительному студенческому промаху, раздув его до maximum'a, находил для себя особого рода наслаждение наложить на него свою кару.

Граф Панин никогда не говорил со студентами как с людьми более или менее образованными, что-нибудь понимающими. Он смотрел на них как на каких-то мальчишек, которых надобно держать непременно в ежовых рукавицах, повелительно кричал густым басом, командовал, грозил, стращал. И обеим этим личностям была дана полная власть над университетом. Затем следовали: инспектора, субинспектора и целый легион университетских солдат и сторожей в синих сюртуках казенного сукна с малиновыми воротниками (университетская полиция — городовые).

Городская полиция над студентами, как своекоштными, так и казеннокоштными, не имела никакой власти, а также и прав карать их. Провинившийся студент отсылался полициею к инспектору студентов или в университетское прав-

ление. Смотря по роду его проступка, он судился или инспектором, или правлением университета.

Инспектора казеннокоштных и своекоштных студентов, а равно и помощники их (субинспектора), имели в императорских театрах во время представления казенные бесплатные места в креслах для наблюдения за нравственностью и поведением студентов во время сценических представлений и для ограждения прав их от произвольных действий полиции и других враждовавших против них ведомств. Студенческий карцер заменял тогда нынешнюю полицейскую кутузку, и эта кара для студентов была гораздо целесообразнее и достойнее.

Как-то однажды нам дали знать, что граф Панин неистовствует в правлении университета. Из любопытства мы бросились туда. Даже Лермонтов молча потянулся за нами. Мы застали следующую сцену: два казеннокоштные студента сидят один против другого на табуретках, и два университетских солдата совершают над ними обряд бритья и стрижки. Граф, атлетического роста, приняв повелительную позу, грозно кричал:

— Вот как! Стриги еще короче! Под гребешок! Слышишь! А ты! — обращался он к другому,— чище брей! Не жалей мыла, мыль его хорошенько!

Потом, обратившись к сидящим жертвам, гневно сказал:

— Если вы у меня в другой раз осмелитесь только подумать отпускать себе бороды, усы и длинные волосы на голове, то я вас прикажу стричь и брить на барабане, в карцер сажать и затем в солдаты отдавать. Вы ведь не дьячки! Передайте это там всем. Ну! Ступайте теперь!

Увидав в эту минуту нашу толпу, он закричал:

— Вам что тут нужно? Вам тут нечего торчать! Зачем вы пожаловали сюда? Идите в свое место!

Мы опрометью, толкая друг друга, выбежали из правления, проклиная Панина.

Иногда эти ненавистные нам личности, Панин и Голохвастов, являлись в аудиторию для осмотра, все ли в порядке. Об этом давалось знать всегда заранее. Тогда начиналась беготня по коридорам. Субинспектора, университетские солдаты, суетились, а в аудиториях водворялась тишина.

Однообразно тянулась жизнь наша в стенах университета. К девяти часам утра мы собирались в нашу аудиторию слушать монотонные, бессодержательные лекции бесцветных профессоров наших: Победоносцева, Гастева,

Оболенского, Геринга, Кубарева, Малова, Василевского, протоиерея Терновского. В два часа пополудни мы расходились по домам.

Профессора других факультетов и высших курсов, как Погорельский, Перевощиков, Давыдов, Павлов,— были тогдашние знаменитости, а доктора Лодер, Мудров, Мухин, как искуснейшие врачи, пожинали заслуженные лавры по своей части; но мы их не знали, потому что медицинский факультет стоял от нас особняком и мы не имели с ним ничего общего.

В старое доброе время любили повеселиться. Процветали всевозможные удовольствия: балы, собрания, маскарады, театры, цирки, званые обеды и радушный прием во всякое время в каждом доме. Многие из нас усердно посещали все эти одуряющие собрания и различные кружки общества, забывая и лекции, и премудрых профессоров наших. Наступило лето, а с ним вместе и роковые публичные экзамены, на которых следовало дать отчет в познаниях своих.

Рассеянная светская жизнь в продолжение года не осталась бесследною. Многие из нас не были подготовлены для сдачи экзаменов. Нравственное и догматическое богословие, а также греческий и латинский языки подкосили нас. Панин и Голохвастов, присутствуя на экзаменах, злорадствовали нашей неудаче. Последствием этого было то, что нас оставили на первом курсе на другой год; в том числе был и студент Лермонтов.

Самолюбие Лермонтова было уязвлено. С негодованием покинул он Московский университет навсегда[3], отзываясь о профессорах как о людях отсталых, глупых, бездарных, устарелых, равно как и о тогдашней университетской нелепой администрации. Впоследствии мы узнали, что он, как человек богатый, поступил на службу в лейб-гвардии гусарский полк[4].

Аксаков К. С.

ВОСПОМИНАНИЕ СТУДЕНТСТВА 1832 — 1835 гг.

Я поступил в студенты 15 лет прямо из родительского дома. Это было в 1832 году. Переход был для меня очень резок. Экзамен, публичный экзамен,— явление, доселе для меня незнакомое,— казался для меня страшен. А я притом с моим Азом должен был первый открывать всякий раз ряд экзаменующихся. Но все прошло благополучно, и моя крайняя застенчивость не обратилась для меня в помеху к поступлению в университет.

В мое время полный университетский курс состоял только из трех лет, или из трех курсов. Первый курс назывался приготовительным и был отделен от двух последних. Я поступил в словесное отделение, которое в это время было, сравнительно, довольно многочисленно. На первом курсе словесного отделения было нас человек 20 — 30. В назначенный день собрались мы в аудиторию, находившуюся в правом боковом здании старого университета, и увидали друг друга в первый раз: во время экзаменов мы почти не заметили друг друга. Тут молча почувствовалось, что мы товарищи,— чувство для меня новое.

В эпоху студенчества, о которой говорю, первое, что обхватывало молодых людей, это общее веселие молодой жизни, это чувство общей связи товарищества; конечно, это-то и было первым мотивом студенческой жизни; но в то же время слышалось, хотя не сознательно, и то, что молодые эти силы собраны все же во имя науки, во имя высшего интереса истины. Так, вероятно, было всегда, при всяких подобных условиях, но не знаю, так ли бывает теперь в университете. Не все мои товарищи способны были понимать истину и даже ценить ее; но все были точно молоды,

не по одному числу лет, все были постоянно шумны и веселы; ни одного не было ни истощенного, ни вытертого; не было ни светского тона, ни житейского благоразумия. Спасительны эти товарищеские отношения, в которых только слышна молодость человека, и этот человек здесь не аристократ и не плебей, не богатый и не бедный, а просто человек. Такое чувство равенства, в силу человеческого имени, давалось университетом и званием студента*.

Право, кажется мне, что главная польза такого общественного воспитания заключается в общественной жизни юношей, в товариществе, в студенчестве самом. Не знаю, как теперь, но мы мало почерпнули из университетских лекций и много вынесли из университетской жизни. Общественно-студенческая жизнь и общая беседа, возобновлявшаяся каждый день, много двигали вперед здоровую молодость, и хотя собственно товарищи мои ничем не сделались замечательны,— кто знает даже, к какому опошляющему состоянию нравственному могли довести обстоятельства потерянных мною из виду,— но живое это время, думаю я, залегло в их душу освежительным, поддерживающим *основанием*. Вообще, не худо, чтобы молодые люди, проходя свое воспитание, пожили вместе, как живут студенты; но это свободное общежитие тогда получает свою цену, когда истина постоянно светит молодому уму и только ждет, чтобы он обратил на нее свои взоры. Значение университетского воспитания может быть огромно в жизни целой страны: с одной стороны — играющая молодая жизнь, как целое общество, в союзе юных нравственных сил, жизнь, не стесняемая форменностью, не гнетомая внешними условиями; с другой стороны — истина, греющая этот союз, предлагаемая, но не навязываемая никому. Хорошо бы это могло быть!

В мое время цель эта достигалась с одной стороны: именно со стороны студентства. Жизнь молодости точно играла с оттенком легкого, безобидного буйства и проказливости. Форменности почти не было; она начинала вводиться, правда, но еще очень легко. С другой стороны, со стороны профессорства, цель эта достигалась большей частью весьма слабо,— и очень тускло и холодно освещало

* Именно университетом и студенчеством, ибо училище, заключающее в себе все часы воспитанников, лишает их той свободы, которая дается соединением лишь во имя науки, которая поддерживается тем, что всякий товарищ вел свою самостоятельную жизнь. *(Прим. авт.)*

наши умы солнце истины; но живые, неподавленные силы наши находили к ней дорогу.

Грубые шутки, дикие буйные выходки студентов, бывшие некогда, давно миновали. Время смягчает нравы; студентская свобода не исчезла, но молодость уже не увлекалась, как прежде, одним кипеньем крови, более и более слыша в себе умственные и нравственные силы. Живость молодости высказывала себя в более шутливых проделках, мало-помалу исчезавших в свою очередь. Когда я поступил на первый курс, еще слышались и повторялись рассказы между студентами о недавних проказах, довольно добродушных, случившихся только что передо мною и при мне уже не повторявшихся; и эти проказы, хотя так недавно происходившие, становились уже очевидно преданием.

Рассказывали, что незадолго перед моим вступлением, однажды, когда Победоносцев, который читал лекции по вечерам, должен был прийти в аудиторию, студенты закутались в шинели, забились по углам аудитории, слабо освещаемой лампою, и,— только показался Победоносцев,— грянули: «Се жених грядет во полунощи». Рассказывали, что Заборовский, бывший еще в это время в университете, принес на лекцию Победоносцева воробья и во время лекции выпустил его. Воробей принялся летать, а студенты, как бы в негодовании на такое нарушение приличия, вскочили и принялись ловить воробья; поднялся шум, и остановить ревностное усердие было дело нелегкое. Все эти шутки могли бы иметь свою жестокую сторону, если бы Победоносцев был человеком жалким и смиренным; но он, напротив, был не таков: он бранился со студентами, как человек старого времени, говорил им ты; они не оскорблялись, не отвечали ему грубостями, но забавлялись от всей души его гневом...

...Оболенский переводил с нами Гомера... Трехтысячелетняя речь божественного Гомера раздавалась в Москве, на Моховой, в аудитории Московского университета перед русскими юношами, обращавшими больше внимания на смешную фигуру профессора, чем на дивные слова Одиссеи. Обыкновенно профессора наши переводили сами, и переводящему студенту оставалось только искусно повторять слова профессора, чтобы не обратиться в совершенного слушателя.

Странное дело! Профессора преподавали плохо, студенты не учились и скорее забывали, что знали прежде; но души их, не подавленные форменностью, были раскрыты,—

и бессмертные слова Гомера, возносясь над профессором и над слушателями, говорившие красноречиво сами за себя... и события исторические, выглядывавшие со своим величием даже из лекций Гастева, и вдохновенные речи Шиллера и Гете, переводимые Герингом,— падали более или менее сознательно, более или менее сильно, в раскрытые души юношей — лишь бы они только не противились впечатлению,— нередко не замечавших приобретения ими внутреннего богатства! Впрочем, я, собственно, давно уже читал поэтов; я прочел еще прежде всю «Илиаду» в переводе Гнедича с невыразимым наслаждением и думаю, что свобода студенческих моих занятий, не дав мне много сведений положительных, много принесла мне пользы, много просветила меня и способствовала самостоятельной деятельности мысли. Что же было бы, если б, при этой свободе студенческой университетской жизни, было у нас живое, глубокое слово профессора!

Наш курс, впрочем, не очень был замечателен относительно личности студентов. Желая поскорее осуществить юношеское товарищество на деле, я выбрал четырех из товарищей, более других имевших умственные интересы, и заключил с ними союз. Это были: Белецкий из Вильны, называемый обыкновенно паном, Теплов, Дмитрий Топорнин и Сомин. Я немедленно написал стихи друзьям, кажется — такого содержания:

Друзья, садитесь в мой челнок,
И вместе поплывем мы дружно.
Стрелою нас помчит поток:
Весла и паруса не нужно.
Вы видите вдали валы,
Седые водные громады;
Там скрыты острые скалы,—
То моря грозного засады...

Далее не помню. Эти стихи были потом положены на музыку Тепловым. Белецкий был человек очень образованный и умный, с глубоким сосредоточенным жаром, читавший с восторгом Мицкевича; что с ним сделалось потом — я не знаю. Я должен признаться, что мои друзья не соответствовали всей мере моих требований; но это уже вопрос личности; разница, вытекающая отсюда, непременно явится всегда; это уже не вина свободной студенческой жизни; кто не пошел вперед, когда путь не загражден, уже сам виноват.

На первый курс поступили к нам студенты, прислан-

ные, кажется, из Витебской гимназии; все они были очень хорошо приготовлены. Я познакомился со всеми с ними и был с ними в очень хороших отношениях. В числе их был Коссович. Он хорошо знал требуемые в университете языки, но филологическое его призвание еще не определилось тогда ясно. Он был неловок; его речь, его приемы были оригинальны, ходил он как будто запинаясь, говорил скоро, спешил и часто вместо одного слова приводил несколько синонимов. Однажды Геринг заставил его переводить. Коссович подошел к кафедре и пустился громко и поспешно переводить, стараясь выражать немецкие слова на русском языке несколькими синонимами. Я помню, как, переводя немецкое ziehen*, Коссович сказал: *идут, тянутся, стремятся*. Студенты невольно смеялись, но всем было ясно, что Коссович славно знает язык.

Студенты не были точны в посещении лекций. Я помню, что однажды, перед лекцией Оболенского, я ушел из аудитории, оставив ее полною студентов; возвратясь, я нашел ее пустой. Не зная, что это значит, я оставался на своей скамье; на другой стороне был студент Окатов, с которым я почти не был знаком. Вдруг входит Оболенский, потом за ним ректор Двигубский. Увидав только двух студентов, Двигубский рассердился и напал на нас за то, что студенты не ходят на лекции. На другой, кажется, день студенты, собравшись, объявили меня правым, ибо я не был тут, как сговаривались они уйти с лекции Оболенского,— и обвинили Окатова, который тут был и это знал. В этом суждении, под видом товарищества, высказалась связь общего союза,— одна из великих нравственных сил; новая для меня, она живо чувствовалась мною, и я понимал, что хорошо стоять друг за друга и быть как один человек.

Считаясь порядочным эллинистом, я обращал на себя внимание Оболенского, должен был чаще других переводить Гомера и слушать внимательно его объяснения. Однажды на лекции, очень серьезно, я вздумал предложить ему вопрос: каким образом согласить в древних стихах ударение с протяжением, как, скандуя** стих, удержать ударение, которое не совпадает со скандовкой? — Оболенский отвечал: «А это-с лучше всего объясняется пением»,— и запел. Я был не рад, что предложил вопрос. Оболенский запел таким голосом и с такою печально-торжественною миною, что просто не было почти никакой возможности удер-

* Тащить, натягивать *(нем.)*.
** Скандируя. *(Прим. сост.)*

жаться от смеха. Смех самый безумный, гомерический готов был ежеминутно овладеть нами, громко вырваться и огласить всю аудиторию,— и этот-то смех надо было подавлять величайшими усилиями. Студенты, удерживаясь от смеха и мучаясь, кидали на меня яростные взгляды. Я, вызвавший этот профессорский ответ, должен был обратить на него больше внимания. Для меня пел Оболенский, каково же мне было? — я был тогда очень смешлив, и когда Теплов проговорил подле меня шепотом: «Точно колодники под окнами»,— я не знаю, как я удержался. Наконец Оболенский перестал петь; наконец лекция окончилась; профессор ушел. Товарищи напали на меня дружно. «Что тебе вздумалось просить петь Оболенского, что ты с нами наделал?» — говорили они со смехом. Я смеялся не меньше их.

Кроме экзаменов у нас были репетиции, и на них основывали профессора наиболее свое мнение о студентах...

Я сказал, что курс наш был не замечателен личностями и что он не удовлетворял моим духовным потребностям. Еще будучи на первом курсе, познакомился я через Дмитрия Топорнина со Станкевичем, бывшим на втором курсе. Когда-нибудь надеюсь написать все, что знаю об этом необыкновенном человеке, но теперь я удерживаюсь воспоминанием собственно студенческой жизни. У Станкевича собирались каждый день, дружные с ним, студенты его курса и, кроме их, вышедшие прежде некоторые его товарищи, из которых замечательнее других Ключников; в первый раз также видел я там Петрова (санскритолога) и Белинского. Кружок Станкевича был замечательное явление в умственной истории нашего общества. Но здесь об нем я упомяну также мельком, надеясь написать когда-нибудь, сколько можно подробнее, историю этого кружка в течение целых семи лет. В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир,— воззрение большею частью отрицательное. Искусственность российского классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма, все это породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект; и то, и другое высказалось в кружке Станкевича, быть может впервые, как мнение целого общества людей. Как всегда бывает, отрицание лжи доводило и здесь до односторонности; но, надобно отдать справедливость, односторонность эта не была крайняя, была искренняя; нападение на претензию,

иногда даже и там, где ее не было,— не переходило само в претензию, как это часто бывает и как это было в других кружках. Одностороннее всего были нападения на Россию, возбужденные казенными ей похвалами. Пятнадцатилетний юноша, вообще доверчивый и тогда готовый верить всему, еще многого не передумавший, еще со многим не уравнявшийся, я был поражен таким направлением, и мне оно часто было больно; в особенности больны были мне нападения на Россию, которую люблю с самых малых лет[1]. Но, видя постоянный умственный интерес в этом обществе, слыша постоянные речи о нравственных вопросах, я, раз познакомившись, не мог оторваться от этого кружка и решительно каждый вечер проводил там. Мое отношение и мое место в этом кружке принадлежит к истории самого кружка, и потому до этого я здесь не касаюсь. Второй курс, в противоположность нашему первому, был богат людьми более или менее замечательными. Станкевич, Строев, Красов, Бодянский, Ефремов, Толмачев принадлежали к этому курсу.

Кружок Станкевича, в который, как сказал я, входили и другие молодые люди, отличался самостоятельностью мнения, свободною от всякого авторитета; позднее эта свобода перешла в буйное отрицание авторитета, выразившееся в критических статьях Белинского,— следовательно, перестала быть свободной, а напротив, стала отрицательным рабством. Но тогда это было не так. Односторонность и несправедливость были и тогда, происходя, как невольное следствие, от излишества стремления, но это не было раз принятой оппозицией, которая есть дело вовсе немудреное. Кружок этот был трезвый и по образу жизни, не любил ни вина, ни пирушек, которые если случались, то очень редко,— и что всего замечательнее, будучи свободомыслен, не любил фрондерства, ни либеральничанья, боясь, вероятно, той же неискренности, той же претензии, которые были ему ненавистнее всего; даже вообще политическая сторона занимала его мало; мысль же о каких-нибудь кольцах, тайных обществах и проч. была ему смешна, как жалкая комедия[2]. Очевидно, что этот кружок желал правды, серьезного дела, искренности и истины. Это стремление, осуществляясь иногда односторонне, было само в себе справедливо и есть явление вполне русское. Насмешливость и иногда горькая шутка часто звучали в этих студенческих беседах. Такой кружок не мог быть увеличен никаким авторитетом. Определяя этот кружок, я определяю всего

более Станкевича, именем которого по справедливости называю кружок, стройное существо его духа удерживало его друзей от того легкого рабского отрицания, к которому человек так охотно бежит от свободы, и когда Станкевич уехал за границу,— быстро развилась в друзьях его вся ложь односторонности, и кружок представил обыкновенное явление крайней исключительности. Станкевич сам был человек совершенно простой, без претензий, и даже несколько боявшийся претензии, человек необыкновенного и глубокого ума, главный интерес его была чистая мысль. Не бывши собственно диалектиком, он в спорах так строго, логически и ясно говорил, что самые щегольские диалектики, как Надеждин и Бакунин, должны были ему уступать. В существе его не было односторонности; искусство, красота, изящество много для него значили. Он имел сильное значение в своем кругу, но это значение было вполне свободно и законно, и отношение друзей к Станкевичу, невольно признававших его превосходство, было проникнуто свободной любовью, без всякого чувства зависимости. Скажу еще, что Бакунин не доходил при Станкевиче до крайне безжизненных и бездушных выводов мысли, а Белинский еще воздерживал при нем свои буйные хулы[3]. Хотя значение церкви не раскрылось еще Станкевичу, по крайней мере до отъезда его за границу, но церковь, и еще семья, были для него святыней, на которую он не позволял при себе кидаться. Станкевич был нежный сын. Кружок Станкевича продолжался и по выходе его и друзей его из университета; он имел свой ход и свое значение в обществе. После него уже пошли эти безобразные выходки. Но несмотря на всю стройность своего нравственного существа, на стремление к свету мысли, истинной свободе духа, равно чуждой рабства и бунта, Станкевич не стал, по крайней мере до отъезда за границу, на желанную высоту, и свобода веры, кажется, не была им достигнута.

Я увлекся; но этот кружок есть явление, вполне принадлежащее Москве и ее университету, возникшее в ту эпоху, когда дикое буйство студенческой жизни, о котором доносятся отдаленные предания,— миновало и когда заменялось оно стройной свободой мысли, еще не подавляемой форменностью.

Когда я поступил в университет, форменность, как сказал, начинала вводиться, но еще слабо; были мундиры и вицмундиры (сюртуки), но можно было в них и не являться на лекцию. При моем вступлении начиналось требование,

чтобы студенты ходили на лекцию в форменном платье; но я и на втором курсе видел иногда студентов в платье партикулярном. В первый год мы носили темно-зеленые сюртуки с красным воротником (до нас форма была синяя с красным воротником); на следующий год красный воротник заменило начальство синим. Сперва требовалось от нас, чтобы мы были только в университете в форменном платье. Я помню, что я, еще во второй год своего студентства, был в Собрании во фраке и говорил там с Голохвастовым. Потом, вводя форменность, нарисовали студентов на бумажке, одного в мундире, другого в вицмундире, раскрасили, вставили в рамку и вывесили в Правлении для назидания в одежде. Наконец призвали нас в Правление и объявили, чтоб мы во всех общественных местах являлись в форменном платье. Студенты повиновались,— и в театре, и в Собрании появились студентские мундиры; но везде, где можно, на вечерах и балах частных и даже на улицах студенты носили партикулярное платье по произволу. Форменные шинели и шубы не были положены, и мы носили шинели и шубы обыкновенные.

Наступили переходные экзамены с первого курса на второй. Они сошли для меня довольно счастливо...

Я перешел на второй курс. Станкевич и его товарищи перешли на третий. Оба курса, второй и третий, слушали лекции вместе в большой словесной аудитории, над дверью которой, золотыми буквами, как на смех было написано. *СЛОВЕСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ*. Здесь слушали вместе студентов сто. На втором и третьем курсе (лекции были общие) были уже другие профессоры, и из них некоторые — люди замечательные. Надеждин читал здесь эстетику, Каченовский — русскую историю. Впоследствии явился Шевырев, приехавший из-за границы, и стал читать историю поэзии, и потом — Погодин, начавший читать всеобщую историю. Давыдов читал риторику и русскую литературу. Латинский язык читал Снегирев, греческий — Ивашковский, немецкий — Кистер, французский — Декамп, которого обыкновенно называли: дед Камп.

Надеждин производил, с начала своего профессорства, большое впечатление своими лекциями. Он всегда импровизировал. Услышав умную, плавную речь, почуяв, так сказать, воздух мысли, молодое поколение с жадностью и благодарностью обратилось к Надеждину, но скоро увидело, что ошиблось в своем увлечении. Надеждин не удовлетворил серьезным требованиям юношей; скоро заметили

сухость его слов, собственное безучастие к предмету и недостаток серьезных занятий. Тем не менее, справедливо и строго оценив Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, охотно слушали его речь. Я помню, что Станкевич, говоря о недостатках Надеждина, прибавлял, что Надеждин много пробудил в нем своими лекциями и что если он (Станкевич) будет в раю, то Надеждину за то обязан. Тем не менее, благодарный ему за это пробуждение, Станкевич чувствовал бедность его преподавания. Надеждина любили за то еще, что он был очень деликатен со студентами, не требовал, чтоб они ходили на лекции, не выходили во время чтения, и вообще не любил никаких полицейских приемов. Это студенты очень ценили — и, конечно, ни у кого не было такой тишины на лекциях, как у Надеждина. Обладая текучей речью, закрывая глаза и покачиваясь на кафедре, он говорил без умолку,— и случалось, что проходил назначенный час, а он продолжал читать (он был крайним). Однажды, до поступления моего на второй курс, прочел он два часа с лишком, и студенты не напомнили ему, что срок его лекции давно прошел.

Во время второго моего курса явился на кафедре Шевырев и читал вступительную лекцию. На этой лекции было много посторонних слушателей; я помню Хомякова и других. Лекция Шевырева, обличавшая добросовестный труд, сильно понравилась студентам: так обрадовались они, увидя эту добросовестность труда и любовь к науке!..

Шевырев казался для студентов радостным событием,— но и тут очарование продолжалось недолго...

Погодин, заняв при нас кафедру всеобщей истории (кажется, когда мы уже перешли на третий курс), тоже читал вступительную лекцию. Погодин говорил с жаром, и хотя молодые люди были большею частью враждебно расположены к нему, но мне помнится, что эта лекция произвела выгодное и сильное впечатление. Бог знает, как умел Погодин, при стольких своих достоинствах, восстановлять против себя почти всех. Нападения на него часто были несправедливы, но все же довольно дружно на него восставали. Мне кажется, что главная причина — неумение обращаться с людьми.

Я помню, что и нам однажды сказал он, что мы мальчики или что-то в этом роде,— аудитория наша не вспыхнула, не зашумела на сей раз, но слова эти оставили глубокий след негодования. Впрочем, значение Погодина ясно определилось только впоследствии, когда он получил

кафедру русской истории. Я видел некоторых его слушателей,— людей правдивых и умных,— благодарных ему за лекции русской истории.

В наше время любили и ценили и боялись притом, чуть ли не больше всех,— Каченовского. Молодость охотно верит, но и сомневается охотно, охотно любит новое, самобытное мнение,— и исторический скептицизм Каченовского нашел сильное сочувствие во всех нас. Строев, Бодянский с жаром развивали его мысль. Станкевич хотя не занимался русской историей, но так же думал. Я тоже был увлечен. На третьем курсе начал я писать пародию: Олег под Константинополем, где утрировал мнение, противоположное Каченовскому[4]. Только впоследствии увидал я всю неосновательность нашего исторического скептицизма. Я помню, как высоко ставил Каченовский Москву, с какой улыбкой удовольствия говорил он о ней, утверждая, что с нее начинается русская история. Его отзывы о Москве были новой причиной моего к нему сочувствия. Но самые лекции свои читал он довольно утомительно для слушателей. Каченовский был в то же время очень забавен в своих приемах, и студенты самым дружеским и нежным образом над ним подсмеивались. Он являлся аккуратно в назначенный час (промежутков между лекций у нас не было), и студенты говорили, что он сам звонит. Несмотря на свою строгость, Каченовский, однако же, хорошо обращался со студентами. Я помню, что он сказал на лекции одному студенту, заметив в нем какую-то неисправность: «Мил[остивый] гос[ударь], вы виноваты: если б с вами была ваша табель, я бы это отметил». Между тем было приказано иметь табель всегда с собою. Мы оценили его деликатность.

Студенты предшествующего нам курса хотели поднести золотую табакерку Каченовскому, но это, кажется, почему-то не состоялось. Станкевич, перед своим выходом из университета, вздумал как-то писать стихи к профессорам, из которых я помню несколько. Вот четыре стиха, относящиеся к Каченовскому:

За старину он в бой пошел,
Надел заржавленные латы,
Сквозь строй врагов он нас провел
И прямо вывел в кандидаты.

К другому профессору:

Он (Каченовский) — историческая мерка:
Тебе ж что скажем, дураку?

Ему — в три фунта табакерка;
Тебе — три фунта табаку...

О Давыдове И. И. скажу только, что в его напечатанном курсе есть следующие слова: *о великих людях пишем мы длинными стихами, потому что воображаем их себе большого роста.*

Приведу кстати в отрывках стихи Ключникова о некоторых тогдашних профессорах:

. . . .
В нем грудь полна стяжанья мукой,
Полна расчетов голова,
И тащится он за наукой,
Как за Минервою сова.
Сквернит своим прикосновеньем
Науку божию педант.
Так школьник тешится обедней,
Так негодяй официант
Ломает барина в передней.

Или:

Учитель наш был истинный педант,
Сорокоум,— дай бог ему здоровья!
Манеры важные,— что твой официант,
А голос — что мычание коровье.
К тому ж талант, решительный талант,
Нет, мало — даже гений пустословья:
Бывало, он часа три говорит
О том, кто постигает, кто творит.

Двух первых стихов следующего куплета не помню:

. . . .
Возьмем, бывало, оду для примера
За голову и за ноги вдвоем
И разберем по руководству Блера,
В ней недостатки и красы найдем,
Что худо в ней, что хорошо,— оценим,
Чего ж недостает — своим заменим.

На втором курсе я еще больше сблизился с кружком Станкевича и, должен признаться, поотдалился-таки от своих друзей-товарищей. Кстати: Коссович на втором курсе уединился от всех, не занимался университетским ученьем, не ходил почти на лекции; а когда приходил, то приносил с собою книгу и не отнимал от нее головы все время, как был в аудитории. На него смотрели с удивлением, говорили: Коссович не занимается; а он между тем глотал один

древний язык за другим. Коссович вступил на свою дорогу, филологическое призвание заговорило в нем, и именно он трудился дельно и быстро себя образовывал. Но, однако, Коссович был оставлен на втором курсе; впоследствии, занявшись университетскими предметами, он без труда вышел кандидатом.

На вечерах у Станкевича выпивалось страшное количество чаю и съедалось страшное количество хлеба. Станкевич любил и знал музыку. Иногда мы певали всем хором; общей студенческой нашей песнью были стихи Хомякова из его трагедии «Ермак»: *«За туманной горой»*[5] — и проч. Станкевич был большой мастер передразнивать. Однажды как-то, днем, на своей квартире, передразнивал он Каченовского, и в это самое время Каченовский проехал мимо, по улице. «Вот тебе раз,— сказал Станкевич,— не видал ли он?» — «Ничего, братец,— сказал Бодянский,— он подумал, что зеркало стояло». В те года только что появлялись творения Гоголя; дышащие новой небывалой художественностью, как действовали они тогда на все юношество, и в особенности на кружок Станкевича! Во время нашего студентства вышло *«Новоселье»,* альманах; там была повесть Гоголя «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»[6]. Помню я то впечатление, какое она произвела. Что может равняться радостному сильному чувству художественного откровения? Как освежало, ободряло оно души всех! Как само постепенное появление изданий гениального художника оживляло, двигало общество! Рад я, что испытал и видел все это.

Станкевич ценил очень верно и тонко художественность Гоголя, особенно в безделицах. Вскоре после выхода его и моего из университета Станкевич достал как-то в рукописи *«Коляску»* Гоголя, вскоре потом напечатанную в «Современнике»[7]. У Станкевича был я и Белинский; мы приготовились слушать, заранее уже полные удовольствия. Станкевич прочел первые строки: «Городок Б. очень повеселел с тех пор, как начал в нем стоять кавалерийский полк»... и вдруг нами овладел смех, смех несказанный; все мы трое смеялись, и долго смех не унимался. Мы смеялись не от чего-нибудь забавного или смешного, но от того внутреннего веселья и радостного чувства, которым преисполнились мы, держа в руках и готовясь читать Гоголя. Наконец смех наш прекратился, и мы прочли с величайшим удовольствием этот маленький отрывок, в котором, как и в других созданиях Гоголя, и полнота и совершенство искус-

ства. Станкевич читал очень хорошо; он любил и комическую сторону жизни и часто смешил товарищей своими шутками.

Помню я нашу шумную аудиторию, помню это веселое товарищество, это юношество, не справляющееся ни о роде, ни о племени, ни о богатстве, ни о знатности, не хлопочущее о манерах, а постоянно вольно себя выражающее. Множество молодых людей вместе слышит в себе силу, волнующуюся неопределенно и еще никуда не направленную. Иногда целая аудитория во 100 человек, по какому-нибудь пустому поводу, вся поднимет общий крик, окна трясутся от звука, и всякому любо: чувство совокупной силы выражается в эту минуту в общем громовом голосе. Почему не выразится оно иначе,— здесь не место говорить о том. Хорошо, что в наше время оно хоть темно чувствовалось, хоть так выражалось. Помню я, как однажды узнали, что Каченовский не будет. «Каченовский не будет!»— закричал один студент; «Не будет!» — подхватил другой; «Не будет!» — закричали несколько; «Не будет!» — загремела вся аудитория, и долго гремела. Кто-то вошел в калошах в аудиторию. Долой калоши, à bas, à bas!* Раздалось дружно, и вошедший поспешил скорее удалиться и скинуть калоши. Однажды Морошкин, читая в политическом отделении, находившемся под нами, услыша такой гром, сострил, сказав, что грому прилично быть на Олимпе, а не на Парнасе. Юридическое отделение в наше время называлось политическим и было очень плохо; «словесники» питали великое презрение к «политикам».

Не могу не рассказать про один смешной случай, бывший на лекции у Надеждина. Он как-то вздумал сделать репетицию и стал нас спрашивать, спросил и Бодянского, сидевшего на задней лавке. Бодянский поднялся и стал отвечать, как по книге, и при этом беспрестанно опускал глаза на стол. Студенты засмеялись. «Он по книге читает»,— заметили они друг другу. Надеждин, вероятно, услыхал это и сам, заметя книжный слог ответа, сказал, несмотря на свою деликатность: «Извините, господин Бодянский, мне кажется, вы по книге читаете».— «Нет»,— отвечал Бодянский и спокойно продолжал свой ответ. Надеждин, смотря на его опускающиеся глаза и слыша постоянно ровный книжный язык, сказал: «Извините меня, господин Бодянский, пожалуйте к кафедре». Бодянский замолчал, послышался стук и топот: это Бодянский приближал-

* Долой (*франц.*).

ся к кафедре, стал перед нею и с невозмутимым спокойствием продолжал свой ответ, точь-в-точь как на задней лавке. «Сделайте милость, извините меня,— сказал Надеждин,— прекрасно, прекрасно!»

Бодянский был одним из самых дельных студентов, серьезно занимался историей и теперь занимает в области науки всем известное почетное место.

Между нами были еще студенты того прежнего буйного склада, о которых мы знаем теперь только по преданию, как о старине. Таков был К., часто пьяный, буйный, производивший драки на улицах. У Шевырева была привычка, если кто зашумит на лекции, обратиться к лавкам и сказать: *а*? Раз как-то, при К., он тоже, обратясь к студентам, спросил: *а*? — «*Бе*»,— отвечал ему К. громогласно. Шевырев смутился и не сказал ни слова. Был у нас студент и другого рода, хохотун Ч., бравший два платка с собой на лекции: один — чтоб утирать нос, а другой — чтоб затыкать рот, когда начнет смеяться. Лекции у нас следовали без всяких промежутков, одна за другою, иногда продолжаясь шесть часов сряду. Это было очень утомительно. За Давыдовым следовал Каченовский, и студенты, зевая, спрашивали друг друга: что это, следствие ли Давыдова или предчувствие Каченовского.

Я перешел на третий курс. Станкевич, Строев, Ефремов, Красов, Бодянский вышли кандидатами, и аудитория наша опустела. Студенты из первого курса перешли на второй, но из них не было никого особенно замечательного. Замечательнее других был Сазонов, перешедший из другого отделения и принадлежавший к кружку Герцена, кружку совершенно иного склада, чем кружок Станкевича, кружку, любившему тогда эффекты и картинность. Сазонов был человек умный, но фразер и эффектер; он старался со мною сблизиться, желая сделать из меня прозелита*, чего ему, однако, не удалось.

Сазонов считался первым студентом; я, кажется, вторым; насколько справедлива была такая оценка, это другой вопрос. Сазонов точно был человек очень образованный, очень много читавший, впрочем преимущественно французских писателей; но в особенности он умел ловко себя держать, умел придавать себе вес. Я помню, случилось, что он не знает того, о чем его спрашивает профессор, отвечает, ошибается, но все это с таким чувством собственного достоинства, с такой уверенностью в себе, что и профес-

* Обратить в веру (*древнегреч.*).

сору казалось, что Сазонов прекрасно отвечает. Если профессор поправлял явную ошибку Сазонова, Сазонов соглашался на дело, ему совершенно известное, но о котором он, странно в самом деле, как будто позабыл...

Во время наше, каждый месяц, в субботу кажется, заставляли студентов всходить на кафедру и читать что-то вроде лекции. Дело это не пошло, и на этом не настаивали. Кажется, произошло такое учреждение после чтения лекций при министре, чтения, крайне неудачного. Зная, что будет такое чтение, Ив. Ив. Давыдов заранее взял свои меры и сказал некоторым студентам приготовиться, в том числе и мне. Впрочем, на меня, кажется, он мало надеялся. В назначенный день явился министр, в сопровождении многочисленных посетителей. Вызван был Толмачев, взошел на кафедру и сильно сразился. За ним вышел С., врал немилосердно, только и слышалось: *нуменон, феноменон.* Уваров пустился с ним в рассуждение и, когда С. окончил свое вранье, сказал, что, по крайней мере, С. говорил *свое;* а тот, подходя к нам, выговорил только: «Посмотри-ка, как я вспотел». После двух таких неудач очередь дошла до меня; я должен был читать о лирической поэзии. Сконфузившись сильно, я не вдруг заговорил; да надо было и сообразить сперва, что говорить, ибо я не ожидал, что буду читать лекцию. Уваров сказал: «Вы конфузитесь, я отодвинусь в сторону». Я наконец заговорил. Уваров приписал это тому, что он отодвинулся. Кое-как продолжал я жалкую лекцию, говорил о Державине, о том, что он не чуждался простонародных слов, и привел стихи:

Ретивый конь, осанку горду
Храня, к тебе порой идет;
Крутую гриву, жарку морду
Подняв, храпит, ушми прядет[8].

«Где же тут простонародное слово?» — спросил меня Уваров. «Морда»,— отвечал я ему. Он был очень доволен. Лекция окончилась; других чтений, сколько помню, не было. Студенты говорили, что я еще хорошо прочел; но я знал, что весьма плохо.

В 1835 году праздновали день основания университета, ровно 20 лет тому назад; мне было семнадцать лет...

Пришло 12 января 1835 года. Круглая зала в боковом правом строении старого университета была уставлена креслами и стульями; кафедра стояла у стены. Зала наполнилась университетскими властями, профессорами и посе-

тителями; во глубине ее толпились студенты. Кубарев читал латинскую речь, конфузясь и робея так, что шпага его тряслась. Наконец он кончил; я взошел на кафедру. Вначале я смутился и читал невнятно. Наконец смущение прошло, я громко читал свои стихи, и, обратясь к своим товарищам, прочел с одушевлением:

И вместе мы сошлись сюда,
С краев России необъятной,
Для просвещенного труда,
Для цели светлой, благодатной!
Здесь развивается наш ум
И просвещенной пищи просит;
Отсюда юноша выносит
Зерно благих полезных дум.
Здесь крепнет воля, и далекий
Видней становится нам путь,
И чувством истины высокой
Вздымается младая грудь!

Я видел, как на них подействовало чтение. Только я окончил стихи,— раздались дружные рукоплескания профессоров, посетителей и студентов... Товарищи мои были в самом деле очень довольны...

Когда мы перешли на третий курс, на первый курс вступило много молодых людей из так называемых аристократических домов; они принесли с собою всю пошлость, всю наружную благовидность и все это бездушное приличие своей сферы, всю ее зловредную светскость. Аристократики сшили себе щегольские мундирчики и очень ими были довольны, тогда как студенты доселе старались как можно реже надевать свое форменное платье. Аристократики пошли навстречу требованиям начальства. От нас не требовали форменных шинелей, и мы носили партикулярные; новые студенты сшили себе сейчас форменные шинели; начальство это утвердило и стало требовать форменных шинелей. Мы являлись только в публичных местах в форме, во всех других местах, даже на больших балах и на улице, мы носили партикулярное платье; аристократики появились в своих щегольских мундирчиках всюду; начальство было довольно и стало требовать постоянного ношения формы. Мы продолжали ходить по-прежнему, и я знаю, что нас уже не хотели трогать, а ждали, пока мы выйдем из университета. Сурово смотрели старые студенты на этих новых поклонников форменности, предвидели беду и держали себя с ними гордо и далеко. Вся эта молодая щегольская ватага наводняла нашу словесную аудиторию

во время лекций Надеждина, которому поручено было на третьем курсе читать логику, которую обязан был слушать и первый курс. Мы не пускали к себе на лавки этих модников, от которых веяло бездушием и пустотой их среды. Прежде русский язык был единственным языком студентским; с этих пор начал раздаваться в аудитории язык французский. Недаром было наше враждебное чувство; пошлая форменность, утонченная внешность — завладели университетом и принесли свои гнилые плоды.

Перед самым нашим выходом из университета Надеждин оставил профессорство, и мы: я, Сазонов, Толмачев, Дм. Топорнин — поднесли ему кубок. Мы явились на сей раз в полной форме, желая придать делу торжественность.

Между тем приблизились выпускные экзамены. Они сошли благополучно. На экзамене Давыдова, бывшем ввечеру, я, отвечав, должен был написать тут же нечто вроде сочинения; я написал и подал. Голохвастов принялся читать и потом подозвал меня. «Аксаков, как это вы написали *нынче?* Разве это можно?» — спросил он. «Отчего же нет,— отвечал я,— слово вполне русское».— «Но этого нельзя писать».— «Да отчего же? Ведь мы говорим это слово». Голохвастов обратился к Давыдову, который отвечал тем, что спросил меня: «Разве вы слышали с кафедры такое слово?» — «Не помню,— отвечал я,— но слово тем не менее законно».— «Как вы думаете, Иван Иванович,— сказал Голохвастов,— ведь это показывает упадок языка?» Спор продолжался; и я, желая прекратить его и идти домой, сказал: «Ну, хорошо, я вам уступаю это слово». Сказавши это, я пошел от них. «Jl est bien bon,il nous céde»*,— сказал мне вслед Голохвастов. Наконец экзамены окончились, и я вышел кандидатом...

---

* Он очень любезен, он нам уступает (*франц.*).

Буслаев Ф. И.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

I

В июле месяце 1834 г. отправился я из Пензы в Москву держать экзамен в университет... Мне только что минуло 16 лет 13 апреля, и я был совсем еще маленьким мальчиком, и голос у меня был совсем ребяческий. Вырастал я уже потом, в течение всего четырехлетнего университетского курса...

Сколько возможно, я успокоился, углубившись в приготовление к экзамену, хотя глухая тревога и тяжело лежала на сердце, а тревожиться было от чего: во-первых, как раз с 1834 г. были назначены приемные экзамены строгие, и их требованиям не могли удовлетворить мои познания, полученные в пензенской 4-классной гимназии, а во-вторых,— и это самое главное,— для меня настоятельно необходимо было выдержать экзамен не для того, чтобы только поступить в университет, а чтобы обеспечить самое свое существование, т. е. быть принятым в число казеннокоштных студентов, и притом как можно скорее. Не выдержи я экзамена, мне пришлось бы в Москве помереть с голоду, а о возвращении в Пензу нечего было и думать без копейки в кармане.

В наличности было у меня тогда всего 25 рублей ассигнациями, по-теперешнему 8 рублей с копейками; этого едва хватало на два месяца за квартиру со столом. Экзамен был для меня только средством для достижения этой цели, и грозная мысль о существовании заслоняла в моих думах заботы об экзамене. Это было для меня какое-то смутное время, и я решительно ничего не помню, как я пришел в первый раз в стены университета и к кому явился подать просьбу о допущении меня к экзамену, и как потом справлялся, в какие дни и часы будет он назначен, и, таким образом, будто проснувшись от тяжелого сна, я вдруг очутил-

ся на первом экзамене в большой аудитории, наполненной толпой незнакомых мне юношей.

Этой аудиторией была тогда в старом здании университета та большая библиотечная зала, в которой десятки лет происходили публичные заседания Общества любителей российской словесности. Экзаменующиеся разместились по лавкам, расставленным в несколько рядов против окон, а впереди на пустом пространстве стояло четыре или пять столиков в расстоянии один от другого, и за каждым по экзаменатору; они сидели задом к окнам.

Решительно не помню, с какого предмета я начал свой экзамен и как я продолжал его и довел до конца; не помню также и того, что меня спрашивали и как я отвечал. Все это осталось в моей памяти какими-то темными пятнами, из-за которых ярко выступает одно великое для меня событие, которое, как я глубоко убежден, решило судьбу моего экзамена.

И теперь, когда я это рассказываю, живо представляется мне во всех подробностях, как я стою у столика, а передо мною сидит профессор богословия Петр Матвеевич Терновский, с окладистой бородою и строгими взорами — он казался мне тогда таким величественным и недоступным,— и слушает, как я ему рассказываю довольно подробно какое-то событие из Священной истории. В это самое время подходит к нему молодой человек лет 30 в форменном фраке, остановился, посмотрел на меня и стал слушать, что я говорю. Его добрый, снисходительный взгляд точно приласкал меня, воодушевил, и я продолжал рассказывать с такой искренностью, с таким убеждением, которыми я будто хотел ответить на дружеское приветствие старого знакомого. Когда я кончил, молодой человек спросил меня, откуда я родом и где учился. Отвечая ему, я назвал своих учителей и между прочим упомянул о Касторе Никифоровиче Лебедеве. Мне показалось, что его взгляд вдруг просветлел и легкая улыбка мелькнула по чертам лица. Он отвечал, что Кастора Никифоровича хорошо знает, и своим задушевным голосом сказал мне: «Если что вам понадобится, приходите ко мне». Когда я с радостью возвратился на скамейку к товарищам, мне сказали, что я говорил с Михаилом Петровичем Погодиным.

Да, это был первый луч радости, осветивший меня по приезде моем в Москву.

При содействии Михаила Петровича, я благополучно

выдержал экзамен, а в сентябре, при его же содействии, был принят в число казеннокоштных студентов.

II

Общежитие наше называлось не бурсою, как принято в семинариях, и не институтом, как были тогда дворянский и педагогический институты, а просто казенными нумерами. Помещалось в них по комплекту полтораста человек, и именно сто студентов медицинского факультета и пятьдесят философского, разделявшегося тогда на два отделения — на словесное и физико-математическое. Нумеров было около пятнадцати, одни, подряд, для медиков, а другие, тоже подряд, для остальных пятидесяти студентов.

Наше общежитие занимало весь верхний этаж так называемого старого здания Московского университета, в отличие от нового, в котором теперь читаются лекции и которое тогда еще не было готово. Лекции читались в том же старом здании под нашими нумерами, и только с 1835 г. были переведены они в новое.

К нам наверх было два входа: один с парадного крыльца, через обширные сени, которыми в последнее время входили в университетскую библиотеку, а другой — со стороны заднего двора, с правого угла здания.

В нумерах мы проводили весь день и вечер до 11 часов, а спать уходили в дортуары, которые были значительно больше наших нумеров и находились в правом крыле университетского здания, если смотреть со стороны Моховой. Нумера и спальни размещались по обе стороны коридора, который тянулся по всему зданию от левого крыла, выходившего на Никитскую, и до правого. Между дортуарами и нумерами была большая зала, в которую мы, проснувшись, выходили умываться. Вдоль стен ее стояли сплошные гардеробные шкафы с нашим бельем и платьем, а посередине — две громадные посудины. На каждой в виде огромного самовара или паровика резервуар для воды, которую умывающийся добывал, поднимая и спуская вложенный в отверстие ключ.

Таких ключей в посудине было не менее десяти, так что в самое короткое время успевали умываться все полтораста студентов. Здесь же цирюльники брили усы и бороду более пожилым из нас или, точнее, более совершеннолетним, на которых, озираясь назад от той машины во время умы-

ванья, мы взглядывали с уважением и особенно когда бреемый вскрикивал и давал пощечину брадобрею. Это осталось особенно живо в моей памяти, потому что случалось почти ежедневно, так как подрядчик-цирюльник обыкновенно командировал к нам неумелых мальчишек, чтобы напрактиковать их в бритье.

Нумер, в котором я жил в течение всех четырех лет университетского курса, занимал задний угол здания с окнами на Никитскую и на задний двор университета, где и теперь еще находится сад, в котором мы обыкновенно гуляли и, сидя на скамейках, читали книги или заучивали свои лекции.

Пить чай, обедать и ужинать мы спускались в нижний этаж, в громадную залу, в которой за столами, расставленными в два ряда, могли свободно разместиться мы все в числе полутораста человек.

Чтобы не пропускать ничего, надобно прибавить, что в том же верхнем этаже, при наших номерах, находились еще две комнаты, одна побольше, для нашей библиотеки, так сказать, фундаментальной, с книгами более дорогими и многотомными, а другая поменьше с одним окном, выходящим на задний двор с садом — для карцера. С тех пор как явился к нам попечителем граф Сергей Григорьевич Строганов, в 1835 г., вместе с инспектором Платоном Степановичем Нахимовым, комнатка эта навсегда оставалась пустой. Но в первый год моего студенчества... в ней приключилась великая беда.

Карцер помещался как раз над большой аудиторией первого курса, находящейся под упомянутой выше библиотечной залой, с окнами также на задний двор. Дело было осенью. Лекцию читал Степан Петрович Шевырев, на кафедре, стоящей в стене между окнами. Мы со своих лавок слушали и смотрели на профессора и в окна. Вдруг направо за окном мгновенно пролетела какая-то темная, длинная масса и вместе с тем раздался страшный, раздирающий душу вопль. Мы все повскакали со скамеек. Степан Петрович опрометью бросился с кафедры, и все мы вместе с профессором стремглав ринулись из аудитории на заднее крыльцо (дверь на него из больших сеней теперь уже заделана). Налево от него, на каменном помосте лежал ничком человек в солдатской шинели, не шелохнувшись; около него уже суетилось человека три из университетской прислуги, поворачивая его навзничь. Он был уже мертв, с окровавленным и изуродованным лицом. Это был казеннокоштный

студент, накануне посаженный в карцер за то, что был мертвецки пьян, а на другой день в 12 часов дня бросился из окна, как и почему — осталось неизвестным. Тотчас же вслед за этой катастрофой было приказано в это окно вставить железную решетку.

Живя в своих нумерах, мы были во всем обеспечены и, не заботясь ни о чем, без копейки в кармане, учились, читали и веселились вдоволь. Нашему довольству завидовали многие из своекоштных. Все было казенное, начиная от одежды и книг, рекомендованных профессорами для лекций, и до сальных свечей, писчей бумаги, карандашей, чернил и перьев с перочинным ножичком. Тогда еще перья были гусиные и надо было их чинить. Без нашего ведома нам менялось белье, чистилось платье и сапоги, пришивалась недостающая пуговица на вицмундире. В нумере помещалось столько студентов, чтобы им было не тесно. У каждого был свой столик (конторки были заведены уже после). Его доска настолько была велика, что можно было удобно писать, расставив локти; под доской был выдвижной ящик для тетрадей, писем и всякой мелочи, а нижнее пространство со створчатыми дверцами было перегорожено полкой для книг; можно было бы класть туда что-нибудь и съестное или сласти, но этого не было у нас в обычае, и мы даже гнушались такого филистерского хозяйства. Если случалось что купить съестного, мы предпочитали истреблять тут же или на улице.

В нашем нумере был только один запасливый студент, из математиков. Он как-то ухищрялся экономить свои сальные свечи и таким образом держал в своем столике всегда порядочный их запас и ссужал того из нас, у кого не хватало свечи.

Столики были расставлены аршина на два с половиной друг от друга вдоль стен, но так, чтобы садиться лицом к окну, а спиною ко входной двери, ведущей в коридор. Вдоль глухой стены помещался широкий и очень длинный диван с подушкой, обтянутой сафьяном, так, чтобы двое могли улечься врастяжку головами врозь, не толкая друг друга ногами. Над диваном висело большое зеркало. Впрочем, не помню, чтобы кто-нибудь из нас интересовался своей личностью и любовался на себя в зеркало...

В помещении, где с утра и до поздней ночи собрано до десятка веселых молодых людей, никакими предписаниями и стараниями нельзя водворить надлежащую тишину и спокойствие. У нас в нумере не выпадало ни одной минуты,

в которую пролетел бы над нами тихий ангел. Постоянно в ушах гам, стукотня и шум. Кто шагает взад и вперед по всему нумеру, кто бранится со своим соседом, а то музыкант пилит на скрипке или дудит на флейте. Привычка — вторая натура, и каждый из нас, не обращая внимания на оглушительную атмосферу, усердно читал свою книгу или писал сочинение. Так привыкают к мельничному грохоту, и самая тишина в природе, по учению древних философов, есть не что иное, как сладостная гармония бесконечно разнообразных звуков. Я не отвык и до глубокой старости читать и писать, когда кругом меня говорят, шумят и толкутся.

Для сношений с начальством по нуждам товарищей и для каких-либо экстренных случаев в каждом нумере выбирался один из студентов, который назывался старшим. Он же призывался к ответу и за беспорядок или шалость, выходящие из пределов дозволенного. Последние два года до окончания курса старшим студентом был назначен я.

Ближайшим начальством нашим был дежурный субинспектор. Тут же из коридора был для него небольшой кабинет, нечто вроде канцелярии, так что во всякое время каждый студент мог обратиться к нему со своим делом.

Наши дни и часы были подчинены строгой дисциплине. Мы вставали в семь часов утра, в восемь пили в столовой чай с булками, а в девять отправлялись на лекции, возвращались в два часа и в половине третьего обедали, а в восемь ужинали, в одиннадцать ложились спать. Кто не обедал или не ужинал дома, должен был предварительно уведомить об этом дежурного субинспектора, а также испросить у него разрешение переночевать у родных или знакомых с сообщением адреса, у кого именно.

Кормили нас недурно. Мы любили казенные щи и кашу, но говяжьи котлеты казались нам сомнительного достоинства, хотя и были сильно приправлены бурой болтушкой с корицей, гвоздикой и лавровым листом. Из-за этих котлет случались иногда за обедом истории, в которых действующими лицами всегда были медики. Дело начиналось глухим шумом; дежурный субинспектор подходит и спрашивает, что там такое; ему жалуются на эконома, что он кормит нас падалью. Обвиняемый является на суд, и начинается расправа, которая обыкновенно ни к чему не приводила. Хорошо помню эти истории, потому что и мне, и многим другим из нас они очень не нравились по грубости и цинизму.

Впрочем, эти мелочи заслоняются передо мной одним тяжелым воспоминанием, которое соединено со стенами нашей столовой. Был один медик уже последнего курса, можно сказать, пожилой в сравнении с нами, словесниками, среднего роста, с одутлым лицом и густыми рыжеватыми бакенбардами, даже немножко лысый. Фамилии его не припомню. Приходим мы обедать, и только что расселись по своим местам,— на пустом пространстве между столами появилась фигура в солдатской шинели и медленными шагами, понурив голову, стала приближаться. Это был тот самый студент. Мы были взволнованы и потрясены неожиданным впечатлением жалости и горя, потому что хорошо понимали весь ужас этого шутовского маскарада. Медленно и тихо прошел он далее и сел у окна за маленьким столиком, назначенным для его обеда.

За большие проступки наказывали тогда студентов солдатчиной. На первый раз, в виде угрозы и для острастки другим, виновный только облекался вместо вицмундира в солдатскую сермягу и как бы выставлялся на позор; если же потом снова провинится, ему брили лоб. Само собою разумеется, рассказанный случай мог произойти только в первый год моего пребывания в университете при князе Сергее Михайловиче Голицыне, который был попечителем только для парада; всеми же делами по управлению округа заведовал Дмитрий Павлович Голохвастов. Тогда зачастую слышалась угроза солдатчиной, и спустя много лет после того мерещилось мне иногда во сне, что мне бреют лоб и я надеваю на себя солдатскую амуницию...

Описывая топографию нашего общежития, я должен присовокупить, что целую половину дня, свободную от лекций, мы проводили не в нумерах, а в трактире. Он назывался «Железным», потому что помещался над лавками, в которых и теперь торгуют — насупротив Александровского сада... Содержал его купец Печкин. Для нас, студентов, была особая комната, непроходная, с выходом в большую залу с органом, или музыкальной машиной. Не знаю, когда и как студенты завладели этой комнатой, но в нее никто из посторонних к нам не заходил; а если, случайно, кто и попадал из чужих, когда комната была пуста, немедленно удалялся в залу. Вероятно, мы обязаны были снисходительному распоряжению самого Печкина, который таким образом был по времени первым из купечества покровителем студентов и, так сказать, учредителем студенческого общежития. В той комнате мы читали книги и журналы, готови-

лись к экзамену, даже писали сочинения, болтали и веселились и особенно наслаждались музыкой «машины», а собственно из трактирного продовольствия пользовались только чаем, не имея средств позволить себе какую-нибудь другую роскошь. Впрочем, когда мы были при деньгах, устраивали себе пиршество: спрашивали порции две или три, разделяя их между собою по частям.

Особенную привлекательность имел для нас трактир потому, что там мы чувствовали себя совсем дома, независимыми от казеннокоштной дисциплины, а главное, могли курить вдоволь; в здании же университета это удовольствие нам строго воспрещалось. Чтобы соблюдать экономию, мы приносили в трактир свой табак, покупая его в лавочке, и то не всегда целой четверкой, а только ее половиной, отрезанной от пакета. И чай пили экономно: на троих, даже на четверых и пятерых спрашивали только три пары чаю, т. е. шесть кусков сахару, и всегда пили вприкуску несчетное количество чашек, и потому с искусным расчетом умели подбавлять кипяток из большого чайника в маленький с щепоткою чая. С того далекого времени и до сих пор я не иначе пью чай, как вприкуску, только не такой жиденький. Разумеется, многие из нас были без копейки в кармане, а все же каждый день ходили в трактир и пользовались питьем ча́я и куреньем. Всегда у кого-нибудь из нас оказывался пятиалтынный на три пары. Сверх того, нам поверяли и в долг.

Чувство благодарности заставляет меня сказать, что кредитором нашим в этом случае был не сам Печкин и не его приказчик Гурин, заведовавший этим трактиром, а просто-напросто половой нашей трактирной комнаты по имени Арсений (он называл себя «Арсентием», и мы его звали так же), ярославский крестьянин лет тридцати пяти, среднего роста, коренастый, с русыми волосами, подстриженными в скобку, и с окладистой бородой того же цвета, с выражением лица добрым и приветливым. Он был грамотный, интересовался журналами, какие выписывались в трактире, и читал в них не только повести и романы, но даже и критики — и особенно пресловутого барона Брамбеуса[1]. И жена Арсентия, в деревне, тоже была грамотна и учила своих малых детей читать и писать. Арсентий был нам и покорный слуга, и усердный дядька, вроде тех, какие еще водились тогда в помещичьих семьях. Только что мы появимся, тотчас же бежит он за непременными тремя парами и вслед за тем непременно преподнесет номер журнала,

в котором вчера еще не была дочитана нами какая-нибудь статья; а если вышел новый номер, тащит его нам прежде всех других посетителей трактира и преподносит, весело осклабляясь.

В финансовом отношении значительно отличались казеннокоштные студенты двух младших курсов от старших: первые пробавлялись немногими рублями, изредка получаемыми от родителей или родственников, а последние могли добывать очень крупные, в наших глазах, суммы от уроков; медики же, кроме того, промышляли и практикой.

Кто бы из товарищей по нумеру ни получил денег, это событие доставляло общую радость всем нам, и особенно ближайшему другу счастливого получателя. И вот начинается забавная и трогательная процедура получения присланной суммы. Из университета надо идти на Мясницкую в почтамт с повесткой; но ведь там толкотня, народу гибель, как раз вытащат из кармана драгоценный конверт. Надо идти вдвоем, и получатель, под охраной своего товарища, выносит из толпы пять или много десять рублей ассигнациями. Теперь новая забота: ассигнация слишком крупна для издержек, надо ее теперь же разменять. Для этой цели мы обыкновенно заходили в трактир, что наискосок против почтамта, и там уже не требовали обычных трех пар, а съедали целую порцию чего-нибудь на целый двугривенный или на четвертак.

Рассказываю все эти мелочи для того, чтобы дать вам понятие, как лишения и нужда, давая цену избытку, воспитывали в нас способность распоряжаться своими средствами, отдавать в них себе отчет и, довольствуясь малым, быть счастливыми.

Впоследствии, с третьего и даже со второго курса, мы, как сказано, стали богатеть и могли уже позволять себе некоторую роскошь, а именно, соединяя приятное с полезным, иной раз, как говорится, покутить не в одиночку, а всегда в товариществе, не забывая при этом излишек суммы употребить на приобретение любимых книг; так, напр., будучи уже на втором курсе, я купил себе на французском языке «Эрнани» Виктора Гюго и на немецком «Фауста» Гете.

...На университетском дворе, направо у самых ворот, выходящих в Долгоруковский переулок, стояло тогда невысокое каменное здание, которое было занято квартирою ректора университета Болдырева, профессора арабского и персидского языков, очень доброго и всеми уважаемого. Он,

тогда человек уже пожилой, очень любил молодого профессора эстетики Надеждина и дал ему помещение у себя, а Надеждин, в свою очередь, в одной из своих комнат держал при себе Белинского, впоследствии ставшего знаменитым критиком, а тогда не более как студента, который, не кончив университетского курса, был сотрудником и правою рукою Надеждина, издававшего в то время журнал «Телескоп». Особенное удобство для этого издания состояло в том, что оно тут же, в стенах этого корпуса, и подвергалось цензуре, так как ректор Болдырев был вместе и цензором.

Однажды вечером приходим мы в «Железный», опрометью бежит к нам Арсентий и вместо трех пар чаю подносит нам номер «Телескопа». «Вот,— говорит,— вчера только что вышел: прелюбопытная статейка, все ее читают, удивляются; много всякого разговора». Это была знаменитая статья Чаадаева[2]. Мы, разумеется, тотчас же принялись ее читать...

Дней через десять после этого у нас в нумерах разнесся слух, что «Телескоп» запрещен и что ректору и Надеждину грозит великая беда...

Не замедлила из Петербурга и грозная резолюция по этому делу: Болдырева, как дурака, отрешить от службы, Надеждина, как мошенника, сослать из Москвы, а Чаадаева, как сумасшедшего, держать под строгим надзором, приставив к нему двух полицейских врачей для наблюдения за его здоровьем...[3]

III

...Надобно сказать несколько слов об аудиториях, где слушали мы лекции. Первые два года они были в старом здании университета, и для словесного отделения — те самые две залы, о которых я уже говорил вам в начале моих воспоминаний, т. е. одна, где производился еще вступительный экзамен, и другая, под ней, где читал нам лекцию Шевырев, когда несчастный студент бросился из окна карцера на землю. Последняя назначалась для первого курса, а первая — для двух старших (студентов четвертого курса тогда еще не было). В 1835 г. было окончено перестройкой новое здание университета, и последние два года мы слушали лекции уже в нем. Нам дана была большая словесная аудитория, именно та самая, в которой потом в течение многих лет и я, будучи профессором, читал лекции своим слушателям.

Сколько всего было тогда в университете студентов, наверное сказать не могу, чтобы не ошибиться в целой сотне, а считались они в то время еще не тысячами, как теперь, а только сотнями...

Несмотря на однообразие мундирной формы, общий состав студентов отличался большею разрозненностью от того сплошного уровня, какой представляет теперь студенческая корпорация. Наглядное доказательство этому можете составить вы сами, когда я познакомлю вас с формой печатных студенческих списков по всем четырем факультетам. Каждый список разделялся на три рубрики, с особым заглавием для каждой. Первая рубрика: казеннокоштные студенты, вторая — своекоштные студенты и третья — слушатели. Обратите внимание: в последней рубрике уже «не студенты», а только «слушатели», но это не то, что теперь называется «вольными слушателями»: лица этой рубрики имеют право носить студенческий мундир и ходить на лекции, но студентами быть не могут потому, что с этим званием соединен известный чин, а они по закону не могли иметь на него права, потому что принадлежали к податному сословию и числились в нем до тех пор, пока не выдержат окончательного экзамена. Таким образом, мещанин или купец (за исключением почетного гражданина) только с приобретением звания действительного студента или кандидата получал увольнение из податного сословия и уровнивался в правах со всеми своими товарищами по университету. Впрочем, и то сказать, что между «податными» слушателями были больше мещане, так как купцы, по крайней мере у нас в Москве, смотрели тогда на университет недоверчиво и косо и даже боялись его для своих сыновей, чтобы они в студентах не «обофицерились». Сверх того, отделение казеннокоштных студентов под особую рубрику от своекоштных постоянно бросалось в глаза и университетскому начальству, и профессорам, и самим студентам, и невольно напоминало о контрасте между неимущими и имущими, или, по крайней мере, между бедными и богатыми.

Согласно такому порядку вещей, само собою приходилось и в рубрике своекоштных отличать разночинцев от столбовых дворян и вообще незнатных от знатных.

Этому делению по сословиям и состоянию соответствовало и яркое различие, и пестрота в костюмах, когда мы явились на вступительный экзамен и потом в течение некоторого времени, пока мы еще не успели нарядиться в студенческий вицмундир. На бедняках из разночинцев и ме-

щан по большей части сюртуки разных покроев и всевозможных цветов: кто в длиннополом и широком, сшитом на рост или с чужого плеча, кто в коротеньком и узком, засаленном, надтреснутом по швам, с явными признаками, что напяливший на себя эту оболочку давно уже вырос из нее и руками, и ногами, и всем корпусом. Богатые и знатные — в черных курточках и непременно в голландских широких воротничках, спускающихся на плечи, гладких и белых, как снег, и потому мелькавших светлыми пятнами по серому фону остальной толпы.

Пущему нарушению уровня вступающих в университет помогало значительное их различие по летам и возрасту: мальчикам-гимназистам (тогда у них формы не было) и подросткам в курточках годились бы чуть не в отцы совершеннолетние богословы, которые по окончании курса в семинарии, вместо дьяконства и священничества, избирали себе университетскую науку.

Ко всему сказанному я должен прибавить об одной характеристической особенности, которой резко отличались от всех прочих своих товарищей некоторые из студентов высшего сословия. Таких было в нашей аудитории человек пять-шесть. В течение всего первого года каждый из них являлся в университет в сопровождении своего гувернера или воспитателя, который оставался тут же в аудитории на всех лекциях. Эти спутники своих питомцев помещались не на скамьях вместе со студентами, а на стульях по обеим сторонам кафедры. В полуденную смену, в промежуток между лекциями, столпившись у окна близ кафедры, они завтракали, вынимая из кармана куски белого хлеба. Этот, по-теперешнему странный и невозможный, обычай туторского надзирательства никому из нас не бросался в глаза неуместностью; он был в порядке вещей, когда дозволялось поступать в университет без аттестата «зрелости», и забота родителей о своих несовершеннолетних студентах казалась тогда делом самым естественным и необходимым. Я нарочно медлю на этой оригинальной особенности, чтобы дать вам почувствовать атмосферу тогдашнего университета, ввести вас в его обстановку, столь необычайную для теперешних нравов. Эти охранительные проводники студентов в аудиториях, неудобопонятные и немыслимые в конце XIX века, требуют для своего объяснения стольких же комментариев, как Вергилий, которого Дант взял себе тоже в проводники, когда заблудился в дремучем лесу на пути своей жизни...[4]

...Наше студенчество от 1834 г. по 1838 г. было настоящей эрою, которая отделяет древний период истории Московского университета от нового, и, как нарочно, это была именно самая середина нашего четырехгодичного курса. По ту сторону этой грани старое здание университета, старые профессора с патриархальными нравами и обычаями и такая же старобытная администрация, доведенная к концу до самоуправства, а по эту сторону — новое здание университета, отмеченное и на его фронтоне 1835 годом, целая фаланга новых и молодых профессоров...

...Поэт Жуковский. Я видел его в первый и последний раз в большой словесной аудитории нового здания, на лекции Степана Петровича Шевырева о греческих лириках и в особенности о Пиндаре и Анакреоне. От этой лекции осталась в моей памяти одна курьезная подробность. Вошедши в аудиторию вместе с профессором, Жуковский не сел на кресло у кафедры, а направился к передней скамье и как раз к тому ее краю, на котором сидел я. Надобно вам сказать, что у наших скамеек для каждого студента было отдельное сиденье, которое, как у кресел, набито мочалом и покрыто кожей, и каждое помещалось в свою перегородку, вдвигаясь в нее и выдвигаясь. Когда я посторонился, чтобы дать Жуковскому свое место, он, садясь на подушку, которая несколько выдвинулась из перегородки, покачнулся и тихонько сказал мне: «Как бы тут не провалиться».— «Не опасайтесь,— отвечал я,— надобно только покрепче двинуть сиденье»,— и помог ему это сделать, а Шевырев между тем не начинал своей лекции, пока мы усаживались.

IV

Теперь перехожу к профессорам. Мне легче было объяснить вам, как обновился наш университет перемещением аудиторий из старого здания в новое и заменой старой администрации новой. Тут самые предметы резко отделялись друг от друга, как полосы различного цвета. Иное дело с профессорами: в их среде обновление происходило в большей постепенности и не в одинаковой значительности по разным факультетам. Сверх того, старое поколение профессоров, в силу преемственного развития, само собой шло к усовершенствованию, так что в наше время оно давало представителей трех разрядов: отживающего, среднего и молодого. Это вы сейчас увидите из перечня

профессоров, который я ограничиваю нашим факультетом.

В старшем поколении к первому разряду относятся профессора с самого начала нашего столетия. Как люди, отжившие свой век, они удивляли и забавляли нас своей оригинальностью и разными причудами, вместе с патриархальной простотой в их обращении со студентами, которым они обыкновенно говорили «ты», и переходили на «вы» только с теми, на кого сердились. Вот два милых образчика таких старожилых чудаков.

Профессор греческой литературы Ивашковский. Он являлся всегда в высоких ботфортах и в белом галстуке. Студенты, ожидая его лекцию, непременно должны были все до одного ходить взад и вперед по аудитории, так чтобы Ивашковский незаметно вошел в нее и незаметно же смешался с толпой, будто на толкучем рынке. Сохраняя такое инкогнито, он, разумеется, никому не кланялся, и мы не должны были замечать его присутствия...

Другой такой же оригинал был профессор политической экономии и статистики Измаил Алексеевич Щедритский. Мы очень любили его за доброту и снисходительность к нам и за его простодушное патриархальное обращение с нами на «ты». Свои лекции он читал нам вместе с юристами. Один из последних, детина ражий, веселого нрава, но осанистый и с внушительными манерами, по фамилии Соловьев, пользовался особым вниманием и расположением Щедритского. Этот студент имел обычай, как бы узаконенный давностью, являться к нам, когда Щедритский уже сидел на кафедре и читал нам свою лекцию. Соловьев входил в аудиторию в фуражке и с толстой палкой, которой, подпираясь, стучал, и, подойдя к кафедре, останавливался, снимал фуражку, отвешивал низкий поклон и провозглашал густым басом: «Измаилу Алексеевичу мое глубокое почитание». Щедритский, привыкнув к этой церемонии, ласково взглянет на него и кивнет ему головой и станет продолжать лекцию только тогда, когда совершится процесс усаживания Соловьева на одной из передних скамеек, стоявшей направо от кафедры; садиться же он привык, как всем было известно, не иначе, как только на самой середине скамейки, и для того находившиеся на ней студенты, чтобы дать ему место, слезали с нее, топая ногами, и потом размещались по обе его стороны. В аудитории водворялся порядок, и Соловьев, ни разу не шелохнувшись, в величественном спокойствии, любовался на Измаила Алексеевича до самого конца лекции. Поэтому, вероятно, этот милый

старичок и любил его, что видел в нем одного из своих усердных слушателей...

Назову вам еще одного из представителей университетской старины. Это был Михаил Трофимович Каченовский. Некогда знаменитый ученый и журналист, не щадивший своей едкой критикой ни Шлецера, ни Карамзина, ни даже самого Пушкина, в наше время отживал или, точнее сказать, совсем отжил свой век и, будучи ректором университета после злосчастного, как вам известно, Болдырева, читал нам на четвертом курсе вместе с третьим историю литературы славянских наречий по немецкому учебнику Шафарика. Он был уже тогда глухой и почти слепой: вдаль кое-как видел, но читать мог только в очках, которые, помогая ему вблизи, застилали перед ним в тумане все окружающее, и, чтобы увидеть нас с кафедры, он должен был снимать с носа свои очки, что производил он довольно медленно, осторожно вытаскивая их из-за ушей. Таким образом мы, сидя на лавках перед самой кафедрой, были для него отделены как бы темной завесой. Всякий раз Каченовский приносил с собой шафариков учебник, разлагал его на кафедре и старческим дряблым голосом с передышкой, подстрочно переводил немецкую речь на русские слова. Монотонность такого чтения с неизбежными паузами, когда переводишь экспромтом, наводила на нас томительную скуку, и тем больше потому, что нам самим хорошо была знакома эта немецкая книга; но мы терпели по необходимости и боялись отсутствовать на лекции. Каченовский и без того всегда отличался строгостью, а в то время, будучи ректором, требовал от нас неукоснительного исполнения своих обязанностей и для того выдал приказание, чтобы перед каждой его лекцией дежурный субинспектор делал нам перекличку по списку и отмечал на нем отсутствующих, для доклада ректору. Нам ничего не оставалось более делать, как всем сполна приходить на лекцию, сидеть смирно и для развлечения каждому читать свою книгу. Это продолжалось недолго; мы нашли выход из такого стеснительного положения.

...Мы не переставали уважать Каченовского, как беспощадного скептика, посягавшего на достоверность Несторовой летописи, и сильно боялись его, как взыскательного профессора и строгого ректора; но самое уважение и боязнь должны были возбудить в нас молодецкую отвагу бравировать на его лекциях, спасаясь от нестерпимой скуки разными потехами, но так, чтобы не нанести ему лично ни

малейшего оскорбления и не навлечь на себя его справедливой кары. От всего этого нас спасала слабость его зрения и слуха, и мы забавлялись на скамейках перед самой его кафедрой, будто отделенной от него каменной стеной. Это была своего рода игра в жмурки или в кошку и мышку, а еще лучше — игра кипучих сил юности, которые иногда бьют и через край.

Шаловливые забавы наши имели вид театральных представлений, соединяющих в себе как бы мимику с музыкой, если только крик и грохот можно отнести к музыкальному роду. Для этих представлений были, как следует, и зрители, которые своим вниманием и одобрением поощряли нас и воодушевляли. Но чтобы объяснить их присутствие, я должен ориентировать вас на месте действия. Тем из вас, кто не бывал в большой словесной аудитории, надобно знать, что дверь в нее находится у самого угла, образуемого наружной стеной с окнами и внутренней глухой, с приставленной к ней кафедрой на самой ее середине. В этой-то двери и собирались наши зрители и могли вдоволь любоваться на наши проделки. То были студенты других факультетов, и преимущественно юристы...

Теперь перехожу ко второму, или среднему, поколению, представителем которого будет для нас Иван Иванович Давыдов...

Нам он читал, на третьем и четвертом курсах, теорию словесности по руководству Блера, которое он старался перестроить на новых основаниях философии Шеллинга, по «Эстетике» его ученика Аста, и, сверх того, дополнил примерами из русской и из иностранных литератур. Эти лекции, нами тогда составленные со слов Давыдова и по его программам, он издал в двух томах и присовокупил к ним третий[5], содержащий в себе сочинение Августа-Вильгельма Шлегеля о драматической поэзии, в сокращенном переводе Лавдовского... В предисловии к первому тому переименованы мы все, как участники в составлении этого издания...

Из чтений Ивана Ивановича живее сохранились в моей памяти три эпизода, выходившие из рамок общей системы курса. Такие отступления на лекциях были тогда в обычае и у других профессоров, когда они чувствовали потребность поделиться с нами тем, что в данную минуту их особенно интересовало.

Один из эпизодов состоял в риторическом разборе предисловия Карамзина к его «Истории государства Россий-

ского». Разбор этот тогда произвел на меня сильное впечатление авторитетной строгостью в неукоснительном преследовании нелогического сопоставления и порядка мыслей при неточности их выражения, как в отдельных словах, так и в оборотах речи; но и теперь на основании этого мастерского опыта полагаю, каким образцовым инспектором и директором учебных заведений мог быть Иван Иванович Давыдов.

Другой его эпизод был далеко не так удачен. В то время прогремел в литературе и публике некий Бенедиктов своими звонкими и фигуристыми стихотворениями, которые как раз совпали с появлением вычурной прозы Марлинского, еще не совсем заглохшей тогда благодаря господствовавшему у нас в тридцатых годах шовинизму. Увлекшись прелестью новизны и громкой молвой, Иван Иванович сгоряча ускорил поделиться с нами своим восторгом и принес на лекцию стихотворения Бенедиктова; прочитал из них несколько выдержек и превознес новоявленного поэта чуть не до уровня с самим Пушкиным. Но бенедиктовский пустоцвет не продержался и одного года, завял и был выброшен за окно. К чести Давыдова я должен сказать, что он настолько уважал себя, что откровенно сознавался в своем увлечении.

Третий эпизод заслуживает особенного внимания, свидетельствуя о примерном педагогическом такте, с каким Давыдов умел пользоваться подходящим случаем для умственного развития и усовершенствования своих слушателей.

Чтобы приобрести степень доктора, профессор Петербургского университета Никитенко напечатал небольшую книжку и с успехом защитил ее тезисы[6]. Теперь не помню ни ее заглавия, ни содержания, только хорошо знаю, что в ней говорилось вообще об изящных искусствах, о прекрасном, о поэзии, при полнейшем отсутствии положительных фактов. Давыдов раздал нам несколько экземпляров этого сочинения и, когда мы внимательно прочли его, устроил для нас в своей аудитории, так сказать, «примерный» диспут, в таком же смысле, в каком маневры примерно изображают сражение. Профессор, укрепившись на кафедре, стойко защищал позицию, а мы врассыпную громили крепость со всех сторон и разнесли ее в пух и прах.

И по образованию своему, а может быть, и по врожденной склонности, Давыдов решительно предпочитал философское умосозерцание разрабатыванию фактических мелочей и, как философ, ограничивая свои лекции

теорией словесности, вовсе и не занимался историей литературы.

...Теперь приступаю к третьему отделу преподавателей, относящихся, как уже сказано, к тому периоду, который предшествует появлению у нас новых профессоров, воротившихся из Германии с новым запасом сведений и с новыми порядками университетского преподавания. Из этого третьего отдела буду говорить только о Надеждине, Шевыреве и Погодине.

Из трех названных профессоров начну с Николая Ивановича Надеждина, потому что могу сказать о нем очень немного. В моей памяти он представляется молодым человеком среднего роста, худеньким и чернявым, с вдавленной грудью, с большим и тонким носом и с темными волосами, гладко спускающимися на высокий лоб. Читая лекцию, он всегда зажмуривал глаза, точно слепой, и беспрерывно качался, махая головой сверху вниз, будто клал поясные поклоны, и это размахивание гармонировало с его размашистою речью, с бойкой, рьяной, цветистой и искрометной, как горный кипучий поток. Его лекции эстетики, хотя и не богатые содержанием, привлекали толпы слушателей из всех четырех факультетов, и особенно медиков. Собственно нам, первокурсникам, он читал логику по руководству шеллингиста Бахмана, очень толково, понятливо и ясно...

В первый год университетского обучения Шевырев читал нам вместе с юристами, так сказать, приготовительный курс, имевший двоякое назначение: во-первых, по возможности уравнять сведения поступивших в университет прямо из дому или из разных учебных заведений, казенных и частных, с неустановившеюся еще для них всех одинаковой программой обучения и, во-вторых, теоретически и практически на письменных упражнениях укрепить нас в правописании и развить в нас способность владеть приемами литературного слога.

В лекциях этого курса Шевырев знакомил нас с элементами книжной речи в языке церковнославянском и русском, отличая в нем народные или простонародные формы от принятых в разговоре образованного общества. С этой целью он читал и разбирал с нами выдержки из летописи Нестора по изданию Тимковского, из писателей XII века и из древнерусских стихотворений по изданиям Калайдовича, из «Истории» Карамзина, из произведений Ломоносова, Державина, Жуковского и особенно Пушкина. При этом

вдавался в разные подробности из книги Шишкова о старом и новом слоге[7], из заметок Пушкина о русском народном языке. Все это, низведенное теперь в программу средних учебных заведений, было тогда свежей новостью на университетской кафедре...

Эти лекции Шевырева производили на меня глубокое, неизгладимое впечатление, и каждая из них представлялась мне каким-то просветительным откровением, дававшим доступ в неисчерпаемые сокровища разнообразных форм и оборотов нашего великого и могучего языка. Я впервые почуял тогда всю его красоту и сознательно полюбил.

. . . .

Приготовительный курс, о котором идет речь, был читан Шевыревым в первый раз именно нам. А начал он свои лекции в Московском университете историей иностранных литератур: еврейской и индийской.

На первом же курсе с не меньшим интересом прочел я обстоятельную монографию о Данте и его «Божественной комедии», представленную Шевыревым в факультет для снискания права читать лекции в Московском университете[8]. Уже тогда я пленился великим произведением Данте, и в течение всей моей жизни было оно любимым для меня чтением в часы досуга и наконец сделалось предметом моих многосторонних исследований, когда по поводу шестисотлетнего юбилея Данте читал я студентам лекции о нем и о его времени целые три года сряду[9].

До Шевырева в нашем университете читалась только теория словесности вроде упомянутого мною курса Давыдова. Степан Петрович обновил кафедру этого предмета историей литературы, сначала только иностранной, а потом уже при нас и русской...

Из иностранной литературы Шевырев читал нам историю греческой поэзии...

Нам же первый раз стал читать Шевырев в Московском университете историю русской литературы, как и тот приготовительный курс. Готовясь к своим лекциям, он сам постепенно разрабатывал источники русской старины и народности по рукописям, старопечатным книгам, народным песням и преданиям.

Неослабный интерес, возбуждаемый в профессоре неустанными открытиями в новой, еще вовсе не разработанной, области науки действовал на нас обаятельной свежестью воодушевления. По крайней мере мне чудилось,

будто мы идем по только что проторенным путям в непроходимых лесах и дебрях, по следам отважного проводника, который на каждом шагу открывает нам все новые и новые сокровища родной земли. В этих лекциях Степан Петрович уже пользовался знаменитым собранием русских песен, которое принадлежало Петру Васильевичу Киреевскому...[10]

...Михаил Петрович Погодин на первом курсе читал нам из всеобщей истории о религии, политике, торговле, о нравах и обычаях древних народов, по известному сочинению Герена (Heeren)[11]. Именно тогда я живо почувствовал и оценил великое значение народного быта, на разработку которого в пределах русской земли я посвятил большую часть моих ученых работ[12].

Лекции Погодина я постоянно записывал с его слов и каждую старательно и любовно составлял, пользуясь добытым из университетской библиотеки немецким оригиналом...

Лекции по Герену, составленные студентами, Погодин напечатал, и в эту-то книгу попала частица и моей работы, самая ранняя и первая проба пера, удостоившаяся печати[13].

На старших курсах Погодин читал нам уже настоящий свой предмет — историю России...

Погодину же я обязан великой благодарностью и за то, что он первый научил меня читать и разбирать наши старинные рукописи, во множестве собранные в его так называемом древлехранилище, которое помещалось тогда в собственном его доме, на Девичьем поле. Эти занятия мои начались вот по какому случайному поводу. Знаменитый чешский ученый Шафарик для своих филологических работ имел надобность в точной копии с одной из самых древнейших наших рукописей, которая находилась в древлехранилище. Это была хорошо известная специалистам Толковая Псалтырь XI века, так называемая Евгениевская, по имени митрополита Евгения, которому прежде принадлежала. Погодин поручил мне снять эту копию. Работа оказалась для меня в высокой степени полезной и была не особенно трудна, потому что древняя рукопись составляет только малую часть всей Псалтыри. В пособие для справок он снабдил меня старопечатным текстом и ныне принятым исправленным.

Одновременно с этой работой он познакомил меня на образцах по оригиналам с разными почерками старинного

письма: с уставным, полууставным и со скорописью, мудреные завитки которой учил разбирать меня по складам.

Таким образом мое университетское обучение разделялось по двум местностям: в аудитории и в погодинском древлехранилище. Сказанного почитаю достаточным, чтобы дать вам понятие о моей безграничной благодарности Михаилу Петровичу за все, чем я обязан его попечениям и заботам о моем образовании в продолжение всех четырех лет студенчества, начиная, как вы уже знаете, с самого поступления моего в университет и с водворения в казеннокоштном общежитии. Он же... был для меня руководителем в первых опытах моих на широком пути журнальной литературы.

Новый период в истории Московского университета, как сказано, начинается вместе с появлением к нам молодых профессоров, получивших свое образование за границей, преимущественно в Германии. Это были: на нашем факультете Печерин, Крюков и Чивилев; на юридическом Крылов, Баршев и Редкин; на медицинском — Анке, Армфельд, Иноземцев, Филомафитский и еще кто-то, не припомню, а на математическом, кажется, никого. Во избежание недоразумений, спешу предупредить, что несколько других профессоров той же категории появились в Московском университете, когда мы уже кончили курс. А именно: на нашем факультете Меншиков, Бодянский и Грановский, на юридическом — Лешков, на математическом — Спасский и Драшусов.

Профессор греческого языка (ни имени его, ни отчества не припомню) был совсем молодой человек, самый юный из всех прибывших с ним товарищей, небольшого роста, быстрый и ловкий в движениях, очень красив собой, во всем был изящен и симпатичен, и в приветливом взгляде, и в мягком, задушевном голосе, когда, объясняя нам Гомера и Софокла, он мастерски переводил их стихи прекрасным литературным слогом. Но, к несчастью, мы пользовались его высокими дарованиями и сведениями очень недолго, менее года. Он вдруг исчез из университета и из Москвы, а куда девался — никто не знал. Так и простыл его след. Спустя года два-три дошел до меня слух, будто он где-то за границей учительствует или гувернерствует в какой-то фамилии — русской или иностранной, неизвестно.

Потом, спустя много лет, кто-то говорил мне, что нашего Печерина видели в одеянии католического монаха, помнится, в Бельгии[14].

Вскоре по исчезновении Печерина его заменил выписанный из Германии немецкий ученый по фамилии Гофман, еще молодой человек, высокий, дебелый и румяный, с длинными русыми волосами, ниспадавшими на плечи, милый чудак с замашками наивного бурша. По-русски он не говорил ни слова и переводил с нами греческих классиков на латинской язык. В летописях Московского университета его имя связано с одной катастрофой, наделавшей много шума по всей Москве...

Профессор римской словесности Дмитрий Львович Крюков был немножко постарше Печерина и, как он, такой же любезный и изящный, но в его приветливом обращении с нами чувствовалась сдержанность снисходительного величия, а изяществу манер, голоса и речи и всей своей осанке умел он придавать некоторый лоск щеголеватости, которая, в пределах строгого приличия, не нарушает достоинства чистокровного джентльмена. Он был среднего роста, блондин, с наклонностью к полноте, но здоровой и свежей, румяный и белый, как кровь с молоком; отличительную черту его лица составлял высокий и широкий лоб, а глаз из-под очков было не видать.

Вскоре по приезде его из-за границы между нами распространилась о нем внушительная репутация ученого автора, напечатавшего в Германии книгу на немецком языке, под псевдонимом «Pellegrino»[15], итальянская благозвучность которого так согласовалась с его щеголеватой изящностью. Ни содержания, ни даже названия этой книги теперь не припомню; знаю только, что это была монография по какому-то очень специальному вопросу из истории римского быта.

Из лекций Крюкова помню, что он заставил меня полюбить Тацита и особенно Горация, к которому симпатию я вынес еще из пензенских уроков Орлова. Сам же Дмитрий Львович предпочитал из всех римских писателей Тацита и в последние годы своей недолгой жизни переводил его «Анналы» на русский язык, старательно обогащая и усовершенствуя свой слог внимательным чтением наших старинных мемуаров, государственных грамот и договоров, посланий и летописей, не говоря уже об историках, начиная от Щербатова и до «Пугачевского бунта» Пушкина.

На четвертом курсе читал он нам римские древности

на латинском языке. Этот предмет так заинтересовал меня, что в дополнение к нему я посещал лекции Крылова по истории римского права. Сверх того, мне желательно было познакомиться со взглядами знаменитого юриста Савиньи, о котором так много говорилось в то время. Когда перевели нас на четвертый курс, то профессора, привыкнув излагать свой предмет в пределах трехлетнего срока, нашли возможным расширить объем своего преподавания практическими занятиями студентов на этом курсе, разделив нас по специальностям на три отделения: на классическое, историческое и славяно-русское. Таким образом для нас же впервые были введены в Московском университете так называемые семинарии, но, кажется, это нововведение только и ограничилось одними нами. После нас семинарии не продолжались, и были вновь сформированы уже много лет спустя.

Я избрал себе отделение славяно-русское. Давыдов дал мне для изучения так называемую «Общую грамматику» известного французского филолога Дю-Саси в немецкой переделке Фатера, с дополнениями из немецкого языка. Эту книгу я перевел всю сполна и добавил грамматические подробности Дю-Саси и Фатера русскими и церковнославянскими. Мой перевод был одобрен факультетом для напечатания, но остался в рукописи...[16]. А для Шевырева я составил систематический свод грамматик: Смотрицкого, Ломоносова, академической, больших, или полных, грамматик Греча и Востокова и церковнославянской Добровского[17] Над обеими этими работами я трудился весь год и по мере изготовления приносил на лекции, что успевал сделать в неделю, для доклада тому или другому из моих наставников. Таким образом, благодаря этим практическим занятиям я достаточно был вооружен сведениями, необходимыми по тому времени для всякого доброкачественного учителя русского языка.

В конце мая 1838 года я окончил университетский курс.

Ключевский В. О.

Ф. И. БУСЛАЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ[1]

Что сделал Буслаев для изучения русской истории? Задав себе этот вопрос, я прежде всего вспомнил свои студенческие годы. Я уверен, так поступит каждый ученик Буслаева, когда спросит себя, что сделал он для его отрасли знания, для избранной им науки, если она входила в обширную область научного ведения, в пределах которой трудился Буслаев.

И я думаю, что это — недаром. Теперь в этой обширной области у нас трудится много работников, и большею частью благодаря Буслаеву. Складывается значительная литература предмета. Первые, элементарные сведения по этому предмету, сообщаемые профессором и даже гимназическим учителем, суть только наиболее признанные в этой литературе положения науки. В этом случае профессор и учитель — только ученые посредники между литературой и аудиторией или классом.

Тридцать пять лет назад, когда я начал в Московском университете слушать Буслаева, положение дела было совсем иное. Большая часть того, что он повторял в аудитории из печатного, была недавно напечатана им же самим. Многое, что он сообщал своей аудитории, студент узнавал раньше читателя. Буслаев был не посредник между своей аудиторией и литературой своего предмета, а первый поставщик той и другой. Ученикам его часто приходилось первым усвоять его идеи, новые факты, приемы их изучения и потом проводить их в преподавании, частной беседе, даже в литературе. Но всякий ученик Буслаева по роду своих дальнейших занятий может с достаточной полнотой и глубиной оценить его как ученого, взвесить его значение в той науке, которой посвящена была его ученая деятельность. Но в личных воспоминаниях каждого о том, как он

учился у Буслаева, могут найтись черты, впечатления и замечания, которые пригодятся для изображения того, как усвоялись и распространялись ученые взгляды Буслаева, как они отражались в преподавании и литературе,— словом, может оказаться пригодный материал хотя не для истории самой науки, то по крайней мере для истории русского просвещения.

С такими именно мыслями и обратился я к своим студенческим воспоминаниям, чтобы отдать себе отчет в значении Буслаева для изучения русской истории. Я вступил в Московский университет и стал слушать Буслаева в тот самый 1861 год, когда появились два тома его *Исторических очерков* русской народной словесности и искусства; в этом издании были собраны и приведены в некоторую систему исследования и характеристики, рассеянные в разных изданиях, с исправлениями и пополнениями. Не только специалист, но и простой образованный читатель мог по 34 «главам», точнее монографиям, этого обширного издания в связанном подборе следить за развитием основной мысли и метода исследователя. Но этим изданием далеко не завершилась ученая деятельность исследователя, а только очерчивался круг явлений, избранных им для изучения, намечалась программа и выяснялись задачи дальнейших работ. Когда я стал слушателем Буслаева, его ученая деятельность шла полным ходом. И после издания *Очерков* аудитория продолжала для него стоять впереди публики. Многие исследования, появлявшиеся потом в печати, составлялись из курсов, читанных им в университете. Будущая ученая биография Буслаева, конечно, выяснит связь его профессорской и авторской деятельности, восстановив отношение его печатных исследований к его университетским курсам: это отношение — вообще очень любопытное дело как для определения влияния университетского преподавания на нашу научную литературу, так и для истории русского просвещения, и биография профессора, так долго преподававшего и так много писавшего, как Буслаев, может пролить яркий свет на эту всеми живо чувствуемую и признаваемую, но еще далеко не выясненную связь университета с литературой.

Впрочем, как бы много ни писал профессор по своей науке, он не может перелить в свои сочинения всего своего преподавательского влияния. Воображаемая публика, от которой писатель отделен типографией и книжной лавкой, никогда не заменит аудитории, живьем присутствую-

щей прямо перед глазами преподавателя и возбуждающей его своим немым, но выразительным вниманием. Потому перу остаются недоступны многие средства действия, какими обладает живое слово. С кафедры идут дидактические и методологические впечатления, которые уносятся слушателями и которых печатный станок никогда не передает читателю. Но и эти неуловимые впечатления не пропадают бесследно в общем движении науки... И прежде всего мы обязаны Буслаеву тем, что он растолковал нам значение языка как исторического источника. Теперь это значение так понятно и общеизвестно; но тогда оно усвоялось с некоторым трудом, и не мной одним. Живо помню впечатление, произведенное на меня чтением статьи «Эпическая поэзия». Это было в 1860 или 1861 г.[2] Заглавие вызвало во мне привычные школьные представления об эпосе, «Магабарате», «Илиаде», «Одиссее», о русских богатырских былинах. Читаю и нахожу нечто совсем другое. Вместо героических подвигов и мифических приключений я прочитал в статье лексикографический разбор, вскрывший в простейших русских словах вроде *думать, говорить, делать* сложную сеть первичных житейских впечатлений, воспринятых человеком, и основных народных представлений о божестве, мире и человеке, какие отложились от этих впечатлений.

С течением времени, слушая Буслаева в аудитории и на квартире, читая сочинения его собственные и чужие, какие он нам указывал, вдумываясь в дело, мы постепенно входили в круг идей, внушавших совсем непривычное представление о содержании, границах и приемах изучения той отрасли знания, которую называют историей словесности.

В моей памяти, как и в студенческих заметках, уцелели следы того диалектического процесса, какой задавал Буслаев нашему мышлению и которым мы усвояли столь новые для нас воззрения. Может быть, вспомнить эти усилия студенческой мысли не будет лишним не для самой науки, конечно, а для истории университетского образования и для биографии Буслаева.

Первое и главное произведение народной словесности есть самое *слово*, язык народа. *Слово* — не случайная комбинация звуков, не условный знак для выражения мысли, а творческое дело народного духа, плод его поэтического творчества[3]. Это — художественный образ, в котором запечатлелось наблюдение народа над самим собой и над ок-

ружающим миром. В первых своих очертаниях этот образ заключился в корне слова. По мере накопления опыта и наблюдения, по мере осложнения впечатлений и отношений и первичный образ разрастается в *верование*, в идею божественной силы, незримо присутствующей в видимом мире, потом в миф, в представление о видимом, ощутительном проявлении этой незримой силы, в закон или житейское правило, устанавливаемое этим верованием и представлением, наконец, в обычай и предание, созидаемые верованиями, мифами и законами путем их передачи из поколения в поколение. Вместе с тем по мере развития понятий и отношений корни слов обрастали этимологическими и фонетическими новообразованиями; система грамматических форм, первичное коренное значение слова последовательно изменялось и разветвлялось, давая от себя сложную систему производных, складывалась синонимическая и омонимическая лексика, выражавшая оттенки и соотношение впечатлений и явлений и т. д. Так язык рос вместе с народной жизнью, и его история есть летопись этой жизни, и летопись художественная, своего рода эпопея, в поэтических образах отразившая народные верования, понятия, убеждения, обычаи и права в темную эпоху их зарождения.

Все это теперь кажется так просто и элементарно. Но усвоенные вовремя, эти элементарные сведения о строении языка и его отношении к жизни народа оказали нам потом неоценимую услугу. Немногим ученикам Буслаева пришлось по выходе из университета заниматься специально историей русского языка и литературы: из нашего выпуска 1865 г., если не ошибаюсь, никто не избрал этой специальности. Но многим из нас пришлось после иметь дело со старыми текстами, с памятниками древней письменности, и, сидя за ними, мы с благодарностью вспоминали и вспоминаем доселе уроки и советы Буслаева. Уча нас строению языка и его связи с народным бытом, он учил нас читать древние памятники, разбирать значение, какое имели слова на языке известного времени, сопоставлять изучаемый памятник с другими одновременными и посредством этого разбора и сопоставления приводить его в связь со всем складом жизни и мысли того времени.

Я не берусь говорить, что сделал он, собственно, для изучения словесности. Упомяну об этом только по связи с другою заслугой, оказанною им изучению русской истории. В изучении русской словесности он поставил новые

задачи и принял новый метод. Главным предметом его внимания была народность, и отрасль знания, на которой он сосредоточивал свои работы, он сам называл сравнительным изучением народности, этой новой наукой XIX в., по его выражению. Перемена, внесенная этою новою наукой в направление изучения словесности, состояла в том, что научный интерес от отдельных памятников личного творчества перенесен был на народную массу. Он подробно изложил эту перемену в начале своей монографии *Сравнительное изучение народного быта и поэзии.* «В прежнее время,— пишет он здесь,— главнейшие предметы для этой науки — язык, религия, начатки семейного и общественного быта, народная поэзия и обычное право... Все эти предметы должны быть изучаемы сравнительно. Необходимость такого изучения вытекает из открывающегося все явственнее факта первобытного сродства индоевропейской семьи народов и даже народов всего земного шара, т. е. сродства общечеловеческого»[4]. Сравнительная грамматика и сравнительная мифология языков индоевропейских, по его словам, привели к тем результатам... Материалы для такого изучения заключаются в разнообразных формах словесного творчества народа: краткие изречения, заговоры, пословицы, поговорки, клятвы, загадки, приметы, песни, сказки и пр.—все эти разрозненные члены эпического предания, в которых выражалось народное миросозерцание, в которых сказывалась народная душа и которых поэтому можно назвать источниками науки народной психологии. Но не одна устная словесность народа дает такие материалы: самородное творчество народа разорванными отзвуками западало и в письменную словесность. Восстановить связь между устной народной и письменной словесностью было задачей и заслугой Буслаева. В его ученом плане история литературы получала новый, научный склад и характер: из критико-библиографического обзора отдельных памятников письменности без внутренней связи, являвшихся более или менее удачными, но всегда случайными проявлениями личного творчества, история словесности превращалась в изображение течений литературного творчества с указанием их народных источников, картину стройного и последовательного развития народного духа и быта, насколько тот и другой отразился в памятниках устной и письменной словесности, и не только словесности, но и искусства. Для восстановления этой связи устной словесности с письменной Буслаев предпринял неутомимое и широкое изучение

обильного рукописного запаса, какой накопился в наших древлехранилищах, частных и общественных, и какой он сам мог найти на рынке старых книг и рукописей.

Это был другой общий источник как для истории русской словесности, так и для русской истории, и в изучение этого обильного и мало тронутого источника Буслаев внес большое оживление, даже, можно сказать, новое направление, благотворно отразившееся на успехах русской историографии вообще. Древнерусская письменность, почти исключительно духовная, церковная по своему содержанию, рассматривалась прежде как выражение нового христианского порядка жизни, какой строился на старой языческой почве русского народа. Этот порядок должен был стать на языческой почве, подавив в ней все корни и поросли языческой старины. Но предполагалось, что эта христианская письменность по положению письменного дела в древней Руси питала мысль и чувство только высших классов общества и, слабо действуя на простонародье, на эту старую языческую почву, ничего и от нее не заимствовала, была от нее изолирована. Она представлялась течением, шедшим поверх общенародной жизни, освещавшим ее, но за нее не зацеплявшимся. Из этой письменности опускалась на народную жизнь освежительная, но скоро высыхавшая роса, а по временам падали грозные обличения, но самый этот быт своими отношениями, повериями и чувствами не поднимался до высоты порядка, какой проводился в этой письменности. Так, например, в житиях русских святых история литературы черпала преимущественно образчики благочестия отдельных древнерусских людей. В этой-то письменности, в чуде жития, в набожной легенде, в миниатюре, которою украшались поля рукописей, даже в ином назидательном сказании Буслаев стал находить мотивы и образы чисто народного происхождения, как в пословице, загадке и т. п. Многие главы первого тома его *Исторических очерков* и весь второй том, носящий заглавие *Древнерусская народная литература и искусство,* посвящены изысканию этих народных мотивов и образов в древнерусской литературе. Можно сказать, что это — ряд монографий, дающих частичные ответы, прямые или косвенные, на один общий вопрос о влиянии народных поверий, мифов, понятий и обычаев на древнерусскую письменность. Оказалось, что течение, шедшее поверх старой русской жизни, не было совсем с ней разобщено, питалось и ее испарениями.

Так восстановлена была связь древнерусской письменности с ее туземными народными источниками. В содействии этому делу состояла несомненная научная заслуга Буслаева, частью испытанная мною на самом себе. Я помню, как оживился интерес к древнерусской рукописной литературе, и я раскрывал древнерусскую рукопись с нетерпеливой надеждой найти в ней свежие следы древнерусского народного бытия и мышления. Изучение древнерусской письменности оживилось потому, что расширилось и углубилось. В ней стали искать отражение не одних только идеалов, норм пришлого порядка, который водворялся на Руси и часто терпел неудачи, но и той среды, которая его медленно и не всегда понятливо воспринимала. Таким образом, по этой письменности стали изучать совместную работу новых культурных влияний и старых туземных сил, которые перерабатывались теми влияниями в культурные средства. Разумеется, и изучение письменности тем самым осложнилось, сделалось труднее: ее стало необходимо изучать в неразрывной связи и с народным бытом и мышлением.

Его эстетическая и патриотическая антипатия к искусственной литературе во имя самородной народной словесности не помешала его ученому беспристрастию помирить противниц и соединить их в единый цельный неисчерпаемый источник истории русской народной жизни — мысли и художественной фантазии...

Фет А. А.

ВОСПОМИНАНИЯ

Вдруг в конце декабря совершенно для меня неожиданно явился отец и сказал, что решено не оставлять меня в таком отдалении от родных, а везти в Москву для приготовления в университет...[1]

III

На другой день мы были уже в кибитке и через Петербург доехали в Москву. Здесь, по совету Новосильцева, я отдан был для приготовления к университету к профессору Московского университета, знаменитому историку М. П. Погодину[2].

В назначенный час я явился к Погодину.

Вместо всякого экзамена Михаил Петрович вынес мне Тацита и, снабдив пером и бумагой, заставил в комнате, ведущей к нему в кабинет, перевести страницу без пособия лексикона. Не знаю, в какой степени удовлетворительно исполнил я свою задачу; полагаю даже, что почтенный Михаил Петрович и не проверял моего перевода по оригиналу, но на другой день я вполне устроился в отдельном левом флигеле его дома.

Помещение мое состояло из передней и комнаты, выходящей задним окном на Девичье поле. Товарищем моим по комнате оказался некто Чистяков, выдержавший осенью экзамен в университет, но не допущенный в число студентов на том основании, что одноклассники его по гимназии, из которой он вышел, еще не окончили курса. Таким образом, жалуясь на судьбу, Чистяков снова принялся за Цицерона, «Энеиду» и исторические тетрадки Ивана Дмитр[иевича] Беляева, которого погодинские школьники прозывали «хромбесом» (он был хром), в отличие от ла-

тинского учителя Беляева, который прозывался «черненьким».

Когда последний в виде экзамена развернул передо мною наудачу «Энеиду» и я, не читая по-латыни, стал переводить ее по-русски, он закрыл книгу и, поклонившись, сказал: «Я не могу вам давать латинских уроков». И действительно, с той поры до поступления в университет я не брал латинской книги в руки. Равным образом для меня было совершенно бесполезно присутствовать на уроках математики, даваемых некоим магистром Хилковым школьникам, проживавшим в самом доме Погодина и состоявшим в ведении надзирателя немца Рудольфа Ивановича, обанкрутившегося золотых дел мастера. Рудольф Иванович к нам с Чистяковым вхож не был; но и у своих шаловливых и задорных учеников не пользовался особым вниманием и почетом.

Обедать и ужинать мы ходили в дом за общий стол с десятком учеников, составлявших погодинскую школу, в которой продовольственною частью занималась старуха мать Погодина, Аграфена Михайловна, отличавшаяся крайней бережливостью...

...Перед самым вступительным экзаменом вошел, прихрамывая, человек высокого роста, лет под 30, с стальными очками на носу, и сказал: «Господа, честь имею рекомендоваться, ваш будущий товарищ Иринарх Иванович Введенский»[3].

Оказалось, что он, чуть ли не исключенный за непохвальное поведение из Троицкой духовной академии, недавно вышел из больницы и, не зная, что начать, обратился с предложением услуг к Погодину. Михаил Петрович, обрадовавшись сходному по цене учителю, пригласил его остаться у него и помог перейти без экзаменов на словесный факультет. Не только в тогдашней действительности, но и теперь в воспоминании не могу достаточно надивиться на этого человека. Не помню в жизни более блистательного образчика схоласта. Можно было подумать, что человек этот живет исключительно дилеммами и софизмами, которыми для ближайших целей управляет с величайшей ловкостью...

И по переходе в университет Введенский никогда не ходил на лекции. Да и трудно себе представить, что мог

бы он на них почерпнуть. По-латыни Введенский писал и говорил так же легко, как и по-русски, и, хотя выговаривал новейшие языки до неузнаваемости, писал по-немецки, по-французски, по-английски и по-итальянски в совершенстве. Генеалогию и хронологию всемирной и русской истории помнил в изумительных подробностях. Вскоре он перешел в наш флигель...

— Михаил Петрович,— сказал я, входя, за несколько дней до вступительных экзаменов в университет к Погодину,— не зная ничего о формальных порядках, прошу вашего совета касательно последовательных мер для поступления в университет.

— И прекрасно делаете, почтеннейший. Идешь, надо узнать, к кому обратиться в университете: к сторожу или к его жене. А какой факультет?

— На юридический.

— Ну хорошо, я там секретарю скажу, а вы обратитесь к нему, и он вам все сделает.

Начались экзамены. Получить у священника протоиерея Терновского хороший балл было отличной рекомендацией, а я еще по милости Новосельских семинаристов был весьма силен в катехизисе[4] и получил пять. Каково было мое изумление, когда на латинском языке в присутствии главного латиниста Крюкова и декана Давыдова профессор Клин подал мне для перевода Корнелия Непота. Чтобы показать полное пренебрежение к задаче, я, не читая латинского текста, стал переводить и получил пять с крестом.

Из истории добрейший Погодин, помимо всяких Ольговичей, спросил меня о Петре Великом, и при вопросе о его походах я назвал ему поход к Азовскому морю, Северную войну, Полтавскую битву и Прутский поход.

Из математики я, к счастию, услыхал от добрых людей, что Дмитрий Матвеевич Перевощиков, спрашивая у экзаменующегося: «Что вы знаете?» — терпеть не мог утвердительных ответов и тотчас же доказывал объявившемуся знающим хотя бы четыре первых правила, что он ничего не знает. Предупрежденный, я сказал, что проходил до таких-то пределов и, удачно разрешив в голове задачу, получил четверку.

Таким образом, поступление мое в университет оказалось блестящим, и я до того возгордился, что написал

Крюммеру самохвальное письмо. В последний день экзаменов я заказал себе у военного портного студенческий сюртук, объявив, что не возьму его, если он не будет в обтяжку. Я знал некоторых, не менее меня гордых первым мундиром, как вывескою известной зрелости для научных трудов. Но мой восторг мундиром был только предвкушением офицерского, составлявшего мой всегдашний идеал. Независимо от того, что все семейные наши предания не знали другого идеала, офицерский чин в то время давал потомственное дворянство, и я не раз слыхал от отца по поводу какого-то затруднения, встреченного им в герольдии: «Мне дела нет до их выдумок; я кавалерийский офицер и потому потомственный дворянин».

В таких кавалерийских стремлениях надо, кажется, искать разгадки все более и более охватывавшего меня чувства отвращения к юридическому поприщу, на котором я вместо гусара видел себя крючкотворцем. И вот не прошло двух недель, как я появился у Погодина в кабинете со следующей речью:

— Михаил Петрович, не откажите еще раз в вашей помощи. Я ненавижу законы и не желаю оставаться на юридическом факультете, а потому помогите мне перейти на словесный.

— Вот, вот, подумаешь, у теперешней молодежи какие разговоры! «Ненавижу законы»! Что ж вы, почтеннейший, беззаконник, что ли? Ведь на словесный факультет надо додерживать экзамен из греческого.

— Буду держать, Михаил Петрович.

— Да ведь вам надо сильно дорожить университетом, коли вы человек без имени[5]. Я, почтеннейший, студентов у себя в доме не держу, но для вас делаю исключение до Нового года.

Добрейший профессор Василий Иванович Оболенский развернул мне первую страницу «Одиссеи», хорошо мне знакомую, и поставил пять. И вот я поступил на словесный факультет.

Когда минула горячая пора экзаменов и Введенский надел тоже студенческий мундир, мы трое стали чаще сходиться по вечерам к моему или медюковскому[6] самовару...

Познакомившись в университете, по совету Ив[ана] Дм[итриевича] Беляева, с одутловатым, сероглазым и светло-русым Григорьевым, я однажды решился поехать к нему в дом, прося его представить меня своим родителям.

Дом Григорьевых с постоянно запертыми воротами и

калиткою на задвижке находился за Москвой-рекой на Малой Полянке, в нескольких десятках саженей от церкви Спаса в Наливках. Приняв меня как нельзя более радушно, отец и мать Григорьева[7] просили бывать у них по воскресеньям. А так как я в это время ездил к ним на парном извозчике, то уже на следующее воскресенье старики буквально доверили мне свозить их Полонушку в цирк. До той поры они его ни с кем и ни под каким предлогом не отпускали из дому. Оказалось, что Аполлон Григорьев, невзирая на примерное рвение к наукам, успел, подобно мне, заразиться страстью к стихотворству; и мы в каждое свидание передавали друг другу вновь написанное стихотворение.

Свои я записывал в отдельную желтую тетрадку, и их набралось уже до трех десятков. Вероятно, заметив наше взаимное влечение, Григорьевы стали поговаривать, как бы было хорошо, если бы, отойдя к Новому году от Погодина, я упросил отца поместить меня в их доме вместе с Аполлоном, причем они согласились бы на самое умеренное вознаграждение[8].

Все мы хорошо знали, что Николай Васильевич Гоголь проживает на антресолях в доме Погодина, но никто из нас его не видал. Только однажды, всходя на крыльцо погодинского дома, я встретился с Гоголем лицом к лицу. Его горбатый нос и светло-русые усы навсегда запечатлелись в моей памяти, хотя это была единственная в моей жизни с ним встреча. Не будучи знакомы, мы даже друг другу не поклонились.

О своих университетских занятиях в то время совестно вспомнить. Ни один из профессоров, за исключением декана Ив[ана] Ив[ановича] Давыдова, читавшего эстетику, не умел ни на минуту привлечь моего внимания, и, посещая по временам лекции, я или дремал, поставивши кулак на кулак, или старался думать о другом, чтобы не слыхать тоску наводящей болтовни. Зато желтая моя тетрадка все увеличивалась в объеме, и однажды я решился отправиться к Погодину за приговором моему эстетическому стремлению.

— Я вашу тетрадку, почтеннейший, передам Гоголю,— сказал Погодин,— он в этом случае лучший судья.

Через неделю я получил от Погодина тетрадку обратно со словами: «Гоголь сказал, это несомненное дарование».

<...> Поддаваясь байроновско-французскому романтизму Григорьева, я вносил в нашу среду не только поэта-

мыслителя Шиллера, но, главное, поэта объективной правды Гете. Талантливый Григорьев сразу убедился, что без немецкого языка серьезное образование невозможно, и, при своей способности, прямо садился читать немцев, спрашивая у меня незнакомые слова и обороты. Через полгода Аполлон редко уже прибегал к моему оракулу, а затем стал самостоятельно читать философские книги, начиная с Гегеля, которого учение, распространяемое московскими юридическими профессорами с Редкиным и Крыловым во главе, составляло главнейший интерес частных бесед студентов между собою. Об этих беседах нельзя не вспомянуть, так как настоящим заглавием их должно быть *Аполлон Григорьев.* Как это сделалось, трудно рассказать по порядку; но дело в том, что со временем, по крайней мере через воскресенье, на наших мирных антресолях собирались наилучшие представители тогдашнего студенчества. Появлялся товарищ и соревнователь Григорьева по юридическому факультету, зять помощника попечителя Голохвастова Ал. Вл. Новосильцев, всегда милый, остроумный и оригинальный. Своим голосом, переходящим в высокий фальцет, он утверждал, что Московский университет построен по трем идеям: тюрьмы, казармы и скотного двора, и его шурин приставлен к нему в качестве скотника. Приходил постоянно записывающий лекции и находивший еще время давать уроки будущий историограф С. М. Соловьев. Он, по тогдашнему времени, был чрезвычайно начитан и, располагая карманными деньгами, неоднократно выручал меня из беды, давая десять рублей взаймы. Являлся веселый, иронический князь Влад[имир] Ал[ександрович] Черкасский, с своим прихихикиванием через зубы, выдающиеся вперед нижней челюстью. Снизу то и дело прибывали новые подносы со стаканами чаю, ломтиками лимона, калачами, сухарями и сливками. А между тем в небольших комнатах стоял стон от разговоров, споров и взрывов смеха. При этом ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов. Возникали одни отвлеченные и общие: как, например, понимать по Гегелю отношение разумности к бытию?

— Позвольте, господа, — восклицал добродушный Н. М. О-в[9],— доказать вам бытие божие математическим путем. Это неопровержимо.

Но не нашлось охотников убедиться в неопровержимости этих доказательств.

— Конечно,— кричал светский и юркий Жихарев,—

Полонский несомненный талант. Но мы, господа, непростительно проходим мимо такой поэтической личности, как Кастарев:

Земная жизнь могла здесь быть случайной,
Но не случайна мысль души живой.

— Кажется, господа, стихи эти не требуют сторонней похвалы.

— Натянутость мысли,— говорит, прихихикивая, Черкасский,— не всегда бывает признаком ее глубины, а иногда прикрывает совершенно противоположное качество.

— Это противоположное,— пищит своим фальцетом Новосильцев,— имеет несколько степеней: il y a de sots simples, des sots graves et des sots superfins*.

Что касается меня, то едва ли я был не один из первых, почуявших несомненный и оригинальный талант Полонского[10]. Я любил встречать его у нас наверху до прихода еще многочисленных и задорных спорщиков, так как надеялся услыхать новое его стихотворение, которое читать в шумном сборище он не любил. Помню, в каком восторге я был, услыхав в первый раз:

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...

Появлялся чрезвычайно прилежный и сдержанный С. С. Иванов, впоследствии товарищ попечителя Московского университета. С великим оживлением спорил, сверкая очками и темными глазками, кудрявый К. Д. Кавелин, которого кабинет в доме родителей являлся в свою очередь сборным пунктом нашего кружка.

Приходил к нам и весьма способный и энергичный, Шекспиру и в особенности Байрону преданный, Студицкий. Жаль, что в настоящее время я не помню ни одного из превосходных его стихотворных переводов еврейских мелодий Байрона. Вынужденный тоже давать уроки, он всем выхвалял поэтический талант одного из своих учеников, помнится, Карелина. Из приводимых Студицким стихов юноши, в которых говорится о противоположности чувств, возбуждаемых в нем окружающим его буйством жизни, я помню только четыре стиха:

---

* Бывают дураки простые, дураки важные и дураки сверхтонкие *(франц.)*.

Как часто внимая их песням разгульным,
Один я меж всеми молчу,
Как часто, внимая словам богохульным,
Тихонько молиться хочу.

Что Григорьев с 1-го же курса совершенно безнамеренно сделался центром мыслящего студенческого кружка, можно видеть из следующего случая. Григорьев был записан слушателем и в числе других был причиной неоднократно повторяемой деканом юридического факультета Крыловым остроты, что слушатели и суть действительные слушатели. Вспоминаю об этом, желая указать на то, что какой-то слушатель Григорьев не мог представлять никакого интереса в глазах властительного и блестящего попечителя графа Строганова. Между тем Аполлон был потребован к попечителю, который спросил его по-французски, им ли было написано французское рассуждение, поданное при полугодичном испытании? Оно так хорошо, прибавил граф, что я усомнился, чтобы оно было писано студентом, и на утвердительный ответ Григорьева прибавил: «Vous faites trop parler de vous; il fait vous effacer»*.

Наглядным доказательством участия, возбуждаемого Аполлоном Григорьевым в преподавателях, может служить то обстоятельство, что малообщительный декан Никита Иванович Крылов,— недавно женившийся на красавице Люб[ови] Фед[оровне] Корш, выходя с лекции, пригласил Аполлона в следующее воскресенье к себе пить чай. Конечно, Аполлон с торжеством объявил об этом родителям и вечером в воскресенье вернулся, обвороженный любезностью хозяйки и ее матери, приезжавшей на вечер с двумя дочерьми...[11]

С наступлением великого поста все бросились готовиться к переходным экзаменам. Принялся и я усердно за богословие Петра Матвеевича Терновского. Достал я себе также и усыпительные лекции его брата, Ивана Матвеевича, читавшего логику. При моем исконном знакомстве с катехизисом, мне нетрудно было подготовиться из догматического богословия, и я отвечал на четыре; но если бы меня спросили из истории церкви, то я бы не ответил даже на единицу. После счастливого экзамена по богословию я в присутствии профессора латинской словесности Крюкова, читавшего начиная со второго курса, экзаменовался из логики и, к несчастию, вынул все три билета из второй по-

* Вы заставляете слишком много говорить о себе, вам нужно стушеваться *(франц.)*.

ловины лекций, которой не успел прочитать. Услыхав на третьем билете мое: «И на этот не смогу ответить», он сказал: «А меня ваша четверка сильно интересует, и я желал бы, чтобы вы перешли на второй курс. Не можете ли чего-либо ответить по собственному соображению?» И когда я понес невообразимый вздор, экзаменаторы переглянулись и тем не менее поставили мне тройку. Любезные лекторы французского и немецкого языков поставили мне по пятерке, а Погодин, по старой памяти, тоже поставил четверку из русской истории. Таким образом я, к великой радости, перешел на второй курс...

С переходом на второй курс университетские занятия более специализировались. Юристы еще более подпали под влияние профессора Редкина, и имя Гегеля до того стало популярным на нашем верху, что сопровождавший по временам нас в театр слуга Иван, выпивший в этот вечер не в меру, крикнул при разъезде вместо: «Коляску Григорьева!» — «Коляску Гегеля!» С той поры в доме говорили о нем, как об Иване Гегеле. Не помню, кто из товарищей подарил Аполлону Григорьеву портрет Гегеля, и однажды до крайности прилежный Чистяков, заходивший иногда к нам, упирая один в другой указательные пальцы своих рук и расшатывая их в этом виде, показывал воочию, как борются «субъект» с «объектом». Кажется, что в то время Белинский не поступал еще в «Отечественные записки», как критик, и не открывал еще своего похода против наших псевдоклассических писателей. Не думая умалять его почина в этом деле, привожу факт, доказывающий, что поднятая им тема носилась в воздухе. Одно из величайших духовных наслаждений и представляет благодарность лицам, благотворно когда-то к нам относившимся. Не испытывая никакой напускной нежности по отношению к Московскому университету, я всегда с сердечной привязанностью обращаюсь к немногим профессорам, тепло относившимся к своему предмету и к нам, своим слушателям. Вследствие положительной своей беспамятности я чувствовал природное отвращение к предметам, не имеющим логической связи. Но не прочь был послушать теорию красноречия или эстетику у И. И. Давыдова, историю литературы у Шевырева или разъяснение Крюковым красот Горация. Вероятно, желая более познакомиться с нашей умственной деятельностью, И. И. Давыдов предложил нам написать критический разбор какого-либо классического произведения отечественной литературы. Не помню, досталось ли

мне или выбрал я сам оду Ломоносова на рождение порфирородного отрока, начинающуюся стихом:

Уже врата отверзло лето.

Помню, с каким злорадным восторгом я набросился на все грамматические неточности, какофонии и стремление заменить жар вдохновения риторикой вроде:

И Тавр и Ка̀вказ в Понт бегут[12].

Очевидно, это не было каким-либо с моей стороны изобретением. Все эти недостатки сильно поражали слух, уже избалованный точностью и поэтичностью Батюшкова, Жуковского, Баратынского и Пушкина. Удостоверясь в моей способности отличать напыщенные стихи от поэтических, почтенный Иван Иванович отнесся с похвалою о моей статье и, вероятно, счел преждевременным указать мне, что я забыл главное: эпоху, в которую написана ода. Требовать от Державина современной виртуозности, а у современных стихотворцев державинской силы — то же, что требовать от Бетховена листовской игры на рояле, а от Листа — бетховенских произведений.

Познакомился я со студентом Боклевским, прославившимся впоследствии своими иллюстрациями к произведениям Гоголя[13]. В то время мне приходилось не только любоваться щегольскими акварелями и портретами молодого дилетанта, но и слушать у него на квартире прелестное пение студента Мано, обладавшего бархатным тенором...

Об обычном возвращении в Москву на григорьевский верх говорить нечего, так как память не подсказывает в этот период ничего сколько-нибудь интересного. Во избежание нового бедствия с политическою экономией[14], я стал усердно посещать лекции Чивилева и заниматься его предметом.

В нашей с Григорьевым духовной атмосфере произошла значительная перемена. Мало-помалу идеалы Ламартина сошли со сцены, и место их, для меня по крайней мере, заняли Шиллер и, главное, Байрон, которого «Каин» совершенно сводил меня с ума. Однажды наш профессор русской словесности С. П. Шевырев[15] познакомил нас со стихотворениями Лермонтова, а затем и с появившимся тогда «Героем нашего времени»[16]. Напрасно старался бы я воспроизвести могучее впечатление, произведенное на нас этим чисто лермонтовским романом...

Однажды Ратынский, пришедши к нам, заявил, что

критик «Отечественных записок» Васил[ий] Петров[ич] Боткин[17] желает со мной познакомиться и просит его, Ратынского, привести меня... У Боткина я познакомился с Александром Ивановичем Герценом, которого потом встречал и в других московских домах. Слушать этого умного и остроумного человека составляло для меня величайшее наслаждение...

Но никакие литературные успехи не могли унять душевного волнения, возраставшего по мере приближения весны[18], святой недели и экзаменов. Не буду говорить о корпоративном изучении разных предметов, как, например, статистики, причем мы, студенты, сойдясь у кого-либо на квартире, ложились на пол втроем или вчетвером вокруг разостланной громадной карты, по которой воочию следили за статистическими фигурами известных произведений страны, обозначенными в лекциях Чивилева.

Но вот начались и самые экзамены, и сдавались мною один за другим весьма успешно, хотя и с возрастающим чувством томительного страха перед греческим языком. Мучительное предчувствие меня не обмануло, и в то время, когда Ап. Григорьев, радостный, принес из университета своим старикам известие, что кончил курс первым кандидатом, я, получив единицу у Гофмана из греческого языка, остался на третьем курсе еще на год.

Дома более или менее успешно я свалил вину на несправедливость Гофмана; но внутренно должен был сознаться, что Гофман совершенно прав в своей отметке, и это сознание, подобно тайной ране, не переставало ныть в моей груди...

...Обычная студенческая жизнь брала свое, невзирая ни на какие потрясения и внутренние перемены. К последним принадлежало окончание университетского учения Ап. Григорьевым, продолжавшим еще проживать со мною наверху полянского дома. Освободившись от сидения над тетрадками, Аполлон стал не только чаще бывать в доме Коршей, но и посещать дом профессора Н. И. Крылова и его красавицы жены, урожденной Корш. По привязанности к лучшему своему ученику, Никита Ив[анович] сам не раз приходил к старикам Григорьевым и явно старался выхлопотать Аполлону служебное место, которое бы не отрывало дорогого сына от обожавших его родителей. Как нарочно, секретарь университетского правления Назимов вышел в отставку, и, при влиянии Крылова в совете, едва окончивший курс Григорьев был выбран секретарем правления.

Радости стариков не было конца. Зато мне по вечерам приходилось оставаться одному, по причине отлучек Григорьева из дому.

...Можно было предполагать, что неуклонный посетитель лекций и неутомимый труженик Ап. Григорьев будет безукоризненным чиновником. Но на деле вышло далеко не то: списки, отчеты с своею сухою формалистикой, требующие тем не менее настойчивого внимания, не возбуждали в нем никакой симпатии, и совет университета вскорости пришел к убеждению в совершенной неспособности Григорьева исполнять должность университетского библиотекаря, на которое Крылов успел поместить Ап. Григорьева...

...Когда по окончании экзамена я вышел на площадку лестницы старого университета, мне и в голову не пришло торжествовать какой-нибудь выходкой радостную минуту. Странное дело! я остановился спиною к дверям коридора и почувствовал, что связь моя с обычным прошлым расторгнута и что, сходя по ступеням крыльца, я от известного иду к неизвестному[19].

Отправился я благодарить добрейшего Ст. П. Шевырева за его постоянное и дорогое во мне участие. Он оставил меня обедать и даже, потребовав у жены полбутылки шампанского, пил мое здоровье и поздравлял со вступлением в новую жизнь.

Был я и у Крюкова, который принял меня в постели и никак не мог понять моего намерения поступить на кавалерийскую службу...[20]

Полонский Я. П.

МОИ СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

В 1839 или годом раньше (не помню уже в точности) я отправился на ямской телеги из Рязани в Москву держать экзамен для поступления в Московский университет и ехал на одних и тех же лошадях около двух суток. В Москве смутно припоминается мне какой-то постоялый двор за Яузой и затем мое перемещение на Собачью площадку, в собственный дом моей двоюродной бабушки Екатерины Богдановны Воронцовой...

На экзаменах, в большой белой зале с белыми колоннами, в новом университетском здании, соседом моим по скамье был не кто иной, как Аполлон Александрович Григорьев.

Тогда он был еще свежим, весьма благообразным юношей с профилем, напоминавшим профиль Шиллера, с голубыми глазами и какою-то разлитой по всему лицу его восторженностью или меланхолией. Я тотчас же с ним заговорил, и мы сошлись. Он признался мне, что пишет стихи; я признался, что пишу драму (совершенно мною позабытую) под заглавием: «Вадим Новгородский, сын Марфы Посадницы». Григорьев жил за Москвой-рекой в переулке...

Жил он у своих родителей, которые не раз приглашали меня к себе обедать. А Фет, студент того же университета, был их постоянным сожителем, и комната его в мезонине была рядом с комнатой молодого Григорьева. Афоня и Аполлоша были друзьями. Помню, что в то время Фет еще восхищался не только Языковым, но и стихотворениями Бенедиктова, читал Гейне и Гете, так как немецкий язык был в совершенстве знаком ему (покойная мать его была немкой еврейского происхождения)[1]. Я уже чуял в нем истинного поэта и не раз отдавал ему на суд свои студенческие стихотворения[2], и досадно мне вспомнить, что я отда-

вал их на суд не одному Фету, но и своим товарищам и всем, кого ни встречал, и при малейшем осуждении или невыгодном замечании рвал их. Почему-то мне, крайне наивному юноше, казалось, что если стихи не совсем нравятся, то это и значит, что они никуда не годны. Раз профессор словесности И. И. Давыдов, которому отдал я на просмотр одно из моих стихотворений, под заглавием «Душа», совершенно для меня неожиданно, во всеуслышание, прочел его на своей лекции перед большим сборищем студентов, наполнявших не аудиторию, а зал, который превращался в аудиторию, когда студенты не одного факультета, а двух или трех собирались слушать одну и ту же лекцию. Я был и озадачен, и сконфужен публичным похвальным отзывом этого, далеко не всеми любимого, профессора. Какие же были последствия? После лекции окружила меня толпа студентов, и некто Малиновский, недоучившийся проповедник новых философских идей Гегеля, а потому и влиятельный, стал стыдить и уличать меня в подражании Кольцову. Кроме размера, как мне помнится, тут не было никакого подражания; но для меня и этого уже было достаточно, чтобы истребить и навсегда забыть эту небольшую, лирическую пьесу, и она канула в Лету.

Вскоре после этого не совсем приятного для меня события в мою комнату вошел рослый красавец, студент, некто Орлов. Это был единственный сын всем тогда известного М. Ф. Орлова, за свое знакомство и дружбу с декабристами осужденного жить в Москве безвыездно, того самого Орлова, который 25-ти лет был уже генералом и участвовал в Бородинском бою, которому в 1814 году Париж передал городские ключи и брат которого, Алексей Орлов, был таким близким человеком императору Николаю.

Вошедшего ко мне студента я видел уже на публичной лекции Погодина стоящим у двери, так как все места были заняты публикой, и, не зная его фамилии, невольно любовался им. Думал ли я, что этот самый Орлов первый посетит меня и пригласит к себе на квартиру с тем, чтобы представить меня отцу и матери (урожденной Раевской), которые, прочтя мое стихотворение «Душа», сами пожелали со мною познакомиться? С тех пор в доме у Орловых я стал как бы домашним человеком, т. е. мог приходить во всякое время и даже ночевать у их сына на постланном для меня диване. Старик Орлов так полюбил меня, что не раз по вечерам, когда я прощался с ним, благословлял меня. Вся тогдашняя московская знать, вся московская

интеллигенция как бы льнула к изгнаннику Орлову; его обаятельная личность всех к себе привлекала; когда-то, будучи военным, он старался в полку своем уничтожить наказание палками. Недаром же и Пушкин почтил его своим посланием[3]. Можете вообразить сами, как это расширило круг моего знакомства. Там, в этом доме, впервые встретил я и Хомякова, и профессора Грановского, только что приехавшего из Германии, и Чаадаева, и даже молодого Ив<ана> Сер<геевича> Тургенева, который, прочитав в записной книжке моего приятеля Ник<олая> Мих<айловича> Орлова какое-то мое стихотворение, назвал его маленьким поэтическим перлом. Кого не подкупят такие отзывы, особливо в такие молодые годы! Я стал навещать Тургенева, не как писателя, а как молодого ученого, который (по слухам) приехал в Москву из Берлина с тем, чтоб в университете занять кафедру философии[4]. Ему, вероятно, и не верилось, что философия была запретным плодом и преследовалась, как нечто вредное и совершенно лишнее для нашего общества.

Добавлю к этому, что и на поэзию косилось наше университетское начальство, и, когда я стал в «Москвитянине» помещать стихи свои, я никогда не подписывал своей фамилии[5]. Но шила в мешке не утаишь.

Мои шуточные стихотворения, приводимые Фетом в своих воспоминаниях, очевидно, не нравились нашему доброму, нежно любимому инспектору, и Нахимов (Платон Степанович или Флакон Стаканыч, как шутя называли его студенты) стал сбавлять мне балл за поведение (т. е. вместо 5 стал ставить 4).

Пока моя бабушка была жива, я был обеспечен, но и тогда денег у меня не было, я ходил в университет пешком и зимой в самые сильные морозы в одной студенческой шинели и без галош. Я считал себя уже богачом, если у меня в жилетном кармане заводился двугривенный; по обыкновению, я тратил эти деньги на чашку кофе в ближайшей кондитерской, где бы ни получались все лучшие журналы и газеты, которых не было и в помине у моей бабушки — *Отеч<ественные> записки, Моск<овский> наблюдатель, Пантеон и Библиотека для чтения*[6],— и я по целым часам читал все, что в то время могло интересовать меня.

Помню, как электризовали меня горячие статьи Белинского об игре Мочалова...[7]

О Белинском впервые услыхал я от Николая Александровича Ровинского, который еженедельно посещал меня.

Ровинский был близок к кружку Станкевича, и для меня, наивно верующего, выросшего среди богомольной и патриархальной семьи, был чем-то вроде тургеневского Рудина, был первым, который навел меня на иные вопросы, не давал мне спать по ночам; я с ним горячо спорил, но не мог не сознавать его влияния...

Он хотел познакомить меня с Белинским, но успел только познакомить меня с Иваном Петровичем Клюшниковым[8], другом Белинского и учителем истории Юрия Самарина. Что такое был Клюшников, вам может подсказать стихотворный недоконченный роман мой «Свежее предание». Тут он был мною выведен под именем Камкова, и, конечно, не фактическая жизнь играет тут главную роль, а характер и настроение Камкова. Как я слышал, сам Клюшников, доживший до глубокой старости где-то в Харьковской губернии, в этом романе узнал себя. Так я слышал от учителя русской словесности — Н. Старова, который посещал старого учителя в его уездной глуши и очень любил его «Стихотворение»:

«Мне уж скоро тридцать лет,
А меня никто не любит».

принадлежало перу Клюшникова. Он под своими стихами подписывал букву Ѳ[9]. В то время по рукам ходило послание его к Мочалову — упрек, смело брошенный ему в лицо за все его безобразия, несовместные с его гениальным сценическим талантом; оно было в первый раз напечатано, кажется, лет пятнадцать тому назад и в «Русской старине». Но, конечно, не как поэт, а как эстетик и мыслитель, глубоко понимавший и ценивший Пушкина, как знаток поэтического искусства, он не мог своими беседами не влиять на меня.

Когда из университета я приходил домой к обеду, я нередко заставал за обеденным столом, за который никогда не садилась моя бабушка, одну коренастую старуху, московскую немку, набеленную и нарумяненную, с намазанными бровями, и не мог иногда от души не хохотать над ней. Она была убеждена, что в университете учат меня колдовству и чернокнижию, что я могу вызывать чертей, которые по ночам не дают ей покоя; она боялась раков, крестила свою тарелку и подальше от меня отодвигала свой прибор...

В мое время в университете не было ни сходок, ни землячеств, ни каких бы то ни было тайных обществ или союзов; все это, в наше время, было немыслимо, несмотря на то,

что полиция не имела права ни входить в университет, ни арестовать студента. И все это нисколько не доказывает, что в то время Московский университет был чужд всякого умственного брожения, всякого идеала. Напротив, мы все были идеалистами, т. е. мечтали об освобождении крестьян; крепостное право отживало свой век...

...В университете партий не было, но всякий понял бы ироническую заметку нашего любимого профессора энциклопедии права П. Г. Редкина, «у нас людей продают, как дрова», и в то же время всякий понял и сочувственно отнесся бы к студенту К. Д. Кавелину, когда он говорил, что употребил с лишком полгода на то, чтобы прочесть и понять одно только предисловие к философии Гегеля. Я застал еще в университете кой-какие предания о том, что когда-то было в стенах его до приезда новых профессоров, сумевших поселить в молодежи любовь к науке. В мое время, во время лекций я слышал только скрип перьев и ни малейшего шума. Некоторые из лекций, особенно лекции Петра Григорьевича Редкина, который читал нам энциклопедию права, до такой степени возбуждали нас, что, несмотря на запрещение, молодежь рукоплескала профессору, когда он заканчивал свою лекцию.

Не так было в те времена, когда профессора не имели на студентов ни малейшего влияния. Иногда зимой, когда лекции читались при свечах и лампах, вдруг все потухало, и аудитория погружалась в полный мрак. Школьные затеи были довольно часты. Так, иногда вдруг из отверстий, где помещались чернильницы, поднимались кверху зажженные восковые свечи, к немалому ужасу и удивлению профессоров. Вспоминали при мне как-то о Полежаеве. Рассказывали, что Полежаев отдал на рассмотрение какому-то профессору свои стихи. Возвращая эти стихи автору, профессор сказал: «Полежаев, от твоих стихов кабаком пахнет».

— И немудрено,— отвечал Полежаев,— они целых две недели лежали у вас!

Из числа славянофилов, в том смысле, как понимали их Хомяков и Аксаков, я помню одного только Валуева, студента, подававшего большие надежды и рано погибшего от чахотки. Я уже тогда думал то, что и писал позднее в «Свежем предании».

...Пока
Наш мужичок без языка,
Славянофильство невозможно
И преждевременно, и ложно.

Однажды у писателя А. Ф. Вельтмана встретил я очень красивого молодого человека с таким интеллигентным лицом, что в его уме нельзя было сомневаться. Мы были втроем, и, между прочим, я с большими похвалами отозвался о статье Герцена, напечатанной под заглавием: «Дилетантизм в науке». Они засмеялись: «А вот перед вами и сам Герцен — автор этой статьи»[10], — сказал мне Вельтман...

А. Ф. Вельтман был уже пожилым человеком, с небольшой лысиной и проседью в волосах; настолько же умный, насколько и добрый, он занимал место директора Оружейной палаты. Как знаток и любитель редких древностей и как человек образованный, он знал все славянские языки, изучал историю Богемии, но едва был славянофилом. Я во всякое время мог заходить к нему, и, если он был занят за своим письменным столом, я с книгою в руках садился на диван и безмолвствовал.

. . . .

Писемский был в одно время со мною в университете, но товарищем моим не был. Встречались мы редко. Это был небольшого роста молодой человек с испитым лицом и темными, проницательными глазами. В последний раз, проходя через чей-то двор, видел я его в раскрытое окно, среди студентов, игравших в карты. Вероятно, это была его квартира, так как он сидел в каком-то тулупе с взъерошенными волосами и с длинным чубуком в руке. Писемский рассказывал потом, будто бы я, подойдя к окну, воскликнул: «Что это вы сидите в комнате: ночь лимоном и лавром пахнет». Полагаю, что этой шуткой он хотел в то время охарактеризовать меня. В то время бывал у меня и еще один студент-филолог, некто Студицкий. Он был в то же время и математиком. Раз приносил он мне какие-то вычисления, доказавшие ему возможность делать золото...

Он все отыскивал новые поэтические дарования и в особенности хвалил мне некоего Карелина, пророча ему блистательную будущность. Он написал о Пушкине статейку, которая и была когда-то мной переписана, и читал мне с восторгом перевод некоего Н. Ш. из Байрона. Перевод этот, так же как и стихотворения Карелина, были помещены в сборнике «Подземные ключи»...[11]

В мое время студенты должны были сами записывать и приводить дома в порядок выслушанные ими лекции. Для этой работы был у меня товарищ, тоже бывший гимназист рязанской гимназии, некто Мартынов. Мы садились рядом,

и, если я не поспевал за словами профессора, я толкал его локтем, и он продолжал записывать дальше. На 1-м курсе с особенным интересом посещал я лекции профессора древней истории Д. Л. Крюкова. Он начал свою историю с древнейших времен Китая, указывая на особенности первобытного китайского миросозерцания. Странным казалось мне, что китайцы, перечисляя стихии, вслед за землей упоминали горы. Крюков читал блистательно; это был один из талантливейших наших ученых. Он нас увлекал; недаром и Фет почтил его стихотворением, под заглавием: «Памяти Д. Л. Крюкова»[12]. Но увы! Лекции эти скоро должны были прекратиться. Он заболел неизлечимой и страшной болезнью: размягчением мозга. Раз я встретил его на улице: он был страшно бледен, и его вели под руку.

Нисколько не жалуюсь на то, что в Москве не было у меня ни семейного очага, ни постоянной квартиры и ничего, кроме дорожного старого чемодана. Были студенты, которые испытывали не только бедность, но и нищету; они жили в окрестностях Москвы и в университет ходили по очереди, так как у двоих была одна только пара сапог. Что за беда, что я жил где придется... Но судьба, которая рано познакомила меня с нуждой, одарила меня другим благом — друзьями, о которых умолчать было бы великою неблагодарностью к их памяти...

Афанасьев А. Н.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (1844 — 1848 гг.)

В 1844 году, по окончании курса в гимназии, я уехал в Москву и поступил в Московский университет на юридический факультет...*

Вступительный экзамен я выдержал пополам с грехом, что называется. В Москве сначала очутился я совершенно один, никого — ни знакомых, ни родных. В этом многолюдстве я чувствовал странную пустоту, и тоска невыносимая теснилась во мне. Но скоро я свыкся с Москвою и с юношеским жаром привязался к университету. Для меня в эту эпоху все было погружено в жизни университетской, ею одною была полная и моя собственная жизнь. Начинаю воспоминания об университете.

Попечителем в это время был граф С. Г. Строганов, а инспектором студентов П. С. Нахимов, брат адмирала, синопского героя. Это было едва ли не самое счастливое время Московского университета, по отсутствию всяких стеснений и формализма, которыми так любят щеголять в наших учебных заведениях, и низших, и высших. Граф — человек весьма почтенный, благородный, любитель русской археологии: у него есть и прекрасная библиотека, и собрание старинных икон, и собрание монет. Он любит искусства, основал в Москве Строгановское училище живописи[1] и напечатал прекрасное архитектурное издание «Дмитриевский собор во Владимире»[2]. С профессорами и студентами он всегда был учтив и вообще всегда и во всем умел держать себя с благородною гордостью хорошо образованного аристократа; он не принуждал нас быть вытянутыми и застегнутыми во время лекций — и это много значило в наше время. Были случаи, что граф помогал бедным студентам,

* Окончание воспоминаний А. Н. Афанасьева «До гимназии и в гимназии». *(Прим. сост.)*

давая им взаймы свои деньги для своевременного взноса в Московский университет за слушание лекций. (Плата эта была сначала меньше 40 руб. сер., потом увеличена до 50 руб. сер. в год.) Студенты все его очень уважали и в нынешнем году (1855), хотя уже он давно оставил университет, в день юбилея Московского университета (12 января) многие из окончивших при нем курс и теперь служащих в Москве собрались и ездили к нему на квартиру и записали свои имена, выражая тем свою память и уважение к его имени; графа не было тогда в Москве, он был в С.-Петербурге.

Нахимова мы все от души любили, да и он любил студентов, как своих детей. С простотой, по-видимому несколько суровой, он соединял душу необыкновенно добрую и сердце мягкое; одним словом, он живо напоминал мне прекрасный характер Максима Максимовича (в «Герое нашего времени»). Как военный человек, с раннего утра был он уже в форменном сюртуке, застегнут на все пуговицы, навытяжку; волоса его были подстрижены, елико возможно, низко — под гребенку, с небольшим хохолком спереди. Как моряк, он любил выпить лишний стакан рома и всякий день уже с утра, бывало, отдает этот долг старинной привычке. Он осматривал всякого студента, попавшегося ему на глаза, и, если что было не по форме, тотчас же делал распекание. На форму свыше требовалось от университетского начальства, чтоб оно обращало наиболее внимание. Покажутся ли серые панталоны, белые воротнички или голубой кантик, пущенный не на месте, ради щегольства, или длинные волосы — краса, которой многие так гордились,— Платон Степаныч (которого шутя называли Флакон Стаканыч, намекая на его любовь к крепким винам) пускался вдогон за ними или сам, или посылал своих субинспекторов; в карцер он сажал весьма редко, и дело кончалось наставлением и угрозою посадить в другой раз в карцер. В пример, как должно носить волоса, он всегда указывал на свою собственную прическу.

О Платоне Степановиче постоянно ходили анекдоты, свидетельствовавшие об его доброте и даже наивности.

Однажды в великий пост, когда говели казенные студенты, поп Терновский объявил на исповеди двум студентам, что за какие-то важные грехи он не допустит их к причастию; студенты-грешники обратились к Платону Степанычу; тот бросился к Терновскому уговаривать его быть снисходительнее. Долго отговаривался Терновский, нако-

нец сказал: «Не могу... Иисус Христос сказал...» — и уже был наготове текст, как Нахимов нетерпеливо и почти с отчаянием прервал его: «Что Иисус Христос! что граф-то скажет?..» Это последнее возражение возымело силу,— и студенты допущены были к св. причащению.

Раз пришел к Платону Степановичу хозяин трактира «Великобритания» (здесь постоянно кутили, пили и закусывали, играли на бильярде — студенты, и трактир, находившийся как раз около университетских зданий, напротив экзерциргауза[3], считался и назывался *студенческим*) с жалобой на какого-то студента, который, забравши у него порядочную сумму, не платит и еще требует. Платон Степанович отправился в «Великобританию» сам.

«Ты задолжал; не платишь, да еще буянишь»,— сказал он студенту (Платон Степанович всегда говорил студентам ты; к этому все привыкли, и нас бы удивило, если б он обратился иначе, с вежливым вы; все знали, что это простота и привычка, а никак не грубость).

«Я-с, Платон Степанович, не собрался с деньгами; я ему заплачу... а он — просто грабит, цены берет хорошие, а если бы видели, какая у него водка скверная, хоть не пей! вот извольте попробовать сами».

Платон Степанович взял рюмку и выпил: «Ах ты, мошенник,— закричал он на трактирщика,— такую-то продаешь ты водку!» — и распек его на чем свет стоит, а потом, обращаясь к студенту, сказал: «А ты бы лучше ром пил!»

Тем расправа и кончилась.

Как-то вошел он в ту комнату, в которой вилась чугунная лестница во все этажи (в промежутке между лекциями мы обыкновенно собирались на эту лестницу поболтать и позевать), и увидел студента, который с третьего этажа перегнулся через перила: «Вот только упади,— закричал снизу Платон Степанович,— так сейчас посажу в карцер!» Но кого бы посадил он в карцер, если б неосторожный студент упал с 3-го этажа на каменный помост?

Кстати припомню здесь шалости студента П. П. Боткина, который сшил себе широкие панталоны из какой-то весьма тонкой материи красного цвета и принес их раз с собою в университет в кармане; в промежуток времени между лекциями он надел их сверх своего форменного костюма, вышел на площадку лестницы и облокотился о перила. Вдруг, к ужасу своему, субинспектор Понтов замечает снизу студента в красных панталонах; бежит он по лестнице вверх, но, пока пробежал ступеней более сотни, прерывае-

мых длинными площадками, студент уже снял свои красные штаны, спрятал в карман и спокойно глазел по сторонам.

Понтов, в вечно прилизанном парике, щепетильно чистенький и с ухватками кошки, которая как будто гладит лапкой, а того смотри: вот-вот царапнет! — вбежал в нашу аудиторию, ищет красных панталон и не находит. Удивленный, сходит вниз, взглядывает вверх — о, ужас! красные панталоны появились снова. Снова бежит он по лестнице, и опять штаны исчезли. Сколько мы хохотали этой проделке, заставившей нашего общего нелюбимца Понтова совершить препорядочный моцион.

В 1847 году граф Строганов оставил университет, а вместе с ним университет покинул и Нахимов, который был сильно привязан к графу и не хотел оставаться при новом попечителе; это наделало много толков в Москве, где университетские новости всегда принимались к сердцу. Студенты искренно сожалели. Помню, как Платон Степанович обходил все аудитории и прощался со студентами, пришел он и в нашу аудиторию и, по-видимому, хотел что-то сказать нам на прощание, но на глазах его выступили слезы (этих слез никогда я не забуду!), и он только промолвил слово *прощайте!* с просьбой не забывать его. У нас у самих заблистали на глазах непритворные слезы. Лучшая похвала графу и Платону Степанычу та, что никто не помнил, чтобы при них был исключен какой студент или попал в солдаты, что (говорят) случалось позже в короткое время заведования университетом помощника попечителя Голохвастова. Нахимов умел все неприятные истории погашать в самом их начале; он был постоянным, самым ревностным заступником студентов перед графом и даже перед профессорами (во время экзаменов); его просьбы уважались, и нередко полученная на экзамене единица была, ради его просьбы, переправляема.

Раз один студент, получивший единицу чуть ли не из медицины, обратился к нему с просьбой попросить за него.

— Вот теперь пристаешь,— сказал Платон Степаныч,— а зачем не учился?

— Помилуйте, Платон Степаныч, я отлично знаю; ну хоть сами спросите.

— Да, есть мне когда вас спрашивать! — отвечал старик, не признаваясь, что в медицине он ни аза не смыслит; подошел к профессору и упросил переправить отметку.

Место Строганова заступил Голохвастов, который не-

долго удержался в университете, а место Нахимова — Шпейер (ныне, в 1855 г., директор 1-й Московской гимназии), толстый, некрасивый и необходительный господин, который тогда же был весьма удачно прозван студентами моржем. Я был уже на 4-м курсе и при этих господах оставался несколько месяцев; потому особенных воспоминаний о них не вынес, а помню только, что любовью они и после не пользовались. С этого времени началось требование соблюдения строгой формы во всем. Нахимов был избран в директоры Шереметевской больницы; на этом месте вскоре он и умер. Многие студенты провожали его гроб в могилу; тогда же вышел его литографированный портрет, весьма похожий.

Теперь надо рассказать о профессорских лекциях.

Науки разделялись в университетском преподавании на факультетские и побочные; первые составляли предмет главных, специальных наших занятий; баллы, полученные на экзаменах из этих наук, принимались в расчет при определении степени окончившего курс студента: 4½ в среднем выводе давало степень кандидата, а 3½ — степень действительного студента; побочные, не главные науки входили в курс общего образования; и баллы, полученные из них, принимались во внимание только при переходе с курса на курс, но для этого достаточно было 3½ в среднем числе, следовательно, можно было получить из иных и двойку. Поэтому мы вообще мало обращали трудов на эти науки, преимущественно занимались факультетскими. Студентам, при поступлении их в университет, раздавали табели, т. е. краткие правила поведения.

На первом курсе юридического факультета преподавались только две факультетские науки: во 1-х, энциклопедия законоведения — ординарным профессором П. Г. Редкиным и, во 2-х, история русского законоведения К. Д. Кавелиным.

Редкин пользовался в университете большою известностью, впрочем, не совсем заслуженною. Он читал свои лекции с ораторским одушевлением. Обыкновенно лекции в Московском университете излагались устно, а не читались по тетрадке, хотя выражение «читать лекции» и было у нас техническое и всеми принятое. Студенты записывали лекции со слов профессора, и записывали мастерски после навыка; некоторые умели записывать лекцию слово в сло-

во, как бы скоро она ни излагалась. Для этого у всякого были свои сокращения и знаки.

Нас на 1-м курсе было более 200 человек, да для некоторых лекций соединялись с нами словесники; потому занять место на передней лавке, поближе к профессору, считалось весьма важным делом. Как рано, бывало, приходили мы для того в университет! Иногда толпою ожидали, когда солдат отворит в определенное время дверь аудитории, и тогда все наперебой бросались занимать места, т. е. положить на избранное место свою табель, тетрадь или фуражку, вечно измятую из особенного франтовства. Место, на котором лежала фуражка, считалось уже неприкосновенным. Не так уважались тетради; иногда их сбрасывали, и при этом выходили из-за мест споры и ссоры. Не успевшие занять места на передних лавках усаживались на ступенях профессорской кафедры, так что профессор постоянно бывал окружен толпою студентов с их тетрадками и чернильницами. Такая ревность бывала, разумеется, на первых двух курсах; в последних курсах студентов было уже несравненно меньше, и за места нечего было опасаться: в малых аудиториях голос профессора всюду был хорошо слышен.

Я сказал, что Редкин читал с одушевлением оратора; он любил отпустить иной раз пышную фразу, особенно при окончании своей лекции, причем обыкновенно разгорячался и возвышал голос и говорил быстро; в выговоре его слышался неприятный малороссийский акцент (он был из Полтавской губернии), а в лекциях часто попадались иностранные слова: индивидуальность, конкретность, абсолютность, абстракт и проч. Меня сильно поразила его первая лекция, которую он начал вопросом: «Милостивые государи, зачем вы сюда явились?» — и потом сам же отвечал, что нас вело в университет предчувствие узнать здесь истину и сделаться в своем отечестве защитниками правды. «Вы жрецы правды — вы юристы!» — восклицал он и окончил лекцию любимою своею поговоркою: «Все минётся, одна правда остаётся!» — причем быстро соскочил с кафедры и убежал, что он делал очень часто. Редкин вместе с другими попал в университетский институт*, причислен был ко II отделению собственной его величества канцелярии и послан за границу для юридического образования; в Германии он увлекся философиею**, и когда он воротился и на-

* В этом институте были: Орнатский, Лешков, Иноземцев, Грановский и другие. *(Прим. авт.)*

** Он был и в Испании. *(Прим. авт.)*

чал свои лекции, то в них постоянно проглядывала и немецкая конструкция в изложении и философское направление в содержании. Он был истый гегелист; Гегеля он уважал по преимуществу между всеми германскими философами и по его началам построил все свои лекции. Он толковал нам о принципе, из которого все развивается, о трех моментах в круге развития: момент — абсолютного, всеобщности, момент — конкретного обособления и момент единства того и другого; от этой тройственности он не отступал ни на шаг. Все лекции его делились на три части, из которых каждая опять на три, и так далее, что если и придавало им строгий систематический вид, зато всегда искусственный и изысканный. В «Энциклопедии законоведения» он объяснял нам развитие права по трем его моментам: право обычное, законодательство и право юристов: право обычное — темно, бессознательно истекающее из массы народа,— это первый момент; второй — будет законодательство, где право высказывается уже с сознательною целью, исходит от лица и условливается его произволом; наконец, в 3-м моменте, в котором два первые являются в единстве, право вступает на высшую ступень; здесь оно бывает уже плодом трудов образованных юристов, вышедших из народа и ведающих его нужды и потребности. Право обычное восходило по следующим ступеням: а) устные юридические пословицы и поговорки, в) юридические символы и формулы и с) записанное обычное право. От вещественных, грубых символических форм право, все более и более одухотворяясь, принимает словесную оболочку и в последнем своем моменте приближается уже к законодательству и как бы становится первым моментом в развитии этого последнего. Законодательство проходит также три момента: а) отдельные записанные постановления, в) свод и с) уложение, т. е. не только собранные в одно целое, но и подвергнутые критике законопостановления, следовательно, здесь уже ясно влияние законоведцев (юристов). Право юристов, выражая в себе вполне сознательное развитие права, возвращает его народному обычному источнику, и, таким образом, конец совпадает с началом и круг развития завершается. В предисловии* к этим лекциям П. Г. Редкин объяснил нам название науки, ее методу, источники, возможность, действительность и полезность, доказывая

* Которое также делилось и подразделялось на неминуемые три части. (*Прим. авт.*)

философское положение: «Все, что возможно, то и действительно».

Несмотря на явную искусственность и однообразие системы, лекции Редкина нам, первокурсникам, явившимся из гимназии и из родительских домов с малоразвитыми головами, оказали в своем роде пользу. Они заставили нас видеть в явлениях сего мира внутреннее развитие и в этом развитии признавать постепенность; показали нам, что ничто не возникает вдруг и что есть законы, которых нельзя обойти. Мы были в восторге от его лекций, но это продолжалось только на первом курсе. Уже на втором курсе, где читал он «Государственное право» (коренные законы, учреждения и законы о состояниях), увлечение наше значительно ослабело, а на 4-м курсе мы уже нисколько не восхищались его гегелевскими замашками и смотрели на них с благоразумною трезвостью. На 4-м курсе Редкин имел обыкновение менять свои лекции; предшественникам нашим он читал один год философию права по Гегелю, другой год сравнительный (и весьма любопытный) курс современного гражданского права во Франции и Англии; нам читал он историю философии права — предмет весьма интересный, но доведенный им только до новой истории, и то средневековое учение изложено им было весьма кратко; в трех лекциях — не более. Зато древний период прочитал пространно; он даже перевел нам целые места из сочинений Платона, Аристотеля и Цицерона — о государстве и законах. Изложение, впрочем, было несколько сухо и по-старому натянуто на гегелевскую тройственную систему, которая так сильно надоела нам под конец. Той же системе подчинял он и государственное право, или, правильнее, свое длинное предисловие к государственному праву, читанное им более полугода; постановления свода законов изложены им были весьма кратко и без всякого указания на их историческое происхождение и судьбу. Помню только, что лекции Редкина о разных формах правления, о значении и формах конституционного устройства были и живы, и любопытны, и либеральны. Этим последним качеством (либерализмом) отличались, впрочем, все его лекции, и это-то особенно располагало нас в его пользу. В жизни он — строгий формалист, и потому бывал несносен. Если не в срок подавали ему студенты конспекты лекций, которыми он нас мучил, то ни за что уже не брал, хотя бы это было на другой день после срока, а потом за неподачу конспекта ставил дурной балл.

Другой факультетский предмет на первом курсе читал нам адъюнкт К. Д. Кавелин, именно «История русского законоведения». Это был первый год его университетской службы. Он довел свои лекции до Петра Великого. В последующие годы лекции эти явились более обработанными, но далее Петра не касались. Кавелин излагал живо и просто; лекции его, хотя далеко не представляли подробного собрания фактов, нравились нам потому, что были исполнены мысли. В своих лекциях Кавелин старался выяснить и пояснить те начала, которыми условливалось внутреннее развитие русской истории, и хотя многое им оставлено было в стороне, другое решено поспешно (впрочем, малая разработка источников в то время еще не позволяла делать решительных общих выводов), тем не менее многое было им угадано; взгляд его на историю и вместе с тем характер его лекций выражен им в статье, напечатанной в 1847 году в № 1 «Современника»: «Взгляд на юридический быт Древней России»[4], в статье, которая в свое время расхвалена любителями старины, но которая теперь при открытии новых памятников и при появлении новых специальных работ, конечно, во многом неудовлетворительна. Автор, поставив краеугольным камнем своего труда личность, не объяснил точно, какой дает объем этому понятию и в какой мере справедливо отрицает влияние личного начала во всей допетровской истории; во всяком случае, едва ли верно приписано такое позднее развитие личности в юридической сфере наших предков. Эта уступка придуманной системе и некоторым увлечениям западной партии[5]. Сверх того, в этой же статье Кавелин у целой эпохи безгосударной отнял всякое значение во внутренней жизни русской нации!.. Кроме лекций «История законоведения» он читал еще для студентов других факультетов законы об учреждениях, по Своду, с историческими заметками.

Кавелин — человек умный, с душою в высшей степени благородною, доброю и систематичною, характера живого — с людьми сближается скоро и всегда готов на услугу, в обществе говорлив, в нем есть что-то привлекающее к нему; но способен увлекаться и в жизни, и в науке, хотя и в этом увлечении нельзя не видеть открытых юношеских и прекрасных порывов, за что многие в дружеском кружке называют его дитятею, или, по выражению Краевского, «превечным младенцем». Я с ним познакомился еще студентом (на 3-м курсе) и с тех пор полюбил его от души. Наших дружеских отношений и взаимного уважения ни-

сколько не поколебали те литературные споры, в которых каждый из нас горячо стоял за свое убеждение. Когда печаталась моя статья «Ведун и Ведьма»[6], Кавелин, уже служивший в С.-Петербурге, приезжал оттуда в Москву. Мы виделись и сообща решились спорить откровенно и прямо, не женируясь* нашими дружескими отношениями.

— Ведь я стану ругаться хуже всякого Погодина,— сказал он мне.

— Я и сам зубаст!

За этим мы расцеловались и расстались. Но о своих литературных спорах скажу ниже.

Нефакультетские предметы на первом курсе были: а) теория словесности (риторика) — читал проф. С. П. Шевырев; в) богословие (догматическое и нравственное) — протоиерей Терновский; с) латинский язык — лектор Фабрициус и d) немецкий язык — лектор Гёринг. Прежде читал на этом курсе древнюю всеобщую историю профессор Крюков, оставивший по себе память красноречивого профессора, основательного ученого и превосходного человека. Эта кафедра оставалась свободною по причине тяжкой его болезни, от которой он вскоре и умер. Грановский, его друг, собрал было студенческие записки лекций Крюкова и думал издать его «Древнюю историю» в пользу семьи покойного, но намерение это не состоялось, и, кажется, единственною причиною этого была лень Грановского, который с особенною готовностью берется за многое, но редко что сделает: или не окончит, или вовсе не начнет.

С. П. Шевырев начал свои лекции насмешками над немецкими риториками, составленными по старому образцу, потом приступил к изложению своей риторики, которую также разделил на три части: вместо источников изобретения он поставил: чтение писателей и образование пяти физических чувств (зрения, etc.) и душевных способностей человека (воображение, воля и др.), как необходимых для того, чтобы развить в человеке наблюдательность, живость впечатлений и творчество. Говоря о расположении, он делил всякое сочинение на три части: начало, середину и конец; в первой советовал представлять общее воззрение на предмет сочинения, не изученного в подробности; во второй разбирать его во всех подробностях (анализ), а в третьей снова обращаться к целому, делая о нем заключения и выводы, но уже полнейшие, на основании разбора, представленного во 2-й части: эту методу он назвал анализо-синте-

* Не стесняясь *(франц.)*.

тическою. Третья часть риторики посвящена была «выражению», в ней особенно сказались недостаточность лекций, вообще довольно сухих и мало представлявших дельного содержания, которое было бы почерпнуто из действительных фактов. Шевырев не указал нам ни образования метафорического языка, ни значения эпитетов и все свое учение о выражении лишил той основы, которая коренится в истории языка. Вообще ему недоставало филологических сведений, а на одних рассуждениях далеко не ускачешь. Помню, как, трактуя о необходимости образовывать чувства, он приводил нам примеры из царства животного и в числе других указал на развитость органа слуха ящерицы: «Когда я был в Италии*, я несколько раз читал в одном пустынном месте стихи Пушкина, и всякий раз выползали ящерицы и, наслаждаясь мелодиею этих стихов, тихо прислушивались к моему голосу».

Эти лекции Шевырев неизменно повторял каждый год, даже с теми же примерами о музыкальном слухе ящериц и другими подобными. По поводу этих ящериц в альманахе «1-е апреля»[7] была напечатана насмешка над Шевыревым; только здесь вместо ящериц, кажется, выведены лягушки, которые вдобавок еще помотали главами при слушании стихов.

Шевыреву мы обязаны были подавать в известные сроки сочинения или переводы, которые раза три в год он разбирал публично — в аудитории. Помню, что я подал ему сцену между Грозным и Сильвестром после московского пожара, написанную белыми стихами — по Карамзину и более наполненную фразами, чем драматическим действием. Шевырев расхвалил ее (за что — я и сам теперь не ведаю, тогда и был убежден в великом достоинстве своего труда) и даже изъявил сожаление, что юные таланты, посвящая себя юриспруденции, бросают перо... Шевырев любил фразы: он говорил красно, часто прибегая к метафоре, голосом немного нараспев: особенно неприятно читает он или, лучше, поет стихи. Иногда он прибегал к чувствительности: вдруг среди умиленной лекции появлялись на глазах слезы, голос прерывался, и следовала фраза: «Но я, господа, так переполнен чувствами... слово немеет

---

* Первое время по возвращении из-за границы он, говорят, только и бредил Италией и не раз читывал на своих лекциях итальянских поэтов, не думая о том, что стихов этих никто из слушателей не понимал. *(Прим. авт.)*

в моих устах...» — и он умолкал минуты на две. Говорил бы он свободно, если б не любил вполне округленных предложений и для этого не прибирал бы выражений, прерывая свое изложение частыми «гм!». Ради этого «гм» вышел презабавный анекдот: Шевырев рассказывал содержание одной комедии: «Он вводит ее в свой кабинет и затворяет дверь — гм!». «Гм» вышло так многозначительно, что все засмеялись. На словесном факультете Шевырев читал историю литературы, теорию красноречия и поэзии, а теперь читает и педагогику. У него на руках была студенческая библиотека, т. е. составленная на пожертвования студентов, и он раздавал нам из нее читать книги; он был доступен студентам, позволял иногда спор с собою, но в то же время был и есть человек мелочно самолюбивый, искательный, наклонный к почестям и готовый при случае подгадить, и по убеждениям, которые старался проводить в лекциях,— славянофил, только отнюдь не демократического направления... Степан Петрович Шевырев постоянно проповедовал, что русская натура выше всякой другой, что если другим народностям дано было разработать по частям прекрасные и возвышенные задачи человеческого образования: тому — музыка, другому — живопись, третьему — общественная жизнь и т. д., то русская народность все это соединит в одно целое — живое. Природа славянина многостороннe всякой другой, оттого менее других способна к ошибочным увлечениям и пристрастиям. Судьба русского человека велика; но краеугольным камнем русской истории, литературы и народного нашего характера была православная вера, забытая растленным Западом ради земных выгод и расчетов. Она-то дает такую полноту русской народности.

Шевырев не пользовался особенною студенческою любовью; теснее сходился он с словесниками, постоянно слушавшими его; но юристов, воспитывавшихся под неприязненным ему влиянием Редкина, Кавелина и других профессоров, он не очень жаловал. Раз (я был уже на 4-м курсе) завязался у нас в аудитории горячий спор между студентами о назначении женщины и о романах Жоржа Занда; шум наш помешал лекции Шевырева, который читал в зале, примыкавшей к нашей аудитории. Он тотчас явился в нашу аудиторию сам и начал длинную речь о том, что наука любит тишину; но в это время студенты мало-помалу начали один за другим оставлять аудиторию, и оратор, боясь остаться без слушателей, поскорей закончил

свою речь и, страшно раздосадованный, ушел, сопровождаемый насмешливыми взглядами студентов.

Терновский — грубый, самолюбивый и вполне проникнутый семинарским духом поп, говорил в нос и неприятно. Лекции свои читал по изданной им книге «Догматического богословия»[8]; нравственное же богословие почти ничем не отличалось от филаретского катехизиса, кроме обилия текстов. Любопытно, как он объяснил некоторые догматы религии: «Сие,— говорил он,— можно доказать из двух источников — из разума и из откровения. Во-первых, из разума; но разум человеческий весьма часто погрешает, он несовершенен, слаб и потемняется мирскими суетами и соблазнами, а посему отметаем сей нечистый источник. Во-вторых, из откровения». Тут следовали тексты, с их вчастую натянутыми объяснениями. На четвертом курсе нашего факультета он читал «Церковное право», но, увы, как читал! Будучи без всякого юридического образования, он нисколько не понимал ни важности, ни интереса порученной ему науки. Все лекции его ограничивались многомного 30-тью писаными листами. Ему назначено было в расписании читать два часа в неделю; но он приходил так поздно (и уходил всегда прежде конца), что едва ли просиживал более часа. В лекциях о церковном праве он изложил нам подробно постановления вселенских и поместных соборов и святых отцов, сказал несколько слов о сборниках канонических узаконений в Византии, причем сурово отзывался о папах и их властолюбии, коверкая их имена, наприм., вместо Урбана — Урван. Одного какого-то папу и похвалил: «То был человек добросовестный, но, к сожалению, он через две недели после занятия папского престола скончался». Мы заподозрили, что если б и другие так же скоро умирали, то заслужили б не менее лестный отзыв нашего преподавателя. Далее он кратко касался постановлений, и без всякой системы, о церковных поземельных имуществах, браке священства и проч. Тут считал он обязанностью коснуться истории, но обнаружил полное с нею незнакомство. Владимир «Св<ятой>, Иоанн Грозный и Петр Великий — вот три лица, о которых он упомянул, перескакивая от одного к другому через целый ряд годов и удивляя нас своими смелыми скачками. Он не показал нам ни исторического развития иерархии, ни отношений между властями, ее составляющими, ни учреждений Синода и консисторий, ни ответственности духовных лиц: даже не объяснил порядочно юридической стороны

брака, а остановился на этом акте, доказывая, что брак есть таинство. Хорошо, да дело не в том, а и какие есть постановления о вступлении и расторжении брака, и как судятся спорные дела в этом случае. Словом, лекции эти были из рук вон плохи, что, кажется, понимал и сам Терновский. Помню один случай: Терновский прочитал (на 4-м курсе читал он всегда по тетрадке) нам лекцию и на другой час хотел отправляться домой, как в аудиторию вошел попечитель Голохвастов и уселся слушать. Терновский, нисколько не затрудняясь, начал снова читать то, что сейчас окончил, и заставил нас вторично прослушать составленный им вздор.

На студентов Терновский взирал как на своих природных неприятелей, как на людей, готовых не почтить его сан. На экзаменах был весьма строг и даже придирчив. Он особенно прижимал тех, которые мало посещали его лекции. Теперь (1855) он читает философию! Во время экзаменов (1-го курса) из богословия присутствовал в университете викарный архиерей Иосиф: вызвали меня, и как теперь помню, какой спор завязался между Терновским и викарием по случаю ответа моего, слово в слово взятое из лекции Терновского: один доказывал, что Христос сходил в ад в славе, а другой — что в уничтожении. Вот вам и средневековая схоластика.

К Фабрициусу и Герингу ходило очень немного студентов: иногда аудитория и совсем была пуста. Первый заставлял студентов переводить речи Цицерона и сочинения его «De republica» и «De legibus» и «Institutiones»* Гая, а последний свою хрестоматию. Уважением они не пользовались ни на волос. Фабрициусу раз, во время занятий с студентами в зале, другие студенты бросили с хор, при аплодисментах венок, связанный из губки и тряпья. Нарушить покой в его аудитории было для некоторых студентов предметом удовольствия. Фабрициус вскоре оставил университет. Геринг нередко пополнял время своего урока более рассказами и анекдотами, нежели делом.

На втором курсе, кроме государственного права, мы слушали еще: а) «Историю римского права» — Крылова (ординарного профессора) и не факультетские науки, в) статистику и политическую экономию — ординарного профессора Чивилева, с) русскую историю — Соловьева (теперь, в 1855 г., ординарного профессора), d) всеобщую

* «О государстве», «О законах»[9] и «Институции»[10] *(лат.)*. *(Прим. авт.)*.

историю средних веков проф. Грановского и е) логику адъюнкта *** *

Никита Иванович Крылов, по справедливости, признавался за лучшего профессора: он мастерски умел выяснить смысл юридических понятий и раскрыть их характеристические особенности с необыкновенною наглядностью и выпуклостью, так что для студентов вполне было понятно, почему римскому праву присвоено название «Ratio humana»**. Самый язык его изложения, несмотря на некоторые странные барбаризмы*** (например, «периферия личности», «амальгамироваться» и др.) и частое употребление рядом многих синонимических выражений, отличался необыкновенной точностью. Оттого мы любили слушать его лекции, и они были весьма полезны для развития нашего мышления. В последние годы он мало или почти вовсе не занимался своею наукою, лекции его каждый наступающий год были неизменным повторением лекций предыдущих годов. Но должно сказать, что и это не вредило его лекциям, составленным по трудам Нибура, Савиньи и других знаменитостей; разработка римского права после того вновь не могла подвинуться далеко, да, сверх того, лекции римского права важны были вовсе не в том отношении, о котором мечтают некоторые, думая о приложении римских институтов к современной жизни (и Крылов нисколько не гонялся за частностями и тонкостями постановлений римского права), а потому, что приучали к исторической критике и строгой логичности в выводах; для нас эти лекции заменяли философию права. Историю римского права разделял Крылов на три части: а) право обычное, теократическое, жреческое, в период царей; в) право законодательное, строгое (jus strictnum) — в период республики и с) право юристов — в период империи. На третьем курсе Крылов читал римское право имущественное, а на четвертом семейное, в его полном развитии, но и здесь обращался к истории за нужными объяснениями. Особенно славился он прекрасным составлением лекций семейного права, на которое употреблено было им и наиболее трудов****. Крылов известен был (и справедливо) за умного профессора, но, как о человеке, о нем ходят слухи не совсем лестные; гово-

* Так в тексте. *(Прим. сост.)*

** Разум человеческий *(лат.)*.

*** Варваризм (от лат.— barbarus — варвар). *(Прим. сост.)*

**** Прежде требовал от студентов чтения пандектов, в мое время это прекратилось. *(Прим. авт.)*

рили о его суровой строгости и даже взяточничестве с богатых студентов; он был деканом и всем заправлял в факультете по-своему. Но я уже не застал этого властительства, потому что вскоре вместо его избрали другого декана — Баршева и случилась еще история, повернувшая все в другую сторону и заставившая Крылова сделаться мягким и даже заискивать в студентах популярности. История эта, по странной случайности, из семейной сделалась университетскою.

Крылов поссорился с своею женою, урожденною К[ор]ш; на сестре ее женат и Кавелин; семейство Евг[ения] К[ор]ш (брата) было в дружеских сношениях с Грановским, Редкиным и Кавелиным. Кто виноват — Крылов или его жена,— сказать трудно; кажется, и тот и другая; но дело дошло до весьма большой размолвки, и супруги разъехались. В бедствующей супруге приняли участие сейчас названные мною; тут припомнили они и дурные слухи о Крылове, и его грубое обращение с студентами в университете, и все (Редкин, Грановский, Кавелин и В. Ф. Корш, бывший тогда редактором «Московских ведомостей») обратились к графу Строганову (это было, помнится, в 1847 г.) с жалобами на Крылова и его недостойное поведение и решительно объявили, что они оставят университет, если не оставит его Крылов.

Граф Строганов, хотя и сам не совсем был доволен Крыловым, не мог согласиться на подобную протестацию. Редкин, Кавелин и Крылов прекратили лекции; первые потому, что думали оставить университет, а последний — вследствие общего шума, наделанного всей этой историей, что и продолжалось около 3-х месяцев; но потом принуждены были продолжать свои чтения, не отказываясь ни болезнию, ни другими предлогами. Молва обо всем этом ходила и по Москве, и между студентами. Когда после долгого отсутствия Кавелин и Редкин начали свои лекции, то студенты встретили их аплодисментами*. Платон Степанович Нахимов боялся, чтобы первая лекция Крылова не

* В это время уже аплодисменты были строго воспрещаемы; Редкин, напуганный всеми толками, стал в гордую чиновничью позу и сухо объявил, что аплодисментов не нужно. По этому поводу наш IV курс послал к нему депутатом одного студента сказать от лица юристов, что он... что и было сказано. Как теперь помню, как взбесился Редкин: он при мне приезжал к Кавелину посоветоваться с ним по этому поводу; но тот объявил ему, что он сам виноват, принявшись за полицейские увещания, но что со своей стороны он уже передал студентам, что их сочувствие ему дорого и он благодарит их за встречу. (*Прим. авт.*)

была нарушена чем-нибудь ему неприятным, и потому сам с двумя субинспекторами сопровождал его в аудиторию; субинспектора просидели все время лекции. Крылов явился худой и бледный, точно после болезни; все прошло тихо. Вскоре затем Кавелин, Редкин и Корш оставили университет и перешли на службу в С.-Петербург. Первый в Министерстве внутренних дел, потом у Ростовцева по военно-учебным заведениям, теперь (в 1855 г.) он начальник отделения в комитете министров. Редкин сначала оставался в Москве директором сиротского института, по желанию Перовского, получил место по уделам*. Случилось как-то странно: Грановский вышел в отставку и продолжает до сегодня (первая половина 1855 г.) принадлежать к Московскому университету.

Вскоре за тем, как Крылов стал продолжать свои лекции, он прочитал одну любопытную на 2-м курсе (я ходил туда его послушать), очевидно направленную против Редкина и его гегельщины. Рассуждая о влиянии философских систем в Германии на изучение римской истории и права, он заметил о Гегеле, что он всякую жизнь думал подчинить своей искусственной системе; живой и самобытный организм непременно должен был пройти через три момента, а никак ни более, ни менее. Но разве можно так рубить живое явление? «Мы, когда были посланы за границу,— говорил он,— были увлечены лекциями Гегеля; в них, в самом деле, было что-то обаятельное для юношей — всякое жизненное явление как-то легко раскрывалось в процессе внутреннего его развития, и мы, лежа на диванах и бросив все положительные, практические занятия, стали мечтать о судьбах мира и строить все события и будущее человечество по троичной системе. Многие и остались в этих сладких, но обманчивых и призрачных мечтаниях. Я скоро их оставил, и выйти из этой пустоты помогли мне только превосходные и в высшей степени проникнутые практическим смыслом лекции Савиньи. Но еще да-

* Говоря о лекциях П. Г. Редкина, я забыл заметить, что он любил щегольнуть начитанностью и потому, указывая на источники своей науки, всегда исчислял нам бесконечное количество сочинений на всевозможных языках. Он проповедовал, что так как наука едина, то для того, чтобы знать основательно один предмет — необходимо изучать и все другие; крайность такого взгляда ярко сказалась в его речи о том образовании, какое требуется от современного юриста. По смыслу этой речи положительно никто не сможет быть образованным юристом, хоть будь семи пядей во лбу и хоть занимайся науками 50 лет. Таковы требования профессора-энциклопедиста. *(Прим. авт.)*

лее пошел ученик Гегеля, профессор Ганс, который всю историю человечества представлял в трех моментах: Восток — выразил собою первый момент в развитии: это момент неподвижности, покоя; древний античный мир (греки и римляне) выражали своей историей идею бесцельного и безостановочного движения; наконец, германские племена составляют 3-й, высший момент единства двух первых: их движение получило определенность и назначение; плодом их развития и должно быть жизненное благо человека. После лекции мы, русские, обратились к Гансу с вопросом: что же остается на долю славянским племенам, столь многочисленным и не лишенным высших даров, уделенных человечеству. Тогда он с необыкновенною дерзостью отвечал нам, что славянскому миру остается выжидать!»*

В настоящее время (1855 г.) Крылов уже сошелся с своею историческою супругою.

Чивилев излагал первое полугодие политическую экономию, а другое полугодие — статистику европейских государств, и изложение его было хотя и дельно, но весьма сухо. По кафедре политической экономии придерживался он системы экономистов; о позднейших школах социалистов и коммунистов он и не заикался, да и нельзя было. Статистика его разделялась на две части: в первой подробно знакомил он с местностью разных государств Европы, что называл он «пластическим видом этих государств», и раскрывал влияние природы на политическую жизнь народов. Вторая часть состояла из числовых данных некоторых выводов. Лекции Чивилева не менялись уже несколько лет, и мы списывали их с старых тетрадок, следовательно, новости в статистических данных у него искать было нельзя. Он был директором дворянского института, а после оставил университет и перешел на службу в С.-Петербург. Место его заступил Вернадский (из Киева), который что-то не совсем ладил с профессорами своего факультета.

Кафедра русской истории после Погодина оставалась не занята. При моем переходе на 2-й курс начал читать в первый раз свои лекции С. М. Соловьев**, воспитанник Московского университета (и он, и Кавелин, и Калачов были некогда слушателями Погодина, который потому и

* В лекциях своих Крылов прекрасно излагал нам различные воззрения на владение, опровергал и в заключение предлагал свое воззрение на владение; но это воззрение было составлено им из смеси частей, оторванных от чужих воззрений, им же опровергаемых. (*Прим. авт.*)

** Мне выпало прослушать первогодичные курсы Соловьева, Кавелина, NN и Мюльгаузена. (*Прим. авт.*)

после трактовал их, как своих учеников, позволяя себе не совсем учтивые выходки (см. «Москвитянин», 1849, № 1)[11]. На счет графа С. Г. Строганова С. М. Соловьев ездил за границу.

Соловьев блистательно начал свое ученое поприще. Лекции его отличались и свежестью взгляда, и фактическою полнотою; он дал смысл всей этой безурядице княжеских распрей и, хотя уже не впервые, но с особенною наглядностью объяснил родственные (родовые) и вместе политические отношения княжеской фамилии. Все им прочитанное нам составило его диссертацию на степень доктора («Об отношениях между князьями Рюрикова дома»)[12]; на следующие годы все, что прочитано было нам, он излагал вкратце, а с особенною подробностью читал историю последующего времени и потом напечатал эти лекции в «Современнике», под названием: «Обзор событий русской истории»[13]. Именно с его статьей вошло в моду выражение «родовой быт», начались усиленные о нем толки и споры, особенно с славянофилами, хотевшими видеть в славянской истории общинное устройство. Споры эти и увлечения той и другой стороны занесены в разных журналах.

На последних (1855 г.) трудах Соловьева (особенно т. I его «Истории»[14] и статьи в «Отеч<ественных> записках» о Карамзине[15] и о географических сведениях иностранцев о России*) видна поспешность, и от этого в них много поверхностного. Соловьев самолюбив до излишка; с какою-то странной гордостью уверяет он, что критик на себя большею частью не читает. Еще не было примера, и, вероятно, не будет, чтобы он сознался в самой очевидной ошибке, и ради этой ложной щепетильности готов на всевозможные натяжки (см. хоть, например, примечание к V т. «Истории» его о вере в род и рожаниц)[16]. И для чего? Его ученая репутация так прочна, что подобное признание нисколько бы ее не уронило, а ошибаться — errare humanum est.**. Почему бы не поправить указанной ему И. Д. Беляевым (в «Москвитянине») ошибки, что половцы шли на наши полки густою массою, как бор, лес (аки борове), а не как свиньи, как угодно было Соловьеву[17].

Т. Н. Грановский — любимый и наиболее известный профессор Московского университета. Наделенный от при-

---

* Эта последняя статья есть чистый перевод отрывков из разных иностранных писателей о России, сшитых на живую нитку. (*Прим. авт.*)[18].

** Человеку свойственно ошибаться (*лат.*).

роды счастливою наружностью и несомненным талантом, он остроумен, любезен и обладает уменьем излагать свои рассказы в оживленных и картинных представлениях; слог его мастерский и в лекциях, и в статьях; в нем изящная простота соединяется с задушевностью и теплотой чувства; по убеждениям человек либеральный, но с тактом и умом. Он много читает, имеет прекрасную библиотеку; в обществе весьма приятен и вообще, как человек чрезвычайно образованный, умеет себя держать; как профессор, он заслужил полное уважение; на лекции его собиралось всегда много студентов с разных факультетов; публичные лекции, читанные им три раза (один раз сравнительный курс истории Англии и Франции), посещались москвичами с особенным удовольствием и доставили профессору большую известность. Но необходимо прибавить, что Грановский страшно ленив и не усидчив для строгих ученых работ[19]; все, что он написал, заключается в двух небольших диссертациях и в нескольких журнальных статьях (в «Библиотеке для чтения», «Современнике», «Архиве историко-юридических сведений» Калачова и альманахе «Комета»)[20], которые, конечно, немного внесли в область науки, уже прекрасно разработанной иностранными учеными. Он только мастерски, если захочет, пользуется их трудами. <...> Грановский пристрастен к карточной игре, наследовав эту страсть от своего родителя, и потому вечера проводит за зеленым сукном, подвизаясь в ералаш, крестики и палки; любит он жизнь вести рассеянную, в разъездах по городу; знакомств у него много, и дома его осаждают многие, и студенты, и не студенты; если прибавить к этому дружеские обеды и попойки и всегдашний долгий послеобеденный сон, то, конечно, для ученой работы времени не останется. Сколько стоило ухищрений, чтобы заставить его написать эту небольшую и весьма поверхностную статью, которая напечатана в альманахе «Комета»; тут были пущены в ход и дружеские, и родственные усилия. Время уходит преимущественно в пустой болтовне, в передаче неверных слухов и еще в менее верных пророчествах по поводу политических событий. Как человек, умеющий жить в свете, он не всегда открыто идет против чужого мнения и готов, ради дружбы и знакомства, поддержать своим голосом то, что в другое время сам же осмеял бы. Вообще искренности и откровенности в нем немного. Что хотите предложите — Грановский схватится, по-видимому, с жаром, и, конечно, дело никогда не будет сделано; попросите его за кого-ни-

будь, и он тотчас надает обещаний хлопотать об этом человеке, сыскать ему место или работу (иногда эти обещания дает и без всякой вашей просьбы) — и будьте уверены, что обещаний своих никогда не исполнит, даже не попытается исполнить. От этой распущенности в жизни его прекрасное лицо обрюзгло, живот начинает не в меру выдаваться вперед. Летом он проводит жизнь где-нибудь на даче или в деревне у своих приятелей и тоже мало или почти ничего не делает. Вот уже несколько лет, как ему от министерства поручено составить учебник по всеобщей истории,— труд, представляющий ему большие материальные выгоды; в цензурном отношении обещана ему снисходительность. Но учебник мало подвигается вперед, и будет ли приведен к концу — сомнительно* В своем кружке и в отношении к журналистам он сумел себя так поставить, что все ему поклоняется, все за ним ухаживает, все трубит ему славу. Студенты во время моего университетского воспитания очень любили его за его доступность, снисходительность на экзаменах (иногда уже совершенно излишнюю) и мастерское изложение лекций. Эта любовь особенно обнаружилась на диспуте Грановского на степень магистра. Им была написана диссертация, потом напечатанная в «Сборнике исторических и статистических сведений о России» (издание Валуева) о древних городах: «Волин, Иомсбург и Винета»[21] Профессор славянских наречий О. М. Бодянский загодя уже пророчил Грановскому побиение на диспуте; трудом его он был очень недоволен.

Когда бывали в университете диспуты по предметам истории и другим общеинтересным, то в зал собирались студенты со всех факультетов, являлись и окончившие курс кандидаты, и действительные студенты, приходило много посторонних лиц, между ними бывало и несколько дам. Но никогда, может быть, не был так полон зал, как в этот

* Лекциями Грановский довольно часто манкировал и манкирует, сваливая свой грех на какую-то болезнь. Когда я был на 2-м курсе, случилось, что он прочитал нам одну и ту же лекцию три раза сряду, потому что промежутки между этими 3 разами появления его в университетской аудитории были весьма продолжительны и он успевал забыть, что читал в предыдущий раз. Под конец он так часто манкировал, что мы, не видя возможного окончания его курса и думая о приближающихся экзаменах, а с другой стороны, и недовольные постоянным пропуском лекций, решались перестать остальное время приходить на его лекции. Как нарочно, тогда-то и явился Грановский и, не найдя никого в аудитории, сильно оскорбился и в следующий за тем раз, явившись в аудиторию, сделал нам упрек, что ничем не заслужил такого невнимания, и тем закончил свои лекции. *(Прим. авт.)*

раз; просто зал был битком набит, студенты наполнили даже хоры; на задних местах они повлезали на скамьи и столы, чтобы лучше видеть и слышать.

Когда явился диспутант, его встретили долговременными и единодушными аплодисментами. Аплодисменты вошли в обычай в университете, кажется, с началом публичных лекций, на которых публика Шевырева и Грановского встречала и провожала рукоплесканиями. Начался диспут. Бодянский высказывал свои опровержения с свойственными ему грубыми и вовсе несветскими замашками, заключив свой приговор этими словами: «Диссертация Ваша так недостаточна и так составлена плохо, что я бы от студенческого сочинения потребовал больше». В эту минуту раздалось в зале общее шипение; в последующем споре, когда спорящие разгорячились и Шевырев сцепился с Редкиным по поводу философских идей Августина (как эти философские идеи попали в спор — не понимаю), всякое горячее слово Шевырева и Бодянского было освистываемо с необыкновенным шумом, а противникам их посылались громкие аплодисменты. Бодянский и Шевырев несколько раз обращались со словами: «Это не театр!» — но за эти слова поплатились еще более: свист и шипение положительно не давали им ничего высказать.

По окончании диспута студенты проводили Грановского до его экипажа с восторженными криками. История эта наделала много шума и дошла в Петербург. Граф С. Г. Строганов был на диспуте и выдержал себя с отличным равнодушием; он даже ни разу не оглянулся на студенческие скамьи. Платон Степанович Нахимов с умоляющим видом упрашивал студентов шипеть потише.

На другой день граф Строганов потребовал к себе депутатов от всех факультетов, сделал в лице их выговор всем факультетам, представляя, какие худые могут выйти из этого последствия и как правительство дурно смотрит на подобные протестации, и затем отпустил. Более ничего и не было. А чем бы могла разыграться эта история при другом попечителе — страшно и подумать! После министр Уваров завел было с ним речь об этом происшествии, давая заметить, что он распустил студентов вверенного ему университета, но граф с достоинством отвечал ему: «Я сам был на диспуте!» Тогда же аплодисменты в университете были запрещены, а на диспуты стали допускаться только студенты двух высших курсов — 3-го и 4-го. Впоследствии, уже при Назимове, желающие быть на диспуте должны

были записывать свои имена в университетском правлении и получать оттуда билеты, за подписью ректора.

**** читал логику, придерживаясь Бенике, но, по причине болезни, посещал университет мало; всего прочел он в год лекций 25; изложение его отличалось бессвязностью и неясностью (1855 г.). Сам он чувствовал этот недостаток, потому что почти каждую лекцию заключал словами: «Конечно, для вас это теперь еще не совсем ясно, но мы постараемся выяснить сказанное нами в следущее чтение», но дело оставалось только при обещаниях. В последующие годы читал он психологию, и лекции его хвалили, но я их ни разу не слушал. Затем философские кафедры перешли к духовным лицам...

На 3-м курсе читали ординарные профессора: Ф. Л. Морошкин — гражданское право, С. И. Баршев — уголовное право и Лешков — полицейское право; на 4-м курсе: Морошкин — гражданское судопроизводство, а Лешков — общественное, или международное, право, и адъюнкт Мюльгаузен — финансовое право (которое прежде читал Чивилев); о римском праве я уже сказал.

Морошкин излагал гражданское право и судопроизводство по Своду законов, натягивая русское законодательство на постановления римского права, с которыми любил их сравнивать, и постоянно восхищаясь логикою римского права. Изложение его отличалось особенным, свойственным только ему, языком; он любил пестрить речь рельефными и меткими выражениями и неожиданностию их часто смешил целый курс; при этом брови его обыкновенно подымались на лоб, одною рукою потирал он лысину, а голос, и без того басистый, возвышался; фразы его были отрывисты. Рассуждая о старшинстве близнецов (что иногда признавалось важным при наследстве), он выражался: «Ну, кто прежде вышел на божий свет, тот и старше! Близнецы фронтом не родятся!» Или, описывая процесс, он говорил: «Вот Пахом схватил там какого-то Семпрония за шиворот и потащил в нижний земский суд; он ведет за собой ораву свидетелей, а этот ведет еще больше, ну, станут на суд и начнут поталкиваться». В лекции о моральных юридических лицах он говорил: «Стоит в завещании: а столько-то раздать нищим. Нищим! кому же? Здесь нищие — лицо моральное. Это завещано не тому Пахому, что каждый день стоит у вашего окна и просит милостыню, в лаптях, рукавицах, весь оборванный... нет, это не ему, а

* Так в тексте. *(Прим. сост.)*

нищим — именно кому, не определяется, просто нищим!»

На 4-м курсе он приносил сенатские записки и заставлял студентов решать изложенное в них дело, составляя из них все присутственные и судебные места: уездный суд, гражданскую палату и сенат; тут были и свои судьи, и секретари, и стряпчие, и прокурор; назначались от истца и ответчика поверенные студентов, которые подавали прошения, по доверенности. Мы любили посещать лекции Морошкина, потому что нам было весело слушать его неожиданные выходки. Прежде он читал «Историю русского законоведения», и, говорят, коньком его было казачество, о котором всегда говорил с особенным одушевлением и от которого производил русское дворянство, «лыцарство», к этому предмету любил он возвращаться кстати и некстати. Другим коньком его была ученая страсть всех народов обращать в славян и толковать о великорослости славянского племени, как об особенном характерном и великом его качестве. Он принадлежал той школе славянистов, против которой сражался норманн-Погодин; статьи Морошкина, написанные в этом духе, поразительны своими странностями и нелепостями*. Он почти все европейские народные имена перевел словами: лес, дубина — и все народы обратил в леших, лесных жителей. Здесь есть любопытная выходка у него. Произведя турка от turn (башня) и доказав, что башни были в древности деревянные, он восклицает: «Я не обижусь, если меня назовут турком; да, я турок, потому что я славянин!» По поводу этой лингвистической чепухи, показавшей совершенное отсутствие филологических познаний, Погодин справедливо заметил: «Чем дальше в лес, тем больше дров!»

Морошкин, несмотря на то, что в частной жизни являлся человеком практическим, как профессор имеет (1855 г.) столько странностей, что не оберешься. В лекциях его и в разговорах как-то непонятно путается дельная и мастерски сказанная мысль с совершеннейшим вздором. Кто бы поверил, что речь об Уложении, в которой так много дельного и нового сказано, принадлежала тому же перу, которое написало такие курьезные разыскания о славянах. О странностях Морошкина ходит весьма много характерных анекдотов. На одном литературном вечере, где были и да-

* См. «Россия великогерманская» и «О сочинениях Венелина» в «Отеч. записк.» 1841 года[22]; прибавления к изданному им сочинению Рейца и исследование о происхождении и расселении славян. *(Прим. авт.)*

мы, Морошкин вздумал так занять свою соседку: «А видали ль вы нагого мужчину?» — спросил он у сидевшей подле него девушки. «Нет, не видела!» — «А я видел; и нагую женщину видел. Нагой мужчина — это конь, рьяный, ретивый конь; а нагая женщина — это птица! ну, просто птица!» В другой раз на литературные вечера уже не приглашали остроумного наблюдателя. По окончании же курса в Московском университете маленький ростом Попов (А. Н. — теперь, в 1855 г., служит во II отд. собст. канц. его велич., при графе Д. Н. Блудове) зашел к Морошкину проститься с ним перед отъездом из Москвы. Он уезжал на родину — в Рязань. В то время Морошкин сильно был занят доказательствами в пользу великорослости славян вообще и рязанцев в особенности. Разговорясь о рязанцах, он повторял: «Рязанцы — у! это народ великорослый, коломенской, столбовой, стоеросовый!» Потом, взглянув на Попова, спросил: «А вы тоже из Рязани?» — «Да, я рязанец», — отвечал маленький Попов. «Ну, вы еще вытянетесь!» Будучи сам высокого роста, он им всегда гордился как бог весть каким достоинством*. Морошкин — ярый почитатель дворянства (хотя сам и происходит от сельского дьячка); на лекциях не раз доказывал он, что законы поддерживаются пушками, штыками и квартальным надзирателем. Когда начинает он рассуждать о политике — прелесть! Когда Кошут (после венгерских неудач) явился в Англию и был там принят с торжеством, Морошкин по этому поводу выразился так: «Англию давно подобает наказать за пристанодержательство, дабы впредь не повадно было...» <...>

Он любил вспоминать о профессоре Сандунове, которому, по-видимому, сам старался подражать в манерах и в практических занятиях (по судопроизводству). «Сандунов! (не раз говаривал он) это был человек — практик! это была голова. Все видел и знал! От него никуда не спрячешься. Бывало, вызовет да спросит, так у всякого поджилки трясутся. Попробуй не знать у него или отвечать не

---

* Вот любопытный отзыв его о Кавелине в том же духе: «Кавелин!.. У! Это человек знающий, деловой!.. читал много!.. Ну, а профессором ему быть не следовало!»

— Да почему же, Федор Лукич, — спрашивали его, — вы сами же говорите, что он знающий и начитанный.

— Не спорю, — он — талант! большой талант!.. ну, а профессором быть не может!

— Да отчего же?

— Ростом мал!» *(Прим. авт.)*

дело, так он тебя в бараний рог свернет, с грязью смешает! Вот какой был человек! Голосище здоровенный, говорит — так окна дрожат... ну, просто Юпитер-громовержец... Сандунов — это просто было урожденное превосходительство!»* Увлекаясь личностью Сандунова и стараясь сам прослыть практически знающим юристом, Морошкин любил употреблять подьяческие выражения: понеже и другие — и всегда защищал слово оный: «Вследствие оного отношения... У, это слово! оного — весьма важно!.. Что там ни говори журналисты и какие там насмешки ни подпускай, а юристу это словцо нужно! Оного! очень выразительно! В приказной бумаге без оного обойтись нельзя. Раз написана была так бумага от одного присутственного места в другое: «По получении сего извещения, посланного с канцеляристом Сидоровым, имеете вы его прибить у дверей присутствия и, учинив надлежащее исполнение, донести о сем немедленно»,— что же? Сведение получили, а канцеляриста Сидорова отколошматили у дверей присутствия и послали о сем донесение. А если бы стояло: «Имеете ли вы оное прибить, тогда ясно прибили бы присланное сведение. Это слово важное, да!»

Морошкин любит (1855 г.), чтоб ему отвечали на вопрос скоро и находчиво, и доволен такими ответами, хотя бы они были и некстати. Раз одного студента спросил он, какая была в старину у русских мера? Студент, не зная,

* В университете в мое время мало было воспоминаний о старых профессорах: слышал только анекдотические рассказы о Малове, который будто делил право на нравоучительное, поучительное и нравственное; о Терновском (читал логику), который будто, определив способность воображения, в пример всегда приводил: «Представьте себе, что казак с пикою скачет по карнизу дома — вот вам и воображение». Об одном профессоре философии (Якубович?) рассказывали, что он так определял скептицизм: «Мужик ведет на веревке поросенка, а прохожий, встретив его, говорит: «Полно, так ли? не поросенок ли ведет мужика!» — вот — скептицизм». Еще о Ловецком, профессоре зоологии, рассказывали, что он однажды перепутал листки, по которым читал, и перепрыгнул незаметно с зайца на льва: заяц оказался у него с гривой, когтями, кровожадным и пр.; а явившись на следующий раз, он так поправил ошибку: «Все сказанное мною в прошлый раз о зайце — относи ко льву»,— и затем прочитал снова о зайце — что следовало.

При мне (да и теперь, в 1855 г., кажется) был швейцаром в университете старик Михайло, давно служащий при университете; он был говорливый старик и шутник; со всеми студентами и профессорами (которых почти всех помнит студентами) обращается свободно и попросту. Он рассказывал о старом времени Московск<ого> универс<итета>, что порядка бывало немного: студенты ходили не совсем в опрятных и целых костюмах; в аудитории на лекции приносили с собой закуску и водку; буянство бывало нередко. (*Прим. авт.*)

что сказать, пренаивно отвечал: «Душа — мера!» Морошкин даже подскочил от удовольствия: «Прекрасно сказано! Именно душа — мера!» — и пошел носиться с этой поговоркой, как дурень с писаной торбой, а студенту поставил пять. Припоминаю еще случай. В лекциях своих Морошкин доказывал, что крепостное состояние хотя не есть рабство, но наполовину пораженное рабством и что в России нет собственно всероссийского дворянства, а есть дворянства губернские: московское, костромское и другие, которые имеют потому и свои отдельные собрания, и капитал, и дома. На 4-м курсе двое из моих товарищей, не размыслив, что нужно говорить и чего нельзя, как попугаи проболтали эти мысли, вычитанные из лекций профессора. Попечитель Голохвастов вступился и стал доказывать, что подобные мнения — вольнодумные и несправедливые, и задал распеканцию и тому и другому студенту. Но печальнее всего было то, что Морошкин, вместо всякой защиты студентов, сам напал на них с той же точки, с какой и Голохвастов.

С. И. Баршев (из семинаристов) читал уголовное право слово в слово по изданной им книге, а уголовное судопроизводство по книге брата своего (профессора в С.-Петербургском университете)[23]. Оба брата — люди ограниченные. Наш Баршев излагал свою, столько любопытную, науку весьма поверхностно, сухо, неинтересно и вдобавок наипискливейшим голосом. Он был ленивый, но добрый человек, т. е. не делавший никому ни добра, ни зла. При чтении своих лекций он только тогда одушевлялся, когда речь заходила об участии женщины в преступлении; по его личному мнению, женщину должно было за преступление наказывать вдвое сильнее, нежели мужчину, «потому что, если мужчина пьяный и развратный гадок, то женщина пьяная и развратная вдвое еще гаже!». Либерализм его не простирался дальше квартального, о невежестве которых он позволял себе отзываться открыто, говоря о недостаточности производимых ими следствий по уголовным делам. Фразы свои он строил по немецкому книжному синтаксису и, неизвестно ради чего, имел привычку предложения свои начинать длинным рядом частиц. Иногда лекция его начиналась так: «Так как уже и по тому обстоятельству, что..., и проч...» Примеры такой речи можно читать в его книге об уголовном праве.

Лешков (из педагогического института, был за границей) — профессор, не отличающийся особенною талантли-

востью; лекции его, главным образом там, где прибегал он к общим философским выводам, запечатлены были темнотой и сбивчивостью, и привычка профессора беспрерывно употреблять выражение «и так ясно» нисколько не помогала в этом случае. Говорил он быстро, глотая целые слоги. Предмет свой имел привычку дробить на рубрики и отделы, которые, впрочем, мало имели внутренней связи; хотя и мечтал он создать из полицейского права особую строго определяемую систему, не соглашаясь видеть в нем яму, куда свалили все остатки (в слишком обширных размерах), которым еще ученые не нашли приличного места. Хотелось ему также убедить нас и в действительном существовании международного права, не только в той мере, в какой замечается оно в некоторых немногих общепризнанных положениях, но в самом широком смысле, как будто можно говорить о праве там, где решает сила и война. Лешков доказывал нам, что в настоящее время война даже и невозможна, что пять великих держав все решают с своего согласия и что для властолюбивых замыслов нет уже удачи, ибо против обнаруживания их в одном государстве достаточно грозного слова других членов европейского международного общества. Но в том же году (1855 г.) политические события вполне доказали несостоятельность системы Лешкова. Еще странность: общенародного права он искал с самых древнейших времен истории*

Ф. Б. Мюльгаузен — человек весьма неглупый, довольно начитанный, но несколько ленивый, скучный и сухой; подобных господ весьма характеристически называют словом мямля. Лекции его были очень умны и интересны, но изложение отличалось сухостью; видно было, что он прекрасно воспользовался лекциями немецких профессоров в бытность свою за границей.

О профессорах других факультетов Московского университета могу сказать весьма мало; из них признавались за лучших между студентами: Рулье, профессор зоологии, мастер излагать интересно и общедоступно, но любивший манкировать и гуляка; Линовский (читал сельское хозяйство), убитый вскоре по занятии кафедры своим слугою (мальчишкой), и П. Н. Кудрявцев, который читал древнюю, а теперь (1855 г.), кажется, и среднюю всеобщую историю; П. М. Леонтьев, заместивший Крюкова по кафед-

* В своих лекциях он постоянно касался фактов, предлагаемых памятниками русской истории. *(Прим. авт.)*

ре римских древностей, известен трудолюбием, начитанностью и сухостью изложения.

И. И. Давыдов (теперь, 1855 г., директор педагогического института, председатель II отд. Академии Наук) такой же был на своих лекциях, как и в изданных им книгах «Чтения словесности»; тот же напыщенный метафорический язык, тот же подбор ненужных эпитетов и тот же в сущности пустоцвет. Я раза два слушал его лекции, читанные полякам и состоявшие в критике их сочинений; помню, как о «Ревизоре» Гоголя заметил он, что здесь есть сальные сцены, как, например, Хлестаков ковыряет в зубах, а лакей Осип лежит перед публикою на диване. Как о человеке, о нем носятся самые невыгодные слухи и россказни о его низкопоклонничестве и интригах. Рассказывают, что Лазарева (именем которого назван Восточный в Москве институт) он целовал в плечо; что, женившись на старости лет на молоденькой студентке и произведя на свет сына, он письменно и словесно уверял графа Сергея Григорьевича Строганова, министра Сергея Семеновича Уварова, кн. Сергея Михайловича Голицына и кн. Гагарина, каждого отдельно, что именно в честь его-то и нарек своего сына Сергеем.

О. М. Бодянский занимает (1855 г.) кафедру славянских наречий. Филолог он весьма недорогой; с позднейшими учеными приемами вовсе незнаком и лекции его никогда не отмечались большими достоинствами. Славянские наречия он, конечно, знает, но знания эти не ведут ни к чему; сам же он говорит таким странным и неправильным языком, что в нем как будто слышишь отголоски всех славянских наречий, слившихся воедино ради вавилонского смешения. Упрямый, несколько грубый, он вдобавок еще сильно кос, весьма необтесан и фигурою своею живо напоминает Собакевича, который непременно на что-нибудь наступит или что-нибудь зацепит; входя в комнату, он страшно топает своими аляповатыми сапогами, подбитыми большими железными гвоздями. Эти сапоги, кажется, работает ему не сапожник, разве плотник. Людей угадывать и определять их талантливость он далеко не мастер. На словесном факультете в мое время был горбатый и вонючий уродик Клеванов (потом служил в Моск. глав. арх. мин. ин. дел), господин весьма не такой, чтобы выдумать порох. Он своими нелепыми сочинениями и толками о величии славянщины (что так нравится Бодянскому) так сумел подладиться к нему, что Бодянский присудил ему за три сочи-

нения три золотые медали; Грановский, сколько мне известно, подписывал свое согласие, не читая рассуждений Клеванова, другие едва ли не то же делали или не желали спорить с Бодянским. Клеванов потом выдержал экзамен на магистра по русской истории, написал рассуждение: «История юго-западной Руси»[24], отдельно им напечатанное, и подал его как диссертацию на степень магистра. Но факультет признал это суждение неудовлетворительным, несмотря на поклоны Клеванова у Соловьева и Шевырева. В это время случилась с Бодянским история по Флетчеру[25], и Клеванов перестал к нему ездить. «Теперь он мне не нужен!» — говорил он с наивною откровенностью. С тою же наивностью рассказывал о том, как после долгих хождений к Шевыреву принял его этот профессор.

«Я прихожу к нему, а он собрался куда-то ехать, уж и лошадь подана. Тут мне и сказал он: ваша, говорит, диссертация никуда не годна, просто, говорит, дрянь! Так и сказал при своем кучере и лакее... Я уж хотел было ему сказать...» — «Что ж вы ему сказали?» — «Ничего, я поклонился ему и ушел домой».

Я еще застал в Московском университете профессора Васильева, который вскоре оставил университет. Он читал студентам не юристам законы об учреждениях, читал, или, лучше, диктовал, их по тетрадке, сказывая, где нужно какие ставить знаки препинания. Это был памятник старого времени: его называли все чудаком и еще прямее и невыгоднее отзывались о его голове. Раз мы, юристы, зашли в его аудиторию, но он до тех пор не хотел начать своей лекции, пока не упросил нас оставить его: это упрашиванье продолжалось весьма долго, ибо каждый студент уверял, что жаждет послушать его словес.

После моего ухода из университета место Редкина занял Орнатский (переведен из Харьковского университета), а место Кавелина — Калачов (Н. В.). Об Орнатском ходит много смешных анекдотов; он, например, не решился на лекции, читанной в присутствии вел. князей Михаила и Николая Николаевичей, выразиться «женщина», а заменил это слово выражением: «человек женского пола»; когда к университетскому юбилею студенты пожелали издать портреты профессоров, то он серьезно упрашивал не изображать его в карикатуре, и разные другие анекдоты, свидетельствующие о его ограниченности. Читая государственные законы, он ругается над формами республиканского и конституционного правления.

Калачов — весьма достойный человек и по своему характеру, и по своим обширным сведениям, и трудолюбию необыкновенному; он прежде служил в Моск[овском] глав[ном] архиве мин[истерства] ин[остранных] дел и обыкновенно вставал в 3 утра и занимался самыми кропотливыми работами по своим изданиям. Такая усидчивость у русского человека необычайна. Прекрасные лекции его в университете отличались самою тщательностью и подробною фактическою обстановкою; едва ли кто так заботливо объяснял текст памятников.

На филологическом факультете, который в последнее время (1855 г.), положительно можно сказать, есть лучший, справедливое внимание обращает теперь (1855 г.) Ф. И. Буслаев, труды которого представляют так много нового и полезного и который обещает вскоре издать русскую грамматику, составленную по памятникам и по фактам, представляемым живою народною речью. Его филологическое образование, основанное на результатах знаменитых немецких умов, весьма прочно и едва ли у нас составляет не единственный пример.

Студенты в мое время делились на кружки, которые условливались их общественным положением: кружок аристократов по фамилиям и отчасти по состоянию (здесь преобладал французский язык, разговоры о балах, белые перчатки и треугольные шляпы), кружок семинаристов, кружок поляков и кружок (самый обширный), состоящий из всех остальных студентов, где по преимуществу коренилась и любовь к русской науке и русской народности.

Большая часть студентов жила по квартирам, нанимая небольшую комнатку со столом и прислугою, иногда и чаем; некоторые жили весьма бедно; стипендии, выдававшиеся от университета, и уроки, если не могли ожидать присылок из дома от родителей, были единственными средствами им в жизни.

Москва в это время разделялась на две театральные партии, из которых одна стояла за танцовщицу Андреянову (любовницу Гедеонова, директора театров) и ею восхищалась; другая же из всех сил восторгалась Санковскою и ее балетным искусством. Студенты всегда стояли за Санковскую; они ей поднесли в бенефис серебряный венок, сделанный на собранные деньги, и приветственные стихи. Сколько раз аплодисменты, которыми публика осыпала

Андреянову, были нарушаемы студенческим шипением и сколько раз неистовое хлопанье студентов встречало и провожало их любимицу. Какой-то санковист (только не студент) дошел до того, что бросил из райка на сцену во время танцев Андреяновой издохнувшую кошку, за что и был выслан из Москвы.

По окончании курса в Московском университете и после некоторых неудачных попыток найти место* я наконец в ноябре 1849 года поступил на службу в Московский главный архив министерства иностранных дел[26].

* Между прочим, обращался я и к Морошкину, как директору практической коммерческой академии; здесь открывалось место учителя законоведения. Он мне откровенно сказал: «Я уж имею в виду посадить на это место своего родственника!» — потом усадил меня и начал потчевать своими отзывами о других профессорах. Помню, что о Крылове отозвался он: «Никита — себе на уме! Э! Никита не промах!», а о Кавелине: «Это — гвоздь — куда хочешь можно вбить — везде пригодится». (*Прим. авт.*)

ИЗ ПИСЬМА ПОЭТА А. Н. ПЛЕЩЕЕВА К ПЕТРАШЕВЦУ С. Ф. ДУРОВУ

Москва, 26 марта 1849 года

Carissime*, Сергей Федорович,

исполняю обещание свое и шлю вам эпистолу** Я уже написал раз Федору Михайловичу Достоевскому, не знаю, дошло ли до него мое письмо, а если дошло, то говорил ли он вам о нем и передал ли от меня поклон всем моим добрым знакомым, собирающимся у вас по субботам. Веду я жизнь такую же, как и в Петербурге, также нашел здесь хороших людей, разделяющих мой образ мыслей; вежливо и даже ласково принимающих меня к себе, но все чего-то недостает мне. Весь этот город, огромный и людный, кажется мне чем-то диким, с своими нелепыми расстояниями, с своим бесконечным медным гулом, и как-то ужасно скучно становится, когда пойдешь бродить по его подлым тротуарам, на которых можно каждую минуту споткнуться и расквасить себе нос. Все чувствую я себя так не на месте в этих кружках, с которыми я, кажется, симпатизирую понятиями...

...Перехожу к умным людям. Их здесь много. Все они, как выразился кто-то, лежат за общее дело. Впрочем, есть и такие, которые делают. К этим людям я отнесу Грановского и Кудрявцева, профессоров истории в университете; они оба превосходно читают и имеют большое влияние на студентов. Они обходятся с студентами, как с равными себе, зовут их на дом, дают им книги и вообще стараются развить в них хорошие семена. Я всю эту неделю ходил к ним на лекции и попал очень счастливо, на интересные

---

* Дражайший (*итал.*).
Письмо. (*Прим. сост.*)

эпизоды, составлявшие нечто цельное; я буду иметь, вероятно, их записки.

Соловьев также очень дельный профессор, читает теперь эпоху Петра, что было для меня также весьма любопытно; но он не любим студентами и считается гордецом.

С Грановским и Кудрявцевым я познакомился и был у них. Грановский человек чрезвычайно живой, энергический, бойкий, вечно держащий оппозицию здешнему университетскому начальству, которое до того подло и гнусно, что трудно вообразить себе. Попечитель Голохвастов ненавидим всеми. Чтобы показать вам, что это за человек, приведу вам один факт: он на днях не удостоил учительского звания одного молодого человека, прекрасно выдержавшего экзамен, за то, что он по метрическому свидетельству оказался сыном дворовой девки?! И таких фактов не мало найдется. Но так же, как всеми любим Грановский, так презираем профессор Шевырев — педант и низкопоклонник, друг всех генерал-губернаторов, распоряжающийся маскарадом графа Закревского, у которого он в передней сидит вместо конторщика и записывает, кто желает участвовать. Ничего не может быть пакостнее хари Шевырева, какой-то паточной, приторной, но на которой подлость написана не санскритскими буквами. Крест висит до пупа. Даже всем обществом московским Шевырев и Погодин презираемы, как у нас Булгарин и Греч, да и не велика между ними разница. Рукописная литература в Москве в большом ходу. Теперь все восхищаются письмом Белинского к Гоголю[1], пиеской Искандера «Перед грозой»[2] и комедией Тургенева «Нахлебник»[3]. Все это вы, вероятно, будете читать.

Сеченов И. М.

В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1850 — 1856 гг.)

Остановились мы на каком-то подворье, недалеко от Охотного ряда, и почти сейчас же отправились вдвоем отыскивать квартиру поблизости к университету. На Моховой, почти против университета, отдавалась в надворном флигеле комната у торговца яблоками, но она оказалась неподходящей — пришлось бы и господину и слуге жить в одной комнате. Пошли по Никитской и нашли квартиру в Хлыновском тупике, в церковном доме Николы Хлынова, у пономаря этой церкви. Квартира была в первом этаже и состояла из двух комнат: полутемной прихожей и кухни вместе и комнаты в два окна, с окнами в переулок. Последняя комната была разделена сплошной перегородкой, и в одной половине ее поселился я, а Феофан Васильевич в той части первой комнаты, которая служила прихожей. Он был башмачник по ремеслу, но до приезда в Москву не занимался своим искусством — в Киеве он наживал деньги набивкой папирос для офицеров. Здесь же, вскоре после нашего прибытия, в его комнате завелись все принадлежности башмачного искусства, и он засел за башмаки для церковных дам Николы Хлынова. Шил он, очевидно, очень дешево и крепко и сумел, вероятно, услужить хозяевам чем-нибудь другим, потому что хозяйка взялась варить нам наш немудрый обед из нашего материала бесплатно.

Для меня это было очень важно, потому что в этом и следующем году приходилось сильно экономить: из 300 р., получавшихся от матери, нужно было вносить в университет 50 р., уплачивать часть долга и покупать книги (помню с достоверностью, что в 1-й же год у меня был анатомический атлас Бока и зоологический Бурмейстера). Не знаю, как ухитрялся Феофан Васильевич — забота о прокормле-

нии лежала на нем,— но еда нам обоим в течение месяца обходилась редко дороже 5 рублей* Возможно, что он питался на свои деньги или даже прикладывал их к моей пище, потому что отношения между нами были приятельские и он любил меня. Весь этот год я находился в сильно повышенном настроении, ходил только на лекции в университет, а дома сидел за книгами до позднего вечера. Единственное окно моей полукомнаты выходило в переулок и было настолько низко от земли, что ребята повадились заглядывать ко мне с улицы в окно. Это побудило меня завесить нижнюю часть окна занавеской, и она не снималась вплоть до отъезда на другую квартиру. Помню, что эта неважная обстановка нисколько не тяготила меня — был постоянно занят, сыт, и комната была теплая. Куда хуже живут и теперь многие студенты...

Когда я пришел в канцелярию университета с вопросом, что делать, чтобы меня приняли студентом на медицинский факультет (в октябре), мне, конечно, ответили, что теперь, подав просьбу ректору[1], я могу записаться лишь вольным слушателем, а в студенты могу быть зачислен лишь в будущем году, по выдержанию вступительного экзамена. Нечего делать, поступил вольным слушателем, с мыслью посещать лекции 1-го курса и готовиться исподволь к вступительному экзамену. Анатомию читал тогда профессор Севрук ежедневно с 8 до 10 утра; поэтому первая лекция, на которую я попал, была его. Прихожу и слышу, к немалому моему огорчению, что он читает по-латыни. Меня это, конечно, озадачило, потому что в памяти из детских лет осталось только уменье читать по-латыни, склонение таких простых вещей, как mensa, да разве еще нескольких времен из глаголов. Вскоре, однако, опасения рассеялись, когда я приобрел учебник анатомии и атлас, особенно же когда дело дошло на лекциях до миологии, потому что здесь все дело сводилось на описание начала и конца мышц в следующей неизменно повторяющейся форме: такая-то мышца (имярек incipitur ab...) (какой-нибудь выступ на кости), adseritur... (выступ на другой кости).

Как бы то ни было, но пришлось подумать об изучении латинского языка, а в какой степени нужно было изучить

* Обед мой, впрочем, соответствовал такому расходу: два раза в неделю щи с куском говядины, в прочие дни: 6 яиц всмятку, колбаса, гречневая каша с молоком, картофель с квасом и огурцами. Чай я пил только раз в две недели после бани, а утром съедал калач из муки 2-го сорта в 1 $1/2$ коп. Изредка лакомился яблоком боровинкой, и вкус к этому яблоку сохранился у меня доселе. (*Прим. авт.*)

его для вступительного экзамена и для дальнейших университетских лекций, я не знал. Выручило меня из этого затруднения знакомство со студентом-филологом Дмитрием Визаром, научившим меня, как приняться за дело. Он был в одно из предшествующих лет в наших краях на кондиции в семействе, знакомом моим домашним, и я узнал о его существовании дома, перед отъездом в Москву; встретился же с ним у другого студента — юриста Самойлова, родственника тех, где он учил. Оба они приняли, конечно, участие в желавшем учиться отставном инженере[2], и я стал бывать у них. Отец Дмитрия Визара, старик-француз, был учителем французского языка в институте при воспитательном доме, имел казенную квартиру и жил с двумя старшими сыновьями и двумя дочерьми, а мать держала маленький пансион около Донского монастыря и жила в тех краях с младшим сыном. С этой семьей я прожил в величайшей дружбе все 6 лет моего пребывания в Москве и обязан ей очень многим... В семье царствовало поклонение Грановскому — одно время Дмитрий Визар был даже его домашним секретарем, а старшая из сестер жила некоторое время в семействе Фролова (переводчика «Космоса» Гумбольдта), близкого друга Грановского...

* * *

Лето 1851 г. я прожил в Хлыновском тупике, готовясь к вступительному экзамену. В латыни преуспел настолько, что, прочитав почти все «Метаморфозы» Овидия, обращался к Визару за помощью лишь изредка. По истории готовился по учебнику Лоренца, который был дан мне кем-то на столь короткий срок, что я должен был делать из него выписки. Занятия эти отняли вообще столько времени, что я уже давно свыкся с мыслью поступить, по выдержании экзамена, на 1-й курс.

Из маленьких эпизодов на экзаменах помню следующие. По истории экзаменовал Грановский: отвечал я, должно быть, неважно; экзаменатор все время молчал и поставил мне 4. По русскому языку требовалось написать сочинение на тему «Любовь к родителям». Я написал о значении матери для Шиллера и Гете. Экзаменатором был Буслаев. Прочитав мое сочинение, он спросил меня, читал ли я Гете и Шиллера, и, получив удовлетворительный ответ, поставил мне 5. По математике экзаменовал профессор Зернов (отец теперешнего анатома). Помню, что я вытянул билет о

подобии треугольников. В эту минуту подле Зернова сидел тогдашний декан медицинского факультета Анке, который имел неосторожность заметить: «Чего экзаменовать г. Сеченова, ведь он инженер». На это Зернов осерчал: «Если хотите, я экзаменовать не буду». Анке, конечно, поспешил исправить ошибку, и условия подобия треугольника были изложены удовлетворительно. Из латыни заставили перевести несколько строчек из Саллюстия.

По окончании экзамена мы с Феофаном Васильевичем перебрались в новую квартиру на Патриаршем пруде в доме с мезонином, выходившем передним фасадом на пруд... Квартира наша состояла из двух комнат и передней, моя выходила окном на пруд. Когда, после года жизни в полутемной комнате, успокоенный от экзаменационных тревог, я открыл впервые это окно, Патриарший пруд показался мне, я думаю, краше виденных мною впоследствии швейцарских и итальянских пейзажей. Помню, что окно это долго служило для меня источником наслаждений..

* * *

Теперь расскажу, как нас учили на первых двух курсах. Кроме анатомии и богословия, на 1-м курсе преподавались одни естественные науки: физика, химия, ботаника, зоология и минералогия.

Профессор анатомии Севрук был анатом старого закала. Читая по-латыни, он не мог, конечно, вдаваться в рассуждения; гистологию (тогда отдельной кафедры гистологии еще не существовало) не только оставлял в стороне, но даже относился к ней скептически (это мы слышали не раз на его лекциях); поэтому он неизменно оставался в сфере точного описания макро-анатомических подробностей человеческого тела. В этих пределах он был хорошим преподавателем и — что очень важно — прочитывал в течение года все отделы анатомии с одинаковой подробностью (не так, как это делается теперь); потому-то к следующему году его слушатели были уже приготовлены к занятиям анатомической практикой по всем отделам анатомии...

Физика (проф. Спасский, автор «Климата Москвы») читалась очень элементарно (полный курс в один год) и с очень малым количеством демонстраций, потому что аудитория была не приспособлена к этому — в большой зале (так называемая большая аудитория во 2-м этаже с парадного входа), без амфитеатра для слушателей, стоял

на большом возвышении небольшой стол и больше ничего. Учились мы по учебнику Ленца.

В той же аудитории и за тем же столом восседал добрейший профессор ботаники Фишер ван Вальдгейм. Читал он невыразимо скучно, по какому-то древнему французскому учебнику (кажется, Ришара) и, в противность протоиерею Терновскому, относился к порядкам в аудитории индифферентно. На лекции к нему ходили вместо ста человек с лишком, не более десяти — пятнадцати, и за весь год мы слышали от него только раз следующее наставление: «Quidquid agas finem respice utbene agis»* да еще стереотипную фразу: «Tres faciunt collegium»** (которую он произнес, впрочем, с улыбкой, потирая, по обыкновению, руки, в начале лекции), когда раз число слушателей сократилось до трех. Его добротой немилосердно злоупотребляли на экзамене, отвечая не по вытянутым, а по собственным билетам.

Зоологию преподавал нам адъюнкт Варнек. Читал он просто и толково, останавливаясь преимущественно на общих признаках принятых в зоологии отделов, и описанию одноклеточных предпосылал длинный трактат о клетках вообще. Последнее учение падало, однако, на неподготовленную почву — Москва еще не думала тогда о микроскопе; поэтому между студентами Варнек не пользовался успехом, а в насмешку — они даже прозвали его клеточкой***. Тогда восторги были обращены в сторону профессора зоологии Рулье, который любил философствовать на лекциях и читал очень красноречиво.

Минералогия читалась Щуровским без кристаллографии и в таком виде, что об его лекциях ничего не осталось в памяти.

Практическими занятиями в анатомическом театре заведовал добрейший прозектор Иван Матвеевич Соколов (Севрук на эти занятия не заглядывал). Я и двое товарищей по курсу, Юнге и Эйнбродт, занимались у него не только по утрам, в назначенные для всех часы, но и по вечерам, что допускалось. Вечером вместе с нами работал и сам Иван Матвеевич, приготавливая препарат к следующему дню на лекцию Севрука. Делу своему он предавался

* Что ни делаешь, имей в виду конец (цель), чтобы делать хорошо (*лат.*).

** Трое составляют (образуют) общество (коллегию) (*лат.*).

*** Много позднее я узнал, что Варнек и известный ботаник Ценковский были из числа первых русских биологов, работавших в те времена с микроскопом. (*Прим. авт.*)

с большой любовью, отделывал препараты с величайшей тщательностью, стараясь придавать им красоту, с каковой целью отпрепаровывал налитые кровеносные сосуды до едва видимых глазом веточек и смазывал мышцы кровью. Был вообще, как прозектор того времени, на месте. По выслуге Севрука (уже после моего выхода из университета) сделался профессором анатомии и даже читал один или два года физиологию (по выбытии из университета проф. Глебова), но, прослужив 25 лет, не был избран на пятилетие и остался без дела. В этом положении он поехал в Петербург хлопотать о месте и, будучи без всяких связей, обратился к Боткину и ко мне (мы были тогда профессорами медицинской академии) с просьбой помочь ему в приискании места. К своей просьбе бедный Иван Матвеевич прибавлял: «Привыкнув всю мою жизнь анатомировать, я полез на стену, когда остался без дела: от скуки начал даже анатомировать жуков и тараканов».

Кроме практических занятий по анатомии, нам читали на 2-м курсе органическую химию, сравнительную анатомию, физиологию, фармакогнозию, общую патологию и терапию и, кажется, на этом же курсе, энциклопедию медицины.

Сравнительную анатомию и физиологию читал профессор Иван Тимофеевич Глебов (перешедший, по выслуге лет, в Петербург вице-президентом медицинской академии), человек, несомненно, очень умный и очень оригинальный лектор. Излюбленную им манеру излагать факты можно сравнить с манерой судебного следователя допрашивать обвиняемого. Именно существенный вопрос, о котором заходила речь, он не высказывал прямо, а держал его в уме и к ответу на него подходил исподволь, иногда даже окольными путями. Как человек умный, свои постепенные подходцы он вел с виду так ловко, что они получали иногда характер некоторого ехидства. Таков же он был и на экзаменах, вследствие чего студенты боялись его как огня,— мне даже случилось раз видеть на экзамене одного из своих товарищей спрятавшимся под скамейку, чтобы не быть вызванным после погрома, претерпенного его предшественником по алфавиту*. Ехидная манера экзаменовать

* В этом году много разговоров между студентами возбудил экзамен у Глебова на звание доктора, младшего прозектора по анатомии, Б. Вытянул он очень простой билет о свертывании крови, но, должно быть, сильно оробел, потому что, сказав «если возьмем палочку» (этими словами начинался в записках Глебова трактат о свертывании крови), замолчал и не смог ответить на последовавшие затем два воп-

была нам, конечно, не по сердцу, но соответственная манера читать лекции не могла не нравиться, и лично для меня Иван Тимофеевич был одним из наиболее интересных профессоров. Из сравнительной анатомии нам сообщались лишь отрывки (органы пищеварения, кровообращения, дыхания и локомоции), но они сами по себе, как вся вообще сравнительная анатомия, настолько красивы и излагались настолько ясно, что на 2-м курсе я мечтал в будущем не о физиологии, а о сравнительной анатомии. Дело другое, если бы Иван Тимофеевич читал физиологию по существовавшему уже тогда знаменитому учебнику Иоганна Мюллера: но этого не было — он, очевидно, придерживался французов.

Это я заключаю из того, что в его лекциях и помина не было на то, что физиология есть прикладная физико-химия, а также из того, что лягушка не являлась на демонстрациях и ничего не говорилось об электрическом раздражении нервов и мышц, хотя Германия давно уже была полна этих опытов (в 1850 г. явилось знаменитое измерение быстроты распространения возбуждения по нерву великого Гельмгольца). Из его лекций мы не узнали даже такого факта, как остановка сердца возбуждением блуждающего нерва.

Единственные опыты, которые остались у меня в памяти: убитая на наших глазах вдуванием воздуха в вены собака, демонстрация на ней млечных сосудов и длинный ряд голубей с булавочными проколами головного мозга (проколы производились ассистентом Глебова, Орловским), которые раздавались нам, с тем чтобы мы описывали произведенные операцией нарушения локомоции и чувствительности.

Фармакогнозию читал проф. Лясковский и, вероятно, скучал на этом мало занимательном для него предмете (он, как известно, учился за границей, в Гессене, у Либиха, и занимался у него проверкой протеиновой теории Мульдера), потому что прочел нам с демонстрациями полный курс качественного анализа.

Органическую химию читал Говортовский.

В область медицины вводил нас профессор патологической анатомии Алексей Иванович Полунин, читавший на 2-м курсе раз в неделю очень маленький курс общей па-

роса профессора: что же будет, если взять палочку, и что будет, если не взять палочку? Не получив ответа на последний вопрос, профессор показал в списке рядом с его фамилией единицу и сказал ему: «Вот что будет». *(Прим. авт.)*

тологии и терапии... Как ученик Рокитанского, Алексей Иванович был приверженец гуморальной патологии, и лекции его заключались, в сущности, в перечислении установленных венской школой общих методов лечения, в рассуждения он вообще не любил пускаться.

У студентов-медиков Алексей Иванович считался едва ли не самым ученым из медицинских профессоров; издавал, кажется, медицинскую газету, бывал чуть ли не на всех диспутах (которые велись тогда на латинском языке) оппонентом и слыл вообще крайне требовательным работником... Что же касается до трудолюбия Алексея Ивановича, то я имел случай слышать похвалу ему в этом направлении от его товарища по университету, профессора детских болезней Николаева. Сей последний был домашним врачом в доме Данилы Данилыча Шумахера и, рассказывая там о своем студенчестве, упомянул, между прочим, что он и Алексей Иванович были не только однокурсники, но даже учились вместе. По его словам, ученье давалось Алексею Ивановичу вообще туго, но он все превозмогал настойчивым трудом и терпением. Так, в родах механизм прорезывания головки при выходе из таза не давался ему недели две, но, в конце концов, он все-таки преодолел. Я был свидетелем этого рассказа и удостоверяю, что он был проникнут искренним намерением Николаева воздать хвалу своему товарищу.

Профессор Армфельд, читавший нам энциклопедию медицины, производил на своих лекциях впечатление очень умного и образованного человека, держал себя джентльменом, говорил спокойно, ровным голосом (даже несколько монотонно) и так, что речь его, будучи записана слово в слово, могла бы быть напечатана без поправок. Помню, что в общем смысл его лекций был таков: упомянув о добровольно принятой нами и предстоящей в будущем святой обязанности служить больному человечеству, он обозревал преподаваемый нам круг наук как средство достижения цели и обещал честно потрудившимся в награду чувство исполненного долга, а отличившимся — учиться за границей...

На первых двух курсах я учился очень прилежно и вел трезвую во всех отношениях жизнь, а с переходом на 3-й курс свихнулся в самом начале года в сторону и от медицины, и от трезвого образа жизни. Виной моей измены медицине было то, что я не нашел в ней, чего ожидал,— вместо теорий голый эмпиризм.

Первым толчком к этому послужили лекции по частной патологии и терапии профессора Николая Силыча Топорова — лекции по предмету, казавшемуся мне самым главным. Он рекомендовал нам французский учебник Гризолля и на своих лекциях очень часто цитировал его словами «наш автор». Купив эту книгу, начинавшуюся, сколько помню, описанием горячечных болезней, читаю... и изумляюсь — в книге нет ничего, кроме перечисления причин заболевания, симптомов болезни, ее исходов и способов лечения, а о том, как из причины развивается болезнь, в чем ее сущность и почему в болезни помогает то или другое лекарство, ни слова. Думаю: видно, Николай Силыч и Гризолль устарели, пойду-ка я к медицинской звезде Алексею Ивановичу Полунину и спрошу его, по какой книге мне учиться. Алексей Иванович, действительно, не одобряет Гризолля и говорит мне: «Возьмите сочинение Канштатта». Бегу к единственному тогда немецкому книготорговцу Дейбнеру (кажется, на Б. Лубянке) и узнаю там, что сочинение Канштатта стоит ни много ни мало 30 руб.,— это для студента, живущего на гроши! Нечего делать, остался при Гризолле, и благо мне, потому что узнал вскоре, что у Канштатта не много по части интересовавших меня вопросов. Нужно, впрочем, отдать справедливость лекциям Николая Силыча: для тех, кто не ожидал от него, как я, теории болезней, они могли быть даже поучительны, потому что, будучи большим практиком, он много говорил о виденных им интересных случаях.

Понятно, что и на лекциях фармакологии и рецептуры, читавшихся на латинском языке нашим деканом Николаем Богдановичем Анке, не было речи о том, как действуют лекарства на организм,— экспериментальная токсикология только что начинала развиваться в это время в Германии: в самом счастливом случае говорилось лишь о том, против каких симптомов болезни употребляется данное средство; обыкновенно же описание заканчивалось фразой: такое-то вещество maxime laudatur в таких-то болезнях. Хорошо еще, что Николай Богданович строго придерживался в своих лекциях рекомендованного им немецкого учебника Oesterlen'а. Приобретя таковой, как сделал я, изучение фармакологии можно было отложить до весны следующего года, т. е. до времени переходных экзаменов. Но для тех из товарищей, которые уже мнили себя будущими практиками, лекции фармакологии были очень важны: они тщательно записывали диктовавшиеся рецепты и дозы; некото-

рые же прямо-таки увлекались приобретенным уменьем писать рецепты с подписью своего имени латинскими буквами.

Третий предмет на 3-м курсе читал профессор Басов (имени не помню), известный... тем, что первый в Европе сделал желудочную фистулу собаке (с какой целью, не знаю). Читал он по собственным литографированным запискам, где все, относившееся к болезни, было разбито на пунктики под номерами. Случалось, что звонок, кончавший лекцию, останавливал ее на 11-м пункте перечисления болезненных симптомов. Тогда в следующую лекцию Басов, сев на кресло, почешет нижнюю губу, улыбнется и начинает 12-е... т. е. начинает с пунктика, до которого была доведена предшествующая лекция. Нужно ли говорить, что чтения происходили без всякой демонстрации и без малейшего повышения тона. С таким же характером читалась им и офтальмология. Чтобы показать, как действует рука оператора при операции снятия катаракты, он завертывал губку в носовой платок, придавал этому объекту, зажатому в левой руке, шарообразную форму, а правой рукой производил все оперативные эволюции. На докторском экзамене у него я чуть не провалился. Досталась мне иридектомия, и все пунктики до последнего были перечислены; но последний выпал из памяти, и я остановился. Последовал вопрос: «Еще что?» Думал, думал, и, наконец, меня озарило: «Рвота». Это был последний пункт в его учении о последствиях иридектомии, не постоянный, но иногда случающийся и очень опасный.

Таково было мое первое знакомство с так называемыми главными теоретическими медицинскими предметами, разочаровавшее меня в медицине как науке. К изучению их интереса у меня не было; руководства по всем трем предметам для предстоящих в будущем экзаменов имелись, и я стал заниматься посторонними вещами.

В этом году, чуть не рядом с аудиторией (в новом здании), где читали Топоров, Анке и Басов, читалась Петром Николаевичем Кудрявцевым история Реформации; я и прослушал весь этот курс с таким же восхищением, с каким читал позднее его «Римских женщин по Тациту», в «Пропилеях», изданных Леонтьевым. Помню, как теперь, его худое, бледное лицо, неопределенно устремленный в пространство, словно вдохновенный взгляд и его тихую красивую речь, когда он описывал борьбу в душе монаха-аскета Лютера. Грановского я слышал всего один раз,

но он произвел на меня далеко не такое впечатление, как Кудрявцев... Жаль, что я не записывал тогда своих впечатлений,— теперь, через 50 лет, от них остались на душе только слабые тени.

Освободивши себя на 3-м курсе от занятий медициной, я принялся изучать психологию. К числу обычных воскресных посетителей семейства Визаров принадлежал студент естественного факультета Михаил Иванович Иванов, великий почитатель Рулье. От него я узнал о существовании немецкого психолога Бенеке, сочинения которого были, так сказать, водворены в Московский университет Катковым, заинтересовали Рулье и стали предметом увлечения почитателя последнего, Михаила Ивановича. Рассказы его возбудили и во мне интерес к психологии; я купил два сочинения Бенеке: «Psychologische Skizzen» и «Erziehungslehre» и засел за первое из них столь упорно, что погрузился по уши в философские вопросы, до того, что меня начали наконец дразнить у Данилы Даниловича Шумахера, будто я доказываю, по Гегелю, что свет и тьма одно и то же. Как бы то ни было, но, начитавшись Бенеке, где вся картина психической жизни выводилась из первичных сил души, и не зная отпора этой крайности со стороны физиологии, явившегося для меня лишь много позднее, я не мог не сделаться крайним идеалистом и оставался таковым вплоть до выхода из университета...

На 4-м курсе я перестал кутить и стал исправно посещать клиники на Рождественке. Здесь нам давали больных на руки, как кураторам, и мы должны были вести истории болезни на латинском языке. Поэтому в наших историях фраза «Status idem» встречалась, я думаю, гораздо чаще, чем следовало, тем более что нашими записями профессора едва ли интересовались, а тогдашние ассистенты клиник и того меньше, так как им не было никакого дела до занятий студентов. Сверх кураторства, в терапевтической и акушерской клиниках было заведено дежурство студентов, но настолько необязательное для каждого, что мне, например (я был, впрочем, не студентом, а вольным слушателем), ни разу не довелось дежурить ни там, ни здесь.

Директором терапевтической клиники был знаменитый тогда московский практик Овер — особа, увешанная несметным количеством орденов, но не показывавшая и носа в свою клинику. За весь год он прочитал нам у постели больного одну лишь лекцию, да и ту на латинском языке. Клиникой заведовал его адъюнкт Млодзеевский.

В эту клинику мы приходили в 8 часов утра и ожидали профессора в комнате, служившей аудиторией. Млодзеевский садился перед нашими скамьями, рядом с ним стоял дежуривший в предшествующий день студент, и начинался доклад последнего о поступивших в его дежурство новых больных; при этом надо было описывать телосложение и возраст больного, его образ жизни и занятия, вероятную причину заболевания, найденные признаки болезни и назначенное лечение*. За сим начинался профессорский обход, в сопровождении ассистента и студентов. Если в положении старого больного замечалась, со слов ассистента, важная перемена, то профессор проверял сказанное, а наиболее интересного из новоприбывших исследовал в нашем присутствии, ставил диагноз и назначал лечение. В этом, собственно, и заключалось все наше обучение. Существовавшему в те времена единственному способу (разумеется, кроме смотрения на языке и щупания живота и пульса рукой) исследования больного, выстукиванию и выслушиванию груди, нас учили в этой клинике на словах, во время обхода, предоставляя нам упражняться в обоих искусствах самостоятельно, без всякого руководства. С этой целью многие студенты ходили в клиники в послеобеденное время и немало мучили больных. Если же между больными женщинами случались молодые московские мещанки, то к любителям аускультации и перкуссии присоединялись любители женского пола и доводили этих пациенток до глупейшего жеманства и жантильничанья. Я имел несчастье быть куратором такой особы, относившимся к ней без галантерейности. За это она платила мне чуть не презрением и отвечала на мои вопросы о здоровье с такой неохотой, что раз я был вынужден даже заметить ей, что беспокою ее своими вопросами по обязанности и она должна отвечать мне, как приставленному к ней куратору.

Директором хирургической клиники был Федор Иванович Иноземцев, самый симпатичный и самый талантливый из профессоров медицинского факультета. Он принадлежал

* Не могу не вспомнить одного очень оригинального доклада, сделанного нашим товарищем, студентом Б., кавказцем. Пока речь шла о мужчинах, дело шло благополучно; но в последнем докладе о женщине оказались пропуски, вызвавшие со стороны профессора замечание, что в болезнях женщин играет очень важную роль половая жизнь, и ряд соответственных вопросов: «Больная — девица или замужем?» — «Замужем».— «Есть у нее дети?» — «Есть».— «Когда был последний ребенок?» — «Перед свадьбой». Много позднее я тем не менее слышал, что Б. имел хорошую практику в Тифлисе. *(Прим. авт.)*

к тем хирургам, которые ставят операцию не на первый план, а рядом с подготовлением больного к ней и последовательным за операцией лечением. Поэтому он проповедовал, что хирург должен быть терапевтом. На его клинических лекциях мы впервые услышали, что в известные эпохи всегда господствует определенный Genius morborum, составляющий основную черту всех вообще заболеваний. Так, во времена Брусса господствовал, по его словам, воспалительный тип, а в настоящее время наблюдается преимущественно плохое питание тела, с катарами слизистых путей, следовательно, страдает у всех вообще людей заведующая питанием узловатая система. Последнюю мысль Федор Иванович вынес, очевидно, со школьной скамьи, но как он дошел до связи катаров со страданиями симпатического нерва, я не знаю. Во всяком случае он веровал упорно в эту мысль и упорно кормил всех пациентов своей клиники нашатырем, как антикатаральной панацеей, говоря иногда на лекциях, что его даже дразнят «салманикой» (в рецептах нашатырь назывался по латыни Sol. ammoniarum). Хотя мысль о влиянии симпатического нерва на питание тела и была в ту пору, когда Федор Иванович возводил перед нами страдание узловатой системы в Genius morborum, скорее расшатана, чем доказана физиологическими исследованиями, но, как хирургу и старому практику, ему было извинительно не знать этого; следовательно, составленная им теория была не хуже других медицинских теорий и во всяком случае свидетельствовала в Федоре Ивановиче мыслящего врача, задающегося серьезными вопросами. В ту же сторону говорила и изданная им книга о молочном лечении.

С виду скорее француз, чем русский (он был, кажется, женат на француженке), живой по природе, он иногда увлекался на клинических лекциях, и тогда фразы получали у него порывистый, восклицательный характер и произносились с французским шиком. Хорошее впечатление от всей его фигуры и речей усиливалось крайне ласковым и участливым его отношением к больным, для которых у него не было другого имени, как «дружок» или «мой милый».

На лекциях оперативной хирургии он был совсем другой человек, читал скорее монотонно, чем живо. Кафедры топографической анатомии тогда не было, и ему приходилось описывать послойную топографию различных областей тела. Каков он был хирург, нам не довелось узнать, потому что в этом году не случилось ни одной важной операции, а

неважные он отдавал своему адъюнкту. Адъюнктом его был Иван Петрович Матюшенков, хорошо известный нам по амбулаторным приемам при клинике Иноземцева и как лектор малой хирургии. Из всех наших учителей он один был способен производить на студентов комическое впечатление резким контрастом между его фигурой и ухватками грубого, мало образованного бурсака и видом учености, который он налагал на себя в нашем присутствии, при исполнении им официальных обязанностей. Маска эта так не шла к его внутреннему содержанию, что вместо задуманной ученой серьезности получалась гримаса угрюмой озабоченности, переходившей минутами в свирепость (был, впрочем, по природе не злым человеком). Особенно резко сказывались эти контрасты на амбулаторных приемах, где он являлся деятелем и учителем. Амбулаторией служила небольшая комната без скамеек, что побуждало студентов становиться в два ряда коридором, по всей длине комнаты, прямо от входной ее двери. В голове коридора стоял стол с инструментами и Иван Петрович, с полотенцем через плечо, хмурым, озабоченным лицом и наклоненной головой. Больных впускали в коридор поодиночке, и в промежутке между их входами Иван Петрович ходил по длине коридора взад и вперед, рассказывал нам, что мы видели и что он сделал. Когда в коридоре появлялся больной с ногтоедой на руке, что случалось наиболее часто, Иван Петрович, осмотрев руку и возвращаясь от больного к столу с инструментами, говорил походя, ни на кого не глядя: «Тенеатис форциус» (выписываю эту фразу нарочно по-русски, чтобы читатель понял, как Иван Петрович говорил по-латыни); ближайшие к больному студенты становились по его бокам, Иван Петрович, держа правую руку с ножом за спиной, вновь подходил к больному, говоря ему ласково: «Покажи, матушка, руку»; делал знак студентам головой, те схватывали больного, и в комнате раздавался обыкновенно раздирающий душу крик. После этой операции Иван Петрович неизменно говорил: «В таких случаях, матушки, всегда нужно прорезывать палец до кости».

На лекциях малой хирургии ему следовало бы читать о вывихах и переломах, но об этом важном предмете и речи не было, и время посвящалось больше всего накладыванию бинтом на фортоме различных повязок. В его курс входило, между прочим, описание процедуры перевязки сосудов, и этому предшествовало описание лигатур: «Лигатуры, матушки, бывают двух родов — животные и

растительные, к первым принадлежат кишечные струны, а ко вторым — шелк (sic!) и простые нитки». Это я слышал на его лекции собственными ушами.

Много позднее мне довелось слушать немало комичного о его ученом путешествии за границей, как он вздумал было изучать воспаление слизистых оболочек и остановился на том, что пустил кролику в глаз уксусной кислоты; как он посещал будто бы в Брюкселе (его собственное наименование этого города) Дондерса, жившего, однако, в Утрехте. О нас с Боткиным, когда мы уже были профессорами, он отзывался так: поковыряют у лягушки около гузенной косточки и печатают.

Директором акушерской клиники был профессор Кох. Посещение ее не было обязательным для студентов — туда допускались поодиночке и по охоте только дежурные. Я не был таким охотником и в клинике не был ни разу. Поэтому помню профессора Коха лишь как лектора. Насколько можно судить о профессоре по его лекциям, Кох был, я думаю, самым лучшим или, по крайней мере, самым дельным из тогдашних профессоров медицинского факультета. Лекции его имели исключительно деловитый характер и произносились с тем акцентом, по которому слушатель невольно узнавал в рассказчике мастера своего дела. Помню и его красивую, всегда изящно одетую на лекциях фигуру — всегда в черном фраке, в отличие от всех прочих профессоров, являвшихся не иначе как в форменных фраках.

В этом году, кроме посещения клиник, мне и моим ближайшим товарищам, Юнге и Эйнбродту, удалось, благодаря третьему товарищу, милому, доброму Пфелю, упражняться на трупе в хирургических операциях. Отец Пфеля был главный доктор в военном госпитале (в Лефортове) и давал сыну каждое воскресенье труп и инструменты для хирургических упражнений. На них-то и приглашал нас молодой Пфель. Помню, что занимались больше всего ампутациями, перевязкой артерий в различных областях тела и катеризацией; по окончании же занятий я неизменно производил операцию вылущивания бедра. Федор Иванович Иноземцев каким-то образом узнал об этом и предрекал, что, значит, мне придется когда-нибудь произвести операцию на живом. К счастью, предсказание это не сбылось.

В этом же году я убедился, что не призван быть медиком, и стал мечтать о физиологии. Болезни, по их загадочности, не возбуждали во мне ни малейшего интереса,

так как ключа к пониманию их смысла не было, а вкус вдумываться в эти загадки, с целью различения в них существенного побочного — эту главную приманку истинных любителей медицины,— развиться еще не мог. С другой стороны, я стал знакомиться в этом году с физиологией из прелестнейшей книги Бергмана и Лейкарта «Anatomisch, physiologisch Uebersicht des Thierrisch». Из всех книг студенческого времени я сохранил ее одну, и до сих пор считаю это сочинение прелестным. Тогда же она произвела на меня такое сильное впечатление, что я заинтересовал ею семью Визаров и раз даже читал там род лекции о постепенном осложнении жизненных проявлений.

Зимой 1855 г. перед масленицей, нас, четверокурсников, собирают в какой-то аудитории старого университета, является декан Николай Богданович, и объявляется, что по высочайшему повелению все мы должны будем держать выпускной экзамен и отправляться затем на войну; а на 2-й неделе поста скончался император Николай, и было объявлено, что выпуску будут подлежать лишь казеннокоштные...

* * *

Клиники 5-го курса помещались в Екатерининской больнице на Страстном бульваре. Терапевтической заведовал проф. Варвинский и адъюнкт его Пикулин, а хирургической — проф. Поль, адъюнкт Попов и старший ассистент Новацкий.

Варвинский, сколько помню, не читал клинических лекций, занимался тем, что, слушая отчеты кураторов о болезни порученных им больных, поправлял и разъяснял ошибки в этих отчетах. Помню также его нехорошую манеру относиться с усмешкой к причудам больных и к ошибкам студентов в определении болезни. Этой манерой он приводил многих студентов в большой конфуз. Особенно страдал от него один из товарищей, милейший Коробкин, кривой на один глаз и заика. По-настоящему, профессору следовало бы щадить бедняка и не вызывать его на пытку, а Варвинский словно наслаждался, когда тот, красный, задыхающийся, силился и шипел над больным. Любил он также беседовать со студентом Фишером, после того как последнему не удалось раз распознать перемежающуюся лихорадку. Пикулин был со своим патроном в контрах и ходил в клинику лишь по вечерам с единственною, кажется,

целью — учить нас аускультации и перкуссии. Студенты того времени могли выучиться этому искусству только у него.

Хирургическая клиника проф. Поля была, я думаю, чуть не на треть наполнена детьми с каменной болезнью, так как Поль был большой любитель литотомии по способу брата Иакова и делал эти операции всегда сам, предоставляя остальные своему адъюнкту Попову. На ежедневный обход больных Поль приходил всегда с конфетами в кармане, а позади шел фельдшер с чашкой масла. Конфеты служили для угощения детей, в то время как профессор исследовал их per rectum. Проф. Поль был в то время уже очень пожилой человек, и клиникой заведовал, собственно, его адъюнкт Попов, а он заботился, по-видимому, не столько о земных делах, сколько о спасении души. Это я слышал от своего товарища Юнге. Он очень понравился Полю, и, когда тот узнал, что Юнге лютеранин, сильно советовал ему принять католичество. О проф. Попове могу сказать только, что он не был заражен сентиментальностью: ругал больных даже во время операции и раз на моих глазах отвесил фельдшеру полновесную пощечину.

Сверх клиник на 5-м курсе читались патологическая анатомия и гигиена. Содержания лекций патологической анатомии Алексея Ивановича Полунина не помню, знаю только, что он показывал много патологических препаратов и учил процедуре вскрывания трупов. Насколько он был полезен для студентов, судить не берусь, но своим подчиненным он, очевидно, умел внушить любовь к знанию: тогдашний фельдшер его Аристархов сделался впоследствии доктором, и знаниями увлекался даже сторож при кабинете патологической анатомии, старый отставной солдат (финляндец) Иван Иванович, — он обучал студентов катетеризации. Что касается до гигиены, то достаточно будет сказать, что такого позорного профессора, как К., не бывало, и, думаю, ни в одном из университетов. До нашего поступления на 5-й курс он был одним из субинспекторов и превратился каким-то чудом сразу в гигиениста. Говорили, что это было дело рук попечителя, генерала Назимова.

В заключение должен признаться: зная, что не буду медиком, я относился в этом году к медицинским занятиям без интереса; оттого и мои воспоминания о 5-м курсе так скудны.

Оканчивая курс и зная за собой много грехов по части

медицины, особенно практической, мне и в голову не приходило держать экзамен прямо на доктора, но к этому принудил меня наш декан Николай Богданович Анке, говоря, что этого непременно требует факультет. Я этому поверил, но это была неправда. На доктора подали, вероятно по его же настоянию, два его любимца — Юнге и Эйнбродт, немцы; а между медицинскими профессорами двое, Глебов и Басов, были русофилы и не любили, когда отдавалось в чем-либо предпочтение немцам перед русскими, и были на экзаменах строги. Поэтому-то Анке и нужно было присоединить к двум немцам — кандидатом хоть одного русского, дабы смягчить этим экзаменаторов. Они, может быть, и смягчились, да не совсем — Глебов все-таки провалил Эйнбродта, хотя экзамены были очень просты, отличаясь от лекарских (как, впрочем, и теперь) лишь тем, что докторанта заставляли ответить вопроса на два лишних. Впоследствии я слышал, что мог бы попасть, по возвращении из-за границы, профессором физиологии не в Петербургскую медицинскую академию, а в Московский университет, а не попал лишь благодаря Николаю Богдановичу Анке. Дело в том, что, когда проф. Глебов оставил кафедру, что случилось, должно быть, через год после моего отъезда за границу, Анке предложил на его место Эйнбродта, с тем чтобы он был послан на казенный счет для усовершенствования в науках за границу, а Федор Иванович Иноземцев предложил меня. Тогда Николай Богданович заявил, будто ему доподлинно известно, что я занимаюсь не физиологией, а психологией, и предложение Иноземцева было отклонено.

В заключение нельзя не вспомнить о крупных московских событиях, имевших место в промежуток времени моего студенчества (1850—1856). Время это было особенно богато ими.

Известно, что, когда революционное движение 1848 и 1849 годов приблизилось к нашим границам в Пруссии и Австрии, император Николай нашел нужным принять экстренные меры против проникновения к нам вредных идей с Запада, и одною из таких мер явилось сокращение в Московском университете (была ли эта мера распространена и на другие университеты, я не знаю) числа студентов на всех факультетах, кроме медицинского, до 300.

В 50-м году мера эта была уже в ходу, и ректор университета (Альфонский) был уже коронный. Позднее (в каком году, не помню) была закрыта кафедра философии,

на которой сидел Катков, и вместо этого ультраблагонамеренного патриота логику и психологию стал читать протоиерей Терновский. В то же время стали ходить слухи, будто бы в университет назначен какой-то полковник обучать студентов артиллерии и фронту. Говорили даже, будто в университет будут поставлены две пушки. Некоторые из студентов этим слухам, может быть, и верили, но большинство относилось к ним иронически. Так, некоторые из товарищей советовали мне, шутя, выступить кандидатом на обучение студентов маршировке. Могу вообразить, какое волнение вызвали бы теперь подобные слухи и меры между студентами, но тогда студенчество еще не выступало сплоченной массой. Неудобства современного положения оно, конечно, сознавало, но разговоры об этом велись, так сказать, под сурдинку, в тесных товарищеских кружках. У меня был, например, между приятелями поляк Б., и мы с ним нередко рассуждали о современном положении вещей — я горевал, а он держался мнения, что чем хуже, тем лучше.

На торжество 100-летнего юбилея университета (1855) попасть я не мог, потому что был вольнослушателем, и мне было сказано, что являться на это торжество я мог бы лишь в общедворянском мундире, а у меня и цивильное-то платье было не из блестящих. Целый год мне пришлось, например, прощеголять в пальто, из-за цвета которого меня звали у Визаров чижиком. Тогда в моде на сукно был «цвет лондонского дыма», и мне захотелось себе сшить пальто такого цвета; но я имел неосторожность покупать сукно под вечер в темной лавке и получил вместо лондонского дыма цвет чуть ли не биллиардной покрышки.

В этом же году умер Тимофей Николаевич Грановский. Его отпевали в университетской церкви, и я помню, что подле его гроба стояла женщина, вся в черном, неподвижная как статуя, во все время службы (жена его была урожденная Мюльгаузен, лютеранка). Гроб его провожали тысячи, но далеко не так торжественно, как провожали позднее в Петербурге Тургенева. Между провожавшими я помню, как теперь, Каткова в енотовой шубе. Тогда он был, впрочем, только издателем «Русского вестника». Умри Грановский годами десятью позже, редактор «Московских ведомостей» едва ли шел бы за его гробом...[3]

Белоголовый Н. А.

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ О СЕРГЕЕ ПЕТРОВИЧЕ БОТКИНЕ

В лице С. П. Боткина сошел в могилу один из талантливейших представителей науки в России, оставивший навсегда по себе память в истории русской медицины не столько благодаря печатным трудам своим, завещанным им потомству, ибо литературная производительность его была сравнительно невелика, сколько благодаря тому громадному и неизгладимому влиянию, которое он имел на тысячи своих учеников, сформировавшихся под его руководством за почти 30-летнее время его профессорской деятельности. Можно без преувеличения сказать, что он произвел истинный переворот в истории нашей медицинской науки, внеся в ее преподавание тот животворный естественноисторический метод, который перевел медицину из разряда эмпирических дисциплин в ряд строго рациональных наук и тем открыл перед ней светлую перспективу бесконечного совершенствования. И такого выдающегося значения он не приобрел бы, если бы был только простым талантливым посредником между западноевропейской наукой и русским врачебным сословием,— таких способных и деятельных посредников бывало и есть у нас немало; а он достиг его тем, что сам стоял в первой шеренге строителей этой новой, универсальной медицины и сеял семена ее со всею убежденностью инициатора, с горячею страстностью талантливой натуры, при присущих ему широком уме, необыкновенной наблюдательности и весьма обширных познаниях. Поэтому-то имя его пользовалось известностью не только в России, но приобрело себе большой почет и за пределами ее. Преждевременная смерть его вызвала общее горе в России, и он долго останется незаменимым для нашего врачебного сословия, потому что руководители с таким цельным сочетанием всех нужных для учителя даро-

ваний крайне редки и лучами своего гения освещают человечество на большие пространства времени. Составить подробную характеристику таких выдающихся людей — дело трудное и может быть лишь плодом совокупных трудов многих работников; будем надеяться, что со временем Россия дождется такой цельной разработки всей личности Боткина, а покуда на нас, современниках, лежит долг подготовить материал для такого будущего труда. Пишущий эти строки особенно признает для себя обязательность такого долга, потому что его связывала с покойным с лишкòм 40-летняя и самая искренняя дружба; но при этом я считаю нужным предупредить моих читателей и почитателей Боткина, чтобы они не ждали от меня подробной его биографии; я могу представить для такой биографии только сырой материал в форме личных воспоминаний...

...В печати уже не раз сообщалось, что Боткин готовился быть математиком, а сделался врачом поневоле, единственно в силу постановления императора Николая, желавшего ограничить число лиц с высшим образованием в России; с этой целью разрешен был свободный доступ только на медицинский факультет (будто страна наша нуждалась в одних лишь медиках), на остальные же факультеты — принимать лишь лучших воспитанников казенных гимназий.

На пример Боткина, между прочим, указывают как на доказательство, в какой степени слабо развито у поступающих в университет сознательное отношение к выбору специальности, и в то же время как на опровержение, что для медицинской профессии требуется особенное призвание...

По окончании учебного пансионского года, т. е. в мае, мы тотчас же сообща вчетвером стали готовиться по университетской программе к вступительным экзаменам и, с разрешения Эннеса, сходились для того в помещении пансиона, где отведена была с этой целью комната. Работать нам приходилось много, потому что пансионский курс не был согласован с университетской программой и оставлял в наших знаниях крупные пробелы. Особенно смущала Боткина и меня физика, изучение которой начиналось только во 2-м классе пансиона и едва доводилось до одной четверти требуемого. Шор и Кнерцер, хотя и прошедшие полный курс физики, оказались сами недостаточно сильными, чтобы руководить нами в дальнейшем знакомстве с этой наукой, а потому, по нашей просьбе, Давидов рекомендовал нам медицинского студента 5-го курса, Рубинштейна,

старшего брата знаменитых Антона и Николая Рубинштейнов, который очень старательно занимался нами и в короткое время подготовил нас довольно удовлетворительно; Боткин все усваивал необыкновенно быстро, меня же и тут выручила отличная память.

Рубинштейн нанимал себе на лето дачную комнатку где-то за Бутырской заставой; ходить к нему составляло для нас целое путешествие через всю Москву, и я с наслаждением вспоминаю об этих длинных походах в нашей вечно весело настроенной компании; часто, утомленные длинным путем по знойным улицам и проголодавшись, мы дорогой покупали у разносчика печеные яйца и ситный хлеб и, сделавши привал на лавочке у ворот какого-нибудь дома, с великим аппетитом тут же на улице уничтожали свой незатейливый завтрак.

В последних числах июля мы всей нашей компанией отправились в правление университета подавать прошение о допущении нас к экзаменам; все шло весело, только у меня скребло на сердце: а вдруг мне откажут по недостижению законного возраста и разлучат с друзьями?.. Действительно, прошения моих товарищей были приняты, мне же пришлось вступить в переговоры с одним правленским чиновником, который за трехрублевую бумажку взялся быть моим благодетельным гением и написать в моем прошении, что мне исполнилось 16 лет, успокаивая меня тем, что никому не придет в голову проверять мои года по приложенному метрическому свидетельству; это была первая взятка, данная мною в жизни,— и она без дальних помех открыла мне двери университета.

На экзаменах долго останавливаться не буду; они прошли для нас очень хорошо; Боткин особенно отличился на математическом испытании, а меня расхвалил проф. Буслаев, экзаменовавший из русской словесности, и сказал, обратившись к ассистентам-профессорам: «Вот жаль, что не поступает на филологический факультет». Маленькая запинка случилась с Боткиным только на экзамене из географии — предмете, приводившем всех нас четверых в немалый конфуз. В пансионе преподавал географию на немецком языке очень вялый учитель, и мы на его уроках занимались всегда чем-нибудь посторонним, а потому при выходе из пансиона были разве немного более сведущи, чем Митрофан Простаков[1]. Идти с такими знаниями на университетский экзамен было жутковато и рискованно, если бы нас не подбодряло то обстоятельство, что экзаменато-

ром назначен был проф. Кудрявцев, которого Боткин, близко зная его лично, аттестовал нам как человека в высшей степени доброго; притом же мы одновременно у него должны были сдавать экзамен из всеобщей истории и надеялись, что нам удастся подкупить его в свою пользу прекрасной подготовкой нашей из последнего предмета. Однако накануне экзамена Боткин раздобылся у опытных людей каким-то весьма кратким географическим учебником Гейма[2], и мы порешили посвятить всю ночь его изучению. Я уже тогда переехал из пансиона и жил на Мясницкой в подвальном этаже. В 9 часу вечера товарищи сошлись у меня и горячо принялись долбить тощую книжонку, но Боткина разобрала такая тоска при заучивании сухой номенклатуры, что мы не покончили еще с Европой, как он уже завалился на мою кровать и захрапел и, сколько раз мы ни принимались его расталкивать, проспал невиннейшим сном вплоть до утра. На экзамене ему достался билет о греческом королевстве, и он сразу брякнул такую несообразность, что Кудрявцев махнул отчаянно рукой, сказавши: «Ну, хорошо, хорошо, довольно, садитесь».

Но в общем, повторяю, экзамены наши были сданы удовлетворительно, и через несколько дней мы с восторгом узнали, что приняты в число студентов Московского университета.

* * *

Университеты переживали в конце царствования императора Николая I, как известно, тяжелые годы; мы же как раз попали в этот печальный период их истории, а именно поступили в августе 1850 г. и кончили в апреле 1855 г., то есть с небольшим месяц спустя после смерти императора Николая[3], когда перемена царствования еще не успела обнаружиться в стенах университета более мягким отношением к рассадникам высшего образования в России. Сугубая внешняя формалистика господствовала во всех мелочах, и мы почувствовали ее на первых же шагах. Лишь только мы облеклись в студенческую форму — мундир, шпагу и крайне неудобную треуголку, инспектор собрал всех, поступивших на 1-й курс, в большую актовую залу, прочел наставление об обязательных для студентов правилах благонравия, распушив многих за противозаконную длину волос, подробнее всего остановился на том, как мы должны отдавать честь на улицах своему начальству и

военным генералам, а именно не доходя до них на 3 шага, становиться во фрунт и прикладывать руку к шляпе, и в заключение заставил нас каждого, вызывая по списку, пройти мимо него и отдать ему честь; тот, кто проделывал это неправильно, без достаточной грации и военной ловкости, должен был возвращаться назад и до тех пор повторять свое церемониальное прохождение мимо инспектора, пока не заслуживал его полного одобрения. Это была, можно сказать, первая наша лекция в университете. Попечителем университета все время при нас был генерал В. И. Назимов, а помощником его В. Н. Муравьев, с которыми мы мало соприкасались и знали их больше по циркулировавшим между студентами анекдотическим, иногда очень остроумным, рассказам, свидетельствовавшим о их строгости, своеобразных взглядах на науку и вообще о непригодности их для занимаемого поста. Инспектором студентов мы застали Ивана Абрамовича Шпейера, бывшего морского офицера, и все время пребывания нашего в университете оставались под его суровой и беспощадной командой; он сменил столь памятного в летописях Московского университета Нахимова, оригинального, но крайне доброго, чудака, о теплых отношениях которого к студентам долго оставалось много традиций среди молодежи, и особенно среди казенных студентов. Шпейер был назначен с тем, чтобы подтянуть студентов,— и действительно, этот невысокий, шарообразный толстяк с обстриженными под гребенку черными волосами, в золотых очках, из-под которых всегда свирепо метали молнии маленькие черные глаза, был истинным пугалом для студентов; последние боялись попадаться к нему на глаза, потому что он придирался к самому незначительному упущению в костюме, к небритой бороде, к чуть-чуть отросшим волосам, сейчас же поднимал свой пискливый голос до безобразного крику — и заключение в карцер было обычным финалом такой встречи.

Между прочим, Боткин в первый же месяц испытал на себе тяжесть дисциплины Шпейера и, столкнувшись с ним во дворе старого университета, должен был целые сутки сидеть в карцере за незастегнутые крючки вицмундирного воротника.

Вспоминая теперь эту шпейеровскую дисциплину, а она тогда господствовала во всех наших высших учебных заведениях, перестаешь удивляться тому, как безличен русский образованный человек, до чего неустойчив в своих взгля-

дах и поступках и как мало выработано в нем чувство своего собственного достоинства. Откуда же было взяться в нем сознанию этого чувства, когда со студентами, в том возрасте, когда за большинством из них или, по крайней мере, за половиной законы признают совершеннолетие и гражданскую правоспособность, обращались как с малолетками; когда инспектор мог любого из этих взрослых людей, хотя бы самого даровитого и наиболее занимающегося, распечь за малейший пустяк, за расстегнутую пуговицу, и распечь таким безобразным образом, каким делал это Шпейер, топая ногами, крича и ругаясь,— и это публично, в присутствии товарищей! И молодой человек должен был выслушивать это поругание над своей личностью почтительно, руки по швам, выражая на своем лице смирение и покорность: горе ему было, если бы в это время он вздумал улыбнуться или открыть рот в свою защиту; тогда это действовало на Шпейера, как масло на огонь, и гнев его доходил до высшего бешенства. Но еще большее горе ждало того, кто не совладел с собой и оскорбился бы на мелочность и придирчивость инспектора, на незаслуженную резкость его выражений; тогда тотчас же раздавалось со стороны инспектора: «Вон из университета!» И вот за расстегнутую пуговицу юноша, в котором вспыхнуло чувство его достоинства и он не сумел подавить его в себе, рисковал быть исключенным из храма науки, куда он попал после многолетних трудов, напряженных умственных занятий и очень часто больших материальных лишений,— и жизнь его оказывалась испорченной навсегда. Это «вон из университета», на которое не было никакой апелляции, кроме разве полнейшего смирения перед тем же инспектором, искупления своей ничтожной вины путем унизительных просьб о прощении,— висело дамокловым мечом над головой студентов нашего времени, принижало их нравственно и уж никак не способствовало выработке из них стойких и надежных деятелей в последующей общественной жизни. Счастливые исключения, без сомнения, бывали и тут, но исключения правила не делают, мы же говорим о том громадном большинстве, какое формировал для русской жизни Московский университет начала 50-х годов, а с ним вместе и прочие университеты.

Все поступки студентов тогдашнего времени ограничивались несоблюдением формы, и самым тяжким преступлением считалось выйти на улицу без шпаги и особенно не в треуголке, а в студенческой фуражке, ношение которой

строжайше было запрещено в городской черте. Студенты-медики, составлявшие более двух третей всего числа студентов, или прилежно занимались в аудиториях своей наукой, или же тратили свой юношеский пыл на безобразные попойки, бывшие тогда в несравненно большем распространении между ними, чем нынче; особенно славились своими кутежами казенные студенты, которые, живя вместе в казенных нумерах в здании самого университета, составляли более компактную массу и подпадали легче стихийному увлечению; последствием этих вспышек нередко случались скандальные истории и столкновения или с университетской инспекцией, или с полициею, и всегда карались более или менее строго. Политических же брожений среди молодежи не было никаких за все время пребывания нашего в университете, да и в окружавшем нас обществе все казалось так сонно и мертвенно, что никакие вольнодумные мысли не проникали в университет со стороны. Напомним, что в литературе только что начали печататься «Записки охотника» Тургенева, рассказы Григоровича, Дружинина, Гончарова и других писателей начинавшегося блестящего периода русской словесности, что в Москве 40 лет назад не было даже ежедневной газеты, и только три раза в неделю выходили «Московские ведомости». Общения с Западом тоже не существовало; только для единичных студентов, знакомых хорошо с французским языком, открыты были отчасти сокровища французской литературы, и в их руки попадали иногда контрабандой и под величайшим риском сочинения, относившиеся критически к тогдашнему положению России, как, например, мемуары маркиза Кюстина[4], «La Russie et les Russes»[5] Николая Тургенева и еще два-три сочинения такого направления; среди немногих любителей обращалось и переписывалось ими несколько запретных стихотворений Пушкина, Рылеева, Полежаева, письмо Чаадаева и т. п.; вся эта скудная по количеству потайная литература умещалась в тощей тетради, будила в молодежи мысли о далекой и мало досягаемой для них сфере понятий об ином, более совершенном порядке вещей, но едва ли в самых чутких натурах свободолюбие шло дальше каких-то смутных, неопределенных желаний и скорее инстинктивных потребностей лучшего.

В университете Боткин тотчас же выдвинулся вперед своими необыкновенными способностями и редким трудолюбием: он аккуратно являлся на лекции, и так как печат-

ных руководств и учебников тогда почти вовсе не было, а приходилось готовиться к экзаменам по лекциям, записанным за профессорами, то его всегда можно было видеть вблизи кафедры, где он, опять-таки несмотря на свое плохое зрение, записывал всегда сам, и притом так внимательно и быстро, что его тетради считались образцовыми, и другие прилежные студенты по ним восполняли впоследствии неизбежные пробелы и недосмотры в своих записях. Я же на первом курсе сильно отбился от Боткина и своих пансионских товарищей, покончив с интернатом Эннеса, где я жил в школьной дисциплине, я почувствовал себя совершенным хозяином и полновластным распорядителем своих действий, свел тесную дружбу с 2—3 из своих первокурсников, не особенно приверженных к медицине, но зато таких же, как и я, горячих почитателей литературы, и, не стесняемый обязательным посещением университета, проводил часы лекций со своими новыми друзьями в трактире за чтением литературных журналов. Студенческим трактиром был тогда, стоявший в двух шагах от здания университета, трактир Грабостова, на вывеске которого под золотыми буквами «Великобритания» красовался и вольный перевод на французский язык «La Velikobritanie»; сюда сходились мы ежедневно и за парой чая или 10-ти копеечным пирогом, выкуривая бесчисленное количество трубок жу́ковского табаку, читали вслух, не обращая внимания на стоявший кругом нас гомон трактирной жизни, вновь вышедшие книжки «Современника» и «Отечественных записок», толковали и спорили о прочитанном.

Предпочтение мое произведений тогдашней беллетристики (Тургенева, Гончарова, Диккенса и др.) медицине привело к тому, что и следовало ожидать: в то время как Боткин со своей прилежной компанией давно уже готовились к экзамену анатомии (самого главного и трудного курсового предмета), носили в карманах кости черепа и в часы рекреаций повторяли исподволь все пройденное, мы все откладывали, продолжали трактирничать и засели вплотную за работу, только когда наступил апрель и дальше мешкать было невозможно; потому Боткин, Шор и Кнерцер блистательно перешли на второй курс, а я, хотя и не провалился на экзаменах, но еле-еле переполз. Это меня образумило, далее я стал заниматься медициной очень прилежно и снова более сблизился с Боткиным, хотя сближение это ограничивалось ежедневными встречами на лекциях: друг к другу мы не ходили и жили каждый

особо в своем мире. Только уже в бытность нашу на 4-м курсе Боткин надумал устраивать у себя по субботам вечеринки, на которые сходились человек 6—8 студентов, и то из них наполовину старшего, 5-го курса; так, непременными посетителями этих вечеров были Беккерс (впоследствии профессор хирургии в Петербургской медицинской академии), Шеффер (впоследствии киевский профессор фармакологии) и Погонкин, очень даровитый юноша, вскоре после окончания курса заразившийся при вскрытии трупа и безвременно погибший. С нашего курса, сколько помнится, вначале бывали только Шор, Кнерцер и я. На вечеринки эти мы собирались во флигеле боткинского дома к 9 часам вечера, усаживались вокруг стола, сначала пили чинно чай, передавали друг другу новости за неделю, критиковали профессоров и пр., но, сколько помню, никогда не задевали вопросов, выходящих за пределы тесного университетского быта, а также не помню, чтобы поднимались из-за чего-нибудь горячие споры. После чаю начиналось тут же на столе приготовление в кастрюле очень вкусного глинтвейна, из красного вина с разными пряностями, наливались стаканы, и Беккерс, имевший недурной голос и знавший много песен Беранже и немецких студенческих, затягивал одну из них, а мы составляли хор; пели русские песни, нашими любимыми были: «Вниз по матушке по Волге», «Ивушка» и т. п. Обыкновенно Боткин брался за свою виолончель и начинал нам подыгрывать; музыка составляла для него чуть ли не единственное отвлечение от медицины; он начал брать уроки на виолончели в начале своего студенчества и продолжал их очень долго впоследствии, уже будучи давно профессором, с редким усердием и любовью. Распевали мы таким образом с большим одушевлением, вперемежку болтая и остроумничая, большею частью до часу ночи, и затем расходились по домам, никогда не пьяные, а лишь в небольшом веселом возбуждении от выпитых 2—3 стаканов горячего напитка. С современной точки зрения, такие еженедельные собрания молодых студентов должны показаться слишком чинными и однообразными, но мы их очень любили и удовлетворялись вполне своими вокальными упражнениями. Новые времена — новые песни.

Я не буду следить шаг за шагом за нашим пребыванием в Московском университете; мы благополучно переходили из курса на курс и без особенных приключений дошли до 4-го курса, когда начавшаяся Крымская война[6]

произвела не малую пертурбацию и среди нас и заставила раньше срока подумать о своей будущности. Об эпизоде, вызвавшем это нарушение в правильном ходе наших занятий, я расскажу подробнее, так как он сильно врезался в моей памяти, довольно характерен сам по себе и может пригодиться для будущих биографов Боткина.

Дело происходило в январе 1854 г. Мы были, помнится, на лекции детских болезней, как в аудиторию явился субинспектор и объявил, что прибывшие в клинику ректор Альфонский и декан медицинского факультета Анке просят студентов сейчас же подняться в операционный зал для объяснения по особенно важному делу. Мы бросились в зал, живо заинтригованные необычайностью такого посещения начальства и теряясь в догадках, в чем может заключаться это особенно важное дело. Как только мы были в сборе, ректор обратился к нам с короткой речью, что начавшаяся война показала большой недостаток во врачах и недостаток этот вызвал высочайшее повеление, по которому студенты 5-го курса всех медицинских факультетов и Петербургской медицинской академии должны быть выпущены немедленно врачами, но так как и этим ускоренным выпуском пятикурсников потребность военно-медицинского ведомства в медицинском персонале вполне не удовлетворяется, то вчера получено из Петербурга предписание — предложить студентам 4-го курса держать немедленно выпускные экзамены и получить звание врачей теперь же, не слушая вовсе предметов последнего курса, а потому они с деканом и явились к нам, чтобы сегодня же передать нам желание правительства. Речь ректора поразила нас своею неожиданностью, но заговоривший затем декан поставил дело еще более решительным образом. Он сказал, что сейчас же опросит нас каждого поименно, согласен ли он держать выпускной экзамен через 4—6 недель и таким образом воспользоваться даруемыми нам льготами, но при этом должен нас предупредить, что опрос этот будет лишь простая формальность и что для нас другого выхода нет, как согласиться на предложение правительства, ибо для нас 5-го курса все равно, по случаю военного времени, не будет; сообщив нам, что 4-й курс Петербургской медицинской академии уже предупредил нас, единогласно согласившись теперь уже держать выпускной экзамен, он закончил свое обращение к нам приблизительно следующими словами: «А потому, как ваш старый наставник и старший товарищ, советую вам не за-

тягивать дело лишней проволочкой и соглашаться немедленно; помните притом, война не может продлиться долго, а по окончании ее всякому желающему из вас прослушать впоследствии предметы 5-го курса правительство предоставит полную к тому возможность. Казеннокоштных студентов и не полагается спрашивать о их согласии, так как для них немедленный выход в военные врачи обязателен, а потому начинаю прямо со своекоштных». И он развернул список. Если бы предложение это было хотя отчасти известно нам заранее, мы успели бы обдумать его и посоветоваться друг с другом или с более опытными людьми, как нам поступить; теперь же оно застало нас совершенно врасплох, соображать было некогда, надо было сейчас же давать ответ и решать свою судьбу под влиянием мимолетного впечатления. Декан начал вызывать по алфавиту своекоштных; Боткин стоял по списку 4-м или 5-м, а я, помнится, 9-м; все, спрошенные до Боткина, тотчас же согласились; когда дошла очередь до него, я с замиранием сердца весь обратился в слух, ожидая, что он ответит, и не верил себе, услыхав его односложный ответ «согласен»; через несколько секунд декан вызвал меня, но в эти секунды в моей голове с быстротой молнии промелькнул целый рой разнообразных соображений, и я решил отказаться. «Нет, не согласен!» — ответил я твердо. «Как нет? — воскликнул горячо декан,— вы слышите, все кругом вас соглашаются, и вы своим отказом портите единодушный порыв ваших товарищей и только задерживаете нас! Какие у вас причины отказываться?» Я отвечал, что я, как сибиряк, нахожусь в исключительных условиях, что, по окончании курса, необходимо должен вернуться в Сибирь, где у меня престарелые родители, которых я не видал с тех пор, когда меня еще мальчиком увезли в учение в Москву. И как ни уговаривал меня декан, я упорно стоял на отказе, и тогда, видя бесплодность своих убеждений, он наконец сказал: «Ну, я все-таки отказа вашего не принимаю, а отмечу в списке против вашего имени, что вам дается время подумать, и уверен, что, одумавшись хорошенько, вы явитесь завтра ко мне с согласием, чтобы не отставать от товарищей». Дальнейший опрос пошел уже несколько иначе, и большинство студентов стало коротко заявлять, что они сегодня согласиться не могут, а просят время на обдуманье, так что в результате переклички набралось около 50 человек, отказавшихся дать немедленное согласие.

Лишь только начальство, по отобрании наших ответов, удалилось, курс наш загудел, как пчелиный рой; каждый с ближайшими своими друзьями начал обсуждать только что сделанные предложения с точки зрения личных своих интересов; всех всполошил внезапный переворот в нашей судьбе; были и такие, которые шумно выражали свою радость; это были те бедные товарищи, которых пребывание в университете составляло постоянную борьбу с нищетой и голодом, и в преждевременном получении лекарского диплома они усматривали теперь зарю лучшего и более сытого существования. Я тотчас же бросился к Боткину и заметил, что он, обыкновенно спокойный и веселый, был на этот раз встревожен и озабочен не менее чем я.

— Почему ты так быстро решился? Ведь это вздор, что 5-го курса не будет; куда же денут нас, желающих получить полное медицинское образование? Да и какие же мы врачи без 5-го курса? и пр. и пр.,— закидывал я его вопросами.

— А я, брат, тебе удивляюсь, что ты уперся как баран,— отвечал Боткин,— ну, что же за беда, что мы кончим годом раньше, зато мы на войне сразу будем иметь такую огромную практическую деятельность, какой нам никакой 5-й курс не может дать.

— Ну, а как же ты сделаешь с теми крайне необходимыми предметами, которые предстоят нам на 5-м курсе, как патологическая анатомия, оперативное акушерство, глазная клиника, судебная медицина?

— Да это я и без тебя знаю, что необходимо, и придется восполнять эти пробелы потом, по окончании войны. Конечно, мне и самому очень досадно, что не кончу курс, как следует, да делать нечего; нельзя же, чтобы все делалось по нашему желанию. А сказать тебе, почему я так быстро согласился? Еще на днях у нас зашел разговор с Грановским о недостатке врачей в наших войсках, и он мне сказал, что если бы он был на моем месте, т. е. студентом 4-го курса, то сейчас же бросил бы университет и ушел бы фельдшером в действующую армию. «Время ли теперь учиться,— говорил он,— вы только представьте себе, что тысячи раненых солдат лежат теперь на полях сражений, стонут и мучаются и гибнут от недостатка ухода; и скольким бы из них вы могли помочь; ведь вы им можете принести гораздо больше пользы, чем хороший фельдшер, а там и фельдшеров даже не хватает». Эти слова Грановского вспомнились мне как раз в эту минуту, как меня

вызвал декан, и я согласился. И, по-моему, глупо, что ты так упираешься; обдумай сегодня сам все хорошенько и иди завтра к декану со своим согласием. Ведь как мы с тобой отлично можем устроиться в какой-нибудь полк вместе; первое время нам было бы трудно, но зато мы станем поддерживать друг друга и помогать один другому».

Этот разговор с Боткиным совсем спутал меня, и особенно запали мне в душу слова Грановского, в котором мы, даже студенты-медики, не имевшие с ним никаких прямых отношений, привыкли видеть образец высокой нравственной чистоты и приучились дорожить его мнением, как мнением самого дорогого наставника молодёжи по честности и благородству его убеждений. Да и самого меня, тогда пылкого 19-летнего юношу, сильно тянуло в водоворот войны, в которой для меня связывались и помощь больным и раненым, и удовлетворение патриотическому чувству, и масса разнообразных, незнакомых доселе впечатлений; с другой же стороны — не хотелось сделать опрометчивого поступка, чтобы не причинить огорчение моим отцу и матери, которых я горячо любил и которые, расставшись со мной 7 лет назад, ждали с великим нетерпением окончания моих занятий в университете и возвращения в Сибирь; уговорить же их на отсрочку нашего свидания и выпросить их согласие на мою поездку на поле военных действий, объяснив всю вынужденность этого шага экстраординарными обстоятельствами времени, я не имел никакой возможности, потому что в ту эпоху телеграфов у нас еще не существовало, а на письмо из Москвы в Иркутск я мог получить ответ никак не ранее 2-х месяцев. В борьбе с этими разнородными ощущениями и колебаниями я не знал, на что решиться и с кем посоветоваться; вдруг меня осенила мысль обратиться за советом к самому ректору — А. А. Альфонскому. Ректор был женат на Мухановой, родной сестре декабриста П. А. Муханова, который знал меня ребенком в Иркутске, и когда я поступил в университет, прислал мне, по просьбе моего отца, рекомендательное письмо к своей сестре; с такой рекомендацией я был принят ласково в семье Альфонского, но, несмотря на настойчивые приглашения, посещал ее редко, раза два в год, в высокоторжественные дни. Теперь же я надумал воспользоваться этим знакомством и, будучи уверен, что ректор будет, без сомнения, за мой немедленный выход из университета, как лицо официальное, только что передавшее в это утро предложение правительства, я

хотел попросить его, чтобы он принял на себя ответственность за мой скороспелый выход и написал в Иркутск, что я иначе поступить не мог. Каково же было мое удивление, когда ректор, выслушав мое объяснение, сказал:

«Не только не возьмусь писать вашим родителям, а совершенно напротив, как человек, заменяющий вам здесь отца, могу вам дать единственный и самый разумный совет — ни под каким видом не прерывать вашего медицинского воспитания, не кончив полного курса. Иначе из вас выйдет врач-недоучка, и вы потом всю жизнь будете чувствовать эту незаконченность своего образования и горько жалеть о ней. Другое дело — казенные студенты и те бедняки, которых нужда заставляет поскорее приступить к практической деятельности; их осуждать нельзя, потому что для них иного выхода нет; с вашей же стороны, как человека, имеющего средства, это был бы поступок неизвинительный; ведь вас никто и ничто не гонит?» — «Как не гонят? — возразил я,— да ведь сегодня же при вас господин декан говорил нам, что 5-й курс будет закрыт, и хотим ли мы или не хотим, а продолжать нам довоспитываться будет отнята всякая возможность?» — «Ну это, положим, сказано было в виде метафоры,— с усмешкой отвечал Альфонский,— декан должен был вам так говорить, но я, как ректор, могу вам в частном разговоре поручиться, что если бы вас было пятеро, изъявивших желание слушать 5-й курс, то и тогда бы мы не могли его закрыть; все же вот набирается чуть ли не полсотни!»

Поблагодарив почтенного ректора за совет, я ушел от него, хотя разочарованный в своих воинственных планах, но зато вышедший из своих колебаний и совсем успокоенный за свое ближайшее будущее; тоскливо сжималось сердце только при мысли о скорой разлуке с Боткиным, но и эта тоска вскоре разрешилась самым благополучным образом. Назавтра утром Боткин, придя на лекцию, отвел меня в сторону и шепнул: «Радуйся, вот тебе новость; только, пожалуйста, не говори пока никому: я беру свое слово назад и на войну не еду».— «Как? Что? Почему ты перерешил? Рассказывай скорей!» — чуть не закричал я, в избытке радости, тряся его за плечи. «Тише, тише! Вчера, как только я вернулся домой и передал братьям, что через каких-нибудь 6 недель выхожу из университета, все на меня страшно напали и стали бранить, что я поступаю необдуманно; а вечером я повидался с Пикулиным (зять Боткина, женатый на его младшей сестре и очень талант-

ливый адъюнкт, профессор по госпитальной клинике в университете), и он окончательно разубедил меня и уговорил отказаться. Сегодня же после лекций я иду к декану и объявляю ему мой отказ; наперед знаю, что Анке на меня рассердится и нападет, но я твердо решил не поддаваться ни на просьбы его, ни на угрозы и отстоять себя!» Тогда, чтобы еще более укрепить Боткина в его намерении, я передал ему результат вчерашнего моего свидания с ректором.

Боткинское дело, конечно, уладилось, и его примеру последовало еще несколько человек, так что число всех, отказавшихся воспользоваться правами немедленного выхода из университета, составило около 55 человек. Начальство на нас косилось и обвиняло в недостатке патриотизма, часть профессоров оправдывала наш поступок, другая относилась индифферентно, и только порывистый и увлекающийся проф. Иноземцев горячо нападал на нас при всякой встрече и прозвал «дельетантами медицины». Неприязнь к нам декана выразилась вскоре весьма осязательным образом: переходные экзамены происходили в университете всегда в мае, и, по давнему обычаю, распределение их на этот месяц предоставлялось самим студентам. На этот раз, когда наш депутат явился в правление для предъявления составленного расписания, там ему объявили, что декан уже сам озаботился этим делом и что мы должны сдать свои экзамены не в течение мая месяца, а на протяжении одной фоминой недели, бывшей в том году около 20-го апреля. Новость эта разразилась над нами только в пятницу, а для многих и в субботу страстной недели, когда оставалось на приготовление всех предметов не больше 9—10 дней. Как ни обидно и ни затруднительно нам было такое утеснение, и даже при первом известии казалось просто невозможным так быстро и в такой укороченный срок приготовиться по всем предметам курса, однако делать было нечего и жаловаться некому, так как декан был полновластным хозяином на факультете; попечитель Назимов тоже, конечно, был не на нашей стороне. Совершенно беззащитные против такого произвольного и ничем не оправдываемого распоряжения, мы должны были ему подчиниться и провели последнюю неделю в тяжелых и непрерывных занятиях, долбя свои записки профессорских лекций и учебники, не досыпая ночей, не показывая носу на улицу, куда манило и весеннее солнце, и веселый гул праздника, и предстали на экзамены почти все похудевшие и осунув-

шиеся. Экзамены сошли с рук не только благополучно, но, можно сказать, блистательно, так что им никогда не приходилось экзаменовать столь хорошо приготовленных студентов. Свалив эту гору с плеч, мы почувствовали себя свободными на целые 4 месяца, так как, окончив экзамены к 1-му мая, мы имели лишний месяц против обычных 3 месяцев университетских каникул. Имея в распоряжении столько времени, я решил воспользоваться им, чтобы съездить в Иркутск, повидаться со своими стариками и проститься с ними на новую разлуку в случае, если война не кончится и заставит меня отказаться от возвращения в Сибирь по окончании курса. Я так и сделал, и, выехав 4-го мая из Москвы, попал в Иркутск только 11-го июня, так как в то время не существовало ни нижегородской железной дороги, ни правильного пассажирского пароходства по Волге и Каме; прожил дома 6 недель и 25-го августа вернулся обратно в Москву. Лекции на 5-м курсе еще не начинались, между прочим и потому, что в это лето 1854 года вспыхнула в Москве холера, и в такой сильной степени, что городские власти нашли нужным открыть временную холерную больницу... (на Мясницкой в доме Нилуса), а университетское начальство откомандировало в нее в помощь врачам студентов старшего курса, в том числе и Боткина. Эпидемия эта так быстро прекратилась, что задержала у нас открытие лекций лишь на несколько дней. Об этой 5-годичной нашей университетской жизни сохранились и у Боткина и у меня самые лучшие и теплые воспоминания, и только боязнь увлечься лирическими излияниями благодарной памяти теперь отживающего сердца и отдалиться чересчур от моей основной задачи заставляет меня по возможности ограничить свою экспансивность.

Занятия 5-го курса происходили и, кажется, теперь происходят, главным образом, в Екатерининской больнице; скученный на небольшом пространстве ее палат и длинного коридора и совсем разобщенный от студентов других курсов, наш сильно поредевший курс самой силой обстоятельств и обстановки невольно слился в тесную семью; мы не только перезнакомились друг с другом, но и сдружились с теми из товарищей, которых на прежних курсах едва знали по фамилии,— и сколько среди этих новых друзей открылось для нас славных представителей того преемственного типа, каким всегда отличалось и отличается наше студенческое юношество; сколько юношей даровитых, увлеченных наукой, чистых сердцем и с самыми гуманны-

ми и благородными убеждениями! Много лет прошло с тех пор, огромное большинство из этих товарищей перемерло; многих суровая русская действительность переделала по-своему и проглотила бесследно, как глотает прожорливый кит на свой завтрак огромное количество всякой рыбешки, не разбирая деликатную и тонкую от самой грубой; но я думаю, всякий из остающихся в живых вспомнит и теперь, на закате своей жизни, с теплым чувством те дружеские и искренние отношения, которые установились между большинством из нас в этот последний год нашего пребывания в университете...

* * *

Прежде чем покончить с рассказом об университетском образовании Боткина, следует упомянуть об уровне тогдашнего медицинского преподавания в Московском университете и приблизительно выяснить, насколько оно способствовало выработке в Боткине его солидных познаний, безграничной любви к науке и тех пытливых сторон его обширного ума, которые сделали впоследствии из него первоклассного ученого и незаменимого учителя. Тяжелое время застоя, неприязнь правительства к рассадникам высшего образования и насильственное разобщение их со всемирной наукой — все эти условия, какими отличалась описываемая эпоха, не могли благоприятствовать надлежащему у нас росту и процветанию науки и порождали и в Московском университете много темных и печальных сторон, которые выражались несоответствием большинства профессоров своему высокому назначению, их невежественною отсталостью в преподавании своего предмета и неизбежною вследствие того узостью их взглядов, придававших живой науке вид такой мертвой и законченной схоластики, что, казалось, все доступное человеческому уму уже достигнуто и завершено и что свежим силам дальше идти некуда и работать не над чем. Таким преподаванием подрывалось самое существенное назначение университета — вселять в молодых слушателей и развивать в них уважение и доверие к науке, как главному прогрессирующему элементу жизни. Этого типа профессоров было немало; они относились к излагаемому ими предмету сухо и без всякой любви, более или менее аккуратно являлись в университет и читали лекции по своим запискам, составленным тому назад 15—25 лет, не подсвежая их большею частью ни-

сколько позднейшими учеными работами и открытиями, а так как практических занятий для студентов в то время, кроме анатомических упражнений на трупах и больничных визитаций, никаких не полагалось, то не было ни места, ни повода к более тесному сближению и обмену мыслей между преподавателями и слушателями, и последние были исключительно приурочены к изучению этих сухих профессорских тетрадок. В подробностях на этих отрицательных сторонах тогдашнего медицинского преподавания и останавливаться не буду и для доказательства считаю достаточным ограничиться указанием на два примера.

Терапевтической клиникой 4-го курса заведовал в то время профессор Овер, пользовавшийся огромной практикой в Москве и до того поглощенный ею, что приезжал в клинику, можно сказать, раз или два в месяц, всегда неожиданно, по дороге между двумя визитами; являясь как метеор, он проходил в свой кабинет, требовал к себе адъюнкта, на которого взвалил всецело занятия с 4-м курсом, и через 10 минут снова скрывался. Студенты только догадывались, по городской репутации профессора, что это человек очень талантливый и с большими знаниями, потому что знаниями своими он с ними не делился, если не считать тех 5—6 лекций над больными, которые он прочел на своем изящном латинском языке и в течение 8-месячного семестра и которые были слишком случайны и отрывисты, чтобы принести слушателям хоть небольшую пользу. Держал он себя таким олимпийцем, что с адъюнктом был резок, говорил ему «ты», а из студентов не знал ни одного по имени и никогда ни к одному не обращался с преподавательским вопросом. Если прибавить к этому, что адъюнкт его был весьма дюжинная личность и стоял сам на такой точке медицинского развития, что воспитывал в учащихся большое недоверие к постукиванию и выслушиванию, то будет ясно, что из этой клиники, где студентам полагалось сделать первое знакомство с больными и с методами их исследования, они почерпали немного.

Совершенно в ином роде, чем описанный клиницист, был профессор другой, не менее важной и первостепенной науки, а именно патологической анатомии; проф. Полунин был в высшей степени аккуратен в отправлении своих обязанностей, не пропускал ни одной лекции, был требователен к занятиям студентов, но в нем самом, в его сухой и холодной натуре, не теплилось того священного огня, который особенно ценен в преподавателе и, сообщаясь лю-

бознательным слушателям, согревает их и привлекает к науке...

Мы привели для образца два тогдашние типа профессоров — одного несомненно даровитого, но крайне небрежного в своих преподавательских обязанностях, другого — большого труженика, зато неспособного следить за наукой, как того требовало его положение; но было бы несправедливо утверждать, чтобы под эти две характеристики подходили все профессора данного периода. Напротив, и в это невыгодное для процветания знаний время Московский университет недаром пользовался репутацией лучшего университета в России, и если медицинский факультет не мог, за исключением Иноземцева, указать на таких первоклассных талантов, какие были на других факультетах (Грановский, Кудрявцев, Соловьев, Леонтьев, Бодянский, Рулье и др.), то и в его среде было несколько профессоров, лекции которых могли развивать в слушателях уважение к науке, приохотить их к занятиям и, без сомнения, не остались без влияния на Боткина. Поэтому считаю необходимым остановиться на них.

Физиологию читал И. Т. Глебов, бывший впоследствии вице-президентом Петербургской медицинской академии, и знавшие его в последнем звании с трудом могут себе представить, что этот уклончивый и скромный администратор был не только прекрасным и талантливым профессором, но и слыл грозой московских студентов-медиков за свою беспощадную взыскательность на экзаменах и, несмотря на эту строгость, пользовался среди них большим уважением. Он добросовестно следил за развитием своей науки на Западе, и, если в его изложении и были, может быть, койкакие пробелы, они щедро выкупались его живой и увлекательной дикцией и тем огромным интересом, какой присущ самой физиологии как науке; оттого аудитория его всегда была битком набита внимательными и симпатизирующими лектору слушателями. Очень хромала у него демонстративная часть, практических занятий у него почти вовсе не было, если не считать нескольких лекций с вивисекциями, носивших на себе характер случайных, отрывочных приемов, без всякой методичности и последовательности. Об этих вивисекциях у меня остались в памяти только шумные и скорее комические сцены, когда профессор, разрушив десятку голубей часть мозга посредством прокола булавкой, передавал их для наблюдения очередным студентам, а те, вооруженные длинными палками и

солдатскими швабрами, с гиканьем стараются выгнать ошеломленных голубей, забившихся на высокие шкапы, шедшие вдоль стен аудитории.

Большою любовью пользовался также у студентов профессор Н. Э. Лясковский, читавший фармацию и фармакогнозию, хотя предметы эти не имеют первостепенного значения в ряду медицинских наук, но он обладал солидными знаниями и горячо заботился о насаждении их и в своих слушателях, а так как при этом отличался необыкновенною мягкостью характера и редкою доступностью, то студенты часто обращались к нему с разъяснениями разных недоразумений, посеянных в них неудовлетворительным преподаванием химии, и он всегда охотно и с большим терпением удовлетворял их просьбы. Видя наше невежество и беспомощность, он однажды предложил желающим заняться практически химиею и для этого приходить в свободные часы и в праздники в лабораторию, где он даст нам реактивы, познакомит с элементарным анализом и затем откроет возможность к самостоятельным работам даже в области органической химии.

Потребность эта нами так сильно сознавалась, что тотчас же выискалось на первый раз человек 20 охотников, и мы ревностно набросились на эти упражнения в подвале лаборатории; но эта попытка длилась не больше недели, и затем нас вежливо выпроводили из лаборатории; говорили потом, что профессор химии рассердился на Лясковского за то, что последний вторгнулся в его область, и между ними вышли неприятности.

Справедливость требует в числе полезных профессоров назвать еще безукоризненного профессора акушерства и тогда еще молодого человека В. И. Коха, весьма свежо и ясно излагавшего свою специальность, и уже пожилого, но дельного Н. С. Топорова, читавшего частную патологию и терапию по своим запискам, в которых он строго придерживался учебника известного в то время парижского профессора Шомель, добавляя его много и собственными практическими наблюдениями, почерпнутыми из своей обширной практики. Впрочем, мы, как студенты, мало дорожили лекциями Топорова, и если я упомянул о нем теперь, то это потому, что впоследствии неоднократно Боткин мне говаривал, что он, практикуя, потом не раз убеждался, сколько меткой, хотя и вовсе научно необработанной наблюдательности рассеяно было в лекциях Топорова. «Это был не ученый профессор,— прибавлял он,— а тот очень

сметливый русский мужичок, который до многого доходит своим сильным здравым смыслом».

Самым же даровитым и наиболее популярным профессором был, бесспорно, Ф. И. Иноземцев, и вполне заслуженно пользовался этою популярностью. Несмотря на то, что ему тогда уже было за 50 лет и здоровье его было значительно надорвано, он очень строго относился к своим обязанностям и, имея в Москве огромную частную практику, никогда из-за нее не пропускал своих клинических лекций и вносил в них столько пылкого и молодого увлечения и любви к науке, что невольно сообщал их и своим слушателям. Все в нем, начиная с его наружности (он был сильный брюнет с черными, выразительными глазами) и кончая его сангвиническою страстностью и юной подвижностью, делало, казалось, из него скорее представителя какой-нибудь южной расы, чем северянина. Горячность его иногда доходила до того, что, вспылив у постели больного на недогадливого студента-куратора, он топал ногами, кричал на него, осыпая эпитетами «ротозея», «вороны» или фразами вроде: «Вы смотрите в книгу, а видите фигу» и т. п. Но никто не думал на него обижаться за эти вспышки, потому что студенты знали добродушие профессора и знали, что они происходили в нем вследствие необыкновенной живости его темперамента, без всякого намерения оскорбить их, и что, напротив, Иноземцев любил молодежь горячо, с чисто родительской нежностью и каждому из обращавшихся к нему всегда готов был помочь искренним и любовным советом. Он много помогал только что кончившим курс врачам тем, что охотно давал им позволение посещать свои домашние приемы, доставал им частную практику, так что вокруг него группировался целый штаб врачей, известный в Москве под названием «иноземцевских молодцов». Своеобразной оригинальностью отличались его взгляды на свойство болезней и лечение их; он утверждал, что с 40-х годов нашего столетия изменился характер болезней (genius morborum); до того он был воспалительный и требовал для борьбы с ним постоянных кровопусканий и прохлаждающего метода, но затем, по личным наблюдениям профессора, этот характер стал постепенно изменяться и заменился преобладанием явлений раздражения узловатой системы симпатического нерва, выражавшемся большею частью катаром желудка; сообразно с этим коренным образом изменились и показания в лечении, и вместо кровопусканий, селитры, соленых слаби-

тельных и т. п. стали употребляться иные лекарства для устранения такого преобладающего нервного раздражения. Этими действительными средствами Иноземцев признавал преимущественно два: микстуру из нашатыря, локрицы и рвотного камня и капли из миндерфова спирта (уксуснокислый аммоний) с лавровишневой водой; первую микстуру он особенно считал целебной, и редкий хирургический больной мог избежать ее; даже поступавшие в клиники с травматическими повреждениями и подлежавшие немедленной операции должны были дня 2—3 предварительно принимать ее, чтобы, как говаривал Иноземцев, предотвратить в послеоперационном периоде могущее явиться осложнение со стороны раздражения узловатой нервной системы. Микстура эта имела такое широкое применение в клинике, что заготовлялась тут же чуть не ведрами, и каждая клиническая сиделка хорошо знала «саламанику» (Sal ammoniacum). Не только теперь, почти полвека спустя, такой взгляд на характер болезней представляется чересчур странным и эксцентричным, но и в то время теория Иноземцева производила впечатление совсем произвольной и искусственной даже на студентов: они над ней подтрунивали между собой и только удивлялись эквилибристической ловкости профессора, когда он, при разборе всякого нового больного, неизбежно взбирался на своего конька и весьма логическими приемами старался подвести и этого больного под свою излюбленную схему болезни.

И как ни казались странными и неубедительными взгляды Иноземцева, как ни односторонне было его лечение, слушатели всегда валили толпой на его лекции и считали себя многим ему обязанными; их привлекало к нему его талантливое изложение, живое отношение к науке, стремление к точному разбору клинических больных, вырабатывавшее в слушателях необходимую наблюдательность, и, наконец, искреннее и гуманное отношение к больным. Говоря об односторонности клинического лечения Иноземцева, следует указать на его крупные заслуги и в терапии, указывающие на его тонкую наблюдательность и разумную пропаганду новых методов; так, ему много обязаны своей известностью и распространением водолечение и молочное лечение, и если в отношении первого он являлся только горячим и умным последователем Присница, то в лечении молоком он был, если не ошибаюсь, самым первым и совсем самостоятельным начинателем.

Кроме своих клинических лекций, он читал 4-му курсу

еще оперативную хирургию, и здесь мы находили в нем того же талантливого и чрезвычайно полезного преподавателя, тем более что самая сущность предмета заставляла его быть более объективным и не увлекала его в гипотетические рассуждения.

Я уже выше говорил, что студенты особенно уважали и ценили Иноземцева, и в доказательство этой привязанности позволю себе привести один случай, бывший во время нашего пребывания в университете.

Мы были на 5-м курсе, когда Московский университет торжественно праздновал свой 100-летний юбилей. Праздники эти продолжались три дня, причем в последний из них, 14-го января, университет угощал обедом в своих стенах всех учившихся в то время студентов. За столом, за которым помещался наш курс, во время обеда пущено было предложение сделать складчину и на собранные деньги закончить этот день курсовой пирушкой; предложение было встречено с большим сочувствием, немедленно собраны деньги, выбраны распорядители и решено было собраться около 9 часов вечера в квартире товарищей, занимавших две достаточно поместительные комнаты. Сошлось нас вечером человек около 30, было шумно и весело, и этому одушевлению, само собой разумеется, немало способствовало вино; во 2-м часу ночи, когда бутылки все были опорожнены, в комнатах нам стало тесно и душно, а расходиться по домам разгулявшейся компании еще не хотелось; кто-то предложил, чтобы достойно завершить этот памятный день, отправиться к Иноземцеву, как самому любимому и симпатичному профессору, и под его окнами пропеть хором «Gaudeamus igitur»[17]. Многие за поздним временем и за дальностью расстояния отказались идти, но нас, пожелавших принять участие в экспедиции, и Боткин в том числе, набралось человек 12, и мы бесстрашно двинулись в путь с Покровского бульвара на Спиридоновку, где жил Иноземцев. Январская морозная ночь и долгий переход по снежным сугробам отрезвили большинство из нас, и мы добрели благополучно, установились перед невысоким одноэтажным домиком профессора, и именно под тем окном, за которым, по уверению предполагавших знать помещение, находилась его спальня,— и хор грянул. Кончена была первая строфа, кончена и вторая, а в незакрытом ставнями окне не появлялось ни свету, ни вообще какого-нибудь поощрительного указания, что наше пение было услышано; мы затянули 3-ю строфу; но оборвались на

половине ее, услышав внезапно треск и звон разбитого стекла. Дело тотчас же объяснилось: никто из нас и не заметил в темноте ночи, как один из товарищей, наиболее пьяный, в досаде, что наше пение не вызывает желанного эффекта, отделился от толпы и, подскочив к окну, стал так сильно барабанить по нем, что разбил стекло. Такой, не входивший в наши планы, исход экспедиции до того нас озадачил, что мне и теперь смешно вспомнить, с какой быстротой набедокуривших школьников мы разбежались в разные стороны; помню, я очутился в каких-то прудах, и, не столкнувшись случайно с одним из наших же беглецов, верно бы, до утра проблуждал в этой совершенно незнакомой мне местности. Собравшись на следующий день в больницу на лекции, мы находились в глубоком отчаянии оттого, что наша в основании очень симпатичная цель ночного похода привела к такому печальному и неожиданному концу; для самого же Иноземцева так и осталось навеки тайной, что разбитие в эту ночь в его доме окна учинено не злоумышленной, а самой благожелательной рукой и, напротив, должно было служить выражением той искренней привязанности, какую к нему питала молодежь в наше, далеко не демонстративное, время.

Наконец, учащиеся встречали счастливый для себя состав преподавателей в клинике внутренних болезней 5-го курса, т. е. в Екатерининской больнице. Заведовал этой клиникой профессор И. В. Варвинский, хотя не особенно даровитый, но образованный и сведущий практик; он переведен был в Москву из Дерптского университета и носил на себе еще печать свежести и деловитости немецкой школы того времени, хорошо владел методами исследования, отдавал должное значение патологической анатомии и старательно следил за клинической иноземной литературой, так что студенты, после малонаучной и непитательной терапевтической клиники 4-го курса, попадали на лекции Варвинского как в обетованную землю, где дело велось весьма добропорядочно и где их голод в клинических познаниях получил достаточное удовлетворение. Но еще более полезным для них был адъюнкт Варвинского — П. Л. Пикулин; это был совсем молодой человек, с очень привлекательным, скорее девическим лицом, с большими мягкими глазами и удивительно нежным румянцем на щеках. Он незадолго до того воротился из заграничной поездки для усовершенствования своего образования и при своей талантливости, хорошем запасе знаний и уменье вла-

деть способами исследования мог считаться образцовым преподавателем и диагностом. К несчастью, тяжелая и неизлечимая болезнь скоро прервала его ученую деятельность, от которой университет вправе был ожидать очень много; в описываемое же время он был цветущего здоровья и сам горячо искал работы и применения своих знаний. Кроме того, Пикулин был женат на сестре Боткина, был очень дружен с ним и, зная через него, до чего студенты вступали в последний год своего университетского образования плохо обученными в элементарном исследовании больных, сам предложил им заниматься с ними по вечерам — и вот эти вечерние занятия оказались особенно драгоценными и назидательными для нас, потому что первые познакомили с истинной диагностикой, которая хотя и преподавалась по программе на 3-м курсе, но в такой архаической форме, что мы смотрели на постукивание и выслушивание, как на шарлатанство. Только теперь, под руководством этого горячо занявшегося с нами наставника, начал раскрываться перед нами темный до того мир исследования болезней легких и сердца; мы обзавелись стетоскопами, стали неутомимо выслушивать и наколачивать до мозолей свои пальцы (тогда плесиметры и молотки не были еще в таком ходу, как теперь), проверяли друг друга и закидывали молодого профессора вопросами, а он с неослабным усердием и неутомимостью старался удовлетворить нашу любознательность и разъяснить все доступное. Эти занятия с Пикулиным значительно подвинули вперед наше медицинское образование, и только ленивый не извлекал из них пользы; но особенно ярко осветили они блестящие стороны Боткина и выставили его превосходство; талантливых юношей на курсе было немало; большинство занималось с замечательным старанием, но все признавали в нем первоклассную звезду курса, высоко ценили его редкую даровитость и уже тогда предсказывали его выдающуюся будущность. Он так легко схватывал объяснения Пикулина, так быстро усваивал все тонкие оттенки постукивания и выслушивания, что вскоре сделался первым мастером этого искусства, и товарищи прибегали всякий раз к нему, как к авторитету и третейскому судье, для разрешений недоразумений в таких запутанных случаях, когда над постелью больного между ними возникали сомнения и споры. Другой характерной чертой Боткина было то, что он такие обращения к его помощи товарищей принимал не только без всякого самолюбивого чувства и вы-

сокомерия, а напротив, с величайшей охотой и удовольствием, потому что его пытливый ум постоянно требовал работы и искал сам таких хитрых и запутанных патологических случаев, над которыми бы он мог потрудиться, рассмотреть их со всех сторон и решать, как математические задачи, путем логики и установленных медицинских законов; и до тех пор он не успокаивался, пока ему не удавалось решить предложенный на его суд спорный вопрос. Вот это-то неуклонное стремление Боткина, при его талантливости и сосредоточенности в занятиях, все понять и все объяснить не только себе, но и создать ясным другим — и заставляло смотреть на 20-летнего Боткина как на молодого орленка, будто инстинктивно пробующего свои отрастающие крылья, и по взмаху его тогдашнего полета догадываться, как высоко он будет парить впоследствии.

В больничных занятиях быстро промчался для нас 5-й университетский год. А между тем на Крымском полуострове продолжала разыгрываться кровопролитная война, стянувшаяся почти исключительно около укреплений Севастополя; общественное возбуждение в Москве было хотя и заметно, но оно не могло проявляться во всей своей силе, потому что сведения с театра войны, сообщаемые в ежедневных газетах, которых на всю империю было не больше 4-х, были очень скудны и едва-едва могли удовлетворить только самую микроскопическую долю общественного участия в событиях. Глухое сознание, что дела в Крыму идут не совсем ладно, давало себя чувствовать среди студентов тем, что инспекция обращалась к ним с нередкими убеждениями — бросать занятия и поступать в ряды армии; говорилось особенно о недостатке, ощущаемом в артиллерийских офицерах; в зиму с 1854 — 1855 года введено было обязательное обучение студентов маршировке в манеже, расположенном против университета; на университетских кафедрах появились два откомандированных штаб-офицера — на одного из них возложено чтение фортификаций, а на другого — военного устава.

Нас, медиков, избавили от маршировки, но зато продолжали уговаривать кончать поскорее университетские занятия. За два дня до рождества 5-му курсу снова было приказано собраться в здании старого университета, куда на этот раз явился попечитель — генерал Назимов и пробовал уговаривать нас немедленно держать выпускной экзамен и записываться в военно-медицинское ведомство; но последовать его совету охотников не нашлось, потому что

каждый из студентов на опыте сознавал незаменимую пользу, какую ему давал для довершения образования последний семестр в университете. Отстоять свое дообразование мы отстояли, однако не совсем, так как негодующее на нас начальство вскоре нам объявило, что выпускные экзамены для нас назначаются двумя месяцами ранее, т. е. переводятся с мая месяца на март. Тут уж спорить и прекословить было нельзя, и мы лихорадочно принялись за подготовку к выпуску.

Московский университет известен был своей неумолимой строгостью к тем из оканчивающих курс, которые изъявили намерение держать прямо экзамен на доктора; такие желающие находились в каждом выпуске, хотя в огромном большинстве они делались жертвами беспощадного ригоризма экзаменаторов, а если какому-нибудь счастливцу и удавалось пройти благополучно сквозь весь длинный строй испытаний, то он неизбежно проваливался на экзамене из физиологии у проф. Глебова. Тут уж ничто не могло помочь, ни даже счастье, потому что самому безукоризненному искателю докторской степени профессор повторял в заключение неизменно одну и ту же фразу почти дословно в следующих выражениях: «Вы приготовились прекрасно, отвечали превосходно, а все-таки я вас пропустить не могу, и вот почему: все различие между доктором и лекарем, так как наука все одна и та же, заключается только в количестве и объеме познаний, т. е. первый гораздо начитаннее и сведущее второго, а я и по личному опыту, и по наблюдению над товарищами знаю, что как бы способен и прилежен ни был студент, а ему только что впору управиться с изучением обязательных лекций и учебников и решительно не хватает времени расширять свои познания чтением более специализирующих предмет научных сочинений». Бесспорно, точка зрения Глебова на докторский экзамен не лишена и по настоящее время логичности и справедливости; ею затрагивается давно назревший в России, но еще далекий от разрешения вопрос: насколько целесообразно и разумно удерживать у нас до сих пор две медицинские степени: доктора и лекаря, тогда как во всей остальной Европе опытом давно признано бесполезным такое разграничение и установлена одна ученая степень — докторская... Так как законодательство требовало докторского диплома для замещения старших должностей в военном и гражданском ведомствах, то естественным последствием являлось, что не только высшие долж-

ности, но и места старших госпитальных врачей, инспекторов врачебных управ и т. п. были заняты в большинстве случаев бывшими дерптскими студентами; воспитанники же русских университетов везде были обречены на роли субалтернов. Всякий, кому хоть сколько-нибудь известна материальная нужда тогдашних провинциальных врачей, поймет, как их угнетали и даже деморализировали такое приниженное положение и почти абсолютная невозможность выбиться из него, потому что нужны были незаурядная энергия и редкая счастливая случайность, чтобы добраться до университетского города впоследствии и, выдержав докторский экзамен, открыть себе дипломом дорогу к лучшему будущему...

На курсе у нас было, как я уже говорил, много способных и занимавшихся весьма усидчиво студентов, а потому набралось из них 5 или 6 человек, решившихся идти на штурм обставленной столь неодолимыми препятствиями докторской степени и подавших прошение о допущении их к докторскому экзамену. Боткин был в числе этих храбрецов; я же, несмотря на его уговариванья и на совет декана, не согласился подвергать себя бесполезной попытке без надежды на успех; весьма кстати для оправданий моей неуверенности в своих силах явился у меня и основательный предлог в виде внезапного кровохарканья, открывшегося после Нового года; правда, оно было небольшое, но могло легко затянуться при тех непомерных занятиях, какие предстояли в случае моего вызова.

Выпускные экзамены кончились на страстной неделе, и мы, вскоре сняв студенческую форму, обратились в лекарей. Докторантов же постигла всех, если не ошибаюсь, обычная судьба, т. е. они тоже превратились в лекарей, за исключением Боткина: он благополучно прошел через все преграды, и только профессор Глебов, верный своему взгляду, не пропустил его сразу, а сказал ему явиться для переэкзаменовки после вакаций, посоветовав употребить лето на большее знакомство с физиологической литературой. Такой исход докторских экзаменов считался тогда равносильным удаче, поэтому Боткин нисколько им не был смущен, и только в то время, как мы весело и в товарищеском кругу отдыхали от перенесенных трудов и уже начали хлопотать о местах, он уединился на лето на дачу в село Архангельское, в 20 верстах от Москвы, и засел за приготовление к переэкзаменовке. <...>

Соловьев С. М.

ЗАПИСКИ

<VI>

...Обращаюсь к университетским воспоминаниям <...>

VII

О попечителе графе Строганове я уже довольно говорил; помощником его был Дмитрий Павлович Голохвастов, человек, умевший, в противоположность Строганову, заслужить самое невыгодное о себе мнение в университете и обществе московском. Это был человек знающий, умный, честный и любивший честность в других, но ум этого человека отличался особенным складом, именно удивительною форменностью. Мы, прочие смертные, мыслим про себя и вслух, разговариваем и пишем, не обращая внимания на самый процесс нашего мышления, на его формы; тогда как у Голохвастова все внимание было обращено на формы мышления; в разговоре своем он хлопотал только об одном, чтобы мысли являлись в законной форме и чтоб эта форменность как можно яснее обнаружилась; отсюда разговор Голохвастова был крайне утомителен. Есть люди нестерпимые в разговоре: они стараются сделать свою речь украшенною тем, что не скажут слова просто; если есть такие фразеры, нестерпимые своею риторикою, то Голохвастов принадлежал к числу людей, которые встречаются гораздо реже,— людей нестерпимых своею логикою; эта логика в его разговоре являлась столь же изысканною, бездушною, как риторика у фразеров. При этом Голохвастов был страстный охотник говорить, т. е. затягивать мысли в форменное платье, в мундир и выводить их напоказ: вот как правильно и стройно вытекают одна из другой, связываются и равняются; хотя эти правильность и стройность были часто видимые только, но Голохвастову не было до этого дела. В исторической литературе нашей Голохвастов прославился замечаниями по истории осады Троицкой лавры, напечатанными в «Москвитянине», блестящею критическою статьею[1]; говорили, что он пользовал-

ся здесь чужими трудами и указывали на Забелина; но, зная хорошо Голохвастова, его приемы, я не усомнюсь приписать ему статью,— по крайней мере, главное в статье, построение ее, принадлежит ему.

По политическим убеждениям своим Голохвастов был сильный охранитель; ему очень нравился существующий порядок вещей, дисциплина, чинопочитание; он много занимался историей своей фамилии, собрал и издал акты, хранившиеся в фамильном архиве; замечания на историю Троицкой осады написал он для того, чтобы защитить честь своих предков от наветов Палицына; когда я однажды в разговоре с ним упомянул об этой статье, то он с самодовольным видом сказал: «Pro domo sua pugnavimus»*. Но при этом в Голохвастове не было ничего аристократического; в нем была только русская барская спесь, что особенно и отталкивало от него университетских подчиненных, избалованных Строгановым. Голохвастов платил университету тою же монетою: будучи помощником попечителя, а потом попечителем, он ненавидел университет, считал его учреждением опасным для существующего порядка вещей и не скрывал этих мнений своих; не советовал никому отдавать сыновей своих в университет и говорил, что своих никогда не отдаст туда, что все дворяне должны служить в военной службе, что предки их служили за поместья, когда же поместья были превращены в вотчины, то этим самым обязанность служить в военной службе не снялась, напротив, удвоилась. Своими понятиями и обращением Голохвастов больше чем кто-либо другой напоминал русского барина XVII или начала XVIII-го века, надевшего европейское платье, усвоившего даже себе европейскую науку, европейские языки, но в сущности оставшегося верным старине. Неуважение Голохвастова к подчиненным, или, по крайней мере, к большинству их, было возмутительно. Особенно дурную славу приобрел он при управлении округом между попечительством Голицына и Строганова, когда он, сообразно характеру своему, строгостями и отдачею студентов в солдаты, хотел сделать то, что при Строганове сделалось само собою, без всяких насильственных средств, чрез одно влияние благородной личности начальника,— именно исправление студенческих нравов. При Строганове Голохвастов был председателем цензурного комитета, и здесь явился притеснителем; особенно его строгость возбуждала негодование в сравнении с петербургскою цензурою, отличавше-

* В защиту себя и своих дел (*лат.*).

юся тогда свободою. Наконец, в наружности Голохвастова было много отталкивающего: его фигура выражала спесь, натянутость, форменность; это была фигура красивого, рисующегося квартального, который понимает свое высокое значение на публичном гуляньи пред толпою черни. Голохвастов был известен своим конским заводом; на скачках славилась его великолепная лошадь Бычок, и вот из университетских стен явилась эпиграмма:

Вместо Шеллингов и Астов
И Пегаса старичка
Дмитрий Павлыч Голохвастов
Объезжает нам Бычка.

Ректором был М. Т. Каченовский[2]. Об ученом значении этого человека я не буду распространяться, потому что исчерпал этот предмет в биографии Каченовского, напечатанной мною в Биографическом словаре профессоров университета, изданном по случаю столетнего юбилея[3]. В то время, как я был в университете и слушал Каченовского, это уже был старик ветхий; читал он уже не русскую историю, а славянские наречия, предмет, при разработке которого он не мог оказать ученых заслуг ни по летам, ни по приготовлению своему; скептицизм проглядывал и тут при каждом удобном случае; любопытно было видеть этого маленького старичка с пергаментным лицом на кафедре: обыкновенно читал он медленно, однообразно, утомительно; но как скоро явится возможность подвергнуть сомнению какой-нибудь памятник письменности славян или какое-нибудь известие — старичок вдруг оживится, и засверкают карие глаза под седыми бровями, составлявшие единственную красоту у невзрачного старика. Сохранилось у меня в памяти одно из свидетельств, приведенных Каченовским против подписи на тмутараканском камне[4]: «Да вот и государь император Николай Павлович, как взглянул на нее, так и сказал: «Это, должно быть, подложная надпись!»

Каченовский мог служить лучшим опровержением мнения, что ученый скептицизм ведет необходимо к религиозному и политическому; не было человека более консервативного в том и другом отношении. Скептицизм научный отражался, впрочем, в жизни Каченовского мнительностью, крайнею осторожностью, чрезмерным страхом пред ответственностью; так, например, он никогда не брал на дом книг из университетской библиотеки, боясь, чтоб они ка-

ким-нибудь непредвиденным образом не пропали у него; каждое дело, каждая бумага по управлению встречали с его стороны возражения: «Да как же это так, да зачем же это так?» и т. п. Во всех отношениях общественной служебной жизни своей Каченовский был честный человек; полемика его против Карамзина и Пушкина доставила ему много врагов. Говорили, что император Николай, при выборе инспектора классов к наследнику, обратил внимание на Каченовского, говоря, что уважает этого ученого, по журналу которого он выучился читать по-русски[5]; но карамзинисты помешали Каченовскому, выставивши на вид его вредное направление, скептицизм, чем, разумеется, легко могли напугать охранительнейшего императора. По поводу Пушкина профессор Крюков рассказывал любопытный разговор свой с Каченовским: зашла речь о языке, которым должна писаться история; Каченовский, как следует ожидать, вооружился против украшенного слога, против риторики, поднимающей на ходули события и лица, причем сказал: «Один только писатель у нас мог писать историю простым, но живым и сильным, достойным ее языком — это Александр Сергеевич Пушкин, давший превосходный образец исторического изложения в своей «Истории Пугачевского бунта». Конечно, этот отзыв был произнесен по смерти Пушкина[6]; конечно, по смерти уже Карамзина Каченовский написал разбор XII тома[7],— но всякий ли способен и по смерти врага сделаться беспристрастным в отношении к нему, у всякого ли достанет духа похвалить и умершего врага? Под старость Каченовский уже не мог продолжать полемики с Погодиным[8], который, однако, не переставал нападать на него и, по обычаю своему, позволял себе грубые выражения на его счет; старика сильно это оскорбляло; со слезами на глазах он жаловался на оскорбления и на невозможность отвечать оскорбителю, который трубит победу. Сильно оскорбляла также старика Венелинская школа[9],— стремление все ославянить, сделать славян древнейшим и славнейшим народом мира: не имея сам средств ратовать против этого, по его мнению, вредного и нелепого направления, Каченовский приглашал молодого Грановского образумить ослепленных; но Грановский отказался подвизаться на этом неблагодарном поприще.

Деканом факультета был И. И. Давыдов. Это был человек бесспорно очень даровитый, способный к многосторонней деятельности[10], могший принести большую пользу

науке, если бы посвятил ей всего себя; но он посвятил всего себя для удовлетворения одной страсти — честолюбия, и честолюбия самого мелкого; мало того, что, думая, хлопоча только о почестях, он пренебрег наукою, скоро сделался ученым отставшим, он продал дьяволу свою душу, ибо для достижения почестей считал все средства позволительными: нипочем было ему очернить человека, загораживавшего ему дорогу, погубить его в общественном мнении; нипочем ему было унизиться до самой гнусной, невообразимой лести пред человеком сильным и пред лакеями человека сильного, не обращая никакого внимания на умственные и нравственные достоинства человека, уважая только людей сильных, могущих быть ему полезными или вредными. Не имея ни веры, ни совести, этот человек, смотря по надобности, притворялся самым благочестивым: равнодушный к вере с равнодушным к ней министром Уваровым, он благоговейно молился на коленях с набожным министром Ширинским-Шихматовым. Однажды ему нужно было снискать благосклонность некоторых богомольных барынь; вот он явился в их общество, ходя по комнате, пошел в карман за платком и, как будто бы нарочно, выронил из кармана маленькую книжку; ему ее подняли, и любопытные барыни спросили, что это за карманная книжка у профессора: оказалось, что это Фомы Кемпийского — «О подражании Христу»![11]

Этот любитель Кемпийского встретил на своей дороге Каченовского; чтобы повредить ему, он прикинулся ему другом, стал беспрестанно к нему ездить и уговорил его посещать клуб, стал увлекать его туда беспрестанно — и это-то была главная цель его дружества: он начал с сожалением рассказывать всем и каждому, что вот какое несчастье! такой достойный ученый, как Каченовский, пристрастился к клубу, к игре, покинул семейство, науку, и он, Давыдов, из дружбы к нему, следит за ним, не покидает его, ища случая отвратить от пагубной страсти. Жалкое зрелище представлял из себя Давыдов, когда ждал чина или ордена; беспокойство и волнение его не имели границ; даже узнав, что представление подписано императором, Давыдов не мог успокоиться, спрашивал, не может ли случиться, что курьера, везущего орден или чин, постигло какое-нибудь несчастье на дороге, и не может ли этот случай отдалить новое представление на неопределенное время: не бывало ли тому прежде примеров? Получив первую звезду, Станислава, Давыдов не постыдился объявить, что высшие

ордена производят удивительное влияние, что он чувствует себя нравственно лучше, выше, получивши звезду. Получив орден Владимира 2-й степени, он встретился с профессором Никитенко и начал внушать ему, что во всей России чрезвычайно мало людей, которые бы имели владимирскую звезду в чине действительного статского советника.

Но что было в Давыдове хуже всего — это страшная мстительность; пресмыкаясь пред сильными, он требовал пресмыкания перед собою от всех, которые были ниже, слабее его, и горе человеку, в котором он заподозрит чувства, враждебные к себе, или, по крайней мере, недостаток раболепства; понятен вред, который причинял Давыдов своим характером: понятно, что нашлось много людей, которые соглашались пред ним раболепствовать; получали чрез него места, выгоды,— и все это были люди дрянные; люди порядочные, не соглашавшиеся пред ним раболепствовать, подвергались гонению. Страшно вредно было его деканство тем, что он из низких видов явно оказывал поблажку студентам «отецким детям», выводил их, давал высшие баллы, высшие степени не по достоинству, в предосуждение другим, более достойным, но от которых декан не надеялся получить ничего; при страшном честолюбии Давыдов не оставлял удовлетворять и другой страсти — корыстолюбию: он сильно пользовался казенным добром, когда был инспектором университетского пансиона, любил брать и от студентов, т. е. от их родителей, богатые подарки в благодарность за покровительство сынкам; в воспитанниках университетского пансиона он оставил по себе еще более тяжелое воспоминание... В заключение приведу стихи, которые очень верно характеризуют Давыдова:

Подлец из чести и из видов,
Душеприказчик старых баб,
Иван Иванович Давыдов
Ивана Лазарева* раб.
Душа полна стяжанья мукой,
Полна проектов голова,
И тащится он за наукой,
Как за Минервою сова.

Я должен был слушать Давыдова с первого курса, и слушал очень долго, потому что второй профессор словесности, Шевырев, был в это время за границею. Содержанием лекций Давыдова было то, что уже мы знали из на-

* Лазарев — попечитель лазаревского армянского института, где Давыдов был инспектором. *(Прим. авт.)*

печатанного в его «Чтениях о словесности»; книга известна, следовательно, мне не нужно распространяться о ее достоинстве[12]. Но Давыдову не хотелось читать слово в слово по книге, и потому он прибег к средству, возможному только для него: именно целый год переливал из пустого в порожнее; все лекции состояли из набора слов для выражения известного и переизвестного уже; студенты слушали сначала со вниманием, ожидая, что же выйдет под конец, но под конец ничего не выходило, и потому курсу Давыдова дали название: *ничто о ни о чем, или теория красноречия.* К счастию, почтенный профессор избавлял студентов от большого утомления следующим средством: ему нужно было читать два часа сряду, но он приходил в половине первого часа и уходил в половине второго и читал только час.

Вторым профессором словесности был, как я уже сказал, Шевырев; Давыдов читал теорию словесности, Шевырев — историю литературы вообще и русской[13]. Шевырев наконец приехал из-за границы, мы перешли к нему от Давыдова и попали из огня да в полымя: Давыдов из «ничто» умел делать содержание лекции; Шевырев богатое содержание умел превратить в ничто, изложение богатых материалов умел сделать нестерпимым для слушателей фразерством и бесталанным произведением известных воззрений. Тут-то услыхали мы бесконечные рассуждения, т. е. бесконечные фразы о гниении Запада, о превосходстве Востока, русского православного мира. Однажды после подобной лекции Шевырева, окончившейся страшной трескотней в прославление России, студент-поляк Шмурло подошел ко мне и спросил: «Не знаете ли, сколько Шевырев получает лишнего жалованья за такие лекции?» Так умел профессор сделать свои лекции казенными. Способность к казенности и риторству уже достаточно рекомендует человека; взгляните на его портрет — весь человек тут. В сущности, это был добрый человек, не ленивый сделать добро, оказать услугу, готовый и трудиться много; но эти добрые качества заглушались страшною мелочностью, завистливостью, непомерным самолюбием и честолюбием и вместе способностью к лакейству; самой грубой лести было достаточно, чтобы вскружить ему голову и сделать его полезным орудием для всего; но стоило только немного намеренно или ненамеренно затронуть его самолюбие, и этот добрый мягкий человек становился зверем, готов был вас растерзать и действительно растерзывал, если жертва была слаба; но

если выставляла сильный отпор, то Шевырев долго не выдерживал и являлся с братским христианским поцелуем. Эта-то задорливость, соединенная с слабостью, всего более раздражала против Шевырева людей крепких, вселяла в них к нему полное отвращение, презрение. Хороши стихи, написанные на Шевырева Каролиною Павловою, хотя они далеко не определяют еще вполне его характера:

Преподаватель христианский,
Он верой тверд, душою чист;
Не злой философ он германский,
Не беззаконный коммунист;
И скромно он по убежденью
Себя считает выше всех,
И тягостен его смиренью
Один лишь ближнего успех[14].

Основа недостатков Шевырева заключалась в необыкновенной слабости природы, природы женщины, ребенка, в необыкновенной способности опьяняться всем, в отсутствии всякой самостоятельности. Нельзя сказать, чтобы он вначале не обнаружил и таланта; но этот талант дан был ему в чрезвычайно малом количестве, как-то очень некрепко в нем держался, и он его сейчас израсходовал, запах исчез, оставив какой-то приторный выцвет. Шевырев как был слаб пред всяким сильным влиянием нравственно, так был физически слаб пред вином, и как немного охмелеет, то сейчас растает и начнет говорить о любви, о согласии, братстве и о всякого рода сладостях; сначала, в молодости, и это у него выходило иногда хорошо, так что однажды Пушкин, слушая пьяного оратора, проповедующего довольно складно о любви, закричал: «Ах, Шевырев! зачем ты не всегда пьян!»

От Шевырева приятно перейти к профессору, который произвел на меня самое сильное впечатление на первом курсе, именно Крюкову. Крюков, когда я вступил в университет, читал латинский язык на трех старших курсах и древнюю историю на первом. У Крюкова, как у всех самых даровитых профессоров русских, но занимающихся науками, разработанными на Западе, не было самостоятельности; он пользовался результатами, добытыми германскими учеными, своими учителями, читал преимущественно под влиянием Гегеля; но у Крюкова был блестящий талант в изложении, блестящий и вместе твердый, не допускавший фразы, представлявший этим противоположность шевыревскому таланту. Крюков, можно сказать, бро-

сился на нас, гимназистов, с огромною массою новых идей, с совершенно новою для нас наукою, изложил ее блестящим образом и, разумеется, ошеломил нас, взбудоражил наши головы, вспахал, взборонил нас, так сказать, и затем посеял хорошими семенами, за что и вечная ему благодарность. Второй курс мы слушали его уже, как профессора латинской словесности, и здесь он был превосходен, обладая в совершенстве латинскою речью и силою своего таланта возбуждая в нас интерес к экзегезису[15], столь важному для изучения отечественных памятников; привлекательности речи Крюкова, как латинской, так и русской, помогал очень много необыкновенно приятный, звучный орган, на котором он очень искусно умел играть, как на инструменте; до сих пор (29 мая 1855 года) еще не встречал человека, который бы умел так играть на своем голосе, приводить его в такую гармонию с мыслью, с рассказом своим; некоторые лекции — например, о Таците — он потом напечатал; но в книге это было не то, потому что обаяние уже исчезло.

Когда мы перешли на второй курс, то приехал из-за границы профессор Грановский, начавший читать среднюю и новую историю. Грановский, как и Крюков, не был самостоятелен, явился поклонником также Гегеля, но был художник первоклассный в историческом изложении. Между талантом Крюкова и талантом Грановского была такая же большая разница, как и между их наружностью: Крюков имел чисто великороссийскую физиономию, круглое, полное лицо, белый цвет кожи, светло-русые волосы, светло-карие глаза; талант его более поражал с внешней стороны, поражал музыкальностью голоса, изящною обработкою речи, к нему, как нельзя более, шло прилагательное elegantissimus, как мы, студенты, его величали; но при этой элегантности, щегольстве, в нем самом, в его речи, в чтениях было что-то холодное; его речь производила впечатление, какое производит художественное изваяние. Грановский имел малороссийскую южную физиономию; необыкновенная красота его производила сильное впечатление не на одних женщин, но и на мужчин. Грановский своею наружностью всего лучше доказывает, что красота есть завидный дар, очень много помогающий человеку в жизни. Он имел смуглую кожу, длинные черные волосы, черные огненные, глубоко смотрящие глаза. Он не мог, подобно Крюкову, похвастать внешнею изящностью своей речи: говорил очень тихо, требовал напряженного внимания, за-

икался, глотал слова, но внешние недостатки исчезали пред внутренними достоинствами речи, перед внутреннею силою и теплотою, которые давали жизнь историческим лицам и событиям и приковывали внимание слушателей к этим живым, превосходно очерченным лицам и событиям. Если изложение Крюкова производило впечатление, которое производят изящные изваяния, то изложение Грановского можно сравнить с изящною картиной, которая дышит теплотой, где все фигуры ярко расцвечены, говорят, действуют пред вами.

И в общественной жизни между этими двумя людьми замечалось то же различие: оба были благородные люди, превосходные товарищи; но Крюков мог внушать только большое уважение к себе, не внушая сильной сердечной привязанности, ибо в нем было что-то холодное, сдерживающее; в Грановском же была неотразимая притягательная сила, которая собирала около него многочисленную семью молодых и немолодых людей, но, что всего важнее, людей порядочных, ибо с уверенностью можно было сказать, что тот, кто был врагом Грановскому, любил отзываться о нем дурно, был человек дурной. Я сказал: кто *любил* отзываться о нем дурно; ибо и люди самые привязанные к нему должны были иногда с горем порицать его в глаза и за глаза: лень заставляла его закапывать свой блестящий талант; с необыкновенною легкостью проглатывая чужое и претворяя это чужое в свою собственность, Грановский с величайшим трудом мог заставить себя взять перо в руки; он оправдывал себя перед собою и перед другими тем, что нельзя было ничего печатать, благодаря русской цензуре, особенно с 1848 — 1855 года, но это оправдание не удовлетворяло ни других, ни его самого, печатать было можно и в это страшное время, еще легче было печатать прежде и после него. Грановский женился очень рано на превосходной женщине, дочери доктора Мюльгаузена, сестре профессора, нашего товарища, но детей не имел. Это обстоятельство, разумеется, много способствовало его лени, беспечности; потом я уже сказал, что он был постоянно окружен толпою людей, с которыми весело было проводить дни, ночи, от остроумной, веселой беседы с которыми трудно было оторваться для кабинетного труда... К сожалению, не одною остроумною беседою занимался Грановский со своими приятелями, вино также приглашалось часто и неумеренно к усилению веселости и остроумия; но и этого было мало: у Грановского была несчастная страсть к картам...[16]

VIII

После Грановского и Крюкова самым замечательным профессором нашего факультета был Александр Иванович Чивилев, преподававший политическую экономию и статистику. Это был gentleman в наружности и манерах, честный, точный в исполнении своих обязанностей, умный и часто зло остроумный человек, и если не холодный, то, по крайней мере, холодноватый. Политическая экономия меня не так занимала; эта наука была для меня слишком жидка, хотя изложение Чивилева, в научном отношении, кажется, было безукоризненно; гораздо больше удовольствия и пользы доставили мне его лекции о статистике, особенно та часть их, где говорилось о природе стран, о ее значении в жизни народов.

Греческий язык на первом и втором курсах преподавал В. И. Оболенский, с которым я уже был знаком по гимназии, где он с начала моего поступления преподавал русский язык, а потом латинский. Оболенский был человек знающий, охотник читать, заниматься, но бездарный и полусумасшедший. В гимназии он так учил русскому языку: придет в класс и вызовет какого-нибудь ученика говорить урок от доски до доски по книге, потом вызовет кого-нибудь говорить стихи, и в этом проходит весь класс. В университете он мог бы быть полезным на низших курсах, занимаясь переводами авторов, но он вредил делу тем, что не мог внушить к себе никакого уважения в слушателях, которые смеялись над ним, над его странными речами, в которых, начавши за здравие, он сводил за упокой, ибо мысли, иногда здравые, никогда не клеились в его голове одна с другой; потом он вредил преподаванию крайнею слабостью, неумением требовать от студентов приготовления к переводу Строганов видел его неспособность и насилу додержал его до срока пенсии, чтоб не лишить бедного старика куска хлеба.

На высших курсах преподавал греческий язык А. И. Меншиков, человек бездарный, невыносимый на лекциях и также с головою не очень стройно организованною. Строганов хлопотал, чтоб его выжить из университета, но никак не мог. Еще до выхода Оболенского был приглашен для греческой кафедры немец Гофман. Это был человек не без дарования, могший с пользою преподавать греческий язык, особенно если сравнивать его с Оболенским и Мен-

шиковым, но немец не понимал своего положения в русском университете. И поступавшие в университет ученики гимназии не были достаточно приготовлены в греческом языке, тем менее ученики, поступавшие из других приготовительных заведений и из родительских домов; при приемных экзаменах утвердилось вредное правило, что нельзя строго требовать греческого языка, ибо это предмет трудный, отвращающий многих от поступления на историко-филологический факультет. Видя неприготовленность студентов, Гофман подумал, что им нельзя преподавать по-университетски, а надо по-гимназически, и начал душить нас на грамматике, на ее тонкостях; но что русскому здорово, то немцу смерть и наоборот. Русский студент 18-ти, 20-ти лет и больше и не имеющий в виду быть греческим учителем, занимающийся другими предметами, хочет приобресть возможность читать, как можно легче, греческих авторов, для чего ему нужно постоянное упражнение,— и вместо того, пробывши несколько лет в университете, посещая почти каждый день греческие лекции, он видит, что не может прочесть ни одной странички Геродота без лексикона, потому что лекции проводятся в толкованиях о различных оттенках частицы.

Это студентам сильно наскучило; многие из них перестали ходить на лекции; другие, сидя на лекциях, не слушали о частице αν и по окончании курса почти все вышли с такими знаниями греческого языка, с какими вошли в университет; метода Гофмана объяснялась еще и тем, что он преимущественно занимался грамматикой, давал уроки, чтобы приготовлять к экзегезису; занять же внимание слушателей и принести им пользу он не имел времени и потому потчевал их одною грамматикою.

Русскую историю мы слушали на четвертом курсе у М. П. Погодина. Сколь прекрасная наружность Грановского приносила ему пользы, гармонируя с его художественным преподаванием, привлекая к нему женщин и мужчин, столь же вреда приносила Погодину его наружность, имевшая в себе, кроме дурного, еще отталкивающее. Мы пришли слушать Погодина с предубеждением относительно его нравственных качеств; он славился своею грубостью, цинизмом, самолюбием и особенно корыстолюбием[17]. Есть много людей, которые так же самолюбивы и корыстолюбивы, как Погодин, но не слывут такими именно потому, что у Погодина душа нараспашку; что другой только подумает,— Погодин скажет; что другой подумает или только ска-

жет,— Погодин сделает. Другие так же корыстолюбивы, но скрывают этот недостаток или обнаруживают его не так легко, а Погодин, мелочный торгаш, любит даровщинку, любит не дать, недодать; выпустить деньгу из рук для него очень тяжело, хотя бы он и знал, что вперед будут барыши; Погодин сам признается, что он корыстолюбив, и жалуется: «Вот люди! Имей какой-нибудь недостаток, так уж они и привяжутся к нему, и никогда не будешь ты у них порядочным человеком, хотя бы при этом недостатке имел и большие достоинства». Но в том-то и дело, что у Погодина не было больших достоинств, хотя и было достоинство довольно редкое в русском человеке, в наше время и в нашем обществе, качество, которое он вынес из своей прежней среды (о происхождении своем он не упомянул в своей автобиографии, потому и мы молчим о нем)[18], именно смелость, качество первобытного, простого русского человека: смелым Бог владеет — авось! — и идет напролом. Смел он на доброе дело,— например, написать правду о делах управления и подать ее в руки царю[19], смел и на то, чтобы сейчас же попросить денег у правительства, которое знает, что он богат, и тем обнаружить свое корыстолюбие, потерять уважение, приобретенное было смелым добрым делом; смел и на то, чтобы, будучи в Брюсселе, зайти к Лелевелю — засвидетельствовать ему свое уважение[20]; смел и на то, чтобы надуть человека, имеющего голос, значение в обществе, человека, следовательно, опасного; смел на то, чтоб обругать своего противника печатно без соблюдения приличий; «смел на то, чтоб вредить врагу всякими средствами». Я сказал: смел на доброе дело; значит, в нем было побуждение и к добрым делам; это не был Давыдов, способный только на одни низости, хотя, с другой стороны, и Давыдов не так оскорблял своим поведением, как Погодин, ибо у Давыдова не было такого цинизма, такого неряшества нравственного, как у Погодина.

Человек отражался в писателе и в профессоре. Погодин менее всего был призван быть профессором, ученым; его призвание — политический журнализм, палатная деятельность или — к чему он еще более годился — площадная деятельность. Это был Болотников во фраке министерства народного просвещения; заметим, что последнее должно было сильно смягчить первое, и действительно смягчало. Человек низкого происхождения, но живой, умный, он в молодости увлекся на поприще, которое одно в России имеет характер публичности, соединено с шумом, движением,

обольщающим живых молодых людей, поприще литературное и университетское. Он стал писать повести[21], издавать журнал[22], заниматься историею всеобщею и русскою, особенно последнею, вошел в литературный круг. К постоянным ученым кабинетным занятиям одним предметом Погодин не был способен от природы и не мог приучить себя в молодости при указанном разнообразии своих занятий; вот почему в русской истории явился он наездником сначала очень счастливым; в споре о происхождении варягов подметил, где твердая почва, схватился за Скандинавию, распространил Байера и явился главою скандинавцев[23]; в споре о летописях подметил, что у скептиков золотая голова и глиняные ноги, и начал бить по ногам, живостью, задором опередил мешковатого Буткова и стал главою школы несторианцев[24]. Но здесь я коснусь его ученого поприща. Легко добывши себе громкое имя двумя диссертациями[25] и несколькими журнальными статейками, Погодин засел в варяжский период, остановился здесь; вследствие прекращения движения явилась плесень. Погодин ничего не ведал дальше варягов, дошел до нелепых крайностей, запутался, завяз, ибо только широкое движение по целому обширному предмету освобождает ученого от пристрастий, спасает от крайностей, необходимого следствия тесноты горизонта, производящей ученую близорукость; крича, что другие ничего не делают, задавая *молодым людям* предметы для занятий, Погодин сам ничего почти не делал для русской истории, а между тем утвердился во мнении, что он — во главе людей, занимающихся русскою историею; все обстоятельства, к несчастью его, содействовали к укреплению этого убеждения: Каченовский ослабел и умер, Строев (Сергей Скромненко)[26] умер, Венелин умер; мнения последнего нашли себе защитников и развивателей в таких людях, с которыми легко было бороться — в Морошкине, в Савельеве-Ростиславиче и т. п.[27]; поле, следовательно, осталось за Погодиным, и он трубил победу; огромная библиотека, им собранная[28], заставляла его думать, что в его руках все сокровища русской истории, что *молодые люди* могут заниматься ею только с его позволения, с его благословения, хотя сам он меньше всякого другого имел понятия о своей библиотеке, особенно о древних рукописях; наконец, связь его с славянскими учеными, которые обходились с ним с чрезвычайным уважением, ибо он посылал к ним книги и деньги, давали ему видное место в целом ученом славянском мире[29].

Но этот пророк не был признан в своем отечестве; в Московском университете ему было не очень ловко. Во-первых, лекции его не могли возбудить в студентах восторга, сделать из них жарких поклонников. Вот как он читал: сначала месяц, другой посвящал славянским древностям, которые читались буквально по Шафарику[30]; потом переходил профессор к подробному рассмотрению вопросов о достоверности русских летописей и о происхождении варягов — Руси, т. е. прочитывал обе свои диссертации. После этого времени оставалось уже немного; это остальное время Погодин проводил в том, что приносил Карамзина и читал из него разные места, но самые слабые и вместе значительные по предмету, требовавшие пояснений, дополнений; этого Погодин, кроме варяжского периода, сделать был не в состоянии, ибо все, что выходило по русской истории, драгоценные издания Археографической комиссии, для него не существовали[31]; он выбирал из Карамзина места красивые, превращал лекцию русской истории в лекцию риторики,— так, например, читал с восторгом карамзинское описание Тамерлановых походов и требовал от слушателей, чтоб и они также восторгались этим описанием; потом обращал внимание слушателей и заставлял их восторгаться искусством Карамзина в переходах от рассказа об одном событии к рассказу о другом; главная его цель при этом была убедить студентов, что русская история интересна, что она не хуже какой-нибудь другой, французской и английской; иногда, очень редко, впрочем, приносил и летописи, читал из них места; так, например, он прочел нам знаменитое место о споре владимирцев с ростовцами по смерти Андрея Боголюбского. Но какая же была цель этого чтения? Показать, что вот и в русской истории бывали события вроде западных, являлись на сцену города, граждане, выбирали князей и прочее. Так отрывками добирался Погодин до 1612 года и здесь — по крайней мере, на нашем курсе — остановился. Кроме того, значительная часть лекций посвящалась разговорам со студентами, указаниям, что вот чем надобно заниматься,— изложить историю сословий, историю княжеств, историю городов и прочее, в чем, разумеется, студенты соглашались; но главное, как это делать, об этом не было помину; развивал Погодин притом свою любимую тему, что *молодые люди* самолюбивы, не хотят бескорыстно трудиться на стариков. «Ведь вот никто из них не пойдет к старому ученому дрова носить» — так выражался Погодин, разумея под дровами черную уче-

ную работу, приискивание мест в источниках и т. п. Все эти разговоры были забавны, но нисколько не привлекали сердца слушателей к Погодину; смешно было видеть человека самого самолюбивого, жалующегося на самолюбие других, человека корыстолюбивого, требующего бескорыстия от других.

Таковы были отношения Погодина к студентам; со старыми товарищами своими, профессорами, Погодин еще сходился, с некоторыми был даже дружен по отношениям молодости — например, с Шевыревым, Кубаревым; но когда приехала толпа новых профессоров из-за границы, Крюков с товарищами[32], то между ними и Погодиным началась явная вражда; вражда эта происходила прежде всего из того, что манеры Погодина, его цинизм произвели самое неприятное впечатление на этих новичков, привыкших к совершенно другим манерам; потом эти господа поонемечились, jurabant in verba magistrorum*, и так как сначала главное право их на места, главное достоинство их состояло в заграничном образовании, то естественно, что они гордились этим достоинством, превозносили все тамошнее в ущерб здешнему; это задело за живое Погодина, представителя славянофилизма в университете: он стал называть молодых русских профессоров немцами и даже говорить, что онемеченный русский гораздо хуже, вреднее для России, чем немец, что от посылки молодых русских ученых за границу происходит страшное зло для университетов, и прочее. Понятно, какие приятные чувства возбудили в молодых профессорах подобные мнения; их вражда разгорелась, и тем менее они могли щадить Погодина, что характер этого защитника Руси не мог внушить им никакого уважения. Граф Строганов, назначенный попечителем, нашел университетский корпус в плачевном состоянии, именно в таком же, в каком нашел и гимназии, и в университете произвел такой же благодетельный переворот, как и в гимназии. Большая часть профессоров были люди бездарные, отсталые, с нелепыми выходками и привычками, подвергавшиеся вследствие того насмешкам студентов; мы уже с трудом могли верить рассказам наших предшественников дострогановских о том, что позволяли себе Смирновы, Маловы, Щедритские, Снегиревы на лекциях и экзаменах. Строганов выгнал их всех и заместил кафедры новоприбывшими из-за границы учеными; отсюда понятно, что он связал свое дело неразрывно с делом последних, которые

* Поклялись в верности *(лат.)*.

нашли в нем покровителя и проводителя их мыслей и планов; отсюда понятно, как он смотрел на эти остатки старины — на Погодина, Шевырева, Давыдова; он держал их в университете по авторитету, какой они успели приобрести, и по неимению людей, которыми бы можно было их заменить, ибо для кафедры русской истории и русской словесности не посылали молодых людей за границу, а свои еще не подросли; на ученые достоинства этих господ Строганов смотрел чрез очки молодых профессоров,— следовательно, не очень уважал эти достоинства; кроме того, он их раскусил с первого раза и возненавидел их как людей; он начал презирать Давыдова, из-за ордена и чина готового на всякую гнусность; Шевырева — как человека мелкого и вместе задорного, несносного; Погодина — как корыстолюбивого, грязного холопа и вместе с тем дерзкого, надменного; закаленный аристократ Строганов сейчас же враждебно оттолкнулся от демократа Погодина, демократа-блузника Болотникова во фраке министерства народного просвещения. Трое этих господ, с придачею еще четвертого, Перевощикова, преподавателя очень способного[33], но человека грубого, не умеющего разбирать средства для достижения целей, видя отвращение от себя попечителя, бросились к министру Уварову, врагу Строганова.

Уваров был человек бесспорно с блестящими дарованиями, и по этим дарованиям, по образованности и либеральному образу мыслей, вынесенным из общества Штейнов, Кочубеев и других знаменитостей Александровского времени, был способен занимать место министра народного просвещения, президента Академии наук etc.; но в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным. Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в себе ничего истинно аристократического; напротив, это был слуга, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I-го), но оставшийся в сердце слугою; он не щадил никаких средств, никакой лести, чтоб угодить барину (императору Николаю); он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие, и народность[34]; православие — не будучи безбожником, не веруя в Христа даже и по-протестантски; самодержавие — будучи либералом; народность — не прочитав в свою жизнь ни одной русской книги, писавши постоянно по-французски или по-немецки. Люди порядочные, к нему близкие,

одолженные им и любившие его, с горем признавались, что не было никакой низкости, которой бы он не был в состоянии сделать, что он кругом замаран нечистыми поступками. При разговоре с этим человеком, разговоре очень часто блестяще умном, поражали, однако, крайнее самолюбие и тщеславие; только, бывало, и ждешь — вот скажет, что при сотворении мира бог советовался с ним насчет плана. Понятно, как легко было поймать в свои сети такого самолюбивого и тщеславного человека людям, подобным Давыдову; стоило только льстить, кадить целый день; и вот Давыдов овладел полною доверенностью Уварова; другим средством к приобретению доверенности и расположения Уварова для Давыдова, равно как для Погодина, Шевырева и Перевощикова, была вражда к Строганову, ибо последний знал Уварова, как он есть, презирал его, как грязного человека, и по характеру своему не скрывал этого презрения. Мне говорили, что была еще сильная причина ненависти: Уваров имел связь с мачехою Строганова — отсюда ненависть между министром и попечителем, вредившая так много Московскому университету и округу и поведшая к такой печальной для них развязке.

IX

Все эти университетские отношения (1838 — 1842 гг.) имели большое влияние на меня, на мою будущность. Я говорил уже, с какою страстью в отрочестве предавался чтению Карамзина. Это было еще до вступления в гимназию; в гимназии и в университете я почти не дотрагивался уже до Карамзина, ибо он не представлял более для меня ничего нового; в университете я занялся всеобщею историею вследствие толчка, данного Крюковым и Грановским; но время проходило не столько в изучении фактов, сколько в думании над ними, ибо у нас господствовало философское направление; Гегель кружил все головы, хотя очень немногие читали самого Гегеля, а пользовались им только из лекций молодых профессоров; занимавшиеся студенты не иначе выражались, как гегелевскими терминами. И моя голова работала постоянно; схвачу несколько фактов и уже строю на них целое здание. Из гегелевских сочинений я прочел только «Философию истории»; она произвела на меня сильное впечатление; на несколько месяцев я сделался протестантом, но дальше дело не пошло[35]; религиозное чувство коренилось слишком глу-

боко в моей душе, и вот явилась во мне мысль — заниматься философиею, чтоб воспользоваться ее средствами для утверждения религии, христианства; но отвлеченности были не по мне; я родился историком. В изучении историческом я бросался в разные стороны, читал Гиббона, Вико, Сисмонди; не помню, когда именно попалось мне в руки Эверсово «Древнейшее право Руссов»; эта книга составляет эпоху в моей умственной жизни[36], ибо у Карамзина я набирал только факты; Карамзин ударял только на мои чувства, Эверс ударил на мысль; он заставил меня думать над русскою историею.

С большим запасом фактов от Карамзина и с роем мыслей в голове, возбужденных Гегелем, Вико, Эверсом, я вступил на четвертый курс и стал слушать Погодина. Понятно, что его лекции не могли меня удовлетворить, ибо они не удовлетворяли и товарищей моих, хуже меня приготовленных. Бывало, он начнет что-нибудь читать по Карамзину, а я ему подсказываю: «Вот тут-то, Михаил Петрович, в примечаниях есть еще важное указание».

Товарищи прозвали меня суфлером Погодина, и он сам обратил на меня внимание; внимание это усилилось, когда я подал ему сочинение о первых веках русской истории, или экзегезис известной начальной летописи, где опровергнул несколько его положений. И вот однажды Погодин с кафедры обратился ко мне и сказал: «Г. Соловьев! Зайдите когда-нибудь ко мне». Я явился к нему, принят был благосклонно. Первый вопрос: «Чем вы особенно занимаетесь?» Ответ: «Всем русским, русскою историею, русским языком, историею русской литературы». В последний университетский год действительно таково было направление моих занятий. Крюков, которого заинтересовало мое сочинение о египетской истории, хотел было переманить меня на древнюю почву. «Г Соловьев! — объявил он мне громко при всех,— я ношу ваше сочинение в кармане, не могу с ним расстаться». Потом он говорил моему отцу: не хочу ли я преимущественно заняться древностями? Я поступил, быть может, неучтиво, ничего не отвечая ему на эти заманивания, ибо я знал, что дело пойдет не об одной древней истории, но также и о патрикуле, и о метрике[37]; я знал, что должен буду заниматься всеми этими противными вещами, должен буду стараться писать хорошо по-латыни, к чему я также чувствовал полное отвращение. Погодин не сказал мне о моем сочинении — нравится оно ему или нет, сказал только: «Я хотел было с вами потолковать о вашем

сочинении, но куда-то его запрятал, так, что отыскать не могу». Он пригласил меня посещать его, пользоваться его библиотекой, и я бывал у него довольно часто, хотя не удалось быть у него много раз, ибо это уже было во второе полугодие последнего, четвертого курса; всякий раз я встречал ласковый прием.

Прошел великий пост; в вербную субботу получаю от инспектора I-й гимназии Попова (о котором, как учителе моем, уже было сказано прежде) приглашение прийти к нему по нужному делу: по поручению гр. Строганова, Попов обратился ко мне с вопросом, не соглашусь ли я ехать за границу, чтоб быть домашним учителем при детях брата его, графа Александра Григорьевича? Срок — год, цена — 1 200 франков. Я согласился: отвергнувши предложение Крюкова, занявшись главнейше русским языком, я не имел никакой надежды отправиться за границу на казенный счет, а на свой — не имел средств; до выдержания магистерского экзамена что бы я стал делать в Москве? Должен был бы определиться учителем в какую-нибудь гимназию; тогда как тут случай побывать за границею и приобрести протекцию Строгановых, важную и при искании места в Московском университете, и в том случае, если это место не сыщется и я принужден буду поступить в гражданскую службу. На третий же день я объявил Попову о своем согласии, но Строганов не велел мне являться к нему для окончательных переговоров до окончания экзаменов, чтоб не развлекать меня в приготовлении к ним,— строгановская черта! Экзамены, как всегда, шли очень успешно. На экзамене из русской истории Погодин, выслушавши мой ответ, обратился к сидевшему тут начальству и сказал: «Рекомендую г. Соловьева — это лучший студент курса по русской истории, один из лучших во все продолжение моей профессорской службы; не скажу: лучший из всех,— были прежде и другие такие же». В это время Погодин уже разглашал о своем скором выходе из университета и подал в совет имена тех лиц, которые могут занять его место; то были: Григорьев[38], ориенталист, написавший магистерскую диссертацию о ярлыках; К[алачов], который с самого начала приобрел у профессоров своего факультета репутацию человека необыкновенно трудолюбивого, но с образцово темною головою, каким он и был всегда на самом деле; третьим был назначен Бычков[39], кандидат нашего факультета, до сих пор (сентябрь 1855 года) идущий быстро относительно крестов и чинов, библиотекарь в

Имп[ераторской] Публичной Библиотеке, занявший место Березникова, место издателя летописей в Археографической комиссии, человек, отличающийся петербургским характером деятельности, поверхностью, шаромыжничеством; четвертым, наконец, был назначен я.

Когда я сказал Погодину о своем решении ехать за границу при Строганове, он вполне одобрил мое решение, распространившись насчет необходимости для каждого молодого русского человека посмотреть чужие земли...

Сергей Строганов встретил меня... сказал, что место для меня очищено выходом Погодина, чтоб я приготовлялся к магистерскому экзамену, успешное выдержание которого даст мне право на кафедру...

Ключевский В. О.

С. М. СОЛОВЬЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ[1]

Сегодня 16-я годовщина смерти С. М. Соловьева. Многие ли из нас, здесь присутствующих, помнят его как преподавателя? По крайней мере далеко не все. Преподавание принадлежит к разряду деятельностей, силу которых чувствуют только те, на кого обращены они, кто непосредственно испытывает на себе их действие; стороннему трудно растолковать и дать почувствовать впечатление от урока учителя или лекции профессора. В преподавательстве много индивидуального, личного, что трудно передать и еще труднее воспроизвести. Писатель весь переходит в свою книгу, композитор — в свои ноты, и в них оба остаются вечно живыми. Раскройте книгу, разверните ноты, и, кто умеет читать то и другое, перед тем воскреснут их творцы. Учитель — что проповедник: можно слово в слово записать проповедь, даже урок; читатель прочтет записанное, но проповеди и урока не услышит.

Но и в преподавании даже очень много значит наблюдение, предание, даже подражание. Всегда ли знаем мы, преподаватели, свои средства, их сравнительную силу и то, как, где и когда ими пользоваться? В преподавательстве есть своя техника, и даже очень сложная. Понятное дело, преподавателю прежде всего нужно внимание класса или аудитории, а в классе и аудитории сидят существа, мысль которых не ходит, а летает и поддается только добровольно. В преподавании самое важное и трудное дело заставить себя слушать, поймать эту непоседливую птицу — юношеское внимание. С удивлением вспоминаешь, как и чем умели возбуждать и задерживать это внимание иные преподаватели. П. М. Леонтьев совсем не был мастер говорить. Живо помню его приподнятую над кафедрой правую с вилкообразно вытянутыми пальцами руку, которая по-

стоянно надобилась в подмогу медленно двигавшемуся, усиленно искавшему слов, как будто усталому языку, точно она подпирала тяжелый воз, готовый скатиться под гору. Но бывало, напряженно следишь за развертывавшейся постепенно тканью его ясной, спокойной, неторопливой мысли, и вместе с ударом звонка предмет лекции, какое-нибудь римское учреждение, вырезывался в сознании скульптурной отчетливостью очертаний. Казалось, сам бы сейчас повторил всю эту лекцию о предмете, о котором за 40 минут до звонка не имел понятия. Известно, как тяжело слушать чтение написанной лекции. Но когда Ф. И. Буслаев вступал торопливым шагом на кафедру и, развернув сложенные, как складывают прошения, листы, исписанные крупными и кривыми строками, начинал читать своим громким, как бы нападающим голосом о скандинавской Эдде[2] или какой-нибудь русской легенде, сопровождая чтение ударами о кафедру правой руки с зажатым в ней карандашом, битком набитая *большая словесная,* час назад только что вскочившая с холодных постелей где-нибудь на Козихе или Бронной (Буслаев читал рано по утрам первокурсникам трех факультетов), эта аудитория едва замечала, как пролетали 40 урочных минут. Небесполезно знать, какими средствами достигаются такие преподавательские результаты и какими приемами, каким процессом складывается ученическое впечатление. В этом отношении воспоминание об учителе может пригодиться и тому, кто не был его учеником.

Я сел на студенческую скамью в Московском университете в пору, не скажу упадка,— об этом грешно и подумать,— а в пору кратковременного затишья исторического преподавания. Я не застал ни Грановского, ни Кудрявцева. Единственным преподавателем всеобщей истории был С. В. Ешевский. В. И. Герье находился еще за границей, и мне пришлось слушать его уже по окончании курса. Ешевский был превосходный, строгий, но уже угасавший профессор; мы его и похоронили весной 1865 г. при выходе нашего курса из университета. Он читал нам курсы по древней и средней истории с продолжительными перерывами по болезни, а последний год, когда стояла на очереди новая история, не читал совсем. Мы его очень любили, немного побаивались и с глубокой скорбью шли за его гробом. Сколько помнится, Соловьев читал на третьем курсе общий обзор истории древней Руси, на четвертом более подробный курс русской истории XVIII в. В 1863 г., когда

я начал его слушать, это был цветущий 42-летний человек. Не помню теперь, почему мне не пришлось послушать его ни разу до третьего курса; кажется, потому, что его лекции совпадали с лекциями Ф. И. Буслаева или Г. А. Иванова, которых мы не пропускали. На третьем курсе студент уже перестает блуждать по аудиториям с бездонным вниманием и вечно раскрытым ртом, вбирающим все, что ни попадется ему питательного по пути. Он уже становится несколько разборчив во впечатлениях и знаниях, начинает понимать удовольствие «свое суждение иметь» и даже покритиковать профессора. По аудиториям, театрам, заседаниям ученых обществ он уже довольно набрался впечатлений; пружина восприимчивости от усиленного нажима несколько поослабла и погнулась, и, пользуясь этим, из-под нее все с большим напряжением выступает прижатая дотоле другая сила — потребность разобраться в воспринятом, задержать и усвоить набегающие впечатления, пропитать их собственным духом,— словом, он начинает чувствовать себя хозяином своего *я* и в состоянии уже ухватить себя за свои собственные усы.

В момент этого перелома начали мы слушать Соловьева. Обыкновенно мы уже смирно сидели по местам, когда торжественной, немного раскачивающейся походкой, с откинутым назад корпусом вступала в *словесную внизу* высокая и полная фигура в золотых очках, с необильными белокурыми волосами и крупными пухлыми чертами лица без бороды и усов, которые выросли после. С закрытыми глазами, немного раскачиваясь на кафедре взад и вперед, не спеша, низким регистром своего немного жирного баритона начинал он говорить свою лекцию и в продолжение 40 минут редко поднимал тон. Он именно *говорил*, а не *читал*, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками, и его было легко записывать, так что я, по поручению курса составлявший его лекции, как борзописец, мог записывать его чтения слово в слово без всяких стенографических приспособлений. Сначала нас смущали эти вечно закрытые глаза на кафедре, и мы даже не верили своему наблюдению, подозревая в этих опущенных ресницах только особую манеру смотреть; но много после на мой вопрос об этом он признался, что действительно никогда не видел студента в своей аудитории.

При отрывистом произношении речь Соловьева не была отрывиста по своему складу, текла ровно и плавно, про-

странными периодами с придаточными предложениями, обильными эпитетами и пояснительными синонимами. В ней не было фраз: казалось, лектор говорил первыми словами, ему попадавшимися. Но нельзя сказать, чтобы он говорил совсем просто: в его импровизации постоянно слышалась ораторская струнка; тон речи всегда был несколько приподнят. Эта речь не имела металлического, стального блеска, отличавшего, например, изложение Гизо, которого Соловьев глубоко почитал как профессора. Чтение Соловьева не трогало и не пленяло, не било ни на чувства, ни на воображение; но оно заставляло размышлять. С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а ученый, размышляющий вслух в своем кабинете. Вслушиваясь в это, как бы сказать, говорящее размышление, мы старались ухватиться за нить развиваемых перед нами мыслей и не замечали слов. Я бы назвал такое изложение прозрачным. Оттого, вероятно, и слушалось так легко: лекция Соловьева далеко не была для нас развлечением, но мы выходили из его аудитории без чувств утомления.

Легкое дело — тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить — тяжелое дело, у кого это не делается как-то само собой, как бы физиологически. Слово — что походка: иной ступает всей своей ступней, а шаги его едва слышны; другой крадется на цыпочках, а под ним пол дрожит. У Соловьева легкость речи происходила от ясности мысли, умевшей находить себе подходящее выражение в слове. Гармония мысли и слова — это очень важный и даже нередко роковой вопрос для нашего брата, преподавателя. Мы иногда портим свое дело нежеланием подумать, как надо сказать в данном случае, корень многих тяжких неудач наших — в неуменье высказать свою мысль, одеть ее, как следует. Иногда бедненькую и худенькую мысль мы облечем в такую пышную фразу, что она путается и теряется в ненужных складках собственной оболочки и до нее трудно добраться, а иногда здоровую, свежую мысль выразим так, что она вянет и блекнет в нашем выражении, как цветок, попавший под тяжелую жесткую подошву. Во всем, где слово служит посредником между людьми, а в преподавании особенно, неудобно как переговорить, так и недоговорить. У Соловьева слово было всегда по росту мысли, потому что в выражении своих мыслей он следовал поговорке: сорок раз примерь и один раз отрежь. Голос, тон и склад речи, манера чтения — вся совокупность его

преподавательских средств и приемов давала понять, что все, что говорилось, было тщательно и давно продумано, взвешено и измерено, отвеяно от всего лишнего, что обыкновенно пристает к зреющей мысли, и получило свою настоящую форму, окончательную отделку. Вот почему его мысль чистым и полновесным зерном падала в умы слушателей.

Гармония мысли и слова! Как легко произнести эти складные слова и как трудно провести их в преподавании! Думаю, что возможность этого находится за пределами преподавательской техники, нашей дидактики и методики и требует чего-то большего, чего-то такого, что требуется всякому человеку, а не преподавателю только. Студенты, как известно, обладают особым чутьем профессорской подготовки: они очень быстро угадывают, излагает ли им преподаватель продуманные и проверенные знания, хорошо выдержанные и устоявшиеся воззрения или только вчерашние приобретения своего ума, сырые мысли, если можно так выразиться. Слушая Соловьева, мы смутно чувствовали, что с нами беседует человек, много и очень много знающий и подумавший обо всем, о чем следует знать и подумать человеку, и все свои передуманные знания сложивший в стройный порядок, в цельное миросозерцание, чувствовали, что до нас доносятся только отзвуки большой умственной и нравственной работы, какая когда-то была исполнена над самим собой этим человеком и которую должно рано или поздно исполнить над собой каждому из нас, если он хочет стать настоящим человеком. Этим особенно и усиливалось впечатление лекций Соловьева: его слова представлялись нам яркими строками на освещенном изнутри фонаре. Оно и понятно: студенту старших семестров уже виднеется жизненный путь, на который ему придется вступить по окончании учебных годов, и он уже без студенческой беззаботности и самоуверенности начинает раздумывать, как-то вступит он на этот скользкий путь и какой походкой пойдет по нему. В этом раздумье он уже с деловым, не праздным любопытством и с молчаливым уважением присматривается и прислушивается к тем из старших, которые идут по этому пути твердыми прямыми шагами, с твердым и ясным взглядом на людей и на вещи. После, став ближе к Соловьеву и начав готовиться к профессуре под его руководством[3], я получил некоторую возможность следить за непрерывной, строго размеренной и разнообразной работой неутомимого ума, и я понял, как

вырабатывается и во что обходится эта гармония мысли и слова. Чего только он не знал, не читал, чем не интересовался и о чем не думал! Он внимательно и с удивительной экономией досуга следил за иностранной литературой по географии, по всему кругу наук исторических и политических, как и за текущими международными отношениями. Прочитать дельную книжку какого-нибудь французского, немецкого или английского путешественника по Индии или Центральной Африке было для него наслаждением, которым он спешил поделиться с близкими людьми[4]. Я уже не говорю о русской литературе, о русских делах и отношениях. Помню, я посетил его незадолго до смерти, когда приговор жизни был уже произнесен и исход болезни определился. С третьего слова он спросил меня: «А что новенького в литературе по нашей части? Давно ничего не читал». Я встречал немного таких образованных и деятельных умов, а судьба нередко и незаслуженно дарила меня счастьем встречаться с образованными и мыслящими людьми.

Я не решаюсь сказать, входила ли русская история центральной составной частью в состав этого цельного и широкого миросозерцания. Я не решаюсь на это потому, что знаю, как много места занимали в выработке этого миросозерцания общие вопросы религии и науки. Я могу только утверждать, что на русскую историю он положил всего больше своего научного труда. Но я не говорю об его «Истории России», о нем как об ученом: это вопрос русской историографии, одна из страниц истории русского просвещения, и таких страниц, на которых с отрадой будет всегда останавливаться и раздумываться мыслящий русский человек. Вы позволили мне занять теперь ваше благосклонное внимание беседой о профессорском преподавании Соловьева, об его университетском курсе русской истории. Вместе с другими учениками Соловьева я часто докучал ему просьбой издать этот курс в какой-либо из тех редакций, в каких он излагал его из года в год с университетской кафедры; и я до сих пор не могу понять, почему он не сделал этого, даже неохотно вел разговор об этом. С ним вообще трудно было завести речь об его сочинениях; сам он был до несправедливости скромного о них мнения, и отзываться о них с похвалой в его присутствии значило сделать ему неприятность. Ему и говорили об издании курса только как о его профессорской обязанности, даже прибегали к такому изысканному соображению, что его курс

вовсе и не принадлежит ему одному, не есть его личное дело, что это беседа профессора со студентами, следовательно, совместная работа профессора и его аудитории. Он называл это плохим софизмом, не стоящим и пятачка, и прекращал разговор об этом. Прибавлю в пояснение, что Соловьев очень любил остроты и при всяком удачном словце, при нем сказанном, шарил у себя в кармане со словами: «Ах, жаль, пятачка не случилось!» Конечно, превосходная первая глава XIII тома его *«Истории»*, содержащая в себе общий обзор хода древней русской истории, вместе со статьями общего характера, напечатанными в посмертном издании некоторых сочинений С. М. Соловьева, каковы *«Начало Русской земли», «Древняя Россия», «Исторические письма»* и др., дают некоторую возможность читателю представить себе содержание и даже характер этого общего курса[5]. В этих статьях есть все, что проводилось и развивалось в курсе; но для читателя останутся неуловимы концепция содержания и впечатление изложения, а в преподавании это — главное, если не все. Соловьев давал слушателю удивительно цельный, стройной нитью проведенный сквозь цепь обобщенных фактов взгляд на ход русской истории, а известно, какое наслаждение для молодого ума, начинающего научное изучение, чувствовать себя в обладании цельным взглядом на научный предмет. В курсе Соловьева эта концепция и это впечатление были тесно связаны с одним приемом, которым легко злоупотребить, но который в умелом преподавании оказывает могущественное образовательное влияние на слушателя. Обобщая факты, Соловьев вводил в их изложение осторожной мозаикой общие исторические идеи, их объяснявшие. Он не давал слушателю ни одного крупного факта, не озарив его светом этих идей. Слушатель чувствовал ежеминутно, что поток изображаемой перед ним жизни катится по руслу исторической логики; ни одно явление не смущало его мысли своей неожиданностью или случайностью. В его глазах историческая жизнь не только двигалась, но и размышляла, сама оправдывала свое движение. Благодаря этому курс Соловьева, излагая факты местной истории, оказывал на нас сильное методологическое влияние, будил и складывал историческое мышление: мы сознавали, что не только узнаем новое, но и понимаем узнаваемое; и вместе учились, как надо понимать, что узнаем. Ученическая мысль наша не только пробуждалась, но и формировалась, не чувствуя на себе гнета учительского авторитета: думалось, как будто мы

сами додумались до всего того, что нам осторожно подсказывалось.

Эти общие идеи, которыми перевивались факты русской истории, могут показаться элементарными; но их необходимо продумать на университетской скамье, и только тогда они становятся такими элементарными. С двух сторон Соловьев освещал излагаемые им исторические факты: одну из них можно назвать прагматической, другую — моралистической. Настойчиво говорил и повторял он, где нужно, о связи явлений, о последовательности исторического развития, об общих его законах, о том, что называл он необычным словом — *историчностью*. Вы думаете, легкое дело растолковать сидящему на школьной скамье понятие об основах людского общежития, об историческом процессе, о закономерности исторической жизни! Я встречал взрослых и по-своему умных людей, которым никак не удавалось усвоить себе самую идею исторического процесса. У Соловьева сравнения, аналогия жизни народов с жизнью отдельного человека, отвлеченные аргументы и, наконец, его столь известная и любимая фраза *естественно и необходимо*, повторявшаяся при всяком случае, как припев,— все врезывало в сознание слушателя эту идею исторической закономерности. С другой стороны,— да не покажется нам это странным,— Соловьев был историк-моралист: он видел в явлениях людской жизни руку исторической Немезиды или, приближаясь к языку древнерусского летописца, *знамение правды божией*. Я не вижу в этом научного греха: эта моралистика у Соловьева была та же прагматика, только обращенная к сознанию своею нравственною стороной, та же научная связь причин и следствий, только приложенная к явлениям добра и зла, помышления и воздействия. Соловьев был историк-моралист в том простом смысле, что не исключал из сферы своих наблюдений мотивов и явлений нравственной жизни. Кто из слушателей Соловьева не запомнил на всю жизнь этих нравственных комментариев, что «общество» может существовать только при условии жертвы, когда члены его сознают обязанность жертвовать частным интересом интересу общему, что уже первоначальное, естественное общество человеческое, семейство, основано на жертве, ибо отец и мать перестают жить для самих себя, что общество тем крепче, чем яснее между его членами сознание, что основа общества есть «жертва», что «европейское качество всегда торжествовало над азиатским количеством» и что это качество состоит

в «перевесе сил нравственных над материальными», что величие древней Руси заключалось в сознании своих несовершенств, в сбереженной ею способности не мириться со злом, в искреннем и горячем искании выхода в положение лучшее посредством просвещения. Все это, повторяю, довольно элементарно, но все это должно быть продумано на студенческой скамье и только на ней может быть продумано, как следует.

В детстве, помню, где-то я видел старинные колонны, обвитые вьющимся растением. Свежая жизнь бежала по холодному мрамору старины и так стройно обвивала его, что мне казалось, будто эти вьющиеся побеги растут из самого мрамора. Когда я вслушивался, как Соловьев перевивал факты нашей истории общими историческими идеями, своею прагматикой и моралистикой, мне не раз вспоминались эти старые колонны с обвивающими их побегами вьющегося растения, и мне думалось, что эти идеи органически вырастали из объясняемых ими фактов.

Вот что счел я небесполезным в день памяти Соловьева — припомнить об его университетском преподавательстве. Сколько знаю, Соловьев никогда не был учителем среднеучебного заведения[6]; он везде, где преподавал, был профессором. Но его университетский курс помогает уяснить отношение гимназического преподавания истории к университетскому. Мы знаем разницу между тем и другим; но у того и другого есть и точка соприкосновения. Неудобно профессорствовать, читать лекцию в *классе;* неудобно и сказывать урок в *аудитории:* в первом случае гимназист преждевременно забегает в настроение студента, во втором студент огорчается своим невольным возвращением в положение гимназиста. Учитель истории рассказывает ученикам, что *было;* профессор рассуждает со студентами, что это былое *значило.* Но Соловьев так *рассуждал* со студентами о былом, что они живо представляли себе, как это происходило; желательно, чтобы учитель так *рассказывал* о былом, чтобы ученикам хотелось *рассуждать* о том, что оно значило. Выражу так это отношение, не умея выразить его удачнее.

Бестужев-Рюмин К. Н.

ВОСПОМИНАНИЯ

В июле 1847 года я приехал в Москву... (я держал экзамен, и хотя плох оказался по греческому языку, но поступил в первое отделение философского факультета (= историко-филологический факультет). Декан Шевырев, довольный моим сочинением «Россия в историческом отношении», был ко мне очень внимателен и заявил Зернову (профессор математики): «Хороший словесник не может быть плохим математиком», вследствие чего я получил хороший балл у Зернова, не давшего мне отвечать на вопрос из геометрии, на котором я непременно бы срезался. Наскучив грамматическим преподаванием древних языков (на 1-м курсе Клин и Шестаков преподавали латинский язык, а Меншиков — греческий) и зная, что история преподается почти в таком же объеме на юридическом (только Соловьев читал лишний курс на словесном факультете, как говорили тогда), подстрекаемый притом увещаниями старшего из двоюродных братьев (Н. А. Гладкова, впоследствии профессора в Ярославле, а после члена Московской палаты, ум. в 1892 г.), перешел я на юридический факультет. Этому переходу много способствовало и то, что я попал на вступительную лекцию Редкина, которая заканчивалась словами: «Придите, сыны света и свободы, в область свободы». Скоро я познакомился с Кавелиным и стал ходить на лекции. Из юристов нам читали Редкин и Кавелин. Лекции Редкина нам были очень полезны, они приучали правильно мыслить; самая искусственность его изложения, тогда строго державшегося гегелевской системы, сильно способствовала развитию. Энциклопедию свою Редкин делил на три части: общее понятие о праве, право в развитии (история положительного права и развитие философии права) и правоведение (общая схема юридических

наук); всему изложению он предпосылал два введения: в науку вообще и в юридическую энциклопедию; введения, первую и третью часть он читал на первом курсе, а вторую — на четвертом. Другим юридическим профессором был на первом курсе Кавелин. Его изложение истории русского права было развитием известной статьи его «Юридический быт древней России»[1]. Наш курс начинал он обширным введением, излагавшим древнеславянский быт: сверх того, он читал с нами «Русскую Правду» и комментировал ее. Его лекции, остроумные и оживленные, привлекали к себе массу слушателей. К сожалению, на нашем курсе он пропустил более месяца, собираясь выходить в отставку по случаю Крыловской истории* и оставшись только по воле начальства до экзаменов. Мы встретили его рукоплесканиями. Некоторых из нас (в том числе и меня) пригласил он к себе, чтобы объяснить, как ему неприятны эти рукоплескания. Я бывал и прежде у Кавелина; но он перестал принимать студентов, когда у него раз, во время приема, пропали часы. Черта не особенно деликатная! Кавелин был очень мил со студентами и говорил чересчур откровенно... Из профессоров не юристов у нас читал С. П. Шевырев свое введение в курс словесности, в которое входила и история языка, и должен был читать Грановский, но заболел после первой лекции. Читали еще Геринг — немецкий язык, Фабрициус — латинский и Терновский — богословие. Этот последний был общим страшилищем. За то, что я случайно не попал на его репетицию, он придрался ко мне на экзамене,— а не попал я потому, что ездил на рождество в Нижний и возвратился не 12-го января (лекции начинались с 13-го), а 14-го. Отец[2] был недоволен моим переходом, ибо знал мое расположение к истории, да и сам я не подозревал, что я с собою сделаю. После оказалось, что все было к лучшему. Юридическое образование послужило мне много в моем преподавании и литературной деятельности.

В первом курсе я написал два сочинения: о новгородских посадниках и о новгородских епископах, которые заставили меня познакомиться с летописями. Еще в начале года по совету Погодина мы с Ешевским принялись за ра-

---

* Под «Крыловской историей» Константин Николаевич разумеет столкновение профессора римского права Н. И. Крылова с некоторыми из своих товарищей по факультету, в том числе с К. Д. Кавелиным; поводом к столкновению послужили семейные несогласия Крылова. *(Прим. Л. Майкова.)*

боту: свести известия, следующие за припискою Сильвестра с целью определить начало сводов, продолжавших «Повесть временных лет», но это дело, по нашей тогдашней неумелости, не было сделано. Первый курс замечателен для меня тем, что у меня усилились религиозные сомнения, вызванные еще чтением Жорж Санд («Il etait,— говорила она о Руссо,—de la religion universelle, don't le christianisme n'est qu'une phase, et le scepticisme n'est qu'un accident»)*; несмотря, однако, на то, в 1847 году я один во всем доме в великий пост постился, и так как для меня не готовили, то по неделям ел только капусту; читал Евангелие и писал свои размышления (которые, к сожалению, не сохранились). Религиозное чувство сказалось в моей статье о Гоголе и даже в сочинении на вступительном экзамене, где толковалось и о православии, как стихии русской жизни. Разговоры товарищей отвлекли меня от чистой детской веры, но нового ничего не дали: материалистом я не сделался, но долго (до 60-х годов) оставался беспочвенным идеалистом. Революция 1848 года подействовала также отчасти возбуждающим образом; но мы носились в каком-то отвлеченном либерализме и социализме и мало понимали, в чем дело: любопытно, что из погодинских «Исследований, лекций и замечаний»[3] я еще раньше вынес мнение, что во Франции революция неизбежна. Благополучно кончив экзамен, я уехал в Нижний, где в последний раз видел отца: он скончался в октябре 1848 года; я узнал это поздно и приехал уже после похорон.

В начале второго курса поселился я с Ешевским в первый раз по-студенчески в нумерах,— на первом же курсе я жил сначала у тетки, а потом с Ешевским у его родственницы. На втором курсе слушал я у Крылова историю римского права. Ученики этого гениального профессора не раз (Кони, Муромцев) свидетельствовали об его обширных дарованиях и влиянии на развитие слушателей. Лично Крылова никто не любил: пьяный и взяточник, он не мог быть симпатичен, но умственному его влиянию все покорялись. В печати от него сохранилось немного, да и немногое дает слабое понятие о нем, как профессоре. Широкий ум, образность выражения, умение понять самые тонкие черты института и выставить их ярко — вот отличительные чер-

---

* Он принадлежал к всемирной религии, по отношению к которой христианство является фазой, а скептицизм только его атрибутом (*франц.*).

ты Крылова. Из курса истории памятны его очерки по Нибуру древнейшего периода, характеристика сената и магистратов (сенат — центр правления; «самодержавные», как он выражался, магистраты друг от друга независимы), значение претора, юридические школы в Риме и т. д. Крылов, назначив репетиции, которые, впрочем, не состоялись, заставил нас готовиться; я готовился с Лохвицким и Феоктистовым; тогда мы сблизились. Государственного права мы не слушали по случаю выхода в отставку Редкина, а логики — по болезни Каткова. Зато слушали Грановского, который читал среднюю историю, и Кудрявцева, читавшего новую. Курс Грановского отличался изяществом построения, сжатою картинностью изложения. Это были очерки, но до того мастерские, что трудно приблизить к ним чье-либо изложение. Высокое благородное чувство всегда отличало Грановского и много способствовало развитию слушателей. Изложение Кудрявцева значительно отличалось от изложения Грановского: оно было фактичнее, а главное — изобиловало психологическим анализом: в наш курс Кудрявцев посвятил пять лекций очерку жизни Лютера до начала Реформации; в следующем году, преподавая среднюю историю, он подробно остановился на характеристике Блаженного Августина; в своей диссертации «Судьбы Италии»[4] он особенно останавливается на папе Григории; его «Карл V» — тоже психологический этюд[5]. С этой стороны любопытны и его повести[6]; любопытны они грустно-романтическим настроением, так характеристичным для Кудрявцева, который никогда не смеялся, а как-то тихо улыбался. У нас привыкли считать Грановского каким-то главою западников. Это неправда: Грановский, живой и бодрый, был гораздо более русским человеком, чем отвлеченный романтик Кудрявцев. Кудрявцев, видевший в истории преимущественно культурную сторону, высоко ставил европейское просвещение и мало ценил русские особенности. «Русская история сбивает с толку людей»,— говорил он мне, когда, говоря о Польше, я заметил, что восстановление ее потому невозможно, что трудно определить границы. В Крымскую войну Грановский печалился нашими неудачами, Кудрявцев радовался им, видя в них зарю обновления. Об этом будем говорить после.

Русскую историю читал Соловьев. В наше время лекции его не были те блистательные очерки общего хода, которые слушали последующие поколения (лекции эти были напечатаны в последние годы в Таганроге, как контрафак-

ция, одним учителем гимназии); наши лекции состояли из краткого фактического очерка, прототипа его учебной книги, с прибавкою нескольких лекций историографии. После лекций Кавелина тогдашние лекции Соловьева производили мало действия, и, уважая его знания, мы хотя и знакомы были с его диссертациями, мало ценили его талант; блестящие страницы публичных чтений о Петре[8], даже лекций о развитии власти в России (точного заглавия не помню), читанные в 1851 году[9], еще были впереди. Политическую экономию, тогда предмет добавочный, читал Чивилев, человек умный, но сухой и односторонний; по характеру он очень сбивался на немца; это сходство еще усилилось его пребыванием в Дерптском профессорском институте; изложение его было ясно и точно, что давало возможность легко понимать всякие экономические книги; его курс был близок к известному тогда сочинению «Eléments de l'économie politique» Гарнье, одного из сторонников Сея; когда мне случайно попалась эта книга, я узнал в ней лекции Чивилева.

Зимою этого года жил в Москве Плещеев; я встречал его у Кудрявцева и Грановского, у которых начал бывать в этом году. Из нас особенно сблизился с ним Феоктистов, и мы начали видеться с ним в разных местах. Он говорил нам о возможности получать запрещенные книги и намекал, что в Петербурге есть общество[10]; от Ешевского получил он знаменитое письмо Белинского, которое послужило к обвинению и его, и Достоевского. Когда Плещеева взяли[11], я сильно задумался над тем, чтоб и нам не досталось, но гроза миновала нас. К концу года узнали мы, что для университетов учреждаются комплекты в 300 человек и что попечитель Голохвастов, заменивший в 1848 году Строганова, сменен на том основании, что студенты при приезде государя не умели отдавать чести; чтобы приучить к форме, велено было нам постоянно ходить при шляпе и шпаге, а в следующем году попечителем назначен был генерал Назимов. Добрейший Владимир Иванович, впоследствии такой неудачный генерал-губернатор, показался нам каким-то пугалом: он назначен был водворить дисциплину. Это назначение последовало, впрочем, или в конце нашего 3-го, или в начале 4-го курса; а пока правил помощник попечителя князь Щербатов, впоследствии попечитель петербургский <...>

<...> На третьем курсе Крылов читал догму римского права (на четвертом он продолжал ее) с искусством не

меньшим, если не большим, чем он читал историю. Чем тоньше фикция римского права, тем ярче и яснее излагал их Крылов. Его образцовая юридическая логика, яркая образность его языка памятны всем его слушателям: основы гражданского права запечатлевались в памяти как-то сами собою. Лекции Крылова были самою лучшею школою для цивилиста. Оттого ученики его долго не могли освободиться даже от его способа выражения: диссертация Кавелина «О владении»[12] и в мыслях, и в выражениях напоминает Крылова. Профессор гражданского права Морошкин, человек умный, хотя и большой чудак, далеко не обладал ни талантом Крылова, ни умом его. Русское чутье, которое дало возможность Морошкину понять значение дьяков в Московском государстве («Речь об уложении»), иногда приводило его к крайностям (например, в его фантазиях о славянстве варягов и т. п.). Сверх того, Морошкин вводил в свои лекции шутки, которые выходили у него неуклюжи (например: «Гражданскую палату,— говорил он,— нельзя отдать под суд; это не секретарь Прохор Благодатный, не женится и не посягает»; все это значило, что под суд отдают не юридическое лицо — палату, а ее членов); любил он также высокопарные сравнения; например, на диспуте Михайлова (профессора петербургского) он сравнил уездный суд с рассудком, палату — с умом, а сенат — с разумом; но на том же диспуте он блистательно определил Неволина: великий анатом, никогда не был физиологом. Уголовное право читал Баршев, человек добрый, но совершенно бездарный: изложение его было вяло и темно и к тому же все направлено к оправданию Уложения о наказаниях. Полицейское право читал Лешков, ныне неизвестно почему прославляемый (Кояловичем; впрочем, похвалы Московского юридического общества понятны: они относятся к характеру). Курс Лешкова (после он называл свой предмет общественным правом) был загроможден фактами и приправлен некритическим восхвалением древней Руси. Лешков представил в своей книге «Русский народ и государство»[13] любопытное определение государства: «Государство не есть сумма под куполом»; он хотел сказать, что государство не есть механическое соединение под одною властью различных элементов, а сказал что-то непонятное. Грановский рассказывал, что Лешков, взяв у него почитать «Философию права» Гегеля, возвратил ее через две недели и прибавил, что он составил на нее примечания. Анекдот характеристичен. Статистику мы не слу-

шали, потому что Чивилев, по случаю закрытия Дворянского института, где он был директором, переселился в Петербург и поступил на службу в департамент уделов.

В декабре этого года умерла моя двоюродная сестра Анна Александровна Гладкова, которая была очень мила и умна; мы с нею были дружны. Ешевский, пораженный сердечным горем[14], переехал на другую квартиру, а я остался доживать эту зиму один. Тогда же познакомился я с графиней Сальяс, у которой друг мой Феоктистов жил в то время учителем.

Графиня Е. В. Сальяс, урожденная Сухово-Кобылина, сестра автора «Свадьбы Кречинского», с детства окружена была интеллигентною сферой: у матери ее был один из литературных салонов... учителями в доме были Морошкин и Надеждин. Историю любви Е. В. Сухово-Кобылиной к Надеждину рассказал Герцен[15]; когда Надеждина сослали, Елизавета Васильевна была увезена за границу; Надеждин писал ей письма, в которых, надеясь обратить на себя внимание распечатывающих письма, хвалил правительство. Елизавете Васильевне это не понравилось, она разорвала с Надеждиным и вышла замуж за первого встречного, которым оказался граф Сальяс. С этим ветреным, но и ревнивым французом она была несчастлива. Вследствие дуэли граф должен был уехать из Москвы, графиня за ним не поехала, и они разошлись. Я уже узнал графиню в одиночестве. Она была женщина привлекательная, и, скончавшись в семьдесят с лишком лет, она сохранила живость ума. Нервная, энергическая, она скоро воспламенялась; так, раз показалось ей, что я стал слишком консервативен, и она вознегодовала на меня (это было в 60-х годах); потом мы опять примирились; но, встречаясь редко и редко переписываясь, мы уже не были по-старому, хотя я ее очень любил; думаю, что и она была расположена ко мне (ум. в 1892 году). Письма ее ко мне, вероятно, дадут не одну черту ее будущему биографу; особенно интересно одно письмо, в котором, по случаю приезда мужа, она характеризует его.

В те годы в ее доме открылся для меня новый мир: постоянное общение с женщиной, много видевшей, много читавшей и всем интересующейся,— тогда она только что начинала свою литературную деятельность — было чрезвычайно полезно. В ее доме в эту зиму я встречал Грановского, Кудрявцева и особенно часто Максимовича, который тогда нам, молодым людям, казался только чудаком

по своей малороссийской наивности, в своем старомодном плаще с трубкою. Весной я бывал у графини еще чаще: мы готовились с Феоктистовым. Летом, пожив с семьей в деревне, я провел месяц на Выксе, где жила графиня Сальяс, отец которой был одним из опекунов Шепелевых[16]. Жили они весело: устраивали домашний театр, большие прогулки: раз ездили на лесной пожар более чем за 20 верст, ехали верхом; поехал и я, но своим неумением ездить я возбуждал шутки молодой графини (после г-жа Гурко) и так устал, что, возвращаясь в сопровождении берейтора, заснул на лошади. Вообще месяц прошел весело. Гостила на Выксе тогда и С. В. Сухово-Кобылина, сестра графини, писавшая хорошие ландшафты, девушка очень образованная и умная; я любил сидеть у ее мольберта, когда она рисовала, и слушать ее рассказы и суждения.

На четвертом курсе Крылов доканчивал догму, а Морошкин читал гражданское судопроизводство, причем, оканчивая теоретическую часть в первое полугодие, второе отдавал на практику; для того приносил старые дела; между студентами распределялись роли: один был истец, другой — ответчик, третий — уездный суд, четвертый — палата, пятый — сенат. Это служило для ознакомления с ходом дел и составлением бумаг. Я редко бывал на этих лекциях, роли никакой мне не дали; вообще на четвертом курсе, вследствие строгостей в костюме, я появлялся редко в университете. Баршев читал уголовное судопроизводство вяло и с явною склонностью оправдать письменное производство; впоследствии он говорил иное. На третьем курсе он читал по своей книге, а на четвертом по книге своего брата, петербургского профессора; уверяли, будто один из них сказал: «На бесплодной почве русского уголовного права произросли два прекрасные цветка: книги брата моего и моя. «Se non è vero, è ben trovato!*» Лешков преподавал международное право так же успешно, как и полицейское; Терновский сонно и вяло излагал церковное право, не входя в разбор источников, а прямо по Кормчей[17]. Калачов, занявший место Кавелина, комментировал первые главы Уложения[18]. Это был гелертер[19] немецкий, не владевший, как профессор, ни мыслью, ни формою, но знавший много фактов и сообщавший их; его комментарий был поэтому не лишен интереса. Я был на его вступительной лекции первого курса; после Кавелина он поразил сухостью и без-

* Если это не правда, то по крайней мере хорошо придумано *(итал.)*.

дарностью изложения. Финансовое право читал Мюльгаузен, человек умный, образованный, но ленивый до того, что не мог собраться напечатать хотя бы одну статью. Впоследствии ему дали доктора honoris causa за преподавание (это было уже после 1863 года). Лекции его были составлены ясно, толково и полно.

На четвертом курсе случилась история, которая в позднейшие времена могла бы кончиться не так смехотворно, как кончилась у нас. Место Редкина, еще когда мы были на втором курсе, занял Орнатский, нелепый педант: лекциями он возбуждал только смех, ибо, продиктовав самым диким языком несколько предложений, начинал объяснять их скороговоркою, в которой ничего понять было нельзя. Манеру эту он перенял у немцев. На экзамене он требовал буквального повторения своих слов, и если параграф начинался с «понеже», то нельзя было начать его другим словом. Редкина он бранил часто на лекциях и говорил, что нам читать не стоит: «Они — ученики Редкина, атеисты и революционеры». Редкин рассказывал мне потом, что Орнатский, товарищ его по заграничной поездке, заехал к нему в это время в деревню и на вопросы хозяина: «Зачем ты меня бранишь?» — ответил: «Что же мне делать, если не бранить тебя». На лекцию Орнатского мы иногда заходили для потехи; товарищ мой Барыков (ум. в 1892 году сенатором) в совершенстве представлял манеру Орнатского. Зная настроение Орнатского, студенты четвертого курса решили выразить ему свое неудовольствие (редко ходя в университет, я узнал об этом уже после события). В Московском университете аудитории расположены в трех этажах и разделены на две половины: на одной — математики, на другой — юристы и словесники; в аудитории второго и третьего этажа в каждой половине ведет лестница; с площадок этой лестницы вход в аудиторию каждого этажа. Юридическая большая, где читал Орнатский, и юридическая малая, где слушал лекции четвертый курс, были в третьем этаже. Студенты стали на площадке и начали свистать, пока шел Орнатский до своей аудитории. На другой день Баршев (декан) после лекции, на которой и мне случилось быть, произнес увещание и говорил: «Как вам не стыдно с гиком и криком встречать профессора Орнатского». Этим дело для студентов кончилось, а для безопасности Орнатского его велено было провожать всякий раз солдату. Ясно, что для студентов это было источником новой потехи <...>

<...>Редко ходя на лекции и не занимаясь совсем юридическими науками, из которых я вынес только то, что слышал на лекциях, что мне, как историку, было достаточно (если бы только я слушал государственное право), и в этот год, как и в предшествующие, я много читал, особенно в то время, как жил с Ешевским, занимавшимся началом средних веков. Тогда прочел Гизо, Тьерри, Фориеля, Леру; после прочел Мишле «Историю» (насколько тогда вышло) и «Историю революции»[20]; прочел первый том Маколея (по-немецки)[21] и Гервинуса о Шекспире[22]. Сверх того, неуклонно следил за журналами, помещавшими постоянно статьи по русской истории. Читал также диссертации (Грановского, Кудрявцева, Бабста, Леонтьева), «Пропилеи»[23], «Архив» Калачова[24]. Тогда же по запискам Кудрявцева, слушавшего Шеллинга в Берлине, познакомился я со старою философией Шеллинга; «Систему трансцендентального идеализма» читал я на Выксе[25]. Кое-что и другое было прочитано в это время. За работу я принимался какими-то порывами и ничего не кончал; так, задумал я историю Новгорода, для этого перечел Новгородские летописи и составил к ним систематический указатель (князь, вече и т. д.) Указатель не сохранился, и потому не могу сказать, был ли он окончен; но изложения я и не начинал. Подробно изучил я «Сказания князя Курбского» и переписку его, но, не достав тогда новой книги «Князь Курбский на Литве»[26], охладел к этой работе. Когда Калачов задал на золотую медаль тему: «Местное управление в Московском государстве», я принялся перебирать акты, но далеко не дошел до конца*. Так ни одной работы и не было сделано. Послал я было литературную рецензию о «Саломее» Вельтмана в Нижний, но Мельников (редактор «Ведомостей») ее не напечатал[27].

Наступила весна, а с нею и последние экзамены. И в прежние годы мы с Феоктистовым не имели всех лекций, а на этот раз у нас почти ничего не было, и нам пришлось доставать у товарищей. Экзамены сошли благополучно: мы оба вышли кандидатами. Любопытно, что Крылов поставил мне 5, хотя я отказался от билетов из наследственного права, но хорошо ответил о patria potestate**, а на 3-м курсе поставил 4 за то, что вместо: omnes homines aut liberi sunt,

---

* Лохвицкий тоже принялся за работу, но, охлажденный тем, что его сочинение на тему Морошкина «Об ущербах и убытках» удостоено было не медали, а отзыва, кинул работу. *(Прим. Л. Майкова.)*

** Отеческая власть *(лат.)*.

aut servi*, я сказал: omnis homo aut liber est, aut servus**. Наступил последний день, когда следовало писать письменный ответ. Собрали нас в большую аудиторию. Профессора сели вокруг стола, вынули каждый билеты и смешали их. Студенты выходили, брали билеты, из какой попадется науки, и должны были тут же писать ответ. Мне достался вопрос из финансового права, в котором я был не силен, хотя на экзамене по случаю и получил 5. Профессора ушли, остался субинспектор. Я написал кое-что, справляясь еще у соседа (Лохвицкого). Подходит субинспектор, торопит; я говорю, что не дописал до точки. «Давайте, что есть,— сказал субинспектор,— кто это будет читать?» Я последовал благому совету. Когда экзамены кончились, я с графиней Сальяс и Феоктистовым поехал к Грановскому, который жил в Архангельском. Мы приехали вечером и ночевали. Тут был Фролов, издатель «Магазина землеведения» и переводчик «Космоса», который считался Катоном в кружке и советам которого все следовали. Это был человек мелкий, скучный неимоверно, но вырос до сильного влияния своею видимою серьезностью. В особенности придавала ему значение первая его жена, умершая, кажется, в Германии. Ее очень уважал Грановский, бюст ее был у него***. Фролов был описан в одном из фельетонов Панаева. К обеду приехали Панаев и Арапетов****, тоже пустой человек, хотя и неглупый; он в то время составлял статью по Маколею, не называя его: она была запрещена. Приехал студент 1-го курса Боткин (потом знаменитый врач). Брата его, известного своим путешествием в Испании, я встречал и прежде, и после. Это был человек ума тонкого, очень образованный, приятный собеседник, но капризный и большой эгоист. Об его женитьбе много говорит Герцен[28]. Жена его приезжала в Москву в 51-м году и грозила, если он не прибавит денег, открыть модный магазин. «Не довольно мне чайного»,— говорил Боткин Феоктистову. Этот последний рассказывал со слов Боткина, что, ког-

* Все люди свободны или рабы *(лат.)*.

** Каждый человек свободен или раб *(лат.)*.

*** Николай Иванович Фролов был женат в первом браке на Елене Павловне Галаховой; в конце 30-х годов они жили в Берлине, где у них был литературный салон и где с ними познакомились Грановский и Н. В. Станкевич. *(Прим. Л. Майкова.)*

**** Иван Иванович Панаев, известный беллетрист и редактор «Современника» с 1847 г.; Арапетов Иван Павлович, питомец Московского университета 30-х годов, потом служил в Петербурге и в 40-х годах был сотрудником «Отечественных записок». *(Прим. Л. Майкова.)*

да жена пришла к нему, он не сказался дома, но, смотря на нее в щелку, говорил: «Кабы не жена!» Таков был этот во всяком случае замечательный человек!

Таким образом распростился я с университетом и вынес из этого времени много отрадного. Неприглядна была наша жизнь: денег часто не было, да когда и были, мы их не берегли: помню, раз два месяца я ходил в сапогах, на которых почти не было подошв; комнаты были довольно грязны; кормили плохо: раз, по заявлению одного товарища, подали козла; часто ничего нельзя было есть, разве дадут пирог или оладьи; гречневая каша так опротивела мне, что с тех пор не ел ее. Конечно, главная причина, что у хозяйки денег не было, а жильцы платили неисправно. Бывало, только проснешься, она идет уже и просит: «Миленький барин, дайте хотя рубль», и не во всяком нумере дадут ей этот рубль. Несмотря на такую «бутковскую жизнь», как мы прозвали ее по повестям Буткова, известного тогда описывателя жизни петербургских чиновников*, несмотря на это, нам жилось весело: университет, который все-таки давал много, книги, товарищи, знакомые, а главное, лучшая всему приправа — молодость.

---

* Яков Гри<горьевич> Бутков, беллетрист 40-х годов, автор «Петербургских вершин» (Спб., 1845—1846) и нескольких повестей, помещенных в «Отечественных записках». *(Прим. Л. Майкова.)*

Чичерин Б. Н.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

МОСКВА СОРОКОВЫХ ГОДОВ

В то время, когда я вступил в Московский университет, он находился в самой цветущей поре своего существования. Все окружающие его условия, и наверху и внизу, сложились в таком счастливом сочетании, как никогда в России не бывало прежде и как, может быть, никогда уже не будет впоследствии.

Министерством народного просвещения управлял тогда граф Уваров, единственный, можно сказать, из всего длинного ряда следовавших друг за другом министров, с самого начала нынешнего века, который заслуживал это название и достоин был занимать это место. Уваров был человек истинно просвещенный, с широким умом, с разносторонним образованием, какими бывали только вельможи времен Александра I. Он любил и вполне понимал вверенное ему дело. Управляя народным просвещением в течение 15 лет, он старался возвести его на ту высоту, на какую возможно было поставить его при тогдашнем направлении правительства. Сам он глубоко интересовался преподаванием. Когда он осенью 1848 года, незадолго до отставки приехал в свое великолепное имение Поречье[1], где у него была и редкая библиотека, и драгоценный музей, он пригласил туда несколько профессоров Московского университета, между прочим, Грановского, и самое приятное для него препровождение времени состояло в том, что он просил их читать лекции в его маленьком обществе. Перед тем он был в Московском университете и заставлял даже студентов читать пробные лекции в его присутствии. К сожалению, я этого не видел и не мог участвовать в этих чтениях, ибо в ту пору мы не возвратились еще из деревни. Высокому и просвещенному уму графа Уварова не соответствовал характер, который был далеко не стойкий, ча-

сто мелочный, податливый на личные отношения. Государя он боялся как огня; один из его приближенных рассказывал мне, что его трясла лихорадка всякий раз, как приходилось являться к царю с докладом. Но тем более делает ему чести, что он всячески старался отстоять русское просвещение от суровых требований монарха. Он сам говорил Грановскому, что, управляя министерством, он находился в положении человека, который, убегая от дикого зверя, бросает ему одну за другой все части своей одежды, чтобы чем-нибудь его занять, и рад, что сам, по крайней мере, остался цел. При реакции, наступившей в 49 году, бросать уже было нечего, и Уваров вышел в отставку.

Ниже по уму, но гораздо выше по характеру был тогдашний попечитель Московского университета, граф Сергей Григорьевич Строганов, незабвенное имя которого связано с лучшими воспоминаниями московской университетской жизни. Время его попечительства было как бы лучом света среди полной ночи. С Уваровым он был не в ладах, потому что не уважал его характера; но сам он занимал такое высокое положение, и в обществе и при дворе, что мог считаться почти самостоятельным правителем вверенного ему округа. Впоследствии я близко знал этого человека и мог вполне оценить его редкие качества. При невысоком природном уме, при далеко недостаточном образовании, в нем ярко выступала отличительная черта людей Александровского времени — горячая любовь к просвещению. Самые разнообразные умственные интересы составляли его насущную пищу. Страстно преданный своему отечеству, свято сохраняя уважение к верховной власти, он никогда не стремился к почестям и презирал все жизненные мелочи. Любя тихую семейную жизнь, он высшее наслаждение находил в постоянном чтении серьезных книг и в разговорах с просвещенными людьми. Уже восьмидесятилетним стариком, он вдруг с любовью занялся собранием мексиканских древностей. Показывая мне свое собрание, он спросил меня, не знаю ли я какого-нибудь сочинения о Мексике. Я назвал Brasseur de Bourbourg, замечая, однако, что это книга весьма неудобоваримая[2]. И что же? Через несколько месяцев, приехавши опять в Петербург, я застаю его за чтением Брассера и весьма довольного моей рекомендацией. Но главная его страсть, к чему у него была прирожденная струнка, была педагогика. Я видел тому удивительные примеры. Однажды в Гааге, во время путешествия с наследником мы шли с ним (С. Г. Строгано-

вым.— *Ред.*) по улице вдвоем. Вдруг он видит надпись: Народная школа. Старик весь воспламенился. «Народная школа! — воскликнул он,— войдемте и посмотримте, как там преподают». Мы вошли и сели на скамейку рядом с учениками. Долго мы тут сидели и слушали, и, хотя преподавание происходило на неизвестном ему языке, ему понравились приемы, и он остался совершенно доволен своим посещением. Управляя Московским учебным округом, он постоянно посещал гимназии и университет, внимательно слушал самые разнородные уроки и лекции, и при том всегда без малейшего церемониала. Никто его не встречал и не провожал, и мы часто видели, как он среди толпы студентов, никем не сопровождаемый, направлялся в аудиторию, опираясь на свою палку и слегка прихрамывая на свою сломанную ногу. В аудитории он садился рядом со студентами на боковую скамейку и после лекции разговаривал о прочтенном с профессором. Вообще, он церемоний терпеть не мог и в частной жизни был чрезвычайно обходителен с людьми, которых жаловал. Зато, если кто ему не нравился или если что-нибудь было не по нем, он обрывал с резкостью старого вельможи, иногда даже совершенно незаслуженно и некстати, ибо он в чужие обстоятельства никогда не входил и вообще мало что делал для людей, имея всегда в виду только пользу дела. Вследствие этого многие, имевшие с ним сношения, его не любили. В особенности не жаловали его славянофилы, которых он с своей стороны весьма недолюбливал, видя в них только праздных болтунов. Погодин и Шевырев жаловались иногда на притеснения. Но вообще среди всех людей, причастных к университету, и профессоров и студентов, он пользовался благоговейным уважением. Когда он вышел в отставку, ему поднесен был альбом по общей подписке между студентами; мы все вписали в него свои имена. И во все последующие годы, когда при новом царствовании началось ежегодное празднование 12 января, дня основания Московского университета, все собранные на обед старые студенты всегда считали своей первой обязанностью послать телеграмму графу Сергею Григорьевичу Строганову в знак сохранившейся в их сердцах признательности за вечно памятное его управление Московским университетом.

При нем университет весь обновился свежими силами. Все старое, запоздалое, рутинное устранялось. Главное внимание просвещенного попечителя было устремлено на то, чтобы кафедры были замещены людьми с знанием и та-

лантом. Он отыскивал их всюду, и в Москве, и в Петербурге, куда он сам ездил с целью приобрести для университета подававших надежды молодых людей. Он послал Грановского за границу, а Евгения Корша перевел библиотекарем в Москву. При нем вернулись из Германии посланные уже прежде Редкин, Крылов, Крюков, Чивилев, Иноземцев, а затем постепенно вступили на кафедры Кавелин, Соловьев, Кудрявцев, Леонтьев, Буслаев, Катков. Из-за границы молодые люди возвращались в Россию, воодушевленные любовью к науке, полные сил и надежд. В то время и европейская наука находилась в самой цветущей поре своего развития. В период политического затишья между Венским Конгрессом и переворотами 1848 года, умы в Европе были, главным образом, устремлены на решение теоретических вопросов, особенно в Германии, куда ездили учиться молодые русские. Германская наука царила тогда над умами и давала им пищу, которая могла удовлетворять все потребности... Философское одушевление было еще в полном разгаре. В этой области господствовал гегелизм, увлекавший и старых и молодых. С другой стороны, в борьбу с ним вступала историческая школа, в лице знаменитейших юристов: Эйхгорна, Пухта, Савиньи. На поприще филологии и древностей подвизались такие люди, как Вильгельм Гумбольдт, Бек, братья Гримм, основатели новой науки. Историческую кафедру в Берлине занимал уже тогда знаменитый, на днях только умерший Ранке[3]. В то же время и во Франции историческая школа выступила с небывалым блеском в лице Гизо, Тьерри, Тьера, Минье, Мишле. Все соединялось к тому, чтобы предвещать человечеству новую и великолепную будущность. В каком-то поэтическом упоении знанием и мыслью возвращались молодые люди в отечество и сообщали слушателям одушевлявшие их идеалы, указывая им высшие цели для деятельности, зароняя в сердца их неутомимую жажду истины и пламенную любовь к свободе. Один Грановский мог быть славой и красой любого университета. Его поэтическая личность, его яркий талант, его высокий нравственный строй делали его самым видным представителем этой блестящей эпохи университетской жизни.

Отношения между профессорами и студентами были самые сердечные: с одной стороны, искренняя любовь и благоговейное уважение, с другой стороны, всегдашнее ласковое внимание и готовность прийти на помощь. У Грановского, у Кавелина, у Редкина в назначенные дни собиралось

всегда множество студентов; происходили оживленные разговоры не только о научных предметах, но и о текущих вопросах дня, об явлениях литературы. Библиотеки профессоров всегда были открыты для студентов, которых профессора побуждали к чтению, давая им книги и расспрашивая о прочитанном. Всякий молодой человек, подававший надежды, делался предметом особенного внимания и попечения. Без сомнения, масса студентов в то время, как и теперь, приходила в университет с целью достичь служебных выгод и ограничивалась рутинным посещением лекций и зубрением тетрадок для экзамена. Но всегда были студенты, которые под руководством профессоров занимались серьезно и основательно. В это время Московский университет выпустил из своей среды целый ряд людей, приобретших громкое имя и на литературном, и на других поприщах. Один за другим, в течение немногих лет, вышли из него Кавелин, Соловьев, Кудрявцев, Леонтьев, Катков, Буслаев, Константин Аксаков, Юрий Самарин, Черкасский. Стремление к знанию, одушевление мыслью носились в воздухе, которым мы дышали. Самые порядки, господствовавшие в университете, были таковы, что нам жилось в нем хорошо и привольно. Это действительно была alma mater, о которой нельзя вспомнить без теплой сердечной признательности. Студенты носили тогда общую форму: сюртук с синим воротником, в обыкновенные дни с фуражкой, в праздник с треугольной шляпой и шпагой, для выездов фрачный мундир с галунами на воротнике. Но мы этой формою не только не тяготились, а, напротив, гордились ею, как знаком принадлежности к университету. Мелочных придирок относительно формы не было. В стенах университета мы ходили расстегнутыми; на мелкие отступления смотрели сквозь пальцы, и только в случае большого неряшества делались замечания, да и то снисходительно и ласково. Инспектором в то время был человек, о котором у всех старых студентов сохранилась благоговейная память, Платон Степанович Нахимов, старый моряк, брат знаменитого адмирала. Это была чистейшая, добрейшая и благороднейшая душа, исполненная любви к вверенной его попечению молодежи. Тихий и ласковый, он был истинным другом студентов, всегда готовым прийти к ним на помощь, позаботиться об их нуждах, защитить их в случае столкновений. Хлопот ему в этом отношении было не мало, ибо в то время студенты вовсе не подлежали полиции, а ведались исключительно университетским начальством; казен-

ные же студенты жили в самых стенах университета, под непосредственным надзором инспекции. Поминутно студентов ловили в каких-нибудь шалостях, и все это надобно было разбирать; приходилось и журить и наказывать; но все это совершалось с таким добродушием, что никогда виновные не думали на это сетовать. Про Платона Степановича ходило множество анекдотов, как его студенты обманывали и как он поддавался обману. Но поддавался он нарочно, по своему добросердечию, потому что не хотел взыскивать строго с молодых людей, а предпочитал смотреть сквозь пальцы на их юношеские проделки. Иногда он отворачивался, когда встречал студента в слишком неряшливом виде. Когда же случалась в университете история, он призывал к себе лучших и разумнейших студентов и ласково уговаривал их, чтобы они старались собственным влиянием на товарищей положить ей конец. Когда Платон Степанович несколько лет спустя вышел в отставку и сделался смотрителем Шереметевской больницы, весь университет его оплакивал, и во все последующие годы бывшие при нем студенты считали долгом в праздничные дни поехать к нему расписаться и тем показать ему, что у них сохранилась о нем благодарная память. Да и можно ли было о нем забыть? Я доселе не могу без умиления вспоминать стихи, написанные старым студентом после Синопского сражения[4], выигранного знаменитым его братом, в самый день именин Платона Степановича.

В ноябре, раскрывши святцы,
Вспомним мы Синопский бой,
Наш Платон Степаныч, братцы,
Брат Нахимову родной.
    Здравствуй, адмирал почтенный,
    Богатырь и молодец!
    Дядя, брат твой незабвенный
    Был студенческий отец.
Мы, по нем тебе родные,
Благодарны за него;
Ты напомнил всей России
Имя доброе его.
    Всяк из нас и днем и на ночь
    Вас в молитве помянет,
    И тобой Платон Степаныч
    В новой славе оживет[5].

Уваров, Строганов, Грановский, Нахимов! Какое сочетание имен! Какова была жизнь в университете, когда все эти люди действовали вместе, на общем поприще, приготовляя молодые поколения к служению России!

Ко всем этим счастливым условиям присоединялось, наконец, совершенно исключительное, никогда не бывшее ни прежде ни после, и не могущее даже возобновиться, отношение университета к окружающему обществу. В то время в России не было никакой общественной жизни, никаких практических интересов, способных привлечь внимание мыслящих людей. Всякая внешняя деятельность была подавлена. Государственная служба представляла только рутинное восхождение по чиновной лестнице, где протекция оказывала всемогущее действие. Молодые люди, которые сначала с жаром за нее принимались, скоро остывали, потому что видели бесплодность своих усилий, и лишь нужда могла заставить их оставаться на этой дороге. Точно так же и общественная служба, лишенная всякого серьезного содержания, была поприщем личного честолюбия и мелких интриг. В нее стремились люди, которых тщеславие удовлетворялось тем, что они на маленьком поприще играли маленькую роль. При таких условиях все, что в России имело более возвышенные стремления, все, что мыслило и чувствовало не заодно с толпою, все это обращалось к теоретическим интересам, которые, за отсутствием всякой практической деятельности, открывали широкое поле для любознательности и труда. Однако и в этой области препятствия были громадные. При тогдашней цензуре немилосердно отсекалось все, что могло бы показаться хотя отдаленным намеком на либеральный образ мыслей[6]. Не допускалось ни малейшее, даже призрачное отступление от видов правительства или требований православной церкви. Конечно, мысль заковать нельзя, и публика привыкла читать между строками, но всякое серьезное обсуждение вопросов становилось невозможным. На кафедре было гораздо более простора; тут не было пошлого и трусливого цензора, опасающегося навлечь на себя правительственную кару и беспрестанно дрожащего за свою судьбу. Хотя, разумеется, и в университете не допускалась проповедь либеральных начал, однако, под защитою просвещенного попечителя, слово раздавалось свободнее, можно было, не касаясь животрепещущих вопросов, в широких чертах излагать историческое развитие человечества. И когда из стен аудитории это слово раздалось в поучение публики, то оно привлекло к себе все, что было мыслящего и образованного в столице. Московский университет сделался центром всего умственного движения в России. Это был яркий свет, распространявший лучи свои повсюду, на который обраще-

ны были все взоры. В особенности кружок так называемых западников, людей, веровавших в науку и свободу, в который слились все прежние московские кружки, и философские и политические, исключая славянофилов, собирался вокруг профессоров Московского университета. К нему принадлежали: Герцен, блестящий, полный огня, всегда увлекающийся в крайности, но одаренный большим художественным талантом и неистощимым остроумием; Боткин, который, сидя в амбаре у отца, страстно изучал философию, человек с разносторонне образованным умом, тонкий знаток литературы и искусств, хотя подчас капризный и раздражительный, склонный к сибаритизму, над чем друзья его нередко потешались; Кетчер, который под резкими формами и суровой наружностью скрывал золотое сердце, неуклонное прямодушие и беспредельную преданность своим друзьям; Корш сам принадлежал к университету, в это время он издавал «Московские ведомости»[7] Вскоре из-за границы вернулись Огарев и Сатин. Из того же кружка вышел и Белинский, который, переехав в Петербург, в «Отечественных записках» громил славянофилов и своим ярким талантом распространял по всей России европейские идеи, вынесенные им из Москвы, нередко впадая в крайность, по страстности своей натуры, но всегда смягчаемый прирожденным ему эстетическим чувством. В то время петербургские и московские литераторы составляли одно целое, и всякий приезжий из Петербурга: Белинский, Краевский, Тургенев, Анненков, Панаев — считал долгом явиться к московским профессорам, которые принимали его, как своего собрата. Это была дружная фаланга, которая задала себе целью приготовить России лучшую будущность распространением в ней мысли и просвещения. Работа была серьезная: литературная, ученая, педагогическая. И дело, казалось, шло с вожделенным успехом. Умственный интерес в обществе был возбужден; студенты слушали жадно и боготворили своих профессоров; из университета выходили даровитые молодые люди, которые обещали прибавление новых сил к тесному кругу русского образованного общества. Друзья собирались постоянно, обсуждали все вопросы дня, все явления науки и литературы, проводили иногда долгие ночи в оживленных беседах. Самые их противники, славянофилы, существовали, кажется, только для того, чтобы придать более яркости мысли, более живости прениям. Временно обострившиеся отношения смягчились; споры возобновились по-прежнему; собира-

лись в литературных салонах у Свербеевых, у Елагиной. Это была, можно сказать, пора поэтического упоения мыслью в университете и в окружающем его обществе. Немудрено, что однажды Грановский, возвращаясь домой с Павловым после ужина в нашем доме и идя с ним пешком по бульвару, вдруг остановился и воскликнул: «Николай Филиппович! А ведь хороша жизнь!» Счастливо время, когда подобные слова могут вырываться у людей с такими высокими умственными и нравственными потребностями! Увы! прошло несколько лет, и все это было беспощадно подавлено, и тот же Грановский, чтобы заглушить гнетущую его тоску, искал убежища в опьянении азартной игры.

В эту-то пору умственного подъема, надежд и увлечений, когда счастливое созвездие, казалось, обещало светлое будущее, довелось мне вступить в Московский университет. Разумеется, он представлялся мне какою-то святынею, и я вступал в нее с благоговением, ожидая найти в ней те сокровища знания, которых жаждала моя душа.

Первый курс был составлен отлично. Редкин читал юридическую энциклопедию, Кавелин — историю русского права, Грановский — всеобщую историю, Шевырев — словесность. Университетский священник Терновский читал богословие, которое в то время требовалось строго. Наконец, ко всему этому прибавлялся латинский язык, который преподавал лектор Фабрициус, хороший латинист, но не умевший заинтересовать студентов. Поэтому никто почти его не слушал: студенты позволяли себе даже разные ребяческие выходки, и курс был совершенно бесполезен. От немецкого языка, который читался на том же курсе, мы были избавлены, потому что на экзамене получили по 5.

На первых шагах, однако, меня постигло некоторое разочарование. Одним из важнейших предметов на курсе была юридическая энциклопедия. Редкин пользовался большой репутацией; в ожидании первой лекции аудитория была битком набита студентами. Наконец явился профессор, уселся на кафедре и громовым голосом воскликнул: «Зачем вы собрались здесь в таком множестве?» Это был приступ к лекции, в которой в напыщенной форме говорилось, что студенты пришли в университет искать правды, которая есть начало права. Масса была увлечена и неистово рукоплескала. Но я остался холоден; мне эта напыщенная форма не понравилась. Столь же мало я был удовлетворен и следующими лекциями. Я искал жи-

вого содержания, а мне давали формальное и пространное изложение общих требований науки. Но когда я, составив лекции, показал их отцу, он остался ими очень доволен и сказал, что для молодых умов подобная умственная дисциплина весьма полезна. Думаю, что он был прав. Я сам, чем более слушал профессора, тем более ценил достоинство его курса, несмотря на довольно существенные недостатки его преподавания.

Редкин был человек невысокого ума и небольшого таланта. Всецело преданный гегельянской философии, он не всегда умел ясно выразить отвлеченную мысль и нередко впадал в крайний формализм. Построение всякого начала по трем ступеням развития составляло для него непременную догму, и так как каждая из этих ступеней, в свою очередь, развивалась в трех ступенях, то отсюда выходил сложный схематизм, который совершенно озадачивал молодые умы и нередко лишен был всякого существенного содержания. Так, коренной источник права — воля развивалась у него в двадцати семи ступенях, и каждая из этих ступеней должна была иметь свое собственное значение и служить началом особой отрасли правоведения. Большинство студентов первого курса совершенно запутывались в этих определениях, а так как профессор на экзамене был строг, то юридическая энциклопедия была чистилищем, через которое проходила университетская молодежь, прежде нежели перейти на высшие курсы. Нельзя не сказать, однако, что это чистилище было весьма полезно. Мы приучались к логической последовательности мысли, к внутренней связи философских понятий. Перед нами возникал целый очерк юридической науки, не как мертвый перечень, а как живой организм, проникнутый высшими началами. Мы затверживали определение римских юристов, что право происходит от правды; нам говорили, что начало гражданского права есть свобода, начало уголовного права — основанное на правде воздаяние; мы учились видеть в государстве не внешнюю только форму, не охранителя безопасности, а высшую цель юридического развития, осуществление начал свободы и правды в верховном союзе, который, не поглощая собою личности и давая ей надлежащий простор, направляет ее к общему благу. И так как профессор весь был проникнут излагаемым предметом, который составлял для него призвание жизни, то он умел свое одушевление передать и слушателям. Он давал толчок философскому движению

мысли; мы стремились познать верховные начала бытия и воспламенялись любовью к вечным идеям правды и добра, которым мы готовились служить всем своим существом. Как неизмеримо высоко стоит это преподавание, проникнутое философскими и нравственными началами, над современными изложениями юридической науки, которые если не ограничиваются рутинным перечнем, то отражают на себя взгляд новейшего реализма, отвергающего всякие высшие начала и низводящего права к охранению интересов, а самые интересы низводящего к уровню физиологии! Какое одушевление может вселить в молодые сердца такое грубое непонимание самых первых основ человеческого общежития!

Когда впоследствии почтеннейший Петр Григорьевич, оставив кафедру по причинам, которые расскажу ниже, переехал на службу в Петербург, я всегда с сердечным удовольствием ездил беседовать с своим старым профессором и скорбел, когда слышал, что многие над ним издеваются, пользуясь его простодушием и не понимая внутренних его достоинств. Он до старости сохранил весь свой юношеский жар и до такой степени был предан преподаванию, что, занимая видное место в администрации, он принял вместе с тем кафедру юридической энциклопедии в Петербургском университете, которого он одно время был ректором[8]. Когда я входил в его комнату, мне казалось, что я дышу иной атмосферой, проникнутой духом давно прошедшего времени; я видел перед собой человека, жившего среди великого движения умов, заставшего в Берлине еще свежие предания Гегеля, слушавшего Ганса и Савиньи и сохранившего от того времени живой интерес к философским вопросам, а вместе и серьезное их понимание, понимание, совершенно заглохшее и затерявшееся у современников. С ним можно было говорить, как встарь, и отдохнуть умом от пошлости новейших ученых. Я навек остался ему благодарным учеником. Ему я обязан первым своим философским развитием.

Если преподавание Редкина, при весьма существенных достоинствах, имело и свои слабые стороны, то курс Кавелина не оставлял ничего желать. Он был превосходен во всех отношениях, и по форме и по содержанию. Кавелин имел весьма скудное теоретическое образование, и по свойствам своего ума он всего менее был способен к пониманию вопросов с философской стороны. Когда он впоследствии стал заниматься философиею, то Редкин удивлялся,

как он берется за предмет, столь противный его натуре, и если он в этом отношении достиг, по крайней мере, умения связать в одно целое чисто отвлеченные понятия, то это доказывает только необыкновенную даровитость этого замечательного человека. Но в изложении истории русского права никаких теоретических понятий не требовалось. В университетском курсе стушевывалось даже то начало, которое составляет слабую сторону его знаменитой статьи, появившейся в первой книжке «Современника» 1847 года, начало развития личности в древней русской истории[9] В основание своего курса Кавелин полагал изучение источников, не внося в них никакой предвзятой мысли. Он брал факты, как они представлялись его живому и впечатлительному уму, излагал их в непрерывной последовательности, с свойственною ему ясностью и мастерством, не ограничиваясь общими очерками, а постоянно следя за памятниками, указывая на них и уча студентов ими пользоваться. Перед нами развертывалась стройная картина всего развития русской общественной жизни: вначале родовой быт, на который прямо указывает летописец и который проявлялся и в обычаях, и в родовой мести, и в отношениях князей; затем разложение этого начала дружинным, выступление личности, постепенное развитие государства и, наконец, завершение всего этого исторического процесса деятельностью Петра Великого, который, воспользовавшись государственным материалом, подготовленным московскими царями, вдвинул Россию в среду европейских держав, тем самым исполняя великое ее историческое назначение. Как далек был этот здравый, трезвый и последовательный взгляд на русскую историю от всех бредней славянофилов, которые, страстно изучая русскую старину, ничего не видели в ней, кроме собственных своих фантазий! Константин Аксаков объявлял родовой быт поклепом на русскую историю и вопреки очевидности утверждал, что у летописца род означает семью и что все встречающиеся в истории черты родового быта вовсе не славянские, а пришлые, варяжские. Петр Васильевич Киреевский и даже более трезвый, ибо более знакомый с источниками, Погодин видели в языческих славянах какой-то образец невозмутимой добродетели и умилялись над тем смиренномудрием, с которым они безропотно покорялись варяжским завоевателям. Как неизмеримо высоко стояло умное, живое, ярко даровитое преподавание Кавелина и от следовавшего за ним после короткого промежутка курса Бе-

ляева, который при полном невежестве и при полной бездарности не умел даже понимать изучаемые им грамоты, а постоянно восполнял и извращал их собственными дикими измышлениями! Замечательно, что в одно и то же время два человека, не столковавшиеся между собою, без всяких взаимных сношений, Кавелин и Соловьев, пришли к одному и тому же правильному взгляду на русскую историю и сделались основателями новой русской историографии. Можно сказать, что все, что впоследствии явилось, как противодействие положенным ими началам, было только уклонением от истинно научного пути. Костомаров, который с таким блеском выступил во имя начал народных, в противоположность государственным, был лишен всякого исторического смысла. Он мог, с прирожденным ему художественным талантом, рисовать некоторые картины, но когда он в своей вступительной лекции утверждал, что кометы метеоры, пугавшие народное воображение, имеют для историка больше значения, нежели политические дела, то это обличало такое грубое непонимание самых основных задач истории, что вся его многообильная деятельность могла вести лишь к полному извращению понятий, как слушателей, так и публики. К сожалению, Кавелин не долго остался на этом поприще, где юридическое его значение служило драгоценным восполнением ученой деятельности Соловьева, который именно с этой стороны был всего слабее. Обстоятельства, о которых я расскажу далее, заставили его покинуть Московский университет и переселиться в Петербург, где он заглох в несвойственной ему среде. Десять лет спустя он получил снова кафедру гражданского права в Петербургском университете[10], но время было упущено, да и предмет был для него слишком теоретичный: он не мог с ним совладать. Истинное его призвание было историческое исследование русского права, и самая блестящая пора его жизни было кратковременное преподавание в Московском университете, которое в памяти его слушателей оставило неизгладимые следы. Говорю здесь о Кавелине, как профессоре: о Кавелине, как человеке, мне придется еще много говорить впоследствии.

Если Редкин мог дать толчок философскому мышлению, если у Кавелина можно было научиться основательному изучению истории русского права по памятникам старины, то широкое историческое понимание можно было получить только от Грановского. Сами Кавелин и Соловьев от него научились правильно смотреть на историю, ибо

они были его слушателями. Можно без преувеличения сказать, что Грановский был идеалом профессора истории. Он не был архивным тружеником, кропотливым исследователем фактов, да это вовсе и не требовалось в России в тогдашнее время. В русской истории необходимо было прежде всего тщательное изучение памятников, ибо тут было совершенно невозделанное поле, и все приходилось перерабатывать вновь. Но для всеобщей истории нужно было совершенно иное: надобно было познакомить слушателей со смыслом исторических событий, с общим ходом человечества в его поступательном движении, с теми идеями, которые развиваются в истории. Конечно, для этого необходимо было вполне овладеть материалом; иначе строилось здание на воздухе. Но исторический материал Грановский усвоил себе с самою тщательною добросовестностью. Когда представляют его человеком, хватающим верхушки и своим талантом восполняющим недостаток знания, и еще более когда изображают его каким-то лентяем, читающим лекции спустя рукава, то можно только удивляться пошлости людей, высказывающих подобные суждения. Грановский был чтец первоклассный и неутомимый. Не только литература громадного предмета была коротко ему знакома, но всякий памятник, имеющий существенное значение для изучаемого периода, был им внимательно просмотрен, всякая даже мелкая брошюра была им основательно прочитана, и он тотчас мог указать, что в ней есть дельного. Он изучал даже памятники эпох, о которых ему никогда не приходилось читать лекции. Помню, как он однажды с грустью говорил моей матери: «Вот каково наше положение: я прочел 50 томов речей и документов, касающихся французской революции, а между тем знаю, что не только не придется написать об этом ни единой строки, но нельзя заикнуться об этом и на кафедре».

К обширности знаний присоединялись серьезное философское образование и большой политический смысл — качества для историка необходимые. Грановский слушал лекции в Берлине во время самого сильного философского движения и проникся господствовавшим в нем духом. «В «Логику» Гегеля я до сих пор верю»,— говорил он мне несколько лет спустя. Но из гегельянской философии он заимствовал не теоретическое сцепление понятий, не отвлеченный схематизм, которого он, как историк, был совершенно чужд, а глубокое понимание существа и целей человеческого развития, причем он весьма далек был от

ошибки тех философствующих историков, которые частное жертвуют общему и в лице видят только слепое орудие господствующего над ним исторического рока. Грановский глубоко верил в свободу человека, сочувствовал всем человеческим радостям и скорбям и вполне понимал, что если в общем движении отдельное лицо служит орудием высших целей, то в осуществление этих целей оно вносит личный свой элемент, через что и дает историческому процессу своеобразное направление. Философское содержание истории было для него общею стихией, проникающею вечно волнуемое море событий, проявляющейся в живой борьбе страстей и интересов. «Истинная философия истории есть сама история»,— говорил он. Но он умел это содержание представить во всей его возвышенной чистоте. Он с удивительною ясностью и шириною излагал движение идей. Очерк историографии, который составлял введение в его исторический курс, был превосходный. Он указывал в нем, как две школы, отправлявшиеся от совершенно противоположных точек зрения, немецкая философская и французская историческая, пришли к одному и тому же результату, к пониманию истории как поступательного движения человечества, раскрывающего все внутренние силы духа и направляющего все человеческие общества к высшей нравственной цели: к осуществлению свободы и правды на земле.

В политике он, разумеется, был либерал, но опять же как историк, а не как сектатор. Это не был рьяный либерализм Герцена, всегда кидавшегося в крайность, неистово преследовавшего всякое проявление деспотизма. Для Грановского свобода была целью человеческого развития, а не непреложною меркою, с которой все должно сообразоваться. Он радостно приветствовал всякий успех ее в истории и в современной жизни; он всею душою желал расширения ее в отечестве, но он вполне понимал и различие народностей, и разнообразие исторических потребностей. Развитие абсолютизма, установляющего государственный порядок, было в его глазах таким же великим и плодотворным историческим явлением, как и водворение свободных учреждений. Недаром он предметом своей докторской диссертации избрал аббата Сугерея[11]. Но сердечное его сочувствие было все-таки на стороне свободы и всего того, что способно было поднять и облагородить человеческую личность. <...> Грановский не последовал за радикальными увлечениями Герцена, а, напротив, приходил в

негодование от взглядов, выраженных в «Письмах с того берега» или в «Полярной звезде». «У меня чешутся руки, чтобы отвечать ему в его собственном издании»[12],— писал он. В это смутное время он с любовью останавливался на одной Англии, которая осталась непоколебима среди волнений, постигших европейский материк, и крушения всех либеральных надежд.

При таком философском понимании истории, при таком глубоком историческом и политическом смысле, преподавание Грановского представляло широкую и возвышающую душу картину исторического развития человечества. Но это была только одна сторона его таланта. Была и другая, которой часто недостает у историков, умеющих широкими мастерскими штрихами изображать общее движение идей и событий, которой не было, например, у Гизо. Грановский одарен был высоким художественным чувством; он умел с удивительным мастерством изображать лица, со всеми разнообразными сторонами их природы, со всеми их страстями и увлечениями. Особенно в любимом его отделе преподаваемой науки, в истории средних веков, художественный его талант раскрывался вполне. Перед слушателями как бы живыми проходили образы могучих Гогенштауфенов и великих пап, возбуждалось сердечное участие к трагической судьбе Конрадина и к томящемуся в темнице королю Энцио; возникала чистая и кроткая фигура Людовика IX, скорбно озирающегося назад, и гордая, смело и беззастенчиво идущая вперед фигура Филиппа Красивого. И все эти художественные изображения проникнуты были теплым, сердечным участием к человеческим сторонам очерченных лиц. Все преподавание Грановского насквозь было пропитано гуманностью, оценкою в человеке всего человеческого, к какой бы партии он ни принадлежал, в какую бы сторону ни смотрел. Те высокие нравственные начала, которые в чистоте своей выражались в изложении общего хода человеческого развития, вносились и в изображение отдельных лиц и частных явлений. И все это получало, наконец, особенную поэтическую прелесть от удивительного изящества и благородства речи преподавателя. Никто не умел говорить таким благородным языком, как Грановский. Эта способность, ныне совершенно утратившаяся, являлась в нем как естественный дар, как принадлежность возвышенной и поэтической его натуры. Это не было красноречие, бьющее ключом и своим пылом увлекающее слушателей. Речь была тихая и сдержанная,

но свободная, а с тем вместе удивительно изящная, всегда проникнутая чувством, способная пленять своею формою и своим содержанием затрагивать самые глубокие струны человеческой души. Когда Грановский обращался к слушателям с сердечным словом, не было возможности оставаться равнодушным; вся аудитория увлекалась неудержимым восторгом. Этому значительно содействовала и самая поэтическая личность преподавателя, тот высокий нравственный строй, которым он был насквозь проникнут, то глубокое сочувствие и уважение, которое он к себе внушал. В нем было такое гармоническое сочетание всех высших сторон человеческой природы, и глубины мысли, и силы таланта, и сердечной теплоты, и внешней ласковой обходительности, что всякий, кто к нему приближался, не мог не привязаться к нему всей душой.

Когда преждевременная смерть похитила его в ту самую минуту, как он готовился, при изменившихся условиях, выступить с обновленными силами на литературное поприще, Николай Филиппович Павлов с грустью говорил мне: «И вот он ушел от нас, и все, что от него осталось, не дает об нем ни малейшего понятия. Чем он был, знаем только мы, близко его видевшие и слышавшие, а умрем и мы, о нем останется только смутное предание, как чего-то необыкновенного, как о Рубини, о Малибран!» Да, кто не знал его близко, тот не может иметь о нем понятия. В предыдущих строках я старался передать незабвенные черты этого человека, который на всей моей жизни оставил неизгладимую печать, представляясь мне даже на старости лет идеалом высшей нравственной красоты. Но может ли слово выразить могучее обаятельное действие живого лица?

Жалким соперником Грановского был Шевырев. И этот человек когда-то был блестящим молодым профессором, новым явлением в Московском университете. Вернувшись из Италии, полный художественных впечатлений, страстным поклонником Данте, образованный, обладающий живым и щеголеватым словом, он произвел большой эффект при вступлении на кафедру после устаревшего и спившегося Мерзлякова. Его погубило напыщенное самолюбие, желание играть всегда первенствующую роль и, в особенности, зависть к успехам Грановского, которая заслужила ему следующую злую эпиграмму, ходившую в то время в университете:

Преподаватель христианский,
Он в вере тверд, он духом чист;
Не злой философ он германский,
Не беззаконный коммунист,
И скромно он, по убежденью,
Себя считает выше всех,
И тягостен его смиренью
Один лишь ближнего успех[13].

Искренно православный и патриот, он, в противоположность представляемому соперником западному направлению, все более и более сдавался в славянофильство. Поэзию Запада он прямо называл поэзиею народов отживающих. Курс его был переполнен нападками на немецкую философию, а так как он никогда ее серьезно не изучал, то возражения выходили самые поверхностные <...> Иногда Шевырев на кафедре потешался над современным слогом Герцена и других, и это было для нас не бесполезно, ибо обращало наше внимание на правильность речи. Второе полугодие было все посвящено преподаванию церковнославянского языка, что также было не бесполезно, хотя вовсе не соответствовало университетскому курсу. Но главную пользу он приносил тем, что задавал студентам сочинения. По этому поводу у меня произошло с ним маленькое столкновение. Темою было задано изложение какого-нибудь события русской истории по летописям, причем профессор сам продиктовал список тем. Я выбрал борьбу Новгорода с Иваном III. В пылу юношеского либерализма я выставил новгородцев рыцарями, отстаивающими свою вольность, и, помнится, выразил даже сожаление о падении их республиканских учреждений. Шевыреву это не понравилось, и он сделал довольно резкое замечание. Я, по примеру некоторых других, подал ему объяснение, которое еще больше его рассердило, и он отвечал замечанием еще более резким. Это был первый повод к охлаждению прежних хороших отношений.

В объяснение надобно сказать, что Шевырев, в отличие от собственно славянофильской партии, не искал свободы не только на Западе, но и в древней России, а строго держался тогдашней казенной программы: православие, самодержавие и народность[14]. Иногда он для эффекта позволял себе маленькие либеральные выходки. Так, например, на одной из публичных лекций, читанных им в зиму 1846/47 года, он вдруг закончил чтение переложением псалма Ф. Н. Глинки:

Немей, орган наш голосистый,
Как онемел наш в рабстве дух,
Не опозорим песни чистой,
Чтобы ласкать тиранов слух;
Увы! Неволи дни суровы
Органам жизни не дают;
Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют[15].

В аудитории произошел взрыв неумолкающих рукоплесканий. Но подобные выходки были редкостью, и, чем старее делался профессор, тем он становился раболепнее. В Крымскую кампанию он стал по всякому случаю писать патриотические стихи, и притом в такой пошлой и неуклюжей форме, которая обличала полный упадок не только таланта, но и вкуса <...>

Шевырев писал подобные же стихи и в честь невежественного и тупоумного генерала Назимова, который назначен был попечителем Московского учебного округа, с целью введения в нем военной дисциплины. Он читал эти стихи на обеде, данном профессорами этому удивительному представителю русского просвещения. Но вскоре после этого карьера его кончилась весьма печальным образом. На каком-то смешанном заседании, происходившем в стенах университета, граф Василий Алексеевич Бобринский разглагольствовал о тогдашнем положении дел, бранил Россию и все русское. Шевырев, тут присутствовавший, возражал очень резко и упрекнул Бобринского в недостатке патриотизма. Тот отвечал дерзостью. Тогда Шевырев, как рассказывали, воспламенившись, подскочил к Бобринскому и дал ему пощечину. Бобринский был человек атлетического сложения, он бросился на Шевырева, повалил его на пол и так его отколотил, что тот слег в постель. И что же? Не только не произошло дуэли, но публично исколоченный профессор писал и пускал по городу самые пошлые письма, в которых, рассказывая происшедшее с ним несчастье, объяснял, что чувствует себя вполне удовлетворенным тем вниманием, которое ему оказывали: граф Закревский присылал узнать о его здоровье, а попечитель сам приезжал его навестить. При этом, восторгаясь сочувствием общества, он восклицал: «О, какая музыка!» После этого, однако, он подал в отставку и уехал за границу, где через немного лет и умер.

Наконец, я должен сказать о том весьма важном для моей внутренней жизни значении, которое имел для меня не в положительном, а в отрицательном смысле слушанный

в университете курс богословия. Очевидно, что если требуется читать в университете богословие, то надобно устремить главное внимание на ученую критику и стараться доказать, что она не в состоянии поколебать существенных основ христианства. Сделать это может только человек вполне просвещенный, знакомый с европейскою наукою и с философиею. Между тем читавшийся тогда в университете курс был самый сухой и рутинный, какой только можно представить. Всякое догматическое положение подкреплялось множеством текстов, после чего преподаватель замечал, что то же самое подтверждается и разумом, в доказательство чего приводилось несколько совершенно младенческих соображений, которые только вызывали опровержения. Самая личность профессора, университетского священника Петра Матвеевича Терновского, не внушала никакого сочувствия. Он имел строгий вид, говорил в нос, своими маленькими, хитрыми глазками беспрестанно осматривал аудиторию, замечая, кто ходит на лекции, а иногда делал резкие выговоры студентам. Я очень усердно следил за курсом и знал его отлично. Когда на экзамен опять приехал митрополит и меня, в числе некоторых других, вызвали вне очереди, я так хорошо отвечал на попавшийся мне весьма трудный билет, что Филарет сделал мне комплимент, а Терновский поставил мне пять с крестом — дело в университете неслыханное. Но результатом этого изучения было то, что я внутри себя к каждому вопросу относился критически, и скоро все мое религиозное здание разлетелось в прах; от моей младенческой веры не осталось ничего <...>

Научный интерес поддерживался и возбуждался в нас постоянными сношениями с любимыми профессорами. С Грановским мы виделись часто; он бывал у нас в доме на дружеской ноге, и мы нередко у него обедали. Он любил собирать у себя за обедом студентов, которые его интересовали. Он беседовал с ними, как с себе равными; разговор всегда был умный и оживленный, касающийся и науки, и университета, и всех вопросов дня. У него, между прочим, мы познакомились с Бабстом, который был тогда словесником 4-го курса, а также с весьма умным и образованным юристом 4-го курса Татариновым, впоследствии профессором Ярославского лицея, к сожалению, рано погибшим от излишнего кутежа. Грановский сам повез нас к Редкину и Кавелину. С Редкиным я особенно сблизился к концу курса, когда он пригласил меня приехать к нему

для составления программы по юридической энциклопедии. В личных беседах он еще более, нежели своими лекциями, сообщал мне свое философское одушевление, и я тогда же решил, что непременно, при первой возможности, займусь философией. У Кавелина по воскресеньям всегда собиралось много студентов, которым он задавал разные работы по истории русского права. В этих разговорах с собиравшеюся около него молодежью всего более проявлялся собственный его юношеский пыл, нередко увлекавший его в крайности. Друзья называли его «вечным юношей», а противники «разъяренным барашком», вследствие курчавой его головы. Хотя он и подчинялся влиянию Грановского, но по своей натуре он скорее готов был следовать за более радикальными увлечениями Герцена и Белинского. «Какое дело французскому народу, будет ли Гизо или Тьер первым министром? — говорил он нам однажды,— французская демократия имеет совсем другие требования и цели». От Грановского мы никогда не слышали ничего подобного; сочувствуя демократическим стремлениям, в которых он видел будущее, он понимал, однако, серьезное значение политических вопросов дня. Но именно эти увлечения Кавелина возбудительно действовали на молодежь, тем более что они подкреплялись большим сердечным жаром и безукоризненною нравственною чистотою.

Профессора руководили и нашим чтением, ибо слушание лекций считалось только пособием к настоящим серьезным занятиям. Времени для чтения было достаточно, ибо я скоро приучился записывать лекции, так что не нужно было даже их перечитывать дома, а писец свободно мог списывать их для товарищей. Таким образом все вечера были свободны. По части истории я прочел «Всемирную историю» Шлоссера. На вакацию Грановский дал мне Нибура, которого я изучал, читая в то же время по-латыни Тита Ливия. Прочел я также «Юридическую энциклопедию» Неволина[16], а по истории русского права почти все, что тогда было написано: Эверса[17], Рейца[18], «Речь об Уложении» Морошкина, диссертацию Кавелина[19], появившуюся именно в этот год первую диссертацию Соловьева[20]. Вместе с тем я знакомился с самими памятниками, начиная от Русской Правды и до Уложения. Последнее было, в сущности, не по силам студенту первого курса, но я приучился рыться в источниках и видеть в них первое основание серьезного изучения науки.

С первого курса завязались и те товарищеские отноше-

ния, которые составляют одну из главных прелестей университетской жизни и которые сохраняются навсегда, как одна из самых крепких связей между людьми. Из наших однокурсников самым близким мне приятелем остался сын тогдашнего московского генерал-губернатора, князь Александр Алексеевич Щербатов, человек, которого высокое благородство и практический смысл впоследствии оценила Москва, выбрав его первым своим городским головою при введении всесословного городского управления <...> Неизменно дружеские отношения сохранились и с добрейшим, невозмутимо спокойным Петром Талызиным, неразлучным моим товарищем в следовавший за университетом период светской жизни, а также и с умершим уже, тихим и кротким Михаилом Полуденским, сделавшимся впоследствии известным некоторыми библиографическими трудами. Но всего более я сошелся в то время с Алябьевым, братом известной красавицы Киреевой. У него умственные интересы были живее, нежели у других; он меня очень полюбил, и мы скоро с ним сблизились. Он умер в первый же год по выходе из университета. На одном курсе с нами был и Капустин, с которым я впоследствии был товарищем по кафедре. Сблизился с нами и матушкин сынок Благово, над которым, несмотря на дружеские отношения, мы нередко потешались. Товарищеские отношения завязывались и с студентами других курсов и даже факультетов. В особенности брат мой сошелся с вступившим одновременно с нами на математический факультет Корсаковым. Он был малый пустой, но неглупый, очень живой, веселый, отличный товарищ, любивший покутить, потанцевать, петь цыганские песни.

На нашем курсе по совершенно ничтожному случаю образовался как бы отдельный кружок. Лекции длились иногда часов пять сряду, и мы голодали. Для утоления аппетита мы бегали есть пирожки в находившуюся против университета кондитерскую Маттерна; но наконец это нам надоело, и мы согласились человек шесть или семь, в промежуточное между лекциями время, поочереди приносить для всей братии пирожки от Маттерна в самое здание университета, в так называемый гербариум. Тотчас пошла молва, что у нас образовался аристократический кружок, держащий себя особняком. Грановский счел даже нужным нас об этом предупредить, говоря, впрочем, что это больше относится к моему брату, нежели ко мне, хотя, правду сказать, я никогда не замечал, чтобы мой брат держал се-

бя иначе, нежели другие. Люди с одинаковым воспитанием естественно сходились друг с другом скорее, нежели с другими, но мы скоро перезнакомились со всем курсом и до конца были со всеми в добрых, товарищеских отношениях. <...>

Алябьев ввел меня и в дом своей сестры, известной своей красотой и ухаживанием за нею государя. В это время она уже была не первой молодости и довольно полная; ее красотою я никогда не пленялся. Но она любила в своей гостиной соединять ученых и литераторов и сама желала блистать своим образованием. Однако это ей мало удавалось, ибо ум далеко не соответствовал претензиям. Были, конечно, литераторы и светские люди, которые охотно падали к ногам великосветской красавицы, пользовавшейся милостями царя. При мне на одном из ее вечеров Загоскин читал какое-то свое произведение. Но, вообще, она больше была предметом забавных анекдотов. Про нее говорили, что, сотворивши ее, бог сказал: «Tu seras belle, mais tu parleras géologie»*. Рассказывали, как она описывала свое путешествие в Германию: «Avec Shelling à ma droite, Schlegel à ma gauche et Humboldt devant moi»**. Появление «Космоса»[21] привело ее в неописанный восторг, и она тотчас полетела рассказывать о своей радости невинным своим деревенским соседкам, которые были совершенно ошеломлены этою неведомою им новостью и захотели узнать, что такое «Космос», но, разумеется, ничего в нем не поняли. Деревенского уединения она, впрочем, не выносила, и в доказательство невозможности жить в деревне для образованной женщины она приводила то, что однажды, проснувшись утром, она вдруг, к ужасу, заметила, что накануне в течение всего дня у нее было только три мысли; тогда она тотчас велела запрягать лошадей и поскакала в столицу запасаться новым материалом. Дочь ее, известная писательница О. К.[22], наследовала все ученые и литературные стремления своей матери, но, по крайней мере, относительно иностранцев, с большею удачею. Многим она внушила высокое понятие о своем уме и образовании и находилась или находится в постоянной переписке с первоклассными европейскими знаменитостями: с Гладстоном, Тиндалем и другими. Только

* «Ты будешь красавицей, но ты будешь толковать о геологии» (*франц.*).

** «С Шеллингом с правой стороны, с Шлегелем с левой и Гумбольдтом впереди меня» (*франц.*).

русские люди почему-то никогда не могли ее переварить.

Наше знакомство с московским светом было, впрочем, весьма поверхностно. Хотя в то время уже студенты охотно принимались в московских гостиных и некоторые из них проводили свою жизнь на балах и вечерах, но мы этой сферы касались только слегка. Время, проведенное в университете, посвящалось, главным образом, учению, которое при благоприятных условиях шло весьма успешно. Экзамен первого курса сдан был отлично. Я получил везде по пяти, а брат имел кандидатские баллы. Счастливые и довольные, мы поехали отдыхать в Караул.

Второй курс был составлен не хуже первого. Редкин читал государственное право, Чивилев — политическую экономию и статистику, Грановский — историю средних веков, Соловьев — русскую историю, Катков — логику, наконец, Крылов — историю римского права.

Нельзя, однако, не сказать, что курс Редкина был гораздо ниже его курса энциклопедии. Государственное право было не его предмет; он читал его только временно, за отсутствием другого профессора. Притом же ему так надоело читать каждый год одно и то же, что он для разнообразия значительную часть первого полугодия посвятил подробному изложению древнегерманского права, думая тем приохотить студентов к изучению истории иностранных законодательств. От этого курс общего государственного права вышел скомканный. Второе же полугодие посвящено было русскому государственному праву, которое Редкин излагал по Своду законов также весьма поверхностно, в чем сам признался. Он говорил, что он может возбудить философскую мысль, но юридический такт способен дать только Крылов. Вследствие этого, хорошего курса государственного права я не слышал, и это было весьма существенным пробелом в моем университетском образовании, тем более что впоследствии я именно эту науку избрал своею специальностью.

Зато весьма полезен был курс политической экономии Чивилева. Он читал по раз навсегда составленным запискам, которые переходили от одного курса к другому, так что нам не было даже нужды записывать: мы просто следили за чтением по старым тетрадям. На новейшие явления в области политической экономии, именно на социалистические теории, вовсе не было обращено внимания. Чивилев строго держался классической системы, установленной Адамом Смитом и его преемниками; но в этих

пределах изложение было ясно, умно и последовательно. Оно давало полное понятие о предмете и возбуждало к нему интерес. Я на этом курсе специально занимался чтением политико-экономических писателей, прочел Адама Смита, Сея, Росси. <...>

О Грановском я уже говорил выше. Но совершенною новостью для всех был курс Соловьева. Он только что вступил на кафедру после блестящей защиты своей магистерской диссертации и читал первый свой университетский курс. Здесь он впервые вполне изложил свой взгляд на русскую историю. В этот курс вошло существенное содержание явившейся вскоре после того диссертации о родовых отношениях русских князей[23]. Все, что мы в предшествующий год слышали от Кавелина, получало здесь новое развитие и подтверждение. Изложение было ясное, умное и живое. Нас беспрестанно поражали новые взгляды, мастерские очерки. Царствование Грозного было в особенности изложено удивительно выпукло. Хуже был конец, изложение эпохи междуцарствия; читая лекции, преподаватель, очевидно, сам изучал летописи, а потому не успел сжать свое изложение и вдавался в совершенно лишние для университетского курса подробности. Мне памятен и экзамен Соловьева. Я предмет знал отлично и приготовился блеснуть своим ответом. Вопрос мне попался из эпохи междуцарствия: битва, в которой был ранен князь Пожарский. Подошедши к столу, я начал так: «В пятницу на страстной неделе...» Тут Соловьев меня прервал, сказав: «Довольно!» — и поставил пять. Я тогда еще вовсе не был с ним знаком, но впоследствии рассказал ему, как он меня удивил своим экзаменом. «Я знал вас за хорошего студента,— отвечал он,— вижу, что вы знаете такую подробность, чего же более?»

Совершенно иного свойства был курс Каткова. Я ничего подобного в университете не слыхал. Мне доводилось слушать курсы пошлые, глупые, пустые; но курса, в котором никто ничего не понимал, я другого не слыхал. И это было не случайное, а обычное явление. Катков читал уже второй год. Предшествовавший нам курс слушал его в течение двух полугодий, и никто из слушателей не понял ни единого слова из всего того, что читал профессор, так что, когда наступил экзамен, он всем должен был поставить по 5, ибо студенты вовсе не были виноваты в том, что отвечали совершеннейшую чепуху. То же самое повторилось и с нами. Я усердно ходил на каждую лекцию, записывал

самым старательным образом, но решительно ничего не понимал, и все мои товарищи находились совершенно в том же положении. К нашему счастью, Катков в половине года занемог, и экзамена вовсе не было. Говорят, что на словесном факультете он историю философии читал понятнее. Не знаю, но очевидно, что кафедра вовсе не была настоящим его поприщем. Вскоре потом он вышел и сделался редактором издававшихся от университета «Московских ведомостей»[24]. Кто бы мог подумать, что этот непонятный профессор, этот туманный философ со временем сделается живым и талантливым журналистом?

Все профессора давно уже начали читать, а Крылова все еще не было. Прошел месяц, другой, а он не являлся. Носились даже слухи, что он вовсе на кафедру не вернется. В это самое время случилась известная его история, наделавшая столько зла Московскому университету. Крылов был человек необыкновенно умный и даровитый, но полнейший невежда и лишенный всякого нравственного смысла. Много прегрешений прощалось ему за его ум и талант. Помню, как однажды, еще перед нашим вступлением в университет, мои родители с любопытством расспрашивали Грановского о Крылове, который на юридическом факультете имел огромное значение. «Он ровно ничего не читал и не знает,— говорил Грановский,— но когда что-нибудь ему сообщишь, он так сумеет этим воспользоваться, как никто. Раз он мне говорит: «Дай-ка мне, братец, что-нибудь прочесть о французской революции; все об ней слышу; хочется наконец знать, что там было». Я дал ему Тьера. Вы не можете себе представить,— говорил Грановский,— сколько блестящих мыслей родилось у него вследствие этого чтения. Я был удивлен». В Москве рассказывали, как после одной из публичных лекций Грановского о падении Римской империи, при разъезде у Павловых, Крылов вмешался в разговор и тут же, в передней, начертал такую блестящую картину разрушающейся Римской империи, что все гости в шубах столпились около него и слушали с восторгом. Но, несмотря на все эти блистательные дарования, уважением он не пользовался и имел даже репутацию взяточника. Об этом мои родители также расспрашивали Грановского. «Постоянно этого не делается,— отвечал Грановский,— но что он не хватил раза два-три, за это никак нельзя ручаться». К другим его некрасивым свойствам присоединялось еще то, что он пил запоем. Как раз в то время, когда мы вступали на второй курс, с

ним случилась скандальная история, огласившаяся на всю Москву. <...> Кто был прав и кто виноват в этой семейной распре, об этом посторонним всегда трудно судить. Через несколько лет супруги опять съехались. Но Крылов вел себя в этой истории так, что внушил к себе всеобщее омерзение. Помню, как за обедом у Грановского студент Малышев, который восторгался Крыловым, изъявлял сожаление по поводу слухов о предстоящем его выходе из университета. На это Грановский отвечал: «Как вам не стыдно, Малышев, вступаться за такого грязного подлеца?» К этому присоединилась еще другая, гораздо худшая история. Разъяренная супруга обнаружила взятки своего мужа, которые были ей хорошо известны. <...> При таких обстоятельствах между профессорами, дорожившими честью своей корпорации, естественно, возник вопрос: возможно ли служить с человеком, до такой степени себя замаравшим? Мнения раздвоились; одни утверждали, и не без основания, что ссора Крылова с женою дело совершенно частное, до университета вовсе не касающееся, и что поднимать тревогу из-за семейной распри не следует. Что же касается до взяточничества, то доказательств, в сущности, не представлено. Другие, напротив, думали, что университетская корпорация, только оставаясь нравственно чистою и не терпя внутри себя прокаженных членов, может сохранить вполне свое значение и свое влияние на молодежь. Последнее мнение победило; всех более кипятился Кавелин. Решено было заявить начальству, что если Крылов не выйдет из университета, то Грановский, Редкин, Кавелин и Корш принуждены будут подать в отставку. Мне достоверно не известно, каков был последующий ход дела. Кажется, попечитель склонялся на сторону протестующих профессоров; по крайней мере, он сам вслед за ними оставил университет. Но министр поддержал Крылова, и те подали в отставку. Грановского не выпустили, потому что он не выслужил еще обязательного срока после посылки за границу на казенный счет; отставка же остальных была принята. Они все трое переехали на службу в Петербург; юридический факультет лишился достойнейших своих членов. Когда через несколько лет Грановскому вышел срок, он сам увидел, что безумно было бы, когда дело было уже совершенно проиграно, задним числом довершать торжество пошлости и грязи оставлением университета, по поводу давно похороненного вопроса о нравственной чистоте университетской корпорации. Он понял, что он и его приятели

слишком высоко хотели держать университетское знамя и что в России предъявление таких высоких требований всегда кончается поражением. Он остался в университете.

Разумеется, все это до крайности волновало студентов. Окончание истории последовало уже гораздо позднее; но на первых порах все были заняты одним вопросом: будет ли Крылов читать или нет? Наконец возвещено было, что в такой-то день назначается первая лекция. Мы собрались в великом множестве, и, когда наступил час, мы увидели маленькую, худенькую, сгорбленную фигуру с пошлыми чертами лица, но с умными и проницательными глазами, тихо поднимающуюся по лестнице, с шляпою в руках. Первая лекция была рассчитана на эффект, и, точно, она многих поразила; но, в сущности, это была странная шумиха. В виде вступления в курс истории римского права Крылов излагал общие свои исторические воззрения. Приверженец германской исторической школы времен Савиньи, он хотел разгромить философское направление; но так как он философии вовсе не знал и ничего в ней не смыслил, то выходило одно лишь пустословие с разными шутовскими выходками, вроде того, что он сам некогда по целым дням лежал на диване и судил народы. Весь курс истории римского права был крайне поверхностен, чтобы не сказать более. Когда впоследствии Крылова подбили выступить в печати, как я расскажу ниже, то обнаружилось такое изумительное невежество, такое грубое извращение самых элементарных фактов в преподаваемом им предмете, что произошел скандал, и он никогда уже более не дерзал соваться в печать, довольствуясь тем, что своим талантом очаровывал невинных студентов. Нет сомнения, что он когда-то предмет свой слушал за границей и слегка изучал; но со временем многое забылось и перепуталось в его голове. По неряшеству и лени он не думал наводить справок и обновлять свои сведения. Знание заменялось виртуозностью; не заботясь о том, что действительно было, он рисовал эффектные картины, которыми и удовлетворялись неподготовленные слушатели. Сила Крылова заключалась, впрочем, не в историческом изложении, а в развитии догмы. Здесь, несмотря на все его недостатки, проявлялись ум, талант и юридическое чутье. Если в сравнении с основательными и даровитыми профессорами второго курса преподавание его представлялось серьезно занимающимся студентам не более как блестящею мишурою, то на высших курсах он являлся во всем своем блеске. <...>

Со вторым курсом кончилось собственно университетское преподавание, которое вполне заслуживало это название и способно было руководить студентов в научных занятиях, развивая их ум, доставляя им богатый запас сведений, научая их основательному изучению предмета. Высшие курсы посвящены были специально юридическим наукам, но именно последние большею частью были представлены крайне слабо. Здесь господствовали Баршев, Лешков, Морошкин, к которым примыкал и совершенно ничтожный курс церковного права, читанный тем же священником Терновским. Из всех их своею яркою даровитостью отличался Крылов, а своею основательностью только что вернувшийся из-за границы молодой адъюнкт Мюльгаузен, шурин Грановского, который на 4-м курсе читал финансовое право.

Деканом юридического факультета после случившегося с Крыловым скандала был Баршев, который на 3-м курсе читал уголовное право, а на 4-м — уголовное судопроизводство. Это была олицетворенная пошлость, пошлость, выражавшаяся во всей его фигуре, в его речи, пошлость мысли и чувств. Уголовное право он читал по дрянному, им самим сочиненному учебнику, который студенты обязаны были покупать и который он приправлял разными анекдотами. В курсе уголовного судопроизводства он являлся рьяным противником всяких либеральных начал. Когда впоследствии, с новым царствованием, либерализм вошел в моду, он внезапно переменил фронт и стал усердно защищать то, что он прежде опровергал, объясняя самым откровенным и наивным образом, что в предыдущее царствование можно было выставлять только одну сторону вопроса, а теперь можно и другую. Разумеется, его преподавание неспособно было не только возбудить любовь и интерес к предмету, но и дать о нем надлежащее понятие. От Редкина можно было более узнать о различных воззрениях криминалистов, нежели из всего курса Баршева.

Если Баршев был пошлейшим из профессоров, то Лешков считался в университете глупейшим из всех. Позднее, узнавши его ближе, я увидел, что он был человек добрый и обходительный; но в голове у него была такая же каша, как и в его речи, в которой слова как-то недоговаривались и перепутывались вследствие недостатка произношения. Самая фигура его имела в себе что-то комическое. Худенький, черненький, с каким-то утиным, но заостряющимся носом, он выступал с неловкими, угловатыми телодвижениями, причем узкие фалды его вицмундира разлетались

в обе стороны; в особенности же он раскланивался с какою-то пошлою развязностью, которая чрезвычайно забавляла студентов. Иногда нарочно собирались с посторонних факультетов, даже медики приходили из другого здания, чтобы посмотреть, как Лешков кланяется. Студенты двумя рядами становились по всей лестнице, сверху донизу, и отвешивали ему почтительные поклоны, а он, польщенный таким вниманием, с улыбкой расшаркивался на обе стороны, не подозревая, что над ним потешаются. Лешков был воспитанником Педагогического института; он вместе с другими был отправлен за границу, слушал лекции в Берлине, пытался даже изучать философию, но, боже мой, что из этого выходило! Грановский говорил, что он, как сокровище, сохраняет случайно оставшийся у него в руках экземпляр философии права Гегеля, испещренный замечаниями Василия Николаевича Лешкова. Не привыкшие к нему посторонние люди приходили иногда в совершенное изумление от того сумбура, который господствовал у него в голове. <...>

И при всем том, в то время, когда я его слушал, преподавание его имело громадное преимущество перед тем, чем оно сделалось впоследствии: он не изобретал еще новой науки! Полицейское право он читал на третьем курсе, придерживаясь главным образом учебников Берга и Моля, и хотя подчас галиматья была полнейшая, однако все-таки сообщались кое-какие сведения и можно было себе составить понятие о предмете. На 4-м курсе он читал международное право, так как он до своего превращения в либерала, так же как Баршев, был строгим консерватором, то венцом всего политического строя Европы представлялся Венский Конгресс, который своими мудрыми началами навсегда положил конец всяким революционным движениям. На беду, в это самое время вспыхнула французская революция 48-го года, которая совершенно расстроила все расчеты Василия Николаевича. Он совсем смешался, объявил слушателям, что случилось неожиданное происшествие: Людовик-Филипп бежал, Гизо также, вся Европа возмутилась; но, впрочем, он твердо надеется, что мудрые начала Венского Конгресса окончательно восторжествуют над всеми кознями революционеров. У нас был студент Чечурин, который рисовал иногда довольно забавные карикатуры. На одной из лекций международного права он изобразил Людовика-Филиппа, сидящего за ширмами на троне, только не на французском; читая газеты, развенчанный

король восклицает: «Ah, м-r Leschkoff, c'est par vos funestes théories, que je suis réduit à ce trône, au lieu de celui de France!» А королева отвечает из-за ширм: «Taisez-vous Philippe! Wassili Nicolaevitch n'est pour rien dans tout celá!»*

С наступлением нового царствования Лешков не только совершил такой же поворот фронта, как и Баршев, но выдумал еще собственную свою никому не ведомую науку, общественное право, которое он построил на славянофильских и либеральных началах и которою он в своем преподавании заменил полицейское право. И что же? Этот человек, который в университете известен был как источник всякой галиматьи, над которым все студенты смеялись, вдруг сделался одним из корифеев славянофильского либерализма. Его возвеличивали, прославляли; он на всю Европу прослыл ученым, и поныне еще у него есть жаркие приверженцы даже между людьми, занимающими кафедры. Но на свежих и образованных людей он продолжал производить то же впечатление, что и прежде. Николай Иванович Тургенев, который из Парижа внимательно и с любовью следил за всеми явлениями русской литературы, говорил мне, каким удивлением он был поражен, когда прочел статьи Лешкова в журнале Аксакова «День». Он не верил своим глазам и не мог понять, каким образом в серьезном органе может быть допущена такая бессмыслица. А Аксаков видел в этом что-то новое и замечательное.

Гораздо выше Лешкова и Баршева стоял по таланту Морошкин. Его «Речь об Уложении» свидетельствует о несомненном даровании и живом взгляде на предмет. Но у него воображение преобладало над умом, а образование было самое скудное. Поэтому рядом с светлыми мыслями являлись у него самые дикие фантазии. Он во всем любил картинность, часто вовсе не соображаясь с действительностью. Про него рассказывали смешные анекдоты, обличающие его незнание жизненных условий и невнимание к окружающему. <...> Курс его был пересыпан всякими картинными выходками; но основательности и последовательности было очень мало, а так как он в это время значительно обленился, то недоставало и той живости, которая способна иногда заменить другие качества и возбудить интерес в слушателях. Курс был скучный и бесполезный.

---

* «Ах, г. Лешков, благодаря Вашим пагубным теориям мне приходится сидеть на этом троне вместо трона Франции!» — «Замолчите, Филипп! Василий Николаевич тут ни при чем!» *(франц.)*

Читая гражданское судопроизводство, он приносил нам разные дела, распределял между студентами всякие канцелярские должности, заставлял нас делать выписки и доклады; но и это все служило больше для забавы. Дельного знакомства с судопроизводством мы не могли из этого вынести.

Над всем этим рутинным преподаванием весьма выгодно выделялся Крылов. Тут был вечно живой ум, блестящее дарование, увлекательный дар слова. В развитии догмы проявлялись все лучшие стороны его таланта: тонкость юридических понятий, резкое их разграничение, выпуклая характеристика институтов. Все это врезывалось в умы слушателей. И тут, однако, были существенные недостатки. Все это было здание, воздвигнутое самим профессором; с источниками он нас вовсе не знакомил. О духе пандектов мы не имели ни малейшего понятия. Когда же, не довольствуясь виртуозною передачею слышанного и читанного им в прежнее время, он хотел сочинить собственное свое воззрение, то результат оказывался крайне сбивчивый. В курсе был один вопрос под заглавием: «Наше воззрение на владение», который составлял камень преткновения для слушателей. Никто не мог понять, чем это воззрение отличалось от других. Хотя я к римскому праву не чувствовал никакого влечения и всего менее питал сочувствия к профессору, которого нравственная несостоятельность была мне известна, однако, слушая его курс, я счел нужным прочесть какое-нибудь капитальное сочинение по римскому праву. Я взял Савиньи и тут увидел, что многое, что у Крылова представлялось необыкновенно выпуклым и наглядным, в действительности вовсе не было таковым. Профессор точностью жертвовал картинности и вместо того, чтобы передавать мнения и приемы римских юристов, нередко увлекался собственным своим воображением. Я сообщил свои замечания Мильгаузену, которого встречал иногда у Грановского, он отвечал: «Я очень рад, что студенты наконец его раскусили».

Мильгаузен был человек не очень даровитый, но чрезвычайно образованный и добросовестный. Впоследствии ему приходилось временно читать различные предметы, и он всегда исполнял это совершенно удовлетворительно. Курс финансового права, который я слышал, был первый, читанный им в университете, и хотя по первому курсу трудно еще судить о профессоре, однако и тут уже проявлялись все его хорошие качества. Курс был полный, яс-

ный, последовательный; изучение предмета было самое добросовестное. Можно сказать, что это был самый полезный курс, который мне довелось слышать в два последние года моего пребывания в университете.

Он не мог, однако, вознаградить за все остальное. В итоге, несмотря на талант Крылова и на добросовестность Мильгаузена, общий уровень преподавания был весьма невысокий. Умственная атмосфера была совсем другая, нежели на первых двух курсах. В преподавании не было уже ничего, возбуждающего ум и возвышающего душу. Образованный элемент в нем исчез, а с тем вместе исчез в нем и нравственный дух. Наука превратилась в какую-то пошлую рутину, которая могла пригодиться для практической жизни, но которая не открывала слушателям новых умственных горизонтов. Немудрено, что студенты стали наконец тяготиться подобным преподаванием. Кафедра потеряла свой прежний авторитет; слушание лекций не имело уже для нас своей прежней поэтической прелести. Все стремления свелись к тому, чтобы успешно сдать экзамен.

Зато в других отношениях это было самое веселое время, которое мы провели в университете. Я поныне вспоминаю о нем с особенным удовольствием. Мои родители эти два года не жили в Москве, а зиму и лето проводили в деревне. Мы остались одни: двое старших и третий брат Владимир, который в 47-м году вступил на математический факультет... Квартира у нас была на Тверском бульваре в нижнем этаже дома Майковой, возле бывшего тогда дома Базилевского, ныне Малютиной, недалеко от обер-полицмейстера. Место было центральное, и скоро наша квартира сделалась сборным пунктом для студенческого кружка. Сюда почти ежедневно являлись не только наши упомянутые товарищи: Щербатов, Талызин, Алябьев, Корсаков, но и студенты других курсов и факультетов, даже вышедшие уже из университета: Самарин, Устинов, Ухтомский, Петр Васильчиков, одно время Лев Голицын, а также товарищи младшего брата, Петр Базилевский и Капнист. Мы называли это Майковым клубом.

В особенности я в это время сошелся с Самариными, братьями Юрия Федоровича, из которых, однако, ни один не был на него похож. Большим моим приятелем был Владимир, который был одним курсом старше меня. Это был самый добрый и веселый малый. Маленький, толстенький, весь в прыщах, с довольно забавною фигурой, он беспрестанно выкидывал какие-нибудь фарсы, пел, плясал, иног-

да влезал на стул и, закрывши глаза, фальшивым голосом и с выразительными жестами распевал итальянские арии, постоянно за кем-нибудь волочился, а потом вдруг, следуя семейным преданиям, садился за изучение русских летописей или читал какую-нибудь глубокомысленную книгу, например Бентама. Но книга скоро бросалась; кипучая молодость просилась наружу, и веселье брало верх над занятиями. Однако и оно его не удовлетворяло. За порывами разгульного веселья следовали минуты грусти; он скучал и почти каждый день приезжал ко мне и спрашивал со вздохом: какая цель жизни? Бедный Самарин так этой цели и не нашел. Он кидался во все стороны, привязывался к женщинам, но ненадолго, увлекался карточною игрою и проигрывался, наконец, в Крымскую кампанию вступил в военную службу, был во время Севастопольской осады адъютантом Хрулева и разделял с ним все опасности. После войны он опять шатался всюду, не зная, что с собою делать. Наши дружеские отношения сохранялись постоянно, он был у меня шафером на свадьбе, но вскоре потом скончался, оставив по себе добрую память во всех, кто знал его близко.

Я подружился и с следующим за ним братом Николаем, который был курсом моложе меня. Он был какой-то чудак, несколько нелюдим и никогда почти не присоединялся к нашей веселой компании, а больше сидел дома и занимался, в особенности русскою историею. Из этих занятий ничего не вышло, но мы часто проводили с ним вечера в разговорах и прениях. Что касается младших братьев, Петра и Димитрия, то они были еще на первом курсе, когда мы были на четвертом, а потому и они не принимали участия в увеселениях Майкова клуба. Я сошелся с ними ближе уже по выходе из университета.

Собирались у нас почти ежедневно после лекции и по вечерам. После лекций бывало угощение пирожками, которые отлично делал наш повар Мокей. Появлялось большое блюдо, которое немедленно пожиралось с свойственным молодости аппетитом. Вечером мы в компании распивали чай, пели, хохотали, слагали разные университетские песенки, иногда сочиняли домашний ужин. Выезжавшие в свет привозили оттуда всякие рассказы. В праздничные дни мы нередко всей гурьбой отправлялись ужинать в Троицкий трактир, где все половые нас коротко знали. Однажды на масленице мы у себя задали блины и пировали до ночи. В весеннее время мы точно так же гурьбою со-

вершали большие прогулки и загородные поездки, а зимою иногда устраивали охоты, в подмосковные к товарищам. Добычи было не много, но езда вереницею в большой компании, движение на воздухе, веселые обеды и ужины после проведенного на охоте утра, все это было полно прелести <...>

Наша веселая компания не мешала мне заниматься. При полной господствовавшей у нас бесцеремонности я всегда мог засесть за книгу. В это время я весь погрузился в изучение гегельянской философии, вследствие чего я между товарищами носил прозвище Гегеля. Сначала я принялся за философию истории, потом за историю философии, но скоро увидел, что без прилежного изучения логики настоящим образом ничего не поймешь. Я и просидел над нею несколько месяцев, не только тщательно ее изучая, но составляя из нее подробный конспект с целью выяснить себе весь последовательный ход мысли и внутреннюю связь отдельных понятий. Потом я точно так же засел за феноменологию и энциклопедию. С философиею Гегеля я познакомился основательно, после чего уже приступил к последовательному изучению других философов. Может быть, правильнее было бы поступить наоборот, начавши с древних мыслителей, с Платона и Аристотеля, которые гораздо доступнее неприготовленному уму. Но прямо начавши с последнего и труднейшего, я сразу понял, к чему клонится все историческое развитие человеческого мышления, и мог усвоить себе вопросы во всей их современной ширине. Я убежден, что этот труд был мне в высшей степени полезен; убежден также, что кто не прошел через этот искус, кто не усвоил себе вполне логики Гегеля, тот никогда не будет философом и даже не в состоянии вполне обнять и постигнуть философские вопросы. Разумеется, я совершенно увлекся новым миросозерцанием, раскрывавшим мне в удивительной гармонии верховные начала бытия. Только в более зрелые лета, при самостоятельной работе мысли, я увидел, в чем состоит его односторонность и каких оно требует поправок и дополнений.

В это же время развилась у меня и другая умственная страсть — увлечение политикой. Однажды ночью, когда мы спали глубоким сном, вдруг раздался у нашей двери сильный звонок; затем началась стукотня в низких окнах нашей квартиры, выходившей прямо на улицу. Мы к этой стукотне уже привыкли, нередко Голицын совершал такие ночные нападения, которые были нам вовсе не по вкусу.

Поэтому мы сначала и не обратили на нее внимания. Но стук упорно продолжался, и мы наконец отворили дверь. Голицын вошел и объявил, что во Франции произошла революция; король бежал и провозглашена республика. Я пришел в неистовый восторг, влез на стол, драпировался в простыню и начал кричать: «Vive la République!»* На следующий день весь университет знал уже об этой новости, студенты с волнением и любопытством сообщали ее друг другу. После обеда я полетел к Грановскому, который с своей стороны приветствовал это событие как новый шаг на пути свободы и равенства. Политика пронырливого Людовика-Филиппа, лишенная всякого нравственного смысла и всякого величия, до такой степени встречала мало сочувствия, что даже живший в Москве старый англичанин Эванс, тори по убеждениям, говорил мне: «Le ne suis pas pour les principes républicains, mais je suis très content que ce fourbe de Louis-Philippe soit parti et de même Monsieur Guizot, qui s'est laissé comlétement démoraliser par Louis-Philippe»**.

Увлечение было общее; все тогдашние либералы исполнены были веры в человечество и ожидали чего-то нового от внезапно призванных к политической жизни масс. Последовавшие затем события послужили для всех назидательным уроком; они воспитали политическую мысль, низведя ее из области идеалов к уровню действительности. И тут обнаружилось глубокое различие между теми, которые, внимательно следя за ходом истории, умели извлечь из него для себя новые поучения, и теми, которые были неспособны научиться чему бы то ни было. Между тем как Герцен, разочарованный во всех своих ожиданиях, увидев несостоятельность той демократии, которой он отдал всю свою душу, кидался в еще большую крайность, громил умеренно республиканское правление, водворившееся после июньских дней, и проповедовал самые анархические начала, Грановский, как истинный историк, воспользовался развертывающейся перед его глазами картиною, чтобы окончательно выработать в себе трезвый и правильный взгляд на политическое развитие народов, взгляд равно далекий и от радикальной нетерпимости, и от реакцион-

---

* Да здравствует Республика! (*франц.*)

** «Я не сторонник республиканских принципов, но я очень доволен, что этот коварный Луи-Филипп прогнан, точно так же, как и г. Гизо, который допустил себя совершенно деморализовать Луи-Филиппом» (*франц.*).

ных стремлений, проникнутый глубоким сочувствием к свободе, но понимающий необходимые условия для осуществления ее в человеческих обществах.

Я с жадностью предался чтению журналов. В «Débats», который мы получали и затем отсылали в деревню, печатались целиком все речи французских собраний. Я не пропускал из них ни единой строки, знал каждого депутата, следил за всеми подробностями событий и обо всяком новом явлении тотчас ездил толковать с Грановским. От него я брал и немецкие газеты, в которых печатались прения Франкфуртского сейма и Берлинского депутатского собрания[25]. Даже во время экзаменов я разрывался между повторением курса и чтением газет. В самый день экзамена, отправляясь в университет, я иногда не мог оторваться от какой-нибудь приковывающей мое внимание речи. Как двадцатилетний юноша, я, разумеется, сочувствовал крайнему направлению, а потому для меня громовым ударом были июньские дни, когда демократическая масса, в которую я верил, вдруг выступила без всякого повода и без всякого смысла, как разнузданная толпа, готовая ниспровергнуть те самые учреждения, которые были для нее созданы. Когда мятеж был укрощен и водворился Каваньяк, я сделался умеренным республиканцем и думал, что республика может утвердиться при этих условиях. Но выбор президента окончательно подорвал мою непосредственную веру в демократию. Я по-прежнему остался пылким приверженцем идей свободы и равенства; я продолжал видеть в демократии цель, к которой стремятся европейские общества: на эту цель указывало и все предыдущее развитие истории, и самые беспристрастные европейские публицисты. Но достижение этой цели представлялось мне уже в более или менее отдаленном будущем. Я перестал думать, что исторические начала могут осуществляться внезапными скачками, и пришел к убеждению, что европейская демократия должна пройти через многие испытания прежде, нежели достигнуть прочных учреждений. Впоследствии более зрелое размышление убедило меня, что будущее, представляемое демократиею, может быть только переходною ступенью в развитии человечества.

Разочаровавшись в жизненной силе демократии, я разочаровался и в теоретическом значении социализма. Несмотря на то, что Прудон, как сказано выше, весьма мало меня удовлетворял, я все еще верил в великое значение социалистических идей для поднятия благосостояния низ-

ших классов и для осуществления братства на земле. Явление социализма в 1848 году значительно поколебало эту веру. В особенности сильное впечатление произвело на меня чтение полемики между Прудоном и Бастиа[26]. Я не мог не признать, что знаменитый социалист был совершенно разбит в этом споре. Несмотря на всю свою изворотливость, он не мог отвертеться от ясных и твердых вопросов, которые ставил ему его противник. Он кидался во все стороны, отвечал вовсе не на то, о чем его спрашивали, но прямого ответа дать не мог. Я получил большое уважение к Бастиа, и это уважение еще возросло при чтении его «Экономических гармоний», которые возвратили меня к началу свободы, как истинному основанию экономических отношений в образованных обществах. Социализм в моем уме оставался еще каким-то смутным идеалом в отдаленном будущем, но и эти мечты рассеялись наконец в более зрелую пору, при внимательном изучении социалистических писателей. <...>

Политические увлечения, даже в чисто теоретической области, были, однако, в то время небезопасны. События 1848 года вызвали сильнейшую реакцию в ничем не повинной России, которая должна была расплачиваться за европейские смуты. Если и прежде образованному меньшинству трудно было дышать под правительственным гнетом, то теперь дышать стало уже совершенно невозможно. Строгости усилились; цензура сделалась неприступной; частные лица, подозреваемые в либерализме, подвергались бдительному надзору. И в Москве и в университете произошли знаменательные перемены. Честный и добрый генерал-губернатор, князь Щербатов, вышел в отставку; вместо него был прислан граф Закревский, который должен был укротить вовсе не думавшую бунтовать столицу.

Граф Закревский вошел в чины еще в царствование Александра I и в то время пользовался репутацией разумного, дельного и обходительного человека. Читая его переписку с графом Киселевым, напечатанную в жизнеописании последнего[27], невольно спрашиваешь себя: неужели это тот самый граф Закревский, который впоследствии был генерал-губернатором Москвы? С новым царствованием он преобразился согласно с новыми требованиями и в 1848 году явился в Москву настоящим типом николаевского генерала, олицетворением всей наглости грубой, невежественной и ничем не сдержанной власти. Он хотел, чтобы все перед ним трепетало, и если дворянству он оказы-

вал некоторое уважение, то с купцами он обращался совершенно как с лакеями. Когда нужны были пожертвования, он призывал, приказывал, и все должно было беспрекословно исполняться. После Крымской кампании купцы вздумали ознаменовать первый приезд в Москву нового государя огромным угощением войск в экзерциргаузе. Закревский приехал и, увидев стоявших тут жертвователей и распорядителей празднества, закричал на них: «А вы что тут делаете? вон!» Хозяева должны были немедленно удалиться. Одним из первых его действий по прибытии в Москву было то, что он какого-то ростовщика без всякого суда сослал в Колу. Он немедленно сменил полицеймейстера Беринга, который, однако, скоро сумел подладиться к весьма доступному лести начальнику, сделался у него домашним человеком, исполняя почти что должность дворецкого и, наконец, из смененного полицеймейстера превратился в пользовавшегося полным фавором обер-полицеймейстера и, наконец, губернатора. Закревский всюду видел злоумышленников; в особенности либералы были предметом зоркого наблюдения; шпионство было организовано в обширных размерах. Из недавно опубликованных официальных его донесений видно, что он против самых невинных лиц ставил отметку: «Готовый на все»[28].

Мирная Москва, привыкшая к патриархальным порядкам, видевшая долгое время во главе своей просвещенного вельможу александровских времен, князя Дмитрия Владимировича Голицына, и затем добродушного и благороднейшего князя Щербатова, была смущена этим неожиданным проявлением дикого произвола. Н. Ф. Павлов написал к Закревскому остроумные стихи, которые ходили по рукам

Ты не молод, не глуп, и ты не без души;
К чему же возбуждать и толки и волненья?
Зачем же роль играть турецкого паши
И объявлять Москву в осадном положеньи?
Ты нами править мог легко на старый лад,
Не тратя времени в бессмысленной работе;
Мы люди мирные, не строим баррикад
И верноподданно гнием в своем болоте.
Что же в нас нехорошо? К чему весь этот шум,
Все это страшное употребленье силы?
Без гвалта мог бы здесь твой деятельный ум
Бумагу истреблять и проливать чернила.

Павлов с тонкой иронией спрашивал его:

Какой же учредить ты думаешь закон?
Какие новые установить порядки?

Уж не мечтаешь ли, гордыней ослеплен,
Воров перевести и посягнуть на взятки?
За это не берись; остынет грозный пыл,
И сокрушится власть, подобно хрупкой стали;
Ведь это мозг костей, кровь наших русских жил,
Ведь это на груди мы матери сосали.
Но лишь за то скажу спасибо я теперь,
Что кучер Беринга не мчится своевольный
И не ревет уже, как разъяренный зверь,
По тихим улицам Москвы первопрестольной;
Что Беринг сам познал величия предел;
Закутанный в шинель, уж он с отвагой дикой
На дрожках не сидит, как некогда сидел,
Несомый бурею, на лодке Петр Великий[29]

Всего менее Закревский думал истреблять взятки. Как истинно русский практичный человек и чиновник, он сам был от этого не прочь. Тут все брали: и он, и жена, и дочь, и подчиненные. Нравственные примеры, явно подаваемые его домашними, были и того хуже; цинизм доходил до высочайшей степени. В Москве водворились необузданный произвол, взяточничество и грязь. Что могли породить подобные порядки, как не возбуждение во всех мыслящих и образованных людях вящей ненависти к правительству?[30]

Этот крутой поворот не мог не отразиться и на университете, который, как центр просвещения, сделался главным предметом подозрений. И здесь произошли коренные перемены. Граф Строганов вышел; недолго после него оставался и Уваров. Вышел и любимый наш инспектор Платон Степанович. На место Строганова поступил бывший при нем помощник попечителя, Дмитрий Павлович Голохвастов, а на место Нахимова толстый, пошлый и ограниченный Шпеер. Голохвастов был человек неглупый и честный, с основательным, хотя односторонним, образованием, но формалист и педант. При других условиях он мог быть недурным попечителем и со временем, при ближайшем знакомстве, приобрести любовь и уважение подчиненных. На его беду, он явился в университет представителем новых заведенных в нем порядков. Самая наружность его не внушала сочувствия. Он был чопорный, важный и нарядный и любил, чтобы все вокруг него было чинно, важно и нарядно. Мы с насмешливым любопытством глядели на торжественный его приезд в университет в карете цугом, с лакеем в ливрее на запятках по старому обычаю. Вся инспекция почтительно выбегала встречать начальника на крыльце; затем учинялось такое же торжественное шествие из профессорской в аудиторию: впереди шел солдат с пред-

назначенным для попечителя креслом, сзади толпилась опять вся инспекция, студенты чинно становились по сторонам, и между ними шествовал сам Дмитрий Павлович во всем своем накрахмаленном величии, с лентою и орденами, важно раскланиваясь во все стороны. Мы невольно сравнивали эту внушительную обстановку с скромным появлением графа Строганова, который, однако, пользовался не меньшим уважением. Иногда Голохвастов и на лекции, важно восседая в креслах, начинал заводить разные речи, желая блеснуть своими знаниями, но и это выходило у него невпопад, и мы только над ним смеялись.

В университете установился совершенно новый строй. Прежняя свобода исчезла. Студентам запрещено было ходить в кондитерские читать газеты. В стенах университета не позволено уже было ходить расстегнутым; на улице нельзя было показаться в фуражке: требовалось, чтобы студенты непременно были в треугольной шляпе и при шпаге. И все это соблюдалось с величайшей точностью; на всякую пуговицу обращалось внимание; придиркам не было конца. Однажды в весеннее время, уставши от приготовления к экзамену, я в сумерках взял фуражку и вышел пройтись по Тверскому бульвару, где в ту пору народу почти совсем не было. Завидев субинспектора издали, я повернул в боковую дорожку и вернулся домой; но субинспектор, заметив меня, тотчас последовал за мною на квартиру и сделал мне внушение, зачем я хожу по бульвару одетый не по форме. Так как наша квартира служила сборищем студентов, то за ней устроен был специальный надзор <...>

Один из наших людей был даже подкуплен полициею и должен был доносить обо всем, что мы говорили и что у нас происходило. Об этом по секрету сообщил брату часто бывавший у Корсаковых полицеймейстер Сечинский. Особенно весною 49 года во время довольно продолжительного пребывания в Москве царской фамилии, по случаю открытия нового дворца, строгости и формальности усилились до чрезмерности. Без сомнения, без некоторой дисциплины нельзя было обойтись, ибо сверху на это обращалось особенное внимание, но люди трусливые, боящиеся за свое положение, обыкновенно в этих случаях пересаливают. Наш толстяк инспектор с уморительными ужимками показывал нам в лицах, какой мы должны принимать почтительный вид при встрече с государем, как мы должны кланяться и становиться во фронт, что нам было вовсе необычно. От

студентов, выезжавших в свет, требовалось, чтобы они на балах в высочайшем присутствии были в чулках и башмаках, хотя в то время эта форма сохранялась только при дворе, и не было ни малейшей нужды облекать в нее университетскую молодежь; но Голохвастов строго держался старых правил. <...>

Какое впечатление производил на нас Голохвастов, можно видеть из сложившейся у нас тогда песенки, которая может служить образчиком тогдашних студенческих воззрений. Однажды после одного из торжественных явлений Голохвастова Алябьев сказал мне: «Недурно бы про него сложить песню в русском духе с следующим началом:

Ой ты гой еси, Дмитрий Павлович,
И ума у тебя нет синь-пороха,
И душенька в тебе распреподлая!»

Я немедленно за это принялся и описал его приезд в университет; Алябьев сделал некоторые поправки. Помню следующие стихи:

А как едешь ты, Дмитрий Павлович,
Во карете своей с четверней лихой,
На запятках, с слугой в галуне златом,
Уж навстречу к тебе на крыльцо бежит
Сам инспектор-толстяк, весь запыхавшись,
Весь запыхавшись, в поту взмокнувши,
И за ним во след стая подлая
Всех помощников и наушников,
Словно серая утка с утятами;
Принимают тебя все почтительно,
Нагибаются все пред начальником,
Пред начальником чина важного,
Пред действительным статским советником.
А идешь ли ты в аудиторию,
Пред тобой выступает солдат лихой,
Кресла тащит он деревянные,
Деревянные все, дубовые,
И идешь ты за ним словно птица-жар,
Разнаряженный, накрахмаленный,
В парике своем, с бакенбардами,
С бакенбардами, золотистыми,
И со вздутым хохлом и примазанным;
Шея стянута в пышном галстуке;
И звезда на груди светит ясная,
И кресты блестят, как жемчуг драгой,
И красуется лента алая,
Лента алая, что царь-батюшка,
Что царь светлый дал, очи ясные,
За поклон тебе, за солдатчину.

Нагибаешься ты на все стороны,
На все стороны свысока глядишь.
А как вступишь ты в аудиторию,
Сам профессор скорей лезет с кафедры,
И студенты все пред тобой встают;
И рассядешься ты в кресла мягкие,
Величаво глядишь из брыжжей своих,
Сосчитаешь сам ты студентов всех
И осмотришь их, все по форме ли,
И застегнуты ли на все пуговицы.
На все пуговицы с золотым орлом.
И ведешь ты речь с ними важную,
И высказываешь думы крепкие,
На смех им говоришь пошлы глупости
И срамишь себя ты торжественно.
Ой ты гой еси, Дмитрий Павлович,
Убирайся-ка ты поскорей от нас,
Поскорей бы тебя во сенат сослать
И советника дать тебе тайного;
Помолились бы мы все у Иверской
И поставили бы ей свечу толстую,
Свечу толстую, раззолочену;
Что избавила нас от тебя, скота,
От тебя скота, от безмозглого.

В таких-то довольно неприличных выражениях изливалось неудовольствие студентов на происшедшие в университете перемены, которых козлом отпущения был в наших глазах менее всего повинный в них попечитель. Наше желание исполнилось: Дмитрий Павлович недолго побыл в университете: он вышел, кажется, уже в 1849 году. Но от этого не только не сделалось лучше, а, напротив, сделалось гораздо хуже. Вместо него был назначен Назимов, которого единственная задача состояла в том, чтобы ввести в университете военную дисциплину. Комплект студентов, кроме медицинского факультета, был ограничен тремястами человек; философия, как опасная наука, была совершенно изгнана из преподавания, и попу Терновскому поручено было читать логику и психологию. Наконец в Крымскую войну введено было военное обучение: студентов ставили во фронт на университетском дворе и заставляли маршировать. Московскому университету, да и всему просвещению в России нанесен был удар, от которого они никогда не оправились. Высокое значение Московского университета в жизни русского общества утратилось навсегда.

К счастью, я всего этого не видал. Все это совершилось уже после моего выхода из университета. Но и заведенные при нас порядки были нам в тягость. Мы сравнивали их с прежнею вольною жизнью и не могли не возмущаться.

Мы тяготились и рутинным преподаванием последних лет. Нам надоело слушать Лешкова, Баршева и компанию. Ни одного живого слова не раздавалось с кафедры. Немудрено, что при таких условиях большинство студентов 4-го курса с нетерпением ожидало выхода. Брат мой как-то писал об этом в деревню; отец отвечал: «В какое грустное раздумье привели меня эти слова! Молодые эти люди, так нетерпеливо желающие оставить место, где должны сделать запас на всю жизнь, спросили ли они у себя, что вынесут из университета? Приобрели ли они хоть одно основательное знание, получилось ли какое-нибудь стремление, достойное образованного человека, развили ль в себе любовь к мысли, к просвещению? Очень немногие могут отвечать утвердительно на эти вопросы».

Эти слова, конечно, не могли относиться ко мне. Университет дал мне все, что он мог дать: он расширил мои умственные горизонты, ввел меня в новые, дотоле неведомые области знания, внушил мне пламенную любовь к науке, научил меня серьезному к ней отношению, раскрыл мне даже нравственное ее значение для души человека. Я в университете впервые услышал живое слово, возбуждающее ум и глубоко западающее в сердце; я видел в нем людей, которые остались для меня образцами возвышенности ума и нравственной чистоты. Отныне я мог уже работать самостоятельно, занимаясь на свободе тем, к чему влекло меня внутреннее призвание. Я не воображал себе, что мое образование кончено, а, напротив, только и думал о том, чтобы его пополнить. Но весь запас сил, с которым я готовился вступить на этот новый путь, я вынес из университета, а потому никогда не обращался и не обращаюсь к нему иначе, как с самым теплым и благодарным воспоминанием.

Наконец наступили последние экзамены. Они сошли так же благополучно, как и все прежние. Я и тут везде получил по 5. Но так как нас было трое, которые из всех кандидатских предметов получили полные баллы: Гладков, Лакиер и я, то нас в выпускном списке поставили в алфавитном порядке, так что я стоял третьим. К этому я был совершенно равнодушен, ибо всякие отличия всегда ставил ни во что. Брат мой также получил кандидатские баллы. Статское платье было уже давно заказано, и мы сняли мундиры с синим воротником с такою же почти радостью, с какою надели их четыре года назад. Мы не воображали, что с тем вместе мы прощаемся с лучшими годами своей

жизни, с годами юношеской беззаботности и юношеских увлечений, упоения мыслью, отважных мечтаний, веселого товарищества, с теми годами, когда в человеке уже развернулись все вложенные в него силы, когда перед ним раскрылась вся полнота бытия, а житейский опыт еще не коснулся его своим холодным дыханием и все мелкое, пошлое и черствое, с чем ему впоследствии приходится встречаться, не рассеяло еще тех радужных надежд, с которыми он вступает на жизненный путь.

Мы отпраздновали свой выход общим пиром; с Алябьевым мы вдвоем совершили большую прогулку и расстались навеки. Он высказывал предчувствие, что недолго проживет. Наконец, покончив все дела, мы с легким сердцем сели в тарантас и покатили в свой милый Караул[31]. Выехали за заставу, и скоро обаяние теплого летнего утра, мирный вид простирающихся вдаль полей, зеленых дубрав, колыхающихся по ветру нив, все эти знакомые и близкие сердцу впечатления заставили нас забыть и суету университетской жизни, и волнения экзаменов, и сердечное прощание с товарищами. Сельская тишина охватила нас своим благоуханием.

Я не могу без некоторого поэтического чувства вспомнить об этих прежних, долгих путешествиях по России, которые производили такое впечатление, как будто переносишься в совершенно новый мир. С железными дорогами все изменилось. Едешь несравненно скорей, с гораздо большими удобствами, но вся поэзия путешествия исчезла. А поэзия была, несмотря на грязь, на толчки, на ухабы, на зажоры, несмотря на пошлые станционные дома, на недостаток лошадей, несмотря на то, что приходилось иногда по шести дней тащиться чуть не шагом из деревни в Москву и по целым ночам ежеминутно пробуждаться от неудержимой дремоты, следствие невыносимого толкания то в один бок, то в другой. И природа, и воздух, все теряет свою прелесть, когда сидишь в запертом вагоне и видишь перед глазами ряд быстро сменяющихся картин. Живое, захватывающее действие окружающей природы ощущается, только когда едешь на лошадях в открытом экипаже. Тут только можно полной грудью вдохнуть в себя и благоухание свежего утра и неизъяснимое обаяние теплого летнего вечера, когда длинные тени ложатся кругом, и мало-помалу земля погружается во мрак. Какое, бывало, испытываешь живительное и радостное чувство, когда, проснувшись на заре, после проведенной в езде ночи, вдруг услы-

шишь пенье жаворонка высоко под небом и видишь облик солнца, выходящего из-за горизонта и озаряющего своими бледными еще лучами зеленеющую даль полей, густые рощи, покрытые соломой хижины! Освеженный недолгим сном, выпрыгнешь из экипажа, с неизъяснимым удовольствием напьешься на станции чаю и с новой бодростью едешь дальше. Какое удивительное впечатление производил серебристый звук колокольчика на вечерней заре, в безбрежной степи, позлащенной последними лучами заходящего солнца, когда синеющие дали начинают сливаться с небом, представляя вид бесконечности, и в природе водворяется какая-то торжественная тишина. Что-то ласкающее призывное слышится в этом звуке, и целый рой самых разнообразных чувств возникает в душе. Даже осеннее путешествие имело свою прелесть: едешь, бывало, в сумерки; ночь тихо спускается на землю; мрак становится все гуще, и душа погружается в какую-то смутную дремоту, перебирая в себе всякие неясные образы; а вдали мелькают огоньки, заманивая к себе, вызывая в воображении картины мирного сельского домашнего быта. Или зимою, когда, случалось, останешься переночевать на станции, чтобы переждать разгулявшуюся погоду: сидишь один в комнате, едва освещенной тусклым светом сальной свечи с нагоревшим на ней фитилем; на столе шумит самовар; среди ночного безмолвия слышны только мурлыканье кота и мерный стук стенных часов, да за перегородкой зычное храпенье станционного смотрителя. А на дворе вьюга так и злится; кажется, она хочет ворваться в окна. И в ожидании утра ляжешь спать на жесткий диван и заснешь таким крепким сном, каким никогда не спал на мягкой постели.

Все эти давно прошедшие впечатления невольно возникают во мне и сливаются в один поэтический образ с воспоминанием молодости, университетской жизни, о тех изменяющихся, но всегда живых и радостных чувствах, с которыми я переезжал из Москвы в деревню и из деревни в Москву. Всего этого давно уже нет; Россия вся преобразилась: явились иные условия, иная жизнь, иные люди. Сохранят ли нынешние юноши такую сердечную память о прошлом, какую сохранили в душе своей люди того времени?

14 Заказ № 858

Н. Ч. (Н. А. Чаев)

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ. ПРАЗДНОВАНИЕ СТОЛЕТИЯ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Странно, я старик, а до сих пор не утратилась у меня душевная связь с университетом: едешь по Моховой, взглянешь на здание, и сердце каждый раз дрогнет, забьется сильнее, перекликнется с прошлым, далеким, но незабвенным, дорогим временем. Приехав из Риги, где я служил, на столетие Московского университета, я озаботился, разумеется, прежде всего достать в оный билет на акт; прихожу в правление — желающих гибель; кто из Сибири, кто из Архангельска, кто из Одессы. «Билетов не дают»,— толкуют в толпе. «Как не дают?» — «Так,— говорят,— больше нет». Поднялся ропот; явился какой-то чиновник, мы к нему. «Помилуйте, мы приехали за тысячу верст, я за две...» — «Подождите, я узнаю»,— отвечает чиновник, идет в присутствие к ректору[1]. Мы в ожидании здороваемся со знакомыми, браним университетское невнимательное к нам начальство и т. д. В это время в правление входит Тимофей Николаевич Грановский. Мы поклонились. Он остановился, заговорил с нами, мы объявили ему, что не можем добиться билетов. Грановский пожал плечами и, уходя, обратился к нам со следующими словами: «Жаль, господа; но вы, вероятно, получите билеты; если же нет, то можете утешиться тем, что первые места будут заняты бригадными генералами и их адъютантами».

Билеты мы получили, но теснота была ужасная; не только мы, не знаменитости, но покойный И. С. Тургенев жался вместе с нами в дворянском мундире, в дверях библиотеки. В начале акта приезжает А. П. Ермолов; мы сжались, чтобы пропустить богатыря, раскланивавшегося и направо и налево в ответ на наши приветствия. Кто-то из нас протеснился к попечителю В. И. Назимову; тот сейчас же подошел и повел Алексея Петровича в первый ряд

кресел, где с большим трудом солдаты принесли и поставили для него кресло у самой кафедры. Говорят, уезжая, он сказал попечителю: «На второе столетие университета я не приеду».

Кстати, об университете,— сообщу здесь песню, певшуюся хором в сороковых и пятидесятых годах студентами: пели ее на известный всем голос: «Слава богу на небе, слава».

Вот она; начало не помню:

...А как будете, дети, студентами,
Не ломайте голов над моментами,
Будьте ближе, друзья, с ассистентами...
А как кончите курс эминентами[2],
Замените дипломы патентами,
Говорите всегда комплиментами,—
Наградят вас чинами и лентами,
Обошьют вам зады позументами.

После каждого стиха всем хором пели мы: «Слава»...

Ключевский В. О.

<МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ПИСЬМАХ И ЗАПИСКАХ>

П. П. Гвоздеву[1]

3 сентября 1861 г.

...Прямо с экзамена начнем. «Ваше превосходительство! — сказал я, пришедши к председателю экзаменационной комиссии Щуровскому, чтобы просить его допустить меня к августовским экзаменам.— В продолжение апреля и мая я был нездоров, на что и медиц[инское] свидетельство имеется; потому... и пр.».— «Да теперь поздно»,— отвечает Щ[уровский]; потом переворочал документы, прочел аттестат, с немалым усилием, как заметил я, разбирая слова ректора[2]; наконец, написал на прошении «25 авг<уста>»[3] и отдал, сказав: «Отнесите завтра, там (т. е. в университете) примут» ...Отдал я на другой день прошенье и 25 руб[лей] с[еребром] за первое полугодие и отправился к своим ненавистным алгебрам и геометриям. С 7-го числа начались экзамены, и пошли писать каждый день до 16 августа. Первый экзамен был письменный. Тема: «Мое воспитание». «Господа,— сказал профессор,— пишите прямо дело, без философских умствований и предисловий». «Господа,— продолжал Буслаев речь этого профессора,— обратите особенное внимание на правописание: одна орфографическая ошибка отнимает право на поступление в университет». Я, исполняя слова первого профессора, dixi*, что было на душе, и animam levavi**. Всему досталось, а особенно семинарии, и торжественно заключил свое сочинение сими словами: «Вечная память тебе, патриархальная, незабвенная школа! Ты больше поучала, чем учила!» После я опомнился и потрусил немножко за свою горячность, но все кончилось благополучно. Назавтра экзамен по русской словесности и закона божия.

---

* Сказал *(лат.)*.

** Душу облегчил *(лат.)*.

Приходит Сергиевский, солидный человек, с короткими волосами, с интересной бледностью лица, с ослепительно белыми воротничками рубашки и чудными большими ресницами, сообщающими какой-то девственный, очаровательный оттенок его мягкому взгляду, даже несколько ленивому. Движением руки он пригласил желающих подходить к столу; сам он не экзаменовал, предоставив это другому священнику из гимназии. Я стал отвечать из катехизиса о 9-м члене. Свящ[енник] спросил меня, сколько было вселен[ских] соборов, когда и по какому случаю был последний. Я сказал. Он взглянул на Сергиевского, произнесши «семинарист», тот кивнул головой — и дело кончено: «удовлетворительно»... Подхожу к столу словесности; здесь экзаменовал Соснецкий, учитель 3-й гимназии. «Вы Ключевский?» — спросил он, поворачиваясь ко мне своим полновесным брюхом. «Да».— «Ваше сочинение очень хорошо-с; очень хорошо-с; только вот здесь не совсем точно выражение. Не правда ли?» — продолжал он, прочитав неточное выражение. Я, разумеется, согласился: до возражений ли было мне; у меня горели глаза, глядя на очаровательную отметку, стоявшую под моим сочинением: «5». Я взял билет: досталось из истории русск[ой] сл[овесности] о Ломоносове. Я читал статью, кажется «Современника», о вновь изданных письмах Ломоносова, относящихся к его заграничному периоду жизни, когда он был в Марбурге[4]; верно, ты читал также. Поэтому об этом времени его жизни распространился особенно. Соснецкий мой то и дело твердил: «Хорошо-с, хорошо-с», когда я говорил о деятельности Л[омоносова] ученой литературной и т. д., и кончил тем, что сказал: «Другой билет — из теории словесности». Он был, как нарочно, об образцах отечественного эпоса. Опять пришлось говорить о Лом[оносове] с его «Петриадой»[5]. Перед экзаменом я достал лекции этого самого Соснецкого, и мне легко было отвечать на все его вопросы, которые он давал почти слово в слово по своим лекциям. «Вы отвечали очень хорошо,— сказал он в заключенье,— довольно-с».— «А из славянского — нужно?» — спросил я черт знает к чему. «Да Вы, вероятно, знаете его, ведь Вы семинарист? Довольно с Вас». Я пошел и возвеселился в сердце своем.

На другой день была история и география. Чувствуя, что только сумасшедшему может прийти в голову мысль готовиться к завтрашнему дню по трем книгам Вебера[6], я взял Берте[7], прочитал его от доски до доски, повторил все

цифры хронологические и все имена — весь этот исторический горох, так легко высыпающийся из головы при первом дуновении ветра, русскую историю не перечитывал, географию русскую и всеобщую и не мечтал перечитать,— и таким образом на др[угой] день отправился. И досталась же мне из географии самая чушь: о полит[ическом] состоянии Австралии. Я сказал кое-что, прибавив в заключение, что это такая вещь, о которой я мало знаю подробностей. «Возьмите еще билет»,— сказал плешивый экзаменатор. Я взял еще хуже: о племенах Российской империи; сказал, что знал, по крайней мере на половину вопросов ответил глубокомысленным молчанием и кончил тем, что спросил: «Сколько мне?» — «Удовлетворительно»,— отвечал тот, хотя не совсем на вопрос. Из истории дело шло гораздо лучше. Дело шло о Столетней войне Англии и Франции при доме Валюа в XIV и XV веках; из русск[ой] истории — об Ольге. Тут я был у себя дома, в своей тарелке. Экзаменовал солидный гимназ[ический] учитель: мы с ним болтали долго и кончили тем, что он сказал: «Довольно, хорошо», но сколько поставил, не знаю, ибо забыл спросить. Все его вопросы были очень просты и более или менее знакомы н а м, т. е. читавшим хоть что-нибудь историческое, кроме Берте, т. е. тебе, мне, как и другим из нашей среды. Хронологию нужно было определять приблизительно: половинами, четвертями века — и довольно; так определил я время царствования Людовика XI. Я был весел, но завтра математика и физика: мороз пробирает при одной мысли. Но нет трагедии в жизни без комического пятого действия. Я подошел к самому профессору математической мудрости и не раскаялся. Надобно сказать, что всех не поступающих на матем[атический] факультет экзаменовали особенно: доброе предзнаменование! Профессор посадил меня — как и всех экзаменовавшихся — подле себя на стулу, и я начал: разделал ему приведение дробей к одному знаменателю, умножение дробей, сказал, как вписать квадрат и шестиугольник в круге, прибавил, что десятиугольника не умею вписать и что из алгебры о формулах прогрессии не имам понятия; я врал — имел понятие, только когда-то, а теперь забыл... «Да Вы знаете, что-нибудь из алгебры?» — спросил он в полной уверенности, что я отвечу как следует, т. е. отрицательно. Но я отвечал, что знаю все, кроме прогрессий и логарифмов (т. е. все, кроме половины или еще менее). Он не удивился и дал решить уравнение; я решил и даже прибавил, что решение

вышло отрицательное, тонко намекнув этим, что задача была не совсем правильная. Этим кончилась математ[ическая] комедия. Из физики еще лучше: экзаменатор выслушал несвязную болтовню о камер-обскуре, попросил описать барометр, как знаю, и сказал: «Довольно». Муза! Воспой милосердие математиков-профессоров! О формулах физики не было и речи. Но зато как же прохватили нас — филологов — по классической древности, сиречь по латинскому и греческому языкам! Нас также отделили; экзаменовал сам Леонтьев и какой-то сердитый старик-учитель. Учителя вообще придирчивее профессоров. По-латыни был перевод на латинский; позволяли пользоваться грамматиками и спрашивать неизвестные слова. С латинского переводил я речь Цицерона против Катилины. «Что вы переводили?» — спросил меня старик. Я сказал что-то. «Да, впрочем,— ответил он.— Вы ведь на филологический фак[ультет], так должны все знать»,— и открыл Цицерона. Я перевел строк восемь довольно опрятно. Затем началась грамматическая пытка; все формы глаголов, имен и пр., какие он спрашивал. Я ему честь имел доносить; та же комедия, что и при Любомудрове. То же по-гречески: написали только не перевод, а диктант; пробрал меня один учитель по формам склонения и спряжения, разобрал я ему диктант; он был верен, только ударение одно я поставил не так; учитель доносит Леонтьеву, что этот господин знает формы отчетливо, только теорию ударений не совсем; я сижу у столика и думаю: «Каково? Из одной ошибки заключил. Ай да маэстро!» Сам Леонтьев изволил спросить меня об энклетических словах, а я изволил ему отвечать кое-что. Для других этот экзамен был гораздо слабее. По-немецки диктовка для нас — семинаристов — дело непривычное; но лексикон и, если найдутся, люди выручат; а перевод ничего не стоит, лишь имей лексикон в руках; перевод устный ничего тоже не стоит; вопросы не мудрые. А по-французски? О, французы — народ деликатный; они даже не заставляли писать под диктовку, а просто ограничились одним устным переводом, при котором не скупясь сказывают незнакомые слова. Вот и весь экзамен; теперь ты видишь, дело ли это...

В. В. Холмовскому[8]

27 сентября 1861 г.

...Ну, а теперь посмотри, как я поживаю. Прежде всего, вероятно, ты желал бы познакомиться с университетом!..

Чтобы показать тебе весь университет, выбираю пятницу, как такой день, когда выходят на сцену все замечательные личности. Так слушай, что я вижу и делаю в пятницу! В 9 часов я уже в университете, показываю сторожу свой билет, без чего не пустят, скидаю пальтишко, вешаю и бегу в аудиторию. Там шумно движутся толпы мундированных и немундированных стюдьянов и нестудьянов[9]. Человек с 200 в аудитории из разных факультетов. Все спешат на места. Входит на кафедру человек лет сорока — стриженый, здоровый. Начинает нюхать табак будто из-под руки, тишком, так забавно посматривая на слушателей. Вдруг как заголосит, так наивно, будто с возу упал. Он начинает говорить... ну хоть о том, как поживали славяне в давно минувшую пору, когда еще не было Рюриков и варяг[ов] между ними, какие предания, какие верования были у них, какие песни пели они и какие сказки о богах, героях и чудовищах сказывали славянки своим детям, качая их в колыбели, словом, говорит о том, как жили, думали наши прадеды в эту далекую эпоху. Народ и только народ с его метким, вещим словом, с его понятиями — вот что больше всего занимает его. Ты уже догадываешься, кто это. Это наш простодушный Буслаев, горячий любитель родной русской старины, русского народа и его слова,— говорю любитель, хотя он ужасный специалист, ужасный ученый, а ученые редко питают такую горячую, такую свежую, юношескую любовь к своему предмету. Возьмите любое его сочинение, каждая строка его говорит о его горячей любви к интересам нашего народа, равно как и о его глубоком знании этого народа. В одной песне, в маленькой пословице он укажет глубокий жизненный смысл, откроет верование и воззрение народа. Иногда он, видимо, одушевляется, читая о народной, любимой им жизни, как-то забавно ударяя на особенно сильные слова своей речи.

«То старина и то де́янье!
Нашим мо́лодцам на утешенье» и пр.—

так заключил он одну из своих лекций, объясняя, какой смысл имеет этот припев старинных наших сказок о Владимире Красном Солнышке. Пробил звонок, и Буслаев уходит. Открывается второе действие. Я быстро пробегаю записанную лекцию, разбирая странные каракули, которыми написал лекцию второпях. Предмет чтений Буслаева — «История древней русской словесности в связи с современным ей состоянием западных литератур того или другого века».

Входит Сергиевский, профессор богословия, редактор «Прав[ославного] обозрения»[10]. Как передать тебе его наружность? Он еще молодой, лет 35-ти, смугл и бледен, сколько можно быть бледным смуглому лицу. Черты лица его удивительно правильны. Глаза, с длинными ресницами, как-то особенно мягки. Волоса его очень коротки; он зачесывает их спереди назад почти без ряда, как у Горизонтова. Нарукавники, выбивающиеся из-под длинных и широких рукавов его рясы, поразительной белизны. Вообще он щеголь. Говорит он медленно, резко выговаривая язычные звуки. Голос у него твердый и как-то беззвучный. Начинает он как-то басом, тихо, потом оживляется, все становится громче и громче и переходит во что-то среднее между обыкновенным, что называется ни басом, ни тенором, и тем тонким голосом, которым говорит человек до 15—16-ти лет. Разумеется, в его лекциях не нужно искать варлаамовской[11] глубины; их нет у него. Зато он всегда умеет оживить их современным интересом, какой имеют для нас те или другие богословские истины. Лекции его знакомят нас не только с современной богословской, но и философской наукой, потому что он всегда ставит ту или другую истину богословскую глаз на глаз с философскими мнениями, не боясь, что окажется несостоятельным перед этими мнениями философских голов. Он смело вышел против Фейербаха, закоренелого современного материалиста, отвергающего бога, душу и все духовное, не побоялся изложить его учение и твердо отвечал на все его антирелигиозные положения. И ведь это делает священник-богослов! Да не по-евпсихиевски. Евпсихий выругает, и дело с концом. «Безумцы!» — сказал бы он об этих философах, не потрудившись даже узнать, в чем состоят эти безумства. Он знает смутно, что эти философы что-то против религии; ну и по морде их за это! Оттого-то так и живы лекции Сергиевского, что в них чувствуется нынешняя мысль, нынешний интерес, а не допотопные глубины Варлаама. Я бы хотел ближе познакомить тебя с его чтениями, не ограничиваясь общими и поверхностными заметками. Но подожди, время будет.

Но лекция кончилась. Небольшая кучка нас — историко-филологов — спешит из большой аудитории вниз в маленькую комнату. Класс и лекция из латинской стилистики, сиречь учение о лат[инском] слоге. Профессор по этому предмету немец Клин, почему и предмет его прозвали вместо стилистики клинистикой: тут, знаешь, все — и профес-

сор, и наука — заключены в одно слово. Входит седенький, беззубый старик и начинает «In proxima schola, carissimi, de nominativo diximus. Nunc pergamus...»* и пр. Такой неблагодарный немчура: лет 20 учит в Москве и не знает ни слова по-русски, по крайней мере не сказал еще ни слова; мелет себе по-латыни, выговаривая на немецкий лад «sibi»**, как «зиби», «juvenes»***—«юфенес», «neutrum****—«найтрум». Впрочем, я овладел совершенно его языком и понимаю теперь до слова его латинскую болтовню. Переводит он из немецкой книжонки с немецкого на латинский, обращаясь к каждому, кого хочет заставить переводить так: «Tu, carissime, perge!»***** Беда, кто не знает по-латыни или по-немецки: ничего не поймет, лучше уходи из аудитории <...> Но конец латинской болтовне. Звонок, и мы опять спешим в большую аудиторию, чтобы освежить голову от различных герундий на dum, творит[ельных] самостоятельных, винительных с неопред[еленным] или неопределенных с винит[ельным], освежить живой речью, которая сейчас польется с кафедры. Ждем новой живой головы, башки, как мы, бывало, говаривали, нового дельца мысли и науки. Вот наконец входит Ешевский, профессор всеобщей истории. Странное, неприятное впечатление производит его лицо в первый раз. Оно неправильно, нос как-то похож на чекушку или сморчок, цвет лица какой-то синеватый; он, по-видимому, очень слаб, худ, глаза бесцветны, вообще невзрачный! Ему лет 30 с небольшим. Но читает он прекрасно, т. е. содержание его чтений прекрасно, а выговор его не очень хорош. Он говорит тихо, слабым голосом, некоторые слова произносит с трудом. Но заслушаешься этого человека. Редко когда был я так поражен мыслью, словом другого, как после первой его лекции, где говорил он о значении древнего мира для нас, людей XIX века по р[ождеству] Х[ристову], об интересе, с которым обращаются к изучению этого давно минувшего, величавого классического мира самые практические люди нашего века, как Наполеон III или торговые североамериканцы. Какой, в самом деле, интерес могут, по-видимому, находить в этом отжившем мире современные практики, по уши погруженные в интересы кармана? А между тем это так. Ан-

* На последнем занятии, дражайшие, мы говорили о номинативе. Теперь устремимся... *(лат.)*

** Себе (*лат.*).

*** Юноша (*лат.*).

**** Средний род (*лат.*).

***** «Ты, дражайший, стремись!» *(лат.)*.

глийский банкир,— с именем банкира мы привыкли соединять мысль о сибарите и страшном эгоисте, который ничего не хочет знать, кроме кармана. Английский банкир Грот нашел же интерес в Древней Греции, когда отдал на изучение ее истории целых 30 лет своей жизни и написал 12 толстенных томов об ней[12], не из одного ли только гробокопательства делал он это, а, верно, находил живой современный интерес. Трудно передать тебе все содержание прочитанного Ешевским даже в общих чертах: содержание их очень богато. Он прочитал 8 лекций и еще не вышел из введения. И об нем я повторю то же, что о Сергиевском. Прочтем когда-нибудь вместе его лекции. Я составляю их особенно усердно. Но и Ешевский уходит. Уже 2 часа. Еще одна лекция Герца, который читает желающим историю и археологию искусства. Предмет совершенно новый! Приходило ли когда на ум разбирать, что это за стиль, по которому строены наши церкви, что это за византийский и готический стиль, а еще более романский? Герц выбрал на нынешний год читать историю византийского искусства. Сам он здоровенный красный человек лет 36—[3]8, с прекрасным перстнем на левой руке. Видно, что человек искусства...

Вот я вывел тебе некоторых корифеев не только университетской, но и всей русской науки. Буслаев, Ешевский, Сергиевский — разве не вся Россия знает их, как самых смелых бойцов науки и образования? Равных им можно по пальцам перечесть...

П. П. Гвоздеву

11 октября 1861 г.

...Ну, а теперь что? Не об университете ли? Мне тяжело говорить о той катастрофе, которую теперь переживает наш университет[13]. Ты, может, уже знаешь что-нибудь и освободишь меня от обязанности подробно описывать тебе все дело, к тому же это и не совсем удобно в письме, посылаемом по казенной почте. Скажу тебе только вот что: по случаю закрытия Петерб[ургского] университета за волнения на юрид[ическом] факультете у нас читали прокламацию, рьяную, раздражительную, в тоне «Aux armes, citoyens!* Она прислана была из Пет[ербур]га[14]. Читавшему отвечали шумными рукоплесканиями. Входит инспектор: в это время чтение еще продолжалось; инспектор подошел к читавшему (он был поляк и читал с высоты ка-

* «К оружию, граждане!» *(франц.)*.

федры, подняв вверх правую руку), взял его за руку и просил сойти. Но оратор продолжал читать, не удостоивая инспектора вниманием. Наконец он кончил и сошел при шуме рукоплесканий. Инспектор стал говорить о нарушении правила (чтобы не было ничего похожего на сходки, тем более возмутительные); ему отвечали оглушительным свистом, так что он не мог сказать слова. Дело сделано; аудитория опустела; все ушли в сад; начали составлять адрес к государю, чтобы отменить обязательность в платеже 50 р[ублей] и других стеснительных правил. Адрес был в таком тоне: «желаем», «желаем». Посуди, кто же согласится удовлетворить такому бесцеремонному желанию, кто удовлетворит ему из наших величественных регистраторов (понимаешь!). Стали подписываться под адрес[ом]. Между тем явился протест от многих студентов, что этот шум и свист для них чуждое дело и они не разделяли и не хотят разделять его. Значит, беспорядок — дело немногих мальчиков. На третий день по решению совета унив[ерситета] 1-й и 2-й курсы юрид[ического] фа[культета] были объявлены закрытыми на год. Вот как! Но дело разгоралось. Раз из саду целая толпа студентов двинулась к дверям унив[ерсите]та и с шумом и криками начали требовать инспектора, грозя иначе вломиться силою и отыскать его.

Сам можешь обсудить, какого это рода дело! Я отвернулся от него, как и многие, возмущенные его обстановкой. Явились партии в саду, явились демагоги, кричавшие о том, что их имена будут написаны золотыми буквами у потомства. Говорят, на совете С. М. Соловьев и Б. Н. Чичерин сильно восставали против этих беспорядков и величали крикунов школьниками. Некоторые студенты так горячо увлеклись, что кричали: «Пусть закроют наш университет!» Как легко сказать это! А думал ли кто, что все эти крики не стоили одного слова лекций Буслаева, или кого другого. Я приведу тебе слова речи Буслаева, которые остались у меня в памяти, речи, которой он объяснился с нами по поводу всех этих происшествий, и предоставляю тебе самому обсудить все это дело.

«М[илостивые] г[оспода]! Мне было бы тяжело продолжать мои лекции, не объяснившись с вами по поводу совершившихся событий, не сложив ту тяжесть, которая теперь лежит у меня на сердце. Слышатся возгласы о каких-то преобразованиях университета с его профессорами, которых обвиняют в том, что они замкнулись в своих науках и не хотят знать того, что делается вокруг них (это о сту-

дентах речь). Что сказать на это. Предваряю вас, г[оспода], что я решился высказаться откровенно. Всякое молчание ведет к недоразумению, а всякое недоразумение питает ложь. Итак, я откровенно объяснюсь с вами. Я сам вырос и физически, и нравственно в стенах этого университета, и сколько припомню, при мне не было между студентами и профессорами другой теснейшей связи, кроме научной, и еще доселе не знаю, может ли существовать какая-нибудь другая связь. Теперь, г[оспода], эта связь разорвана. Слышатся возгласы: быть или не быть профессорам! Что это? Что значат эти хлопотливые заботы о житейских, практических делах (намек на хлопоты об отменении платы и т. п.)? Все эти крики о житейских вещах и преобразованиях, г[оспода], еще хуже самих свистков, которыми студенты награждают непризнанного оратора (инспектора). Они разрушают самовольно связь с наукой, отодвигают ее на второй план, разрушают прямые, самые дорогие отношения между представителями ее и слушателями. Быть или не быть профессорам? Это значит: быть или не быть университетскому образованию! Я никого не хочу ни обвинять, ни оправдывать, но позволяю себе видеть во всем этом не что иное, как глубокое оскорбление преподавателям, которые по мере сил своих посвятили себя на дело вашего образования, а в лице их и глубокое оскорбление мирной науке!» Он говорил горячо, изменялся в лице: то бледнел, то оживлялся как-то особенно. К сожалению, люди, о которых он говорил, т. е. ажитаторы волнения, не слышали его: они были в саду, на совещаниях. Обсуди это дело, и ты согласишься со мной, что это не более, как вопрос дня — question du jour,— отличающийся сильным мальчишеством. Испортили сначала дело, а потом принялись за адрес. Вот почему я отвернулся от него. Адрес, кажется, падет, потому что приверженцы его разделяются на партии. О конце сообщу в свое время. Еще оговорка: я слабо и без связи передал тебе речь Буслаева: 1) потому что она сама по себе была темна, 2) что я писал на память.

Но — да мимо идет от нас чаша сия! «Отче! — нужно бы сказать непризнанным демагогам.— Отче! Отпустим им, не ведят бо, что творят!» Говорят, скоро откроют закрытые курсы, хоть закрытие объявлено было на целый год. Поговорим лучше о мирной, никогда не падающей, вечно пребывающей науке. Вчера я был у Буслаева. Как радушно принимает он всякого, кто приходит к нему за наукой.

Я пробыл у него часа с три, сидя за Гриммом, именно за его «Geschichte der deutschen Sprache»[15]. Буслаев отметил мне несколько глав, сказав: «Прочтете это — там я укажу Вам другое. Но говорю наперед, что Гримма читать нелегко!» И правда, есть на чем поломать голову. За его анализом так трудно следить, что приходится несколько раз перечитывать фразу. Но зато и стоит: подчас вслед за сухим филологическим разбором следует у него поэтическая тирада, воссоздающая ту или иную сторону древней жизни народа. Я прочитал вчера о различных эпохах развития первобытного народа: каменной, медной и железной и соединенном со второй из них на быте пастушеском. «Я бы рад был,— сказал мне Буслаев при прощанье, крепко таки пожимая мою руку,— если бы плодом всех моих лекций было прочтение одной этой книги! Еще привыкнете, вчитаетесь — и тогда будет легче!»...

П. П. Гвоздеву

27 октября 1861

...Спешу передать тебе последние университетские события... Я немного соврал в последнем своем письме, сказав, что все наши дела не больше как вопрос дня. Судьба разыграла из университета порядочную драму с трагическим оттенком... Но не знаю, что выйдет из этой драмы; боюсь, как бы не кончилось, подобно всему трагическому на свете, комедией... Я намекнул тебе в прошлом письме, что в университетском обществе образовались партии с различными направлениями и что адрес падает вследствие недостатка единодушия и умеренности в действии. Как нарочно, в тот же день, когда я послал тебе письмо, случилась катастрофа, притча, объединившая всех студентов и заставившая замолкнуть разноречивые толки. В ночь с 11 на 12 октября схвачены были полицией несколько студентов по неизвестным причинам. Студенты решили требовать у попечителя[16] объяснения. Здесь крикуны нашумели, и попечитель отказался говорить. К несчастью, никакое дело не обходится без этих запечных певунов. Что оставалось делать? Толпой отправились до 500 студентов к генерал-губернатору[17] под предводительством выбранных депутатов, чтобы спросить о причине ареста товарищей. Толпа эта двинулась из саду. Мы оставались в университете, и вскоре заперт был жандармами выход из него. Это спасло нас от многих бед. Надо сказать тебе, что еще с 11-го числа, когда по случаю шума приглашен был обер-полицмейстер[18], но

студенты торжественным «браво!» проводили его со двора, так еще с 11-го перед университетом зевала густая толпа и стояло множество разнообразных экипажей... Толпу провожала до самого дома полиция в лице нескольких жандармов. У дома произошли беспорядки, полиция не пускала, студенты теснились — искорка вспыхнула, и пожар разлился. По сигналу студентов оцепили и начали хватать. Некоторые бросились бежать; жандармы за ними; произошла свалка; несколько часов по Тверской и Никитской не было прохода. Жандармы не церемонились, с обнаженными палашами мчались за каждым, носившим какие-нибудь признаки студента, т. е. мундир, очки, книги и пр[очее]. При малейшем сопротивлении жандармы начинали употреблять военные приемы; многие студенты пострадали от их палашей и лошадей <...> Чернь в лице лавочников, предупрежденная полицией (так говорят), что студенты хотят зарезать губернатора и что они думают вместе с помещиками отнять у крестьян волю, злобно бросались на студентов и выдавали полиции. Мы узнали об этом от некоторых мучеников, вырвавшихся из жандармских когтей и прибежавших в университет в растрепанном виде... <...> ожесточение полиции было таково, что один жандарм оказался задавленным лошадью другого; хватали без разбора, даже попался один субинспектор <...> принятый за студента. Так же и другие совершенно сторонние. К вечеру до 320 челов[ек] набралось в части. Студенты хотели идти все и требовать, чтобы и их взяли <...> но им отказали по неимению места, вероятно. Что делать? Собрался совет; на другой день он объявил (т. е. совет профессоров и пр[очих]) 2 пункта: [1)] что он изберет депутата из числа профессоров для исследования дела и 2) чтобы студенты прекратили сходки (по правилам они запрещены, но происходили свободно, на крыльце и перед дверьми университета, не только в саду <...>) Перед частью на площади до поздней ночи происходили в густой толпе москвичей толки о случившемся. Чем же кончилось? А пока еще вот в каком положении дела: говорят, дворянство протестует, как против насилия; студенты решили перестать на несколько времени ходить на лекции, чтобы, с одной ст[ороны], скорее кончить дело, а с второй — дать знать, кому следует, что студенты не безопасны даже в стенах университета. И теперь мы дома, и почти можно сказать, что Моск[овский] университет закрыт наполовину студентами же, а не силою, разумеется, на несколько дней.

(27—29 сент[ября]) <...> Слышно, Казанский университет закрыт; в Петербургском дела еще серьезнее, и хватают шире; в Киеве также, слышно, не читают лекций. Сколько университетов остается затем? Но Московский не закроют, разве студенты выйдут сами, но этого быть не может: Буслаев, Соловьев, Ешевский... Есть, за что подержаться. Где найдешь подобных? Но не знаю, что будет полиция: а надо бы дать ей заметить, что университетская молодежь — не толпа. Императ[ор] на днях, возвращаясь с юга, только два часа был в Москве; говорят, предоставил вести дело губерн[атору] Тучкову <...> Что выйдет из всего, еще никто не знает.

Подождем, подождем, а между тем не верь тому, кто скажет тебе в доказательство того, что и студенты дрались с жандармами, что на площади-де поднято 3 кинжала и 58 палок, как напечатано в «Московск[их] полиц[ейских] ведомостях». Я слышал, что кинжалы эти куплены полицией же в магазине и объявлены за студенческие, а с палками ходит большая часть студентов (я также не в исключении из этого правила). Но некоторые дрались, защищались, правильнее выражаясь, и это ничего не доказывает...

...Я не написал тебе об одном профессоре, бывало не выходившем у меня из головы,— это Соловьев. Он не читает у нас на 1-м курсе, так как у нас нет в программе первого года русской истории; она начинается со второго. Соловьев читает на 3-м и 4-м курсах. Я слушал его раз и заслушался. Он читает чрезвычайно медленно, так что можно записывать до слова. Лекции его как-то особенно выработаны, хотя он читает экспромтом. За живое задевает его здоровая, критическая мысль, подчас не чуждая самой трезвой поэзии. Я слушал его чтение о заселении славянами Северо-Восточной равнины и влиянии ее на быт славян сравнительно с германскими народами. Я переписал эту лекцию на почтовой бумаге и как-нибудь перешлю ее тебе, потому что лень переписывать. Сам он довольно толстый, красный, уже пожилой человек, с золотыми очками на носу. Больше пока не знаю, что написать об нем...

П. П. Гвоздеву

9 декабря [1861 г.]

<...> Сегодня на юр[идическом] фак[ультете] освистали Чичерина. История вышла <...>[19].

П. П. Гвоздеву

27 января 1862 г.

<...> У нас наконец читает Юркевич. Перетащили-таки его из Киева, к досаде Киевской академии. Ведь он <...> был ее украшением. У нас он читает на филологич[еском] фак[ультете] на 2-м и 3-м курсах, но к нему сходится множество других студентов. Предмет его чтений, как ты, может, знаешь уже, история философии <...>

...Прежде всего о внешней обстановке и о личности Юркевича. На лекции Юркевича каждый раз ходят не одни студенты, но и другие интересующиеся этим: попечитель нашего университета генерал (единственный представитель воинства у нас), ректор Альфонский, Сергиевский, сотрудник его журнала свящ[енник] Преображенский и другие профессора. Сергиевский даже бросает свою лекцию во вторник, потому что она совпадает с лекцией Юркевича. Представь же себе. Аудитория переполнена студентами и стульями для «высоких» посетителей. Вот расступаются толпы (плохо живописую, что делать), является блестящая свита под командой военного мундира, а на кафедру всходит маленький человек, смуглый, вовсе не с маленьким лицом, замечательно широким и выдающимся ртом, лет 35-ти, в густых синих очках, с перчаткой коричневого цвета на левой руке, раскланивается так медленно и, не садясь, стоя, начинает говорить экспромтом с сильным хохлацким акцентом. А напротив него как раз уселись будто нарочно Чичерин и Сергиевский — эти два великие софиста нашей науки. Им только и сидеть рядом, как двум родным братцам <...>

Я не записываю за Юркевичем, да и невозможно. До записывания ли, когда неудержимо, нескончаемой нитью тянется мысль и едва успеваешь следить за ее развитием. Да и не нужно. После каждой лекции в голове остается такое ясное представление о всем прочитанном, что стоит только употребить небольшое внимание, чтобы после быть в состоянии повторить весь ряд мыслей. Так ясно, диалектически последовательно изложение Юркевича. Признаюсь, я не ждал этого, судя о Юркевиче по его статье, перепечатанной в «Русск[ом] вестн[ике]» из киевского издания, статье, подавшей повод к курьезной полемике в «Современнике». Не читал ли отзыв о ней Чернышевского в «Современнике»? ...[20]

П. П. Гвоздеву

17 марта 1862 г.

...Для университетов вышли неофициально новые правила и обсуждаются советами университетов. Бусл[аев] уверяет, что они не пройдут. Представь карцер! А? Профессора восстали на правило, запрещающее студентам выражать знаки одобрения или порицания профессорам, т. е. свист и аплодисменты. Плата со студентов падает окончательно...

И. В. Европейцеву[21]

20 декабря 1863 г.

...Сообщаю Вам новость из нашего университетского мира: Соловьев начал читать публичные лекции по Европе после Наполеоновской империи. Доселе прочитал он до того времени, как Наполеон стал первым консулом. Его характеристика Наполеона не лишена некоторых оригинальных черт. Он смотрит на него как на богатыря, вызванного бурями революции. Он, говорит Соловьев, преемник Франции, так как родился на Корсике<...> Такой человек-богатырь сознавал бессилие своей энергии против цивилизации Европы; он смешной санкюлот (по-нашему, голоштанный). А племянник[22] лезет на переделку мира! Нас, филологов двух последних курсов, Соловьев пускает даром! Как ясно и просто излагает он, можно видеть из того, что на прошлую лекцию я проводил одну знакомую, не знавшую истории прошлого столетия, знавшую только самые общеизвестные факты о Наполеоне, и по окончании она сказала мне, что все понятно ей и она все запомнила из читанного. <...>

П. П. Гвоздеву

9 февраля 1867 г.

...Пишу тебе неожиданно по поводу дела, которого ты, конечно, предвидеть не мог. Пишу с стесненным сердцем, с тяжестью на душе, какую я испытывал только в самые тяжелые минуты жизни. Забудь на время все свои текущие интересы, очисть душу от ежедневных впечатлений, сделай ее белым листом, и тогда почувствуешь, сознаешь весь истинный смысл того, что я имею передать тебе. Перенесись мыслью в наш университет, припомни кое-что из говоренного тебе мною и внемли: Сол[овьев], Чич[ерин], Дмитр[иев], Кап[устин], Рачин[ский] и Баб[ст][23] подают в отставку, вследствие гадостей, сделанных им большинством совета, и — и — одобрения этих гадостей министром[24].

Во главе этого гадкого большинства стоят ректор, Леонтьев, Юркевич и Любимов; это самые крупные подлецы. Затем о значении этого события суди на следующих основаниях. Большинство выходящих принадлежит юрид[ическому] факультету, и после них смотри, кто остается на этом и без того бедном профессорами факультете старейшего русского университета: дура ректор, совершенно тупой Никольский (проф[ессор] гражданского права), меньше чем недалекий Беляев, да ни рыба ни мясо Мильгаузен (проф[ессор] финанс[ового] права). Филологич[еский] факультет — да нужно ли говорить, кого лишается филологический факультет? Проф[ессор] ботаники Рач[инский] — также один из самых любимых студентами. Я не передаю тебе подробностей: тяжело написать и то, что ты читаешь теперь на этом листке. Напишу — не замедлю. Дело, вероятно, получит еще развитие <...>

П. П. Гвоздеву

16 февраля 1867 г.

...Увольнение шести профессоров подняло шум в некоторых, даже во многих московских сферах. Баршева ругают,— а стоит ли? Вот Леонтьева с Юркевичем надо бы пробрать: ведь они — эссенция-то. Прочти, если попадется, передовую статью в «Москов[ских] ведом[остях]» 11 февр[аля][25]; зная дело, ты поймешь заднюю мысль и намеки; что за подлость! От них самих — пока ничего. Сегодня — четверг; надеюсь узнать кое-что у Сол[овьева] любопытного; тебе сообщу в таком случае. Оптимисты надеются, что все уладится и шестеро воротятся; судя по их сдержанной твердости, по решительному и спокойному тону,— едва ли. Я этому мало верю, может быть, что сильно желаю этого <...>

Худяков И. А.

ЗАПИСКИ КАРАКОЗОВЦА

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (1859—1860 ГОД)

Дома я уговорил своего отца отправить меня в Москву, где я надеялся найти побольше науки. В Казани В. Григорович дал мне рекомендательное письмо к Ф. И. Буслаеву, одному из лучших профессоров словесного факультета в Москве. Филологический и юридический факультеты Московского университета того времени вообще походили на умственную управу благочиния... (Я не говорю этого о математическом и медицинском факультетах, где были, например, такие профессора, как Богданов и Захарьин, которые сделали бы честь любому европейскому факультету.)

Почти все профессора излагали свой предмет с консервативной точки зрения. Преподаватель немецкого языка Геринг... вместо лекций немецкой литературы рассказывал только анекдоты вроде того, что был в Москве один «скрега», который никогда не носил белья и всегда нюхал табак из чужой табакерки, затем высушивал носовые платки, выжимал из них остатки и таким образом приобретал свой собственный табак.

Профессор греческого языка Пеховский открывал свои вступительные лекции словами: «Господа! Прошу вас заниматься серьезно, а иначе я на экзамене буду единицы ставить!» Заслуженный профессор того же языка Меншиков посвятил свою жизнь сочинению *греческих* стихов в честь коронации и прочих императорских праздников. Н. С. Тихонравов хотя читал и лучше других, но иногда в продолжение полугода прочитывал не более двух-трех лекций. Соловьев читал с заметным талантом, но излагал предмет с чиновническо-централизаторской точки зрения и лично был совершенно недоступен для студентов. Да и вообще все профессора занимали более или менее неприступ-

ные позиции по отношению к студентам. Но, что еще хуже, некоторые профессора, как, например, Леонтьев (известный «близнец», издававший в то же время вместе с Катковым «Русский вестник», а впоследствии и «Московские ведомости»), принимали к себе только тех студентов, которые шпионили им на своих товарищей и даже на остальных профессоров. Такие влиятельные профессора всеми силами старались садить своих наушников на университетские кафедры. Нечего и говорить, как старалась о распространении шпионства университетская полиция.

Между тем умственное движение не действовало на студентов со стороны так успешно, как это было в Казани. Студенты не имели еще ни своей кассы, ни своей читальни и не отличались гражданскою развитостью.

Так как я приехал в Москву уже с известною специальною целью, то на меня не могла особенно убийственно подействовать такая обстановка. Во мне укрепилась только мысль — собственными силами познакомиться с наукой. Еще в Казани я задумал составить свою собственную библиотеку и с большими пожертвованиями откладывал деньги на покупку книг; в Москве эти усилия увеличивались еще больше. Впрочем, значительная часть книг тотчас бралась товарищами для прочтения, увозилась по разным городам, иногда попадала на толкучку и редко когда возвращалась.

Вскоре после начала лекции случилась история, которая чуть было не закрыла для меня двери университета. Виновником ее был тот же профессор латинского языка П. М. Леонтьев, маленькая горбатая фигура с злобными глазами, с большими красными пальцами, движение которых помогало его словоизвержению. В старину, когда Леонтьев издавал «Пропилеи», он считался хорошим профессором; но в то время он уже предался «Русскому вестнику» и совершенно неглижировал* лекциями. Он опаздывал на свои чтения с замечательною правильностью всегда на полчаса и постоянно задерживая студентов получасом долее, так что они должны были пропускать лекцию следующего профессора. Такое пренебрежение к слушателям производило весьма неприятное впечатление на тех студентов, которые уже были в Казанском университете, а таких, кроме меня, было несколько. Поэтому мы часто подговаривали своих товарищей по первому курсу совершенно уходить с лекций, если Леонтьев запоздает четверть часа.

* Пренебрегал (*франц.*).

Но всякий раз, когда предпринималась такая демонстрация, один или два из недавних гимназистов или маменькиных сынков оставались, желая подслужиться профессору ввиду будущих экзаменов. Леонтьев же совершенно довольствовался двумя студентами, как будто и не замечая отсутствия остальных. Кроме того, занятый «Русским вестником», он приезжал на лекции без подготовки и нередко делал непростительные промахи.

Сверх того чтениям своим он придавал совершенно школьный характер; среди чтения делал слушателям вопросы, на которые весьма легко было отвечать, кто только имеет перед глазами грамматику Цумпфта[1]; но обыкновенно отвечали только двое или трое одних и тех же новичков. Случалось иногда, что они затруднялись в ответе, тогда Леонтьев обращался с выговором ко всей аудитории: «Господа! За это во втором классе гимназии ставят на колени. Господа! Ваша деятельность равна нулю. Вот мальчишки на дворе; те играют в снежки, те больше дела делают... Вот двери-с, те больше дела делают. А вы, вы все равно, что стены-с»...

Слушатели наконец вышли из терпения и заявили стороной одному из адъютантов Леонтьева, что если на следующей лекции Леонтьев не извинится перед курсом, то слушатели будут затрудняться посещать его лекции. Однако на следующей лекции Леонтьев заявил только, что и на будущее время он намерен так же поступать.

Студенты желали действовать самым законным образом и, справившись со студенческими правилами, нашли там параграф, в котором значилось, что «студенты в случае своих законных требований должны обращаться не словесно, а письменно к декану, от декана к ректору, а от ректора к попечителю». На основании этого студент Хрущов составил просьбу, в которой излагалось, что профессор Леонтьев на таких-то лекциях употреблял такие-то выражения, которые нижеподписавшиеся считают оскорбительными и для себя, и для всего университета, почему и просят напомнить профессору о правилах вежливости. Просьба была прочитана посреди курса и одобрена почти единогласно; однако когда дошло дело до подписей, то подписались только шестеро: Гудим, Шатилов, Хрущов, Киреев, Пасхалов и я. Остальные товарищи под разными предлогами отказались. Большинство боялось будущего экзамена; некоторые же вели себя двулично: с одной стороны, заверяли товарищей, что они им вполне сочувствуют и рады

бы подписать протест обеими руками, но дядя, тетка и другие неожиданные препятствия ставят их в совершенную невозможность; с другой стороны, ходили к Леонтьеву и ректору, где заявляли, что весь курс весьма доволен Леонтьевым, не имеет ничего общего с недовольными и бунтовщиками и крайне на них негодует. Однако, несмотря на то, что подписей было мало, Хрущов и Шатилов все-таки решились подать просьбу декану. Деканом в то время был С. М. Соловьев. Извещенный уже заранее полицией, он, прочитав просьбу, сказал депутатам:

— Господа, тут меньшинство; я не могу принять просьбы.

— Но,— возразили ему,— если бы Леонтьев засек хотя и одного студента, вы должны же были бы принять его жалобу, произвести следствие и сделать постановление в факультете!

Соловьев сконфузился и покраснел, но отвечал по-прежнему:

— Нет, господа; одним словом, дело в моей инстанции кончено.

После неудачи у декана депутаты обратились к ректору. Ректор, старик Альфонский, тоже не принял просьбы, но объявил, что на словах сделает замечание, и просил студентов успокоиться. Это известие, переданное депутатами, действительно успокоило курс, но дня через три вдруг неизвестно откуда распространилась молва, что трое из шестерых: Пасхалов, Киреев и я — выключены из университета (Хрущова боялись трогать, как родственника московского генерал-губернатора, а Гудим и Шатилов были сторонними слушателями). Мы бросились узнавать к секретарю совета.

— Мы выключены?

— Выключены.

— Кто же нас выключил и за что?

— Я не знаю,— отвечал секретарь.— Вас выключил попечитель.

Мы к попечителю.

— Нас выключили?

— Выключили.

— За что же?

— Не знаю. Это вас выключил ректор; он — хозяин в университете.

Мы к ректору.

— Нас выключили?

— Выключили,— отвечает ректор, обратив к нам вместе с физиономией все туловище: шея у него отличалась особенною неповоротливостью.

— Кто же нас выключил и за что?

— Это вас выключил попечитель, а за что...— и тут ректор понюхал табаку,— за то, что вы не успели еще поступить в университет, а уже стали в нем распоряжаться...

Затем ректор слегка поклонился, давая этим знать, что он нас не держит.

Весть об этом сильно взволновала товарищей. Все действовали путем законным в таком законном деле, как вежливость (вопрос, который стыдно было поднимать в половине XIX века в том университете, где еще так недавно был Грановский). И что же вышло? Не произвели ни следствия, ни суда и сделали вопиющую несправедливость трем беззащитным юношам.

А стало быть, действуя законно, не отыщешь справедливости; следовательно, надо добиваться ее помимо закона — вот умозаключение, к которому пришли наиболее решительные студенты, так что администрация своими незаконными действиями сама ставит своих подданных на революционную дорогу.

На первую затем лекцию Леонтьева собралась значительная толпа студентов с тем, чтобы освистать профессора и заставить его выйти из университета. И действительно, когда Леонтьев кончил свою лекцию, раздались явственные, хотя и не оглушительные, свистки. Новое это было впечатление для Павла Михайловича; задрожал он и, злобно-злобно оглядываясь, стал, покачивая своим горбом, выходить из аудитории. Но в эту решительную минуту один из студентов, желавший получить стипендию и покровительство Леонтьева, встал со своего места и сказал громко:

— Помилуйте, господа, за что же?

Леонтьев в это время уже подходил к дверям, но, видя, что у него есть партия, возвратился на кафедру и сказал:

— Господа, нечленораздельные звуки недостойны человека; если вам угодно со мной говорить, то я с большим удовольствием.

Нос и губы его посинели, все черты лица были полны сдержанной, но смертельно желчной злобы...

Никто из студентов не решился первый начать объяснения; каждый понимал, что тогда его выключат как зачин-

щика; вся толпа должна была бы усилить свои свистки с настойчивостью членов английского парламента, но она оробела и не нашлась. Через минуту Леонтьев вышел из аудитории победителем.

Свистки были уже поступком беззаконным, а потому немедленно было произведено полицейское дознание. По докладу полиции были выключены еще двое: Шатилов и Мосолов. (Впоследствии оба были сосланы в Красноярск по делу тайного общества «Земля и воля»[2].)

Впрочем, на этот раз шпионы аттестовали меня хорошо, и меня одного через год снова зачислили в университет. Студенты, однако, решились отвечать Леонтьеву. Они налитографировали свой отчет и разослали по профессорам университета и по московским властям. На следующей лекции Леонтьев говорил об этом ответе студентам:

— Господа, я лучше кого-нибудь знаю все доказательства в пользу теории: laissez faire, laissez passer*, но, господа, она неприложима. Свобода учения и преподавания невозможна. Я убежден, господа, что вас нужно водить на помочах (уж почему не качать в люльке?).

Только очень немногие возражали ему, главным образом потому, что недовольные перестали посещать его лекции.

В остальное время этого академического года не происходило никаких историй...

СТУДЕНЧЕСКИЕ ИСТОРИИ КОНЦА 1861 Г.

Литографированный ответ Леонтьеву, кажется, первый подал студентам Московского университета мысль заняться делом тайного книгопечатания. Аргиропуло и некоторые другие с жаром занялись литографированием, распространением запрещенных сочинений[3]. Появление их произвело в Москве большой шум, тем не менее студенты в то время еще не боялись тайной полиции, открыто возили свои книги на извозчиках, а в маленьких студенческих комнатах склады литографированных книг возвышались почти до потолка.

Но это счастливое время продолжалось не более года: вскоре последовал донос...[4]

На основании доноса граф Строганов доложил императору, что студенты Московского университета распростра-

* Предоставьте свободу *(франц.)*.

няют книги, опасные для алтарей и тронов, а потому и было предписано разыскать зачинщиков, и той же весной 1861 года были составлены новые университетские правила, самые стеснительные для студентов[5]. У входа в университет были поставлены сторожа, которые пропускали в него только тех, у которых был особый билет на вход; курение табаку было запрещено; факультеты были отделены друг от друга военными кордонами; запрещено литографирование профессорских лекций; студенты не имели более права делать сходки и иметь свою библиотеку; наконец, все были обязаны платить за право слушания пятьдесят рублей в год — сумма очень большая для бедных студентов, которые, собственно, только одни и занимались чем-нибудь в университете.

Многие были так бедны, что, несмотря на то, что имели уроки, никогда не видывали в своих руках более семи рублей серебром в месяц и каждый вечер сидели без свеч.

Многие из бедняков, не знавшие новых правил, приехали в столицу, но не имели средств внести пятьдесят рублей и должны были ретироваться с уроном. Трудно было выдумать правила, более враждебные образованию. Понятно, что они возбудили общее негодование студентов и образованной части общества; из профессоров, впрочем, никто не решался открыто выступить за студентов.

Студент Славутинский, живший со мной на квартире, подал мысль остальным товарищам сделать манифестацию профессоров под предлогом панихиды Грановскому 4 октября[6]. Весть об этой манифестации быстро разнеслась по городу и приняла чудовищные размеры. Вскоре после того встретил я в одном салоне одного из своих шапочных знакомых, который меня отозвал в сторону и сказал с очень серьезной и таинственной миной:

— Я вам только говорю: 4 октября будет сбор на четырех площадях; начнется революция.

— Будто бы?

— Это верно; я слышал от верных людей; я вам только говорю, а вы покуда никому не сказывайте.

Нечего и говорить, что 4 октября с ранней зари уже вся полиция была на ногах; но панихида была совершена беспрепятственно. Этим бы и ограничилось негодование московских студентов, если бы известие о закрытии Петербургского университета не подлило масла в огонь.

В Петербурге правительство тоже перетрусило студенческого движения, как бы вооруженного народного восста-

ния. В Колокольном переулке войска чуть не задавили мирную толпу студентов. Вечером того дня даже члены Государственного совета побоялись съехаться, пока для защиты их не был поставлен вооруженный батальон. На другой день перед самым Петербургским университетом была арестована другая мирная толпа студентов. Даже проходившим мимо доставалось немало...

...Известие о закрытии Петербургского университета пришло в Москву по телеграфу. Студенты узнали об этом на лекциях. Конечно, такое небывалое известие возбудило массу. Столпившись на лекциях, студенты вели о нем оживленные толки. Инспектор университета сделал большую ошибку: он не дал времени остыть впечатлению и в самую горячую минуту потребовал, чтобы студенты разошлись; те отвечали свистками. Это была бы еще небольшая история; но на другой день начальство объявило первые два курса юридического факультета (около четырехсот человек) исключенными на год. Эта деспотическая привычка наказывать и миловать без суда и следствия как будто была по сердцу университетскому начальству. Между студентами, освиставшими инспектора, были студенты всех курсов юридического и словесного факультета; почему же были исключены только первые два курса юристов?

Негодование увеличилось. Студенты стали собирать сходки в саду; но вся незаконная цель этих сходок была — подать государю адрес о студенческих нуждах; и это было выставлено, как серьезное возмущение против правительства. Части города были немедленно соединены подземными телеграфами; в манеже, напротив университета, были сосредоточены войска, каждую минуту ждавшие приказания переколотить мятежников.

Сначала сгоряча около тысячи студентов подписалось под адресом[7], но вскоре генерал-губернатор Тучков объявил сходке через студента Раевского, что он возьмет на себя тяжелый труд передать студенческую просьбу государю, если только они смягчат адрес и выкинут некоторые пункты. Более умеренные составили немедленно новый адрес по советам Раевского и вычеркнули свои фамилии из старого. Более решительные, в том числе и я, остались под прежним адресом. Когда разделение совершилось, генерал-губернатор окончательно отказался принять просьбу. Тогда умеренные совершенно бросили дело адреса и не думали уже подписываться под прежним. Сходки слабели, и дело адреса оказалось потерянным. Профессора своим

влиянием также всячески старались расстроить единодушие и твердость студентов. Некоторые старики-профессора даже открыто негодовали, что военное начальство так медлит и не употребляет в дело штыков...[8]

Дело, казалось, должно было кончиться ничем, как вдруг из Петербурга возвратился московский попечитель Исаков. Толпа вдруг ожила и обратилась к нему с просьбой передать адрес государю и ходатайствовать о студенческих нуждах. Исаков с храбростью русского военного генерала отвечал, что он признает толпу студентов незаконным сборищем и не может представлять о студенческих нуждах. Конечно, толпа была раздражена ответом, и, может быть, впервые его превосходительству пришлось услышать несколько резких и непочтительных слов.

Студенты были взволнованы и положили на другой день снова иметь сходку в саду в девять часов утра. Меня тоже известили об этом. На другой день я тоже собрался идти, но, зная, что сходки были в разгаре обыкновенно с одного до трех пополудни, не торопился, а случайное обстоятельство задержало меня до двенадцати часов. Между тем в десятом же часу утра в саду собралась значительная толпа студентов. С разных сторон получились известия, что за ночь арестовано генерал-губернатором около двадцати пяти товарищей. Толпа, не много думая, отправилась тотчас же к генерал-губернатору спросить, за что он арестовал товарищей. Между тем начальству уже мерещилась революция. Едва студенческая толпа показалась на улице, как со всех сторон стали стекаться конные и пешие войска. Лишь только студенты остановились у генерал-губернаторского дома, как войско уже с трех сторон сжало студенческую толпу так, что никто в ней не мог сделать отдельного движения.

Четыре студенческие депутата, посланные к генерал-губернатору, не были приняты[9]. Адъютант, посланный к толпе с увещанием разойтись, не показался, и честный пристав приказал полиции действовать. В несколько минут вся толпа была смята, избита и перетаскана в Тверскую часть. Только небольшая часть, оторвавшись, успела убежать в переулок. Конные жандармы скакали по Никитской и Тверскому бульвару, по Тверской, по Петровскому переулку хватали студентов на тротуарах, сдергивали с дрожек и иногда за волосы тащили в полицию. На некоторых жандармские кони наступали копытами; были и тяжело раненные...

Так поступала столичная полиция с императорскими студентами, считающимися в чине XIV класса! Даже равнодушные немцы пришли в негодование и, пожимая плечами, говорили с удивлением: Oh! Dieses möchtige Russland!*

Вы думаете, что по крайней мере генерал-губернатор был сменен? Ничуть не бывало. Правительство не позаботилось даже показать виду, что оно недовольно таким действием опричнины. А через несколько дней мы имели удовольствие читать в газетах, что студенты пришли на площадь буйной толпой, вооружившись палками (!!), которых найдено на площади пятьдесят четыре (на семьсот пятьдесят студентов!), да еще три кинжала; при этом было опущено, что из этих трех два принадлежало грузинам, а один был поварской нож какого-то повара, отправлявшегося за провизией.

Отправившись на сходку, я встретил только товарищей, бежавших во всю прыть. Они остановили меня, и мы условились на другой день снова сделать в университете сходку, хлопотать о товарищах. Между тем еще в тот же день вечером некоторые студенты (Д. А. Юрасов[10]) явились в полицию, объявляя, что они желают разделить участь товарищей. Полиция записывала только их адреса и объявляла, что за ними пришлет, когда будет нужно.

На другой день поутру собралась новая сходка студентов, но на этот раз и профессора высказали некоторое сочувствие к студентам. Мало-помалу стали показываться и студенты, только что выпущенные из части. Только некоторым (например, Праотцеву) пришлось просидеть гораздо дольше других. Комиссия, назначенная правительством по этому делу, выключила многих на два года (так, например, Загибалова[11], Левашова, Коробьина и других); некоторых выслала в отдаленные города (Праотцева и Борисова[12]).

Я, как не участвовавший в толпе 12 октября, не был под судом и остался в университете, но ненадолго. С приближением рождества я уехал в деревню, а университетский билет оставил у товарища в Москве. Вскоре после моего отъезда студенты вздумали сделать на лекции демонстрацию профессору Чичерину. На эту-то демонстрацию и пошел один товарищ с моим билетом. Полиция отобрала билеты у всех бывших на лекции; таким образом попался и мой.

* О! Эта могучая Россия! *(нем.)*

Навели справки. По справкам оказалось, что в факультетских списках я был давно исключен, как не явившийся к переходным экзаменам, и значился только в списках инспектора. Тогда меня одним росчерком пера и исключили из университета[13].

Я между тем жил себе преспокойно в деревне, собирая сказки и не ведая о своем изгнании.

Прыжов И. Г.

МОСКВА,
4 ОКТЯБРЯ

Четвертого октября исполнилась седьмая годовщина со смерти Грановского. 1855 год был одним из тех годов, которые стоят между старым порядком вещей и новым[1]. Никто ни о чем не говорил, как только о войне; 27 августа пал Севастополь. Единственным поприщем, на котором ворочалась еще жизнь, была торговля. Прекращение всяких торговых сношений с Западом оживило внутреннюю деятельность, и на Нижегородской ярмарке, по словам купцов, торговали так, как никогда еще ни прежде, ни после. Зато наука понесла несколько утрат. Ни одной новой книги из-за границы, ни одного нового сочинения дома, и, бывало, ищешь, ищешь, ничего не найдешь, что бы почитать. Литература соблюдала молчание, исключая господина Майкова, который тогда особенно что-то распелся[2]

Носились слухи, что Московский университет будет преобразован, что его сделают доступным для всех сословий. Действительно, в ноябре, после одного диспута в университете, было объявлено, что государь приказал принимать на все факультеты неограниченное число студентов; в зале раздалось троекратно повторенное «ура». Но до этого радостного известия не дожил Грановский. Не очень веселая, не всегда легкая его жизнь, проведенная в думах, трудах и дружеских беседах, кончилась 4 октября.

6-го числа, вечером, ученики и друзья собрались к нему на квартиру и вынесли покойного в университетскую церковь. Тут у гроба ночью сходились все друзья и товарищи, которых жизнь раскидала по разным углам, сходились, жали друг другу руки. Гроб несли студенты. У лестницы университетской церкви, убранной цветами и зеленью, гроб встретили и взяли на руки профессора. 7-го числа Грановского похоронили. Друзья, ученики и студенты несли гроб до самой могилы на Пятницком кладбище; во всю дорогу

два студента несли перед гробом неистощимую корзину цветов и усыпали ими путь, а впереди шел архимандрит Леонид, окруженный толпою друзей покойного, вместо духовенства, которое с профессором Терновским уехало вперед. Пришли к могиле. Могила эта в третьем разряде, т. е. на дальнем конце кладбища, где нет пышных памятников, где хоронят только бедных, где по преимуществу «народ» находит успокоение. Опустили в могилу Грановского и плотно укрыли ее лавровыми венками...

Дамы и девушки подходили к краю могилы, склонялись и бросали лавровый венок и землю. Но вот, среди всеобщего плача, раздвигается одна сторона, плотно стоявшая у могилы, появляется высокое голое чело и лицо, измученное страданиями, и слышится голос тихий, болезненный, но столь же мягкий и проникающий душу, каким был и голос Грановского. Это Кудрявцев. Склонившись над могилой и опуская в нее слезу за слезой, он говорит, и вот его слова, насколько они сохранились в нашей памяти: «Как ни трудно нам говорить в эту минуту, но невольно вырывается желание сказать несколько слов в память дорогого человека. Он унес туда, откуда никто не приходит, богатые надежды, которые в последнее время сам высказывал, обещаясь больше трудиться. Его нет. Вместо него, вместо его трудов у нас остается его нравственный образ, который мы постараемся сохранить!» Могилу закрыли, и друзья Грановского перешли в гостиницу для поминовения. Здесь К[удрявцев] еще раз высказал чувства общей скорби. Он вспомнил, между прочим, что за несколько дней до смерти Грановский, обдумывая свой какой-то труд, просил у него содействия и дал ему план работы. Говорил П[огодин], начавший свою речь, кажется, стихом Горация, С[оловьев], который сначала уколол П[огодина], а потом расплакался. К[рылов] в длинной речи старался уяснить себе нравственные черты Грановского и заметил, что все, достающееся другим упорным трудом и бессонницею, Грановскому досталось «так легко и любовно» и приносило больше пользы, имело больше значения, чем толстые томы, которые мы пишем, пишем... И, говоря это, К[рылов] смотрел прямо в глаза сидевшему против него С[оловьеву]. К[етчер] свидетельствовал, что Грановский много трудился, много читал, и постоянно с карандашом в руке, что даже во время болезни он умолял перенести его вверх, в его любимую библиотеку, что на постели, где он умер, нашли книгу с карандашом. Тут многие спросили: «Какую кни-

гу?»[4]— «Не знаю,— отвечал Кетчер,— я книгу убрал». Все сидели за столом, а за стульями к окну стоял Кавелин и играл стеклышком. Просили и его сказать что-нибудь, но он отказался, объявив, что он теперь уже не тот, что лучшее время его жизни было то, когда он был в Московском университете. Кавелин говорил правду. Говорили еще доктор, лечивший Грановского, Анке и др. Поздно разошлась эта беседа... Кажется, что все это было так недавно, а между тем как все это странно, все эти представительные личности, тогда говорившие, и говорившие так хорошо, где они теперь, что делают, что говорят?

С тех пор ежегодно 4 октября собирались на кладбище друзья Грановского, убирали его могилу цветами и служили панихиду; то же было и 4 октября прошлого года.

Раннее утро было серо и сумрачно, но потом прояснилось, и явился великолепный осенний день, какие бывают редко. Друзья Грановского прислали на могилу цветов. Могила Грановского представляет обширный квадрат, обнесенный железной решеткой, в середине стоит высокая пирамида, вокруг которой разбиты дорожки. Деревья были голы, земля густо покрыта была желтым листом, и только в одной ограде могилы зеленелась очищенная от листа трава и цвели цветы. В ограде долго никого не было, как будто туда боялись войти[5]

Приезжали профессора, ученые, журналисты и становились в отдалении за деревьями. Приехал и г. обер-полицмейстер[6] со своими офицерами. Скоро из церкви пришли родственники и близкие люди к покойному, а с ними и духовенство, чтобы служить панихиду. Потом явились и все студенты университета. Собравшись на университетском дворе, они оттуда пошли на кладбище, неся с собою убранную лентами корзину с цветами и венками. Подойдя к могиле, они усыпали ее цветами. Могильная ограда была переполнена, за оградой стояли толпы собравшегося народа, и где-то далеко стояли друзья Грановского...

...Грановский умер. Умирая, он оставил после себя чистую память, оставил свой несказанно благородный образ, оставил свое имя, которое, по справедливости, может служить знаменем высоких человеческих начал.

В этих началах заключалась тогда вся жизнь Московского университета, ради них густые толпы слушателей всегда окружали кафедру Грановского, и все это вместе органически было связано с жизнью, разливавшеюся за стенами университета.

15 Заказ № 858

Кареев Н. И.

АНЕКДОТА

(Кое-что из «неизданного» о профессорах А. Ф. Кони)

Предупреждаю, что эти «Анекдота», в смысле близком к тому, что и французы называют словом «inédit»*, будут вместе с тем и анекдотами в теперешнем значении слова о некоторых профессорах Московского университета, бывших наставниками нашего почтенного юбиляра.

Анатолий Федорович кончил курс в Московском университете в 1865 году, а я сделался там же студентом, только не юридического факультета, а историко-филологического, в 1869 году и, заглядывая по временам в аудитории других факультетов, не раз слушал лекции профессоров-юристов, большею частью стариков, бывших на своих кафедрах и в начале шестидесятых годов, когда и Анатолий Федорович был студентом. И всего-то профессоров на юридическом факультете было немного. У меня сохранились расписания лекций моего времени, и я по ним насчитал только двенадцать ординарных, экстраординарных и доцентов, а именно Бабста (экономиста и статистика), Баршева (криминалиста), Беляева (историка русского права), Вицына (процессуалиста), Капустина (по энциклопедии права и по международному праву), Крылова (романиста), Легонина (по судебной медицине), Лешкова (полицеиста), Мильгаузена (финансиста), Никольского (цивилиста), Сергеевича (по государственному праву) и Соколова (канониста), к которым нужно прибавить из профессоров историко-филологического факультета Юркевича, читавшего философию права. Вот и все, из которых много больше половины читали лекции и в студенческие годы Анатолия Федоровича. Состав факультета был, таким образом, бедный. В заметке о Б.Н. Чичерине[1], оставившем кафедру в 1868 году, Анатолий Федорович говорит, что в пятидесятых

* Неизданные *(франц.)*.

годах московский юридический факультет был в общем бесцветный, но то же можно было бы сказать и о последующем времени, конечно, за исключениями, до обновления факультета в семидесятых годах, когда профессорские кафедры заняли такие ученые, как Максим Ковалевский, Муромцев, Чупров, Янжул и др. Большею частью старики доживали свои последние годы и по старым запискам дочитывали свои устарелые лекции.

Помню фигуру Сергея (для себя бывшего Сергием) Ивановича Баршева, в начале моего студенчества бывшего ректором и нами чуть не ненавидимого за реакционность. Высокий, сухопарый старик важного вида, с мертвенным смугловатым лицом, гладко выбритым и, кажется, бывшим неспособным оживляться улыбкой, формалист на службе да и в жизни, Баршев профессорствовал уже около тридцати пяти лет, когда я поступил в университет. У нас о нем ходило немало легенд. Например, «на поле,— кричал он на лекции, а он именно кричал, а не говорил,— на поле русской науки уголовного права выросло два цветка, два брата, один мой брат Яков (профессор-криминалист в Петербурге), а о другом из скромности умолчу». Особенно был известен такой отрывок из его лекций. Дело шло о том, как можно применять понятие покушения, положим, на кражу. «Ну,— кричал он, отчеканивая слова (другая особенность его дикции),— ну, представьте себе, что в подворотню запертых ворот двора, где для сушки развешано белье, лезет генерал в полной парадной форме и при орденах. Разве можно считать это покушением на кражу? А может быть, он шел на любовное свидание». Был у Баршева какой-то, повторявшийся из года в год, анекдот о его собственной теще, в литографированные записки не попадавший, но на экзамене неуклонно спрашивавшийся. «Расскажите анекдот о моей теще»,— вопрошал профессор. Студент молчит. «А вот и видно, что вы на мои лекции не ходили»,— заключал экзаменатор. Говорили, но это совсем невероятно, будто какой-то дерзила ответил Баршеву: «Вы так громко читаете, что я слышу их с лестницы». Более достоверно, что до уничтожения телесных наказаний[2] по суду Баршев отстаивал их разумность, необходимость, целесообразность и справедливость, но потом, когда законодательство изменилось, и он изменил свои научные взгляды. Был со мной такой казус. Дело было во время экзамена у латиниста Г. А. Иванова, великого смиренника и чинопочитателя, бывшего потом ректором. Я сидел у

стола, готовясь к переводу указанного мне отрывка, как вошел ректор Баршев. Иванов встал и вытянулся в струнку, а я, занятый своим текстом, не заметил вошедшего и подошедшего к столу ректора, который вдруг протянул мне руку, конечно, мною принятую. Оказалось, что мою опущенную над книгой голову с длинными русыми волосами он принял за голову профессора Леонтьева. Увидев ошибку, Баршев резко отдернул свою руку, в смущении пробормотал: «Я ищу Павла Михайловича» — и удалился, не поклонившись Иванову, который все время продолжал стоять в почтительной позе. «Это они ошиблись»,— пояснил мне Иванов со своей всегдашней приветливо-сладостной улыбкой.

Кстати об Иванове. Он замечателен тем, что в жизнь свою не напечатал ни единой строки[3]. Доктором, как действительно знаток латинского языка, он сделался по милости своего покровителя П. М. Леонтьева, большою силою в консервативном лагере профессуры, в котором особенно много было медиков. С. М. Соловьев постоянно сопротивлялся возведению в «даровое докторство», но Леонтьев настаивал, объясняя отсутствие у Иванова ученых трудов его скромностью. Впрочем, и сам он был больше занят редактированием «Московских ведомостей». Известно, что при баллотировке на пятилетие в начале семидесятых годов большинство совета университета прокатило его на черных. Рассказывали, что Леонтьев в заседании разразился речью, в которой произнес такие слова: «Вы лизнули моей крови, и это даром пройти не может». Немедленно в «Московских ведомостях» открылся поход против университетского устава 1863 года, который прежде газета эта хвалила.

Но возвращаясь к профессорам юридического факультета и по ассоциации сходства после Леонтьева называю экономиста И. К. Бабста, которого в середине семидесятых годов сменил А. И. Чупров. Сходство было в том, что оба немилосердно манкировали лекциями, один из-за «Московских ведомостей», другой из-за московского купеческого банка, которым он управлял с середины шестидесятых годов[4]. Я хотел послушать его лекции, но никогда, приходя в аудиторию, его не находил. Случалось даже так, что по недосугу он не приехал в университет, когда я должен был у него экзаменоваться по статистике, и он, узнав от декана, что у меня отличные баллы, поставил мне в списке пятерку. От Бабста был бы переход к Мильгаузену, но что-то о нем

у меня не сохранилось никаких воспоминаний, кроме его несколько одутловатого и сонного лица.

Зато хорошо помню М. Н. Капустина. В 1869 году это был человек лет сорока, очень живой, с несколько бюрократической внешностью, которую ему придавали бакенбарды. В 1870 году он был назначен директором Ярославского лицея, и я еще застал его профессором в Москве. На его лекциях, на которые я иногда заглядывал, меня поразила его способность без конца перефразировать одну и ту же мысль. Каждое право предполагает обязанность, а каждая обязанность право. Другими словами, права и обязанности тесно связаны между собою. Иначе говоря, нет права без соответственной обязанности, и наоборот. Из этого видно, что право и обязанность — понятия соотносительные. Можно сказать, что каждое право порождает обязанность, а обязанность право... и т. д.

Словно, тогда же казалось мне, сноп обмолачивался, поворачиваемый разными сторонами. Я узнал в лицо Капустина, когда его в конце прошлого столетия сделали попечителем петербургского учебного округа[5]. В этой должности он оставил по себе хорошую память, как о человеке благожелательном и даже сердечном.

И. Д. Беляева помню только внешние черты: его неуклюжую фигуру, за которую Крылов его аттестовал, как «кавалера и из себя молодца», и какой-то дефект в его произношении, заставлявший его, профессора истории русского законодательства, как титуловалась его кафедра, раздирать древние грамоты, вместо того, чтобы их разбирать. Это был известный ученый, между прочим, не страдавший добродетелью Иванова в том смысле, что предавал свои многочисленные работы по истории русского права тиснению. Интересуясь историей крестьян (правда, западноевропейских), я в студенческие годы читал его «Крестьян на Руси»[6]. Более чем Беляев врезался в моей памяти В. Н. Лешков, очень почтенный ученый и хороший человек, но производивший на нас, молодежь, несколько комическое впечатление какою-то вертлявостью и причмокиваниями в речи. Его кафедра носила название полицейского права (замененное потом названием административного права), но он упорно называл это право общественным, как оно и значилось в распределении лекций по часам. После франко-прусской войны[7], должно быть в зиму 1871—1872 гг., в Москву приезжали немецкие победители, и в их числе прусский принц Фридрих-Карл, посетивший университет,

Когда ему представляли профессоров, на вопрос, обращенный к Лешкову, какой предмет он преподает, последовал будто бы ответ: «Das Polizeirecht, aber nicht Polizeirecht, sondern Geselltschaftsrecht»*. О себе Лешков оставил хорошую память в учениках, ставивших ему в большую заслугу его инициативу в создании московского Юридического общества и в деле созыва первого съезда русских юристов[8].

Наиболее яркие воспоминания сохранились у меня о знаменитом Н. И. Крылове, или Никите, как его, кажется, все звали. Я иногда заходил на его лекции и впервые познакомился с историей римского права по его литографированным лекциям[9], экземпляр которых, кажется, у меня сохранился. Его ученик и преемник по кафедре, С. А. Муромцев, первый председатель национального представительства в России[10], оставил в печати живую характеристику и серьезного научного облика, и блестящего, прямо артистического лекторского таланта своего учителя[11]. Посвятил несколько страниц Крылову и А. Ф. Кони[12], который, кроме того, в своей статье о Чичерине сопоставляет Крылова с Грановским. «В пятидесятых годах,— говорит он здесь,— в общем бесцветный юридический факультет старейшего русского университета оживлялся лишь талантливостью Никиты Крылова и, отраженным светом, озарялся лекциями незабвенного профессора словесного факультета» — Грановского[13]. Я помню Крылова уже на склоне его дней, может быть, несколько опустившегося, изрядно в это время, говорят, выпивавшего, и не лекторского, но общественного значения Крылова не поставлю вообще на одну доску со значением Грановского, кружок которого держал Крылова от себя далеко, хотя Никита Иванович был женат на сестре Е. Ф. Корша, близкого к этому кружку человека. Но действительно Крылов был мастером художественного слова, потому что речь его отличалась образностью, характеристики лиц, положений, учреждений — меткостью сравнения, остроумием, привлекавшим в его аудиторию не одних юристов. Известно, что печатных трудов Крылов не оставил, кроме актовой речи 1838 года и одной критической статьи 1861 года[14]. Из года в год, помню, в годичных университетских отчетах неизменно повторялось указание на то, что заслуженный профессор Н. И. Крылов занят научным трудом по истории рабства в древнем Риме, но к этому почему-то товарищи Крылова относились скепти-

* «Полицейское право, но не то чтобы совсем полицейское, а общественное право» *(нем.)*.

чески. Правда, существуют литографированные записи лекций Крылова, но Муромцев, сам участвовавший в записывании и литографном издании его курсов, писал впоследствии, что в массе студенческих записей лекций Крылова «не было ни одного, которое воспроизводило бы пластическую силу его речи». Между тем Никита Иванович был самою талантливою натурою среди своих сверстников на юридическом факультете, человеком, заставлявшим о себе говорить и вспоминать. В одном романе Боборыкина, помнится в «Китай-городе», описывается пирушка в традиционный Татьянин день, именины Московского университета, и на ней сотрапезники делятся воспоминаниями о Никите.

А поделиться было чем. Не знаю, как прежде, но в мои студенческие годы Никита Крылов изрядно чудил, чему и я был свидетелем. В мае 1873 года мы, студенты-историки, собрались готовиться вместе к одному товарищу, отец которого был владелец известного колониального магазина и винного погреба, куда Никита часто захаживал. Узнав от хозяина, что у его сына собрались студенты-филологи, старик, уже бывший навеселе, сказал: «Пойду посмотреть, каки таки филологи» — и на самом деле пришел, спросил себе бутылку красного, да и остался в нашей маленькой компании 8—10 человек далеко за полночь, один пользуясь содержимым этой бутылки (а может быть, и с повторением), все время без умолку рассказывая нам забавные и подчас очень злые вещи о других профессорах, кое-что передавая в лицах. Неожиданно дошла очередь до ректора, каковым был тогда С. М. Соловьев, но, на беду, Крылов не знал, что в нашей среде был сын Соловьева, Владимир, известный потом философ, который разрыдался по случаю издевательства расходившегося старика над его отцом. Вышел скандал, и мне пришлось успокаивать Крылова, что сын не передаст отцу. Весною этого года он и прекратил свое преподавание в университете, продолжавшееся им в последнее время по «вольному найму» за выслугою уставного срока. На экзаменах он очень чудил, так что сам ректор пришел удостовериться, и удалился, когда Крылов предложил студенту вопрос: «Какая разница между статским и тайным советником?» Сам он дальше статского не пошел, а Соловьев был тайный. «Да просто,— отвечал сам же профессор,— коли статский глуп и все говорят, что глуп, а вот коли тайный глуп, все таки говорят: поди ж ты, как умен».

Крылов был маленький, щупленький старичок, держав-

ший голову как-то набок, с красноватым, очень морщинистым лицом, то остававшимся угрюмым, то озарявшимся хитрой, подмигивающей улыбкой. Его шутки были часто злые. В 1872 году доцентуру гражданского права занял в Московском университете ныне давно покойный В. А. Умов, младший брат известного физика, тоже уже покойного, так вот о нем Крылов на своей лекции, говорили, сказал: «Ну, об этом писал еще, как бишь его, еще такая у него не по шерсти кличка. Да, да, вспомнил: Умов». Прибавлю, что это сказано было с обычным для Крылова оканьем, вместо характерного для москвичей аканьем. Другой случай. Говорил профессор на лекции о том, что он называл дуализмом в римском праве, и, по обыкновению, сделал экскурсию в сторону, упомянув о том, как два лица, часто упоминаемые вместе, как бы сливаются в одно. «Ведь показывают где-то ноготь Бориса и Глеба. Да вот и со мной было это на этих днях. Вхожу в профессорскую и вижу: стоит Леонтьев, т. е. знаете, Леонтьев, который с Катковым, а я себе и подумал: ишь, подлецы стоят». Об этом много тогда говорили, как об одном из последних трюков Никиты. Нужно заметить, что Леонтьев и Катков были предметом застарелой злобы Крылова, которого они в начале шестидесятых годов травили в своем «Русском вестнике»[15].

А. Ф. Кони в своих воспоминаниях о знаменитом, как сам его называет, учителе своем говорит, между прочим, что римское право давало вдумчивому профессору поводы затрагивать на лекциях, в виде сравнений или только в намеках, отрицательные стороны русской жизни. «Картины римского правового быта,— говорит он,— или противополагались явлениям русской действительности, или, в ряде примеров и шутливых сравнений, искусно переплетались с нею». Это я тоже помню. Большой поклонник Рима, Крылов, например, говорил о светлых и черных желобах, по которым текло право, и тут же с гримасой упоминал о темных и грязных, засоренных трубах, по которым инде кое-как ползет нечто, вроде права. Это я сам слышал. А вот и другое. Дана была характеристика второго римского цезаря: «Набожный был человек,— закончил Крылов,— а пришел Тулл Гостилий и всех этих попов и монашек по шапке». Веселье царило в аудитории, когда старый профессор драматизировал сценки из римских тяжебных дел, сбиваясь с античной терминологии на самую «расейскую» с упоминаниями о квартале и квартальном надзирателе.

На экзаменах Крылов, в мое, по крайней мере, время,

был грозою студентов, с которыми не очень церемонился. «Пришел,— сказал он нам, когда неожиданно явился в комнату товарища, у которого готовилось к экзамену несколько студентов-историков,— пришел посмотреть; каки таки филологи. А, небось боитесь меня».— «Чего нам бояться, Никита Иванович. Ведь мы не юристы».— «Молодец, ловко отрезал»,— похвалил Крылов и решил остаться у нас посидеть. Особенно страшились юристы его шуток, когда, как выражались о нем, «начнет Никита куражиться вовсю». Бывали у него на этой почве в последние годы конфликты. Он считал себя вправе обращаться на ты, что шокировало иных, но обыкновенно к этому привыкали. Часто он и в выражениях не стеснялся. Рассказывали один эпизод на каком-то диспуте, когда Крылов характеризовал понимание личного достоинства старой Руси. «Да, за бороду не хватай, потому — оскорбление, а вот...» Дальше следовало нечто неназываемое и прибавлялось: «Тут лупи сколько хошь». Несмотря на все чудачества Никиты, огромный его талант вызывал к нему какую-то симпатию. Недаром в Татьянин день летели к нему из разных краев России телеграммы от бывших его слушателей, всегда вспоминавших его с добрым чувством. Как это до сих пор нет ни одной сколько-нибудь обстоятельной биографии этого талантливого человека, который в другой среде, в другое время мог бы развернуться шире и плодотворнее! Да, Крылов остается неизданным. Но и кто теперь взялся бы за литературное воскрешение его личности, более, чем другие его товарищи по факультету, по крайней мере в годы моего студенчества, заслуживающей долгой памяти!

Янжул И. И.

О ПЕРЕЖИТОМ И ВИДЕННОМ...

ГЛАВА I

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Окончивши в мае 1864 г. полный курс Рязанской дореформенной 7-ми классной гимназии с одним латинским языком, в качестве первого ученика за все время учения, я едва не получил медали и лишился ее только по случайным, описанным в моих «Воспоминаниях детства» поводам и несчастному для меня стечению обстоятельств. Во всяком случае я получил право на поступление в университет без дальнейшей проверки и экзамена, за исключением греческого языка, если вздумаю поступить на историко-филологический факультет. Между тем именно об этом факультете и занятии историей и древними языками — моими любимыми предметами — я наиболее всего мечтал и в гимназии приватным образом брал уроки греческого языка и прочитал Анабасис[1]. Очень может быть, что мои знания, как я после слышал, были бы почти достаточны, чтобы выдержать экзамен в начале поступления в Московский университет и обеспечить себе в этом отношении дальнейшее спокойствие, но я струсил и просил отложить, что часто делалось, мой греческий экзамен на несколько месяцев.

Когда в августе 1864 г. я подал в университет соответствующее прошение с приложением документов, то меня направили к тогдашнему декану историко-филологического факультета, к нашему почтенному историку, С[ергею] Мих[айловичу] Соловьеву, которого я тут увидал первый раз и отнесся, как совсем зеленый юноша, к такой знаменитости с особым благоговением. Се[ргей] Мих[айлович] объяснил на мою письменную просьбу, сопровождаемую словесными дополнениями, что никакого особого экзамена из греческого языка позднее августа мне не может быть назначено и не будет. Обычный способ, принятый в уни-

верситете в подобных моему случаях и который мне может быть разрешен, это путь *условного зачисления.* Я должен поступить немедленно на другой какой-нибудь факультет, кроме историко-филологического, напр[имер], хоть на юридический, ближайший к нему, а затем ввиду моего заявления я буду допущен прямо к экзаменам на филологический факультет на второй курс и по выдержании их, включая латинский и греческий, буду переведен на вышеозначенный курс этого факультета. При этом я буду пользоваться одинаково с филологами немедленно же свободным доступом на их лекции и практические занятия.

Разумеется, мне ничего не оставалось иного, как согласиться с решением маститого декана. Я записался тотчас на юридический факультет, получил билет и в то же время право доступа на свободное посещение всех лекций вместе с филологами. Вскоре, однако, явились непредвиденные обстоятельства, которые совершенно изменили мои планы и дали другое направление и ход всей моей будущей жизни. Гимназистом я больше всего любил историю и древние языки; обратно с моими товарищами, напри[мер], я с жаром занимался латинским языком, в котором я достиг в свое время довольно больших успехов; по всей вероятности, из меня бы и вышел со временем специалист-учитель или профессор по одному из этих предметов. Но вместо того мне пришлось — увы — отказаться от филологии и остаться навсегда с юристами, куда я записался лишь временно до первого экзамена. Здесь главной виной явились два обстоятельства, совершенно разного характера: во-первых, сильная болезнь — возвратный, или брюшной, тиф, который случился со мною осенью того же года и на несколько месяцев оторвал меня от возможности всяких занятий и едва не унес на тот свет. В декабре я несколько оправился, начал посещать лекции филологического факультета и, к своему ужасу, увидел ту огромную пропасть, которая образовалась для меня в моих занятиях, благодаря продолжительному отсутствию; особенно важны были пропуски для греческого языка, из которого я был слабее всего, и экзамен являлся для меня особенно серьезным. Предстояло напрячь усилия и усердно работать, чтобы нагнать товарищей и с честью выдержать предстоящий в мае экзамен.

Весной 1865 г. от того же ужасного тифа, господствовавшего в Юсуповом доме невозбранно, скончался мой отец после продолжительной и тщетной борьбы с жизнью,

оставивши меня с двумя малолетними сестрами на руках и лишенным всяких материальных средств и умения зарабатывать себе хлеб. В течение всего первого года студенчества я не мог добыть себе ни одного урока и лишь какой-то несчастный перевод, крайне неудачный. Сначала болезни, а затем описанное амурное дело и разбитое сердце мешали мне думать и заниматься своим настоящим делом, между тем быстро приближалось время экзамена, а мне в буквальном смысле нечего было есть, и я распродавал по частям то жалкое имущество, которое осталось после отца, чтобы прокормить себя и своих сестренок.

Таким образом явилась настоятельная необходимость, на этот раз вызванная тяжелыми условиями, отложить все экзамены. Надо было устроить сначала так или иначе судьбу сестер и приискать себе занятия. По правилу я явился к ректору университета, тогда к известному Сергею Ив[ановичу] Баршеву, холодному и бесчувственному формалисту. Когда я ему рассказал о моем тяжелом положении и о невозможности готовиться к экзамену, который должен был начаться через две недели, профессор Баршев отнесся к моему рассказу более чем хладнокровно и спросил только: «А отца вы похоронили?» — и на мой утвердительный ответ заметил: «Ну чего вы в таком случае ко мне лезете. Никакого основания нет вам откладывать экзамены. Вот если бы вы обратились во время болезни и по болезни, тогда, может быть, дело другое. Садитесь-ка лучше,— заключил он,— и пишите прошение об оставлении в университете на второй год...» Опешенный, сконфуженный и смущенный, я сел и написал, что требовал от меня г. ректор, и, таким образом, остался на второй год в Московском университете, числясь на юридическом факультете, вместо желанного историко-филологического.

Рядом с товариществом важную роль в жизни студентов (в учебно-научном отношении, конечно, еще выше) играют наставники, профессора, но... я ограничусь относительно своих преподавателей одним лишь переименованием их и краткими характеристиками лиц, из них особенно выдававшихся в какую-либо сторону. Буду их называть по времени ознакомления с ними, начиная с первого курса. Конечно, из профессоров на первом курсе первое место занимает всеобщий профессор для всех четырех факультетов — *богословия*,— в мое время почтенный протоиерей *Сергиевский*, несомненно человек весьма образованный и корректный, ровный, спокойный, с хорошим даром слова,

но который, к сожалению, не мог справиться со своей трудной задачей — знакомить многочисленную молодежь, вовсе не проникнутую, как это встречается за границей, хотя бы в Англии, религиозным чувством и вовсе не желавшую учиться. Мне неизвестно, как богословие преподается в других наших университетах, но в Московском — в мое время оно преподавалось исключительно почти в полемической форме. Ввиду безбожия, развитого тогда особенно сильно в русском обществе и пропагандируемого в печати, московский профессор взял на себя непосильную Сизифову работу воевать и опровергать не только противников православия, но всяких безбожников, где бы они ни оказались — в философии, естественных науках, наконец, в русской журналистике. Сегодня он воевал, например, с Шопенгауэром или Фихте, завтра с Дарвином или Геккелем, послезавтра с Бюхнером и Фейербахом и затем с выходками «Современника» или «Русского слова»[2] и т. д. и пр. Отсюда получался понятный результат: почтенный наш богослов не в состоянии был справиться со столькими противниками и лжеучителями и в конце концов «ослаб и изнемог»... т. е. все оставалось незаконченным, а собственно в области богословия, пройдя университет, мы не получили никакого понятия и только задавались тщетно вопросом — зачем у нас убито было столько времени без всякой существенной пользы для наших знаний?

Собственно из юристов-профессоров на первом курсе (несколько филологов, которые преподавали, каждогодно меняя отдельные курсы, как Соловьев, Тихонравов и пр., — в счет не идут) важнейшее место по числу часов занятий и, пожалуй, своему влиянию занимал добрейший и милейший старец Иван Дмитриевич Беляев, преподававший историю русского права... Обладая крайне невзрачной наружностью и как бы изломанным телом, он не ходил, а ковылял из стороны в сторону, размахивая руками («побывал под двумя жерновами», острили студенты). Иван Дмитриевич обладал такой теплой душой и искренней любовью к своей науке, что невольно, несмотря ни на что, привлекал симпатии почти всех слушателей и сообщал им даже интерес к самой истории русского законодательства, преимущественно в ранний период нашей истории.

Главный труд Беляева «Крестьяне на Руси»[3] клал сильный отпечаток на его курс, где крестьяне, по крайней мере в его изложении, играли всегда большую роль, им давалось много места... Иван Дмитриевич был всегда дома

для студентов и готов им помогать, чем может. Позднее мне придется говорить, как усердно эта добрая душа искала для меня лично заработка в один из позднейших, временных периодов безработицы, как он ввел меня в литературный кружок юрьевской «Беседы»... Замечая, вероятно, у меня, во время разговоров с ним, некоторые проблески любви к старине, И. Д. Беляев уговорил меня начать слушать курс профессора Анатолия Петровича Богданова, который предполагал читать в университете о своих курганных раскопках и результатах изучения найденных черепов. Я приобрел немедленно череп и в одно время усердно занялся краниологией, чтобы лучше разбирать и понимать со слов исследователей «долихоцефальные», «брахицефальные» и другие черепа разных этнографических особей. Сам лично наконец я раскопал в ближайшее лето, проживая на уроке в Зарайском уезде, один курган, строго по наставлениям в книжке Богданова, изданной для этой цели, в деревне Перевитской Зарайского у[езда] Рязанской губ. (древнем городище Перевитебске, по словам Ивана Дмитриевича), и все это, т. е. кости, доставил Беляеву, к его величайшему удовольствию. Добрейший старик всеми мерами старался также сделать меня археологом, но тщетно и, советуя наиболее всего заняться историей старых русских финансов, подарил мне несколько своих тетрадей с материалом по этому предмету и обещал впоследствии передать и другие. К сожалению, скоро наступившая смерть помешала ему выполнить благое намерение: подаренные тетради были вытребованы у меня обратно его братом и наследником, а затем разнородные причины отвлекли меня на всю жизнь от выполнения его прекрасного совета заняться историей русских финансов...

Самой крупной величиной на первом курсе юридического факультета в Москве 1860-х годов являлся, по распространенному мнению, знаменитый Никита Иванович *Крылов*, «солнце»,— как его назвали в речах на его похоронах,— юридического факультета, но таковое, впрочем, далеко не без пятен во всех отношениях... Несомненно, Н. И. Крылов, много лет занимавший кафедру римского права в Москве, был человек талантливый, весьма хорошо усвоил суть и дух римского права и умел его хорошо передавать ловким, образным языком, уснащая множеством наглядных примеров, сопоставлений, смотря по характеру передаваемых институтов. Его лекции посещались охотно, как спектакль какой-нибудь хорошей комической труппы, с

целью прежде всего посмеяться, а мимоходом, глядишь, что-нибудь в голове и останется...

В своем стремлении смешить Н[икита] И[ванович] очень часто, впрочем, переходил пределы дозволительного, не стесняясь скабрезными подчас примерами и произвольно неприличными сравнениями. Науку свою он давно уже оставил втуне, вероятно, еще задолго до знаменитых статей Бай-Бороды в «Русском вестнике», временем Каткова — Леонтьева[5], доказавшим всю его отсталость и малознание... Когда старые ученики соберутся, вспоминая и говоря о Никите, то непременно на языке их прежде всего вертятся и припоминаются какие-либо смешные анекдоты, а вовсе не пробуждение любви и любознательности, как бы следовало, под влиянием его чтений, к этой более точной и обработанной науке на всем юридическом факультете. В этом последнем, может быть, заключаются главным образом как значение и ценность, так и причины большой популярности этого даровитого, несомненно, старца для Московского университета. Нельзя также не сказать правду, что Н[икита] И[ванович] был с давних пор морально грязноват, и эта сторона вовсе не составляла секрета для его слушателей моего времени <...>.

Если не ограничиваться перечислением профессоров на первом курсе только, а называть всех более известных, то нельзя, разумеется, прежде всего не упомянуть о таком блестящем представителе науки, каким был Борис Николаевич Чичерин, известный столько же как специалист по государственному праву, сколько и русский историк. Ограничусь, согласно взятой мною программе, лишь немногими словами об этом замечательном нашем ученом. Он читал, начиная со второго курса, государственное право и политические учения, и то и другое серьезно и увлекательно. Всегда щегольски одетый, в лаковых сапожках, он поражал всегда нас, студентов, между прочим, своим джентльменством, что особенно резало глаза рядом с такими великими неряхами, как И. Д. Беляев и Н. И. Крылов. Лекции его как бы соответствовали его внешности, были красиво отделаны и изобиловали множеством фактов и требовали значительного внимания и вдумчивости, чтобы постигнуть дух и цель излагаемого им. В то либеральное время мы, юноши, были настроены на самый либеральный камертон. До нашего сведения уже дошло известие, что Чичерин ездил в Лондон к Герцену и как он разошелся с ним во взглядах, а так как А. И. Герцен в то время был

еще полубог, то мы натурально относились к Борису Николаевичу с некоторым предубеждением или по крайней мере недоверием...[6] Но вот он излагает свой обширный и серьезный курс. Насколько мы при этом понимаем, он ничего не искажает и не подводит непременно под желательный ранжир, а в каждом мнении взвешивает нелицеприятно доводы обеих спорящих сторон, приводя их часто к известному компромиссу, и притом иногда вовсе неконсервативного свойства. Так как Чичерин начинал читать со второго курса, а конституционное право — Дмитриев — лишь на четвертом, то, собственно, мы довольно рано в университете знакомились тогда от Чичерина со всеми выгодными сторонами и важностью для государства *представительных учреждений;* Чичерин своими серьезными и спокойными лекциями, idem per idem*, повторяя множество раз, сделал гораздо больше для пропаганды и популярности между тогдашних студентов — конституционализма, чем все остальные — в университете, не говоря уже о придавленной печати того времени, которая старательно, поневоле, подобных вопросов избегала...

Впоследствии, много лет спустя, когда Б[орис] Н[иколаевич], сделавшийся, как известно, московским городским головой, был внезапно и так несправедливо удален от этой должности[7], которую с честью занимал, за невинные намеки на конституцию в своей известной речи перед приезжими братьями славянами, мы, бывшие ученики Чичерина, крайне соболезновали об этом и тщетно надеялись, что будут какие-либо резкие протесты против этого от славян; но увы! тут мы ничего не дождались!.. и способный и деятельный Б[орис] Н[иколаевич] вместо московского благоустройства занялся в деревне химией!..

Из других известных профессоров-юристов моего времени назову еще В. Н. Лешкова, С. И. Баршева, В. А. Легонина, М. Н. Капустина, Ф. Б. Мильгаузена и К. Б. Бабста. Первый из переименованных — В. Н. Лешков — известнейший по своему чрезвычайному добродушию и привязанности к науке, полицейскому праву, которое он до гроба не хотел называть таким противным именем, обратно с огромным числом представителей этой науки в Европе и Америке, а именовал всегда «общественным правом» и старался подвести под нее всю ту разнообразную деятельность (что, разумеется, в сущности, представляло невозможную, невыполнимую задачу), которая совершается в

* Одно и то же *(лат.)*.

стране не государственной властию и не исключительно частной инициативой. Он был всю свою жизнь, вместе с Сергеем Андреевичем Юрьевым, поклонником «общественного духа» и «хорового начала» у русского народа и большой также защитник земельной общины, без которой, видимо, не мог себе представить русского мужика. Можно не соглашаться со многими его взглядами, но отнюдь нельзя отказать ему в последовательности, в стремлении к оригинальности и добрых намерениях, которые оказывали влияние на его воззрения и приводили иногда, может быть, к странным заключениям. Во всяком случае, я не могу соглашаться с резким мнением, которое громогласно и почти публично об этом почтеннейшем старике высказывал когда-то на рауте у Я. П. Полонского в моем присутствии Константин Петрович Победоносцев, о чем я буду сообщать в настоящих своих записках позднее...

Другой старец на нашем факультете, современник Никиты Крылова и его сотоварищ по происхождению, Сергей Иванович Баршев, довольно известен во всей России своею деятельностью, чтобы о нем много распространяться; скажу только, что он никогда не принадлежал и не относился к числу порядочных профессоров Московского университета по своей узкости и ограниченности. Лекции его в мое время представляли собой довольно скудный и краткий курс изложения немногих теоретических начал уголовного права, а главное — уголовных уложений, и все это было обильно оснащено ради развлечения анекдотами с той разницей от приемов и пристрастия к анекдотам Никиты Крылова, что у того приводимые им подчас остроумные сопоставления и историйки были действительно смешны сами по себе, per se*, тогда как анекдоты и остроты Баршева были лишь смешны по отношению к рассказчику, который был так наивен, что не замечал, что слушатели смеются, собственно, над ним, а не от его рассказа, как, например, в известном и любимом его анекдоте о «тайном советнике», захваченном полицией под воротами дома, когда он лез на любовное свидание (а когда под той же подворотней захвачен «неизвестный подозрительный субъект какого-либо низкого звания, то можно заключить, что он лез для воровства!?!). Несмотря на добросовестное отношение к его лекциям и интерес к самому предмету уголовного права, у меня с окончанием курса ровно ничего не осталось в голове, кроме нескольких подобных анекдо-

* Для себя (*лат.*).

тов. Как смотрели на Баршева его товарищи-профессора, из которых двое наилучших были вынуждены удалиться из университета благодаря этому самому Баршеву во времена его ректорства, можно судить по остроте чрезвычайно популярной в Москве профессора Дмитриева, когда Баршев был назначен почетным опекуном Воспитательного дома: «Наконец-то университет подкинул Баршева в Воспитательный дом!!!» Московскому университету Баршев оставил на память одно: упадок юридического факультета и портрет Филарета, вывешенный в актовом зале по его инициативе при шиканье студентов.

Михаил Николаевич Капустин, наш профессор энциклопедии права и международного права, был впоследствии директором Ярославского лицея и попечителем сначала Юрьевского, а потом Петербургского учебного округа. Добрейший Василий Николаевич Лешков, о котором мы говорили, неспособный, по-видимому, убить мухи, при мне, однако, два раза острил над тем, что фамилия М. Н. Капустина, нет сомнения, происходит от двух русских слов «как пусто», и действительно нельзя по совести не согласиться с этим предположением. Из двух предметов юридического факультета, читанных Капустиным, я решительно не сохранил ничего в голове ни в то время, когда учился, ни впоследствии, не усваивая также ничего из преподаваемого им в своих книжках. Я несколько раз впадал в отчаяние, приписывая это обстоятельство собственному недомыслию, скажем — тупости, но из расспросов всех моих товарищей, которых я успел спросить, получалось в ответ то же самое. Никто почти ничего из курса Капустина не мог усвоить, и должен был, как и я, взять на память. И действительно, я, помню, одолел настолько его курс энциклопедии права, что целые страницы мог говорить не останавливаясь, в то же время ничего не понимая. Собственно говоря, Михаил Николаевич, если оставить в стороне его ученую деятельность, был человеком весьма доброжелательным, готовым, насколько от него зависит, быть полезным всем и каждому. Он стоял в Москве весьма долго во главе разных благотворительных начинаний и учреждений в пользу студенчества, как-то: «частных общежитий, касс, временных пособий» и т. д. Каждый студент мог смело к нему явиться в положенное время, с надеждой, что он выслушает или даже сделает что-нибудь. Впрочем, я должен сказать, что я несколько раз лично обращался к нему с просьбами, он всегда принимал очень любезно и давал мне рекоменда-

цию уроков, но почему-то ни разу ни из одной рекомендации не вышло толку.

Нам остается охарактеризовать из более видных преподавателей, которых пришлось слушать в Московском университете, двух лиц, до некоторой степени соспециалистов: профессора финансового права Мильгаузена, моего бывшего патрона, Ивана Кондратьевича Бабста, профессора политической экономии и статистики, и В. А. Легонина, профессора судебной медицины.

Федор Богданович Мильгаузен представлял собой весьма почтенный тип профессора доброго, старого времени. Человек бесспорно очень умный, с огромным энциклопедическим образованием, он мог, кажется, читать по желанию любой предмет юридического факультета и читал их по временам в своей жизни несколько раз, и в то же время получилось как-то весьма мало видимых результатов от всей его обширной энциклопедичности и учености. За исключением одной лишь актовой речи о подоходных налогах (но в которой, я должен теперь сознаться, я ему несколько помогал), он решительно не написал ни одной печатной строки в жизни. Его страшила даже самая мысль что-нибудь печатать. Когда-то, в его молодости, кажется в 40-х годах, профессоров преследовали в России, если они много писали, и с тех пор почтенный Федор Богданович как бы выставил своим правилом: «Учись, но не показывай, по возможности, своей учености, ничего не печатай!» — что он и сделал; между тем в действительности Федор Богданович происходил из очень почтенной и образованной немецкой семьи в Москве (отец его был известный врач), родная сестра его, Елизавета Богдановна, сделалась супругой знаменитого Грановского, в доме которого отчасти и проводил свою юность Федор Богданович; все вместе, одним словом, предзнаменовало для него блестящую ученую будущность. Посланный за границу на несколько лет, он объехал лучшие германские университеты, учился довольно долго в Англии, но вернулся в Москву и занял кафедру, причем никто и не подумал, как от нас, грешных, в мое время, потребовать диссертации, вообще видимых знаков его работоспособности для замещения должности профессора.

Собственно, в области своей науки финансов Мильгаузен обладал весьма обширными сведениями и составил курс столь большой, что никогда не в состоянии был прочесть его целиком, причем курс этот год от году менялся

и обновлялся новыми отделами или экскурсиями в побочные науки, хорошо знакомые профессору. Так, одно время Ф[едор] Б[огданович] читал студентам древнюю историю, другое — части науки полицейского права и т. д. Вообще, обратно, со многими из тогдашних профессоров, Мильгаузен, под руководством которого пришлось мне готовиться к кафедре, отличался истинно немецким трудолюбием, был занят постоянно, и притом самым разнообразным образом. Одно время, например, он очень долго изучал новейшие путешествия по «черному континенту» Африки и очень охотно любил беседовать обо всех, в этом отношении, открытиях. Большой помехой, впрочем, для его занятий в университете являлась одна известная русская слабость, которой он был предан,— любил выпить и, к сожалению, много в этом грешил. Но нам придется о нем говорить еще раз далее по поводу оставления моего при университете и приготовления к профессуре.

И. К. Бабст, известный одинаково с Мильгаузеном по своей слабости к рюмочке, отличался от него, к своей невыгоде, очень многими качествами, которые вовсе не окупались многими достоинствами прекрасного курса и учености Федора Богдановича. Обратно с ним Бабст заботился только, видимо, о том, чтобы поменьше делать и побольше зарабатывать денег, потому все его время профессуры при мне он весьма мало посвящал своим профессорским обязанностям и очень много посторонним занятиям, дававшим ему, вероятно, большие деньги. Курс политической экономии и статистики, им читаемой, по моему убеждению, был крайне низкопробным. Политическая экономия представляла собою какой-то скудный конспект науки, изложенный, правда, понятным языком, но без всякой попытки к полноте ее изложения и к оригинальности. Статистика же была отрывком географии с большой примесью притом этнографических сведений о народах, населяющих Россию, особенно вдоль Волги. Из этого курса от студентов требовалось самое легкое знание: достаточно было разинуть рот и сказать два слова, чтобы Бабст ставил уже 5 и отпускал. Сочинения же, которые писались, как мы говорили, о личном примере, им совершенно не читались, и всегда ставились без разговоров высшие отметки, чтобы скорее сплавить экзаменующегося домой. Естественно поэтому, Бабст получал студенческих сочинений больше всех других профессоров юридического факультета.

Из старых профессоров, еще заслуживающих внимание,

пазову лишь двух: Виктор Алексеевич Легонин, бывший продолжительные годы секретарем юридического факультета и вполне добросовестно относившийся к молодым людям, вроде меня, впоследствии сделавшимся его товарищами; он помогал, где может, словом и делом. Такое же значение имел и профессор канонического права А. Н. Соколов, который, к сожалению, пробыл при мне лишь короткое время и совершенно неожиданно, к общему сожалению, скончался <...>.

Вторая половина моего студенчества, 3-й и 4-й курс, не принесли мне, к сожалению, ничего хорошего. Надежды и вера в затаенный план возможности посвятить себя науке и сделаться когда-нибудь профессором были у меня разбиты объясненным выше образом, и я не видел никакой возможности что-либо сделать для их осуществления.

Между тем мои ближайшие товарищи заметно опережали меня в знаниях чисто юридических предметов, необходимых для будущей их деятельности в суде. И вот, подражая им, и я забросил политическую экономию со всеми ее отраслями и начал почитывать книги по юриспруденции, вникать в тонкие построения римского права и критиковать с важностью X том, в то же время не имея более никаких занятий, которые бы захватывали мою умственную жизнь и возбуждали интерес, я уменьшил значительно чтение, начал чаще с товарищами покучивать и усердно посещать театр и разные увеселительные собрания и места. То, что сначала претило, скоро вошло во вкус, и на третьем курсе я уже сделался весьма изрядным кутилой, который часто шел впереди своих товарищей во всяких дурачествах, тем более что фортуна за это время мне благоприятствовала, я имел хорошие уроки и большие заработки, получая в месяц доходу иногда более ста рублей. Несмотря на все хорошие задатки моей прежней жизни, окружающая тина меня мало-помалу, видимо, затягивала. Исчезли прежние честолюбивые импульсы о профессуре в будущем, а затем ослабело какое-то самолюбие и самоуважение. Я уже не стыдился скоро своей пустой, бессодержательной жизни и в товарищеских пирушках не отставал от других в глупой похвальбе количеству выпитого и разных выходок!

Весь третий курс прошел самым печальным образом, без серьезных занятий. Наступили экзамены, надо было опомниться и быстро наспех готовиться, чтобы не провалиться и не потерпеть всех неудобных отсюда последствий. Но я

уже давно убедился по опыту, что университетские экзамены несравненно, в сотни раз, легче и снисходительнее гимназических и, при моей хорошей памяти, из многих предметов мне требовалось только несколько часов для ответа на целых пять баллов, но гораздо более трудно решить иной вопрос относительно сочинений, которые продолжали требоваться и на третьем курсе. И вот, к довершению своего нравственного падения, я решился на прямой подлог — обмануть профессора. Проф[ессор] Бабст, которому я подавал так неудачно раньше свои труды, в этот год (1867 г.) с е. в. наследником, Николаем Александровичем, у которого был преподавателем, уехал, если не ошибаюсь, путешествовать по России, поэтому все сочинения по политической экономии уже поступали к почтеннейшему Федору Богдановичу Мильгаузену, мною упомянутому профессору финансового права. И вот, основавши на этом расчете свой обман, я старое сочинение «О торговых путях в Средней Азии», раз уже поданное Бабсту, предъявил вновь на третьем курсе профессору Мильгаузену. Но тут вышла совсем другая история, или, как говорит поговорка, «совсем из другой оперы»... Добросовестный немец, обратно с Бабстом, прочел мое сочинение, мало того, заинтересовался им, и когда я явился к нему на экзамен, то, по окончании его, он вступил со мною в длинный по поводу него разговор и изъявил желание, чтобы я пришел к нему на квартиру объясниться и для дальнейшей беседы. Разумеется, крайне озадаченный и приятно возбужденный, я поспешил исполнить его желание и немедленно явился к профессору Мильгаузену в назначенное время. Оказалось, действительно Мильгаузен внимательно, слово за слово прочел довольно объемистый труд мой о торговых путях и испестрил рукопись разными заметками, ссылаясь на то, что будто бы он этим вопросом не занимался, требовал от меня разъяснений и подтверждений того или иного моего мнения. Я ему охотно, с великим удовольствием, как человек, влюбленный в свое дело, давал требуемые объяснения, и в результате Мильгаузен объявил мне, что сочинение мое настолько выдается между студенческими, что я так добросовестно и сознательно изучил выбранный мною материал и во всем отдаю отчет, что он считает своим долгом довести об этом до сведения юридического факультета и просить в виде отличия и поощрения напечатать мое сочинение в издаваемых тогда «Университетских известиях».

Итак, увы, оправдалось, к сожалению, иезуитское правило «ложь во спасение», и, благодаря моему обращению к Федору Богдановичу, я сразу получил то, о чем так жадно мечтал и чего не имел, вследствие недобросовестности профессора политической экономии. Он обратил внимание на меня, на мой труд и просил меня, о чем ни разу даже не упомянул Бабст, если нужно, посещать его, чтобы брать книги из его библиотеки (особенно новые немецкие) и, если нужно, с ним посоветоваться. При одном из следующих свиданий он уже довольно непрозрачно намекал мне, что «если я так буду заниматься до окончания университета, то он охотно такого студента может предложить *для оставления при университете и приготовления к профессорскому званию»*. Вот что значит прямо «быка взять за рога!».

Не буду описывать своего восторга после этого приключения, при воспоминании о котором, собственно, я должен краснеть... Этот случай подействовал на меня отрезвляющим, в буквальном и переносном смысле, образом. Я задумался опять о необходимости возобновить свои занятия над политической экономией и статистикой, начал вновь усердно почитывать книги и особенно упражняться в чтении по-немецки,— язык, который я знал всегда слабее французского с английским. Все шло благополучно, и сближение с Мильгаузеном, несмотря даже на упомянутую выше его слабость, действовало на меня благодетельно. Я опять начал больше думать о науке и своими недоумениями нередко беспокоить Федора Богдановича. Как все молодые люди, например, я, разумеется, также имел большую склонность к социализму и не раз по этому вопросу беседовал с Мильгаузеном. Спокойно, самым объективным образом Ф[едор] Б[огданович] мне объяснял и выставлял на вид слабые стороны и возражения против обобщения орудий труда и принудительного разделения имущества. Маркс тогда не существовал, как известный писатель, и мы о нем ничего не знали. Точно так же, другой раз припоминаю, у меня происходила с Мильгаузеном длинная беседа, на модный ныне вопрос с легкой руки Генри Джорджа и гр. Толстого, о так называемой «теории единого налога»[8], против которого решительно и остроумно Мильгаузен возражал, и подобные беседы естественно поднимали мой дух, бодрость и уверенность в себе.

Между тем, перейдя на 4-й курс, я уже более серьезно начал думать о способах утвердить доброе мнение Мильгаузена о моей персоне и написать что-нибудь хорошее для

курсового сочинения, которое на этот раз являлось уже кандидатским рассуждением. Темой для своего труда я выбрал сочинение «Рассуждение о незаконнорожденных», для чего взял из своего старого сочинения, поданного на первом курсе Бабсту, ржевской статистики все, что относилось к незаконнорожденным, и написал совершенно вновь несуществовавший отдел, юридический, о законах и правах незаконнорожденных по международному и русскому законодательствам. Таким образом у меня образовалось совершенно новое, с материалом отчасти старым, обширное «статистико-юридическое исследование о незаконнорожденных»; опять получилось что-то вроде 40 мелко исписанных листов. Я уже смотрел светлее на будущее и надеялся, что Мильгаузен его одолеет, и заблаговременно подал ему в конце мая, с просьбой прочесть до августа, когда я явлюсь-де за ответом, узнать о его достоинстве.

Четвертый курс окончился благополучно, я опять получал все пятки, чем никак не могу гордиться, ибо считаю, что университетская оценка успехов ниже всякой критики и отличается такой снисходительностью, о которой средние учебные заведения и не знают. Как бы то ни было, я очутился на распутье, чувствовал, что знаний у меня мало и определенного пути не было. Лишь одни мечты и надежды на Мильгаузена, которые могли рухнуть. И действительно ли обращение к этому источнику за помощью? Не надо забывать, что я окончил курс в 1869 г., когда сравнительно огромное количество молодых людей требовалось во вновь открытые и преобразованные суды, поэтому места давали сравнительно с последующим довольно скоро и легко, особенно кто хотел годик потерпеть и начать со старых учреждений, где-нибудь в провинции. Мне уже изрядно надоела бедность или, вернее, необеспеченность заработка: то имеешь много, то мало, и неизвестно, на что будешь обедать завтра. Правда, в целом большая часть моего университетского курса прошла благополучно, я имел иногда заработок, даже превосходящий мои желания и потребности, но были кратковременно и худые времена. Помню, например, как раз мне чрезвычайно нужно было скорее получить свой кандидатский диплом, а для этого следовало заплатить пошлины 6 р., и я очень долго затруднялся их найти, пока внес и получил желанный диплом для поступления на службу! У меня в это время были опять до некоторой степени сестры на руках. Одна, младшая, должна была скоро окончить в приюте, и надо было

найти ей место или обеспечение, другая, старшая, была без занятий, проживала у другой старшей сестры и чрезвычайно тяготилась безработицей, своим неопределенным положением и всячески заклинала меня поскорей взять место и взять ее к себе от занятий у чужих людей.

Я не мог, конечно, оставаться глух ко всему этому и решился одно время принести в жертву мои мечты о профессуре и сделаться практическим юристом. Почтенный прокурор окружного суда в Москве, в это время известный оратор, Михаил Федорович Громницкий, был мой добрый знакомый. Я обучал долго его племянника Сергея Михайловича Латышева (ныне помощник статс-секретаря). На мои просьбы помочь мне пробить дорогу, М[ихаил] Ф[едорович], всегда относившийся ко мне очень добро, объявил, что охотно мне может обещать, что если я поступлю к нему кандидатом, то в конце года могу рассчитывать на место судебного следователя, если же я хочу непременно иметь место немедленно, то это возможно только по старым учреждениям, и указал, между прочим, мне на возможность совсем скоро занять место следователя в городе Астрахани. Я поблагодарил его, немедленно подал прошение о зачислении меня кандидатом при прокуроре Московского окружного суда, Громницком. Я был утвержден кандидатом и поступил тотчас в канцелярию прокурора для приучения к письмоводству, с жалованием в 20 р. в месяц, которые, к несчастию, тогда довольно долго были единственным моим ресурсом.

Новая моя должность и занятие, как оказалось, частью были весьма приятны, потому что давали мне лишний повод часто видеть такого умного и милого человека, как мой главный начальник Михаил Федорович, которого я посещал еженедельно по нескольку раз. С другой стороны, однако, оказалось, что я сам человек весьма мало пригодный для исполнения принятых на меня обязанностей. Прежде всего, я обладал таким отвратительным почерком, что мне долго не могли придумать в канцелярии соответствующего занятия. Наконец, я обладал такой большой рассеянностью и вольностью в обращении с разными узаконенными канцелярскими словечками, что беспрестанно путал, например, «представление» с «предложением» и посылал их совсем по несоответствующему адресу. Например, однажды навлек неприятность и выговор на своего милейшего начальника Михаила Федоровича, потому что вместо «представления» его начальнику, прокурору судебной па-

латы Манасеину, я послал ему, ничтоже сумняшеся, «предписание» и т. д.; в другой раз перепутал срок для товарища прокурора явиться на Торговую площадь для исполнения судебного приговора о лишении звания и пр. Он понапрасну приехал туда, ничего там не нашел и явился к нам в канцелярию, разнося на все корки виновника этой, как он уверял, мистификации!.. Дело, которым я временно, но несколько месяцев все-таки должен был заниматься в канцелярии прокурора, было в высшей степени не интересно. Как я говорил, я наносил лишь добрым людям вред скорее, нежели пользу, Как раз в это время, в августе, я навестил Мильгаузена в Богородском под Москвой; он чрезвычайно расхвалил на словах мое кандидатское рассуждение о незаконнорожденных, о котором гораздо раньше дал хороший письменный отзыв. Он вновь, уже на этот раз с требованием серьезного ответа, повторял предложение быть оставленным при университете, посвятить себя науке. Мне было в высшей степени приятно это слышать, и в то же время я колебался, как решить, что лучше?!

Впоследствии и начиная с данного момента, я научился во всех затруднительных в жизни случаях, по рекомендации в одной книге примера и совета знаменитого американца Франклина, решать вопрос после предварительного его обсуждения для себя письменным образом: загнуть вдвое лист бумаги, на одной стороне написать все, что говорит за данное предложение, на другой — против, и в результате, взвесив обе стороны аргументаций, прийти к тому решению, на стороне которого больше веских доводов.

Я в первый раз попытался применить именно этот метод здесь по данному случаю, и все важные доводы были за принятие предложения Мильгаузена. Не довольствуясь этим, я решил еще обратиться за советом к наиболее мною уважаемому тогда человеку, каким являлся мой почтенный начальник прокурор М. Ф. Громницкий. Едва я ему рассказал, в чем дело, и спросил его мнение, М[ихаил] Ф[едорович], не колеблясь ни минуты, объявил мне категорически, что тут и думать нечего, настолько выгод и преимуществ имеет предложение со стороны университета и университетская дорога перед судебной. «Если бы даже,— добавил он мне,— с моим положением и семейством из нескольких детей, помимо жены, сделали такое предложение, то я, очень может быть, принял бы его без больших колебаний. Что же касается до Вас, молодого человека, в начале своей жизни, то я не могу себе представить от-

кровенно более лестного и выгодного предложения, и — бегите скорей! — вот мое мнение!»

После беседы с Громницким и решения его, я уже далее не колебался и немедленно, как теперь помню, в прекрасный августовский день, вечером, я поехал со своим приятелем и товарищем В. Ф. Клячиным в Богородское, где объявил Мильгаузену о своем желании принять его предложение, и по студенческой привычке мы вспрыснули окончание этого важного вопроса полдюжиной пива.

Вскоре же за этим решением, как гласит один официальный документ: «По ходатайству юридического факультета и Совета Московского университета 14 октября 1869 г. кандидат Иван Янжул оставлен при университете на 2 года для усовершенствования в науках». Таким образом моя прокурорская служба в министерстве юстиции продолжалась менее 4-х месяцев. Мой жребий был брошен, и я сделался профессорским кандидатом.

Тимирязев А. К.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ СТОЛЕТОВ

Старейший университет Советского Союза вспоминает Александра Григорьевича Столетова — свою красу и гордость[1]. Мы, работники университета, гордимся тем, что Александр Григорьевич Столетов, этот замечательный русский ученый, свои студенческие годы провел в стенах Московского университета. Мы гордимся тем, что вся его 30-летняя славная научная деятельность протекла в нашем университете. Он бессменно в течение 30 лет был в числе профессоров Московского университета.

Но мы должны отдать себе отчет в том, что великое дело жизни Александра Григорьевича нельзя измерять меркой одного только университета, даже такого, как Московский. А. Г. Столетов, безусловно, является одним из великих основателей физики в нашей великой стране.

Если Ломоносов, на заре развития естествознания в России, своими великими трудами, опередившими свой век, и всем своим примером воочию показал,

> Что может собственных Платонов
> И быстрых разумом Невтонов
> Российская земля рождать[2],

то все-таки он остался одиноким, после него не осталось сколько-нибудь выдающихся учеников, сколько-нибудь выдающихся последователей.

Но одно можно сказать, что со времени Ломоносова физика, выражаясь современным языком, прочно вошла в учебный план тогдашних университетов.

Однако за столетний период, отделяющий смерть Ломоносова в 1765 году от появления А. Г. Столетова на кафедре Московского университета в 1866 году,— преподавание физики, а еще в большей степени научно-исследова-

тельская работа, стояли, в общем, на очень невысоком уровне. Я этим вовсе не хочу сказать, что за этот период мы не имели выдающихся ученых, выдающихся физиков. За этот период мы имели В. В. Петрова, который в 1803 году опубликовал описание своих замечательных опытов с вольтовой дугой. Это было за 18 лет до официально признанной даты открытия вольтовой дуги в Англии сэром Гемфри Дэви. Мы имели за это время в Московском университете П. И. Страхова; к сожалению, его экспериментальные труды, сохранившиеся в рукописи, сгорели во время пожара в 1812 году, но от него остался очень хороший по тому времени учебник[3], и нам известно, что, в особенности в последние годы жизни, он занимался вопросом об испарении ртути при комнатной температуре. Мы имели за этот период Б. С. Якоби, изобретателя гальванопластики и первого электрического двигателя. Мы имели знаменитого Э. Х. Ленца, имя которого хорошо известно каждому школьнику, и его ученика Савельева в Казанском университете, работы которого высоко ценились заграничными учеными.

Но все эти выдающиеся люди и очень многие другие, которых я не упомянул, при всех своих заслугах и достоинствах, не смогли оказать на развитие физики в нашей стране такого влияния, какое оказал за 30 лет своей славной деятельности в Московском университете Столетов. Поэтому в своем обзоре жизни и трудов А[лександра] Г[ригорьевича] я постараюсь обратить ваше внимание главным образом на те характерные черты его таланта, которые именно его поставили в центре физиков его эпохи, а что он стоял в центре, лучше всего покажет небольшой список членов кружка, организованного Столетовым. Входившие в этот кружок ученые впоследствии стали выдающимися, а некоторые и прямо знаменитыми в нашей стране. Достаточно указать, что в том небольшом кружке, который собирался на квартире у Столетова после его приезда из-за границы, принимали участие такие люди, как Н. Е. Жуковский — известный теоретик авиации, профессор механики Слудский, знаменитый астроном Бредихин, а из физиков — В. А. Михельсон, по книге которого учится современное советское студенчество[4], Д. А. Гольдгаммер, Н. А. Умов, который много лет занимал кафедру в Московском университете, Н. Н. Шиллер — видный теоретик, к сожалению, впоследствии приобретший весьма печальную славу реакционера, а в философии идеалиста[5], Р. А. Кол-

ли[6], А. П. Соколов, П. А. Зилов. Если к этому еще добавить, что Столетов был в дружеских отношениях и в научном отношении влиял на киевского профессора М. П. Авенариуса[7], который создал вокруг себя выдающуюся школу физиков (Надеждин, Зайончевский, Страус), и если вы вспомните, что П. Н. Лебедев, который завершил великое дело Столетова основанием первой большой научной школы в Московском университете, был приглашен в Московский университет благодаря настояниям Столетова, которому пришлось выдержать при этом очень большую борьбу, то вы увидите, что Столетов, несомненно, является основателем физики в нашей стране. Ведь все эти люди, о которых я только что сказал, с гордостью считали себя учениками Столетова, и как ученые они воспитывались под непосредственным его влиянием.

Вы видите, таким образом, что Столетов выступил на арену истории, физики в нашей стране уже не как одиночка, а окруженный могучей группой последователей...

Столетов выступил в качестве профессора и ученого во второй половине 60-х годов, когда Россия уже полностью стала на рельсы капиталистического развития и пошла по пути других капиталистических стран Европы. В это время начала развиваться промышленность, и эта новая промышленность, которая возникла на нашей почве, оборудовалась весьма современной, по-тогдашнему, техникой. Само собой разумеется, что это не могло остаться без влияния на постановку преподавания таких наук, как физика, в нашей стране. Несомненно, уровень преподавания в эти годы значительно повысился. Но такие люди, как А[лександр] Г[ригорьевич], которые шли впереди всех, не могли этим удовлетвориться: им было недостаточно, что науку лучше стали преподавать в нашей стране, они хотели, чтобы не только науки преподавались, но, выражаясь словами Петра I, «оные производились» в стенах высших учебных заведений. А это как раз не входило в планы тогдашних руководителей царской России. Они рассчитывали, что за научной и технической помощью всегда можно обратиться за границу.

Я думаю, что в этом противоречии и кроется причина той трагедии, которую переживали люди поколения Столетова. Их не ценили только на их родине. Ведь нам известно, что Д. И. Менделеев, А. Г. Столетов, И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев, П. Н. Лебедев так и остались за бортом Академии наук, такие же выдающиеся техники, как

Лодыгин, Яблочков и Доливо-Добровольский, вынуждены были искать приюта на далекой чужбине.

А между тем, стоило А. Г. Столетову появиться на 1-м Конгрессе электриков в 1881 году в Париже, как сразу на него обратили внимание съехавшиеся со всех концов земного шара физики. На этом конгрессе присутствовали все выдающиеся представители нашей науки. На первом же заседании, когда был поставлен вопрос об установлении единицы сопротивления, сразу возникли большие споры. С теоретической стороны правильно было предложение комиссии Британской ассоциации, установившей единицу сопротивления, ту единицу, которую мы и теперь называем «омом», но те физики, которые над этим работали, приготовили эталоны, которые уже через несколько лет изменились, и поэтому возникли большие затруднения. С другой стороны, немцы выдвинули в качестве единицы «симменс», т. е. сопротивление столба ртути сечением в кв. миллиметр и высотой в один метр. На первом же заседании конгресса возник горячий спор, и этот спор был решен Столетовым, который выдвинул проект, основанный на принципах, предложенных английскими учеными, причем указал на необходимость продолжать и уточнять их работу, а в качестве эталона предложил пользоваться немецким проектом, но за длину столба взять не 100 см., а ту длину, которая соответствовала теоретической величине ома. Этот план, предложенный Столетовым, был единогласно принят на следующем же заседании конгресса[8]. Заслуживает также внимания предложение Столетова о необходимости сохранить обе системы единиц — и электростатическую и электромагнитную. Интересна та формулировка, которая была дана Столетовым в пользу этого предложения. Он указал на небходимость сохранить обе системы единиц для того, чтобы постоянно напоминать о той связи, которая, по-видимому, существует между светом и электричеством. Это было в 1881 году, когда теорию Максвелла[9] почти совершенно не знали, т. е. когда она, по меткому выражению Больтцмана, была «книгой за семью печатями». Уже на этом примере видно, что А[лександр] Г[ригорьевич] шел впереди своих современников, впереди своего века.

Когда через 8 лет, на 2-м Конгрессе электриков, снова появился А[лександр] Г[ригорьевич] и выступил с блестящим докладом о своих классических актино-электрических исследованиях[10], его сейчас же выбрали в качестве первого вице-президента конгресса. Президентом был тог-

да же избран знаменитый английский физик Вильям Томсон.

У нас только через 4 года после того, как конгресс электриков выдвинул Столетова в первые ряды, в 1893 году поставлен был вопрос об его избрании и в Российскую академию наук. И в результате получилось следующее. Президент академии, великий князь из дома Романовых[11], своею властью снял эту кандидатуру[12] и вместо него выдвинул в кандидаты князя Голицына, магистерскую диссертацию которого Столетов вернул автору для исправления ввиду того, что там были серьезные ошибки...[13]

Голицын впоследствии сделал значительные исследования в области сейсмологии, усовершенствовал сейсмограф, но, конечно, сравнивать Голицына и Столетова или тем более предпочесть Голицына Столетову — это был наглый вызов тогдашней русской науке.

Как ответила лучшая часть ученых того времени на этот вызов? Открыто протестовать в то время не было возможности. Позволю себе привести маленькую выписку. То, о чем я вам только что рассказал, происходило в октябре 1893 года, а в январе 1894 года происходил Съезд естествоиспытателей и врачей. На этом съезде председателем был мой покойный отец К. А. Тимирязев. Я приведу выдержку из его заключительной президентской речи, касающуюся А. Г. Столетова:

«В деятельности секций выдвинулась вперед одна особенность, встреченная общим сочувствием: это ряд блестящих демонстративных сообщений и научных выставок. Пальма первенства в этом отношении, по всеобщему признанию, должна быть присуждена секции физики.

Благодаря неутомимой энергии и таланту профессора Столетова и его талантливых и энергичных сотрудников, члены не одной только секции физики[14], но и других секций могли ознакомиться с рядом блестящих новейших опытов, какие можно увидеть в такой форме разве только в двух-трех научных центрах Европы».

И вот, по словам очевидцев, когда были произнесены эти слова, все члены съезда, переполнившие знакомый москвичам Колонный зал в числе около 2000, встали, как один человек, и устроили Столетову бурную овацию. В течение нескольких минут стены буквально дрожали от аплодисментов.

То лучшее, что было в ученом мире старой России, этой

овацией ответило на дерзкий вызов царского правительства и его приспешников.

Но трения, которые возникли в связи с отказом принять диссертацию Столетова, все больше и больше разрастались. Я приведу по своей памяти рассказ моего покойного отца о совершенно дикой сцене, которая разыгралась в профессорской комнате (эта комната в старину помещалась в нижнем этаже того здания, где теперь находится Коммунистическая аудитория, с левой стороны). Один из наиболее правых, реакционно настроенных профессоров, юрист граф Комаровский в этой комнате рассказывал о своей беседе с министром[15]: «Ну, теперь, господа, вы можете быть спокойны: никаких студенческих волнений больше не будет. Министр решительно заявил, что при первой студенческой истории вот этот молодчик (он при этом кивнул головой в сторону Столетова) вылетит из университета...»

Таких сцен пришлось А[лександру] Г[ригорьевичу] пережить не мало. Я думаю, вам теперь будет ясен смысл слов Столетова, которые услышали от него его близкие за несколько дней до его смерти: «Были у меня неприятности и похуже, да и силы были не те...»

Такова была судьба этого замечательного ученого в царской России.

Теперь поставим основной вопрос — какие же особенности таланта А. Г. Столетова поставили его в центре физиков его эпохи? Начнем прежде всего с его научных работ...

Прежде всего, темы, которые выбирал Столетов, были всегда новыми, они даже были настолько новы, что не все окружавшие его физики, как наши, так и заграничные, понимали смысл и значение этих работ. В своих работах он шел впереди своего века...

Все его основные работы были такого рода, что Столетов в них шел на несколько голов впереди окружающих его физиков. Это одна сторона. А если мы посмотрим, как эти работы были выполнены, то можно сказать одно: если мы рассмотрим эти работы сейчас, в эту минуту, то многое к ним мы можем добавить,— да это и не может быть иначе, ведь наука движется вперед,— но вычеркнуть из работ Столетова ничего нельзя. В области его классических актино-электрических исследований самые измерения, которые были выполнены еще при очень несовершенном оборудовании, с современной точки зрения выполнены

настолько тщательно, что даже их числовые результаты мало чем отличаются от данных, полученных в последующих работах, выполненных через много лет после Столетова с более совершенной техникой.

Третья особенность, которой могут позавидовать многие из современных ученых, это необыкновенно тонко развитый критический талант Столетова. Все его работы проникнуты весьма тонкой, порою весьма крутой, но всегда справедливой критикой. Как часто для того, чтобы показать, что мы не отстаем от века, мы передаем другим сразу, без критики все то, что появилось в последней книжке журнала. Столетов никогда этого не делал. Он, прежде чем выступать на лекции, всегда тщательно обдумывал и подвергал строжайшей критике все, о чем сообщал на своих лекциях.

И, наконец, четвертая сторона, характерная для Столетова,— это необыкновенная разносторонность. Если вы возьмете темы работ А[лександра] Г[ригорьевича], то увидите, что они касаются самых разнообразных отделов физики. И это было понятно. Человек, который значительно двинул вперед физику в нашей стране, должен был увлекать своих учеников, а увлечь, конечно, мог только тот, кто сам не был узким специалистом. В наше время, когда физика в СССР уже прочно стоит на своих ногах, даже узкий специалист, создавший, скажем, школу в своей узкой специальности, может сделать очень многое. Но тогда, когда кругом почти ничего не было, нельзя было сосредоточиваться в какой-нибудь маленькой области, тогда необходимо было обладать той разносторонностью, которой обладал А[лександр] Г[ригорьевич]. Его лекции потому и были так привлекательны, что в сжатых словах, которые он говорил в своем курсе по каждому вопросу, чувствовалось, что за ними кроется колоссальная предварительная работа, что каждый вопрос курса он тщательно продумал и что за каждым словом, может быть, кроется длительное и упорное исследование.

Переходим к выяснению философских взглядов Столетова.

Всякий, кто хотя бы бегло познакомится с его прекрасными общедоступными лекциями и речами, сразу увидит, что мы имеем дело с человеком, прочно стоявшим на материалистических позициях. Этот материализм в работах А[лександра] Г[ригорьевича] выступает всего яснее в его замечательных выступлениях против Маха и Оствальда. Не

забудьте, что это было в 1894 году. Столетов сразу понял реакционное значение философии Маха и Оствальда и как физик выступил с резкой критикой...

Успехи в области физики А[лександр] Г[ригорьевич] сопоставляет с событиями общественной жизни. По тому времени упомянуть о том, что революция вызывала расцвет науки, было большим гражданским мужеством,—в то время, в особенности на юридическом факультете, при слове «революция» люди содрогались. Таким образом, и в вопросах, связанных с изучением истории науки, Столетов приближается к нашим современным взглядам. Он — человек нового времени <...>.

Ковалевский М. М.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В КОНЦЕ 70-х И НАЧАЛЕ 80-х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА

(Личные воспоминания)

Писать своих мемуаров я никогда не собирался. Как историк, я знаю слабую цену этого источника. Если в наше время приходится перерабатывать прежние повествования о целых периодах в жизни новых народов, то главным образом потому, что эти повествования, как основанные по преимуществу на мемуарах, оказывались нередко далекими от истины и во всяком случае дающими несколько иную оценку событий, чем та, какая получается исследователем на основании данных, восходящих к самой эпохе совершения этих событий. Это не значит, чтобы авторы мемуаров движимы были сознательным желанием представить в неверном свете все или часть ими изображаемого. Это объясняется иной причиной, а именно тем, что мемуары пишутся на значительном расстоянии от того времени, которого они касаются, и что авторы их невольно подчиняются влиянию окружающей их обстановки и создаваемого ею настроения — а оно, очевидно, не всегда сходно с тем, какое было пережито ими в то время, когда развертывались самые события. Однажды на мой вопрос Алексею Феофилактовичу Писемскому, почему он не пишет своих воспоминаний, я получил следующий ответ: «Пробовал не раз, но со второй страницы уже чувствовал, что говорю не то, что было; чувствую, а удержаться не могу». В этих словах конкретно передается, в сущности, та же мысль. Автор желал бы вернуться к тому настроению, какое он пережил в момент, им изображенный, желал бы — и не может; почему и получается, в конце концов, неправильное освещение.

Сомневаясь в значении мемуаров, как исторического источника, и далекий от мысли обогащать изящную словесность чем-либо подобным «Детству и отрочеству» Тол-

стого[1], я ставлю себе иную задачу: мне хочется в 1910-м году представить читателю, как рисуется в моем воображении умственная жизнь Москвы и ее университета в то десятилетие с 1877 по 1887 год, когда мне самому приходилось стоять довольно близко и к преподаванию, и к различным литературным кружкам Первопрестольной.

Знакомство мое с Москвой началось с экзамена на звание магистра. После четырехгодичного ученичества в Берлине, Лондоне и Париже[2] и отпечатания первых научных работ я счел возможным посвятить себя профессорской деятельности. Пришлось начать, как и всем, с подготовки к экзамену. Требования, поставленные мне факультетом, были далеко не чрезмерны. Четырех недель хватило, чтобы воскресить в памяти ранее читанное. В эти четыре недели, живя в скромном номере гостиницы, я постепенно завязывал сношения с людьми, с которыми впоследствии открылась возможность действовать заодно и в университете, и вне его стен. Кружок молодых профессоров часто собирался в это время у Янжула, Чупрова, Муромцева и Стороженко. Двух из названных лиц я знал еще за границей. Мои занятия английскими учреждениями и их историей сблизили меня с ними. И Янжул, и Стороженко приняли меня, как старого приятеля. Чрез них я познакомился и с Чупровым, дружба с которым продолжалась до его кончины, и с Муромцевым; добрые отношения с ним длятся и по настоящий день. Что приятно поразило меня при встрече и более тесном знакомстве со всеми названными лицами — это их готовность послужить своим знанием и своей энергией не отвлеченной науке, а запросам жизни. Они стояли в самом центре того умственного и общественного движения, которое ставило себе задачей сближение с народом, тесное знакомство с его бытом, посильное удовлетворение его нужд и, одновременно, воспитание руководящих кругов в сознании их долга перед крестьянской и рабочей средой. Чтобы не быть голословным, напомню, что Чупровым в значительной степени создана в России земская статистика[3], что Янжул был одним из первых писателей, обративших внимание на необходимость отмены некоторых косвенных налогов, в том числе налога на соль, что им начато серьезное изучение фабричного законодательства на Западе[4] и подготовка первых наших законов, клонящихся к защите женского и детского труда, что фабричная инспекция, введенная в министерство Бунге, в значительной степени была вызвана к жизни его литератур-

ной агитацией и что наиболее яркие страницы из его собственной биографии связаны с образцовым выполнением им обязанностей московского фабичного инспектора[5]. Муромцев, по самому характеру своей специальности — римскому праву,— стоял, по-видимому, несколько дальше от вопросов русской действительности; но, принадлежа к последователям исторической школы правоведения, являясь, в частности, учеником автора «Духа римского права» Иеринга[6], он рано проникся той мыслью, что ученый-юрист призван содействовать развитию правосознания в обществе, что это правосознание должно вырасти на почве научного изучения как действующего законодательства, так и народного обычая, что юридические общества могут немало сделать в этих обоих направлениях, особенно если при них существует постоянный орган, научно освещающий текущие вопросы юридического творчества в его тесном общении с жизнью. Муромцеву Москва обязана оживлением упавшего интереса и к «Юридическому вестнику», и к тому обществу, которого он был отражением[7]. Общественные науки, экономика и статистика, впервые введены были в число тех, которыми стали интересоваться и которые начали разрабатывать собрания ученых теоретиков и судебных практиков, происходившие обыкновенно раз в неделю в университете для чтения сообщений и совместного обсуждения вопросов, возбуждаемых докладчиками. Занятие экономическими науками в скором времени настолько разрослось, что, по инициативе Чупрова, открыто было в юридическом обществе особое отделение, посвященное изучению вопросов обществоведения; наиболее выдающиеся доклады печатались затем в «Юридическом вестнике» и немало содействовали научной постановке у нас статистической работы. Что касается до Стороженко, то это был не только историк литературы, но и историк культуры. Он понимал то значение, какое имеет при толковании памятников письменности и художественного творчества освещение их разносторонним изучением той среды, в которой они появились. Охватывая в своих курсах целые периоды мировой литературы, Стороженко вводил слушателей и в эпоху итальянского Ренессанса, и в Елизаветинскую Англию, и в век короля Солнца — с характеризующей его псевдоклассической трагедией и реалистическим изображением в комедиях Мольера жизни разнообразнейших классов французского общества. Век Мильтона и век Вольтера одинаково хорошо были известны человеку, сумевшему в

то же время настолько специализироваться на изучении прямых предшественников Шекспира, что, когда англичанам понадобилось снабдить научным комментарием новое полное собрание сочинений драматурга Грина, они остановились на мысли о переводе диссертации русского профессора[8].

Поименованные мною лица принадлежали к числу самых близких моих приятелей в течение десятилетия, проведенного мною в Москве. Но список их надо восполнить еще одним ученым, специальность которого, как можно было думать, удалит его от жизни, тогда как на самом деле она только позволяла ему изучать эту жизнь под известным углом зрения. Я имею в виду санскритолога Всеволода Федоровича Миллера. Занятие сравнительным языкознанием открыло для него возможность изучения и русского фольклора, и языков тех народностей нашего Кавказа, которые, как, напр[имер] осетины, принадлежат к одной с иранцами и индусами семье арийских племен[9]. Понимая весьма широко задачи ученого-филолога и тесную связь этих задач с теми, какие ставит себе историк культуры, историк верований, нравственности и права, В. Ф. Миллер остановился на мысли о пользе издания особого органа научной критики, посвящающего себя разбору столько же сочинений по обществоведению, сколько по истории или филологии. Осуществлением этой мысли явилось «Критическое обозрение», полтора года выходившее под нашей общей редакцией и при сотрудничестве по преимуществу профессоров Московского университета как по юридическому, так и по историко-филологическому факультету[10]. Участие в нем таких людей, как Буслаев, С. М. Соловьев, Троицкий, Корш, Кареев, Лучицкий,— причина тому, что «Критическое обозрение» и по настоящий день не потеряло своей цены. Кто, например, из лиц, интересующихся историей русского искусства, не прочтет с удовольствием статьи Буслаева, посвященной научной критике книги Виоле-Ледюк о русском искусстве?[11] В. Ф. Миллеру я обязан не только многими указаниями, позволявшими мне расширить круг моих чтений по вопросам первобытной культуры и первобытного права, но и первым моим знакомством с бытом кавказских горцев. В его обществе предприняты были мною поездки к осетинам, кабардинцам и горским татарам[12]. Они дали мне возможность собрать тот этнографический материал, на основании которого написана моя книга «Современный обычай и

древний закон»[13]. Переведенная на французский язык[14], она сочувственно была встречена не только сравнительными историками права, но и эллинистами, посвящающими себя изучению семейных и общественных порядков Гомерической Греции и раннего быта Спарты и Афин; настолько сходны во многом эти два быта — древнегреческий и осетинский.

В профессорах московского юридического факультета я встретил полную готовность привлечь меня к преподавательской деятельности. Предложение в этом смысле сделано было мне проф. Мильгаузеном немедленно вслед за моим экзаменом. В 1877-м году я приступил к чтению курса по сравнительной истории права и посвятил его изучению с моими слушателями истории развития семьи и собственности. Одновременно я сделался одним из трех редакторов «Юридического вестника», сперва в сообществе с Лешковым, а затем с С. А. Муромцевым. К последнему вскоре перешло действительное руководство этим изданием, что и дало мне возможность выйти из редакции и посвятить себя всецело «Критическому обозрению».

Первые месяцы, проведенные мною в Москве, совпали с оживленной деятельностью славянофильских кружков, вызванной поддержкой сербских добровольцев, а затем войною с Турцией, из-за освобождения Болгарии[15] В доме А. И. Кошелева мне пришлось встретиться и с генералом Черняевым[16], и с И. С. Аксаковым, и с некоторыми членами семьи Самарина. Юрия Федоровича, к сожалению, уже не было в живых[17] Черкасский уехал в Болгарию и вскоре умер[18]. Общественное настроение было приподнятым. Интерес к южным славянам значительно возрос после того, как пришло известие о гибели одного из первых добровольцев — Киреева[19], брата известной О. А. Новиковой[20], с которой познакомил меня еще в Лондоне молодой русский философ В. С. Соловьев. Весьма популярная уже в это время среди лондонского высшего общества, считавшая в числе своих друзей и частых посетителей и историка крымской кампании — Кинглека[21], и многих членов английского духовенства, сочувственно относившихся к сближению с православием, Ольга Алексеевна направила свою дальнейшую деятельность на ознакомление англичан с действительным характером русского славянофильства. Она в значительной мере рассеяла предубеждение, будто под славянофильством скрывается желание России объединить под своей державой все родственные ей по крови и языку

народы. Такие выдающиеся деятели, как Гладстон, перестали видеть в славянофильстве нечто тождественное с панславизмом, а в нашем вмешательстве в распрю болгар с Турцией — одно желание овладеть Константинополем. Гладстон открыто выступил сторонником поддержки английской дипломатией заступничества России за угнетенных братьев-славян[22]. Он осудил в печати жестокости, содеянные турками в Болгарии, и впервые для англичанина указал ошибочность той политики, которая добровольно закрывала глаза на фанатизм и насилие Высокой Порты. С целью завоевать общественное мнение в пользу угнетенных и уже поднявшихся славян Сербии и Болгарии устроен был в Лондоне обширный митинг, на котором мне пришлось слышать и Гладстона, и историка Фримана, открыто осуждавших поведение английского кабинета и его главы Дизраэли, за их безнравственное равнодушие к турецкой расправе с восставшими. Для участия в этом митинге прибыли и делегаты от болгар, Цанков и Балабанов. При незнакомстве их с английским языком, они не прочь были пользоваться услугами тех из русских, кто, подобно мне, могли служить им переводчиками. Из бесед с ними я впервые познакомился с той обстановкой, в какой совершились удачные попытки балканских славян освободить себя от турецкого ига. Я в состоянии был оценить значительность тех услуг, какие оказаны были этому делу и деятельностью генерала Черняева, и агитацией в пользу сербов и болгар славянского благотворительного общества, одинаково в Петербурге и Москве. Поэтому, когда последовала ссылка И. С. Аксакова в деревню[23], я был из числа негодующих. Застав в Москве значительный подъем общественного настроения, сказавшийся и в успешном сборе пожертвования в пользу добровольцев по церквам, и в воинственном настроении с трудом сдерживаемой цензурой печати, я, впрочем, не поддался общему течению, хотя оно и связывало искусственно, на мой взгляд, с славянским освобождением наступление конституционной свободы и для нашего отечества. Дважды мне пришлось даже вызвать недовольство славянофильских кругов: однажды — критикой в статье, напечатанной в «Вестнике Европы», изданных кн. Черкасским материалов для изучения Болгарии[24], а другой раз — разбором выработанного сенатором Лукьяновым проекта болгарской конституции[25]. «Материалы для изучения Болгарии» отразили на себе ложное понимание русскими устроителями болгарских су-

деб характера магометанского права. Составители «Материалов» воспроизводили старую небылицу о том, что Коран и Суны не допускают существования никакого вида частной собственности на землю и отдают ее в руки главы правоверных — калифа или султана. Русский проект болгарской конституции, в свою очередь, вызвал мое неодобрение желанием всячески ограничить и функции представительного собрания, и участия народа в выборе депутатов; треть их, согласно проекту, должна была назначаться князем. Я отметил это сознательное искажение представительных порядков, а болгарские политические деятели воспользовались моей критикой для того, чтобы при обсуждении русского проекта выбросить из него отмеченные мною статьи.

В критике работ, изданных под руководительством князя Черкасского, московские славянофилы увидели поход против одного из своих выдающихся вождей, чего, разумеется, не было в действительности; а за разбор русского проекта болгарской конституции редактор «Московских ведомостей» Катков прочел мне, не называя меня, впрочем, по имени, такую отповедь, которая сразу должна была вызвать внимательное отношение ко мне «недреманного ока». Оно еще усилилось с момента окрытого осуждения мною первого, быть может, выступления черной сотни против учащейся молодежи, в памятном избиении московских студентов охотнорядцами. С этого времени я попал на дурной счет. Последствия этого сказались, впрочем, не сразу, а несколько времени спустя, когда ректор университета Тихонравов был вызван министром народного просвещения, гр<афом> Толстым, в Петербург для дачи показаний о том, насколько верен полученный министерством донос, будто преподаватель Ковалевский на своих лекциях заявлял о невозможности в России другого строя, кроме республиканского. Так как лекции мои были посвящены сравнительной истории права, и притом в ранние периоды его развития, то мне не было и оснований высказывать моих взглядов по вопросу о том, какой государственный порядок всего более приличествует России. Тихонравов поручился за меня, что ничего подобного мною сказано не было, и министерство оставило меня в покое.

Во все время моего пребывания в Москве и ее университете мы продолжали жить довольно тесной семьей. Общение с профессорами разных факультетов было несравненно более деятельнее, чем то, какое существует в Пе-

тербурге. Университет был центром всех интересов для каждого из нас, а для кругов, стоящих вне его стен, тем очагом, из которого шли руководящие течения общественной мысли. К чести университета надо сказать, что эти течения были освободительного характера. Большинство руководителей были проникнуты любовью к знанию, к свободе научной мысли и свободе общественной деятельности. Многие с большим или меньшим нетерпением ожидали завершения реформ, начало которым положено было 19 февраля, и с болезненным чувством относились ко всякому новому проявлению реакции, постепенно охватившей правительственные круги со времени польского восстания[26]. Было и ближайшее основание к недовольству. Предвидели, что в скором будущем положен будет конец автономному строю наших университетов[27] и что многим из нас придется расстаться с своей преподавательской деятельностью.

Незадолго до моего вступления в число лекторов комиссия, получившая от министерства народного просвещения полномочие разъезжать по университетам и собирать в них сведения о постановке преподавания, с целью подготовить материал для составителей нового университетского устава, посетила и Москву. До сведения членов совета дошло, что один из наших профессоров, физик Любимов, одновременно редактор «Русского вестника» и прислужник Каткова, позволил себе дать университетским порядкам не отвечавшую действительности и крайне резкую оценку[28]. В недавно напечатанных воспоминаниях Г. Н. Вырубова[29], профессора Collége de France по истории наук, дана характеристика этого господина и как псевдоученого, и как сомнительного общественного деятеля. Как псевдоисторика знают его те, в настоящее время уже немногие, читатели, которые заглядывали в его запоздалый памфлет против французской революции[30] Помню, что я и тогда удивлялся, да и теперь не могу понять, почему доносы этого сотрудника Каткова могли вызвать в членах совета раздражение достаточно сильное, чтобы побудить значительное большинство профессоров к посылке ему коллективного письма, извещавшего о решении порвать с ним всякий товарищеский обмен. Ведь не вызывает же ныне однохарактерное поведение г. Пуришкевича или г. Маркова II-го в ком бы то ни было из лиц, ими оклеветанных, или единомышленников этих лиц, желания вступить с ним в какой бы то ни было обмен мыслей, даже тот, какой предполага-

ет заявление о разрыве дальнейших сношений. В письме, полученном г. Любимовым, значилось, что отныне с ним порваны всякие связи и прекращается даже простое знакомство. Г. Любимов пожелал сделать вид, что считает такое заявление несерьезным. При встрече в профессорской с С. А. Муромцевым, бывшим в то время только преподавателем университета, Любимов как ни в чем не бывало протянул ему руку, хотя Муромцев и был одним из лиц, подписавших коллективное послание. Незначительное положение, занимаемое пока в университетской корпорации молодым ученым, отчасти объясняет расчет Любимова, что протянутая рука не останется в воздухе. Но Муромцев поспешил разуверить его на этот счет. Последствием был новый донос Любимова, на этот раз — уже высшему начальству, а последнее, в лице министра просвещения графа Толстого, воспользовалось представившимся случаем, чтобы возложить ответственность за все происшедшее на тогдашнего ректора университета, знаменитого русского историка С. М. Соловьева. Сопровождаемый всеобщим уважением и глубоким сочувствием всей университетской корпорации, Соловьев покинул ректорство, а вслед за тем и профессуру. Но, желая показать, что им сохранены самые лучшие отношения с университетом, он, по просьбе товарищей, продолжал читать лекции на правах преподавателя, по единогласному выбору факультета. Соловьев казался опасным министру Толстому как человек лично известный Александру II-му и имевший поэтому возможность в решительную минуту поддержать своим веским словом университетскую автономию и дарованный самим императором устав 1863-го года. Что касается до Любимова, то он понял преподанный ему урок и ни разу во все мое пребывание в университете не попадался более никому из нас на глаза, ни в профессорской, ни в университетском совете. Стойкость, обнаруженная Муромцевым, привлекла к нему симпатии и сделала его популярным. Наоборот, резкое выступление сына С. М. Соловьева, известного впоследствии философа, в пользу Любимова, вызванное на деле желанием отстоять свободу каждого высказывать свои убеждения, каковы бы они ни были, получило настолько невыгодную интерпретацию, что отповедь, данная ему на одном из вечеров у В. И. Герье, самим же хозяином, встречена была сочувственно. Владимиру Сергеевичу поставлена была на вид неблаговидность его поведения по отношению не только к товарищам по корпорации,

но и по отношению к отцу, которого тот же Любимов гнал со службы своими доносами. Поддержанный ранее на университетских выборах тем же Герье, который теперь так резко осуждал его поступок, Владимир Сергеевич впервые почувствовал желание разорвать связь с нашей коллегией и преподаванием в ней. Крайне самолюбивый, он не вынес резко изменившихся к нему отношений и профессоров, и студентов — и вышел из состава доцентов Московского университета.

Недолго сохранили мы в своей среде и С. М. Соловьева. Пережитые им неприятности ускорили его конец. На похоронах сказалось сердечное к нему отношение и его товарищей, и университетской молодежи. Гроб его несли до могилы на протяжении нескольких верст профессора, преподаватели и студенты. Когда я вспоминаю в настоящую минуту мое кратковременное с ним знакомство, передо мною рисуется образ человека с очень определенными убеждениями, очень стойкого в их проведении в жизнь. Сергей Михайлыч нередко в резкой форме высказывал свою мысль, не боясь задеть самолюбие и старых своих приятелей, вроде Чичерина, и новых посетителей своих пятниц. Я помню, как однажды в моем присутствии он напал на своего же кандидата на оставленную им кафедру — на В. О. Ключевского. Обсуждался отказ Мак-Магона от президентства, Ключевский высказал догадку, что Мак-Магон оставил свой пост не по собственному желанию, а уступая требованию общественного мнения. Сергей Михайлыч признал такой отзыв неуважительным и напал на своего собеседника, совершенно произвольно предполагая в нем радикала, нетерпимо относящегося к поведению самых честных и великодушных консерваторов. Другой раз досталось Забелину как дерзнувшему писать историю русского народа при одинаковом незнании как древних, так и новых языков. И я однажды выслушал отповедь за то, что не прочел 18-ти томов Виель-Кастеля, историка первой Реставрации во Франции[31]. «Хорошо, мол, научное беспристрастие молодых ученых, которые даже не хотят знакомиться с капитальнейшими сочинениями только потому, что они написаны консерваторами». Это не помешало тому же Соловьеву согласиться на сотрудничество в «Критическом обозрении» и дать нам статью для первого номера[32]. Когда в том же журнале возникла полемика между мною и Чичериным из-за оценки исторических судеб сельской общины[33] и известный русский ученый отнесся ко мне

с олимпийским величием, Сергей Михайлыч не одобрил поведения своего бывшего товарища и счел возможным довести до моего сведения, что он ни мало не поддерживает чичеринской аргументации. Мне не пришлось слышать Соловьева как профессора. Многие жаловались, что с годами он становился все более и более схематичным. Явилось предположение, что он не готовится к лекциям. Жаловались на то, что изложение им предмета становилось все более и более сухим и скучным.

Появление на кафедре Ключевского, с его яркой и образной речью, с его меткими характеристиками и редким умением подбирать эпитеты, встречено было поэтому молодежью с большим энтузиазмом. Редкий профессор сумел сразу завоевать себе больше внимания, чем мало известный еще в то время московский историограф. Все ранее писанное Ключевским носило слишком специальный характер, чтобы обратить на него внимание широких кругов. Его магистерская диссертация о житиях святых, как источнике русской истории, и более ранний трактат, написанный для получения золотой медали и озаглавленный: «Сказания иностранцев о России», создали ему репутацию строгого исследователя[34]. Но лекции в Троицко-Сергиевской Духовной академии и статьи, напечатанные им, часто без подписи, в «Критическом обозрении»[35], не замедлили установить на его счет представление как о блестящем преподавателе и бойком публицисте. В числе не подписанных им статей одна была посвящена разбору сочинений Юрия Самарина, настолько определенному и резкому, что многие, разгадавшие, кто действительный его автор, составили о Ключевском представление как о несомненном западнике и вероятном радикале[36]. Василий Осипович дружил в это время с молодым и талантливым историком литературы Шаховым. Последнего шутя называли Сен-Жюстом, а многие прибавляли к этому, что при нем Ключевский играет роль Робеспьера. Этой репутации Василий Осипович своей дальнейшей карьерой нимало не оправдал.

Благодаря изданию «Критического обозрения», столько же рассчитанного на удовлетворение научных запросов, членов историко-филологического факультета, как и юристов, мне приходилось не раз вступать в довольно тесный умственный обмен со всеобщими историками и историками литературы. С одним из первых, В. И. Герье, возникли у меня более или менее натянутые отношения ввиду моего предерзостного отношения к его совместной работе с Чи-

чериным. Герье несомненно принадлежит к числу разносторонне образованных русских исследователей. С прекрасной классической подготовкой и хорошим знанием новых языков, он соединяет обладание строгим критическим методом, приобретенным им продолжительной работой над источниками, под руководством немецких профессоров. К этим качествам он, к сожалению, не присоединяет ни научной терпимости, ни широты взглядов в сфере общественных и политических вопросов. Ему необходимо ходить в шорах буржуазного либерализма, того узкого западничества, которое заставляет отрицательно относиться к русским общественным устоям, частью потому, что их нет более в Германии, частью же потому, что они не отвечают буржуазному доктринерству. К Герье вполне применимо известное возражение Лебрена: «Libéral — c'est le diminutif de libre» (либерал — это уменьшительное от свободный). Когда князь Васильчиков издал свою известную книгу «о землевладении и земледелии»[37], в которой отстаивал, между прочим, общинные порядки и мирские переделы, Герье обрушился на него, в сообществе Чичерина, в книге, совместно ими написанной, одно заглавие которой было уже обидой для критикуемого автора: «Дилетантизм и общинное землевладение»[38]. В этой брошюре с олимпийским величием проводится неверный взгляд, будто Западной Европе общинное землевладение никогда не было известно. Я счел своим долгом указать, опираясь на только что переведенную книгу Нассе[39], что в самой Англии в течение веков крестьянство пользовалось землею в поместьях на началах надельной системы, предполагающей равенство долей в пахотной земле и совместную эксплуатацию сенокосов и выгонов. Моя небольшая заметка вызвала целую полемику на страницах мной же издаваемого журнала. Ее было достаточно для прекращения если не личного знакомства, то всякого более тесного общения с крайне самолюбивым и мнительным историком. Мое выступление на диспуте Кареева по истории французских крестьян, с целью поддержать диспутанта[40], не содействовало умиротворению Герье, и рознь между нами от этого только усилилась.

В числе учеников Владимира Ивановича, обязанных ему и своей подготовкой, и самым началом своей карьеры, был и известный ныне столько же на Западе, сколько и у нас, П. Г. Виноградов. Еще студентом он обратил на себя внимание хорошим переводом «Истории французской граж-

данственности» Гизо[41], предпринятым по совету и при ближайшем участии Герье. После успешного окончания университетского курса Виноградов оставлен был при университете тем же Герье и вскоре заявил о себе удачным выступлением на моем диспуте. Его отъезд за границу для подготовления диссертации — причина тому, что более тесное сближение последовало между нами не сразу, а только с тех пор, когда тому же Виноградову, быть может под влиянием моей книги «Об общественном строе Англии в конце средних веков»[42], пришло на ум заняться ранним средневековьем в той же Англии и, в частности, историей ее крепостного права[43]. Эти работы вылились сперва в форму диссертации; на ее защите я выступил вторым оппонентом; мне же суждено было быть первым по времени критиком этой выдающейся работы в английском юридическом журнале, издаваемом известным Фредериком Поллоком[44]. Из моей статьи англичане впервые познакомились с работой Виноградова и настолько заинтересовались ею, что предложили автору напечатать в изданиях «Кларендонской Прессы» в Оксфорде ту часть его монографии, которая посвящена изображению крепостного строя в Англии в XIII веке[45]. Для английской публики Виноградов значительно переработал свою книгу на основании нового рукописного материала, добытого им в Центральном государственном архиве и в библиотеках Оксфорда и Лондона. Его сочинение много выиграло от случайной находки записной книги английского юриста XIII века Брактона[46]. Решение вопроса о том, кому принадлежит найденная в библиотеке Британского музея рукопись, потребовало от молодого русского ученого успешного приложения тех приемов критики исторических источников, которым обучил его еще в Московском университете В. И. Герье. Результаты случайной находки, сделанной Виноградовым, были, может быть, еще значительнее, чем те, какими сопровождался выход его книги о крепостном праве. Молодой выдающийся английский юрист Метланд, в сообществе с Поллоком и пользуясь теми материалами, на основании которых написана была Брактоном его книга, издал двухтомный трактат по истории английского права с древнейших времен до конца XIII столетия[47] Таким образом, можно сказать, что Виноградов до некоторой степени проложил путь к научной разработке английского common law, т. е. общего или земского права Англии. Недаром же Метланд шутя называл его если не отцом, то дедом долгое

время заброшенных в Англии «юридических древностей».

Мне трудно высказать общее суждение о научном уровне преподавательского персонала в Московском университете в десятилетие, проведенное мною в Первопрестольной; но достаточно назвать некоторые имена, чтобы вызвать в памяти образ людей, оставивших глубокий след в русской науке и просвещении. На одном филологическом факультете действовали в это время такие знатоки своего предмета, как Буслаев, Тихонравов, Соловьев, Ключевский, Фортунатов, Миллер, Корш, Алексей Веселовский, Цветаев и многие другие, на правах частью профессоров, частью доцентов и преподавателей. Я, конечно, стоял всего ближе к молодым историкам. Из них я подружился с Алексеем Веселовским, нашим несомненно лучшим знатоком судеб французского театра, и в частности Мольера[48]. Веселовский принадлежит к числу отличнейших лекторов, слышанных мною в России. Брат знаменитого ученого[49], он, может быть, уступает ему в знакомстве с романской и древнегерманской филологией, а равно и в знании европейского и русского фольклора, но по своей начитанности и разнообразию затронутых им тем он может выдержать всякое сравнение. Начав с военной службы, он увлекался затем одно время пением и готовился к сцене. Плодом этого было обстоятельное знакомство с русской и вообще славянской музыкой, позволившее ему напечатать ряд статей, доселе не потерявших значения[50]. Прекрасное знакомство с немецким языком, при непрекращающемся интересе к судьбам драматического искусства — причина тому, что второй его работой было изучение воздействия, оказанного средневековыми немецкими мистериями на древний русский театр[51]. От немцев Веселовский перешел к французам и написал две образцовые монографии, одну — о «Тартюфе», другую — о «Мизантропе»[52]. Он продолжил свое изучение французской комедии, между прочим — интересной статьей о Бомарше[53]. Параллельно этим работам шли другие: о Дидро и ряде французских и немецких писателей XVIII и XIX столетий[54]. Одна из последних по времени монографий, написанных Алексеем Николаевичем, посвящена Байрону[55]. Метод Веселовского приближает его к Ипполиту Тэну. Он изучает вместе с писателем и его эпоху, ищет в окружающей его среде многообразные влияния, определившие его деятельность, а в творениях, оставленных автором,— отражение его времени. Но этим Веселов-

ский еще не заканчивает своей работы. Он следит за историческим развитием выведенных писателем типов, будут ли ими Тартюф, Дон-Жуан, Фауст или разнообразные герои Байрона. При этом ему часто приходится следить за воздействием, оказанным литературами разных стран и народов. Удачно испробовав сначала на отдельных примерах тот метод изучения странствующих сказаний, которым так умело орудовал его брат, Веселовский, по отношению ко всей русской литературе задался затем вопросом о «западном влиянии». Каждое новое издание его книги является переработкой, а не одним только восполнением первоначального текста[56].

По тому же пути изучения иностранных воздействий на нашу древнюю письменность в такой же мере, как и на народный эпос, пошел В. Ф. Миллер — и в своей попытке показать, в какой мере «Слово о полку Игореве» написано было под влиянием византийской повести о деяниях Александра Македонского, в той переработке, какую она получила в южнославянских передачах[57], и в том ряде исследований о былинах и богатырях, которые, будучи ранее напечатаны в общедоступных журналах, в том числе в «Вестнике Европы», и в более специальных изданиях, вышли затем толстыми томами[58]. В своей молодости, быть может под влиянием Буслаева, Миллер ломал копья со Стасовым, отрицая восточное влияние на русский народный эпос. Но более близкое знакомство с странствующими сказаниями и изучение восточных сюжетов эпической поэзии — частью в литературных памятниках Индии и Ирана, частью в записанных им впервые кавказских былинах — раскрыли ему глаза на плодотворность того приема, на который указано было Стасовым. Наши былины после его работ оказались столько же продуктами самостоятельного народного творчества, сколько оригинальной разработкой перешедших к нам с Востока сказаний и литературных сюжетов отдаленного средневековья[59].

Довольно тесное общение, возникшее между мною и московскими историками всеобщей литературы,— причина тому, что я чаще проводил время в их обществе, нежели в среде моих ближайших товарищей по факультету. Применение сравнительного метода во всех исторических дисциплинах особенно интересовало меня в это время, и я немало вынес поучительного для себя в этом отношении из чтения тех сочинений по сравнительному фольклору, сравнительной истории религии и истории странствующих ска-

заний, на которые указывали мне одинаково и Миллер, и Веселовский, и Стороженко.

Догматическая юриспруденция никогда не пользовалась моими симпатиями. И то же еще в большей степени я могу сказать о той нравственно-правовой метафизике, которая под именем философии и энциклопедии юридических и государственных знаний, или общей части государственного и уголовного права, преподавалась и преподается в русских университетах по образцу германских. Меня несравненно более привлекали к себе экономика и обществоведение, и я с глубоким сочувствием следил за преподавательской деятельностью и за научными и публицистическими работами моих ближайших приятелей, Янжула и Чупрова. Когда за смертью Лешкова осталась свободной кафедра так называемого полицейского права или благоустройства, ее временно занял Янжул. Это позволило ему сосредоточить свои работы на социальной экономии и изучении, в частности, рабочего вопроса и фабричного законодательства в разных странах Европы. Практическая деятельность вскоре пошла у него рядом с теоретической и в самой тесной от нее зависимости. Когда министром Бунге создана была фабричная инспекция, Ив. Ив. согласился занять пост старшего инспектора в Московском районе. Изучение на деле, путем разъездов по фабрикам, условий нашей промышленности и материального положения рабочих вскоре восполнено было исполнением им правительственного поручения. Он согласился предпринять целую анкету в Царстве Польском по тем же вопросам, какие изучены были им в Московском районе и освещены в двух печатных отчетах по фабричной инспекции[60]. Много лет спустя, когда, уступая настояниям устроителей Школы Общественных наук в Париже[61], я согласился в ряде лекций нарисовать французам картину хозяйственного быта России, работа и доклады Янжула послужили мне главнейшим материалом для короткого очерка положения нашей промышленности в 90-х годах прошлого столетия. Строгим соблюдением нового закона, ограждающего интересы рабочих, Янжул не замедлил снискать себе недовольство фабрикантов. Оно сказалось в готовности снабдить капиталом известного ныне, но тогда только что начинавшего свою публицистическую карьеру Шарапова. На эти деньги последним предпринято было издание, посвященное якобы интересам нашей промышленности и торговли, но преследовавшее в то же время более узкую и легче достижимую

цель — похода против старшего фабричного инспектора в Москве[62]. Авторы статей, направленных против Янжула, не отступили перед обвинением его в колебании религиозных основ народной жизни. Повод к этому дало то обстоятельство, что помощник Янжула по фабричной инспекции, при составлении списка товаров, какие фабриканты могли держать в своих экономатах или лавках для рабочих, забыл упомянуть о тарани. В этом усмотрено было сознательное желание отучить наш трудящийся люд от соблюдения постов. Подобного рода обвинениями, в связи с тайными доносами, подготовлен был фактически вынужденный, но формально добровольный выход Янжула из числа фабричных инспекторов. Скрепя сердце Бунге уступил влиянию руководящих кругов и дал понять моему товарищу, что дальнейшее пребывание его во главе московской инспекции становится затруднительным.

Издание, во главе которого стоял г. Шарапов, предприняв поход против Янжула, не обошло своим вниманием и его ближайших приятелей — меня в том числе. За отъездом профессора Алексеева, мне поручено было временно чтение лекций по общему государственному праву и истории политических учений. Говоря о теориях французского абсолютизма, я остановился, между прочим, на тех, с которыми связано имя современника Людовика XIII — Бальзака. Этот писатель доводил свое рвение до того, что объявлял лучшими патриотами «доносчиков, позволяющих правительству своевременно успокоить своих скрытых противников помещением их в тюрьмы». В журнальчике г. Шарапова все сказанное мною о французском абсолютизме XVII-го века отнесено было к русскому самодержавию и самая статья озаглавлена: «Самодержавие по-ученому»[63]. Последствием появления этой статьи было приглашение меня министром народного просвещения Деляновым к даче объяснений по начальству и представлению текста моих лекций. Такого не оказалось. Университетская инспекция добровольно пришла на помощь начальству, и главный инспектор[64] вырвал из рук у одного из студентов — ныне профессора С.-Петербургского политехникума, Дэна — тетрадь с записью моих лекций. Но и в ней, к сожалению для разведчиков, ничего предосудительного не оказалось. Пришлось искать новых мотивов к удалению меня с занятой мною кафедры. Инспектор Брызгалов и на этот раз выступил в роли добровольного сыщика. Более года длилась эта, по выражению тогдашнего московского попе-

чителя Капниста, «гнусная травля». Она несколько раз прерываема была предложением мне временно уехать в заграничную командировку — предложением, от которого я отказывался ввиду того, что само начальство не считало возможным категорически ответить на мой вопрос, буду ли я оставлен во время моей командировки или нет. На предложение подать в отставку последовал с моей стороны самый категорический отказ. Месяц спустя мне было сообщено, что всякие поводы к недовольству мною исчезли. Это было весною, а к осени пришел увольняющий меня от службы приказ министра[65], в котором значилось, между прочим, что не лишаюсь возможности продолжать мое служение отечеству в других ведомствах и получить по истечении положенного законом срока внешний знак беспорочной службы.

Но, говоря обо всем этом, я забегаю вперед и только указываю на тот крайний пункт, до которого будет доведен мой дальнейший рассказ о годах, проведенных мною в Москве. Моя отставка последовала осенью 1887-го года. Преподавательская же моя деятельность потекла правильно только с 1877-го года. Если выключить два года моей командировки за границу, 1881-й и 1882-й, и многие месяцы, проведенные мною на Кавказе или в заграничных отпусках, то я в общем провел в Москве значительно менее восьми лет. Но я долгое время не прерывал моих связей с ней и во время пребывания за границей, где сперва в Стокгольме, а затем в Брюсселе, Оксфорде, Париже и американских университетах[66] возобновляема была мною не раз преподавательская деятельность. Когда открылась для меня снова возможность занять профессуру в России, Московский университет первый открыл мне свои двери, и если я ныне профессорствую в Петербурге, то по личному выбору и из желания соединить с моими научными работами и преподаванием деятельное представительство университетов и академии в верхней палате нашего парламента[67] <...>

Быть может, самой отрадной стороной моей московской жизни было отсутствие всякой серьезной розни и с моими товарищами по преподаванию или литературной деятельности, и с моими слушателями. Мимолетные трения вызывались, разумеется, университетскими диспутами, факультетскими и советскими заседаниями, но они не оставляли следа и не портили отношений. Когда речь шла об охране интересов университета, мои товарищи постоянно поддер-

живали меня, но, разумеется, ни одному из них не приходило в голову проводить меня на факультетские или советские должности. Все знали и мою материальную обеспеченность, и отсутствие во мне какого-либо честолюбия, и мое желание иметь побольше свободного времени как для занятий, так и для удовольствий. Административные способности мы, точно сговорившись, признавали за людьми, или никогда не занимавшимися наукой, или переставшими заниматься ею. Только этим и объясняется неизменное присутствие во главе юридического факультета врача Легонина, который за все время своего деканства из уважения к науке только раз проявил себя актовой речью об афазии[68]. Этот в общем добрый и разумный человек вел весьма умело наши заседания, охотно поддерживал перед начальством оставляемых нами при кафедре молодых людей, отстаивал интересы факультета пред советом и никогда не запускал дел, в то же время не требуя от нас особого напряжения и созывая факультет не чаще, чем следовало. Теми же соображениями мы руководствовались и при выборе в секретари факультета Н. П. Боголепова. Он не поражал никого ни умом, ни талантами. Его диссертации не выходили из числа заурядных, а вне их он ничего не писал, кроме учебников[69]. Читая на первом курсе, он, разумеется, имел большую аудиторию. Отношение его к товарищам и студентам было корректное. Мысли он высказывал всегда благоразумные и либеральные. Знали, что он нуждается в средствах и для этого состоит инспектором в каком-то женском институте. Чтобы увеличить его доход, молодые профессора в факультете сговорились между собою и провели его весьма единодушно в секретари. Так как за все время его секретарства он никого не обидел, то при выборе нового ректора на нем сошлись, как на кандидате факультета. Решено было одновременно поддерживать кандидатов и от других факультетов, между прочим Склифосовского, предложенного медиками под условием, разумеется, взаимности. Но среди них оказалось меньше единодушия, и Склифосовский получил поэтому недостаточное число голосов. Боголепов одно время не хотел даже занять должность ректора, ссылаясь на то, что избравшие его не вполне согласны с его убеждениями. Мы вместе возвращались с выборов, и мне пришлось доказывать ему, что о расхождении с нами во взглядах мы слышим впервые. В первые годы его ректорства Боголепов оставался прежним добрым товарищем, не выступал с протестами

против нашей якобы либеральной агитации и только хлопотал об одном, чтобы наши заявления не попадали в протокол. При случае он умел даже выгораживать кое-кого из товарищей. Когда министру Делянову не понравились лекции Ключевского и он задумал предложить переход ему в Казань, Боголепов сразу остановил эти намерения министра, убедив его, что Троицко-Сергиевская академия не отпустит Ключевского, так как им очень дорожат в духовных сферах. Ни на кого другого, как на меня, было возложено передать заинтересованному лицу содержание этого разговора, причем мне сказали, разумеется, что это надо сделать келейно и частным образом. Боголепов развернулся уже после моего ухода из университета. Во все же время переговоров о моей отставке он держался нейтрального положения. Отношения с ним были настолько товарищеские, что я шутя звал его на лекции следить за тем, достаточно ли они благонамеренны. Он, разумеется, отшучивался. Когда меня удалили, я получил от многих товарищей коллективное послание с выражением их соболезнования. На нем не было подписи ректора, но два дня спустя пришло письмо с выражением полного сочувствия и с прибавкой, что к коллективным заявлениям Боголепов не считал возможным присоединиться. Я на это ответил ему отповедью. После этого мы с ним не встречались.

Раз я заговорил о начальстве, упомяну вскользь и о тех отношениях, какие в то время существовали между профессорами университета и попечителем. Я попал в число преподавателей еще при действии устава 1863-го года. Попечителя кн. Мещерского я поэтому не видел до тех пор, пока он не выразил желание присутствовать на одной из моих лекций. В этот год предметом моих чтений была сравнительная история семейного права. Он с удивлением отметил присутствие в аудитории очень большого числа слушателей и более ко мне не приходил. С введением нового устава мы получили и нового попечителя, графа Капниста. О нем писано за последнее время немало в разных мемуарах из того времени, и, кажется, не все писанное клонится к его чести. Мне пришлось иметь дело с графом по случаю моей отставки, и я должен сказать, что переговоры, какие мне выпало в удел вести с ним, возлагают на меня обязанность сказать, что это был вежливый сановник и к тому же проникнутый чувством законности. Когда затребовали из Петербурга мои лекции, я не увидел

никаких препятствий к тому, чтобы передать в руки попечителя тот конспект, каким я пользовался при чтении их, настаивая, разумеется, на скорейшем его возвращении. Конспект препровожден был в столицу и месяца через два вернулся ко мне. По требованию министра, я несколько раз вызывался попечителем для выслушания замечаний и предостережений. Каждый раз граф держался как человек, вполне оценивший совет Талейрана: не обнаруживать чрезмерного рвения. Он выслушивал объяснения и обещал передать их высшему начальству. Однажды он поразил меня заявлением, в которое вкрались слова: «Я предвижу скорый конец гнусной травле, на вас направленной». Мне оставалось только ответить, что такой исход, вероятно, в значительной степени будет вызван его поведением. Много лет спустя, когда я устроился уже на долгие годы во Франции, мне передан был его поклон. Я поспешил уведомить его, не помню уже, письменно или чрез посредника, что храню о нем добрую память. Как я слышал впоследствии, граф Капнист выразил по этому случаю удовольствие, говоря, что его действительные намерения были поняты мною правильно. И теперь, обсуждая все его поведение, я могу только высказать уверенность, что он скорее желал выгородить меня от ложных обвинений, чем обнаружить на мой счет всегда выгодное в глазах высшего начальства чиновное рвение.

Я сказал уже, что отношения мои со студентами всегда были отличными. Они охотно посещали мои лекции, писали работы, принимали участие в их обсуждении на семинарах и очень охотно оставались при моей кафедре для приготовления к профессорскому званию. Но смерть безжалостно косила многих из оставленных мною. Не стало Калачова, брата теперешнего члена Государственного совета; не стало Харузина, кандидатская диссертация которого об обычном праве донских казаков была напечатана толстым томом и служит теперь настольной книгой для всякого, кто желает познакомиться с особенностями быта этой обширной области нашего отечества[70]. После моей отставки изменены были требования, предъявленные ранее к лицам, желавшим подвергнуться магистерскому экзамену. Это заставило других из них посвятить себя иной карьере: один ныне заседает в Государственной думе, другой служит судьею в Москве. Не все из оставленных мною по кафедре не довели до конца своих намерений. Они посвятили себя только другим родственным специальностям.

Профессор Дерюжинский на кафедре административного права в Петербургском университете заявляет о своем прежнем занятии правом государственным работами, затрагивающими основные вопросы конституционной жизни Англии. Нечаев, занимая пост юрисконсульта при министерстве юстиции, читает в то же время лекции по сравнительной истории права. Егиазаров преподает государственное право в Киеве.

При всем внимании, какое студенты Московского университета оказывали моим лекциям, я не всегда выносил с экзамена убеждение, что труд, мною затрачиваемый, не пропадает даром, по крайней мере для большинства. История политических учреждений, которая все чаще и чаще служила предметом моих чтений, не может быть хорошо усваиваема людьми, не имеющими достаточной исторической подготовки, а эта подготовка с каждым годом становилась все более и более скудною. Мы повели однажды открыто речь об этом в совете. Одни жаловались на то, что студентам сызнова приходится читать все естественные науки, другие — что подготовка их по физике и химии совершенно недостаточна. К нашим сетованиям присоединился и Герье; он заявил, что поступающим в университеты не хватает знакомства с латынью. Что же, спрашивается, дает средняя школа? Я не могу сказать, чтобы на этот вопрос мне легко было дать определенный ответ и теперь, когда на расстоянии восемнадцати лет я снова возобновил свою преподавательскую деятельность. Сравнивая тогдашнее отношение студенчества к профессорам с теперешним, я должен сказать, что прежде оно было доверчивее и сердечнее. Мысль о том, что профессоров можно причислить к предпринимателям и устроить забастовку в посещении их лекций, в это время никому еще не приходила в голову. Политические условия были несколько иными. Хотя так называемая университетская газета — т. е. «Московские ведомости», издаваемые Катковым — и занималась неизменно обличением неприятных редакций профессоров, а подчас и походом против студенчества, но этот орган, даром нам рассылаемый, не был распространен в студенческой среде. Провокация не производила, благодаря этому, того действия, на которое она была рассчитана. Нужны были такие бестактные выступления, как защита реакционной печатью той кулачной расправы со студентами, какую позволили себе московские охотнорядцы, чтобы вызвать серьезное волнение среди молодежи. И тут

нам, пользовавшимся ее доверием молодым преподавателям, приходилось выступать с обычным советом сохранять чувство меры, как неоцененное качество, свойственное англичанам и немало содействовавшее успешному отстаиванию ими своих гражданских и политических прав. Сказать, что эти советы всегда принимались с благодарностью — было бы преувеличением; но недовольство тем, что студенты считали чрезмерной выносливостью, проходило скоро, и добрые отношения восстанавливались. Я вынес из своего продолжительного общения со студентами то впечатление, что они ценят в профессоре труд, затрачиваемый им при исполнении своих обязанностей, что их не задевает развитие взглядов, идущих вразрез с их собственными, если только лектор считает нужным обосновывать свои утверждения теми или другими фактами и соображениями, что они ценят простоту и товарищеское отношение. Все, что может сблизить профессора со студентами, должно было бы входить в программу так называемой университетской политики. Отсюда тот вывод, что приравнивать студентов только к слушателям — значит не только устранять возможность всякого воспитательного на них влияния профессоров, но и порождать в них желание пореже показываться в университете, ведь удобнее лежать в постели и читать печатные конспекты. Во время моего преподавания в Москве таких конспектов не было: студенты составляли лекции и литографировали курсы. Экзамен проводился из прочитанного, а чужие сочинения рекомендовались только для восполнения курса. Теперь же пошли иные порядки. Студенты, при обязательном посещении лекций, не могли бы найти места в аудитории; профессора, издавши учебники или порекомендовав чужие руководства, не требуют от студентов знаний своих лекций. Студенты же посещают их, смотря по времени года, нередко чрез одну, так как в Петербурге встают поздно и приятно пропустить утренние часы. Один из моих товарищей недаром уподобил чтение лекций драматическим представлениям, а так как большинство профессоров — плохие актеры, то публики собирается мало.

Чувствую, что начинаю брюзжать по-стариковски, а потому спешу прервать мой и без того затянувшийся рассказ.

Каблуков И. А.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ХИМИИ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ С СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ XIX ВЕКА

Немного больше трети всего времени существования Московского университета прошло на моих глазах. Я поступил в университет в 1876 году и счастлив тем, что с этого времени вся моя деятельность так или иначе связана с Московским университетом.

Я остановлюсь в своих воспоминаниях только на некоторых моментах. Чтобы полностью очертить этот период, потребовалось бы очень много времени и места.

Химия в Московском университете в первые годы его существования, даже в первые десятилетия его существования, была в загоне. Так обстояло дело до семидесятых годов прошлого столетия — до прихода в университет Владимира Васильевича Марковникова.

Другие русские университеты уже в пятидесятых — шестидесятых годах славились постановкой у них химии. Достаточно вспомнить Казанский университет, где работали Зинин, Клаус, Бутлеров. В Петербурге в Педагогическом институте работал Гесс (автор основного закона термохимии). Гесс был учителем Воскресенского, который в свою очередь был учителем Менделеева. В Петербурге работал потом Зинин, переехавший туда из Казани, и, наконец, к началу шестидесятых годов химия в Петербургском университете была представлена такими блестящими именами, как Бутлеров, Менделеев, Меншуткин и др.

Там было создано в середине 60-х годов Русское физико-химическое общество, которое так много повлияло на развитие химических исследований в России[1].

В Московском же университете химия была представлена только проф. Лясковским и доцентом Кирилловым, которого и мне пришлось слушать.

В 1874 году в Московском университете появился Вла-

димир Васильевич Марковников, ученик Бутлерова и его заместитель по кафедре в Казани. Из Казани Марковников перешел в Одессу в 1872—1873 гг., а затем из Одессы был приглашен в Москву, где с этого времени началось преподавание химии на подлинно научной основе. Московский университет обязан Владимиру Васильевичу Марковникову помимо всего прочего и организацией лабораторных занятий по химии.

Нужно принять во внимание, что в то время число студентов на естественном факультете было невелико. Например, в 1876 году, когда я поступил в Московский университет, в мае состоялся выпуск студентов. Нельзя сказать, чтобы он был многочисленным — он состоял из одного человека — А. А. Тихомирова (впоследствии профессора зоологии в Московском университете).

За два года до моего поступления в университете уже были организованы занятия по химии и, по настоянию В. В. Марковникова, были введены обязательные занятия по качественному анализу и органической химии. Должен сказать, что тогдашняя аудитория сохранилась и до сего времени. Эта — та же самая «большая химическая аудитория», но только скамейки стояли иначе. Здесь я слушал лекции, а затем здесь же я их читал.

О научной и учебной деятельности В. В. Марковникова в свое время говорилось более подробно, в связи с чествованием его памяти. Поэтому сейчас на этом я остановлюсь только немного.

В. В. Марковников организовал сперва занятия по аналитической химии. При лаборатории был один лаборант — очень знающий — Освальд Карлович Миллер. Руководством служил незадолго перед тем вышедший, а затем выдержавший много изданий учебник аналитической химии Николая Ал<ексадровича> Меншуткина. С самого начала мы, студенты, приучались к более или менее самостоятельной работе.

Тогда не было над студентами, если можно так выразиться, нянюшек, которые бы им читали, объясняли и т. д.

«Вот учебник, прочтите его, проделайте те реакции, которые там указаны. После того, как проделали, приходите за задачей». При этом самому нужно было разобраться в том, что написано в учебнике. В некоторых, редких, случаях обращаешься к лаборанту за советом. Затем получаешь задачу и решаешь, переходишь к другой и т. д.; так мы проходили качественный и количественный анализ.

В. В. Марковников организовал занятия и по органической химии. В то время химических препаратов выписывалось немного и средств у лаборатории было всего несколько сот рублей в год. Поэтому ученики Вл<адимира> В<асильевича> готовили препараты для своих работ сами. Помню, работать приходилось в этой же аудитории (в те часы, когда не было лекций). Здесь в углу стояла изразцовая лежанка, над ней навес, и этой лежанкой и навесом я пользовался для приготовления ацето-уксусного эфира и других химических препаратов.

Вот при таких условиях я начал работать. Сразу пришлось привыкать к самостоятельности. Пришел я к В<ладимиру> В<асильевичу>. Он говорит: «Приготовьте ацето-уксусный эфир». — «А как?» — «Прочтите в таком-то выпуске «Annalen der Pharmacie».

Тогда учебников по приготовлению препаратов, которых сейчас существует много, не было. Пришлось читать, а немецкого языка я почти не знал. Преодолел и это. Таким образом у В<ладимира> В<асильевича> и другие работали и приучались к самостоятельности.

После того, как студент приобретал некоторые навыки, ему давалась или он сам выбирал какую-либо тему для разработки.

Вся химическая лаборатория, находившаяся в заведовании Марковникова, состояла из трех комнат. Помещение было небольшое, но, по пословице «не красна изба углами, а красна пирогами», из лаборатории Марковникова вскоре начали появляться работы.

В 1875 г.— появляется одна работа, а в 1876 г.— 13, из которых 7 принадлежали самому Владимиру Васильевичу[2].

Так началась плодотворная деятельность В. В. Марковникова в Московском университете. С первых же ее лет из химической лаборатории начали появляться работы студентов, причем не только естественников, но и медиков. Следует указать также и на то, что химическая лаборатория Московского университета была первой русской лабораторией, открывшей свои двери женщине. Еще в семидесятые годы среди работ, вышедших из химической лаборатории, мы видим работу химика Лермонтовой[3] «О получении нормального бромистого пропилена (триметиленбромида)».

Число занимающихся химией в Московском университете с каждым годом увеличивалось; росло и число работ, выходивших из нее: с 1873 года до 1893 года, когда В<ла-

димир> В<асильевич> перестал заведовать лабораторией органической и аналитической химии, число работ, произведенных химической лабораторией, как органической, так и неорганической, превысило цифру 100.

До 1885 г. работы В<ладимира> В<асильевича> относились преимущественно к органической химии. Он исследовал различные вопросы, касающиеся теории строения и его теории взаимного влияния атомов, начало которой положено в его докторской диссертации «Материалы по вопросу о взаимном влиянии атомов в химических соединениях». С 1885 г. он начал разрабатывать другую область, в то время мало исследованную: он принялся за исследование кавказской нефти. Внешним толчком к этой перемене в направлении работ было предложение В. И. Рагозина заняться исследованием русской нефти.

Кроме того, взяться за эту работу побудили Владимира Васильевича его взгляды на обязанности русского натуралиста. «Мне всегда было непонятно,— говорит он,— почему наши натуралисты не хотят выбрать для своих исследований такой научный вопрос, материалом для которого служила бы русская природа. Тогда мы не были бы свидетелями того, что Россия изучалась прежними нашими профессорами и академиками — иностранцами, да и теперь нередко изучается приезжими иностранцами».

В настоящее время всем химикам известно то громадное значение, какое имели работы В<ладимира> В<асильевича>, открывшего целый класс углеводородов — нафтенов. Дальнейшие работы Владимира Васильевича и его учеников показали их связь с полиметиленовыми углеводородами, или циклическими соединениями, исследованиями которых в настоящее время занимается много химиков.

Приведем следующие слова знаменитого химика Станислао Канниццаро, которые характеризуют значение работ Владимира Васильевича по исследованию нефти: «Они (труды В<ладимира> В<асильевича>) обогатили чистую науку новым типом важных углеродистых соединений, которые всегда будут связаны с его именем».

Когда В<ладимир> В<асильевич> начал работать над исследованием нефти, он привлек к этим исследованиям и своих помощников, т. е. своих учеников. Укажу на одного из самых талантливых учеников В<ладимира> В<асильевича> — Михаила Ивановича Коновалова. М. И. Коновалову принадлежат две диссертации по неф-

ти: одна по нафтенам — это магистерская диссертация, — затем докторская диссертация, где он указал на то, что под влиянием азотной кислоты нитрогруппа вступает в соединения жирного ряда. До этого времени были известны нитробензол, никриновая кислота и т. д., но считалось, что нитрогруппа в соединения жирного ряда вступать не может. М<ихаил> Ив<анович> показал, что и они нитрируются, а отсюда было ясно, что и парафины могут быть переведены в другие соединения: из нитросоединений можно перейти в амины и т. д. Одним словом, как выразился М. И. Коновалов, с помощью нитрирования можно оживлять мертвецов — парафины.

Из года в год, по мере работы В. В. Марковникова в созданной им лаборатории, росла его слава, и в Московский университет стекалось все больше молодых химиков.

Хочется вспомнить некоторых из их числа. Первыми по времени были А. Н. Реформатский из Казани и В. Н. Оглоблин из Киева.

В 1880 г. при университете был оставлен И. А. Каблуков, в 1886 г. — П. П. Орлов, затем — П. М. Кижнер — впоследствии профессор Томского университета и потом почетный академик (скончался в Москве в 1937 г.). Далее надо упомянуть М. И. Коновалова — впоследствии профессор Московского сельскохозяйственного института, а затем профессор, декан и директор Киевского Политехнического института.

Одним из учеников В. В. Марковникова был А. М. Беркенгейм, которого как еврея, подвергавшегося в царское время ограничениям, лишь с большим трудом удалось оставить при Московском университете. Когда А. М. Беркенгейм, вернувшись из командировки в Геттинген, где он получил 22 лет от роду степень доктора Геттингенского университета, был на национальной почве оскорблен реакционными кругами университета, он уехал в Южную Америку. Впоследствии он, однако, снова был привлечен Н. Д. Зелинским в Московский университет и А. М. Реформатским на Московские высшие женские курсы и стал незаурядным советским ученым, заслуженным деятелем науки и техники, одним из главных организаторов советской химико-фармацевтической промышленности, работавшим по подготовке высококвалифицированных кадров вплоть до своей кончины, последовавшей в 1938 г.

Перехожу теперь к моим воспоминаниям о других профессорах Московского университета. С благодарностью

вспоминаю профессора Александра Павловича Сабанеева. А. П. Сабанеев окончил Московский университет в 1868 г., сначала он поступил в качестве лаборанта в Петровскую академию, а с 1876 г. стал доцентом Московского университета.

Тогда лаборатория В. В. Марковникова и лаборатория А. П. Сабанеева помещались на очень небольшой площади из 3-х комнат. А<лександр> П<авлович> выговорил себе комнату. Когда в 1894—1895 гг. пристроили крыло, то лаборатория неорганической химии, находившаяся в заведовании А. П. Сабанеева, несколько расширилась.

А. П. Сабанеев был весьма крупным научным деятелем. Его работы и в настоящее время не потеряли значения. Он брался за такие работы, которые требовали большого терпения. Первые работы А<лександра> П<авловича> были посвящены исследованию соединений ацетилена. (Маг<истерская> диссертация защищена в Московском университете в 1874 г.) В настоящее время, как известно, ацетилен легко получают при действии водой на карбид кальция. Но в то время получить ацетилен было не так-то легко. Для того чтобы получить ацетилен, нужно было над бунзеновской горелкой с «переброшенным» пламенем поставить воронку и затем из этой воронки вытягивать воздух, причем этот воздух пропускать через склянку с бромом и таким образом улавливать производное ацетилена; получался тетрабромацетилен. У меня до сих пор хранится препарат А<лександра> П<авловича>, полученный таким путем.

Докторскую диссертацию А<лександр> П<авлович> защитил в 1884 г. в Петербургском университете. Между прочим, я припоминаю, что А<лександр> П<авлович> был учеником Дмитрия Ивановича Менделеева, но не по университету, а по кадетскому корпусу, где учился А<лександр> П<авлович> и где Д. И. Менделеев преподавал химию.

А<лександр> П<авлович> занимался определением молекулярных весов по криоскопическому методу; он пытался создать классификацию растворимых коллоидов, изучал молекулярный вес коллоидной кремниевой кислоты.

В то время для получения этих веществ надо было затратить очень много труда. Белки, например, приходилось растворять, затем в течение нескольких лет диализировать и т. д. и т. п.

Через несколько лет А<лександр> П<авлович> за-

нялся изучением структуры изомеров неорганических соединений.

Органические изомеры были хорошо исследованы уже тогда, что же касается до неорганических изомеров, то их исследование только начиналось. А<лександр> П<авлович> изучал соединения гидразина и гидроксиламина.

Из лаборатории А<лександра> П<авловича> вышел также ряд работ химиков — его учеников и сотрудников. С благодарностью вспоминаю, что он и меня приютил в своей лаборатории. Я начал свою работу, как уже было сказано, в лаборатории В. В. Марковникова. Проработал я там некоторое время, заведывая количественным анализом. В 1884 г. я отказался от работы по аналитической химии, ушел из лаборатории В. В. Марковникова и обратился к А<лександру> П<авловичу>, чтобы он меня приютил. Тут я укажу на следующее тяжелое обстоятельство. В<ладимир> В<асильевич> был известным большим ученым, но особенности его характера были иной раз не совсем приятны для окружающих: в лаборатории В<ладимира> В<асильевича> чувствовалось иногда своего рода повышенное давление. Поэтому-то я и ушел для того, чтобы работать в более «разреженной атмосфере», у А. П. Сабанеева.

Перейду к профессору Московского университета — Владимиру Федоровичу Лугинину.

В. Ф. Лугинину Московский университет обязан созданием термической лаборатории, носящей теперь его имя. В 1940 году исполнится 50 лет существования этой лаборатории. Я только вкратце могу остановиться на деятельности В. Ф. Лугинина.

В. Ф. Лугинин родился в том же году, что и Дм<итрий> И<ванович> Менделеев. 100-летие со дня его рождения прошло как-то незамеченным, будучи затемненным чествованием столетнего дня рождения Д. И. Менделеева.

Образование В<ладимир> Ф<едорович> получил в Михайловском артиллерийском училище в Петербурге. В 1854 году он его окончил и был отправлен в Севастополь. Затем, когда окончилась Севастопольская кампания, он хотел поступить вместе со своим братом в Московский университет, но тогда при Николае I число студентов в Московском университете было ограничено: всего студентов было не больше 300 человек на весь университет. Поэтому В. Ф. Лугинину не удалось поступить в университет. Он поехал за границу и получил там образование. Он слушал

выдающихся ученых: Бунзена, Кирхгофа, Клаузиуса, работал у Реньо.

Получив такую школу, он возвратился в Россию и организовал в Петербурге лабораторию, но после знаменательных событий 1-го марта 1881 г.[4] ни о какой лаборатории в Петербурге нельзя было и думать, и Лугинин снова поехал за границу; там он познакомился с Бертло и организовал свою лабораторию, в которой произвел ряд работ по термохимии. В 1889 г. он вернулся в Московский университет, причем он получил приют у В. В. Марковникова и профессора физики А. Г. Столетова. Я помню, как А. Г. Столетов выделил площадку перед физической аудиторией. Сейчас этой площадки против физической аудитории не существует. Эта площадка и была передана В. Ф. Лугинину. Он ее оборудовал, заполнил приборами на свой счет, и так была создана лаборатория, в которой и началась интенсивная работа. Помню, как у Лугинина в 1889 г. работали Цингер и Щегляев, начал работать Зубов, прославившийся затем точными определениями теплот сгорания. Приезжали к В. Ф. Лугинину и из других университетов.

После того, как был построен большой физический институт, в последнем В. Ф. Лугинину было уделено помещение, которое и ныне занимает «термическая лаборатория им. В. Ф. Лугинина». Здесь был произведен ряд исследований Лугининым и его сотрудниками. Я вспоминаю с благодарностью, как я вместе с ним работал над теплотой присоединения брома к непредельным соединениям.

Лабораторией В. Ф. Лугинин заведовал почти до самой своей кончины. Когда он уехал за границу, она была передана, по его просьбе и поручению факультета, в заведование известному проф. Н. А. Умову, затем она перешла в мое заведование. Сейчас я давно уже ею не заведую и, как известно, ею руководит проф. М. М. Попов. Нужно сказать, что лаборатория была хорошо оборудована, но, конечно, это было 20—30 лет тому назад и даже больше. Однако благодаря заботам М. М. Попова она пополнилась уже после Великой Октябрьской социалистической революции все новыми и новыми приборами. В ней был проведен ряд работ важнейшего значения, выработан ряд новых методов и т. д.

После защиты в 1887 г. магистерской диссертации мне удалось в 1889 г. добиться заграничной командировки на 4 летних месяца (май — август), и я попал в совершенно

новую для меня обстановку — в лабораторию, которая в последней четверти прошлого века сыграла большую роль в развитии мировой химии. Подобно тому, как в начале XIX столетия в маленький город Гессен съезжались химики со всех концов Европы в лабораторию Либиха, так в 80-х годах в Лейпциг в лабораторию профессора Оствальда стекались химики со всех концов не только Европы, но и всего мира. Я, правда, попал в эту лабораторию случайно. Я выбрал ее потому, что я знал, что Оствальд был лаборантом в Юрьевском университете, профессором в Рижском политехникуме и что он знал русский язык. Поэтому я решил, поскольку я плохо владел немецким языком, поехать туда.

Но в своих расчетах я ошибся. Оствальд, будучи свидетелем насильственной русификации на своей родине (Дерпт), не особенно сочувствовал русским и не любил русского языка.

В Лейпциге я попал в исключительно интересную обстановку. Ассистентом у Оствальда был знаменитый впоследствии Сванте Аррениус, которого я считаю своим учителем, несмотря на то, что он был на год меня моложе.

В лаборатории Оствальда я сделал работу по электропроводности хлористого водорода в различных неводных растворителях.

В 1884 году был введен новый устав университетов, по которому большое значение придавалось приват-доцентуре. Установление приват-доцентуры много содействовало повышению качества преподавания в университетах. Первым приват-доцентом на нашем факультете по химии был я. В ноябре 1884 года я прочел две пробные лекции, и 15 января 1885 года я был назначен приват-доцентом для чтения курса по «диссоциации»[5]. Хотя я объявил этот курс, но читал не об одной только «диссоциации», а по различным вопросам неорганической, органической и физической химии.

Приват-доценты могли объявлять курсы, какие хотели; слушать эти курсы было для студентов не обязательно, кто хотел, только тот и слушал. Но многим приват-доцентам поручалось чтение курсов, входивших в программу обязательных занятий. Первый курс моих лекций был необязательным.

Не могу с благодарностью не вспомнить, что в числе моих первых слушателей были люди, прославившиеся впоследствии, а именно мой покойный друг и товарищ по

службе в Петровско-Разумовском акад. Ник<олай> Як<овлевич> Демьянов, затем акад<емик> Дм<итрий> Ник<олаевич> Прянишников, затем проф. Петр Самсонович Коссович — профессор Лесного института.

Впоследствии мне удалось организовать и первые занятия по физической химии. В Московском университете не было занятий по неорганической химии. Когда в 1895 г. я ездил в Париж и ознакомился с постановкой преподавания химии во французских университетах, где были введены практические занятия по неорганической химии, то я попытался в качестве приват-доцента ввести и в Московском университете эти занятия, и таким образом было положено начало занятиям по неорганической химии.

Введение приват-доцентуры оживило преподавание, так как привлекло новые молодые силы к чтению курсов. Особенно хочется отметить А. Н. Реформатского — блестящего лектора, приват-доцентский курс которого «Периодическая система элементов» сразу привлек внимание и пользовался большим и заслуженным успехом.

В заключение мне хотелось бы остановиться на следующем воспоминании.

Никогда я не забуду то утро в сентябре 1876 г., когда я первый раз шел в Московский университет и считал, что все встречные должны мне завидовать, потому что я студент Московского университета, и я не ошибался <...>

Танеев П. В.

ВОСПОМИНАНИЕ О КЛИМЕНТЕ АРКАДЬЕВИЧЕ ТИМИРЯЗЕВЕ

Первые мои воспоминания о Клименте Аркадьевиче относятся к моему самому раннему детству. Такие воспоминания обычно позднее дополняются рассказами старших, и бывает трудно установить, что видел и слышал сам и что узнал от более взрослых. Полагаю, что здесь будет интересно вспомнить, как, по рассказам моего отца Владимира Ивановича, произошла первая его встреча с Климентом Аркадьевичем, тем более что они познакомились не обычным путем через общих знакомых, а без какого-либо посредства.

В Татьянин день (12 января с. с., 1877 г.), в одном тогдашнем московском ресторане «Эрмитаж» праздновалось основание Московского университета. На этом празднестве историк-монархист Д. И. Иловайский, желая выслужиться перед царским правительством, взывал к русской интеллигенции подать своему правительству руку для примирения, так как оно находилось в затруднительном положении вследствие неудачной турецкой войны и ему была необходима патриотическая помощь русского общества[1]. В<ладимир> И<ванович> высказал во всеуслышание несколько резких суждений и презрительных замечаний по поводу подхалимства Иловайского и, бросив бокал, сказал: «Никогда этому не бывать». Климент Аркадьевич, не будучи знаком с В<ладимиром> И<вановичем>, подошел к нему, пожал руку, и с этого времени между ними завязалось знакомство, а потом дружба.

Впервые я видел Климента Аркадьевича в самом начале восьмидесятых годов, имея от роду три-четыре года.

Мы жили в Москве. Нянюшка меня водила гулять по улицам и по Пречистенскому (ныне Гоголевскому) бульвару, а большую часть дня мы проводили с братьями и сестрами, которые были все старше меня, на маленьком,

пыльном дворе нашего дома. Мои родители со всей семьей собирались в конце мая переселиться на дачу на станцию Поворовку Октябрьской ж. д. Но до этого предполагалось побывать в Разумовском, в Петровской академии. Там жили друзья наших родителей: проф. Иван Иванович Иванюков и его жена Екатерина Васильевна. Мы, дети, очень любили Иванюковых, которые были с нами ласковы и внимательны и нередко принимали участие в наших играх.

В Разумовское мы приехали днем. Небо было весеннее, голубое, сияло солнце, было совсем тепло. После обеда все пошли гулять в парк. Около главного здания в клумбах цвело огромное количество луковичных растений, которые разводил садовод Шредер, трава сильно поднялась, цвела сирень. На березах были большие листочки, распускались липы. Все было свежее, все блистало и благоухало. После города в саду было так свободно, воздух был такой свежий и бодрящий, что все казалось какой-то волшебной сказкой. Когда взрослые подвигались медленным, прогулочным шагом, от главного здания по большой аллее, а дети резвились на лужайке, мы встретили Климента Аркадьевича. Он поздоровался с моим отцом, Владимиром Ивановичем, который познакомил Климента Аркадьевича с моей матерью, Еленой Сергеевной, и представил ему всех своих детей. Он произвел в первый момент впечатление человека несколько сурового, но через несколько минут покорил сердца детей своей приветливостью и добротой. Об этой встрече с Климентом Аркадьевичем мы, дети, потом нередко вспоминали и расспрашивали родителей о профессоре, который так нам понравился.

Сияющий весенний день в парке Разумовского, обаяние всей природы и встреча с Климентом Аркадьевичем слились в моем детском воображении в одно красивое и приятное воспоминание.

Прошло около 10 лет. Мой старший брат Владимир Владимирович, окончив классическую гимназию, по совету нашего отца поступил на естественный факультет Московского университета, чтобы получить общее образование, которого гимназия не давала даже в минимальном объеме.

Осенью 1890 года мой брат в университете на втором курсе начал слушать лекции К. А. Тимирязева по физиологии растений и заниматься на специальном практикуме по этому предмету. Талантливое, красочное изложение предмета и глубокое содержание живо интересовали моего бра-

та, и он решил специализироваться у Климента Аркадьевича по физиологии растений.

Находясь на I и на II курсах, брат слушал лекции Александра Григорьевича Столетова. Он читал в большой физической аудитории, в новом здании университета. Эта аудитория была рассчитана на 600 человек. Лекции Столетова предназначались одновременно и для математиков, и для естественников, и для медиков. Студентов набиралось в большой аудитории до 1 000 человек. В дверях, когда их открывали, происходила ужасающая давка, а в аудитории скамейки, все проходы и внизу все свободное место у кафедры занимали густой толпой студенты. А. Г. Столетов, выдающийся знаток своего предмета, мастер слова, всецело захватывал внимание студентов, которые не пропускали его лекций.

Владимир Иванович Танеев был хорошо знаком со многими профессорами Московского университета и был всегда в курсе университетских дел. С Климентом Аркадьевичем Тимирязевым и Александром Григорьевичем Столетовым Владимир Иванович был в дружеских отношениях, и они постоянно с ним советовались, как с юристом.

В 1893 году профессор А. Г. Столетов был выдвинут кандидатом в Академию наук. Но принятие его в члены академии задерживалось. В этом же году в Московский университет представил свою диссертацию на степень магистра физики молодой приват-доцент князь Борис Борисович Голицын. Его диссертация была написана на тему: «Исследования по математической физике»[2]. Труд этот, по постановлению физико-математического факультета, поступил к Столетову на заключение. А<лександр> Г<ригорьевич> нашел в нем много ошибок и неточностей и просил факультет поручить составить отзыв еще и другому профессору физики, Алексею Петровичу Соколову. Последний вполне согласился с мнением Столетова. Голицыну предложили его работу исправить, но он отказался. Без исправлений и Столетов, и Соколов считали работу Голицына негодной, и ее забраковали.

Для того, чтобы прийти на помощь зарвавшемуся князю, попечитель Московского учебного округа граф Капнист предпринял ряд незаконных и подлых мероприятий. Столетову и Соколову было предписано дать положительное заключение о диссертации Голицына; вопрос о ней был поставлен, как полагалось, на заседании факультета, но вместо декана проф. П. А. Некрасова председательствовал

попечитель Капнист. Таким образом, предполагалось решить вопрос благожелательно для диссертанта. На этом заседании факультета декан Некрасов резко критиковал отзыв Столетова и Соколова, и было зачитано наглое письмо Голицына. Столетов выступил с защитой своего мнения. Большинство членов факультета во всех подобных делах руководствовалось по отношению к начальству девизом «что изволите приказать» и отнеслось ко всем этим действиям учебного округа, декана и диссертанта индифферентно, а часть профессоров даже приняла сторону начальства. Но, конечно, К. А. Тимирязев твердо встал на защиту Столетова. Климент Аркадьевич произнес в факультетском заседании яркую речь, исчерпывающую вопрос, и резко и смело охарактеризовал присланное Голицыным письмо как дерзкое и нахальное. В нем диссертант требовал от факультета отклонения неблагоприятного отзыва специалистов и поручения вторично рассмотреть его труд представителям других специальностей. Климент Аркадьевич представил все сказанное в речи в виде особого мнения. По поводу выступления проф. Некрасова Климент Аркадьевич высказал свое резкое суждение и представил в факультет тоже особое мнение. В этом мнении К<лимент> А<ркадьевич> указывал Некрасову на незаконность его действий, их оскорбительность для факультета и особенно для профессоров Столетова и Соколова.

В конце 1893 года и в начале 1894 года в Москве был созван IX съезд русских естествоиспытателей и врачей. Климент Аркадьевич был главным инициатором по его организации, а затем был выбран его председателем и произнес свое приветствие съезду «Праздник русской науки», которое приобрело громкую известность[3]. Во время съезда был проведен целый ряд интереснейших сообщений, сопровождающихся демонстрациями приборов и препаратов, и устроен ряд выставок. Наиболее блестящие демонстрации и выставки были сделаны проф. Столетовым и его помощниками — П. Н. Лебедевым, И. Ф. Усагиным и другими. Некрасов, который теперь уже был попечителем Московского учебного округа, был этим очень недоволен и боялся, что на съезде возникнет вопрос о диссертации князя Голицына. Поэтому Некрасов предупреждал К<лимента> А<ркадьевича>, чтобы тот, как председатель, не допускал обсуждения этого инцидента, а одновременно с этим продолжал травить Столетова.

Несмотря на предупреждения Некрасова, К<лимент> А<ркадьевич> в своем слове на заключительном собрании съезда отметил значение и блестящее выполнение демонстративных сообщений, сделанных Столетовым. При закрытии съезда пленум его устроил шумные овации К<лименту> А<ркадьевичу> и Столетову.

Но дело с князем Голицыным кончилось тем, что он вместо Столетова был сделан академиком-адъюнктом.

Когда я был в гимназии, а мой старший брат Владимир Владимирович учился в университете, под влиянием брата я стал интересоваться естественными науками. Отец приобрел для работы брата чудесный микроскоп. Летом во время каникул брат меня научил основам микроскопической техники, и я с большим увлечением занимался анатомией растений и изучением водорослей, живущих в стоящей воде. По указаниям брата я прочитал книги К. А. Тимирязева «Жизнь растения» и «Ч. Дарвин и его учение»[4]. И та и другая книги произвели на меня глубокое впечатление. Простота и ясность изложения, глубина содержания, красочный, безукоризненный язык — все это соединяется в названных книгах. И тогда уже вопрос о выборе факультета не вызывал у меня ни малейшего сомнения.

Находясь в старших классах гимназии, я был на двух популярных лекциях Климента Аркадьевича в большой аудитории Политехнического музея. Каждый раз билеты можно было получить только после долгих ожиданий из-за большого количества желающих попасть на эти лекции. Оба раза аудитория была так переполнена, что, как говорят, негде было упасть яблоку. Лектор с трудом проходил на кафедру. При появлении его начинались шумные, длительные аплодисменты. Несмотря на волнение, Климент Аркадьевич прочитывал лекции блестяще и после них вызывал дружный взрыв аплодисментов, переходящих в овации с выкриками приветствий и пожеланий. Но Климент Аркадьевич потом не раз мне говорил, что перед каждой лекцией он сильно волнуется — а затем, начав говорить, успокаивается[5].

Лекции Климента Аркадьевича глубоко запечатлелись в моей памяти, хотя я их слушал более 40 лет назад. Они обладали всеми теми достоинствами, которыми отличались его труды. Но, конечно, слышать их, непосредственно из его уст, было особенно приятно.

Находясь в Московском университете, я усердно посещал лекции Климента Аркадьевича сперва по анатомии

растений, а затем по физиологии растений, работал под его общим руководством у его ассистентов — Алексея Николаевича Строганова и Николая Сергеевича Понятского.

В 1889 году министерство просвещения, боясь роста студенческих волнений, которые были тесно связаны с оппозиционным движением, захватывавшим все большие и большие круги трудящихся масс, издало «временные правила» для студентов высших учебных заведений. Правила эти заключались в том, что студентов, которые приняли участие в беспорядках, отдавали в солдаты[6]. Через полгода после издания «временных правил» в Киеве подверглись этой каре 183 человека.

Климент Аркадьевич обратился в совет Московского университета с предложением просить министерство просвещения об отмене этих жестоких «временных правил». Большинство членов совета испугалось этого предложения и взамен того постановило написать к студентам воззвание, чтоб они не производили беспорядков и не нарушали правильного течения жизни высших учебных заведений. Это воззвание было принято 70 профессорами, но Климент Аркадьевич наотрез отказался его подписать. Товарищ министра просвещения Н. А. Зверев «поставил на вид» Клименту Аркадьевичу этот отказ, т. е., говоря попросту, распорядился «сделать выговор» от имени министра. Попечитель учебного округа Некрасов этот выговор передал Клименту Аркадьевичу устно, чтобы это не вызвало огласки.

Климент Аркадьевич после этого подал заявление ректору университета об уходе. Попечитель округа убеждал Климента Аркадьевича остаться, а затем наиболее прогрессивная часть профессоров просила его взять обратно его заявление об уходе. Климент Аркадьевич остался.

Студенчество естественного и математического отделения физико-математического и других факультетов, хотя и не могло быть полностью в курсе дел Климента Аркадьевича, имевшего огромную популярность, все же знало, что его выживают из университета. Когда после всех этих историй Климент Аркадьевич пришел читать первую лекцию по своему курсу физиологии растений, собралось больше тысячи студентов, которые захотели его поздравить с возвращением. Администрация для чествования Тимирязева дала большую физическую аудиторию, которая все же не могла вместить всех собравшихся.

На кафедре были поставлены цветы. Представители

всех факультетов университета читали адресы великому Тимирязеву, который всегда имел безупречную репутацию, всегда шел во главе прогрессивно-революционного движения, которого студенты любили и уважали больше всех профессоров. В трогательных теплых выражениях студенты благодарили его за то, что он не оставил университета, чтобы и в дальнейшем помогать студентам, как он помогал раньше, и желали ему успеха во всех его делах научных, учебных и здоровья на долгие годы.

На все приветствия Климент Аркадьевич ответил блестящей речью. Он говорил, что постоянно в своей научной работе он руководствовался девизом: «Любовь, вера и надежда». С юношеских дней он полюбил науку, любит ее в настоящее время и будет ее любить до конца своей жизни. Всегда он верил в прогресс и всегда надеялся на молодых людей в том, что они будут двигать науку вперед на благо всего человечества. После этой речи К<лименту> А<ркадьевичу> была устроена шумная, долго не смолкавшая овация.

В 1899 году и позднее, как Климент Аркадьевич сам мне рассказывал, по поводу «временных правил» и по другим вопросам часто к нему обращались за советом многие студенты. Он не отказывался никогда и раньше с ними беседовать, принимал их у себя дома и в своей лаборатории, где было сделано несколько тонких перегородок. Предусмотрительное университетское начальство по согласовании вопроса с охранным отделением сажало за перегородку сыщика, который не только выслушивал, но и дословно записывал все то, что говорил Климент Аркадьевич, а затем это сообщалось в учебный округ и тем, кому это было нужно. В дальнейшем Климент Аркадьевич сделался осторожнее и всегда при разговоре со студентами по вопросам политическим, хотя и не скрывал своих политических убеждений, принимал меры предосторожности, чтобы его не выслушивали незримые свидетели...

Травля Климента Аркадьевича в университете все усиливалась. Его постоянно стесняли с помещением. Лекции он был вынужден читать в чужих аудиториях: то в физической, то в математической, то просто в той аудитории, которая была свободна. Занятия студентов с микроскопами приходилось вести в углу аудитории, который был от нее отгорожен сквозной перегородкой. Студентов, желающих работать по анатомии и физиологии растений, было много, но им приходилось отказывать из-за недостатка по-

мещений. В 1902 году было готово новое здание на Никитской, в котором, рядом с зоологическим музеем, были устроены кабинеты анатомии и физиологии растений и прекрасная большая аудитория. Но в это время Климент Аркадьевич, как проработавший профессором 30 лет, отказался от чтения обязательного курса анатомии и физиологии растений.

Специальную работу на тему «Усвоение азота бобовыми растениями» я выполнял под руководством Климента Аркадьевича. Каждый раз, как я шел к нему для консультации, был для меня буквально праздником. Глубокое знание физиологии растений, огромная эрудиция, исключительно внимательное и культурное отношение к студентам — все это производило на меня, можно сказать, чарующее впечатление. Несмотря на то, что я должен был консультироваться у Климента Аркадьевича сперва два раза в месяц, а затем каждую неделю, я шел к нему с большим волнением и никогда не злоупотреблял его временем, хотя всегда хотелось пробыть у него подольше.

Владимир Иванович, мой отец, организовал в Москве кружок профессоров, литераторов и актеров. Этот кружок собирался один раз в месяц в ресторане «Эрмитаж» на обедах, которые назывались «академическими». Состав этого кружка постепенно изменялся по разным причинам, но Климент Аркадьевич был постоянным посетителем этих обедов.

В 80-х годах на эти обеды приглашались ученые, литераторы, артисты и немногие адвокаты и музыканты. Приглашались и их жены. Но однажды произошел неприятный инцидент. Известный тогда писатель Петр Дмитриевич Боборыкин заспорил с математиком Николаем Васильевичем Бугаевым[7] на политические темы. Спор двух задорных людей, в высшей степени нетерпимых, перешел в ссору. Боборыкин схватил графин и запустил им в Бугаева. Тот успел от удара уклониться, и графин разбился о стену. Бугаев в первую минуту струсил, но потом вооружился стулом и проломил бы голову Боборыкину, если бы их не успели схватить и растащить. В<ладимир> И<ванович> на академические обеды этих драчунов больше не приглашал и перестал приглашать дам.

В кружок, собираемый В<ладимиром> И<вановичем>, входили: Климент Аркадьевич Тимирязев, Александр Григорьевич Столетов, Максим Максимович Ковалевский, Иван Иванович Иванюков, Владимир Васильевич

Марковников, Владимир Федорович Лугинин, Александр Иванович Чупров, Сергей Андреевич Муромцев, Иван Алексеевич Каблуков, Дмитрий Моисеевич Петрушевский, Александр Сергеевич Бутурлин, Петр Николаевич Лебедев, Булдин, Корсаков и другие; из артистов — Александр Иванович Сумбатов-Южин, Богумил Богумилович Корсов, из писателей изредка бывал Иван Сергеевич Тургенев, Петр Дмитриевич Боборыкин и некоторые профессора, литераторы и деятели искусства. На этих академических обедах обычно разговор был общий. Обсуждались общие вопросы: философские, исторические, текущей политики, религиозные и т. п. Владимир Иванович рассказывал, что иногда он обращался к членам кружка с подобными просьбами: например, припомнить к следующему академическому обеду, какие имеются научно обоснованные данные о том, что Христос действительно когда-то существовал, что Евангелие написано лицами, знавшими Христа, и т. п. На следующем собрании эти вопросы дебатировались. Обсуждению подвергался и ряд других тем из различных областей науки, литературы и искусства.

Попечитель Московского учебного округа Боголепов, позднее бывший министром просвещения, относился к академическому кружку Танеева очень недружелюбно и тех профессоров, которые обедают с Танеевым в «Эрмитаже», считал малонадежными.

В 1904 году Климент Аркадьевич с семьей впервые провел все лето в Демьянове, имении В. И. Танеева, около Клина, Московской области. Это первое лето Тимирязевы жили в маленькой даче, а начиная со следующего, 1905 года они занимали там самую большую дачу и приезжали туда каждый год, кончая 1917 годом.

В начале лета между Климентом Аркадьевичем и Владимиром Ивановичем возникал спор. Климент Аркадьевич находил, что цена на дачу, в которой он живет, несообразно низка, а Владимир Иванович отказывался ее повысить. Но вопрос согласовывался скоро, и друзья успокаивались.

Большая дача, в которой Тимирязевы жили 13 лет, представляла собою западную половину длинного каменного здания, вытянутого с запада на восток, обращенного главным фасадом на юг — в парк, и имела второй этаж деревянный. В восточной части этого корпуса было еще две дачи. В нижнем этаже большой дачи было 10 или 11 комнат, 5 или 6 из них большие, а наверху — еще четыре комнаты. С южной стороны находился балкон в 2 этажа, а

с западной, узкой стороны — обширная терраса. В этом западном конце здания была расположена зала. В ней стоял письменный стол Климента Аркадьевича, за которым он работал. Окна в этой зале выходили на три стороны: на юг, запад и север. В восточной стене был мраморный камин, сделанный специально для Климента Аркадьевича. Обстановка залы состояла из кресел, дивана, кушетки, шкапчиков, большого стола и столика — все из красного дерева с обшивкой красного цвета. Кроме этой мебели Тимирязевы привозили каждый год из Москвы: шкапы, шкапчики, полки для книг, кресла и пр. Стены, подоконники, рамы, двери и ставни в этой зале были белые. В ней чувствовался необыкновенный уют и покой. В солнечные дни эта зала весь день с утра до заката была залита светом и сообщала людям, находящимся в ней, хорошее жизнерадостное настроение. В дождливые и холодные дни затапливали камин, и через полчаса в зале становилось тепло. Эту залу Климент Аркадьевич любил больше других комнат и проводил в ней или на террасе весь день и вечер, когда не работал в своей лаборатории.

Около дачи, где жили Тимирязевы, по желанию Климента Аркадьевича траву не косили. На плодородной земле парка здесь вырастали во второй половине лета большие мальвы, коровяки, пижмы, лопухи, белена и другие растения. В августе они были выше человеческого роста. Такой мощный травяной покров нравился Клименту Аркадьевичу.

Лабораторию свою Климент Аркадьевич устроил в двух южных комнатах. Здесь помещались все научные приборы, привезенные на лето или сконструированные им вновь, реактивы, посуда. Во многих работах Клименту Аркадьевичу помогал его сын Аркадий Климентович — физик. Около одного из окон лаборатории был сложен кирпичный столб для гелиостата. С этой же южной стороны дачи Климентом Аркадьевичем был установлен вегетационный домик. Этот домик он старался построить возможно более простым и дешевым, чтобы он мог найти широкое распространение. Первоначально Климент Аркадьевич составил чертеж для постройки своего вегетационного домика, по которому клинский столяр Федор Дмитриевич Дмитриев сделал все его составные части. Домик был построен таким образом: в землю были врыты 4 обтесанных столба квадратного сечения; к ним на крючках и задвижках приделывались рамы, обтянутые мелкой железной решеткой,

чтобы защитить посевы от птиц. И столбы и рамы были сделаны из сухого елового дерева и выкрашены в темно-красный цвет. С южной стороны была устроена дверь для установки внутри домика вегетационных сосудов и наблюдения за культурами. Крыша домика была тоже из железной сетки и в случае дождя покрывалась толем.

С утра Климент Аркадьевич обычно занимался в лаборатории, где велись глубоконаучные работы и работы, имевшие в виду наиболее наглядные демонстративные опыты для популяризации знаний по физиологии растений. В вегетационном домике тоже выращивались растения с двумя аналогичными задачами; вырабатывались наиболее упрощенные приборы и методы.

После обеда, когда уже солнце было невысоко и становилось прохладно, собиралась компания, в которой участвовали Тимирязевы, Смирновы, Танеевы, Васнецовы, Борисов-Мусатов, Бекетов и другие. Компания отправлялась гулять по ближайшим полям и лесам.

В 1905 году, когда мой старший брат Владимир Владимирович был преподавателем Херсонского сельскохозяйственного училища и летом проводил каникулярное время у отца, к нам приехали ученики выпускного класса этого училища (14 человек) с преподавателем математики Кирьяковым.

Климент Аркадьевич любезно предложил брату В<ладимиру> В<ладимировичу> прочитать лекцию для этих учеников о связи агрономии с физиологией растений.

Лекция эта состоялась в июле 1905 года. На ней были показаны опытные растения в вегетационных сосудах. Кроме учащихся слушать Климента Аркадьевича собралось все сознательное население Демьянова и даже взрослые привели с собой несколько человек маленьких детей. Двухсветная большая зала в большом доме, в котором помещалась библиотека В. И. Танеева, была полным-полна. Климент Аркадьевич, как всегда живо, красочно и увлекательно, прочитал свою лекцию. Во введении он говорил о своем учителе Буссенго, Роберте Майере, Германе Гельмгольце, Жане Сенебье и ряде других больших ученых. Все присутствующие слушали Климента Аркадьевича с захватывающим интересом и после лекции устроили ему шумную овацию. По окончании сообщения желающие отправились в поле, где по указанию Климента Аркадьевича были поставлены опыты в полевом масштабе. Лекция Климента Аркадьевича, сопровождаемая демонстрацией веге-

тационных и полевых опытов, произвела и на херсонских гостей и на жителей Демьянова большое, неизгладимое впечатление. Учащиеся говорили, что они никогда не слыхали такого яркого изложения и так мастерски и интересно построенной лекции.

После того как приезжали к нам в гости ученики из Херсонского сельскохозяйственного училища, у Климента Аркадьевича и Владимира Ивановича возникла мысль организовать сельскохозяйственную школу в Демьянове. Условия там для этого были очень подходящие. Жилых построек и построек для аудиторий, кабинетов было бы вполне достаточно. Под руководством Климента Аркадьевича мы могли бы справляться с преподаванием своими силами. Можно было иметь в этой школе по природным и хозяйственным условиям несколько специальностей: огородническую, полеводческую, животноводческую, садоводство, пчеловодство. Было проведено совещание всех заинтересованных лиц под председательством Климента Аркадьевича. Все необходимые условия были налицо. Но нужно было просить разрешения у министерства земледелия. Было несомненно, что оно Клименту Аркадьевичу Тимирязеву совместно с Владимиром Ивановичем Танеевым никогда не позволит открыть задуманную сельскохозяйственную школу, так как оба они считались революционерами.

После того как Климент Аркадьевич читал лекцию для учеников Херсонского училища, состоялся второй доклад доктора филологических наук Андрея Викентьевича Адольфа о статуе Афины Ламносской, которая стояла у Владимира Ивановича в большой зале.

После этого доклады и лекции в Демьянове стали часто читаться. Лекторами были К. А. Тимирязев, В. А. Суражевский, Н. Д. Силин, Л. П. Смирнов, П. В. Танеев и др. Темы были самые разнообразные. Климент Аркадьевич приходил всегда на эти лекции, слушал их от начала до конца и иногда высказывал свое мнение.

Однажды сделал в Демьянове сообщение Михаил Александрович Эртель «Об индийской науке и о теософии». Среди слушателей были профессоры, инженеры, юристы и лица других специальностей. То, что говорил Эртель, не поддается никакому воображению. Он объяснил, что знает санскритский язык и перевел поэтому «Гориванши», уверял, что буква «л» в санскритском языке имеет 22 различных звуковых оттенка и произносил из них 12; в индийской арифметике будто бы не 4 простых арифметических дейст-

вия, а шесть и т. п. Когда же Эртель дошел до теософии, то совершенно потерял почву: астральные оболочки, которые мог видеть только он, искус посвященных, жизнь до появления на свет, переселение душ и т. п. Сообщение продолжалось более 2 часов, и, когда Эртель кончил, раздался ропот негодования. Все желали высказаться. Первым взял слово Климент Аркадьевич. Через четверть или полчаса от всех построений Эртеля не осталось камня на камне. Вслед за ним говорил ряд лиц, тоже возражавших Эртелю и доказывавших полную его несостоятельность. Когда дошло дело до заключительного слова, докладчик уже говорить не мог, т. к. он плакал. И затем уже Эртель не дерзал выступать в такой высокоавторитетной аудитории, а дурачил «аргонавтов» во главе с Андреем Белым и еще более невежественных старух-богомолок.

В эти годы в Москве устраивались вечера у Сергея Ивановича Танеева — известного композитора. На этих вечерах всегда были Климент Аркадьевич Тимирязев, его сын Аркадий Климентович, Владимир Иванович Танеев, П. В. Танеев, художники Иван Александрович Астафьев, Аполлинарий Михайлович Васнецов, проф. Булдин, символисты и теософы: Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев), Эллис (Лев Львович Кобылинский), Михаил Александрович Эртель, Павел Николаевич Батюшков (которого все знакомые заочно называли Матушкиным) и ряд других лиц.

На этих вечерах играл на рояле С. И. Танеев, и почти всегда здесь делались сообщения. Я хорошо помню два блестящих доклада, сделанных Климентом Аркадьевичем на темы: 1) «Искусственный подбор при создании художественных литературных произведений» и 2) «Фотография и фотограф». Оба эти доклада вызвали у присутствующих оживленный и длительный обмен мнений.

. . . .

В 1909 году осенью, в конце ноября, Климент Аркадьевич подготовлялся к съезду естествоиспытателей и врачей, который должен был состояться в 1910 году. Это было сопряжено с большими хлопотами и беспокойствами, и, находясь у фотографа Фишера, он внезапно заболел параличом. После этого он долго не мог ходить: его возили в коляске. За ним ухаживали, кроме его жены Александры Алексеевны и сына Аркадия Климентовича, сестра милосердия Екатерина Алексеевна Козлова и Дмитрий Александрович Плотников, который делал Клименту Аркадье-

вичу массаж. Благодаря тщательному уходу и лечению здоровье больного постепенно восстановилось, он стал ходить с палкой, но все же медленно, и плохо владел одной рукой. Но в течение наиболее тяжелого состояния здоровья, во время болезни умственные способности Климента Аркадьевича сохранились во всей своей силе и даже память не ослабевала.

В 1913 году я уезжал за границу, а в 1914 году и позднее жил в Могилеве, губернском городе, где ставка верховного главнокомандующего. Когда я приезжал в Демьяново, Климент Аркадьевич всегда меня расспрашивал о последних новостях, глубоко возмущался военными действиями и неизменно говорил, что война должна быть во что бы то ни стало прекращена. Так как за окончание войны стояла партия большевиков, Климент Аркадьевич говорил, что эта единственная партия, которая, взявши власть в руки, выведет Россию из состояния войны и создавшегося тупика.

Поэтому Климент Аркадьевич был несказанно рад и вполне удовлетворен исходом Великой Октябрьской революции. Это видно из оставшихся после него трудов и писем.

Когда после Октябрьской революции я бывал у Климента Аркадьевича, он всегда подробно расспрашивал о здоровье и жизни Владимира Ивановича, который был в Демьянове и жил там в одной из маленьких дач. Библиотека Владимира Ивановича, в которой насчитывалось тогда 20 000 томов, находилась в большом доме. Осенью 1918 года возник вопрос о необходимости ее охраны. Климент Аркадьевич принял в этом живое участие, говорил по этому поводу с зам. народного комиссара по просвещению и дал мне к нему подробное письмо с изложением положения дела с библиотекой.

Отец Климента Аркадьевича, Аркадий Семенович, воспитывал его в республиканском духе. Поэтому, будучи еще студентом Петербургского университета, Климент Аркадьевич испытывал большие затруднения и не мог подчиниться существовавшему тогда полицейскому режиму, введенному в университетах Путятиным. Отказавшись подписать так называемые «матрикулы», требовавшие, чтобы студенты дали письменное обязательство в том, что они не будут принимать участия в каких-либо общественных волнениях или беспорядках, К<лимент> А<ркадьевич> должен был уйти из Петербургского университета. Курс он окончил в нем вольным слушателем[8]. На всем протя-

жении научной и преподавательской деятельности Климента Аркадьевича его постоянно преследовало царское правительство и не решалось его уволить из университета только из-за огромной популярности его в России и известности за границей, которые он приобрел. Все время министерство просвещения, учебный округ и университетское начальство преследовали профессора Тимирязева и не давали ему мало-мальски спокойно и нормально работать, а с 1909 года это преследование превратилось в травлю, было причиной того, что он должен был подать в отставку (в 1910 г.) и остался в университете только по просьбе своих товарищей-профессоров.

Когда в 1911 году министр просвещения Кассо стал душить Московский университет неслыханным полицейским режимом, Климент Аркадьевич во главе 100 профессоров и преподавателей ушел из него.

Климент Аркадьевич с горькой иронией сказал мне по этому поводу, что «эта такая гекатомба, которой не видала никогда никакая история. Она принесена для прославления царского правительства и министра Кассо».

Скоро после Великой Октябрьской революции в 1917 году Климент Аркадьевич был восстановлен профессором в Московском университете. Советское правительство оценило его по заслугам. Владимир Ильич Ленин написал ему теплое, дружеское письмо и желал ему здоровья, в котором К<лимент> А<ркадьевич> так нуждался в последние годы своей жизни[9]. Проф. Тимирязев был избран действительным членом Социалистической академии; принял на себя председательствование в «Ассоциации натуралистов и рабочих-самоучек», был членом Государственного ученого совета, а московские рабочие выбрали членом Московского Совета[10]. С горячей верой в дело пролетариата и уверенный в успехе, Климент Аркадьевич писал членам Московского Совета (6 марта 1920 г.), что нужно: «Работать, работать, работать! Вот призывный клич, который должен раздаваться с утра и до вечера и с края до края многострадальной страны, имеющей законное право гордиться тем, что уже она совершила, но еще не получившей заслуженной награды за все свои жертвы, за все свои подвиги»[11]. Вместе с тем Климент Аркадьевич говорит «о своих годах и болезни», которые ему мешают в работе.

Вскоре после этого (20 апреля 1920 г.) Климент Аркадьевич заболел и умер в ночь с 27 на 28 апреля.

Климент Аркадьевич, несмотря на все преследования

его царским правительством, сделал ряд громадных открытий и написал много научных и популярных трудов. Он пользовался всемирной известностью и был избран почетным доктором Оксфордского, Глазговского, Кембриджского[12] и Женевского университетов, членом Эдинбургского, Манчестерского и Лондонского королевских обществ.

Тимирязев был твердым и стойким борцом за дело пролетариата. Всю свою жизнь он боролся с темными и дикими силами царизма, твердо веря в успех и торжество пролетариата и развитие науки для пользы всего человечества. Поэтому, чтобы увековечить его память, Советский Союз воздвиг ему памятник в нашей советской столице и его именем названа Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия[13].

Щетинин Б. А.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

(Из недавнего прошлого)

Свежо предание, а верится с трудом.
А. С. Грибоедов

I

Смерть графа П. А. Капниста, одного из популярнейших попечителей Московского учебного округа, в течение длинного ряда лет с честью занимавшего высокий пост, воскресила в моей памяти несколько интересных страниц из недавнего прошлого, которого я был свидетелем и отчасти даже участником.

Я поступил в Московский университет в 1885 году, когда только что был введен в действие новый университетский устав, перевернувший вверх дном весь прежний уклад студенческой жизни, разрушивший до основания ее лучшие традиции и вдохнувший в нее холодный, мертвящий формализм[1]. Помню, этот новый устав, как некий жупел, пугал наше гимназическое воображение еще задолго до своего обнародования. Нам, восьмиклассникам, рисовались самые мрачные перспективы, а гимназическое «начальство» ехидно поддразнивало нас:

— Вот подождите, господа, поступите в университет — там вас маршировке будут учить да в карцер сажать на хлеб и на воду! — пресерьезно уверял нас своим гнусавым тенорком надзиратель Дмитрий Дмитриевич, в общем, добродушнейшее и безобиднейшее существо в мире.

— Что вы, Мить Митчь,— возражали ему,— разве возможно, чтобы студента в карцер? Это ведь не гимназист!

— Еще похуже гимназиста будет! — отвечал Мить Митчь, по привычке зажмуривая оба глаза, как кот, у которого пощекотали за ухом.

Время летело. Наступила весна. Незадолго до выпускного экзамена в гимназию приехал граф Капнист. Про-

слушав в 8-м классе урок истории, он на прощанье обратился к нам со следующими словами:

— До скорого свиданья, господа! Надеюсь, увижу вас в стенах университета. Не забудьте, что первые шаги ваши там будут при совершенно новом режиме, нисколько не похожем на теперешний. Вы будете первыми пионерами нового университетского устава, вы воспользуетесь всеми его хорошими сторонами, но вместе с тем, конечно, должны будете вынести на своих плечах и все возможные его недостатки, которые почти неизбежны во всяком новом деле.

Граф Капнист нечаянно обмолвился каламбуром, но мы вспомнили его, когда действительно всевозможные (а не только все возможные) недостатки нового университетского режима нам вскоре пришлось испытать на своей шкуре. Убедились мы также, что и надзиратель Мить Митчь оказался недурным пророком: если до маршировки дело еще не доходило, то сажанье студентов в карцер было явлением столь обычным, столь правильно и систематически организованным, что представлялось даже каким-то неотъемлемым атрибутом высшей науки.

В то время инспектором студентов был «знаменитый» А. А. Брызгалов, стяжавший себе во второй половине 80-х годов такую громкую славу, что выражение «брызгаловская эпоха» для московского студента-восьмидесятника звучит теперь не менее определенно, чем какая-нибудь «аракчеевщина» или «бироновщина». Брызгалов ввел в стенах университета целую систему шпионства и доносов, в которых изощрялись, главным образом, низшие служители инспекции, так называемые педели. Малейшее нарушение дисциплины со стороны студента уже влекло за собою педельское «слово и дело» и неизбежное наказание провинившегося карцером. Никогда не забуду, как, будучи уже на втором курсе, я по рассеянности вышел на улицу в белой фуражке, забыв, что уже было 1-е сентября. Погода стояла жаркая, летнее солнце так и жгло, но... это не давало мне права забывать маленькое примечание в университетских правилах, в котором последним сроком ношения белых фуражек объявлялось 31 августа. Я шел, весело напевая что-то вполголоса, и мне даже в голову не приходило, что я совершил нечто преступное, как вдруг — о ужас! — встречаю педеля Е-ва, чуть ли не одного из самых рьяных брызгаловских клевретов. Мы молча раскланиваемся, но по лицу Е-ва я замечаю что-то нелад-

ное. Он как-то подозрительно окинул меня своим быстрым, бегающим взглядом, на жирных и красных губах его промелькнула ехидно-сладенькая улыбка, и, когда я инстинктивно обернулся назад, чтоб посмотреть ему вслед, я увидел, как он достал записную книжку и на ходу что-то записал в нее: «Ну, кончено! — подумал я.— Наверное в чем-нибудь попался!» И действительно в тот же день я был позван к субинспектору Д., чрезвычайно добродушному весельчаку, который готов был смеяться почти без всякого повода. Стоило в его присутствии кому-нибудь сострить даже совсем неудачно, как Д. уже заливался неудержимым смехом. А удачно сказанная острота заставляла его хохотать до колик в животе. Помнится, однажды кто-то из студентов раздавал в аудитории только что изданные лекции. Проходя мимо открытых дверей и увидав собравшуюся толпу, Д. встревожился: «Не сходка ли?»

— Господа! Что такое? В чем дело? — спрашивал он, вбегая в аудиторию.

— Ничего особенного! — отвечал студент, собравший толпу.— Видите, раздаю лекции...

Д. сделал плаксиво-умоляющее лицо.

— Ах, господа! — взмолился он.— Нельзя же здесь раздавать лекции: Алексей Александрович строго-настрого запретил... Пожалуйста, разойдитесь!

Но студенты не расходились. Некоторые даже вступили с субинспектором в спор, находя запрещение раздавать лекции ни на чем не основанным. Бедный Д. чуть не плакал. В это время из кучки студентов отделился маленький, белобрысый человечек, некто Пучков, большой остряк и каламбурист.

— Послушайте, Николай Николаевич,— с серьезной миной обратился он к Д.— Стоит ли спорить о «предлогах»: если лекции можно из-давать, то отчего же нельзя их раз-давать?

Д. не выдержал и захохотал, да так уж и не мог вымолвить ни одного слова: схватившись обеими руками за живот, он, как бомба, выскочил из аудитории.

Вот к этому-то смешливому субинспектору я и был позван в качестве обвиняемого в нарушении дисциплины.

— Что это вы, батенька, вздумали разгуливать в белой фуражке? — обратился он ко мне.— Разве не знаете, что летнюю форму можно носить только до первого сентября?

— Но ведь сегодня только первое? — пробовал я возразить.

— Ну, вот то-то же и есть: значит, вчера был последний день, а сегодня уж нельзя...— сказал он наставительно.— Вы ведь знаете, как А. А. требователен и строг насчет формы... Или в карцер захотелось?

— Что ж, я не прочь произвести осмотр студенческого карцера: никогда не видал! — отвечал я с улыбкой.

Д., по обыкновению, неистово захохотал, и инцидент, как говорится, был исчерпан.

Как невероятны должны казаться теперь подобные «инциденты»! А ведь с того времени не прошло еще и двух десятков лет.

II

В описываемую эпоху университетские педели, по большей части бывшие унтер-офицеры, были наделены совершенно исключительными полномочиями. Для студентов это было ближайшее и грозное начальство, которое, по своему усмотрению, могло карать или миловать всякого провинившегося. Случалось, что педель подходит на улице к студенту, замеченному им в каком-нибудь проступке, и, если не знал его фамилии, преспокойно отбирал у него «входной» билет,— в результате, по распоряжению Брызгалова, студент немедленно сажался в карцер. Дело не обходилось без курьезов. Так, однажды летом, студент М., юрист-первокурсник, попался педелю на улице в крайне «предосудительном» виде: на нем были надеты простая рубашка-косоворотка, высокие сапоги и форменная тужурка нараспашку. Педель не мог перенести такого посрамления университетского устава, в один прыжок очутился около М., грубо схватил его за шиворот и, не говоря ни слова, потащил в университет. М. пробовал вырваться, но его маленькая, тщедушная фигурка как-то беспомощно билась и трепетала в здоровенных руках педеля. Вдруг случилось нечто совсем неожиданное. На повороте из одного переулка в другой педель нечаянно выпустил из рук свою добычу, и М. со всех ног пустился бежать. Педель за ним. Пробежав некоторое расстояние по прямому направлению, юркий М. сворачивает в тупичок, подскакивает к довольно низенькому деревянному забору с железными колючками наверху и в один миг перепрыгивает через него на соседний двор. Педель захотел последовать примеру беглеца,

но — о ужас! — в тот самый момент, как он, грузно вскарабкавшись на забор, уже готовился соскочить вниз, предательская колючка разодрала ему сверху и донизу штаны... Очутившись в столь критическом положении, педель, разумеется, должен был прекратить свое неудачное преследование.

Не лишним считаю заметить, что М. был стипендиат, т. е. «фигура», в глазах педеля «не стоящая внимания». Вообще к так называемым «недостаточным студентам» педели относились свысока, пренебрежительно и каждое лыко ставили им в строку, в противоположность студентам зажиточным, «белоподкладочникам», которым они всячески мирволили. «Белоподкладочник» мог откупиться известной суммой денег и совсем не ходить в университет, будучи уверенным, что педель ежедневно отмечает его в своем журнале, тогда как недостаточный студент, даже вполне исправно посещающий лекции, далеко не мог иметь подобной же уверенности: педель всегда мог записать его отсутствующим. Таким образом, система обязательного посещения лекций ставила студентов в крайне унизительное положение по отношению к педелям. Не раз приходилось мне видеть, как плохо одетый студентик, в сильно потрепанном сюртучке, робко пробирался в аудиторию и, проходя мимо педеля, почтительно кланялся ему с заискивающей улыбочкой на лице, а тот удостаивал его в ответ лишь олимпийским кивком головы. Или, например, приходилось наблюдать, что студент, желая избегнуть педельской «неблагоприятной» отметки в журнале, пускался на хитрость: он оставался дома, а товарищу поручал занести в университет свое пальто и повесить его в раздевальне. Когда начинались лекции, педель обходил раздевальню, тщательно осматривая вешалки с фамилиями и отмечая по ним отсутствующих, среди которых, конечно, не оказывалось приславшего вместо себя пальто.

Само собой разумеется, что к таким унизительным уловкам никогда не прибегали те из студентов, у кого достаточно было развито чувство собственного достоинства, но зато естественно, что у этих последних больше всех накоплялось раздражения против существующего порядка.

III

Требование обязательного посещения лекций под унизительным контролем педелей, зачеты се-

местров, сводившиеся в большинстве случаев к простой и очень скучной формальности, система профессорских гонораров, благодаря которой сильно затруднялся доступ на лекции «чужакам», т. е. студентам разных факультетов, стекавшимся послушать популярного профессора,— все это очень расхолаживало нас, новичков, к высшей науке с первых же шагов на пути ее изучения. А между тем в то время в Московском университете блистали еще такие звезды первой величины, как А. И. Чупров, М. М. Ковалевский, Н. А. Зверев, И. И. Янжул, Н. Я. Грот, Н. С. Тихонравов, Ф. А. Бредихин и др. Первые два имени едва ли были не самыми популярными. Несмотря на строгость тогдашней инспекции, на лекции двух этих профессоров проникало всегда множество посторонних слушателей, так что огромный актовый зал, служивший аудиторией для юристов первого и второго курса, бывал обыкновенно совершенно переполнен, приходилось даже стоять в проходах между рядами стульев и тесниться около самой кафедры.

Бывало, в тот день, когда должна была читаться лекция по политической экономии, нарочно заберешься в актовый зал спозаранку, сядешь в один из первых рядов, да так уж и не сходишь с занятого места до тех пор, пока милейший, всеми любимый Александр Иванович Чупров не появится на кафедре. А так как лекция по политической экономии занимала обыкновенно последние часы — четвертый и пятый, то неминуемо приходилось сначала поскучать на римском праве, которое читал Н. П. Боголепов (тогдашний ректор университета, впоследствии министр народного просвещения). Как профессор, Боголепов отличался умением излагать свой курс удивительно ясным, сжатым и простым языком. Кто внимательно слушал его лекции, тот очень легко их запоминал. Читал он всегда стоя, выпрямившись на кафедре во весь рост и до самого конца лекции сохраняя полную неподвижность, почти даже не поворачивая головы. Голос у него был монотонный, несколько утомлявший слушателей, зато его лекции всегда были чрезвычайно содержательны: в них все было стройно, последовательно, логично, нигде ни одного лишнего слова. Кто-то сказал, что, стоя на кафедре, Боголепов всей своей горделивой осанкой напоминал римского патриция,— пожалуй, в этом замечании есть известная доля правды. На экзамене Боголепов был анекдотически требователен и строг, однако это свойство значительно умерялось двумя другими драгоценными чертами характера, которыми Ни-

колай Павлович, бесспорно, обладал, а именно: справедливостью и беспристрастием.

Этими чертами он снискал себе всеобщее уважение. У Боголепова было еще одно замечательное качество: феноменальная память. Он буквально никогда и ничего в жизни не забывал. Достаточно было ему раз увидеть чье-нибудь лицо, как он уже запоминал его навек. Рассказывают по этому поводу, что в прежнее время, еще при старом университетском уставе, у Николая Павловича происходили на экзамене курьезы. Так, например, подходит к нему экзаменоваться совершенно незнакомый студент, очевидно, ни разу не посетивший ни одной из его лекций по римскому праву (тогда это было возможно!), иначе он непременно запомнил бы лицо этого студента. Николай Павлович почтительно встает с места, протягивает руку студенту и говорит:

— Позвольте познакомиться... Боголепов!

Студент страшно сконфужен, бормочет что-то невнятное и от стыда готов провалиться сквозь землю. Но его пытка продолжается недолго. Николай Павлович предлагает ему несколько излюбленных вопросов, студент не может ответить ни на один из них и с треском проваливается.

На смену Боголепова являлся, по большей части, профессор русского права Мрочек-Дроздовский, зевая и потягиваясь, он сообщал нам кое-что об источниках «Русской Правды» или выяснял значение какого-нибудь древнерусского юридического термина, вроде «боярской задницы», и время проходило незаметно.

Но вот наступала очередь А. И. Чупрова. В многолюдном зале поднимался оживленный гул, сменявшийся почти абсолютной тишиной, лишь только Чупров всходил на кафедру. Вся аудитория точно замирала, сотни глаз жадно устремлялись на любимого профессора, который, сделав общий поклон, поправлял очки и после некоторой паузы с улыбкой произносил свое неизменное «Милостивые государи!».

Влияние Чупрова на университетскую молодежь было огромно, к нему прислушивались, как к какому-то оракулу, жадно ловили каждое его слово, где бы оно ни было сказано,— в аудитории, на улице, в ученом заседании, в печати или просто у него на дому, куда любой из его слушателей всегда имел доступ. Блестящий оратор, всесторонне образованный, человек стойких и независимых убеждений, искренний, честный, гуманный, прогрессист в луч-

шем смысле этого слова, без сомнения, он мог оказывать на студентов лишь благотворное влияние. Каждая лекция его будила мысль, вызывала оживленные толки, горячие споры, иногда целые дебаты, и мы все чувствовали, как у нас пробуждался серьезный интерес к науке. Помню, первая, вступительная лекция Александра Ивановича вызвала необычайный энтузиазм. Все дружно ринулись к кафедре, неистово аплодируя и крича, у большинства возбужденно блестели глаза, ярко горели щеки. Чупров ласково улыбался, с трудом протискиваясь сквозь толпу. Но вот после перерыва он снова взошел на кафедру и, когда водворилась тишина, сказал:

— Господа! Я очень благодарен вам за сочувственный прием, но усердно прошу вас на будущее время воздерживаться от всяких оваций по моему адресу. Не нужно дразнить инспекцию, это невыгодно ни для вас, ни для меня: у вас могут выйти разные неприятные столкновения, а я буду чувствовать себя до некоторой степени связанным. Лучше, господа, давайте вести себя корректно, чтоб не вызывать понапрасну ничьих подозрений и не чувствовать над собой нежелательного надзора со стороны профанов науки...

Нечего и говорить, что с той поры мы уже ни разу не аплодировали Чупрову.

Кстати, мне вспоминается обращение к студентам другого профессора, И. И. Янжула (ныне академика), сделанное им по тому же поводу. Лишь только раздались по его адресу рукоплескания, как он остановил нас энергичным жестом и сказал:

— Господа! Здесь не цирк, и я не клоун... Прошу мне не хлопать!

Не помню уж, возымела ли эта «профессорская» отповедь свое действие, но только она произвела на нас неприятное впечатление.

Не менее популярен, чем Чупров, был в то время и М. М. Ковалевский, читавший нам о конституционном устройстве западноевропейских государств. Лекции его полны были остроумия, доходившего порою до едкой сатиры, в особенности когда, неожиданно отвлекшись от своей темы, он делал экскурсию во власть современной русской действительности. Тут иногда невозможно было удержаться от смеха. Случалось, что и сам он заражался настроением аудитории, вызванным им же, и тогда его необъятно-толстая фигура с красивой, львиной головой на могучих

плечах также начинала мерно колыхаться на кафедре в такт общему веселью. Научной эрудицией Ковалевский обладал колоссальною, цитатами так и сыпал, то и дело уснащая свою речь разными меткими словечками, великолепными метафорами и необыкновенно удачными сравнениями. Всякий раз, когда М<аксим> М<аксимович> читал лекцию, актовый зал был битком набит народом, и, насколько мне не изменяет память, он ни разу не спускался с кафедры без дружных аплодисментов всей аудитории.

Большими симпатиями студентов пользовался также Н. А. Зверев, читавший энциклопедию и историю философии права. По изяществу и красоте стиля каждая лекция этого талантливого профессора была настоящим chef d'oeuvre' ом*. Что-то классическое, античное чувствовалось в красоте его речи, местами доходившей до высокого поэтического подъема: она то разгоралась бурным пламенем, то звучала грустной и тихой мелодией, нежно лаская слух. В художественных характеристиках Н. А. Зверева каждый исторический образ, выхваченный им из глубины веков, вставал перед нами как дивное классическое изваяние, которым можно было любоваться с восторгом. Все эти Анаксимены, Анаксимандры и Пифагоры ярко отпечатлевались в воображении, по мере того, как искусный лектор-художник уверенно и смело набрасывал их великолепные рисунки, и уже не скоро изглаживались из памяти.

IV

Несмотря на блестящий тогда состав профессоров, тяжело было дышать в душной атмосфере нового университетского устава, чрезмерно стеснившего свободу преподавания, безжалостно урезавшего самую науку и, наконец, давшего возможность распуститься пышным цветком уродливому явлению, которому нет другого, более подходящего названия, как только «брызгаловщина».

Кто же такой был этот Брызгалов, столь нашумевший в свое время? Прежде всего, это был добродушнейший Алексей Александрович, довольно мягкосердечный и даже склонный немножко к слезливой сентиментальности. Когда он видел или слышал что-нибудь очень чувствительное, его добрые светлые глаза непременно увлажнялись слезами. После первого знакомства с ним вам невольно приходило

* Шедевром (*франц.*).

на ум: «Какой прекрасный человек!» И вдруг вы слышите про него, что он совершил жестокий поступок. «Как! — изумляетесь вы.— Алексей Александрович мог сделать такую вещь? Да этого быть не может!»

Дело в том, что Алексей Александрович Брызгалов и инспектор Брызгалов — были два совершенно различных лица, из которых одно, так сказать, исключало другое, являясь этому другому вопиющим противоречием. Возможно, что в качестве Алексея Александровича Брызгалова [он] всю свою жизнь оставался бы «прекрасным человеком», но судьба захотела над ним подшутить и сделала его инспектором. И вот от природы мягкий и, быть может, добрый человек, но с слабой головой, возведенный на высоту, почувствовал головокружение...

Брызгалов был мучеником своей должности. Суетливый, нервный, болезненно подозрительный, он никогда не имел покоя. Ему все чудилось «потрясение основ» в той или иной форме. В любом, ничтожнейшем нарушении устава он готов был видеть почти политическое преступление и всячески преследовать нарушителя, незаметно выраставшего в его глазах до степени опасного крамольника. Пощады не было никому, все — и правые и виноватые — ввергались в карцер, гостеприимно раскрывавший двери перед «преступником». Особенно плохо приходилось беднякам: стипендиатам, «ляпинцам», обитателям Козихи и т. п. На них Брызгалов смотрел как на своих личных врагов, брезгливо сторонился от них, при встрече избегал подавать руку и беспощадно сажал их в карцер за малейшую провинность. По его приказанию чины инспекции следили за ними по пятам, везде рыскали переодетые педели, как полицейские ищейки,— в студенческих столовых, в театрах, в местах публичных заседаний — и, повсюду находя виновных, немедленно привлекали их к ответственности. Гнет брызгаловского режима день ото дня становился все тягостнее, быстро росли недовольство и раздражение, поднимался всеобщий ропот, в университетской атмосфере чувствовалась гроза, которая и разразилась наконец в студенческом концерте 22 ноября 1887 года[2].

Надо заметить, что Брызгалов, будучи в музыке профаном, почему-то принимал деятельное и близкое участие в устройстве всех таких концертов, которые давались обыкновенно два раза в год под управлением известного дирижера Макса Эрдманнисдёрфера. Репетиции студенческого оркестра и хора неизменно происходили в квартире

Брызгалова, игравшего роль любезного хозяина, присутствовавшего на общем чаепитии вместе со своей экономкой, довольно смазливенькой брюнеткой, разливавшей гостям чай и весьма благосклонно относившейся к ухаживанию некоторых из них. Между прочим, большим фавором с ее стороны пользовался студент К., получивший впоследствии княжеский титул и многомиллионное состояние. По отношению к участникам оркестра и хора Брызгалов проявлял какую-то особую, отеческую нежность, далеко, разумеется, не всем им в одинаковой степени льстившую, и в шутку называл их своей гвардией. Нужно ли говорить, что члены этой своеобразной «гвардии», в полную противоположность козихинской «армейской пехоте», никогда не видали университетского карцера и вообще пользовались всевозможными льготами? Это ясно само собою.

В роковой день 22 ноября Брызгалов был как-то особенно нервно настроен, точно предчувствовал беду,— суетился больше, чем всегда, делал разные распоряжения, которые сейчас же отменял, проявлял совершенно необычную рассеянность, волновался и нервничал. Возможно, что до него дошел слух о готовившейся ему неприятности, потому что вечером, перед началом концерта, он растерянно бегал по залам Благородного собрания, ежесекундно пощипывая рукой свою черную, шелковистую бородку и подозрительно всматриваясь в сновавшую мимо него публику. Начался концерт. Все шло ровно, спокойно и гладко. Уже первое отделение приближалось к концу. Как сейчас помню, каскадом лились дивные звуки блестящего вальса-фантазии Глинки. Настроение чувствовалось приподнятое, мечтательное, с оттенком легкой, изящной грусти. Хотелось забыться, уйти в чудесный, волшебный мир грез... Вдруг из соседнего, бокового зала послышался странный звук, резкий и короткий, точно лопнула какая-то большая струна. Вслед за тем поднялся невнятный гул, что-то задвигалось, зашумело и опять затихло.

— Что такое? Что случилось? — раздавались в антракте голоса.

— Брызгалов получил пощечину!

Весть эта моментально облетела публику. Многие бросились разыскивать пострадавшего, но в залах собрания его не было: он поспешил скрыться за эстрадой, в артистической комнате, где уже собралась кучка сочувствующих и близких ему людей. Дверь в эту комнату была полуоткрыта. Проходя мимо, я мельком увидел его. Он стоял

жалкий, пришибленный, с бледным, как смерть, лицом, с трясущимся подбородком... Тяжело было на него смотреть: я невольно отвел глаза и поспешил уйти.

Узнав в тот же вечер, что Брызгалову нанес оскорбление действием юрист 3-го курса Синявский, я был немало изумлен. Синявский выглядел тихеньким, скромным юношей, необщительным и даже несколько застенчивым. Невольно рождался вопрос: как он мог решиться на такой отчаянный поступок? Впрочем, рассказывали, что он лично даже ничего не имел против Брызгалова, с которым у него никогда не было столкновений, но он участвовал в заговоре, и жребий привести в исполнение преступный замысел выпал на его долю. Очевидцы говорили, что он подошел к Брызгалову не совсем твердой поступью, даже слегка пошатываясь, как пьяный, и, нанося удар, чуть было не споткнулся.

Судьба сжалилась над Синявским: говорят, ему легко было отбывать суровое наказание в арестантских ротах, так как, благодаря мягкости своего характера и добродушию, он понравился тюремному начальству, которое относилось к нему весьма благосклонно. Впоследствии же он вновь принят был в университет и прекрасно его окончил.

V

Событие 22-го ноября послужило сигналом к грандиозным студенческим беспорядкам. Уже на следующий день среди студентов заметно было большое волнение: они собирались в разных местах отдельными группами, спорили, шумели, говорили зажигательные речи, пытались теснее между собой сплотиться. Однако первая общая сходка состоялась лишь утром 24-го ноября в актовом зале университета. Собралось человек двести пятьдесят, главным образом, юристов первых трех курсов. Хаос стоял невообразимый. Все стулья в зале были частью сдвинуты, частью перевернуты вверх ногами. Толпа галдела, горячилась, возбужденно жестикулировала. Отдельных голосов почти невозможно было расслышать. Появление субинспектора было встречено оглушительными свистками.

— Долой инспекцию! — дружно раздавались десятки голосов.— Ректора сюда, ректора!

Появился Н. П. Боголепов. Невозмутимо-спокойным голосом, точь-в-точь таким, каким он читал о римских преторах и эдилах, стал он увещевать студентов разойтись,

предупреждая нарушителей порядка о грозящем им наказании, но его не стали слушать: его речь заглушена была свистками и криком, принудившими его удалиться. После ухода ректора толпа заволновалась еще более.

— Господа! — крикнул кто-то.— Наши собираются на двор... Идем все туда.

Все мигом хлынули на двор, спеша присоединиться к товарищам, среди которых были студенты разных факультетов, попадались также техники и петровцы. Вскоре приехал попечитель гр[аф] Капнист, и тут, между прочим, произошел следующий инцидент. Около университетских ворот граф заметил студента-техника, стоявшего среди публики и, по-видимому, вовсе не намеревавшегося принимать участие в сходке.

— Вы кто такой? Техник? Зачем вы здесь? — резко обратился к нему граф.

Юноша смутился и растерянно смотрел на попечителя, не говоря ни слова.

— Взять его! — сгоряча распорядился граф Капнист, обращаясь к полицейским, а сам быстро вошел во двор и, смело проникнув в густую толпу студентов, стал держать к ним какую-то речь, по-видимому тоже не имевшую успеха, потому что никто из них не расходился.

А злополучный техник был немедленно арестован и и вскоре вслед за тем выслан из Москвы. Но когда мать этого юноши, страшно встревоженная, убитая горем, явилась к графу, умоляя его спасти ее невинно пострадавшего сына, когда граф сам сознался перед ней в своей ошибке, которую, однако, уже трудно было поправить, нужно было видеть, с каким сердечным участием отнесся он к бедной женщине, как он старался ее утешить и приласкать, обещая ей в этом деле свое полное содействие. Тут во всем блеске сказалось благородство души графа Капниста: мало того, что он не счел нужным скрывать перед неизвестной женщиной свою вину, хотя он и мог это сделать, если б захотел, он действительно принялся хлопотать об арестованном технике, просил за него разных высокопоставленных лиц, в том числе и князя В. А. Долгорукова[3], тогдашнего московского генерал-губернатора, и в конце концов добился того, что техник был возвращен и снова принят в училище.

Между тем манифестанты продолжали стекаться в университетский двор один за другим; сходка принимала угрожающие размеры; часть Моховой улицы, вдоль университета, была вся запружена толпою любопытных; движение

экипажей приостановилось. В это время из окна своей квартиры выглядывал Брызгалов и что-то записывал в книжку,— вероятно, имена участников сходки,— при помощи одного из любимых его педелей, Б-скаго, который от времени до времени высовывал голову из-за его плеча и тотчас же боязливо прятался.

А публики все прибывало. Она уже охватила тесным кольцом университетский двор, за оградой которого скрывались манифестанты. Некоторые из них, заметив среди пестрой уличной толпы своих товарищей, кричали им со двора:

— Идите к нам! Как не стыдно глазеть? А еще студенты! Эх вы, подлецы!

Но «подлецы» уже не могли бы проникнуть во двор, даже если б и хотели этого, потому что ворота были заперты и около них стоял довольно многочисленный отряд городовых, никого не пропускавших. Вдруг послышались крики: «Расступитесь, расступитесь! Казаки!»

Действительно, откуда ни возьмись, показалась сотня казаков, которые летели во весь опор... Вот-вот они ринутся сейчас в толпу... Толпа дрогнула, шарахнулась в одну, другую сторону и рассыпалась... Мигом был оцеплен университетский двор, манифестантов окружили и на глазах всей публики отвели в Манеж, откуда несколько минут тому назад выскочили казаки. Там всех участников сходки поголовно переписали и, продержав в Манеже до вечера, в тот же день отправили в Бутырский тюремный замок.

Вспыхнувшее волнение, однако, не утихало,— напротив, оно все более разгоралось день ото дня. Так, 26-го ноября студенты устроили многочисленную сходку около Екатерининской больницы, где медикам старших курсов читались лекции. Но сходка продолжалась недолго: появились конные жандармы и быстро разогнали толпу. К вечеру упорно распространился слух, что жандармы убили двух студентов. Волнение усилилось. Никакие меры воздействия на учащуюся молодежь со стороны администрации и университетского начальства, никакие уверения, что ложные сенсационные слухи умышленно распространяются злонамеренными людьми,— ничто уже не помогало... Оставалось только одно средство: временно закрыть университет.

Чрезвычайно характерно сочувственное отношение общества и печати того времени к студенческому движению. Даже пресловутый «Гражданин»[4] воздержался от огульного обвинения университетской молодежи и во всем обви-

нял профессоров (?!), не касаясь, разумеется, ни инспекции, ни отрицательных сторон нового устава, как будто все обстояло здесь благополучно. Не так взглянули на дело другие органы печати. «Новое время»[5], например, скорбя об отсутствии крепкой нравственной связи между учащимися и у́чащими, которые должны были бы составлять одну стройную корпорацию, справедливо находило, что бездушный формализм не только заменяет эту нравственную связь, но и налагает свою мертвящую руку на весь быт молодежи. «Можно держать молодежь строго,— говорила газета,— можно требовать от нее точного исполнения всех инструкций, но это нужно делать так, чтобы не оскорблялось прямодушие и искренность молодых людей и чтобы не связывалась их свобода там, где это вовсе не нужно».

Указывая на разные мелочные придирки, которым систематически подвергались студенты со стороны университетской инспекции, «Новое время» говорило: «Когда такими мелочами опутана вся жизнь изо дня в день, когда наблюдение сводится к подсиживанию студента, особенно когда для этого пускаются в ход всякие средства, согласитесь, это может вывести из себя и спокойного юношу, тем более что при таких порядках он может получить склонность не уважать ни самих порядков, ни надзирающих за ними».

Лучшим доказательством справедливости этих слов служит только что описанное мною студенческое движение.

Василенко С. Н.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КОМПОЗИТОРА

Под влиянием отца я поступил в 1881 году на юридический факультет Московского университета. Музыкой я продолжал заниматься так же усердно, беря частные уроки по фортепиано у Д. С. Шора, а по гармонии сперва у И. Н. Протопопова, потом у Г. Э. Конюса.

Университет казался мне какой-то цветущей благоуханной долиной после трудной и нудной гимназии. Лекции, которые не всегда нужно было посещать, много свободного времени, новое общество, новые товарищи, интересные профессора — все это создавало атмосферу, окрылявшую меня.

Больше всего я занимался фортепиано, на котором стал очень прилично играть. Но к музыкальной карьере отнюдь себя не готовил: началось увлечение юридическими науками. Став специалистом в этой области, я работал над уголовным правом, а потом перешел на судебную медицину. В ней я достиг больших успехов. Профессор[1] часто говорил мне, что у меня имеются большие способности к юридическим наукам и по окончании я, несомненно, буду оставлен ассистентом на кафедре.

Юридический факультет был наполнен в то время людьми обеспеченными. Не скажу, что он был легче других, но он не требовал по крайней мере так много практических занятий в лабораториях, как на других факультетах.

Этот факультет можно было закончить лишь благодаря хорошей памяти, даже не будучи глубоким знатоком юриспруденции. Это привлекало на факультет тогдашнюю так называемую «золотую молодежь», то есть сыновей богатых людей. Нигде на других факультетах не устраивалось так много кутежей, нигде так не веселились, не прожигали жизнь. Я не избегал этого общества, увлекался женщинами, но кутежей органически не выносил и даже

от более скромных товарищеских пирушек уклонялся.

На втором курсе университета в моей жизни наступила новая эра. К этому времени у меня образовались обширные знакомства среди крупных музыкантов. Я уже был знаком с Танеевым, Сафоновым, Пабстом, Аренским, затем прибавились новые знакомства с преподавателями и профессорами консерватории: Морозовым, Ладухиным, Кашкиным, органистами Бетингом, Гедике и другими. Несколько раз слышал я игру Антона Рубинштейна в его исторических концертах. Все это были замечательные встречи, но главным моим кумиром был П. И. Чайковский, сочинения которого я знал хорошо и ставил выше всего. Я слышал выступления Чайковского в качестве дирижера бесчисленное множество раз, во все его приезды в Москву. Мне посчастливилось слушать под авторским управлением Четвертую и Пятую симфонии, «Франческу да Римини», «Ромео и Джульетту», оперы: «Евгений Онегин», «Пиковую даму», «Черевички», «Чародейку», «Мазепу», «Орлеанскую деву». Познакомиться с Чайковским лично мне долго не удавалось. Наконец я встретился с Петром Ильичом у С. И. Танеева. Эта взволновавшая меня встреча укрепила мысль о посвящении себя всецело музыке.

Целый год я продолжал усердно работать в университете у профессора Легонина, в то же время изучал духовые инструменты и закончил курс гармонии у Г. Э. Конюса.

На четвертом курсе университета произошли два важных в моей жизни события. Умер мой отец. Я с ним был очень дружен. Он относился ко мне с большой нежностью, но и довольно строго: на приобретение и выписку из-за границы нот, книг и инструментов, на приглашение учителей никогда не жалел денег, но становился скупым, когда я просил денег на всякого рода пустяки. Мой замысел — сменить юридическую карьеру на музыкальную — в последнее время отец очень одобрял. Вторым событием было окончательное решение о поступлении в консерваторию. Придя к профессору Легонину, я заявил ему, что по окончании университета ухожу в консерваторию и от служебной медицины, как специальности, отказываюсь. Легонин был необычайно поражен, более того, он, вероятно, решил, что я сошел с ума...

Весной 1896 года я блестяще сдал государственные экзамены в университете, стал кандидатом прав первой степени и, навсегда распрощавшись с юридическим миром, всецело отдался музыкальному искусству...

Прежде чем окончательно осуществить появившуюся у меня идею бросить университет и поступить в консерваторию, я пошел посоветоваться с Танеевым: зачем, мол, мне сухие догмы римского права, когда я твердо решил быть композитором.

Танеев горячо и настойчиво убеждал меня окончить университет.

— Сухие догмы, как вы называете римское право,— сказал он,— вам практически не пригодятся, но это великое упражнение для гибкости ума. Всякие другие дисциплины покажутся вам уже легко достижимыми, например контрапункт и музыкальные формы.

Я подумал и послушался его совета...

С Александром Афанасьевичем Спендиаровым мы учились вместе в Московском университете. Юридический факультет был столь многолюден, что мы могли бы и не встретиться, если бы не играли оба, все четыре года, в студенческом оркестре: он на скрипке, я на тромбоне. Между этими двумя инструментами — «дистанция огромного размера», но мы сразу подружились. У обоих определилась одна и та же судьба в жизни, оба вначале не собирались посвятить себя музыке. Спендиаров хотел сделаться присяжным поверенным, я интересовался уголовным правом, судебной медициной. Любопытно, что у обоих решительное стремление к музыкальному творчеству выявилось приблизительно с третьего курса.

Усиленно музицируя, мы проиграли с ним все сонаты для скрипки и ф[ортепиано] Бетховена, Грига, Цезаря Франка, Александр Афанасьевич был отличным скрипачом, концертмейстером первых скрипок в студенческом оркестре. Показывал он мне и свои сочинения, я только не помню точно, что это было: квартет или соната, но меня поразили тогда новые элементы в его музыке. По национальности армянин, он пользовался родными народными мелодиями как основой своих композиций.

Прошло шесть-семь лет. В одном из Беляевских концертов[2] в Петербурге исполнялась моя «Эпическая поэма» для оркестра. По окончании ко мне подошел молодой человек со словами:

— Мы с вами старые товарищи по университету.— Это был Спендиаров.

...Автор знаменитого исследования «Боярская дума» — Ключевский играл большую роль в музыкальной жизни моей юности.

Еще на первом курсе университета меня, юриста, товарищи много раз уговаривали пойти послушать Ключевского.

— Никакой театр не нужен,— говорили они.— Он собирает публику, как любой знаменитый тенор.

Я пошел в аудиторию филологического факультета. Аудитория была действительно битком набита студентами, как зал на концерте Собинова. Вышел скромный, небольшого роста профессор, с седеющими волосами, в черном застегнутом сюртуке. Зал словно вздохнул, заволновался: это был Ключевский. Он начал читать тихим голосом, как будто нехотя. Через некоторое время преобразился: будто стал выше ростом, голос окреп, воспроизводимые им образы делались все ярче, и перед нами явственно возникали картины седой старины.

Ключевский читал об эпохе Ивана Грозного. Это была не лекция, даже не захватывающий роман, а что-то, чему нет названия,— гениальное отображение ушедшей жизни. Кончилась лекция. Василий Осипович снова превратился в скромного, застенчивого человека, осторожно сходящего с кафедры под неистовый грохот аплодисментов всего зала.

Я сделался горячим поклонником Ключевского. Меня неотразимо тянуло на его лекции, я стремился побыть хотя бы в течение часа в атмосфере создаваемой им ушедшей эпохи. Два года я посещал его лекции, и знания, приобретенные на них, очень пригодились мне в моей дальнейшей музыкальной жизни.

Для окончания консерватории, уже в 1901 году, я начал писать кантату «Сказание о граде Китеже». Задавшись целью кроме музыкальных материалов достать и литературно-исторические, я посещал писателей и художников. К профессору Ключевскому у меня никаких рекомендаций не было, но я набрался смелости и отправился к нему.

Он жил на Житной улице, в небольшом деревянном доме. Встретил меня приветливо.

— Какой добрый ветер мог занести ко мне музыканта? Чем я могу быть полезен? — сказал Ключевский, когда я представился.

Смущаясь, путаясь в словах, я объяснил: для своей работы я раздобыл достаточное количество музыкальных материалов, но хотелось бы получить сведения о характере жизни тех времен, чтобы постараться создать особый, старинный русский стиль.

— А что за сюжет?

— Сказание о Китеже...

— Я приятно поражен,— сказал Василий Осипович.— Кто это вас натолкнул на эту мысль?

— Сергей Константинович Шамбинаго...

— Как же, знаю его. Насколько мне кажется, это предание еще не имело своего воспроизведения в музыке. Вот я много давал советов в свое время Федору Ивановичу Шаляпину, поправлял его, когда он готовил роль Грозного в «Псковитянке». Во многом он меня послушался.— Помилуйте,— говорил я Шаляпину,— Грозный пришел в дом князя Токмакова, устал... «Пора бы выпить да закусить чем бог послал во Пскове...» И дальше: «Так что ж, пирог псковский с чем?» — «Со грибками...» — «Ась? С чем?» — «Со грибками».— «У вас во Пскове красавицы словно грибы растут»... Тут уж нет грозного царя! Он устал, шутит... Покажите его таким, а режиссеры закатали его в глубь сцены. В опере и так не все ясно слышно, а тут уж совсем все пропало.

— Велел я поставить стол у самой рампы да оркестр сделать потише,— продолжал свой рассказ Ключевский.— Тогда вышло. Вот я никак не ожидал, а режиссером сделался[3].

Беседовал со мной Ключевский часа два. Нарисовал картину древней русской жизни, быта русских князей. Всей его беседы я не в состоянии передать. Но какое громадное значение имела она для меня! Сочинение тревожного набата, передача волнения толпы, настроения княжеской семьи, монахов и другое — все это пошло теперь у меня иначе.

Без обеда он не хотел меня отпускать.

— Извините только за простой обед,— сказал он.— Я люблю все русское. И водки перед обедом мы с вами выпьем.

Прощаясь, Ключевский очень любезно просил меня без стеснения обращаться к нему по разным вопросам русской истории.

— Композиторам, художникам и артистам всегда готов дать совет и помощь. Но когда ко мне обращается свой брат — историк: помогите да разъясните,— не люблю. Всякий сам должен добиваться, у нас работать не любят.

Когда в марте 1902 года моя кантата «Сказание о граде Китеже» была назначена к исполнению, я послал Ключевскому пригласительный билет. Он пожелал пойти и на

генеральную репетицию и был встречен Сафоновым с большим почетом.

Музыка «Сказания» пришлась по душе Ключевскому.

— Отлично вы выразили суровость старообрядческих песнопений,— сказал он.— Весь дух старой Руси верно схвачен...

...Известный балетный артист Мордкин обратился ко мне с предложением написать два танца: «Сирина» и «Алконоста». И я опять отправился к Ключевскому.

— Простите,— говорю,— до сих пор я обращался к вам за пояснениями по реальной древней жизни, а теперь у меня вопросы из области фантастической... думаю, что вы меня прогоните?!

— Почему же? — возразил Ключевский.— Народная поэзия глубоко меня интересует, хотя я и не специалист по этой части.

И он мне нарисовал изумительные картины народной поэзии, дал ее общий стиль и окраску.

— Не впадайте только в излишнюю сентиментальность и не придавайте слишком много сладости рисуемым вами образам. Вот у нас есть талантливый художник Маковский, увлекающийся древней русской жизнью. По правде сказать, я его картин видеть не могу. Разве могли существовать такие сладкие, конфетные барышни? Русская древняя жизнь была красива своеобразной суровой красотой, приторности в ней не было.

Я рассказал ему, что намереваюсь еще работать в области древнерусской старообрядческой музыки. У меня носятся в воображении симфонические картины «Сошествие Адама в ад», «Праздник Одигитрии». Ключевский поддержал мои замыслы.

— Слушал я оперу «Снегурочка» Римского-Корсакова,— продолжал свою мысль Ключевский.— Там и солнечность есть, и радость, но сладости, противной сентиментальной сладости нет и следа. Вот последнее мое слово: слушал я ваше «Сказание о Китеже». Вы глубоко понимаете русскую музыку. Не отклоняйтесь в сторону Запада или Востока. Разрабатывайте русскую музыку,— это неисчерпаемая сокровищница, и направление это вас не обманет. Наши великие русские композиторы взяли из этой сокровищницы еще малую часть.

Эти слова Василия Осиповича остались мне памятны на всю жизнь.

Готье Ю. В.

УНИВЕРСИТЕТ

Я поступил в университет в 1891 г. Выбор факультета был мною решен давно и без колебаний. Я шел в университет изучать историю и для этого должен был быть на историко-филологическом факультете. Склонность к истории создалась у меня давно, сначала под влиянием матери, которая хорошо знала и любила эту науку и много читала, хотя, как любитель,— без системы. Еще в раннем детстве она читала мне исторические повести и популярные изложения исторических событий. Из последних мне припоминаются переводные с немецкого рассказы из древней истории, которые казались мне верхом интереса. Обычным моим чтением на уроках французского языка была известная история для детей, которая оставила во мне неизгладимые следы. Сознаюсь, что 20 лет спустя я с удовольствием перечитывал ее вслух моему старшему сыну, убеждаясь, с каким тонким вкусом и пониманием детской психологии составлены эти маленькие, казалось бы, устаревшие книжки. Еще до поступления в гимназию я с наслаждением читал даже учебники для старших классов Иловайского, которые позднее давались мне более чем легко и на которые я никогда не роптал, подобно большинству моих товарищей. Довольно много я читал различных исторических повестей для юношества на французском и английском языках и должен сказать, что в эти ранние годы я больше всего интересовался историей Западной Европы и гораздо меньше — русской.

Поступив во 2 кл. гимназии, я жалел, что история начинается только в 3-м. С 3-го до 8 кл. нас вел один и тот же преподаватель — Петр Павлович Мельгунов. Это был чрезвычайно знающий и талантливый человек, автор широко известных в свое время популярных «Первых уроков

истории»[1], содержавших увлекательное, хотя и давно устаревшее, изложение истории Древнего Востока. Созданный для университетской кафедры, но жизненными неудачами обреченный на роль педагога средней школы, он не был преподавателем популярным и сам снисходил только к таким ученикам, которые любили его предмет и увлекались им. Я принадлежал к числу таких. Его живые и увлекательные не рассказы, а замечания и краткие экскурсы, которые он делал во время ученических ответов, развивая и дополняя их, дали мне очень много и укрепили во мне склонность и вкус к исторической науке. Два слова еще об этом гордом, необыкновенно самолюбивом, высокоталантливом человеке и в то же время большом жизненном неудачнике. В. О. Ключевский, его однокурсник, говорил мне много лет спустя по отношению к П. П. Мельгунову: «Да, это был человек большого таланта, но он нас всех дураками считал». Кроме В. О. Ключевского однокурсниками П. П. Мельгунова были А. И. Кирпичников и Н. П. Кондаков.

Однако если глубокий интерес к истории еще задолго до окончания гимназии гнал меня на историко-филологический факультет, то самый вопрос о поступлении моем в университет решился не сразу. Мой отец, чрезвычайно меня любивший и не создавший мне ни одного жизненного препятствия, был не против видеть во мне продолжателя своей книгопродавческой деятельности и будущего главу книжного магазина Готье. Не насилуя отнюдь моей воли, он предлагал мне ехать по окончании гимназии учиться книжному делу за границу, с тем чтоб потом стать его помощником и преемником. Но, убедившись в моем серьезном желании продолжать образование и пройти высшую школу, он отодвинул решение вопроса о моем будущем до окончания мною университета и стал убежденным сторонником моего туда поступления. Лишь одно условие поставил мне отец, когда я стал студентом. «Другие,—сказал он,— принуждены во время студенчества зарабатывать себе на жизнь уроками, тебе этого не нужно, но ты должен воспользоваться частью твоего свободного времени, чтобы изучить книжное дело, и будешь заниматься в магазине ежедневно по полтора-два часа, взамен тех карманных денег (25 р. в месяц), которые ты будешь от меня получать». Так оно было все 4 года моего пребывания в университете.

Прошения о зачислении в университет принимались от 16 июля до 10 августа. Кажется, что свое я подал 16 ию-

ля, хотя не быть зачисленным на историко-филологический факультет не было никакой опасности. С трепетом сердечным отправился после 10 августа узнать результат. Добиваясь в коридоре незнакомой мне канцелярии университета о своей судьбе, я повстречал почтенного старичка с важным видом, который на мой вопрос сам спросил меня, на какой факультет я поступаю. Узнав, что на историко-филологический, он засмеялся на мое беспокойство, добавив: «Ну, если бы еще на медицинский!» После я узнал, что это был известный в то время профессор гинекологии А. М. Макеев.

Помню и мой интерес к университетской форме, мое желание, чтобы сюртук на мне сидел как можно лучше и как можно больше был похож на военный. Тогда не было повальной вражды к форме, которая появилась лет 10 спустя, не было и ее постепенного упрощения с переходом сюртука на тужурку. Я почти не носил формы раньше, и ношение формы доставляло мне большое удовольствие. Я расстался с ней только в конце 4-го курса.

Лекции начинались, как обычно в те времена, 1 сентября. Я поспешил к первым лекциям. В субботу в 9 ч. 20 м. утра я вошел в малую словесную, по-моему, лучшую и самую уютную из немногочисленных аудиторий историко-филологического факультета. Я застал в ней несколько десятков молодых людей в таких же новеньких сюртучках, как и я. В этом незнакомом обществе я несколько оробел и поместился повыше на скамьях, расположенных амфитеатром. Через несколько минут в аудиторию быстрыми шажками вошел маленький профессор в синем форменном сюртуке, с очень живыми веселыми глазками и большой окладистой бородой. Несмотря на то что ему шел не менее чем 5-й десяток и что в бороде его и волосах уже проглядывала седина, мое первое и верное впечатление было — такой он хорошенький и смешной. Это был Р. Ф. Брандт, один из немногих профессоров, с которыми мне четверть века спустя довелось вместе заседать на факультетском совете... И дальнейшие впечатления во время этой первой встречи не менялись. Профессор читал обязательный курс церковнославянского языка с большим подъемом. На первой лекции он чертил на доске славянские буквы кириллицей и глаголицей. Всю лекцию я чувствовал смех и недоумение. Мне было смешно видеть этого, вероятно, очень ученого, маленького и смешного человека, убежденно и с любовью повествовавшего о славян-

ских алфавитах. Я был в недоумении и потому, что в своей юной наивности думал, что, как только я переступлю порог университета, в меня сразу польется глубокая и чистая наука. А тут на первой лекции профессор излагает отчасти то, что мне было известно из гимназических воспоминаний, а главное, то, что меня интересовало очень мало.

Первые лекции других профессоров не запечатлелись в моей памяти так ясно, как эта первая из первых, но общее впечатление почти ото всех было то же,— впечатление некоторого недоумения и разочарования. Я уже сказал выше, чего я ждал,— я ждал самой чистой науки, и притом науки, для меня интересной. Между тем я сразу столкнулся с множеством предметов, на которые я в то время смотрел как на чистейший балласт и пользу которых я ощутил только впоследствии. А кроме того, даже исторические лекции удивили меня тем, и причиной тому моя наивность, что нам читали и нас учили не всей истории, а излагали нам только некоторые эпохи, нам давали понятия о главнейших процессах, не вдаваясь в подробности.

Войдя немного в курс университетского преподавания, я в первый год моего студенчества спрашивал знакомых студентов старших курсов — что же мне делать. От одного из студентов, моего старшего товарища по гимназии, Теплова, я получил ответ, правильность которого я потом оценил: «Университет не может учить всему, а только научает, как заниматься». Другой рекомендовал мне читать общие сочинения по истории в дополнение к курсам, читавшимся в университете, но это мне мало улыбалось: для своих лет я очень хорошо знал то, что могут дать эти руководства, т. е. факты и общие перспективы.

Отчасти по усвоенной дома и в гимназии добросовестности я старался на 1-м курсе посещать все обязательные лекции и даже всего 2—3 раза позволил себе послушать Ключевского (его лекции полагалось слушать на 2-м курсе), заменив им скучнейшие для меня лекции профессора Ф. Ф. Фортунатова по языкознанию. В первый же год студенчества я хотел дополнить то, что мне казалось недостаточным в обязательных предметах посредством необязательных курсов, которые читались некоторыми профессорами и приват-доцентами. Но и здесь я потерпел неудачу.

Я записал себе 10 добавочных часов, из которых состоялись только 2 часа специального курса тогда еще при-

ват-доцента М. С. Корелина по истории Древнего Востока, рассчитанных на студентов старших курсов. Корелин читал его после 3-х часов, когда весь университет пустовал, и мною овладевало какое-то чувство сиротливости, когда я, хлопая глазами, слушал специальные и очень глубокомысленные рассуждения профессора с изложением всех гипотез об арийских прародителях, высказанных в отмершей науке. Я очень хотел послушать курс приват-доцента В. Е. Якушкина об Александре I, чтобы иметь хотя бы один курс по русской истории на первом году. Но Якушкин, после только что перед этим состоявшегося диспута, не совсем удачного[2], уже, видимо, разочаровался в своей деятельности как историка. Объявленного курса он так и не читал и, если память мне не изменяет, чисто исторических курсов больше не вел. Остальные необязательные лекции, на которые я записался, я даже не помню. Помню лишь, что они оставались все лишь мертвыми заглавиями в расписании. Только на 3-м курсе я нашел наконец то, чего тщетно искал на 1-м курсе, т. е. путеводную линию и внутренний смысл научный в занятиях.

...Я поступил на историко-филологический факультет в такое время, когда программа его, введенная уставом 1884 г., уже подверглась существенным изменениям. Тогда первые два курса были общими. С 3-го начиналось разделение на отделения: классическое, словесное и историческое; последнее было мною предызбрано с самого начала. Так как последние два года мы изучали только почти одни исторические предметы, то характеристику этой важнейшей для меня части я изложу за все 4 года.

И занятия первых двух лет, и дальнейшие занятия на историческом отделении убедили меня, что я не ошибся в своем выборе. Историческими кафедрами Московский университет мог в мое время справедливо гордиться.

Старейший из всеобщих историков — Владимир Иванович Герье читал нам на 1-м курсе XVIII век и французскую революцию и римскую историю; на втором — эпоху Возрождения и германскую революцию, а на 3-м вел семинарий по новой истории. Когда я впервые увидел В[ладимира] И[вановича], ему было лет около 55. Я знал его по широкой и заслуженной репутации, но был в первый момент удивлен, что он не так стар, как я думал. Высокий, худой, с длинным лицом, самой выдающейся чертой которого был длинный и тонкий нос; очень тщательно, немного старомодно причесанный на косой пробор, со столь же

тщательно расчесанной на две стороны окладистой, но не слишком большой бородой, почти без седых волос; одетый всегда в простой сюртук, в отличие от других профессоров, носивших в то время еще форменные фраки, он всей своей фигурой напоминал протестантского пастыря. Таким он, в сущности, оставался до конца своей долгой жизни (он умер в 1919 г.), «Лезвие ножа», как о нем говорил мой отец.

Он читал ровным и негромким голосом, очень литературно и просто. Все его курсы, над которыми он не переставал работать в то время и которые издавались в литографированном виде, были составлены прекрасно, читались и усваивались легко, и можно только сожалеть, что они не были изданы в форме учебных руководств. Но у Владимира Ивановича была особая манера читать, которая, по крайней мере на меня, действовала изумительно усыпляюще, и, я думаю, не на одного меня только. В числе студентов 1-го курса был очень красивый юноша с золотистыми волосами, прямо «лифляндский Лир», он садился всегда под кафедрой, и аккуратно на половине лекции я видел, как его золотая голова покачивалась от сладкого сна. Это был единственный недостаток чрезвычайно содержательных и интересных лекций В. И. Герье.

Герье относился к своим профессорским обязанностям как к высокому служебному долгу и нас, студентов, старался приобщить к его славным традициям. Он говорил нам, например, о Грановском, о том, какое счастье он сам испытал, слушая его в свое время. Герье пытался воспитывать и дисциплинировать стадо первокурсников-разгильдяев. Он очень не любил, когда студенты опаздывали на его лекции и входили, стуча ногами, после ее начала. Потерпев это несколько раз, он как-то остановился, у него покраснел лоб, что всегда служило у него признаком волнения, прочел нам нотацию, ставя в пример отличных студентов, которые сами останавливают и учат своих товарищей, не испытывающих достаточного уважения к своим профессорам.

Герье, крупный университетский и общественный деятель, служивший всю свою долгую жизнь русской науке и просвещению, никогда, однако, не был популярен среди студентов. Одной из причин этого явления была его большая строгость. Его экзамен по римской истории на 1-м курсе был мерилом определяющим. Во-вторых, в своих требованиях он был всегда справедлив; в несправедливо-

сти его едва ли мог укорить кто бы то ни было из лиц, проваленных им. Но все же его боялись и не любили. Первое было бы еще понятно, но второе, я думаю, надо объяснить более глубокими причинами. Этот проникнутый чувством долга человек, считавший всегда себя русским, несмотря на свое иностранное происхождение, был и по своему бытовому укладу глубоко русским человеком. Его понимание жизни, как я его себе представляю, было пониманием прав и обязанностей, а последнее наши студенты понимали меньше всего. Герье коробила недобросовестность большей части студентов, их претензии, их внешняя неопрятность и внутренняя раздерганность. Будучи по природе холодным и сдержанным и, может быть, в глубине души застенчивым человеком, Герье, сталкиваясь с неприятными и неприемлемыми для него сторонами студенчества, иногда проявлял недостаток умения понять чужую ему «нецивилизованную» душу русского студента. В этих случаях он бывал резок, язвителен и, говоря прямо, бестактен. Такие резкие выходки бывали у него на экзаменах и могли показаться несправедливостью. Они бывали и на его семинариях, которые были очень хороши, но нам не очень нравились, потому что виноградовский был еще лучше. Помню, например, что если разбираемая работа была хороша, то профессор был мягок, вдумчив и с удовольствием отмечал хорошие черты работы. Так было, например, с моей работой о Мабли и с работой Волконского о Гусе (темы были предложены Герье по всей новой истории, начиная от предшественников Реформации и кончая французской революцией). Работы, показавшиеся ему почему-либо недостаточными, вызывали с его стороны такую язвительную критику, что несчастный критикуемый был выводим из себя. Так было с моим однокурсником Ершовым, который, потерпев неудачу у В[ладимира] И[вановича] и будучи на 3-м курсе, бросил все исторические занятия и со следующего года перешел на 1-й курс медицинского факультета. Вот, думается мне, причины непопулярности этого выдающегося профессора.

Таким он прошел, в сущности, и в своей общественно-политической деятельности. Сам западноевропеец, он требовал от русской действительности западноевропейских форм и действий. Стремясь к «разумному» компромиссу между обществом и тогдашним правительством, он всю жизнь оставался строгим конституционалистом и, понимая жизнь страны как договор о правах и обязанностях меж-

ду обществом и правительством, слыл до 1905 г. опасным либералом, а после — заядлым черносотенцем[3]. В сущности, он не был ни тем, ни другим, и ни одна из сторон его не понимала. Я с величайшей благодарностью вспоминаю его лекции, а также и его семинары, где требовалась самостоятельная работа, если и не над источниками, то над научной литературой. И то и другое было для меня отличной подготовительной школой для дальнейших самостоятельных занятий.

Еще несколько слов о нашей студенческой боязни Герье, которая разделялась другими в полной мере. Последней темой семинария был разбор появившейся незадолго до того книги Любимова о французской революции[4]. Разбор приходился на пасху и был назначен в доме Герье в Гагаринском переулке. С каким ужасом шел я и мои товарищи туда, с каким страхом звонили у двери, как кисел и невкусен казался нам чай с лимоном, который мы там пили, как трепетали мы в приемной, где должны были происходить занятия, ожидая, что вот-вот выйдет сейчас В[ладимир] И[ванович] из своего кабинета.

О П. Г. Виноградове я слышал еще до поступления в университет как о восходящей звезде. Я даже успел его повидать. Приблизительно за год до окончания гимназии мы ехали с ним в одном купе до Пушкина. Отец долго говорил с ним о новейших французских трудах по истории, особенно о Фюстеле де Куланже. Потом, когда мы расстались, отец сказал мне: «Я нарочно завел с ним исторический разговор, чтобы ты имел понятие о своем будущем профессоре». Я тогда же проникся к нему благоговением.

П[авел] Г[аврилович] читал нам на 1-м курсе историю Греции и историю средних веков, а на 4-м курсе вел семинарий по «Афинской политии» Аристотеля. Кроме того, когда мы были на 2—3-м курсах, мы участвовали в некоторых семинариях по греческой и средневековой истории. Его лекции были бесспорно лучшими нашими лекциями на 1-м курсе. С интересным, глубоко научным содержанием соединялась отчетливая и пластичная лекция. Фразы так и отпечатывались в голове. Да и сам профессор был в расцвете сил и таланта (ему было около 40 лет). Он неотразимо влиял на нас своей величественной и эффективной фигурой. У нас было большое увлечение виноградовскими лекциями, и я думаю, что многих из не знавших хорошо, поступая в университет, на чем специализироваться, чтение

Виноградова соблазнило быть историком. Он читал 2 раза в неделю в старом «гипсовом» музее, на месте которого на Никитской выросло потом здание Зоологического музея. Почему он выбрал такое уединенное помещение, я не знаю. Там, среди гипсовых статуй богов и героев, мы слушали историю Греции, излагаемую согласно с последним словом науки, и удивительно стройный и систематический очерк истории средних веков.

Там же вел Виноградов свой необязательный семинарий по истории Греции в следующем году, на который записались все будущие историки. Темы были предложены по всей греческой истории и имели целью частью ввести в изучение легких источников, частью изучение литературы. Я выбрал тему о происхождении обычая избрания по жребию в Афинах на государственные должности, но большого успеха не имел. На разборе П[авел] Г[аврилович] сказал, что хотя мой реферат мог бы служить предметом разбора, но его содержание покрывается другим, автором которого был В. А. Маклаков, тогда студент 3-го курса и усердный слушатель Виноградова. Такой же необязательный семинар на 3-м курсе по средним векам проходил в часы, для меня очень неудобные, поэтому я посещал его редко и не принимал в нем деятельного участия. Обязательный семинарий на 4-м курсе состоял в разборах и изучении «Афинской политии» Аристотеля, незадолго до этого открытой[5], и в самостоятельных работах по этому памятнику. Это было уже настоящим введением в работу над источниками. Мы были вводимы в настоящую учебную лабораторию.

Лекции П. Г. Виноградова и его 3 (для меня, в сущности,— 2) последовательных семинария — лучшее с методологической стороны, что я вынес из университета. Семинарии эти научили меня, как надо работать, и если я не сразу усвоил эту великую науку, то это надо объяснить моей молодостью и недостатком опыта. В отношениях с нами П. Г. Виноградов был необыкновенно прост и любезен. Некоторые уже и тогда усматривали у него несколько чрезмерной величественную манеру себя держать, но я именно хочу подчеркнуть, что этого-то в занятиях его с нами и не чувствовалось. Он был именно тем, чем должен быть профессор по отношению к студентам: прост и доступен с соблюдением тех границ, которые отделяют настоящего большого ученого от начинающих учеников.

С Виноградовым не было никогда никаких инциден-

тов, всегда все шло гладко благодаря его такту и авторитету и вследствие его особой популярности среди нас, специалистов-историков первой половины 90-х гг.

Популярность, которой пользовался у нас П. Г. Виноградов, мешала нам объективно относиться к другим профессорам всеобщей истории. Так, мы из-за этого гораздо меньше ценили В. И. Герье и подчеркнуто отрицательно относились к М. С. Корелину только потому, что откуда-то слышали, что между ними и П[авлом] Г[авриловичем] происходят какие-то трения. Я и тогда уже, по характеру моему, не склонен был поддаваться стадному чувству, но все же должен сознаться, что и я был «виноградовцем» в ущерб к справедливому отношению к М. С. Корелину. При поступлении в университет я застал Корелина пр[иват]-доцентом. Скоро, после защиты своей диссертации о раннем итальянском гуманизме, он получил степень доктора и стал э. о. (экстраординарным.— *Ред.*) профессором. В качестве такового он читал нам на 3-м и 4-м курсах лекции по истории Древнего Востока и по новейшей истории XIX в., и читал хорошо, толково и интересно. Семинариев он у нас не вел, и это обстоятельство, вероятно, было одной из причин, почему мы не могли по достоинству оценить этого крупного ученого, но, к сожалению, рано свершившего свой жизненный путь...

Перехожу к преподаванию русской истории, которая так меня захватила, что этот предмет стал предметом всей моей жизни. Незабвенный В. О. Ключевский читал русскую историю на 2-м курсе для всего факультета 4 часа: в среду от 11 до 1 ч. и в субботу от 12 до 2 ч. Для специалистов-историков 3-го и 4-го курсов он вел семинарий по четвергам от 12 до 2 ч. Первое мое свидание с Ключевским относится еще к середине 80-х гг., когда мой дядя, только что окончивший курс медик, впоследствии профессор Эд. Вл. Готье, рассказывал, что в бытность в университете он иногда слушал лекции Ключевского и отзывался восторженно о них и об отдельных ученых работах Ключевского, которые он читал, о том, что Ключевский знаменитый профессор и что его лекции самые интересные на всем факультете, что я твердо знал, поступая в университет. На первом курсе я не раз бегал слушать его, когда, например, было невтерпеж сидеть на лекциях Фортунатова. На 2-м курсе я не пропустил ни одной лекции, за исключением второй и третьей, которые мне пришлось пропустить по каким-то неотложным житейским обстоятельствам. Их я на-

верстал, будучи на 4-м курсе. Таким образом, я взял все, что мог, от лекций Ключевского, а учебный 1892/93 год был, на мое счастье, длинным, и В[асилий] О[сипович] дочитал до освобождения крестьян.

Мне нет нужды писать здесь о самом «Курсе» Ключевского и его общем значении. Изданный позднее в обработанном виде самим автором, он по всей России стал настольной книгой[6]. В наше время курс официально не издавался. Профессор согласился только на издание краткого «пособия», которое потом также вышло из печати и выдержало несколько изданий. Пособие и к нему учебник Соловьева[7] — вот, что требовалось от нас на полукурсовом экзамене и потом снова — на государственном. Но неофициальные издания, выпускаемые предприимчивыми студентами с прежних литографированных изданий, появлялись довольно часто. Было такое издание и в тот год, когда мы слушали В[асилия] О[сиповича], оно долго, впредь до издания «Курса», служило моим настольным справочником.

Курс русской истории В. О. Ключевского в основных чертах своих сложился еще в 70-х гг. Отсюда параллелизм некоторых его мест с «Боярской думой», созданной как раз в то время[8]. В начале 90-х гг. В[асилий] О[сипович] мог вставлять туда некоторые новые подробности, особенно применительно к XVIII веку, которым он, как видно из его трудов, более всего занимался в 90-х гг. Но в массе своей курс был готов, и его В[асилий] О[сипович] читал из года в год. Но так как он не мог вычитать всего имеющегося у него материала, то он по разным соображениям выпускал одно и подробнее останавливался на другом. Так, например, нам он не читал отдела о расколе (см. т. 3 «Курса»). Впрочем, он сам мне позднее говорил, что этот отдел он редко читал в университете, тогда как в Духовной академии читал его постоянно[9]. Вот эти пропуски и добавления некоторых подробностей и составляли те небольшие изменения, которые отличали лекции одного года от лекций другого. В остальном он оставался без перемен. Я, например, два раза (на 1-м и 2-м курсах) прослушал лекцию об Иване Грозном. Она была повторена в тех же словах, что произвело на меня впечатление расхолаживающее, хотя если подумать, то ведь нельзя же было требовать, чтобы профессор на протяжении года об одном Иване IV мог рассказать так, чтобы одна лекция не была похожа на другую.

Лекции Ключевского были замечательны не только со-

держанием, но и тем, как В[асилий] О[сипович] их читал. Это то, что могут знать только те, которым выпало на долю наслаждение его слушать, и что совсем не ведают и не чувствуют миллионы читателей его знаменитого «Курса». Когда я думал об этом, мне вспоминалось очарование лекций Грановского, которое испытывали его слушатели и которое осталось закрытой книгой для позднейших поколений. Я знаю, что передать непосредственного обаяния лектора нельзя, но все-таки мне хочется остановиться на этой стороне лекций Ключевского, чтобы по мере сил, по крайней мере, объяснить тайну его обаятельного влияния на слушателей. Одетый в синий форменный фрак, он бодрой, довольно спешной походкой, немного сгорбившись, входил в аудиторию, щуря близорукие глаза и посматривая мимоходом на студентов. Взойдя на кафедру, В[асилий] О[сипович] никогда не садился, всю лекцию он читал стоя, склоняясь над своими записками, которые он приносил в черном портфеле и раскладывал на одном, преимущественно левом, из двух боковых столбиков, обрамлявших довольно неудобные старые университетские кафедры. Разобравшись в бумагах, он начинал читать негромким голосом, который потом возвышался несколько, однако не бывал никогда очень громким и не принимал ораторского характера.

Лекция лилась тихо и плавно с небольшими паузами, которыми В[асилий] О[сипович] иногда чрезвычайно искусно скрывал свое легкое заикание, она проникала и пронизывала слушателей своим легким текстом, никогда в то же время не будучи монотонной. Напротив, это была необыкновенно живая речь, красота которой возвышалась и своеобразным красивым слогом, и богатством русской речи, и исключительно живой интонацией. Интонациями и паузами В[асилий] О[сипович] выдвигал и подчеркивал то, что хотел, чтобы слушатели отмечали. И он действительно достигал этого. Глаза его, которые он то поднимал, то опускал в свои записки, при этом искрились за очками какой-то неуловимой тонкой улыбкой. Казалось, что он, говоря о деятелях и явлениях русской истории, рассказывает о лицах и событиях, им лично виденных. И Ивана Калиту, и какого-нибудь мелкого удельного князя, и царя Ивана, и Алексея Михайловича, и Петра, и далее всех, включительно Екатерину II, он, казалось, видел и знал. И это действительно было почти так. Это достигалось не только редким знанием им своего предмета, но еще единственно ему

свойственной способностью проникнуть в душу русского народа и русского человека, понять его и в его настоящем, и в его прошлом и, наконец, столь же исключительной способностью владеть выразительной и богатой русской речью. Русский язык он внутренне понимал и владел им так, как он понимал и знал русскую душу. Громадным знанием, даром живо и проникновенно понять русский народ и русскую душу и свою любовь облечь в какую-то своеобразную, но тоже понятную русскому человеку дымку добродушия, своеобразно красивой речью, живость которой усиливалась особой, ему одному свойственной интонацией,— всем этим он уловлял наши души и заставлял полюбить историю родной страны. Вот, как мне кажется, то, что составляло неизъяснимую прелесть лекций В. О. Ключевского, что он унес с собой и чего не могут понять те, кто его не слышал.

Окончив лекцию, В[асилий] О[сипович] торопливо собирал записки в портфель и, так же сгорбившись, выходил из аудитории, а мы, как это часто бывало, его провожали аплодисментами. Тут он, сделав испуганное лицо, ускорял шаг, исподлобья боком бросал сердитые взгляды на студентов и отмахивался от них обеими ладонями рук. Я позднее поймал этот вид и эти жесты у Шаляпина в роли Ивана Грозного, кажется в опере «Псковитянка». Певец ходил по поводу этой роли советоваться с В[асилием] О[сиповичем] и, слушая ответы профессора, видимо, подметил такие интересные для себя жесты и мимику[10].

Экзаменатором Ключевский был спокойным, «справедливым», и его полукурсовой экзамен, помнится, прошел вполне благополучно, провалов было мало. Для исторического отделения Ключевский вел, как я уже сказал, семинарий, но он его не любил и тяготился им. Мне, впрочем, довелось заниматься в этом семинарии только в последнем семестре. Весь 1893/94 академический год и часть осеннего полугодия 1894/95 года В[асилий] О[сипович] провел в Аббас-Тумане, читая лекции в. кн. Георгию Александровичу. Его семинарий был, в сущности, также лекциями, но только лекциями специальными. Он делал обзор источников русской истории. В краткое время, в которое он занимался с нами, он читал нам о летописях и об источниках для изучения Смутного времени. Это было очень содержательно и не менее интересно, чем его общий курс, особенно для тех, кто, подобно мне, уже специализировался на русской истории. Однако, вследствие краткости семинария,

для меня в университетском преподавании Ключевского центральное место занял его курс. Именно этот курс сделал материал русской истории особенно близким и подготовил почву для моих специальных занятий в семинарии 3-го курса, который за отъездом В[асилия] О[сиповича] в Аббас-Туман был поручен профессору Павлу Николаевичу Милюкову.

До тех пор я о Милюкове почти ничего не знал. Я не был даже на его диспуте, который проходил в мае 1893 г.[12] Для меня отъезд Ключевского и перспектива заниматься вместо него у пр[иват]-доцента, имя которого мне ничего не говорило, были разочарованием. А между тем именно милюковский семинарий имел решающее значения для всей моей жизни. На первом курсе я метался и искал научных интересов и только слушал лекции. На втором я продолжал слушать лекции, занимался в семинарии Виноградова... Час моих сознательных интересов пробил на 3-й год моего пребывания в университете, и именно благодаря семинарию Милюкова. Темы были даны по всей русской истории, и в большей части они были основаны на первоисточниках — мы практически вводились в изучение памятников. По методологическим приемам семинарий П[авла] Н[иколаевича] был совершенно в виноградовском стиле. Та же вдумчивость, и научная и педагогическая, в выборе тем, то же внимательное отношение к студентам, та же выдержанная строгость и внимание при разборе темы. И нужно сказать, что университетской педагогикой П[авел] Н[иколаевич] владал вполне.

...Из предложенных тем я выбрал «Оборону южных границ Московского государства в XVI в.». Эту тему, в основе которой лежали разрядные книги и летописи, я разработал в виде большого реферата, разбор которого прошел для меня с большим успехом весной 1894 г. Я много раз обращался к П[авлу] Н[иколаевичу] и в университете, и на квартире, на Плющихе в доме Бартенева. Он не только охотно давал мне указания, но входил в подробные разговоры о теме и давал источники из своей богатой и обширной библиотеки. Я впервые почувствовал, что веду настоящую ученую работу и что руководит ею ученый и благожелательный ко мне человек.

По указанию П[авла] Н[иколаевича] я расширил рамки своей работы для зачетного сочинения, которое мы должны были представлять в конце 6-го семестра на 3-м курсе, а затем под его руководством продолжал разрабаты-

вать его для представления в государственную комиссию.

В расширенном виде моя работа охватывала оборону и колонизацию окраин за всю эпоху Московского государства, т. е. XVI и XVII вв. Работу эту, все время при ближайшем руководстве П[авла] Н[иколаевича], я закончил только в ноябре 1894 г., употребив на нее около года. Переписав все и отдав ее к концу декабря, я отправился к П[авлу] Н[иколаевичу], чтобы поблагодарить его за помощь и руководство и возвратить ему множество книг, которые у него забрал. П[авел] Н[иколаевич] простился со мной очень любезно, звал к себе: «Свалите только тяжесть государственных экзаменов». Но в январе 1895 г. он был выслан из Москвы[13]. Когда мы перешли на 4-й курс, то I полугодие, в ожидании возвращения Ключевского, мы были без семинария по русской истории. Но П[авел] Н[иколаевич] открыл необязательный курс русской истории, на который гурьбой повалили участники его прошлогоднего семинария. Он прекрасно читал, мы слушали с интересом и увлечением. В основе его курса лежал материал, который он позднее обработал и издал под именем «Очерков по истории русской культуры»[14]. Для меня это было дополнение, и очень ценное, к курсу Ключевского. Но и эти занятия, конечно, оборвались с его высылкой. Преподавание Милюкова, столь рано, к сожалению, прерванное, имело для меня не меньшее значение, чем курс Ключевского. Последний зажег во мне специальный интерес к русской истории, а в семинарии Милюкова я исполнил мою первую ученую работу, исполнил не спеша, с интересом, при вдумчивом и внимательном руководстве профессора, который, наблюдая, предоставлял мне полную самостоятельность. Я был очень горд, когда П[авел] Н[иколаевич], просмотрев некоторые ее части, сказал мне, что мне удалось сделать некоторые частные наблюдения, до сих пор не отмеченные. Работа в милюковском семинарии, и, может быть, еще больше работа над зачетным сочинением под непосредственным руководством П[авла] Н[иколаевича] углубила и определила мои научные интересы. Я решился окончательно стать русским историком. И за это руководство я всю мою жизнь сохраняю благодарность П. Н. Милюкову, которого в той же мере, как В. О. Ключевского, считаю своим учителем. Отъезд Милюкова из Москвы в начале 1895 г. оборвал мои с ним отношения. В 1899 г. я искал его в Софии, куда привели меня мои путешественные странствия и где П[авел] Н[иколаевич] был в то вре-

мя профессором. Но он был в отъезде, и я увидел его только в 1901 или 1902 г. в Удельной под Петроградом, где он поселился по возвращении в Россию. Он принял меня с таким же радушием и расположением, какие он высказывал мне в 1893—1894 гг. в Москве, расспрашивал меня о моих занятиях и об отношениях моих с В[асилием] О[сиповичем], и расстался я с ним под прежним впечатлением очарования. Но это было, в сущности, моим последним свиданием с ним. Потом я встречал его несколько раз (в последний раз на похоронах В. О. Ключевского в 1911 г.), но волны политического моря поглотили его целиком[15], и ученые интересы человека, который в далеком прошлом был его университетским слушателем, были ему безразличны и чужды. Нить, соединявшая меня с ним, оказалась навсегда и безвозвратно оборванной.

Мы слушали все лекции, за исключением лекций Виноградова, в так называемом новом здании. До переделки его в начале XX в. оно было очень неудобным внутри, кажется, до половины его было занято лестницами и коридорами. Историко-филологическому факультету принадлежали два первых этажа в правой части здания, если смотреть на него с улицы. В бельэтаже были большая и малая словесные аудитории, в нижнем «словесная», потом отошедшая под «субинспекторскую», внизу же «юридическая», которой пользовался историко-филологический факультет, и так называемый «гербарий», в котором на самом деле помещалась студенческая библиотека и проходили лекции и семинарии. Верхние аудитории были очень хороши, особенно, по-моему, малая словесная. Нижние были, на мой взгляд, малоуютны, за исключением «гербария». Верхние преимущественно служили для сравнительно многолюдных младших курсов, а нижние для малочисленных старших...

Наш курс вначале был, по тогдашним понятиям, очень многолюдным: нас было по спискам 1-го курса, если не ошибаюсь, 106 или 107 человек. В первое время я чувствовал себя как-то смущенным в этой толпе незнакомых мне лиц. Я был москвичом и, поступив в университет, при многочисленных товарищеских связях в городе, не нуждался в университетском товариществе так, как нуждался приезжий провинциал. Я совсем не интересовался разными кружками и землячествами, а завязывать знакомство и дружбу в промежутках между лекциями было трудно. Поэтому мое знакомство с университетскими товарищами шло медленно, и при этом по связи с моими внеуниверситет-

скими товарищескими отношениями. На историко-филологический факультет со мною вместе поступил окончивший 2-ю гимназию Н. И. Трескин, впоследствии классик, пр[иват]-доцент и деятель музея изящных искусств, рано умерший от чахотки. Его я знал давно как близкого товарища моего двоюродного брата и друга детства и юности В. Э. Радмана. Через Трескина я познакомился с другим бывшим учеником 2-й гимназии — С. К. Шамбинаго, впоследствии профессором по кафедре русской литературы, а через них обоих с несколькими молодыми людьми их товарищеского круга. Довольно много моих гимназических друзей стали юристами, я поддерживал с ними связь и, немного, кроме того, интересуясь правом, ходил в старое здание на лекции юридического факультета. Наконец, в университете я встретился с моим ранним гимназическим товарищем Б. И. Угрюмовым (впоследствии профессором Московского высшего технического училища).

Возобновилась старая приязнь между ним, мною и моим единственным гимназическим товарищем, который вместе со мной поступил на историко-филологический факультет,— П. А. Кожевниковым, сыном известного профессора-психиатра, впоследствии перешедшим на литературное поприще. Угрюмов ввел нас в свой кружок, в составе которого были наши курсовые товарищи — Д. Н. Ушаков и Н. И. Шатерников, оба специализировавшиеся по языкознанию, и С. К. Богоявленский — позднее известный архивист и историк. Таковы были первые отношения, завязавшиеся в университете.

Лишь позднее, постепенно, сначала в связи со сдачею экзаменов, а потом в связи с семинарской работой, стали завязываться чисто университетские отношения. Впрочем, еще на первых курсах я познакомился с некоторыми товарищами, которые как-то сразу выделились из среды других. Это был прежде всего М. М. Хвостов, веселый румяный молодой человек в очках, обладавший очень звонким голосом, слышным далеко по аудиториям и коридорам. Он всегда был в курсе всех учебных, экзаменационных и прочих университетских дел, всегда принимал живейшее участие во всяком общекурсовом деле. В научном отношении он специализировался по древней истории у Виноградова, блестяще поставил дело преподавания всеобщей истории в Казанском университете.

Одновременно с М. М. Хвостовым выделялся А. Н. Савин, задумчивый, несколько нелюдимый и рано поразив-

ший меня своим чисто научным складом мышления. Об этом моем товарище, с которым мне позднее довелось вместе быть профессором родного университета, я здесь говорить подробно не буду, потому что мои воспоминания о нем я уже собрал в отдельном отрывке, напечатанном после его смерти («Голос минувшего», 1923, № 2)[16].

Выше я упоминал о кн. П. П. Волконском. Представитель аристократических кругов, он в университете держал себя любезным и простым товарищем. Обаятельный, веселый, остроумный и в высшей степени одаренный, он был заметным лицом в нашей среде... Рядом с Волконским можно было видеть постоянно его лицейского товарища Д. В. Истомина, позднее видного деятеля Палестинского общества, которого можно было бы назвать представителем высшей московской бюрократии. В нашей среде он был корректным товарищем, который усердно и исправно занимался в течение всего университетского курса.

С третьего курса наша товарищеская среда сузилась и стала более тесной. От нас отошли классики и словесники. Это, впрочем, не означало, что мои связи с моими товарищами, избравшими другие отделения, ослабели. Словесниками стали С. К. Шамбинаго, Д. Н. Ушаков и Н. И. Шатерников, классиком — Н. И. Трескин. Все-таки у нас остались кое-какие общие лекции со словесниками, и когда услышишь раскатистый веселый смех Шамбинаго или увидевши неизменно бывавших вместе Ушакова и Шатерникова, бежишь к ним обменяться словечком. Впрочем, конечно, дружеские связи поддерживались не университетом, а тем живым общением, которое имело место за университетскими стенами.

Историков в последние два года сплачивала и сама университетская работа: главным образом, виноградовские и милюковские семинарии. Собственно, это была единственная почва, на которой за все университетское время я видел, чтобы сохранялись довольно тесные товарищеские отношения, питаемые исключительно университетским, и в частности учебно-научным, общением.

Нельзя сказать, чтобы в эти годы мы особенно часто являлись в университет,— ходили на семинарии, да еще на некоторые излюбленные лекции. Но, приходя и ведя в то же время параллельную ученую работу дома, ближе понимали друг друга. Именно только в эти годы и при этих условиях я ощущал существование университетской товарищеской среды. Особенно ярко она проявлялась в двух яв-

лениях: в организации исторического кружка и в проведении государственных экзаменов, которыми заканчивалась наша университетская жизнь.

Я не знаю, в чьей голове возникла тогда мысль об основании кружка, чтобы студенты вели «сообща» ученую работу под руководством профессоров. Идея была не нова и не раз всплывала позднее... Она возникает легко и естественно при наличии очень усердных студентов и очень популярных профессоров. Но она никогда не может создать что-либо прочное, потому что кадры энергичных основателей пустеют и на смену старым, ушедшим из университета студентам не всегда приходят равные им по энергии. И у профессора слишком много своих ученых дел. Подогревать работу студенческого научного центра он не в состоянии и может идти ему навстречу только в перемежающиеся моменты студенческого рвения. Среди студентов-историков 1894—1895 гг. было немало настоящих молодых ученых, любивших и уже умеющих заниматься. Популярность П. Г. Виноградова была очень велика, естественно, что научный кружок сплотился вокруг него, и он принял в нем председательство... Я не знаю, можно ли считать, что работа кружка сама по себе была удачной и дала большой результат. Но его деятельность была удовлетворением ученых запросов молодых людей, любовь к науке которых превышала круг обязательных занятий и для молодых ученых стремлений еще оставался неиспользованный запас сил. Кружок и был в известной мере полем их расходования. А эта дополнительная добровольная и общая работа, конечно, не могла не содействовать нашему товарищескому единению.

Вопрос об окончании университета встал во всей широте перед нами всеми и передо мною, в частности, в начале 1895 г. Подготовка к экзаменам шла полным ходом. Увлечения, посещение театров, друзей — все это было сокращено до последней возможности. Нам надо было сдавать все исторические курсы, греческих и латинских авторов и историю новой философии. На все это надо было время, нужно было, кроме того, общее настроение, немножко, я бы сказал, спортивное, которое заставляет смотреть на экзамены, как на препятствие, которое нужно «взять» и идти дальше.

Ход экзаменов в комиссии сильно зависит от председателя, и мы с интересом ожидали, кого нам бог пошлет. Им оказался человек весьма неприятный — казанский классик

и византист Дмитрий Федорович Беляев. Как классик, и притом, по-видимому, фанатичный, он даже для историков и словесников перенес центр тяжести на классическую древность. Сначала он потребовал выполнить полную программу по древним языкам, т. е. сдавать, например, целую декаду Ливия, тогда как обыкновенно в Московском университете установилось так, что историки обычно сдавали всего по 2—3 книги. Стоило много труда уломать его, чтобы он сбавил свои требования. Для всех подобных разговоров с Беляевым и со своими профессорами само собой образовалась в каждом отделении негласная комиссия. На историческом отделении в нее входили М. М. Хвостов, кн. Волконский, я и И. К. Филатов из числа тех, кто отложил экзамены с прошлого года (позднее он стал юристом и с.-д. меньшевиком).

Нужно было учесть требования всех — иных мы ловили в университете, иных интервьюировали на дому, например совсем нам неизвестного пр[иват]-доцента Доброклонского, который и сам экзаменовал вместо умершего Иванцова-Платонова. Долго мы ходили по дворам и садам Московской духовной семинарии, прежде чем нашли его и открыли с ним свой торг.

Общее количество начавших сдавать экзамены было около 50: примерно 30 с чем-то историков, 15—20 словесников, 2—3 классика. Уже первые письменные испытания принесли некоторые разочарования. Но самым страшным оказались испытания по древним авторам. Наши классики, особенно Ф. Е. Корш и чрезмерно требовательный А. Н. Шварц, воодушевленные Д. Ф. Беляевым, начали просто свирепствовать и даже, против всякого ожидания, сделали перерыв для завтрака, а по возвращении стали экзаменовать еще строже и придирчивее. Одного из экзаменовавшихся — А. Д. Брюхатова, человека очень самоуверенного и бывшего о себе весьма высокого мнения, Шварц с Беляевым довели почти до истерики и провалили его, несмотря на то, что до тех пор у него были только высшие отметки. Членам испытательной комиссии от исторического отделения В. О. Ключевскому и П. Г. Виноградову пришлось, как мы слышали, даже вступиться и хлопотать за историков, в том числе и за Брюхатова, которому, благодаря их хлопотам, позволили окончить по 2-й степени. А для многих, особенно тех, которые мечтали быть оставленными при университете, это было равносиль-

но отказу от своих надежд, так как оставляли только окончивших по 1-й степени.

В результате из 50 человек прошли комиссионную страду только 31 или 32 человека, из них историков не более 16—17, а из последних по 1-й степени А. Н. Савин, М. М. Хвостов, П. П. Волконский, Д. В. Истомин, И. К. Филатов, Г. К. Берендт и я, а исключительно с высшими отметками «весьма удовлетворительно» — только Савин и я.

Идти на первые экзамены мне было страшно, потом я увидел, что не так страшен черт, как его малюют. У меня была отличная память и способность усвоения. На экзамене по древним авторам я отлично сдал 1 и 2 книги Фукидида, которым я восхищался и которого проштудировал. А сдавая Ливия, я подражал экзаменовавшим...

Сабашников М. В.

ВОСПОМИНАНИЯ

В УНИВЕРСИТЕТЕ

Брат Сережа[1] в 1893 году зачислился первоначально на юридический факультет, где пробыл только один год, перейдя со второго курса на физико-математический. Здесь он сосредоточился на химии, работая у Н. Д. Зелинского. Из впечатлений его от кратковременного пребывания на юридическом факультете хочется отметить, что, весьма требовательный и не склонный к снисходительности в своих оценках, Сережа с большой похвалой отзывался о курсе профессора Боголепова и его отношении к слушателям. Приходится думать, что жизнь Боголепова прошла бы счастливо для него лично и с большой пользой для русского просвещения и он оставил бы по себе лучшую память, если бы не покинул профессорской деятельности ради административной[2].

Что касается меня, то в 1892 году я сразу зачислился на физико-математический факультет по естественному отделению, выбрав своей специальностью биологию. Назову профессоров, которых слушал: Зернов — анатомия человека, Анучин — антропология, Мороховец — физиология (Сеченов читал медикам старшего курса), Тимирязев — анатомия и физиология растений, Мензбир — сравнительная анатомия позвоночных, Павлов — геология и палеонтология, Сабанеев и Зелинский — химия неорганическая и органическая, Вернадский — минералогия и кристаллография и др.

Из названных профессоров только один Зернов выпустил в свет свой курс[3]. Записки Вернадского впервые выпускались студентом нашего курса, многообещавшим Клушенцевым, к сожалению скончавшимся до окончания университета. Да Столетов выпустил конспект по свету, которым мы пользовались при сдаче экзаменов[4]. В осталь-

ном приходилось довольствоваться собственными записями в тетрадях да книгами, иногда по объему и содержанию далеко не отвечавшими нашим потребностям. Говорили, что некоторые профессора невыпуск ими курсов мотивируют желанием заставить студентов посещать их лекции.

Биологи в Московском университете в ту пору распадались на два враждующих лагеря, как тогда обозначали,— на либералов и консерваторов. В лагере прогрессивном наиболее яркими личностями были профессора К. А. Тимирязев и М. А. Мензбир, убежденные и последовательные дарвинисты. Мензбир возглавлял кафедру сравнительной анатомии. С ним связаны были получившие впоследствии известность В. Н. Львов, П. П. Сушкин (позднее академик), А. Н. Северцов (тоже), Н. К. Кольцов[5].

Консерваторы, «макаки», как их задолго до нас прозвали в университете, ютились при Зоологическом музее, директором которого состоял престарелый А. Богданов. Он постоянно в то время хворал, манкировал лекциями и редко заглядывал в музей, в котором работали преимущественно его ученики — профессора Зограф и Тихомиров. Впоследствии они покинули университет ради административной карьеры. С ними отлетел из музея реакционный дух.

Для выпускной зачетной работы я выбрал, по совету В. Н. Львова, микроскопическое исследование процесса сокращения числа хроматиновых элементов при созревании яиц у аскариды. Отбыв химические и прочие зачеты и выписав себе через университетского комиссионера микроскоп Цейса с иммерсионной системой, я засел в кабинете сравнительной анатомии за свою работу с большим увлечением, уйдя в нее, как говорится, по уши. Хромосомы даже снились мне во сне. Целые дни из месяца в месяц просиживал я в кабинете сравнительной анатомии, обрабатывая препараты, приготовляя бесчисленное количество срезов, обследуя и зарисовывая их под микроскопом, сопоставляя между собой отдельные картины разрезов и комбинируя по ним последовательные стадии ядерного деления. Попутно приходилось, конечно, читать в научных журналах (преимущественно в немецких) чужие аналогичные работы над той же аскаридой и над другими объектами.

Кабинет сравнительной анатомии помещался в то время в старом — по преданию, самом старом — из университетских зданий. Здание это было снесено при постройке ныне существующих на Никитской улице корпусов Зоологического музея и Ботанического кабинета. Вход был

со двора. Помещение в нижнем этаже, тесное, с небольшими, как строили в старину, окнами, невысокими потолками и голландскими печами, по ветхости своей имевшими склонность дымить. Верхний этаж (бельэтаж) был занят кабинетом искусств. Директор его, профессор Цветаев, уже тогда постоянно выписывал из-за границы и расставлял в своем кабинете гипсовые слепки статуй и архитектурных деталей, давая этим начало Музею изящных искусств еще задолго до его учреждения. Перегрузка верхнего этажа гипсами часто служила поводом для шуток занимавшихся в кабинете сравнительной анатомии, что нам суждено быть раздавленными Венерами и Аполлонами. Когда прибывали подводы с новыми ящиками этих ценностей, Мензбир как хранитель тоже ценных, зоологических, коллекций обращался к ректору, профессору Зернову, с предупреждением, снимая с себя ответственность за судьбу «вверенного ему научного имущества».

Вспоминая о кабинете сравнительной анатомии того времени, нельзя не упомянуть о кабинетском служителе, солдате, одноглазом Прохоре. Инвалид войны и георгиевский кавалер, Прохор уже давно утратил всякий намек на молодцеватость, обрюзг и опустился, страдал запоем. При всем том работу свою, нельзя сказать, чтобы легкую, он выполнял исправно, когда был трезв, конечно. При запое же выбывал из строя. Непреодолимое стремление к спиртному овладевало им и, окруженный в кабинете спиртовыми препаратами, он не мог удержаться, чтобы не хлебнуть соблазнительной влаги. Жена Прохора брала белье в стирку, как, впрочем, большинство жен университетских служителей. Сушить белье Прохор вздумал в кабинете, развешивая его на ночь на расставленных в кабинете скелетах. Мензбир, как-то придя в кабинет ночью, нашел скелеты одетыми в белье, как в саваны.

Одновременно со мной в кабинете работали П. П. Сушкин над скелетом какой-то птицы, мой однокурсник Шелапутин — над развитием скелета рыб и С. Усов, сын профессора Усова, курсом моложе меня. В соседней комнате занимались Н. К. Кольцов и В. Н. Львов. Случалось, что кто-нибудь из работающих желал выпрямить спину или просто отдохнуть и отвлечься от своего объекта; чаще всего словоохотливый Сушкин, прерывая господствующую тишину, выскажет, обращаясь к В. Н. Львову, какое-нибудь соображение по поводу прочитанной книги или журнальной статьи или поделится своими наблюдениями. Незаметно за-

вяжется разговор, на который выйдет из своей комнатушки и сам Мензбир. Он был необщителен и в обращении сумрачен. Тем более ценилось его вступление в общую беседу. Все мы знали объективные условия, делавшие его замкнутым, и каждый из нас, если не на самом себе, то на его возне с Прохором, имел случай убедиться в его сердечности. Немного, в самом деле, нашлось бы в университете профессоров, которые согласились бы терпеть такого инвалида у себя на службе. Эти самопроизвольные беседы представляли иногда захватывающий интерес.

В те годы в биологии происходила как бы ревизия Дарвина. Казалось, заколебались основные понятия биологии. Пересматривалось незыблемое, со времен Линнея, представление о виде. Самая смерть, этот непременный, казалось, спутник жизни, рассматривалась Вейсманом как некоторое «достижение», как «приспособление» (?) многоклеточных организмов, вовсе не присущее всякой жизни неизбежно, ибо одноклеточные существа бессмерты. Тогда же найдены были на Яве останки питекантропа. Это движение не могло получить отражения в нормальных курсах, которые нам читались. Мы узнавали о нем и следили за ним в кабинете сравнительной анатомии по получавшимся там иностранным журналам и книгам, на которые нам указывали М. А. Мензбир и В. Н. Львов. Кирпичного цвета обложки издательства Фишера в Иене, печатавшего большинство этих работ, и теперь возбуждают во мне по старой памяти приятное волнение.

О питекантропе и Мензбир, и Анучин сделали по нашей просьбе особое сообщение.

Много мне помог также специальный курс сравнительной эмбриологии, читавшийся В. Н. Львовым, как говорят, privatissime*. При ограниченном числе слушателей, которых можно было пересчитать по пальцам, занятия эти получили характер не столько лекций, сколько бесед, ведшихся очень живо и непринужденно.

К воспоминаниям о кабинете прибавлю два слова о субботах у В. Н. Львова. Он жил в здании университета и по вечерам в субботу принимал у себя, приглашая на чашку чая. Собирались у него преимущественно все те же лица из кабинета сравнительной анатомии. Но здесь разговор уже не ограничивался биологическими темами. Вечно больной и едва находящий в себе силы преодолевать пожирающий его туберкулез, Василий Николаевич, как и

* Здесь: факультативно (*лат.*).

его жена, Надежда Николаевна, при всем том никогда не теряли бодрости духа. За всем следили, всем интересовались, проявляя всегда величайшее внимание ко всем волнениям и переживаниям своих друзей. Оба любили музыку, которая в те годы общественного застоя играла в развлечениях московского общества, пожалуй, первенствующую роль. Хотя Василий Николаевич по болезни и не посещал концертов, но он еще во время пребывания своего за границей имел возможность переслушать заезжавших к нам исполнителей и хорошо знал классическую музыку. Гости его, посещавшие концерты, всегда имели о чем перекинуться с ним впечатлениями. То же можно сказать и о художественных выставках и о литературных явлениях.

В заключение с благодарностью упомяну, что по настоянию и инициативе М. А. Мензбира моя работа об аскариде была переведена на немецкий язык и издана в № 1 «Bulletin de la Societé Imperial des Naturalistes des Moscou»*. Без заботливого участия Михаила Александровича я бы никогда не подвинулся на то, чтобы выступить в печати.

По окончании мной университета благодаря издательству нашему мне приходилось постоянно общаться с Михаилом Александровичем и Василием Николаевичем, как и с К. А. Тимирязевым.

При вступлении моем в университет мне, как и прочим студентам, пришлось подписать заготовленное канцелярией университета заявление, что я не состою в нелегальных обществах или землячествах и обязуюсь впредь в таковые не вступать. Не думаю, чтобы такая вынужденная подписка могла кого-нибудь удержать. Я, во всяком случае, не считал себя ею связанным. Тем не менее в те годы мои интересы были направлены не на политическую борьбу. В землячествах я не состоял, но на устраивавшиеся ими от времени до времени вечеринки хаживал.

За годы студенчества я оказался прикосновенен, насколько помню, лишь к одному замешательству. Состоялась сходка в химической аудитории. Полиция оцепила здание университета. Она студентов выпустила, но переписала тех, кто выходил последними, очевидно считая их наиболее упорными. Некоторые были затем исключены, другие отделались выговором правления (в том числе и я). С нашего курса исключены были три студента Тульского землячества, в том числе Руднев, Смидович. Они уехали за

* «Бюллетень Московского общества натуралистов» *(франц.)*.

границу кончать образование, получая стипендии от нашего курса. Большинство моих однокурсников ни в общественной, ни в политической борьбе не участвовали. Талантливый Арсеньев после физико-математического окончил медицинский факультет и пошел работать врачом в деревню. Во время революции, как я слышал, он был врачом Яснополянской больницы. Другие пошли по научной или педагогической деятельности: С. Г. Григорьев, Зернов, В. Ф. Капелькин, Федченко, А. С. Усов и др.

С университетскими товарищами меня связывала общность научных интересов, принадлежность к сторонникам дарвинизма.

Среди дарвинистов наблюдается иногда тенденция применять учение Дарвина упрощенно к толкованию явлений эволюции человеческого общества. Известно, что некоторые авторы при этом доходили до проповедования эгоизма, культа силы, войны, оправдания смертной казни, наконец, как фактора отбора. Среди московских дарвинистов, моих товарищей и учителей, мне не приходилось встречать ничего подобного. Для нас казалось бесспорным, что гуманные начала и чувство солидарности, возникающее в обществе, требуя от его членов самопожертвования в пользу коллектива, увеличивают жизнеспособность общества, обеспечивая ему победу над обществом, не развивающим в себе этих доблестей.

СЪЕЗД ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ

3—11 января 1894 года в Москве состоялся съезд естествоиспытателей и врачей. «Праздник русской науки» — как назвал его в речи К. А. Тимирязев. Как сейчас, слышу его голос, выкрикивающий эти слова, делая два ударения на слове «нáýки». Заседания секций были разбросаны по всему городу. Общие же собрания происходили в Большом зале Благородного собрания, как тогда назывался нынешний Дом союзов. И, действительно, истинным праздником было видеть цвет наших ученых в этом изумительном по простоте и изяществу зале, на хорах и между колоннами которого, казалось, еще витали звуки вдохновенной игры Антона Рубинштейна или симфонического оркестра.

Климент Аркадьевич был в громадном подъеме. Во фраке и белом галстуке, он встречал почетных гостей.

Великой княгине Елизавете Федоровне, явившейся на съезд с супругом, великим князем Сергеем Александровичем, бывшим московским генерал-губернатором, был преподнесен букет белых цветов. Пришедшего на съезд в толстовке Льва Николаевича Толстого Тимирязев встретил на лестнице и проводил на места у эстрады. Публика при этом так стеснилась вокруг Льва Николаевича, что Климент Аркадьевич, завидев меня, просил устроить вокруг Толстого цепь из студентов, чтобы предохранить его от давки[6].

Каково было бы замешательство почтенного собрания ученых, если бы им, хотя бы на мгновенье, дано было проникнуть в будущее: предстоящее отлучение Толстого[7], убийство великого князя[8], посещение великой княгиней Каляева в тюрьме, памятник на бульваре Тимирязеву![9]

Из сообщений, бывших на съезде, меня больше всего заинтересовали доклад Виноградского о нитрофицирующих микробах почвы, речь Умова по физике и речь Чупрова по статистике <...>

БИБЛИОТЕКА Н. С. ТИХОНРАВОВА

Последние годы жизни Николай Саввич Тихонравов жил в небольшом флигеле нашем по Малому Песковскому переулку, сохранившемуся в неприкосновенности до наших дней. После кончины Николая Саввича осталась большая библиотека печатных и старопечатных книг и рукописей. Единственной наследницей его была вдова, психически больная, над которой учреждена была опека в лице учеников покойного — С. О. Долгова и Соколова. Для содержания опекаемой они должны были реализовать единственную оставшуюся после покойного ценность — библиотеку. Для учеников Николая Саввича, знавших, как много положил покойный забот и труда, чтобы собрать свою книжную и рукописную коллекцию, и ценивших это собрание как незаменимое пособие при изучении истории русской литературы и культуры, возникла забота о том, чтобы не дать разрознить библиотеку и передать ее в какое-нибудь государственное или общественное книгохранилище. Мы с Сережей решили купить библиотеку и передать ее в Румянцевский музей, с тем чтобы она хранилась обособленно в рукописном отделении, как того хотел покойный академик. Библиотека была нами приобретена за 10 000 руб. и передана музею на указанных основаниях.

Мне припоминается бывший при этом случай почти анекдотического характера. В. Е. Якушкин был одним из самых близких учеников Николая Саввича, и в заботах по спасению библиотеки от распродажи в розницу он вместе с М. Н. Сперанским проявил больше всех активности. Много лет раньше, чуть ли не во времена своего студенчества, Якушкин по случаю какого-то литературного разговора принес Тихонравову из библиотеки своего отца редчайший экземпляр книги — если память мне не изменяет, первое издание «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. Время шло, Николай Саввич книги сам не возвращал, а Вячеслав Евгеньевич из деликатности не решался напоминать. Но вот между учеником и учителем разгорелся спор, в пылу которого Николай Саввич в подтверждение своих слов взял с полки «зачитанную» им книгу Радищева и показал Якушкину какое-то место текста. Казалось, за этим надо было ждать возвращения книги ее прежнему владельцу, который уже начал было говорить о том, как для него ценна эта книга из родовой библиотеки. Не тут-то было. «Редчайшая книга! Я очень счастлив иметь ее у себя на полке!» — сказал Николай Саввич и водворил книгу на место.

Когда после смерти Тихонравова библиотека его передавалась Румянцевскому музею, Сережа предложил Якушкину вернуть ему его Радищева. Но Вячеслав Евгеньевич не захотел этого, тем более что все собрание поступало в музей, «на благо просвещения», как гласила надпись на здании...

Пичета В. И.

ВОСПОМИНАНИЯ О МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1897 — 1901 гг.)

Я попал в Московский университет вопреки собственному желанию[1]. Ничто меня с последним не связывало. У меня не было в Москве ни родных, ни знакомых, тогда как в Киеве они имелись. Большая часть моих товарищей также разбрелась по столицам. Говорили мне об упадке Киевского университета и о том, что в Москве преподают такие знаменитости, как В. О. Ключевский, В. И. Герье, П. Г. Виноградов, у которых есть чему поучиться. Пожалуй, последний аргумент в пользу Москвы был наиболее сильным, отчасти содействовавшим прекращению моей оппозиции против Москвы в пользу Киева...

Первые два курса историко-филологического факультета были общими для всех студентов, и только с третьего курса было деление на отделения. Эта система в значительной степени содействовала тому, что я засорил свою голову предметами, в сущности для меня не имевшими никакого значения, но подготовка к которым отнимала немало времени. Экзамены сдавались на первом и втором курсах в дни, назначенные деканом. Несдача одного экзамена влекла за собой оставление на второй год. На третьем курсе не было экзаменов, а на четвертом — студент получал выпускное свидетельство, дававшее ему право держать где бы то ни было государственный экзамен по всем предметам исторического образования с включением латинских и греческих исторических авторов. Подготовка к подобному экзамену требовала немало сил и здоровья, и, в сущности, надо признать ее бесполезною, но, очевидно, эти экзамены считали необходимыми, раз на последних двух курсах не было экзаменов.

Вместе с юристами I курса студенты-историки слушали и политическую экономию. Большое количество приват-

доцентов, читавших необязательные курсы или объявивших необязательные семинарские занятия, имело для студентов громадное значение, ибо на этих лекциях и практических занятиях, где было мало студентов, можно было многому научиться и увеличить свой исторический кругозор. При той системе университетского формализма, которая царила в это время в университете, единственно живыми были приват-доцентские курсы. Приват-доценты были обязаны прочитать в год известное количество лекций под угрозой лишения приват-доцентского звания в случае невыполнения этого обязательства...

На вопрос, что собой представлял Московский университет, лучшим ответом будет характеристика профессорской братии, оценка ее с точки зрения рядовой братии...

Начну с В. О. Ключевского. О последнем много писалось, и большей частью в панегирическом тоне. Достаточно воспоминаний Кизеветтера, вышедших в Праге в 1926 г. Для московских историков, вышедших из школы Ключевского, за исключением М. Н. Покровского, Ключевский был богом, к которому нельзя было подходить с нечистыми помыслами. Я не читал ни одной статьи Ключевского, не был знаком с его «Боярской думой», когда на втором курсе в большой словесной аудитории я слушал лекции Ключевского.

Обычно его посещали только студенты II курса, но когда Ключевский доходил до характеристики «чудес», сидевших на русском престоле, то набиралось народу видимо-невидимо. Очевидно, «чудеса» очень интересовали студентов в той плоскости, в какой они характеризовались Ключевским. Свой курс русской истории он читал в течение 4 часов в неделю в[есь] год, но он никогда его не доводил до конца, а в 1899 г. в связи с февральско-мартовскими университетскими волнениями[2] было прочитано еще меньше. В значительной части университетский курс Ключевского был очень близок к тому студенческому изданию, которое имелось у нас на руках. Может быть, Ключевский создал свой изданный курс в более позднее время, но в мое время ни в таком виде, ни в таком размере он не читался. Я слушал Ключевского с большим увлечением. Это было действительно художественное чтение по запискам «дьяка, поседелого в приказах».

Вспоминается мне лекция, которая вызвала овации со стороны студентов, и запомнилась мне фраза, обращенная к нам, студентам, сказанная с обычной, свойственной Клю-

чевскому насмешкой: «Благодарю Вас за Ваше отношение к моим лекциям, но я могу ответить на Ваше приветствие словами великого Гете, перед которыми я ничто: «Я рад иметь нравственную связь с аудиторией, но я никогда бы не желал, чтобы она выражалась подобным образом». Эта милая реплика была ушатом холодной воды на наши разгоряченные головы, и после этого мы молча покидали аудиторию...

Я столкнулся с Ключевским на четвертом курсе, когда он читал курс историографии: хронология и метрология и должен был вести практические занятия по Русской Правде. Я записал полностью его в высшей степени оригинальный и интересный курс, но на практических занятиях я ничему не научился. Ключевский не учил нас работать над памятником и не вводил нас в лабораторию научной работы, а занимался толкованием Русской Правды, ее статей, отдельных слов и выражений. Это было интересно, ново, полезно для студентов IV курса. Многое было тогда отлично усвоено, но это были лекции, а не практические занятия. Мы не учились работать на семинаре Ключевского, ибо не пробовали своих научных сил под руководством такого мастера, каким был В. О. Ключевский... В сущности, если бы мои занятия по русской истории ограничились бы только слушанием лекций В. О. Ключевского, то мои знания были бы весьма ограничены, независимо от моих самостоятельных занятий по русской истории. Но недостаток в знаниях был восполнен целым рядом приват-доцентских курсов, прослушанных мною, а также активным участием в приват-доцентских семинариях по русской истории. В сущности, приват-доценты знакомили нас с русской историей.

Так, я на третьем курсе слушал курс М. К. Любавского: «История литовско-русского государства до Люблинской унии включительно». Впоследствии, в 1910 г., в переработанном виде вышли его «Очерки истории литовско-русского государства до Люблинской унии включительно»[3]. Разница между первым курсом и «Очерками» была громадная. Слушателей у Любавского было двое. На четвертом курсе я занимался на семинарии у Любавского по Литовскому статуту 1529 г. Надо сказать, что Любавский был прекрасный преподаватель, и занятия под его руководством мне дали много в отношении метода работы над источником и его использования. Но лектор Любавский был плохой и сухой. Это особенно чувствовалось в его лекциях по исто-

рии западных славян. Собственно, Любавский знакомил с внешней политической историей с точки зрения историко-юридической школы. Этот курс, составленный по польским и чешским пособиям, был, кажется, в 1911 г. напечатан[4]. И все-таки из всех курсов по истории славян это был наиболее удовлетворяющий требованиям тогдашней истории. В нем не было великорусского шовинизма. Читал Любавский и курс исторической географии России, курс любопытный и интересный относительно государственной политики...[5] Конечно, Украина была для Любавского Малороссией, а Белоруссия — Западным краем. Этого требовала та государственная точка зрения, которая была положена в основу его курса. Все курсы Любавского были очень богато насыщены конкретным материалом, а дальше описания Любавский не шел, какой бы то ни было синтез был недоступен Любавскому. Вопросы экономические, как это полагается всем представителям историко-юридической школы, блестяще им игнорировались. Курсы Любавского дали мне много фактического материала...

Большое впечатление производили на многочисленную аудиторию лекции А. А. Кизеветтера, читавшего приват-доцент[ский] курс по истории крестьянской реформы. Особенное для меня имело значение то, что К[изеветтер давал очень яркую картину состояния дореформенного крестьянства, приводя при этом обильное количество стат[истических] данных, тщательно записанных на бумажечки и внимательно предоставляемых мне для переписки дома.

Этот курс был очень интересен, хотя был весь проникнут интеллигентски-либеральным настроением, как я мог потом его оценить. Блестящее внешнее устное изложение, снабженное широкими обобщениями, производило на меня очень сильное впечатление и послужило толчком для моих самостоят[ельных] занятий крест[ьянским] вопросом. Впоследствии, когда я уже в 1910 г. познакомился с его курсом лекций по русской истории XIX в., они мне показались уже малоинтересными: слишком уж тенденциозно проводилась господствующая либеральная точка зрения...[6]

Я должен отметить отдельно появление в университете Н. А. Рожкова и его приват-доцентские курсы и практические занятия. Я слушал два курса Рожкова: «Русская история с социологической точки зрения» и «История крепостного права»[7] — и принимал участие в его семинарии по истории крепостного права.

Рожков был удивительный человек, подкупавший своей

простотой, внимательностью, обходительностью. Его лекции были для нас, студентов, известным откровением, поскольку они были проникнуты единым материалистично-механическим мировоззрением, что бросалось особенно в глаза ввиду преобладания историко-юридической школы и эклектического историко-философского мировоззрения Ключевского. Конечно, в настоящий момент я по-иному оцениваю эти механико-материалистические курсы, но в 1900 г. они считались марксистскими, и их чтение в университете, а потом [появление] в печати, в журнале «Мир божий» отдельно, были событием первостепенной научной важности, хотя его коллеги по кафедре несколько иронически относились [к автору], не признавая за ним известные добрые личные качества... Нас не пугали ошибки, Николай Александрович Рожков мягко и спокойно их показывал, никак и ничем не задевая нашего молодого самолюбия.

Еще надо сказать о двух приват-доцентах. М. М. Богословском и М. В. Довнар-Запольском. Свой первый доцентский курс Богословский посвятил реформам Петра Великого, изучению которого Богословский посвятил много трудов и энергии. Богословский был прекрасный лектор, спокойно и удивительно ясно излагавший свой предмет. Он, в сущности, познакомил нас со своей диссертацией об «Областной реформе 1719 г.»[8]. Весь курс лекций был прочитан в повышенном тоне в отношении личности Петра и его государственного дела...[9]

Довнар-Запольский читал специальный курс об эпохе Александра I, впоследствии дополненный и переработанный в виде отдельной книги. Это был очень интересный, живо прочтенный курс, вводивший в историю XIX в.[10] На другой год Довнар-Запольский вел практические занятия по народному хозяйству XVII в.[11], что было новостью, и Довнар-Запольский объявлял себя примыкающим к марксизму. Я принимал участие в его семинарии, и темой моего реферата были «Экономические идеи Юрия Крижанича и состояние народного хозяйства в Московском государстве во второй половине XVII в.». Моя работа получила полное одобрение со стороны Довнар-Запольского. Вообще, последний и Рожков приохотили меня и заинтересовали вопросами, касающимися народного хозяйства. В этом отношении оба они оказали большое влияние на характер и содержание моих научных интересов...[12]

Приват-доценты были представителями разных политич[еских] взглядов и убеждений, начиная от правого Любав-

ского и кончая социал-демокр[атом] Рожковым. При всей разнице в историко-фил[ософских] взглядах приват-доцентура своими лекциями и в особенности практическими занятиями имела для студентов старших курсов громадное значение. Они учили работать по источникам, и я должен признать, что многим обязан Любавскому, Рожкову и Довнар-Запольскому как руководителям семинарских занятий.

Перехожу ко всеобщей истории. На первом курсе мне пришлось столкнуться с В. И. Герье, о котором среди студентов шла слава как о вздорном человеке и жестоком экзаменаторе, но очень знающем профессоре... На первом курсе Герье читал «Римскую историю». Курс состоял из двух частей — Критической историографии от Нибура до Момзена и изложения истории государственного строя Рима в связи с отдельными событиями внешнего и внутреннего характера[13]. По сравнению со старыми курсами это было все очень сокращено, но в то же время в области изучения римской анналистики было сделано немало дополнений безусловно интересных, впоследствии изданных студентами отдельно в виде литографированного издания...

На втором курсе Герье должен был читать «Новую историю». Герье правильно поступил, отказавшись от чтения курса лекций по всей новой истории, так как это привело бы только к конспективному изложению[14]. Вместо этого Герье читал курс Французской революции, доведя последний до конца эпохи террора[15], так как начавшиеся в феврале 1899 г. студенческие волнения вызвали прекращение лекций в университете. Курс Герье был прочитан в духе Тэна и содержал только одну политическую историю...

Несомненно большое влияние на меня оказал П. Г. Виноградов, о котором я также немало слышал. По манере держать себя и читать лекции Виноградов резко отличался от Герье. Последний был красив в отношении приемов чтения, но потом выяснилось, что, в сущности, это только одна внешность. П. Г. Виноградов оказывался не таким страшилищем, каким он мог показаться студенту при своем эффективном появлении на кафедре.

П. Г. Виноградов читал обычно два курса: «Историю Греции, кончая Пелопоннесской войной»[16], и «Историю средних веков»[17]. Лектор он был блестящий, и его лекции, при всем их историко-юридическом построении, были очень интересны и давали студентам много, тем более что они были знакомы со специальными работами по обеим дисципли-

нам. Я видел несколько редакций его лекций по «Истории средних веков» и могу сказать, что они все отличаются одна от другой. В каждый курс Виноградов вносил очень много. Так, в курсе, прочитанном студентам первого курса в 1897 г., Виноградов отвел очень много места феодализму. С работами Виноградова о феодализме я имел возможность познакомиться подробнее позже. На первом и втором курсах у нас не было никаких обязательных семинариев. Виноградов объявил необязательные семинарии по обоим курсам, и я дерзнул принять в них участие. Для моей научной работы я взял тему «Римский город в IV в.», причем в основу был положен Кодекс Феодосия, XIII глава, а для общей части — книга Фюстель де Куланжа[18]. Это была проба моих знаний. Признаюсь, я легко овладел латинским текстом, но на чтение 200 страниц Фюстель де Куланжа я потратил около месяца. В общей сложности я работал больше двух месяцев, и Виноградов одобрительно отнесся к моей работе, несмотря на обилие недостатков. И на этом ему спасибо!

На втором курсе я написал ему же работу на тему: «Политический строй в комедиях Аристофана», и она тоже была одобрена. Я занимался по всеобщей истории, отнюдь не собираясь специализироваться в области последней, хотя я никогда не бросал занятий по всеобщей истории и старался быть в курсе исторической литературы не только русской, но отчасти и иностранной, главным образом французской.

На семинариях Виноградова рефераты не читались. Студенты не принимали участия в обсуждении тем. Обычно Виноградов два академических часа давал свое заключение, прочитывая очень интересную лекцию, особенно полезную для того, кто писал реферат.

На 4-м курсе Виноградов вел обязательный семинарий по греческой истории. В основу были положены «Дейпнософисты» Афинея[19], Политии — Аристотеля[20]. Я представил большую работу и очень был польщен замечанием, что из меня может выработаться научный работник. Я пока не думал о специальных занятиях, но известное тяготение к науке я чувствовал.

Мое участие в семинариях было для меня очень положительным фактором. Я как-то прочел свою работу о Римском городе и все время улыбался и удивлялся, как мог Виноградов признать эту работу достаточно удовлетворительной. Это было возможно только благодаря удивитель-

ной снисходительности такого, казалось, недоступного человека, каким был П. Г. Виноградов по своему внешнему виду, а не внутреннему содержанию. Я очень внимательно следил за всеми работами Виноградова. Очень была полезна для меня его «Хрестоматия по истории средних веков», 4 тома[21], в сущности, приноровленная к его учебнику по истории средних веков[22]. Она мне дала много фактических знаний по истории средних веков, которой я, кажется, занимался с наибольшей любовью и интересом.

На третьем курсе мне пришлось слушать небольшое количество лекций М. С. Корелина, о котором мне было известно, что он сразу получил степень доктора всеобщей истории, представив на соискание ученой степени большую двухтомную работу «Ранний итальянский гуманизм и его историография»[23]. ...Как лектор Корелин был прост, ясен и доступен. Он не гонялся за фразеологией, каким-нибудь «сногшибательным словечком», как это было свойственно достопочтенному Виноградову. В этом отношении Корелин являлся продолжателем традиций Герье. М. С. Корелин объявил и семинарий по истории итальянского гуманизма. Я хотел поработать над перепиской Петрарки, но не удалось, так как за болезнью [Корелина] семинарий должен был прекратиться...

Место Корелина занял молодой профессор Р. Ю. Виппер, также ученик Герье, но от него отошедший и идеологически с ним разошедшийся. Он написал большую работу о «Церкви и государстве в Женеве XVI в. в эпоху кальвинизма»[24], за что получил степень доктора всеобщей истории. Это громадное, богатое фактическим материалом исследование получило должную оценку в тогдашней научной критике. Рассказывали, что Виппер написал немного раньше диссертацию на какую-то другую тему. Но случилось большое несчастье — пожар, во время которого сгорела вся библиотека и приготовленная к печати диссертация. Виппер был вынужден снова ехать за границу, где и была написана им диссертация, наименование которой было приведено выше. Виппер — светлое явление. Он дал много университетской жизни. К сожалению, я слушал только два курса, которые были начаты Корелиным, разницу с которым в отношении методологическом и историко-философском почувствовали и оценили на первой же лекции.

Р. Ю. Виппер, живой, необыкновенно вежливый и простой в отношении студентов, был превосходным, блестящим лектором, и притом необыкновенно простой. Ясность,

отчетливость и точность составляли основные его качества. Его аудитория была полной. Понятно [слово неразборчиво.— *Ред.*] история Англии XIX в. в изложении Виппера представала перед нами совсем в ином освещении. В истории мы увидели борьбу классов с приматом экономики, что резко расходилось с другими представителями исторической науки [такими] как Герье, Кареев. Его семинарии по истории общественной политической мысли XIX в.[25] были блестящими и по рефератам, и по мастерским резюме, которыми обычно заканчивался разбор того или другого реферата. Нет ничего удивительного в том, что он стал любимцем студентов. Его лекции издавались, и каждый из нас подробно записал их. Виппер, в общем, читал довольно медленно, и записать его было нетрудно. Каждая лекция давала много материала для обобщений и рассуждений, не говоря уже о богатом фактическом материале. В этом была его сила вообще, а также влияние на студентов.

Приходилось слушать иногда и лекции С. Ф. Фортунатова по истории Англии, Франции XIX в., в которых он давал, в сущности, только одну историю конституционного развития, с которой я был уже знаком, и потому для меня лекции Фортунатова не представляли никакого интереса...[26]

Таковы были представители [университетской профессуры] по всеобщей истории во время моего студенчества. Я должен признать, что тот интерес к изучению всеобщей истории, в особенности французской революции с ее доисторией, к которой я всегда проявлял интерес в течение своей научной деятельности, укоренился во мне в связи с моим пребыванием в Московском университете...

С большим интересом я слушал лекции-беседы А. Н. Веселовского по истории западноевропейской литературы, которые он читал для студентов II курса. Это был очень полезный курс, дававший нам много интересного, тем более что в гимназии мы не были знакомы с западноевропейской литературой[27]. А. Н. Веселовский никогда не готовился к лекциям — отсюда его частые отступления во время лекций. Видимо, материал для лекций подбирался во время лекции, но это нисколько не уменьшало своеобразной прелести его лекций.

Не могу еще не вспомнить добрейшего и ученейшего К. Ю. Брауна, у которого я в течение двух лет занимался итальянским языком и под руководством которого одолевал не только прозу, но и поэзию эпохи Возрождения. По-

чему я принялся за изучение итальянского языка параллельно с немецким, не знаю, но в будущем знание итальянского языка пригодилось для моих научных занятий.

На четвертом курсе мы совместно с юристами слушали политическую экономию, которую читал А. И. Чупров[28], общий любимец студентов, известный своими народническими взглядами. Нелегко было слушать лекции на 4 курсе, когда большинство из нас было знакомо с лекциями Чупрова, а он из года в год их повторял. Обычно на первой лекции у Чупрова собиралось громадное количество слушателей, но потом посторонние уходили, и оставались только юристы. Историки почти не посещали, ибо бесполезно было терять время, когда читаемое профессором было знакомо.

Очень я интересовался историей русского права и сначала собрался посещать читавших его профессоров: Д. Я. Самоквасова[29], Мрочек-Дроздовского[30] и приват-доцента Числова[31], читавших отдельные части курса, но, прослушав немного всех этих трех бездарностей, я бросил их посещать, найдя более целесообразным обратиться к курсам Владимирского-Буданова[32] и В. И. Сергеевича[33], других тогда еще не было. Надо признать, что последние дали много, а для меня и для моего дальнейшего исторического, вернее, историко-юридического образования имели большое значение. Я чувствовал, что историк должен быть и историком-юристом. Этим и объясняются мои занятия по истории русского права, чтение ряда историко-юридических работ...

Интересной стороной университетской жизни были диспуты — защиты диссертаций. Я их с удовольствием посещал, а уж впоследствии записал два диспута Яковлева и Готье и напечатал в «Голосе минувшего» и московском «Историческом журнале»[34]. Диспуты собирали очень много публики. Это было очень любопытно, тем более что после революции 1905 г. на диспутах, кроме студентов и профессоров и небольшой группы знакомых, посторонних лиц почти не бывало. Безусловно, диспуты были событием общественного характера, крайне важным в эпоху той реакции, в которую погрузилась дворянская Россия в конце XIX и начале XX в. На диспутах искали живого слова, живой мысли, ибо где-нибудь в другом месте их нельзя было высказать. Жаль, что диспутов никто не стенографировал. Все же часто споры были интересны, в особенности если я шел на диспут не только как на зрелище, а на своего

рода ученое заседание, где я бы хотел выслушать мнения ученых лиц относительно известной мне книги. Обычно я посещал диспуты на историко-филологическом факультете и отчасти на юридическом. Детали о многих диспутах улетучились, но все же кое-что осталось. Как бы то ни было, присутствие на диспутах было для меня во многих отношениях полезно, тем более что официальные оппоненты не всегда только любезничали и говорили диспутанту разные комплименты, а выступали с серьезными, интересными замечаниями...

Один диспут, имевший громадное общественно-политическое значение, был связан с защитой диссертации М. И. Туган-Барановского. Докторская диссертация М. И. Туган-Барановского была написана на боевую тему: «Русские фабрики в прошлом и настоящем»[35]. Сама книга становилась тем интереснее, что автор в то время причислял себя к марксистам. Перед диспутом книга Туган-Барановского была мною основательно проштудирована. В студенческой среде перед диспутом было большое волнение, и все ждали диспута с нетерпением. Одним народникам, идеалистам надо было, чтобы книга в своей историко-философской и методологической основе была бы уничтожена, и все возлагали большую в этом отношении надежду на столпов народнической экономической теории А. И. Чупрова и Каблукова. Марксисты считали, что диспут должен окончиться посрамлением народников и торжеством марксизма. К назначенному часу актовый зал был переполнен. Часть студентов встретила [диспутанта] бурными аплодисментами. Но диспутант [принес] сугубое разочарование народникам и победу марксистам, и для распространения в студенческой среде марксистской теории [его выступление] имело громадное значение. В сущности, возражения так называемых официальных оппонентов были просты, случайны, и, как выяснилось, в вопросах о экономической методологии не было сказано ни слова, и когда диспут окончился, ибо, надо признать, своими спокойными, уверенными ответами на возражения Туган-Барановский произвел сильное впечатление на учащихся, то провозглашение Туган-Барановского доктором политической экономии было встречено громом аплодисментов всего зала, который продолжал рукоплескать, когда диспутант проходил через весь зал к выходу. Студенчество еще ожидало разноса книги в «Русском богатстве». Впоследствии в нем появилась статья, кажется Мякотина, притом слабая и совершенно неубеди-

тельная. Не помню, отвечал ли Туган-Барановский или нет...[36]

Я хорошо помню диспут Н. А. Котляревского, защищавшего диссертацию на тему «Мировая скорбь»[37]. Актовый зал был полон, и преобладало не студенчество: театральный мир, литераторы, журналисты, адвокаты, представители московской интеллигенции. Н. А. Котляревский был блестящим оратором, и его вступительное слово, в котором он подводил итоги своим изучениям «мировой скорби», произвело сильное впечатление. На диспуте царила все время атмосфера уюта, ласки и доброжелательства. Н. И. Стороженко, одна сплошная доброта, и А. Н. Веселовский дали общую оценку книге, ограничившись отдельными замечаниями. И его оппонент В. И. Герье поблагодарил автора за снисходительное отношение к Руссо, [заявив], что он с удовольствием присудил бы ему степень магистра всеобщей истории. Эта атмосфера взаимного любования была расстроена выступлением молодого В. М. Фриче (1899), который подошел к книге с идеологической точки зрения. Надо отметить, что «большой барин» Котляревский сначала отнесся довольно пренебрежительно к выступлению Фриче, почти не слушал его и даже разговаривал с кем-то с факультета. Но все-таки возражения Фриче, в основе марксистские, были так сильны, что Котляревскому пришлось уже защищать идеологическую сторону своей книги, что он и делал крайне разухабисто и самоуверенно. Профессорская братия была очень недовольна выступлением Фриче, но ничего нельзя было поделать: на диспуте царила свобода слова. Часть студенчества очень горячо аплодировала В. М. Фриче, когда последний решил внести известный диссонанс в идеалистическую атмосферу диспута.

Другой диспут, который происходил в том году, был диспут молодого философа кн. С. Н. Трубецкого, защищавшего диссертацию на степень доктора философии и представившего исследование «Учение о Логосе Филона Александрийского»[38], вызвавшее, разумеется, резкую критику в официальной духовной печати. Актовый зал был наполнен представителями московского дворянства. Французская речь была преобладающей. Очень интересно было вступительное слово С. Н. Трубецкого, этого представителя неохристианской философии. Для своего времени речь была довольно смелой, ибо Трубецкой в конце своей речи сказал, что, не скрывая своих религиозных убеждений, он должен

признать, что божественность Христа недоказуема. Он высказал, что учение о Логосе четвертого Евангелиста выводилось из учения Филона Александрийского. Ничего подобного мне не приходилось ни читать, ни слышать. Святости «канонических книг» был нанесен удар, что прекрасно понимало присутствовавшее на диспуте духовенство, хотя Трубецкой, в сущности, не сказал ничего нового по сравнению с тем, что было уже сказано представителями немецкой тюбингенской богословской школы...

Очень интересен был диспут Н. А. Рожкова, выступившего с книгой «Сельское хозяйство в Московском государстве XVI в.»[39]. Диссертация лежала у Ключевского дома. Весь основной материал были Писцовые книги, к данным которых Н. А. Рожков отнесся с известной большой доверчивостью и недостаточной критикой, на что в особенности напирал Ключевский. Возражения Ключевского были ценны и остроумны и очень непросты в смысле формулировок. Впоследствии Ключевский все свои возражения напечатал в своем заключительном отзыве на книгу Рожкова, представленную последним на получение премии, кажется Карпова[40]. Другим оппонентом был, если не ошибаюсь, М. М. Богословский, но его замечания не представляли никакого интереса. Вся диссертация Рожкова, его терминология, была новинкой в русской исторической литературе, и, конечно, была неприемлема с методологической точки зрения представителей историко-юридической школы[41]. Как слушатель приват-доцентских курсов Рожкова и участник его семинария, я был знаком с его книгой, а главное, благодаря этой диссертации по-новому объяснялись первоначальные процессы развития крепостного права, подводилась та бытовая — неэкономическая база, о которой не было и речи у Ключевского, хотя весь процесс зарождения крепостного права объяснялся экономической задолженностью.

Наконец, в конце мая 1901 г., за несколько дней до последнего экзамена, состоялся диспут М. К. Любавского, представившего огромную диссертацию о «Литовско-русском сейме»[42]. Теперь мне ясны все недостатки этой работы, несмотря на большие ее достоинства, но в мои студенческие годы она мне казалась образцовой. Безусловно, для историографии по изучению Великого Княжества Литовского все труды Любавского имеют громадное значение, поскольку им пущен в оборот новый материал, известный под именем «Литовская Метрика». Ввиду конца учебного

года диспут был малочислен. Преобладали профессора и товарищи, друзья М. К. Любавского. Возражения Ключевского, как неспециалиста в этой области, не представляли никакого интереса, хотя и были выслушаны в величайшей тишине, но и тут Ключевскому удалось бросить, как всегда, несколько едких замечаний по адресу диспутанта, показав ему, что в книге имеется кое-что известное, что только увеличивает объем книги. После возражений Ключевского часть публики ушла, а, в сущности, наступила наиболее интересная часть диспута — возражения М. В. Довнар-Запольского, также работавшего в области изучения истории Великого Княжества Литовского. М. В. Довнар-Запольский сделал ряд ценных замечаний фактического характера, с которыми надо было считаться. Все замечания были им напечатаны в «Журнале министерства народного просвещения» за 1901 год, кажется в июльской книге[43]. Неприятно было то, что присутствовавшие доценты, не симпатизировавшие Довнар-Запольскому, не слушали последнего и разговаривали друг с другом. Да и сам диспутант, покорный, когда возражал Ключевский, и раболепный в своих ответах В. О. Ключевскому, становился настойчивым и грубовато-резким, когда приходилось возражать, быть может, на спорные, но, во всяком случае, не голословные, а фактического характера замечания[44]. Правда, между Любавским и Довнар-Запольским создались уже в это время весьма неприязненные отношения, их источника я не знаю, но могу констатировать, что Довнар-Запольский был на диспуте очень застенчивым, корректным и спокойным, выдержавшим грубовато-насмешливый тон Любавского, совершенно ничем не оправданный...

Все эти диспуты и ученые заседания, которые я изредка посещал, были в моей духовной и научной жизни явлением безусловно положительного характера. Я постепенно рос, стал ко всему относиться критически и особенно стал интересоваться вопросами общественно-политического характера и западноевропейским конституционным правом.

Радциг С. И.

СТРАНИЦЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

...Я учился на историко-филологическом факультете Московского университета в 1900—1904 гг. В то время мы уделяли большое внимание не только своей узкой специальности, но и смежным дисциплинам: литературоведы должны были быть хорошо знакомы с историей и языкознанием; историки — с литературой и философией; классики сдавали экзамены по всеобщей литературе и т. д. Все студенты нашего факультета сдавали экзамены по древним языкам.

Несмотря на все недостатки прежней средней школы, мы приходили в университет с хорошим знанием древних языков, а зная их, можно было лучше постичь принципы науки о языке, прийти к пониманию особенностей своего родного языка и легче усваивать иностранные...

Среди профессоров историко-филологического факультета в годы моего студенчества было много выдающихся ученых, каковы, например, историки П. Г. Виноградов и В. О. Ключевский, лингвист Ф. Ф. Фортунатов, фольклорист В. Ф. Миллер, литературоведы Н. И. Стороженко, С. И. Соболевский и др. Эти ученые давали не только знания, но и будили нашу мысль.

Общественная жизнь в университете перед революцией 1905 г. била ключом, и это очень чувствовалось в настроениях студенчества, в росте революционных студенческих кружков. Поэтому мы особенно чутко прислушивались к общественным ноткам в речах наших профессоров.

Я помню празднование юбилея проф. Н. И. Стороженко, на котором студенты поднесли юбиляру приветственный адрес[1] Скромный в обращении, Н. И. Стороженко, всемирно известный своими трудами о Шекспире и поэтах его времени, представлялся нам как образец истинного гума-

ниста. В своем адресе мы особенно отмечали его работу «Вольнодумец эпохи Возрождения», в которой рассказывается о гуманисте Этьене Доле, сожженном на костре за свои «вольные» мысли[2].

Когда читал свои лекции В. О. Ключевский, собирались студенты не только нашего, но и других факультетов. Глядя на его худощавую фигуру среднего роста, на его редкую седую бороденку, слыша его своеобразную, слегка заикающуюся речь, полную тонкого остроумия и иронии, мы как бы видели перед собой живое воплощение древней Руси, вроде Григория Котошихина или кого-нибудь другого из тонко охарактеризованных им деятелей. Во всех его лекциях поражало глубокое знание всех мелочей, всех документов и произведений древних русских писателей, относящихся к периоду, о котором он читал. Он был живым примером ученого, заражавшего страстью к науке, воспитывавшего чувство к ней. И мы рылись в библиотеках, обкладывались книгами, готовя рефераты, годичные доклады для семинаров и большие кандидатские сочинения к окончанию курса.

От старейших наших профессоров мы услышали о великих заветах их предшественников: Т. Н. Грановского, П. Н. Кудрявцева, С. М. Соловьева, Ф. И. Буслаева и других, которые в годы нравственной тьмы умели зажечь яркий светоч науки и высоко поднять авторитет ученого. С грустью и глубоким сочувствием провожали мы П. Г. Виноградова, когда он, протестуя против безобразий тогдашнего режима, ушел из университета[3]. И теперь, будучи преемниками лучших русских ученых, мы считаем своим священным долгом передать яркий светоч науки новому молодому поколению, живущему более счастливо и радостно, нежели мы в свои молодые годы.

Ключевский В. О.

НАБРОСОК РЕЧИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 150-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

[*До 12 января 1905 г.*]

Половину своего второго века пережил наш Московский университет. С усиленным биением пульса будут приветствовать его 12 января 1905 г. многочисленные его питомцы, рассеянные по городам и селам пространной России. Каждый из них, подписывая приветственную телеграмму, живее вспомнит свои лучшие годы, бодрее освежит свои светлые воспоминания. Старый студент вспомнит, когда он был молод и как хорошо был молод; молодой положит себе завет не забывать родного университета и когда состарится. Разделенные пространством, возрастом, житейскими стезями, убеждениями, все они мысленно сольются в плотную духовную корпорацию, объединенную солидарным нравственным чувством и одинаковыми умственными интересами.

Минувшее пятидесятилетие не было спокойно. Тревожной волной текла русская жизнь, и Московский университет не раз испытывал усиленную качку, разделяя надежды, стремления, одушевление, опасения, негодования,— все настроения, сменявшиеся в русском обществе.

На кафедрах и скамьях университета, в профессорских курсах и в настроении студенчества согласно и чутко отзывались и великие завоевания европейской науки, и мировые международные столкновения, и шумные общественные движения Запада, и крутые переломы, испытанные русской жизнью в это полное событий время.

Студенты ценили профессоров, профессора понимали студентов: те и другие гордились своим университетом, тех и других уважало общество. Обилие научных сил поддерживало единодушие между аудиторией и кафедрой, единомыслие между университетом и обществом. Ярким созвездием блестит в этом десятилетии плеяда московских про-

фессоров, слову которых внимали аудитории с затаенным дыханием, трудами которых питалась русская научная мысль. Никто не назовет малоплодным для университета пятидесятилетие, в котором действовали и завершили свою деятельность такие его профессора, как Грановский, Соловьев, Щуровский, Давыдов, Бредихин, Чичерин, Овер, Варвинский.

В это пятидесятилетие десятки тысяч студентов вышли из университета и, расходясь по городам и усадьбам отечества, будили местные силы духовными интересами и знаниями, вынесенными из университета. Это был с каждым годом нараставший всесословный резерв русского просвещения, вербовавшийся из различных общественных состояний. Всесословность положена была в основу Московского университета его устроителями, просвещеннейшим и благороднейшим русским вельможей Шуваловым и светилом европейской науки, архангельским крестьянином Ломоносовым.

Дружинин Н. М.

ВОСПОМИНАНИЯ И МЫСЛИ ИСТОРИКА

...Поступая в 1904 г. на историко-филологический факультет Московского университета, я не обольщался иллюзией, что он целиком ответит на мои запросы: наше отношение к казенной высшей школе, ее учебным требованиям и преподавательскому составу было проникнуто значительной долей скептицизма. Действительность вполне подтвердила наши прогнозы: Московский университет продолжал жить на основе реакционного устава 1884 г.[1] — с окаменевшими программами, узкоформальными правилами, придирчивой инспекцией и изрядным процентом реакционной, сугубо «академической» профессуры. В аудиториях историко-филологического факультета, особенно на лекциях филологов или маститого историка В. И. Герье, царила достаточно затхлая атмосфера. Но и здесь современная жизнь вторгалась в замкнутые двери отгороженного «храма науки» и наполняла новым содержанием его устарелые формы. На лекции В. О. Ключевского собирались студенты различных факультетов — не меньше, чем на лекции К. А. Тимирязева, которые слушали естественники. Н. А. Рожков и А. А. Кизеветтер читали параллельные курсы на тему «Отмена крепостного права», первый — в экономическом плане, второй — в либерально-конституционном духе. Даже доцент И. И. Иванов, вовсе не отличавшийся радикальными взглядами, объявил курс на заманчивую тему «История германской социал-демократии». Но самыми интересными показались мне два исторических семинара — Р. Ю. Виппера, посвященный анализу Фукидида, и М. М. Богословского по Русской Правде: на занятиях обоих профессоров я впервые узнал, что такое широкий и тонкий анализ источников, какие важные науч-

ные обобщения можно построить на детальном разборе и толковании древних текстов.

С самого начала я выработал себе программу учебных занятий, не вполне совпавшую с официальным планом: наряду с обязательными лекциями Любавского по древней русской истории и Ключевского по XVIII веку, я слушал параллельные курсы Рожкова и Кизеветтера, но перенес центр тяжести на самостоятельные занятия. Закончив историю первобытного общества, начатую еще в летние месяцы, я перешел к истории Греции (входившей в учебный план факультета) и одновременно — к изучению экономических и культурных предпосылок Французской революции XVIII века. При этом я широко пользовался «Программами домашнего чтения» — этой своеобразной попыткой прогрессивных деятелей Русского технического общества создать некую форму демократического заочного университета. Рекомендации и проверочные вопросы этого издания очень помогали моим самостоятельным занятиям и до, и во время университетского курса. Выбор темы «Французская революция» не был случайным: и мне, и моим близким товарищам опыт этого великого буржуазного переворота представлялся наиболее важной научной опорой перед лицом грядущей буржуазно-демократической революции в России. Так началась моя университетская жизнь, вскоре, через четыре месяца, оборвавшаяся на полтора года.

Осень и начало зимы 1904 г. проходили под знаком растущего политического подъема. После поражения под Ляояном[2] исход русско-японской войны наметился совершенно отчетливо. Критика самодержавно-полицейского строя приняла широкие, до сих пор небывалые формы. С ослаблением цензуры появились новые, радикальные органы печати. Началась серия либеральных банкетов[3], на которых временами звучали более смелые речи. Оживилась и расширилась подпольная работа революционных партий. Бакинская стачка[4] стала преддверием январских событий 1905 г. В такой обстановке усиливалось и политическое возбуждение передового студенчества. Медицинский факультет, особенно чайная Анатомического театра, стали центром притяжения революционных элементов. Созывались межфакультетские собрания, вспыхивали стихийные сходки и уличные демонстрации. Еще в начале осени, после одной из лекций Ключевского, в Богословской (ныне Коммунистической) аудитории состоялся митинг протеста против избиения студентов на политической демонстрации

при проводах мобилизованных новобранцев. После страстных политических речей студенты высыпали на улицу, быстро смастерили красное знамя и плакат с надписью «Долой войну!» и с пением революционных песен двинулись по Никитской и Малой Бронной в направлении рабочих кварталов. Импровизированная демонстрация была разогнана отрядом городовых и дворников, но подобные избиения только подливали масло в разгорающийся огонь. В начале декабря после лекции Тимирязева студенческая толпа взломала двери запертого актового зала, находившегося рядом с физической аудиторией, и после горячих речей вынесла постановление организовать в воскресенье уличную демонстрацию, призвав на нее рабочих. Демонстрация состоялась 5 декабря около дома генерал-губернатора на Тверской, но была быстро рассеяна конными отрядами жандармов и казаков. Вместе с близкими товарищами я участвовал в этих сходках и выступлениях, с волнением слушал на квартире Леонида Андреева его антивоенный рассказ «Красный смех»[5], посещал подпольные словесные поединки социал-демократов и эсеров по аграрному вопросу, вместе со своим сверстником Лунцем развивал на собраниях молодежи идеи исторического материализма.

Расстрел 9 января 1905 г. повлек за собой организованную забастовку студентов и закрытие университета. Вскоре я принял предложение своей знакомой Инессы Федоровны Арманд взять на себя функции библиотекаря Московского комитета партии и вместе с Н. М. Лукиным (в то время студентом 2-го курса) стал посредником в обслуживании пропагандистов нелегальной литературой. В начале февраля я был задержан на квартире И. Ф. Арманд с перечнем нелегальных книг, 2½ месяца провел в тюремном заключении, был исключен из университета и весной 1905 г. выслан до суда в Саратов. Сидя в одиночной камере, я продолжал заниматься историей Греции, но еще больше времени посвящал политической истории современной Европы и начаткам политической экономии; мне было ясно, что без учета политического опыта западноевропейских стран и без теоретического освоения хозяйственных процессов невозможно сознательное отношение к происходящим событиям. И в Бутырской, и в Таганской тюрьмах поддерживалось непосредственное общение между заключенными: начавшаяся революция сломала преграды, воздвигнутые тюремным режимом; шли переговоры через открытые окна, с помощью гуляющих передавались запис-

ки, а при содействии выбранных заключенными старост и приходивших «невест» регулярно поступали газеты и свежая нелегальная литература. Мы были в курсе всех событий и революционно-тактических споров. Читая «Вперед»[6], я окончательно оформил свои политические взгляды, а знакомясь с французскими революциями XIX в., убедился, что и студенты могут принести некоторую пользу в революционном движении. С помощью явок я установил связь с Саратовским комитетом РСДРП и приступил к активной работе в качестве организатора, а позднее агитатора большевистского крыла местной организации. Как известно, летние месяцы 1905 г. сопровождались дальнейшим подъемом рабочего, крестьянского и солдатского движения. Широкие пролетарские массы все больше приобщались к развертывавшейся революции; в Саратове движение охватило не только передовые слои типографщиков, ремесленников, металлистов, но и самых отсталых рабочих мельничных предприятий. Мы созывали пропагандистские кружки и загородные митинги, распространяли партийные листовки и брошюры, проводили заводские и районные собрания, создавали профсоюзные и боевые ячейки, руководили экономическими стачками.

Крупицы времени, остававшиеся от интенсивной организационной работы, поглощались чтением марксистской литературы, которая пробивала себе дорогу и в виде дешевых подцензурных изданий. В конце июля я был арестован как десятник дружины вооруженной самообороны, созданной Саратовским комитетом партии против грозившего европейско-интеллигентского погрома. Для меня вновь наступила небольшая передышка, которую я постарался использовать для пополнения своих экономических и политических знаний. Октябрьская стачка[7] открыла двери нашей тюрьмы и широкие возможности для развертывания революционной агитации. Критика самодержавия и капитализма переплеталась с очередными лозунгами вооруженного восстания, созыва Учредительного собрания и учреждения республики. Я выступал с речами в заводских цехах, на «Пешке», куда стекались наиболее обделенные и отсталые прослойки трудящихся, в фельдшерской школе, где собирались передовые рабочие и представители интеллигенции; свои выступления я старался обосновать экономическими данными и историческими фактами. Это были счастливые дни моей жизни, когда я чувствовал могучую силу революционного слова, когда на моих глазах про-

ждалось сознание у самых отсталых слоев аудитории.

Декабрьское вооруженное восстание[8] не получило в Саатове активной боевой поддержки. Избегая ареста, я выжден был покинуть Саратов, и, пользуясь ранее опублиованной амнистией, возвратился в Москву. Здесь возобнолась моя партийная работа сначала в роли агитатора огожского района, позднее — в качестве общегородского рганизатора. Мы успешно провели кампанию бойкота Годарственной думы, разоблачали конституционные иллюии, посеянные кадетами, подготовляли выборы на IV съезд СДРП[9], участвовали в организации безработных, использовали загородные массовки, народные дома, обычные или лучайные скопления рабочих на окраинах и в центре для еволюционного разъяснения текущих событий и очередных артийных лозунгов. На одном из пропагандистских собраий я был захвачен полицией, но благодаря содействию заодского организатора счастливо отделался несколькими асами ареста и безрезультатным домашним обыском.

* * *

Моя дальнейшая научная подготовка вытекала из богаого политического и житейского опыта буржуазно-демократической революции. Осенью 1906 г. возобновились занятия в реформированном автономном университете, и передо мной встал вопрос, вернуться ли к научным занятиям или, пожертвовав высшим образованием, перейти на положение профессионального революционера? В тогдашних условиях подпольной работы среднего пути, с моей точки зрения, не было. Положение осложнялось материальными затруднениями, которые требовали поисков заработка. Проверив самого себя, я пришел к выводу, что по своим внутренним склонностям я не отвечаю идеалу политического деятеля и что мое призвание — научно-просветительная работа, преимущественно в рабочих массах. Мое влечение к истории возобновилось с прежней силой, но осложнилось новыми планами: в свете всего пережитого и продуманного я осознал огромное значение экономических наук для понимания исторического процесса, всю необходимость систематических и глубоких знаний для истолкования общественных явлений. На юридическом факультете Московского университета наряду с отделениями государственного, гражданского и уголовного права открылось особое эконо-

мическое отделение с программой специальных хозяйственных дисциплин. Я решил предварительно, ранее, чем приступить к истории, основательно изучить экономику и в соответствии с планом отделения овладеть также общими правовыми науками: революция показала не только могущественное влияние экономического фактора, но и громадную роль юридических норм в процессе ломки старых институтов и возникновения новых отношений.

Московский университет послереволюционного периода был не похож на тот, каким я знал его в 1904 г.[10]: в основу преподавания была положена предметная система, т. е. обязательное прослушивание в течение факультетского курса определенного количества предметов и сдача соответствующего числа экзаменов и семинарских зачетов, но распределение этих предметов и испытаний по годам и полугодиям зависело от добровольного выбора самого студента. Слушание лекционных курсов было фактически необязательным, никакой инспекции не существовало, система прохождения наук была поставлена в зависимость от самодеятельности и выдержки самих студентов. На экономическом отделении юридического факультета было запланировано 15 научных предметов, в том числе 7 общих (например, политическая экономия, энциклопедия права и др.) и 8 специальных (теория политической экономии, история хозяйственного быта и экономических учений, статистика, теория вероятности и т. д.); кроме того, требовалось получить зачеты по 3 семинарам, а 4 основные юридические дисциплины выделялись для сдачи на государственных экзаменах. Такая система преподавания стимулировала личные усилия занимающегося и хорошо отвечала условиям жизни малообеспеченных студентов. Одновременно с поступлением в университет я должен был приискать себе источники заработка и уметь сочетать его с научными занятиями. Нужно было сосредоточить свое внимание на основных, наиболее важных проблемах и организовать по ним самостоятельные занятия, учитывая свои запросы и используя для работы все свободное время.

С самого начала я перенес центр тяжести на политическую экономию, стараясь исторически подойти к изучению основных вопросов теории. В семинарии доцента Н. Н. Шапошникова я проработал все рекомендованные темы, начиная с первой — «Фазы хозяйственного развития» (по этому вопросу я представил доклад, знакомивший с историографией проблемы) и кончая последней, завершавшей во-

просы о генезисе и развитии капитализма,— «Гибель ремесла». В семинарии проф. А. А. Мануйлова по теории ценности я изучал воззрения Адама Смита, Рикардо и Маркса. Самостоятельно занявшись аграрным вопросом, я старался уяснить себе контроверзу о сравнительных преимуществах крупного и мелкого сельского хозяйства; конечно, полемика между Давидом и Каутским[11], развивавшим теорию Маркса, заняла здесь главное место. По истории экономических идей, помимо имевшихся общих курсов, я проштудировал интересный труд немецкого экономиста Онкена[12]. В качестве зачета по специальному курсу политической экономии требовалось представить подробный конспект одной из классических работ по собственному выбору; я избрал для этой цели первый том «Капитала» К. Маркса — книгу, с которой я познакомился еще в революционные годы.

Вторым предметом, на котором я сосредоточил свои усилия, был рабочий вопрос как часть дисциплины «Экономическая политика». Здесь я последовательно изучил историю профессионального движения на Западе и в России, историю фабричного законодательства и проекты страхования рабочих, которые являлись в то время предметом оживленной дискуссии в печати и в Государственной думе. Доклад на тему о постановке врачебной помощи российским рабочим по предложению знакомого врача большевика Канеля я прочел в секции истории труда Русского технического общества. Для дипломного сочинения мной была выбрана тема «Охрана женского и детского труда в фабричной промышленности России». И здесь я старался отвести большое место истории вопроса; мне помогли при этом богатейшие материалы Музея труда при Московском университете и указания их неутомимого собирателя и хранителя, одного из фабричных инспекторов первого призыва А. В. Погожева.

Историю финансов я прослушал в изложении проф. П. П. Гензеля, а для зачета по этому предмету представил сочинение на тему «Крестьянская тяглая община XVII в.». Некоторые общие предметы экономического отделения, например историю римского права, историю философии права и особенно историю римского права, я старался изучать не только на основании печатных курсов, но привлекая также дополнительные пособия и источники. Однако некоторые дисциплины, например международное право (тоже в историческом освещении), удавалось штудировать

и сдавать исключительно по профессорским курсам — так же, как специальные юридические предметы. Таким образом, проходя программу юридического факультета, я стремился сочетать экономику и право с историей общественных отношений, которая постепенно обогащалась в моем представлении благодаря проникновению в смежные дисциплины. Одновременно, благодаря непрерывной педагогической практике, я закрепил в сознании фактический костяк исторического процесса и старался передать своим ученикам основные из полученных мной выводов. Чтобы заработать средства на жизнь, приходилось выполнять самые разнообразные функции: секретаря доктора М. М. Чемоданова[13] и распространителя его революционных карикатур, служащего художественной фотографии, счетчика при переписях, организованных городской управой, корректора газеты «Утро России» и т. д. Но основным, почти постоянным источником моего заработка оставались уроки на общеобразовательных курсах или домашние, в форме подготовки учащихся к различным экзаменам. Я всегда отдавал предпочтение урокам по истории, литературе и географии, которую считал очень важной в программе знаний каждого историка. Подготовка к урокам требовала дополнительного чтения, а иногда — слушания лекционных курсов (например, по географии—на естественно-математическом факультете). Именно в эти годы, пользуясь «Программами домашнего чтения», я проштудировал курс истории средних веков. Параллельно я старался не терять связи с рабочей средой и вел занятия по истории на рабочих курсах В. Е. Ермилова, после их закрытия — на Пресненских курсах и т. д. Жажда знания, которая проявлялась рабочими массами, пробужденными к сознательной жизни, делала особенно интересной и ответственной просветительную работу.

Проходя курс юридического факультета, я выработал для себя определенные методы занятий. Дорожа каждым часом, я составлял ежедневное расписание занятий: чтение научных книг я сопровождал письменными вопросами, замечаниями, а если нужно, конспектами и таблицами; при подготовке к экзаменам вслух рассказывал себе содержание каждого билета (это помогало не только закреплению знаний, но и выработке правильной научной речи); каждый день я записывал, что было сделано, а в конце месяца составлял отчетную сводку, контролируя свою работу и учитывая ее итоги для будущего.

Весной 1911 г. я сдал государственные экзамены в испытательной комиссии, а летом подал заявление о приеме на историческое отделение историко-филологического факультета. Пятилетние занятия дали мне не только определенную сумму знаний, но — что особенно важно — выработали навыки экономического и юридического мышления, умение самостоятельно изучать научный материал и обрабатывать его в виде докладов и сочинений. Конечно, преподавание на юридическом факультете имело существенные недостатки, зависевшие от мировоззрения его профессуры. На факультете были преподаватели различных взглядов, начиная от анархиста А. А. Борового[14], призывавшего к ликвидации государства, и кончая идеалистом С. Н. Булгаковым, излагавшим историю экономических идей в свете религиозной философии. Но основной костяк профессуры составляла группа либеральных профессоров во главе с С. А. Муромцевым и А. А. Мануйловым; они отличались солидными знаниями, блистали ораторскими способностями, но были очень далеки от тех точек зрения, которые я воспринял в предшествующие годы. Наиболее искусным руководителем семинарских занятий считался И. М. Гольдштейн, но это был типичный буржуазный профессор, который в своем курсе о трестах и синдикатах не шел дальше рекомендаций государственного ограничения монополий. Представителем более прогрессивной методологии был П. П. Гензель, искусно разоблачавший классовую подоплеку финансовой политики, но он не умел хорошо организовать свои семинарии и методически вооружить их участников.

Тем не менее поставленная мной задача была достигнута: я прошел пропедевтику* исторической науки и до известной степени научился связывать политическую надстройку с экономическим базисом. Теперь мне предстояло, наряду с расширением исторических знаний, научиться применять экономические и правовые критерии к самостоятельной обработке исторических фактов. Влияние реальной действительности и особенности первого этапа моего образования толкали меня на изучение отечественной истории, преимущественно ее социально-экономических и идейных процессов, притом в наименее изученной области нового периода — XIX века.

---

* Приготовительный курс *(греч.)*.

* * *

Историко-филологический факультет этого времени тоже был реформирован на основе предметной системы преподавания, требовавшей больше инициативы и самостоятельности от учащихся. Но здесь сильнее обнаруживалось влияние отсталых традиций, господствовавших ранее 1905 г.: в программе официальных предметов по-старому фигурировало богословие; слушание философских дисциплин фактически было обязательным (читавший их профессор Челпанов не принимал экзаменов без предварительной записи и усвоения своих курсов); в составе профессуры были отпетые реакционеры вроде Алмазова, преподававшего историю церкви; некоторые более передовые профессора, например Д. М. Петрушевский, покинули факультет после репрессивных мероприятий министра Кассо. Однако на факультете оставалась группа видных ученых, у которых можно было с пользой заниматься, не жертвуя самостоятельными взглядами и выработанными методами. С самого начала я сосредоточил свое внимание на лекционных курсах Р. Ю. Виппера и на практических занятиях М. М. Богословского. Такой выбор был продиктован моими прежними впечатлениями и вполне оправдан последующими занятиями. Р. Ю. Виппер, бесспорно, был самым выдающимся профессором историко-филологического факультета 1911—1916 гг.: он соединял в себе обширные и разносторонние знания, способность самостоятельно и тонко мыслить; при этом у него была спокойная и в то же время увлекающая форма изложения. Социологический метод и сочувствие передовым идеям приближали его в то время к учению марксизма. Курсы Р. Ю. Виппера по истории античного мира, новейшего времени, социальных идей, методологии исторической науки открывали перед нами широкие перспективы, возбуждали работу мысли, воспитывали навыки научно-исторического анализа.

Педагогический талант проф. М. М. Богословского сильнее всего проявлялся на семинарских занятиях. Прекрасный знаток древнерусских текстов, он умел всесторонне и тонко анализировать юридические нормы, привлекая богатую историческую литературу и подводя к важным социологическим выводам. Образцом таких занятий мог служить просеминарий 1911/12 г. по Русской Правде. Первые месяцы М. М. Богословский сам читал и толковал нам тексты Краткой и Пространной Правд, раскрывая значение

отдельных терминов и статей, сопоставляя имевшиеся комментарии и спорные точки зрения, датируя и обособляя друг от друга наслоения сохранившихся списков. В дальнейшем он предложил участникам просеминария представить собственные рефераты на выдвинутые им темы, которые охватывали важнейшие проблемы источника. Представленная студенческая работа поступала на рассмотрение желающих оппонентов, дававших развернутую критику ее содержания. Диспут велся под руководством профессора, но сам руководитель старался не вмешиваться в прения и не навязывать студентам собственного понимания текста. Мне и моему сокурснику С. А. Голубцову выпала задача критиковать реферат на тему «Учение Ланге об уголовном праве по Русской Правде»[15]; мы противопоставили выводам автора свое понимание вопроса, исходя из сопоставления различных списков и из сравнения Русской Правды с аналогичными памятниками — древнегерманскими Правдами, Литовским статутом и т. д. Давая оценку нашим выступлениям, М. М. Богословский особенно предостерегал нас против подкупающей логической прямолинейности юридического мышления Ланге. Подводя итоги учебного года, М. М. Богословский выразил удовлетворение, что его просеминарий был «оркестром без дирижера».

Умение анализировать источник и широко использовать его для исторических выводов стояло в центре занятий и на дальнейших семинариях М. М. Богословского — по истории первой и второй четверти XIX в. Из числа предложенных тем я выбрал в первом случае тему «Северное общество и конституция Никиты Муравьева», во втором — «П. Д. Киселев и его реформа 1838—1839 гг.»[16]. Я считал разработку семинарских тем главным предметом своих занятий и ограничивался в течение года подготовкой одного, в исключительных случаях — двух докладов, но я старался привлечь максимальное количество литературы и печатных источников, предваряя их чтением и осмыслением общей литературы по данному периоду. Анализируя конституцию Никиты Муравьева, я исходил из понимания идеологии французского Просвещения, в частности Монтескье и Руссо, с которыми я знакомился в подлиннике. Реформу Киселева я возводил к законодательству XVIII в., подчеркивая, в противовес господствующей оценке, консервативные тенденции мировоззрения и творчества этого деятеля. Конечно, невозможность использовать архивные документы очень ограничивала рамки моих первых исследователь-

ских опытов, но все же работа над двумя темами по XIX веку увлекла меня, помогла овладеть большим печатным материалом и в известной мере подготовила мои последующие диссертационные исследования.

Задача всестороннего изучения источника была основной и на семинарии А. Н. Савина по истории Великой французской революции. Здесь я избрал тему «Комиссары Конвента при армиях» и разработал ее на основе многотомного документального собрания Олара[17]. По философии и методологии я избрал греческого историка Фукидида: методология и приемы исследования его «Истории Пелопоннесской войны», особенно глубокое, содержательное введение этой книги, казались мне (не без влияния Р. Ю. Виппера) наиболее близкими к новейшим историческим взглядам.

Проходя курс историко-филологического факультета, я продолжал отдавать много времени урокам. По-прежнему я предпочитал историю и литературу, но содержание моих педагогических занятий несколько изменилось: наряду с обычным студенческим репетиторством, я руководил юношескими кружками по изучению русских писателей — Тургенева, Льва Толстого, Островского; при подготовке отдельных учеников к экзаменам немало времени падало на анализ произведений Шекспира и Шиллера, на освещение общих мировоззренческих вопросов. Передача другим накопленных исторических и литературных знаний помогала лучшему усвоению университетских курсов по древнерусской литературе и французскому романтизму XIX в. В свою очередь, университетские занятия античным искусством на слепках художественного музея под руководством проф. В. К. Мальмберга дополняло посещение художественных выставок и театральных спектаклей. Таким образом, изучение исторического процесса в лекциях, книгах и семинариях протекало в разных направлениях и в постоянной связи теории с практикой. Это помогало более широкому и прочному усвоению знаний, но имело свою отрицательную сторону: чтобы выполнить всю намеченную программу, я должен был вести замкнутый, «академический» образ жизни, отрываясь от старых товарищей и следя за политической жизнью только издали, сквозь призму легальной прессы.

Такая изоляция имела для меня вредные последствия. Представители моего поколения воспитывались в период относительно мирной международной обстановки, под силь-

ным воздействием идей II Интернационала, с искренней верой в неминуемое торжество демократии и социализма. Пережитая русско-японская война рассматривалась как обособленное явление, как преступление царизма, без всякого понимания ее глубокой империалистической подосновы. Казалось, что впереди — прямой и ясный путь, намеченный ростом международного социалистического движения, и что угроза войны, обсуждаемая на международных пролетарских конгрессах, исчезнет, благодаря солидарности и силе социалистических партий. Действительность нанесла сокрушительный удар этой наивной точке зрения. Летом 1914 г., когда я был на кондиции в деревне, вдали от Москвы, телеграф принес оглушающее известие: об убийстве Жореса[18], о начале мировой войны, о голосовании германских социал-демократов за военные кредиты, о фактическом распаде II Интернационала. В результате мучительных размышлений я занял ошибочную позицию, далекую от правильного социально-экономического понимания событий: с одной стороны, я понимал, что война неизбежно вызовет у нас революцию; с другой стороны, я считал, что при сложившейся обстановке необходимо защищать свою родину от германской агрессии. Мне были неясны империалистические истоки войны; тактические споры в рядах революционных партий доходили до меня в заглушенной форме; ленинские статьи против социал-шовинизма, опубликованные в зарубежной прессе, остались мне тогда неизвестными.

Весной 1916 г. была объявлена мобилизация ополченцев II разряда, к которым я принадлежал как единственный сын в семье. Как раз в это время я усиленно готовился к государственным экзаменам и работал над темой «Русская крестьянская община в освещении историографии». Так как у меня уже имелся диплом юридического факультета, я не мог получить отсрочки до завершения экзаменов. С мая 1916 г. я был зачислен в военное училище, где прошел краткосрочный курс военных наук (впоследствии они оказали мне некоторую пользу при изучении военно-исторических вопросов). По окончании училища в чине прапорщика я был командирован в южный портово-заводской город Мариуполь и окунулся в непривычную и чуждую обстановку царской армии. Здесь после Февральской революции я был избран председателем полкового комитета и членом различных общественных организаций. В августе меня выбрали командующим военными отря-

дами против угрожавшего наступления корниловцев.

Я продолжал занимать революционно-оборонческую позицию и отстаивал ее в своих политических выступлениях. Но на моих глазах уже совершался процесс разложения старой армии и росло стремление рабочих и солдатских масс к реализации большевистских лозунгов. После Октябрьской революции в Мариуполе образовался руководящий политический орган в форме Объединенного комитета революционных организаций во главе с большевиками; я выполнял в нем функции заместителя председателя. Вскоре произошла украинизация местного запасного полка, я возвратился в Москву и после заключения военного перемирия был демобилизован по общему постановлению Советского правительства.

Закончив прерванные государственные экзамены, весной 1918 г. я принял предложение проф. М. М. Богословского остаться при Московском университете для подготовки к званию профессора. С этого момента начался новый этап в моей жизни и в процессе моего формирования как историка.

КОММЕНТАРИИ

При публикации без оговорок исправлены явные описки и опечатки. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами; исключение составляют тексты воспоминаний и документов XVIII в., что и оговорено в соответствующих случаях. Слова и заголовки, дополняющие текст, заключены в угловые и квадратные скобки.

Все цитаты из сочинений Пушкина, Герцена, Белинского, Добролюбова и Чернышевского приводятся во вступительной статье и комментариях по их полным собраниям сочинений:

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений (Академия наук СССР). Т. I—XVI, 1937—1949; т. XVII (справочный), 1959; т. II, III, VIII и IX — каждый в двух книгах — 1, 2; при отсылках в тексте вступительной статьи и комментариях даются том (римская цифра) и страница (арабская);

Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953—1959. Т. I—XIII; том (римская цифра), страница (арабская);

Герцен А. И. Полн. собр соч. М., 1954—1965. Т. I—XXX; том (римская цифра), страница (арабская);

Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. М.; Л., 1961—1964. Т. 1—9 (том и страница — арабская цифра).

Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1939—1953. Т. I—XVI; том (римская цифра), страница (арабская).

Во всех остальных случаях библиографическое описание дано в тексте комментариев.

Впервые сделан перевод иноязычных текстов в ряде публикаций.

К «Комментариям» приложен «Указатель имен», содержащий краткие биографические сведения только о лицах, упоминаемых в тексте воспоминаний; фамилии текста вступительной статьи не учитываются. Имена комментариев и библиографических сносок выделены курсивом.

ПИСЬМО М. В. ЛОМОНОСОВА И. И. ШУВАЛОВУ
(1754 г. ИЮНЬ — ИЮЛЬ)

Печатается по изд.: Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1957. Т. 10. С. 508—514.

[1] Речь идет о студентах, находящихся на содержании государства.

[2] В указе об учреждении университета, зафиксировавшем данную формулировку, имелось в виду изучение минералов, трав и животных.

1755, ГЕНВАРЯ 24.
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И ДВУХ ГИМНАЗИЙ.
С ПРИЛОЖЕНИЕМ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОГО ПРОЭКТА ПО СЕМУ ПРЕДМЕТУ

Печатается с небольшими сокращениями по изд.: Полное собрание законов Российской империи. Спб., 1830. Т. 14. № 10346.

[1] Утвердили, решили.

[2] Каникулы.

ИЗ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ».
ИЗ МОСКВЫ ОТ 1 МАИЯ.

Описание инавгурации при начинании гимназии Московского императорского университета сего 1755 года, апреля 26 дня

Печатается по тексту газ.: «Санкт-Петербургские ведомости». 1755. 16 мая.

[1] Церковь Казанской богородицы, построенная в 1626 г. Д. М. Пожарским, находилась рядом с открывшимся университетом на углу нынешней ул. 25 Октября и Красной площади; снесена в 1928 г.

[2] Верхнего, последнего.

[3] Мифологическое место обитания Аполлона и муз — покровительниц наук и искусства.

[4] Богиня неба, мудрости, покровительница наук.

[5] Имеется в виду И. И. Шувалов.

[6] Литавры.

ТИМКОВСКИЙ И. Ф.

ЗАПИСКИ

Печатается с сокращениями по изд.: Русский архив. 1874. Кн. 1. Вып. 6. Стб. 1421—1453.

Автор — ТИМКОВСКИЙ Илья Федорович (1772/1773—1853), в 1789—1797 гг. студент Московского университета, служил в министерстве юстиции, затем профессор Харьковского университета, впоследствии директор Новгород-Северской гимназии, писатель.

[1] Стихотворные размеры, употребляемые Горацием.

[2] *«Киропедия»* — произведение, в котором Ксенофонт рисует образ

«доброго и счастливого царя», идеального правителя и идеального государства.

[3] См. Плавт Тит Макций.

[4] *Пандекты* — сборники выписок из римского права; пандектное право оказало большое влияние на буржуазную теорию права.

[5] В 1801 г. Тимковский был определен секретарем сената. Здесь им было составлено «Систематическое расположение законов российских», за что в августе 1802 г. он был награжден бриллиантовым перстнем, а само сочинение было передано в комиссию сочинения законов.

[6] В примечании издателя «Записок» П. И. Бартенева сказано: «...т. е. из рода князей Друцких, во втором браке за князем Н. Ю. Трубецким».

[7] Ошибка: на Большой Дмитровке. (Прим. П. И. Бартенева.)

[8] Данное свидетельство представляет несомненный интерес, ибо отражает ту борьбу, которая велась вокруг создания университета. Ломоносов добивался для нового университета свободы преподавания наук, которая была несовместима с крепостническими порядками в России в XVIII в. Он не сумел добиться свободы поступления в университет всех сословий, но сумел отстоять право приема недворянских сословий.

[9] Первое здание Московского университета располагалось на том месте, где сейчас стоит Государственный Исторический музей. Воскресенские (или Иверские) двухшатровые ворота с двумя проездными арками и часовней Иверской богоматери были парадным въездом на Красную площадь. Они перекрывали нынешний Исторический проезд, что между зданиями Центрального музея В. И. Ленина и Исторического.

ЛУБЯНОВСКИЙ Ф. П.
ВОСПОМИНАНИЯ

Печатается с сокращениями по изд.: Лубяновский Ф. П. Воспоминания. М., 1872. С. 24—40.

Автор — ЛУБЯНОВСКИЙ Федор Петрович (1777—1869), студент Московского университета, затем служил подпрапорщиком в Преображенском полку, в 1799 г. в отставке, впоследствии — пензенский (1819—1829 гг.) и подольский (1830—1833 гг.) гражданский губернатор.

[1] Имеется в виду Х. А. Чеботарев.

[2] Верховный суд в древних Афинах.

[3] «Записки» И. В. Лопухина, известного мистика, масона, были изданы впервые в 1860 г. в «Чтениях имп. Московского Общества истории и древностей российских» и А. И. Герценом в Лондоне и затем в «Русском архиве» (1884).

[4] Имеются в виду кавалеры высших орденов Российской импе-

рии — Андрея Первозванного и Александра Невского, вручавшихся лишь высокопоставленным придворным чиновникам и генералам.

[5] В работах «Критика чистого разума» (1781) и «Критика практического разума» (1788) Э. Кант проводил идею непознаваемости объективного мира (агностицизм).

[6] Ошибка: А. А. Аракчеев был графом, а не бароном.

[7] Имеются в виду три Пунические войны между Карфагеном и Древним Римом III—II вв до н. э.

[8] Полное собрание сочинений законов Российской империи издано в 1830 г., а Свод законов Российской империи — в 1832 г.

ФОНВИЗИН Д. И.

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ В ДЕЛАХ МОИХ И ПОМЫШЛЕНИЯХ

Печатается по изд.: Фонвизин Д. И. Собр. соч. М.; Л., 1959. Т. 2.

Автор — ФОНВИЗИН Денис Иванович (1744—1792), драматург, писатель, переводчик.

[1] Речь идет об Л. Голберге (Гольберге), датском писателе и историке.

[2] Имеется в виду И. И. Мелиссино.

[3] По официальной традиции XVIII в. основателем Московского университета считался И. И. Шувалов.

[4] Имеется в виду брат писателя, П. И. Фонвизин, впоследствии директор Московского университета.

[5] Речь идет о русском переводе одноименной пьесы Л. Голберга.

[6] Имеется в виду перевод Д. И. Фонвизина философско-политического романа французского писателя Ж. Террассона «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетского, из таинственных свидетельств древнего Египта взятая» (М., 1762—1768. Ч. 1—4).

[7] Братья Фонвизины в 1754 г. были записаны в лейб-гвардии Семеновский полк и числились в нем сверх комплекта как находящиеся в отпуске для учебы. Образование, полученное в университетской гимназии, давало право на присвоение унтер-офицерского звания в гвардии, а при выпуске из нее в армейские полки — на офицерское звание. Д. И. Фонвизин предпочел перейти на дипломатическую службу.

[8] Речь идет об Александре Михайловиче Голицыне.

[9] Речь идет о Михаиле Илларионовиче Воронцове.

ЖИХАРЕВ С. П.

ДНЕВНИК СТУДЕНТА

Печатается по изд.: Жихарев С. П. Записки современника: (Воспоминания старого театрала)/Ред., статьи и коммент. Б. М. Эйхенбаума. М.; Л., 1955. (Серия «Литературные памятники»).

Автор — ЖИХАРЕВ Сергей Петрович (1788—1860), обер-прокурор св. синода, председатель Театрально-литературного комитета.

[1] Письма С. П. Жихарева адресованы его родственнику, князю Степану Степановичу Барятинскому (ум. 1830). Намереваясь сообщать другу все московские новости, Жихарев тем самым проводит аналогию с французским писателем Ф.-М. Гриммом, сообщавшим в течение многих лет (начиная с 1753 г.) новости парижской жизни коронованным особам (в том числе Екатерине II), подписавшимся на его письма-хронику.

[2] И. А. Остерман, будучи при Екатерине II управляющим Коллегией иностранных дел со званием вице-канцлера, находясь в отставке, с 1797 г., жил в Москве.

[3] Подразумевается Архив Коллегии иностранных дел, находившийся в Москве.

[4] Имеется в виду Коллегия иностранных дел, образованная Петром I в 1720 г. После учреждения министерств (1802 г.) коллегия продолжала существовать под руководством министра иностранных дел.

[5] И. П. Архаров в царствование императора Павла I был московским военным губернатором и командиром гарнизона солдат, которых и называли «архаровцами». Впоследствии это прозвище стало нарицательным для обозначения солдафонства и бесчинства. Удаленный в 1797 г., вместе с братом, в Тамбовскую губернию, в свое имение, он в 1800 г. вернулся в Москву и жил в отставке.

[6] М. Ф. Каменский, назначенный в 1806 г. командующим армией, 13 декабря 1807 г., накануне сражения, ссылаясь на болезнь, покинул армию и уехал в свое поместье, где и был убит в 1809 г. крестьянами за жестокое с ними обращение.

[7] Французский воздухоплаватель А.-Ж. Гарнерен в 1800 и 1805 гг. показывал свои опыты в Москве и Петербурге. Об этом см. статью в «Журнале различных предметов словесности» (1805, Кн. 3. С. 28—31), автор которой относится к деятельности Гарнерена крайне отрицательно.

[8] З. А. Горюшкин с 1786 г. преподавал в Московском университете практическое законоведение.

[9] Ф. Морелли, став с 1782 г. балетмейстером в Петровском театре Маддокса, впоследствии был учителем танцев в Московском университете.

[10] Стихотворение А. Ф. Мерзлякова «Благость» было опубликовано в журнале «Вестник Европы» (1811, № 17. С. 12).

[11] Стихотворение В. А. Жуковского «К поэзии» (1805), процитировано не вполне точно.

[12] Начало повести Н. М. Карамзина «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» (1803).

Первая строка отрывка поэмы В. А. Жуковского «Вадим Новгородский» (1803).

[14] Святой Лаврентий — римский архидиакон, сожженный на железной решетке в 258 г. по приказу императора Валериана.

[15] В это время Россия участвовала в войнах против Франции (1805—1807 гг.), Персии (1804—1813 гг.) и Турции (1806—1812 гг.).

[16] Ошибка: X. А. Чеботарев скончался в Москве в 1815 г.; в 1805 г. он ушел с поста ректора Московского университета.

ТИМКОВСКИЙ Е. Ф.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 1805—1810 гг. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается с сокращениями по изд.: Киевская старина, 1894, № 4.

Автор — ТИМКОВСКИЙ Егор Федорович (1790—1875), писатель, переводчик, путешественник.

[1] Слова Эсхина, ученика Сократа, присутствовавшего при его смерти.

[2] О братьях Тимковских — Василии Федоровиче (1781—1832), писателе, государственном деятеле; Иване Федоровиче (1778—1808), переводчике; Егоре Федоровиче (1790—1875); Илье Федоровиче (1773—1853), писателе, профессоре права; Романе Федоровиче (1785—1820) см.: Максимович М. А. Воспоминание о Тимковских/С предисл. Н. Шугурова//Киевская старина. 1898. Т. 63. № 11. С. 254—272.

[3] В 1820—1821 гг. Е. Ф. Тимковский сопровождал в Пекин духовную миссию. Результатом этой поездки явилось его 3-томное «Путешествие в Китай через Монголию в 1820 и 1821 гг.» Впоследствии — управляющий С.-Петербургским Главным архивом министерства иностранных дел и член совета этого же министерства.

СВЕРБЕЕВ Д. Н.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается с сокращениями по изд.: Свербеев Д. Н. Записки (1799—1826). В 2 т. М., 1899, Т. 1.

Автор — СВЕРБЕЕВ Дмитрий Николаевич (1799—1874), чиновник, общественный деятель, близкий к славянофилам.

[1] И. А. Гейм был автором многочисленных изданий русско-немецко-французских словарей конца XVIII — начала XIX в.

[2] В начале XIX в. Г. Р. Державин выступает с целым рядом драматических произведений («Добрыня», «Пожарский» и др.), явившихся, по выражению А. Ф. Мерзлякова,— «заблуждением поэтического таланта», «развалинами» Державина. Оценку Мерзлякова как теоретика и критика см.: Белоруссов И. М. Зачатки русской литературной критики. Спб., 1888. Вып. 2.

[3] М. Т. Каченовский неоднократно выступал против Н. М. Карам-

зина: в статье «К господам издателям "Украинского вестника"» (Вестник Европы. 1818. № 13. С. 39—51) он издевательски охарактеризовал «Записку о достопамятностях Москвы», а в статье «От киевского жителя к его другу» критически оценивал «Историю Государства Российского» (Вестник Европы. 1818. № 18. С. 122—127).

[4] Грубые нападки Каченовского на Карамзина вызвали появление сатирической отповеди П. А. Вяземского «Послание к М. Т. Каченовскому» (Сын отечества. 1821. № 2, с цензурными купюрами), которая была с восторгом принята А. С. Пушкиным. См.: Вяземский П. А. Стихотворения. 3-е изд. Л., 1986. С. 148—151 (Серия «Библиотека поэта. Большая серия»).

[5] *Зоил* — древнегреческий философ IV в. до н. э., имя которого стало нарицательным для обозначения недоброжелательного, придирчивого критика.

[6] Дмитрий Тупталло, епископ ростовский, начал работу над Четьи-Минеями (житиями святых) в 1684 г. и работал около 20 лет.

[7] *Педели* (нем. Pedell) — 1) служитель при суде в средние века; 2) младший служитель при высших учебных заведениях в России, следивший за поведением студентов.

ПИРОГОВ Н. И.

ИЗ ЖИЗНИ МОСКОВСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 20-Х ГОДОВ XIX ВЕКА

Печатается с сокращениями по изд.: Пирогов Н. И. Вопросы жизни: Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что может быть когда-нибудь прочтет и кто другой. 5 ноября 1879//Соч. М., 1962. Т. 8.

Автор — ПИРОГОВ Николай Иванович (1810—1881), выдающийся хирург, анатом, патолог, педагог, общественный деятель, член-корреспондент Академии наук.

[1] Две строфы из оды «Вольность» А. С. Пушкина приведены неточно, следует:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле (II, ч. 1, 47)

[2] Имеются в виду ходившие в списках скабрезные стихи И. С. Баркова.

[3] Масон (франц. franc-maçons — вольные каменщики) — член тайного религиозно-философского общества, возникшего в XVIII в. в Англии, а затем распространившего сеть своих лож и в остальные страны

Европы. Франкмасоны — антиклерикальная, но враждебная рабочему движению организация.

[4] Речь идет о Мудрове М. Я.

[5] Великие Четьи-Минеи — собрание книг Священного писания; составлены в 30—40-е гг. XVI в. под руководством митрополита Макария с целью централизации культа русских святых, укрепления церковной идеологии.

[6] Речь идет о переименованном переводчиком Лабзиным (по имени одного из героев) романе немецкого писателя-мистика И. Г. Юнга-Штиллинга «Тоска по отчизне». Этот «мрачный, серый» «Угроз» — аллегорическое изображение совести, наводящей ужас, но ведущей странствующих в их обетованную отчизну.

[7] И. А. Гейм был ректором Московского университета в 1808—1818 гг.

[8] Имеется в виду Судебник Ивана IV 1550 г.

[9] Речь идет о Соборном Уложении 1649 г. царя Алексея Михайловича.

[10] Публикация свода законов была осуществлена в 1832 г.

МУРЗАКЕВИЧ Н. Н.
В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, 1825

Печатается с сокращениями по изд.: Записки Н. Н. Мурзакевича. 1806—1883//Русская старина. 1887. Т. 53, № 2.

Автор — МУРЗАКЕВИЧ Николай Никифорович (1806—1883), историк и археолог, профессор Ришельевского лицея в Одессе, вице-председатель Новороссийского общества истории и древностей.

[1] «Нестор» был написан А.- Л. Шлецером в 1802—1809 гг. в Геттингене и был посвящен автором Александру I.

[2] Имеется в виду газета «Русский инвалид», выходившая в Петербурге в 1813—1917 гг.

[3] Ошибка: речь идет о «Дамском журнале», издававшемся князем П. И. Шаликовым в Москве в 1823—1833 гг.; журнал «Дамский вестник» выходил в Петербурге в июле 1860 г.

[4] В России в XVIII в. фразой «слово и дело» подразумевались покушения или только «умышления» на царское «здоровье и честь», а также «замыслы» измены и бунта. «Сказывать слово и дело» — означало доносить об упомянутых преступлениях.

[5] В 1826 г. при занятии кафедры философии И. И. Давыдов прочел вступительную лекцию «О возможности философии, как науки по Шеллингу» (М., 1826), после которой он был переведен на физико-математический факультет.

[6] Персонаж комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

[7] А. С. Шишков в 1824—1828 гг. был министром народного просвещения и главноуправляющим делами иностранных исповеданий.

[8] Об обстоятельствах допроса Николаем I Полежаева см. прибавление А. И. Герцена «А. Полежаев» к первой части «Былого и дум».

[9] Речь идет о сборнике сочинений разных авторов, в числе которых был и А. А. Писарев, изданном в 1817 г.

[10] Имеется в виду Л. А. Цветаев.

[11] Имеется в виду Н. А. Мурзакевич.

[12] М. А. Максимович в 40-х гг., будучи членом киевской «Временной комиссии для разбора древних актов», редактировал одновременно и материалы для ее издания («Памятники»).

[13] Московский университет был единственным университетом в Европе в XVIII в., где не преподавалось богословие и отсутствовал соответствующий факультет. Через шестьдесят с лишним лет после основания университета в нем была учреждена кафедра «Богословия и христианского учения» и посещение лекций стало обязательным для студентов всех факультетов.

[14] В 1397 г. в шведском г. Кальмаре была заключена уния об объединении Дании, Норвегии и Швеции под верховной властью датских королей.

АРГИЛЛАНДЕР Н. А.

ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ

(Из моей студенческой с ним жизни)

Печатается по изд.: Русская старина. 1880. Т. 28, № 5. С. 140—143.

Автор — АРГИЛЛАНДЕР Николай Андреевич (1812 — ?), в 1828—1832 гг. студент словесного отделения Московского университета, товарищ В. Г. Белинского.

[1] Ошибка: Белинский поступил в университет в сентябре 1829 г., а 17 октября того же года был зачислен на казенный кошт.

[2] Автор дает неверные инициалы двум из названных студентов: Нечая звали Иван Маркович, а Матюшенко — Павлом Семеновичем.

[3] Речь идет о «Литературном обществе 11 нумера». Об этом см. подробнее в воспоминаниях П. И. Прозорова в наст. изд.

[4] Можно предполагать, что таковым было заглавие первоначального варианта драмы «Дмитрий Калинин», написанной в 1830 г. По сохранившимся сведениям о первой редакции мы знаем, что герой ее назывался Владимиром. Об этом см.: Пыпин А. Н. Белинский, его жизнь и переписка. Спб., 1908. С. 46.

[5] 23 января 1831 г. драма «Дмитрий Калинин» была сдана Белинским в Московский цензурный комитет, где ее цензуровал заслуженный профессор, статский советник и кавалер Л. А. Цветаев. В присутствии всех членов комитета цензор положительно охарактеризовал драматический талант автора и в то же время отметил, что в пьесе «множество противного религии, нравственности и Российским законам», а посему драму запретил. (Литературное наследство. Т. 56. С. 370).

Об этом см. письмо Белинского к родным от 17 февраля 1831 г. (Белинский В. Г. XI, 50).

[6] Действительной причиной исключения Белинского из университета послужило написание драмы «Дмитрий Калинин». Поводом — его болезнь (почти вся зима и весна 1832 г.), а отсюда и непосещение лекций и несвоевременная сдача экзаменов. Формулировка приказа об отчислении «по неспособности» поразила всех, знавших Белинского. Один из них, Г. Головачев, подписавшийся инициалами Г. Г., вспоминал позднее: «История Белинского сильно взволновала студентов, и долго толковали о ней товарищи; на втором курсе мы с изумлением услыхали, что он исключен за неспособность; конечно, никто из нас не подозревал в нем знаменитого критика, каким он явился впоследствии, но все же мы почитали его одним из самых умных и даровитых студентов и в исключении его видели вопиющую несправедливость (Г. Г. Университетские воспоминания//День. 1863. № 42. 19 октября. С. 7).

[7] Знакомство Белинского с Н. И. Надеждиным состоялось весною 1833 г. Вначале Белинский делал для «Молвы» переводы с французского. С 1834 г. он начал помещать без подписи свои библиографические статьи, а с сентября 1834 г. началось печатание знаменитых «Литературных мечтаний». С июня по декабрь 1835 г., во время заграничной поездки Надеждина, Белинский замещал его и редактировал «Телескоп» и «Молву». В 1836 г. «Телескоп» был закрыт в связи с напечатанием в нем «Философического письма» П. Я. Чаадаева. Белинский редактировал в 1838—1939 гг. «Московский наблюдатель», а в октябре 1839 г. переехал навсегда в Петербург.

[8] По-видимому, Н. А. Аргилландер имеет в виду своего сокурсника В. С. Межевича, к которому в это время Белинский относился резко отрицательно. В. С. Межевич, сотрудничавший одновременно с Белинским, после окончания университета, в «Телескопе» и «Молве», впоследствии резко изменил своим взглядам и даже редактировал «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции» (с 1839 г.) и участвовал в «Северной пчеле». Для А. А. Краевского это обстоятельство и послужило основанием взять в журнал «Отечественные записки» Белинского, а не Межевича, вопреки своим первоначальным планам.

ПРОЗОРОВ П. И.

БЕЛИНСКИЙ И МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЕГО ВРЕМЯ

(Из студенческих воспоминаний)

Печатается по изд.: Библиотека для чтения, 1859, Т. 157. № 9. С. 1—14 (пагинация 2-я) без первого абзаца, где автор говорит о необходимости собирать сведения о Белинском.

Автор — ПРОЗОРОВ Павел Иванович (1811 — после 1859), в 1829—1834 гг. учился в Московском университете сначала на медицин-

ском факультете, а с 1830 г. — на словесном отделении, где и сблизился с Белинским.

[1] Речь идет о П. С. Щепкине, профессоре математики, крайне недоброжелательном и грубом человеке, впоследствии способствовал исключению Белинского из университета.

[2] Перефразированные слова Репетилова из «Горе от ума» (д. IV, явл. 4).

[3] О скверном питании казеннокоштных студентов, об их унизительном положении см. письмо В. Г. Белинского от 17 февраля 1831 г. (Белинский В. Г., XI, 51). Коллективный протест состоялся 9 марта 1831 г. Результаты были неожиданные. Несмотря на то, что попечитель Московского учебного округа граф С. М. Голицын предупредил, что за подобные действия студентов в дальнейшем будут исключать из университета, он был вынужден на данном этапе взять «в уважение неотступные просьбы студентов» и сменить эконома (там же, с. 56).

[4] Ректором в это время был И. А. Двигубский.

[5] Деканом медицинского факультета был в это время В. М. Котельницкий.

[6] Речь идет о С. П. Шевыреве, вернувшемся в 1832 г. из Италии и с 1834 г. начавшем преподавать в университете. Значение его деятельности с годами действительно неуклонно падало.

[7] 22 апреля 1830 г. Н. И. Надеждин защитил диссертацию на тему: «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической». В этом же году она была опубликована в Москве на латинском языке («Die origine, natura et fatis Poëseos guac Romantica audit»). Полный текст диссертации см.: Надеждин Н. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 124—253.

Ординарным профессором теории изящных искусств и археологии Надеждин был назначен 26 декабря 1831 г., как об этом сообщает сам Надеждин в своей автобиографии. См.: Русский вестник, 1856. Т. 2, № 3. Март. С. 62.

[8] См. рецензию Н. И. Надеждина на гл. VII «Евгения Онегина» (Вестник Европы. 1830. № 7), в которой он писал, что Пушкину следует *«разбайрониться* добровольно и добросовестно! Сжечь Годунова» — и докончить «Онегина».

[9] А. Ф. Мерзляков умер 26 июля 1830 г.

[10] Отрывки из «Горе от ума» А. С. Грибоедова были напечатаны впервые в альманахе «Русская талия» (1825 г.), полностью — впервые лишь в 1831 г., но до этого комедия чрезвычайно широко была известна по рукописным спискам.

[11] П. В. Победоносцев, профессор русской словесности, строил свой курс по архаическим учебникам риторики, одним из авторов подобного учебника и был Луи Бурдалу (Бургия) — «Burgii elementa oratoria...» (М., 1776).

[12] Речь идет о И. М. Снегиреве, преподававшем латинскую стилистику. В 30-е г. он приобрел известность своими работами по фольклору («Русские простонародные праздники и суеверные обряды» и др.).

[13] Подобные примеры, характеризующие определенную часть московской профессуры, также объясняют, почему Белинский был исключен из университета за «ограниченностью способностей». В. Ф. Одоевский писал: «У нас Белинскому учиться было *негде*: рутинизм наших университетов не мог удовлетворить его логического в высшей степени ума; пошлость большей части наших профессоров порождала в нем лишь презрение. Нелепые преследования, неизвестно за что, развили в нем желчь, которая примешалась в его своеобразное философское развитие и доводила его бесстрашную силлогистику до самых крайних пределов (Из бумаг князя В. Ф. Одоевского//Русский архив. 1874. Кн. 1. Тетр 2. С. 341).

[14] «Литературное общество 11 номера» образовалось в конце 1830 г. В письме к Ивановым от 13 января 1831 г. Белинский об этом пишет следующее: «В продолжение холеры... нас заперли, и я только посредством партикулярного платья мог уходить из университета под опасением строжайшего наказания, если бы был уличен. Для рассеяния скуки я и еще человек с пять затворников составили маленькое литературное общество. Еженедельно было у нас собрание, в котором каждый из членов читал свое сочинение. Это общество, кончившееся седьмым заседанием, принесло мне ту пользу, что заставило меня окончить мою трагедию («Дмитрий Калинин»), которая без этого едва ли когда-нибудь была написана» (Белинский В. Г., XI, 44).

[15] «Всеобщее начертание теории искусств» К.- Ф. Бахмана, в переводе М. Б. Чистякова, было издано в Москве в 1832 г. На второй странице книги было напечатано: «Посвящается студентам Московского университета».

[16] В 1838 г. Белинский издал драму в пяти действиях «Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь», которая была поставлена на сцене Малого театра в бенефис М. С. Щепкина 27 января 1839 г. (первая редакция) и напечатана в № 3 «Московского наблюдателя» (вторая редакция) за этот же год. Кроме этого, Белинский выпустил книгу «Основания русской грамматики» (1837).

[17] Мемуаристом даются ссылки на изд.: Сочинения В. Белинского. М., 1859—1862. В данном случае П. И. Прозоров имеет в виду известные слова критика о театре в статье «Литературные мечтания» (Белинский В. Г., I, 78—80).

[18] П. И. Прозоров неточно приводит цитату из статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя» (Белинский В. Г., 1, 275).

[19] Данное свидетельство расходится с мнением М. Б. Чистякова. Возражая П. И. Прозорову, он писал по этому поводу А. Н. Пыпину следующее: «Хотя вопрос о трагедии очень волновал Белинского и он

с тревогой начинал ее чтение, но в этом случае он не был так нетерпелив и мирно выслушал возражения». См.: Пыпин А. Н. Белинский, его жизнь и переписка. С. 44.

[20] Речь идет, по-видимому, о Павле Яковлевиче Попове. Именно с ним зимой 1830—1831 гг., т. е. в пору написания драмы «Дмитрий Калинин», Белинский наиболее часто встречался. (См.: Белинский В. Г., XI, 45).

[21] Здесь автор допустил неточность: Надеждин начал читать лекции в 1832/33 учебном году, в то время как Белинский уже с сентября 1832 г. был исключен из университета.

[22] В данном случае неточно приведен начальный стих оды Горация.

[23] См.: Надеждин Н. И. О современном направлении изящных искусств//Ученые записки имп. Московского университета, 1833. Ч. 1. № 1—3. Эта речь была произнесена Надеждиным на торжественном собрании университета 6 июля 1833 г.

[24] В «Библиотеке для чтения» ошибочно напечатано: «тришурши и воплощении критны».

[25] Курс по теории и истории изящных искусств, начатый Надеждиным 18 января 1832 г., состоял из 20 лекций: «Памятники искусства Индии», «Искусство в Египте», «Искусство в Персии», «О поэзии в Индии» и т. д. Среди студентов, ведших записи лекций Надеждина, встречаются имена Н. П. Огарева, Н. В. Станкевича, К. С. Аксакова, П. И. Прозорова, Н. И. Аргиллантера и многих других (см.: Насонкина Л. И. Московский университет после восстания декабристов. С. 81).

[26] Всеобщую историю на словесном отделении до М. П. Погодина читал Ю. П. Ульрихс, ушедший в отставку в начале 1833 г.

[27] Речь идет о величайших памятниках древнеиндийской поэзии: героическом эпосе «Махабхарата», получившем литературное оформление в X—VIII вв. до н. э.; «Рамаяна», основное ядро которой было создано в IV в. до н. э. (свою нынешнюю форму поэма получила во II—IV вв. н. э.); «Шакунтала» (или «Сакунтала»)—классическая драма V в. н. э., сюжет которой заимствован из «Махабхарата». Автор — Калидаса, крупнейший древнеиндийский поэт IV—V вв. н. э.

[28] Белинский был исключен позднее (сентябрь 1832 г.) и, как известно, совсем по другим мотивам.

[29] Белинский действительно вел переговоры с Г. И. Карташевским весною 1833 г. о предоставлении ему места в уездном училище. Но, получив согласие и передав все документы, позже он их затребовал обратно (См.: Белинский В. Г., XI, 94, 105, 106, 110).

[30] Белинским была переведена не «Монфермельская молочница», а другой роман Поль де Кока — «Магдалина» («Madeleine»).

[31] В 1834—1836 гг., во время работы Белинского в «Молве» и «Телескопе», он некоторое время жил на квартире Надеждина (см.: Га-

лахов А. Л. Сороковые годы//Исторический вестник. 1892. Т. 47. С. 135—136). «Белинский,— по словам Чернышевского,— явился на литературное поприще сотрудником Надеждина, как его ученик и продолжатель. Начал он с того самого, на чем остановился Надеждин,— с чрезвычайно резкого и горького отрицания всей нашей литературы...» (Чернышевский Н. Г., III, 183).

[32] Автор имеет в виду статьи Н. И. Надеждина «Необходимость, значение и сила эстетического образования» (Телескоп. 1831. № 10) и «Вкус (в эстетическом смысле)». (Энциклопедический лексикон. Спб., 1837. Т. 10. С. 544—548) и др.

[33] Отрывок из романа О. де Бальзака «История тринадцати» под заглавием «Другой из тринадцати» был опубликован в журнале «Телескоп» (1834. № 45—50).

ГЕРЦЕН А. И.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(Глава из романа «Былое и думы»)

Печатается с сокращениями по изд.: Герцен А. И. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. М., 1956. Т. VIII.

Автор — ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812—1870), великий русский писатель, мыслитель, революционный деятель.

[1] Поэт А. И. Полежаев в июле 1826 г. был отдан в пехотный полк унтер-офицером за поэму «Сашка» (написана в 1825 г., впервые опубликована лишь в 1861 г.), в которой содержится обличение самодержавного строя. В 1827 г. он за побег из полка был разжалован в солдаты и умер в военном госпитале от чахотки, замученный солдатчиной и жестоким телесным наказанием.

[2] Членам кружка Сунгурова — Костенецкому, Антоновичу, Кащевскому, Кольрейфу и Кноблоху инкриминировалось, что у последних трех были найдены «писанные ими бумаги с дерзкими выражениями против особы К. В. короля Прусского» (см.: Эйхенбаум Б. Тайное общество Сунгурова//Заветы. 1913. № 5. С. 58).

[3] В приговоре по делу братьев Критских говорилось: «Лушников, Петр Критский и Попов произносили к портретам государя императора дерзкие и оскорбительные слова; притом Лушников был ожесточен до такой степени, что дерзнул на портрете блаженныя памяти государя императора выколоть глаза». (См.: Лемке М. К. Тайное общество братьев Критских//Былое. 1906. № 6. С. 50). Известно также и то, что в ноябре 1826 г. был посажен в дом умалишенных юнкер Зубов за то, что «он с другими товарищами рубил бюст государя императора, приговаривая словами: «Так рубить будем тиранов отечества, всех царей русских» (Красный архив. 1926 г. № 16. С. 193). Возможно, что Герцен смешивает в данном случае два факта.

[4] Речь идет об указах 1844 г., вводивших дальнейшие ограничения при выдаче паспортов лицам, отъезжающим за границу.

[5] На медицинское отделение, где нужно было знать латинский язык, охотнее поступали дети иностранцев. В то же время, ввиду острой нехватки врачей, в особенности в армии, по распоряжению правительства в университет зачислялись целыми партиями воспитанники семинарий казеннокоштными студентами медицинского факультета.

[6] Речь идет об И. Ф. Волкове.

[7] На русский язык были переведены две книги французского математика Л.- Б. Франкера: «Курс чистой математики» (М., 1819) и «Дифференциальное исчисление» (М., 1824).

[8] Речь идет об И. А. Яковлеве.

[9] В июле 1834 г. на следствии Герцен показал: «Лет пять тому назад я слышал и получил стихи Пушкина «Ода на свободу», «Кинжал», Полежаева — не помню, под каким заглавием — от г. Паца, кандидата Московского Императорского университета... (Герцен, XXI, 416—417).

[10] «Маловская» история произошла 16 марта 1831 г.

[11] Отрицательное отношение студентов к Малову объяснялось не только его тупостью и грубостью, но прежде всего тем, что он, будучи апологетом самодержавия, защищал в своих лекциях крепостнические и монархические порядки.

[12] А. П. Оболенский был попечителем Московского учебного округа в 1817—1825 гг.

[13] Еще двумя привлеченными были П. П. Каменский и сам Герцен.

[14] Давая показания в 1834 г., Герцен удостоверил, что «был под арестом трое суток в 1831 году по известной истории профессора Малова» (Герцен, XXI, 410).

[15] Прием Гумбольдта в московском Обществе испытателей природы состоялся 26 октября 1829 г.

[16] Имеется в виду Фридрих-Вильгельм III.

[17] Указом от 1 ноября 1829 г. А. Гумбольдт был награжден орденом Св. Анны первой степени.

[18] Лица, пожалованные орденом, делали единовременный денежный взнос в орденский капитул.

[19] Резиденция прусских королей в Потсдаме, основанная Фридрихом II.

[20] В отчете «Московских ведомостей» сообщалось, что в своем выступлении 26 октября А. Гумбольдт говорил о магнитных наблюдениях, сделанных им во время путешествия по Уралу.

[21] Имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина «На выздоровление Лукулла», представляющее собой сатиру на С. С. Уварова.

[22] В момент описываемого посещения Москвы осенью 1832 г. Уваров был товарищем министра народного просвещения.

[23] См.: Éloge funèbre de Moreau. St-P., 1813; L'Empereur Alexandre et Buonaparte. St-P., 1814 и др,

[24] Эта переписка опубликована в статье:

G. Schmid. Goethe und Uwarow und ihr Briefwechsel./ Russische revue. Bd. XXVIII, 2 Heft. St.— P., 1888, S. 131—174.

[25] Неточная цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Бородинская годовщина».

[26] Имеется в виду П. С. Щепкин.

[27] П. С. Щепкин читал в это время курсы высшей алгебры дифференциального и интегрального исчисления.

[28] 18 сентября 1830 г. Филарет произнес проповедь «Слово по освящении храма и по принесении господу богу молитв о предохранении от губительной болезни».

[29] По-видимому, речь идет о проповеди, произнесенной Филаретом 5 октября 1830 г., когда он, обращаясь к царю, говорил: «Он не причиною нашего бедствия, как некогда был первою причиною бедствия Иерусалима и Израиля Давид».

[30] Фицхелауров был воспитанником новочеркасской гимназии; в 1827—1831 гг. учился на медицинском факультете, по окончании которого был оставлен еще на год для изучения ветеринарной науки.

[31] Имеется в виду Екатерина II.

[32] Неточная цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. VII, строфа XXXVII).

[32а] Газета, издававшаяся в Париже в 1789—1944 гг.

[33] После июльской революции Карл X бежал в Голируд — замок в Эдинбурге (Англия).

[34] Речь идет о революции 1830 г. в Бельгии.

[35] Имеется в виду Луи-Филипп Орлеанский, любивший щеголять титулом «короля-гражданина».

[36] Г. Гейне жил на острове Гельголанд, где его и застало известие об июльской революции.

[37] Герцен приводит строку из второй части книги Гейне «Людвиг Берне».

[38] Не совсем точная цитата из стихотворения Гете «Надежда» («Hoffnung»).

[39] Имеются в виду события польского восстания 1830—1831 гг.

[40] В 1831 г. был арестован Г. С. Шанявский.

[41] Ю. П. Кольрейф и П. А. Антонович были арестованы по делу Сунгурова 20 июня 1831 г.; Я. И. Костенецкий был арестован позже.

[42] Названные студенты были сосланы рядовыми в отдаленные военные гарнизоны.

[43] О судьбе членов кружка Критских см. в книге М. К. Лемке «Тайное общество братьев Критских» (Былое, 1906. № 4, С, 41—57), а

также исследование советского историка Л. И. Насонкиной «Московский университет после восстания декабристов» (М., 1972).

[44] Оболенский состоял под надзором полиции с 1832 г. За связь с сунгуровцами Огарев и Сатин с лета 1833 г. находились под секретным полицейским надзором. В декабре того же года полицейские заметили Огарева с Соколовским, распевающих «Марсельезу» у подъезда Малого театра.

[45] К Лесовскому были вызваны А. Топорнин, И. Оболенский, Н. Огарев, И. Кольрейф, Н. Станкевич, Я. Неверов, Н. Сатин, Н. Кетчер и Я. Почека за переписку с Костенецким. Имя Герцена в письме не было упомянуто.

[46] Известие о награждении Георгиевским крестом за храбрость, проявленную в боях на Кавказе, уже не застало А. А. Бестужева-Марлинского в живых.

[47] Речь идет о статье «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника» (1833).

[48] Выпускные экзамены проходили 22 июня 1833 г. Для получения искомой степени необходимо было набрать по восьми дисциплинам минимум 28 баллов (при высшей оценке — «4» и низшей — «0»). Герцен набрал 29 баллов: по ботанике, чистой математике, сельскому хозяйству и минералогии, зоологии, химии — «4», по физике, прикладной математике и астрономии — «3».

[49] Речь идет о последователях учения французского утопического социализма А. Сен-Симона и Ш. Фурье.

[50] Речь идет о Пассеке В. В.

[51] В песнях Беранже 20-х г. в замаскированной шутливо-иронической форме в виде тостов за дружеским столом высказывались революционные, республиканские симпатии.

[52] Сен-симонистов судили в 1832 г. по ст. 291 уголовного кодекса (введен в 1811 г.), обвиняя в оскорблении общественной морали и нравов. Герцен имеет в виду лицемерный характер буржуазного уголовного кодекса, а также гражданского кодекса, изданного в 1804 г. и переименованного в 1807 г. в Кодекс Наполеона.

[53] Период июльской (орлеанской) монархии отличался крайней распущенностью нравов, что тем не менее не помешало властям обвинить сен-симонистов, пропагандирующих «новую религию» и равенство полов, в безнравственности и проповеди «общности жен».

[54] В период июльской монархии из зала суда удалялись распятия Христа, а иконы завешивались зеленым покрывалом.

[55] Журнал Н. А. Полевого «Московский телеграф» издавался в 1825—1834 гг. После целого ряда столкновений с цензурой он был запрещен в 1834 г. за разбор монархической драмы Н. В. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла» (№ 3).

[56] Одна из пьес, написанных Полевым после закрытия «Московского телеграфа».

ГОНЧАРОВ И. А.

ВОСПОМИНАНИЯ
В университете
Как нас учили пятьдесят лет назад

Печатается по изд.: Гончаров И. А. Собр. соч. М., 1954. Т. 7.

Автор — ГОНЧАРОВ Иван Александрович (1812—1891), выдающийся русский писатель.

[1] Неточная цитата из монолога Фамусова комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. 5). Следует: «На всех московских есть особый отпечаток».

[2] Эта оценка несколько субъективна. Уваров, отдавший в юности дань довольно-таки умеренному либерализму, впоследствии выступил автором откровенно реакционного курса — «официальной народности», став верным оплотом и проводником николаевской «охранительной» политики в области просвещения.

[3] Ошибка: А. И. Герцен окончил университет в 1833 г.

[4] Журнал «Вестник Европы» был основан Н. М. Карамзиным и выходил в Москве в 1802—1830 гг. М. Т. Каченовский был его редактором и издателем в 1805—1807, 1811—1813 и совместно с В. А. Жуковским в 1809—1810 гг.

[5] Посещение А. С. Пушкиным Московского университета состоялось 27 сентября (9 октября) 1832 г. Об этом событии поэт в тот же день сообщал жене: «Сегодня еду слушать Давыдова, не твоего супиранта; профессора; но я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник — а в Московском университете я оглашенный. Мое появление произведет шум и соблазн, а это приятно щекотит мое самолюбие» (XV, 32).

[6] Имеется в виду статья Д. И. Писарева «Наша университетская наука», опубликованная в 1863 г. в журнале «Русское слово» (№ 7, 8). См.: Писарев Д. И. Соч., в 4-х томах. М., 1955. Т. 2.

[7] Полное название брошюры А. Д. Закревского «Подарок ученым на 1834 год. О царе Горохе: когда царствовал государь царь Горох, где он царствовал, и как государь царь Горох перешел в предания народов до отдаленного потомства». Эта сатира на профессоров Московского университета 30-х г. XIX в.: М. Каченовского, Ф. Булгарина, О. Сенковского, М. Павлова, Н. Надеждина, П. Вяземского, Н. Полевого, М. Погодина и др. искусно пародировала свойственный каждому из них слог. По другим данным, автором «Подарка ученым» был товарищ Закревского по университету Кастор Лебедев (1812—1876). (См.: Русский биографический словарь. Спб., 1914). Но это маловероятно, так как Лебедев был студентом университета лишь до 1832 г.,

а затем его сослали в Пензу за участие в революционном кружке; брошюра же о царе Горохе вышла в 1834 г.

ВИСТЕНГОФ П. Ф.
ЛЕРМОНТОВ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(Из моих воспоминаний)

Печатается по изд.: Исторический вестник. 1884. Кн. 5. С. 332—337.

Автор — ВИСТЕНГОФ Павел Федорович (ок. 1815 — ум. после 1878), в 1831—1832 гг. студент Московского университета словесного отделения, в 1834—1839 гг. студент юридического факультета Казанского университета, впоследствии писатель.

[1] Это подтверждается и другими свидетельствами современников. Так, Г. Головачаев вспоминает, что «исчезновение Лермонтова... не обратило на себя особого внимания; припоминали только, что он изредка показывался на лекциях да и то почти всегда читал какую-нибудь книгу, не слушая профессора... (День. 1863. № 42). Как вспоминает И. А. Гончаров, Лермонтов «казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе полулежа, опершись на локоть» (Наст. изд., с. 152).

[2] На самом же деле Лермонтов просто не явился на экзамен.

[3] Лермонтов оставил Московский университет весной 1832 г., пробыв в нем два с половиной года.

[4] Мемуарист преувеличивает достаток Лермонтова. Он действительно принадлежал к кругу аристократической гвардейской молодежи, но Е. А. Арсеньевой, содержащей внука, приходилось идти на многое, чтобы тот мог быть на уровне окружавшей его золотой молодежи.

АКСАКОВ К. С.
ВОСПОМИНАНИЯ СТУДЕНТСТВА 1832—1835 гг.

Печатается с сокращениями по изд.: Аксаков К. С. Воспоминания студентства, с приложением портрета К. С. Аксакова, его неизданного стихотворения и некролога А. И. Герцена («Колокол», 15 января 1861 г.). Спб., 1910.

Автор — АКСАКОВ Константин Сергеевич (1817—1860), поэт, публицист, критик, идеолог славянофильства, общественный деятель.

[1] Освещение кружка Станкевича у К. С. Аксакова страдает определенной односторонностью. По своему направлению кружок был идеалистический, однако, несмотря на его умозрительный характер, члены кружка отрицательно относились к существующей действительности.

[2] В данном случае Аксаков полемизирует с направленностью кружка Герцена — Огарева, который имел явно выраженный политический характер, что и отличало его от философского кружка Станкевича.

Герцен писал: «Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимаясь анализом себя и успокаивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов, и самую науку считали средством» (Герцен А. И., IX, 39).

[3] Это относится уже к более позднему времени, когда В. Г. Белинский с присущей ему страстностью высказывал свое резко отрицательное отношение к российской действительности николаевского царствования.

[4] Эта драматическая пародия в стихах, с эпилогом, в трех действиях, была опубликована. См.: Сочинение К. С. Аксакова. Издание любителя. Спб., 1858.

[5] См.: Ермак, трагедия в пяти действиях в стихах. Сочинение Алексея Хомякова. М., 1832.

[6] См.: Новоселье. Спб., 1834. Ч. 2. С. 479—569.

[7] См.: Современник. 1836. Том 1. С. 170—190.

[8] Строфы из оды Г. Р. Державина «Водопад», написанной в 1791 г. на смерть князя Г. А. Потемкина.

БУСЛАЕВ Ф. И.
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Печатается с сокращениями по изд.: Буслаев Ф. И. Мои воспоминания. М., 1897.

Автор — БУСЛАЕВ Федор Иванович (1818—1897), выдающийся русский филолог, историк литературы, профессор Московского университета, с 1860 г. академик.

[1] Литературный псевдоним О. И. Сенковского, писателя, редактора журнала «Библиотека для чтения».

[2] «Философские письма к г-же***». «Письмо 1-ое» П. Я. Чаадаева было напечатано в журнале «Телескоп» (1836. № 15) за подписью «Некрополис, 1829, декабря 17». *Некрополис* — город мертвых.

[3] Высочайшая резолюция от 30 ноября 1836 г. гласила: «Чаадаева продолжать считать умалишенным и как за таковым иметь медико-полицейский надзор; Надеждина выслать на житье в Усть-Сысольск под присмотр полиции, а Болдырева отставить за нерадение от службы».

[4] По сюжету «Божественной комедии» Вергилий проводил Данте через все круги ада.

[5] См.: Давыдов И. И. Чтения о словесности. М., 1837—1843. Т. 1—4.

[6] Имеется в виду докторская диссертация А. А. Никитенко «О творческой силе поэзии, или поэтическом гении».

[7] См.: Шишков А. С. Рассуждения о старом и новом слоге российского языка. Спб., 1803.

[8] Речь идет о книге С. П. Шевырева «Данте и его век», опубликованной в «Ученых записках Московского университета» (1833. № 5; 1834. № 11).

[9] Об этом см.: Буслаев Ф. И. Шестисотлетний юбилей дня рождения Данта Аллигиери//Современная летопись. 1864. № 39, 40; Данте Аллигиери. Божественная комедия. Ад/ Пер. с итал. размером подлинника (терцинами) Н. Гольванова. Текст перевода просмотрен профессором Ф. И. Буслаевым. М., 1899. С. 302—329.

[10] «Песни, собранные П. В. Киреевским» вышли в трех частях, десяти выпусках (М., 1860—1874).

[11] А. Г. Герен был первым, кто говорил о необходимости изучения торговых сношений древних народов для понимания их государственного строя и гражданского быта. Полное собрание его сочинений вышло в Геттингене в 1821—1826 гг.

[12] Об отношении Буслаева к Погодину см.: Буслаев Ф. И. М. П. Погодин как профессор. Читано в публичном заседании Общества любителей российской словесности 21 марта 1876 г.//Газета А. Гатцука. 1876. № 18—19; то же — отд. отт. М., 1876.

[13] См.: Погодин М. П. Лекции по Герену о политике, связи и торговле древних народов. М., 1835—1837. Ч. 1—2.

[14] В. С. Печерин в 1836 г. занял кафедру греческой словесности, но вскоре покинул страну, бежал от удушающего гнета николаевского царствования, сломленный этим режимом. В Европе он быстро разуверился в западноевропейском революционном движении и нашел себе «убежище» в религии. В 1840 г. он принял католичество, затем стал монахом, а в 1843 г. — священником ордена редемптористов, близкого к иезуитам.

[15] См.: Dr. D. Pellegrino. Andeutungen über den ursprünglichen Religionsuntersshied der Römischen Patricier und Plebeier. Leipzig, 1849.

[16] Перевод хранится в отделе рукописей Гос. б-ки им. В. И. Ленина. См.: Смирнов С. В. Федор Иванович Буслаев. М., 1978. Вып. 47. (Серия «Замечательные ученые Московского университета»).

[17] См.: Грамматика словенския правилное сунтагма по тщанием многогрешного мниха Мелетия Смотрискаго (Вильно, 1618); «Российская грамматика» М. В. Ломоносова вышла в свет в 1755 г.; Востоков А. Х. Рассуждение о славянском языке, служащее введением к грамматике сего языка (Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете. 1820. Т. 17); Греч Н. И. Пространная русская грамматика. Спб., 1827—1830. За эту работу автор был избран в члены-корреспонденты Академии наук; Dobrovsky J. Institutiones linguae slavicae dialecti veteris. Wien, 1822.

КЛЮЧЕВСКИЙ В. О.

Ф. И. БУСЛАЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Печатается по изд.: Ключевский В. О. Соч. М., 1959. Т. 8. С. 288—294.

Автор — КЛЮЧЕВСКИЙ Василий Осипович (1841—1911), выдающийся русский историк, академик.

[1] С речью, посвященной памяти Ф. И. Буслаева, В. О. Ключевский выступил 27 сентября 1897 г. в Обществе истории и древностей российских. (См.: Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских. 1898. Кн. 2. С. 53.)

[2] См.: Буслаев Ф. И. Эпическая поэзия//Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства: Русская народная поэзия. Спб., 1861. Т. 1. С. 1—77.

[3] См.: Там же. С. 355.

[4] См.: Буслаев Ф. И. Сравнительное изучение народного быта и поэзии//Русский вестник. 1872. № 10; 1873. № 1, 4.

ФЕТ А. А.

ВОСПОМИНАНИЯ

Печатается с сокращениями по изд.: Фет Афанасий. Воспоминания. М., 1983.

Автор — ФЕТ (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892), поэт.

[1] В 1834—1837 гг. А. А. Фет учился в немецком пансионе Крюммера в г. Верро (ныне г. Выру Эстонской ССР).

[2] Историк М. П. Погодин содержал частный пансион по подготовке воспитанников для поступления в Московский университет. В пансион Фет поступил в начале февраля 1838 г.

[3] Об истории взаимоотношений Фета с Введенским см.: Блок Г. П. Рождение поэта: Повесть о молодости Фета. Л., 1924.

[4] *Катехизис* — книга, излагающая в популярной форме догматы религиозного учения.

[5] Происхождение Фета — самое темное место его биографии. Его мать, жительница Дармштадта, была женой местного чиновника Иоганна Фёта. Познакомившись с лечившимся в городе 44-летним отставным гвардейцем Афанасием Неофитовичем Шеншиным, она в сентябре 1820 г., бросив семью, бежала с Шеншиным в Россию и поселилась в его имении Новоселки (Мценского уезда Орловской губернии). Здесь между 29 октября и 29 ноября (точная дата рождения поэта неизвестна) у нее и родился сын, названный Афанасием. В 1822 г. она была обвенчана с Шеншиным по православному обряду и получила имя Елизаветы Петровны. Известна только мать поэта, неизвестно, кто был его отцом, ибо И. Фёт не считал Афанасия своим сыном. В 1834 г. А. Н. Шеншин был вынужден отвезти мальчика в частный пансион в

г. Верро, опасаясь, чтобы Афанасий не попал в число «незаконнорожденных» детей, ибо осенью этого года орловские губернские власти (явно вследствие какого-то доноса) стали наводить справки о рождении Афанасия Шеншина и браке его родителей. Родители стали хлопотать перед дармштадтскими родственниками, чтобы ребенок был признан сыном умершего «асессора Фёта». Им удалось этого добиться, но без права называть Афанасия русским: под документами он должен был подписываться: «К сему иностранец Афанасий Фёт руку приложил». Об этом см.: Бухштаб Б. Я. А. А. Фет: Очерк жизни и творчества. Л., 1974. С. 8—9.

Но и на этом злоключения с фамилией не закончились. Неизвестно, по чьей вине, но, когда он стал печататься впервые как поэт (Отечественные записки. 1842), в его фамилии буква «ё» была заменена на «е». Поэт принял подобную поправку, и отныне несколько видоизмененная фамилия немецкого чиновника из Дармштадта как бы превращалась в псевдоним русского поэта.

[6] Речь идет о Медюкове — товарище А. А. Фета по погодинскому пансиону.

[7] См. Григорьевы Александр Иванович и Татьяна Андреевна.

[8] В дом Григорьевых Фет переехал в начале 1839 г. и провел здесь все свои студенческие годы — с 1839 по 1844 г.

[9] Имеется в виду Николай Михайлович Орлов, сын декабриста М. Ф. Орлова.

[10] О полувековых взаимоотношениях двух поэтов см.: Никольский Ю. А. История одной дружбы//Русская мысль. 1917. № 5.

[11] Речь идет о жене Ф. А. Корша — Софье Григорьевне Корш, матери Лидии Федоровны Корш, ставшей женой Ап. Григорьева, и Антонине Федоровне Корш, ставшей женой К. Д. Кавелина.

[12] Первая строка «Оды на день тезоименитства его императорского высочества государя великого князя Петра Федоровича 1743 года» М. В. Ломоносова. «И Тавр и Ка̀вказ в Понт бегут» — 94-я строка той же оды.

[13] П. М. Боклевский иллюстрировал «Ревизор», «Миргород», «Шинель». Особо известны его иллюстрации к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя.

[14] Фет получил единицу на выпускном экзамене второго курса по политической экономии и поэтому остался на второй год; свой провал он объяснял придирками проф. А. И. Чивилева, местью за непосещение лекций.

[15] С. П. Шевырев способствовал становлению поэтического дарования молодого Фета, помогал публикации его стихотворений в начале 40-х гг. XIX в.

[16] Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» впервые был опубликован в журнале «Отечественные записки» (1839, т. 2, № 3; т. 6, № 11; 1840, т. 8, № 2). Вскоре последовали и его отдельные издания.

[17] В. П. Боткин заинтересовался поэзией Фета еще при его дебюте (см. его письмо В. Г. Белинскому от 27 марта 1842 г.); он был также автором одной из лучших статей о поэзии Фета (Современник, 1857, № 1. С. 1—42).

[18] Весна 1842 г.

[19] Фет закончил курс в университете летом 1844 г.

[20] Фет поступил нижним чином в один из провинциальных полков, расквартированных в Херсонской губернии. Объясняя причины подобного решения, Фет дал точное объяснение этому. На военной службе скорее, чем на какой-либо другой, он мог дослужиться до потомственного дворянина и тем самым хотя бы частично вернуть утраченные права из-за потери дворянской фамилии Шеншин.

ПОЛОНСКИЙ Я. П.
МОИ СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Публикуется с сокращениями по изд.: Ежемесячные литературные приложения к «Ниве». 1898. № 12. Стб. 642—687.

Автор — ПОЛОНСКИЙ Яков Петрович (1819—1898), поэт, член кружка М. В. Буташевича-Петрашевского.

[1] Фет (Шеншина) Шарлотта (Елизавета Петровна) (1798 — ?), урожд. Беккер, мать А. А. Фета.

[2] Об отношении Фета к раннему творчеству Полонского см. в наст. изд., с. 236.

[3] О М. Ф. Орлове см.: П у ш к и н А. С. <Из письма к Гнедичу> (II, 170), <В. Л. Давыдову> (II, 178) и др.

[4] В начале 1842 г. И. С. Тургенев обратился в совет Московского университета с ходатайством допустить его к испытанию на степень магистра философии. После длительной переписки с ректором и попечителем Московского учебного округа отделение словесных наук «выразило сомнение насчет возможности допустить просителя к испытанию в науке, которая в течение 15 лет не преподается в университете» (Русская старина. 1880. Май. С. 146—147).

[5] Полонский начал публиковаться в «Москвитянине» с 1841 г. В этом году (№ 2) им было опубликовано стихотворение «Солнце и месяц» (Ч. 1.) без подписи и (№ 4) за подписью «П» — «Бэда-проповедник» (Ч. 1). Сотрудничество с журналом продолжалось до 1843 г.

[6] Журнал «Отечественные записки» издавался А. А. Краевским в 1839—1884 гг.; журнал «Московский наблюдатель» выходил в Москве в 1835—1839 гг.; имеется в виду журнал «Репертуар русского и пантеон всех европейских театров» (Спб., 1842—1848, 1850—1856 гг.); журнал «Библиотека для чтения» выходил в Петербурге в 1834—1865 гг., редакторами которого в разное время были Н. И. Греч, О. И. Сенковский и др.

[7] В. Г. Белинский посвятил игре Мочалова, в котором он видел

величайшего представителя искусства трагедии, известную статью «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (См.: Белинский В. Г., VIII, 187—192). Впервые была опубликована в «Северной пчеле» (1838, № 4 — статья 1); полностью — в «Московском наблюдателе» (1838. Март. Кн. 1, 2; Апрель. Кн. 1).

[8] И. П. Клюшников (или Ключников), будучи студентом словесного факультета Московского университета, тесно сблизился с кружком Станкевича и особенно с Белинским. Окончив курс в 1835 г., он был учителем в Московском дворянском пансионе. В 1838 г. появились в печати его первые произведения «Элегия» и «Половодье». Стихи были хорошо приняты, но он вскоре бросил писать.

[9] Псевдонимом «Q» были подписаны стихи Клюшникова, опубликованные в 1839—1840 гг. в журнале «Отечественные записки» и в 1840 г. — в журнале «Современник».

[10] Работа А. И. Герцена «Дилетантизм в науке» впервые была опубликована в журнале «Отечественные записки» (1843. Кн. 1, 3, 5, 12). См.: Герцен А. И., III, 5—88.

[11] Сборник «Подземные ключи» (М., 1842) включал в себя 69 поэтических произведений и 7 рассказов А. А. Фета, Карелина, О. и Н. Мансыревых, Полонского. За исключением стихов Фета и Полонского, все остальное было крайне слабо.

[12] См.: Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. М., 1937. С. 251.

АФАНАСЬЕВ А. Н.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (1844—1848 г.г.)

Печатается по изд.: Афанасьев А. Н. Народные русские легенды/Под ред. И. П. Кочергина. Казань, 1914. С. XLII—LXXX.

Автор — АФАНАСЬЕВ Александр Николаевич (1826—1871), замечательный русский писатель, фольклорист.

[1] Строгановское училище, или, как оно называлось, Техническая школа рисования, было основано в 1825 г.

[2] См.: Строганов С. Г. Дмитриевский собор во Владимире-на-Клязьме, строенный с 1194 по 1197 г. Спб., 1849. Ему также принадлежит разбор сочинения французского историка П. Виоле «О русском искусстве» (М, 1879).

[3] *Экзерциргауз (нем.)* — здание, в котором происходило строевое обучение солдат.

[4] См.: Современник. 1847. № 1. С. 1—52.

[5] Речь идет о западниках.

[6] См.: Афанасьев А. Н. Ведуны, ведьмы, упыри и оборотни. М., 1851. В своей рецензии Кавелин, в целом положительно оценивая работу Афанасьева, в то же время отмечал определенные натяжки автора, которые вовлекли его «в лабиринт толкований и предположений... совершенно произвольных», отмечал невнимание автора к «ходу и по-

степенности развития язычества у славян», указывал на отрыв некоторых положений мифологической школы от реальной действительности (Отечественные записки. 1851. № 6. С. 58—59).

[7] См.: Пушкин и ящерицы//Первое апреля. Комический иллюстрированный альманах, составленный из рассказов в стихах и прозе, достопримечательных писем, куплетов, пародий, анекдотов и пуфов. Спб., 1846.

[8] См.: Терновский П. М. Богословие догматическое. М., 1838 (1839, 1844).

[9] В сочинениях «О государстве» («De republica»), «О законах («De legibus»), «Об обязанностях» («De officiis») нашли свое отражение взгляды Цицерона на государство и право, выражающие идеалы и настроения аристократического слоя римских рабовладельцев.

[10] В трактате римского юриста Гая «Институция» изложены основные институты частного права; основные идеи этого сочинения получили самое широкое распространение и даже перешли, в частности, во французский гражданский кодекс.

[11] Ошибка: статья напечатана не в № 1, а в № 2 за 1849 г. Статья М. П. Погодина о каталоге библиотеки И. Н. Царского «Рукописи славянские и российские...» составлена в очень резких тонах по адресу автора каталога и молодежи вообще.

[12] См.: Соловьев С. М. История отношений между русскими князьями Рюрикова дома. М., 1847.

[13] См.: Соловьев С. М. Обзор событий русской истории, от кончины царя Федора Иоанновича до вступления на престол дома Романовых//Современник, 1848. Т. 7. № 1—2; 1849. Т. 8. № 3—4; Т, 13, № 1, 2, 3, 11, 12; Т. 14. № 3—4; Т. 18. № 11—12; Т. 29. № 9; Он же. Обзор царствования Михаила Федоровича Романова//Там же. 1852. Т. 31. № 1—2.

[14] Первый том «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева вышел в Москве в 1851 г.

[15] См.: Соловьев С. М. Н. М. Карамзин и его литературная деятельность: История государства Российского. Т. 1—2//Отечественные записки. 1853. Т. 80. № 10; 1854. Т. 92. № 2; Т. 94, № 5; 1855, Т. 99. № 4; Т. 100. № 5; 1856. Т. 105. № 4,

[16] См.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1855. Т. 5 Примеч. С. I—XXXIV.

[17] В своей рецензии на т. 1 «Истории» Соловьева И. Д. Беляев предпринял попытку доказать несостоятельность основных положений труда историка (Москвитянин. 1851. Ч. 5. № 18. Кн. 2. С. 335—423; № 19—20. Кн. 1—2. С. 601—625).

[18] См.: Соловьев С. М. Географические известия о Древней Руси//Отечественные записки. 1853. Т. 86. № 2; Т. 88. № 6; 1854. Т. 96. № 9.

[19] И. П. Кочергин говорил, что Грановский был более «общественным деятелем, чем кабинетным ученым, и оценивать его можно только в связи с общественной жизнью, на ее лоне» (Цит, по кн. Афанасьев А. Н. Народные русские легенды. С. LXV.

[20] Об этом см. подробнее: Грановский Тимофей Николаевич: Библиография (1828—1967)/Под ред. С. С. Дмитриева; Вступит. очерки С. С. Дмитриева и Е. В. Гутновой. М., 1969. С. 61—70.

[21] См.: Грановский Т. Н. Волин, Иомсбург и Винета: Историческое исследование//Сборник исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных. М., 1845. Т. 1. С. 143—184; отд. изд. под названием «Иомсбург и Винета. Историческое исследование» (М., 1845).

[22] См.: Морошкин Ф. Л. О сочинениях Ю. И. Венелина по славянской истории//Отечественные записки. 1840. Т. 12. № 10. С. 77—92; Он же. Россия велико-германская//Там же. 1841. Т. 17. № 8. С. 62—76.

[23] См.: Баршев Я. И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству. Спб., 1841.

[24] См.: Клеванов А. С. История юго-западной Руси от ее начала до половины XIV века. Спб., 1849.

[25] Речь идет об издании в 1848 г. полного перевода книги английского дипломата Джила Флетчера «О государстве русском» («Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете»), изъятой цензурой и запрещенной вплоть до 1905 г. В этой связи Бодянский и был уволен из Московского университета в 1848—1849 гг.

[26] В 1849 г. А. Н. Афанасьев был принят на службу в Главный московский архив министерства иностранных дел. Через шесть лет он был назначен начальником отделения, а вскоре и правителем для состоящей при архиве комиссии печатания государственных грамот и договоров. Служба в архиве продолжалась до 1862 г., когда по доносу провокатора он был уволен из архива без пансиона и с запрещением впредь состоять на государственной службе. Поводом для доноса явился тайный визит в Москву в 1862 г. политического эмигранта В. И. Кельсиева. После долгих мытарств Афанасьеву удалось получить место секретаря думы с очень небольшим жалованьем, а затем секретаря в мировой съезд и за год до смерти — в Коммерческий банк.

ИЗ ПИСЬМА ПОЭТА А. Н. ПЛЕЩЕЕВА К ПЕТРАШЕВЦУ С. Ф. ДУРОВУ

Печатается с сокращениями по изд.: Дело петрашевцев. М.; Л, 1951. Т. 3. С. 291—295.

Автор — ПЛЕЩЕЕВ Алексей Николаевич (1825—1893), поэт, член кружка М. В. Буташевича-Петрашевского.

Данное письмо свидетельствует о попытках кружка петрашевцев установить через Плещеева связи с московскими передовыми кружками. Московская ячейка петрашевцев не успела оформиться, чему помешали начавшиеся аресты в Петербурге. О приезде Плещеева в Москву, об установлении связей со средой Московского университета см.: Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. Л., 1929. С. 164—166.

[1] Статья В. Г. Белинского «Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя», вызвавшая первое письмо Гоголя, была напечатана в «Современнике» (1847. Т. 1. № 2. С. 103—124; см.: Белинский В. Г., X, 60—78). На эту публикацию Н. В. Гоголь откликнулся письмом из Франкфурта, написанным около 8—20 июня 1847 г. (См.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. XIII. С. 326—328), вызвавшим, в свою очередь, знаменитое послание Белинского от 15 июля 1847 г. (См.: Белинский В. Г., X. 212—220). Историю создания и распространения этого письма см.: Литературное наследство. Т. 56. С. 513—605. Вся переписка, состоящая из трех вышеназванных писем, была впервые опубликована А. И. Герценом в «Полярной звезде» (1855. Кн. 1. С. 62—77). До этой первой публикации письмо Белинского широко распространялось в России в списках, причем активными пропагандистами и распространителями письма были петрашевцы.

[2] Герцен А. И. Перед грозой: (Разговор на палубе)//VI, 19—39. Эта статья была написана А. И. Герценом 31 декабря 1847 г. и была посвящена Т. Н. Грановскому. В августе 1848 г. он отсылает ее Е. Ф. Коршу на предмет публикации, сомневаясь при этом, что в условиях цензурного террора тех лет она вряд ли может быть напечатана. Статья действительно не была опубликована, но в то же время широко разошлась в рукописных списках. Впервые на русском языке статья была опубликована лишь в 1855 г. *Искандер* — литературный псевдоним А. И. Герцена.

[3] Пьеса И. С. Тургенева «Нахлебник» была написана в 1848 г., но впервые была опубликована через девять лет в журнале «Современник» (1857. № 3. С. 81—133) под заглавием «Чужой хлеб».

СЕЧЕНОВ И. М.

В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(1850—1856 гг.)

Печатается по изд.: Сеченов И. М. Автобиографические записки. М., 1952.

Автор — СЕЧЕНОВ Иван Михайлович (1829—1905), великий русский ученый, создатель русской физиологической школы, автор классического труда «Рефлексы головного мозга».

[1] До поступления на медицинский факультет Московского университета Сеченов в 1843—1848 гг. учился в Петербурге в Инженерном училище, откуда он был выпущен во 2-й резервный саперный батальон, после чего он вышел в отставку.

[2] Ректором университета в 1850—1863 гг. был А. А. Альфонский.

[3] В 1855 г. М. Н. Катков еще стоял на умеренно-либеральных позициях. В 60—80-е гг. XIX в. его имя стало символом самой оголтелой монархической реакции.

БЕЛОГОЛОВЫЙ Н. А.

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ О СЕРГЕЕ ПЕТРОВИЧЕ БОТКИНЕ

Печатается с сокращениями по изд.: Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1897.

Автор — БЕЛОГОЛОВЫЙ Николай Андреевич (1834—1895), врач, мемуарист.

[1] Персонаж комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».

[2] И. А. Гейму принадлежит ряд географическо-статистических трудов: «Versusch einer vollständigen geographisch-topographischen Encyclopedie des Russischen Reichs» (Gôttingen, 1796), «Начертание всеобщего землеописания» (М., 1811, 1817—1819), «Опыт начертания статистики главнейших государств» (М., 1821) и др.

[3] Николай I умер в феврале 1855 г.

[4] А. Кюстин был автором книги «La Russie en 1839» (P., 1843).

[5] Трехтомная работа Н. И. Тургенева «Россия и русские» («La Russie et les Russes») была издана в Брюсселе в 1847 г. и явилась основой либерально-буржуазной концепции истории декабризма.

[6] Имеется в виду Крымская (Восточная) война 1853—1856 гг.

[7] Начальные слова международного студенческого гимна «Будем веселиться, потому что мы молоды».

СОЛОВЬЕВ С. М.

ЗАПИСКИ

Печатается с сокращениями по изд.: Записки Сергея Михайловича Соловьева. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других. Книгоизд-во «Прометей» Н. Н. Михайлова, [Пг., 1915].

Автор — СОЛОВЬЕВ Сергей Михайлович (1820—1879), историк, с 1847 г. профессор Московского университета, с 1872 г. академик.

[1] В статье «Замечания об осаде Троицкой Лавры и описание оной историками XVII, XVIII и XIX столетий» (Москвитянин. 1842. № 6—7) Д. П. Голохвастов утверждал, что известное сочинение Авраамия Палицына «Сказание об осаде Троицко-Сергиева монастыря от поляков»

изобилует якобы неточностями и является скорее сочинением художественным, нежели историческим. Эта статья положила начало оживленной полемике.

[2] М. Т. Каченовский в 1837—1842 гг. был ректором университета. Он явился основателем и главой так называемой «скептической школы» в русской исторической науке, представители которой ставили под сомнение подлинность большинства летописных известий. Несмотря на очевидные крайности, это направление сыграло несомненную положительную роль в становлении русской историографии, в разработке методов исторической критики.

[3] В статье «Каченовский Михаил Трофимович» (Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Московского университета, 1755—1855. М., 1855. Ч. 1. С. 383—403), написанной в разгар цензурного террора, С. М. Словьев не дал полной и четкой оценки взглядам «скептической школы». Он отмечал, что Каченовский «постоянно держался середины — между двумя крайностями, с одной стороны — неумеренной привязанностью, а с другой — презрением ко всему иностранному» (с. 392).

[4] Стела (Тмутараканский камень) с древнерусской надписью XII в., была обнаружена в конце XVIII в. на Таманском городище; подлинность находки оспаривалась «скептической школой».

[5] В 1811—1830 гг. Каченовский редактировал журнал «Вестник Европы».

[6] Отрицательное отношение А. С. Пушкина к научной и литературной деятельности Каченовского нашло свое отражение в ряде резких эпиграмм и в заметке «Отрывок из литературных летописей».

[7] Каченовский, постоянно полемизировавший с Карамзиным, в рецензии на последний, XII том его «Истории» (Вестник Европы. 1829. № 9) дал ему весьма высокую оценку.

[8] Начало печатной полемике М. П. Погодина, взгляды которого на начальные века русской истории резко противоречили скептическому направлению, было положено рецензией Каченовского (Вестник Европы. 1830. № 1) на книгу Ю. Венелина «Древние и нынешние болгаре...». Ответом явилась не менее резкая по тону рецензия Погодина «О трудах и выходках профессора Каченовского» (Московский вестник, 1830. № 3).

[9] Ю. И. Венелин (Гуца) был видным исследователем славянских языков и истории славянских народов. Ему, наряду с замечательными догадками, было свойственно и преувеличение языковой, исторической и культурной близости славян.

[10] В молодости И. И. Давыдов слыл либералом. Так, в 1826 г. ему было запрещено читать лекции по философии, в которых он излагал взгляды Шеллинга. Через пять лет, в 1831 г., он занял кафедру

русской словесности. Впоследствии, в 1847 г., он оставил Московский университет и переехал в Петербург, где возглавил Главный педагогический институт.

[11] В сочинении Фомы Кемпийского «Подражание Христу» проповедуется аскетизм и смирение.

[12] См.: Давыдов И. И. Чтения о словесности: Т. 1—4. М., 1837—1838. Давыдов как ученый был не самостоятелен, и его лекции и печатные труды были явно компилятивны.

[13] С. П. Шевырев, читая с 1832 г. в Московском университете курс русской словесности, был видным авторитетом в области древнерусской литературы. В 30—40-е гг. стал проповедником теории «официальной народности».

[14] Данное стихотворение было написано К. К. Павловой около 1845 г. и имеет несколько иную редакцию:

«Преподаватель христианский,—
Он духом тверд, он сердцем чист;
Не злой философ он германский,
Не беззаконный коммунист!
По собственному убежденью
Стоит он скромно выше всех!..
Не выносим его смиренью
Лишь только ближнего успех». См.: Каролина Павлова. Полн. собр. стихотворений. 2-е изд., М.; Л., 1964, с. 123. Серия «Библиотека поэта. Большая серия». По словам П. И. Бартенева, «Грановский бросился целовать у К. К. Павловой руку, выслушав эти стихи». См.: Русский архив, 1912, кн. 1, № 2, с. 317.

[15] *Экзегезис* (экзегетика) — учение о способах истолкования латинских и греческих текстов.

[16] «Беседы», о которых так пренебрежительно отзывается Соловьев, на самом деле сыграли определенную роль в идейном становлении передового русского общества, на что прямо указывал А. И. Герцен: «Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином, шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний, каждый передавал прочитанное и узнанное, споры обобщали взгляды, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Вот этот характер наших сходок не понимали тупые педанты и тяжелые школяры» (Герцен А. И., IX, 113).

[17] Подобная резкая характеристика со стороны Соловьева во многом вызвана его неприязненным личным отношением к Погодину. О причинах этого Соловьев говорит в дальнейшем в связи с защитой им диссертации и возможном занятии кафедры русской истории, чему активно противился Погодин, сам желавший вновь занять ее после небольшого перерыва. Стоит отметить и то, что многие современники

отзывались о Погодине в тех же интонациях как о человеке очень сложном, с тяжелым характером.

[18] Петр Моисеевич Погодин, отец историка, был крепостным графа И. П. Салтыкова, отпущенным на волю с семьей в 1806 г.

[19] Речь идет о цикле «Политических писем», написанных Погодиным в годы Крымской войны. Письма, которые широко распространялись в русском обществе, содержали резкую критику внутренней и внешней политики Николая I. Действительно, некоторые из этих писем были представлены Погодиным царю.

[20] С Иоахимом Лелевелем, польским общественным деятелем и одним из руководителей национально-освободительного движения, Погодин встречался в Брюсселе в 1842 г.

[21] Кроме повестей «Невеста на ярмарке», «Черная немочь», «Нищий», в которых дано описание нравов провинциального русского купечества, Погодин был также автором ряда пьес, из которых наибольшей известностью пользовалась «Марфа, Посадница Новгородская».

[22] В 1827—1830 гг. Погодин издавал журнал «Московский вестник», а в 1841—1856 гг. — «Москвитянин».

[23] Речь идет о так называемом «варяжском вопросе» русской историографии, теории, утверждавшей норманнское происхождение русского государства.

[24] П. Г. Бутков, историк-дилетант, издавший в 1840 г. работу «Оборона русской летописи», повторил ряд выводов политических статей Погодина, направленных против «скептической школы». *Нестор* — автор «Повести временных лет», где впервые было сказано о призвании новгородцами варягов в IX в., Рюрика с братьями, на княжение.

[25] В 1824 г. Погодин защитил магистерскую диссертацию «О происхождении Руси», а в 1834 г. докторскую — «О летописи Нестора».

[26] С. М. Строев, будучи одним из самых талантливых последователей своего учителя Каченовского, вел полемику с противниками «скептической школы». Этому посвящен ряд статей, написанных в 30-е гг., и, прежде всего, работа «О недостоверности древней истории, ложности мнения касательно древности русских летописей».

[27] Борьбу с названными историками Погодин вел по вопросу о происхождении Руси, которые, будучи последователями Венелина, являлись убежденными противниками норманнской теории.

[28] Библиотека, которую начал собирать Погодин с 1824 г., состояла из рукописей и старопечатных книг. В 1852 г. она была продана им Публичной библиотеке в Петербург.

[29] В 1835 г. Погодин посетил Прагу, где и завязал личные связи с такими виднейшими учеными-славистами и общественными деятелями, как П.-И. Шафарик и Ф. Палацкий. Т. Н. Грановский сообщал,

что Шафарик, находившийся в тяжелом материальном положении, жил «тайными пособиями от Погодина» (Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 2. С. 332).

[30] Имеется в виду монументальный труд П.-И. Шафарика о первых веках истории славянских народов «Славянские древности» (1837 г.).

[31] Археографическая комиссия при министерстве просвещения, созданная видным археографом П. М. Строевым, опубликовала в своих изданиях богатый актовый материал: в 1838 г. — «Акты археографической экспедиции» (т. 1—4), а в 1841—1842 гг. — «Акты исторические» (т. 1—5). Эти публикации составили ценнейший свод источников по русской истории.

[32] Речь идет о П. Г. Редкине, Д. Л. Крылове и П. Н. Кудрявцеве, вернувшихся в 1835 г. из Берлина, где они проходили подготовку к преподавательской деятельности. Их столкновения с Погодиным были обусловлены не столько личным характером, сколько различием общественно-политических позиций либеральной профессуры, с одной стороны, и главного истолкователя теории «официальной народности» — с другой.

[33] Д. М. Перевощиков, математик, астроном и физик, был также широко известен как неустанный пропагандист естественнонаучных взглядов М. В. Ломоносова.

[34] Речь идет о теории «официальной народности», сформулированной С. С. Уваровым в начале 30-х гг. и явившейся выражением идеологии русского самодержавия в царствование Николая I.

[35] По замечанию советского историка Н. Л. Рубинштейна, первоначальный вариант работы Соловьева «Наблюдения над исторической жизнью народов» (1868) составил как бы «непосредственный сколок с «Философии истории» (Рубинштейн Н. Л. Русская историография. М., 1941. С. 315).

[36] В работе Г. Эверса «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии» (1826 г.— на нем. яз.; 1835 г.— на русск. яз.) впервые сформулирована теория родового быта, оказавшая непосредственное воздействие на Соловьева.

[37] *Патрикул* — в грамматике неизменяемые части речи (союзы, частицы, наречия). *Метрика* — учение о строении мерной, поэтической речи.

[38] В. В. Григорьева, преподававшего в данное время восточные языки в Ришельевском лицее в Одессе, связывали с Погодиным как личная дружба, так и общность политических позиций.

[39] Н. В. Качалов и А. Ф. Бычков были любимыми учениками Погодина.

КЛЮЧЕВСКИЙ В. О.
С. М. СОЛОВЬЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Печатается по изд.: Ключевский В. О. Соч. М., 1959. Т. 8. С. 253—262.

[1] Эти воспоминания были прочитаны Ключевским 4 октября 1895 г. на заседании Исторического общества при Московском университете в годовщину смерти С. М. Соловьева.

[2] *Эдда Младшая* — трактат о языческой мифологии и поэзии скальдов, написанный Снорри Стурлусоном (1178—1241); *Эдда Старшая* — древнеисландский сборник мифологических и героических песен, бытовавших в устной традиции германских народов; сохранился в рукописи XIII в.

[3] По окончании университета в 1865 г. Ключевский был оставлен Соловьевым при кафедре русской истории для подготовки к профессорскому званию. Об этом он и сообщал в сентябре того же года министру народного просвещения: «Кроме Карпова может быть стипендиатом кандидат Ключевский, представивший мне очень хорошее сочинение [«Известия иностранцев о древней России... — *Сост.*] (Цит. по кн.: Нечкина М. В. Василий Осипович Ключевский: История жизни и творчества. М., 1974. С. 125).

[4] Это подтверждается и свидетельством историка П. В. Безобразова, вспоминавшего, что Соловьев любил «географические сочинения, преимущественно путешествия» (Безобразов П. В. С. М. Соловьев. Спб., 1894. С. 77).

[5] См.: Соловьев С. М. Соч. Спб., 1882.

[6] Кроме выполнения обязанностей профессора Московского университета (с 1845 г.), Соловьев в 1868—1870 гг. был также одним из инспекторов Московского Николаевского сиротского института, а в 1872—1879 гг. был председателем педагогического совета Высших женских курсов, в создании которых он принимал также активное участие.

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН К. Н.
ВОСПОМИНАНИЯ

Печатается с сокращениями по изд.: Сборник отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. 1900. Т. 67. № 4.

Автор — БЕСТУЖЕВ-РЮМИН Константин Николаевич (1829—1897), историк, профессор русской истории Петербургского университета (с 1865 г.), академик (с 1890 г.), в 1878—1882 гг. возглавлял Высшие женские курсы (Бестужевские) в Петербурге; племянник декабриста М. П. Бестужева-Рюмина.

[1] См.: Кавелин К. Д. Взгляд на юридический быт древней России (М., 1847).

[2] Речь идет об отце историка — Н. П. Бестужеве-Рюмине.

[3] См.: Погодин М. П. Исследования, замечания и лекции о русской истории. М., 1846—1857. Т. 1—7.

[4] Наиболее значительным исследованием П. Н. Кудрявцева является его работа «Судьбы Италии от падения западной Римской империи до восстановления ее Карлом» (1850).

[5] Исторический очерк «Карл V» был опубликован в 1856 г. в журнале «Русский вестник» (№ 1, 3, 7, 10, 11, 12).

[6] П. Н. Кудрявцев является также автором ряда художественных повестей, рассказов, очерков.

[7] Юридический термин (*лат.*), означающий подделку, недозволенную перепечатку книг в ущерб их законному издателю. См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2-е. Спб.; М., 1881. Т. 2. С. 153.

[8] При организации юбилейных торжеств, посвященных 200-летию со дня рождения Петра I, устроители оных обратились к С. М. Соловьеву с просьбой выступить с лекциями об эпохе Петра. Эти лекции читались перед широкой аудиторией в Колонном зале Дворянского собрания. Вскоре они были опубликованы. См.: Публичные чтения о Петре Великом С. М. Соловьева, изданные по распоряжению юбилейной комиссии Московской политехнической выставки имп. Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, уполномоченным от комитета выставки генерал-майором С. П. Дурново (М., 1872).

[9] Речь идет о цикле четырех лекций «Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого», прочитанном С. М. Соловьевым в 1851 г. См.: «Публичные лекции орд<инарных> профессоров: Геймана, Рулье, Соловьева, Грановского и Шевырева». Читаны в 1851 году в имп. Московском университете. (М., 1852).

[10] Об этом см. отрывок «Из письма поэта А. Н. Плещеева к петрашевцу С. Ф. Дурову» в наст. изд., с. 281—282.

[11] А. Н. Плещеев с 1845 г. стал постоянным членом кружка М. В. Буташевича-Петрашевского; в 1849 г. он был арестован и сослан рядовым в оренбургские линейные войска, вернулся в конце 50-х гг.

[12] В 1839 г. К. Д. Кавелин окончил курс в университете, получив золотую медаль за сочинение «О римском владении», которое было опубликовано в 1841 г.

[13] См.: Лешков В. Н. Русский народ и государство: История русского общественного права до XVIII века. М., 1858.

[14] А. А. Гладкова была невестой С. В. Ешевского.

[15] Об этом факте биографии Н. И. Надеждина рассказывает А. И. Герцен в «Былом и думах» (IX, 228). См. также: Козмин Н. К. Н. И. Надеждин. Спб., 1912. С. 458—525.

[16] Выксунский чугуноплавильный завод, принадлежавший братьям Шепелевым, находился недалеко от г. Мурома Владимирской губернии.

В. А. Сухово-Кобылин, женатый на Марии Ивановне Шепелевой, дочери Ивана Дмитриевича Шепелева, был приглашен стать опекуном завода и имения ввиду полного расстройства дел не только благодаря узам родства, но и глубокого уважения к его личности.

[17] Речь идет о сборниках апостольских, соборных и епископских правил и посланий, законов светской власти, являвшихся руководством при управлении церковью и в церковном суде. О всех списках см.: Срезневский И. И. Обозрение древних русских списков кормчей книги. Спб., 1897.

[18] Речь идет о Соборном уложении 1649 г.

[19] *Гелертер* (gelehrter — нем.) — ученый.

[20] 17-томная «История Франции» Ж. Мишле выходила в 1833—1867 гг.; его же «История Французской революции» (т. 1—7) выходила в 1847—1853 гг.

[21] Первые два тома исследования Т.- Б. Маколея «History of England from the accession of James II» вышли в 1848 г.; русский перевод — в 1860—1865 гг.

[22] Четырехтомная работа Г.-Г. Гервинуса «Шекспир» была опубликована на немецком языке в 1849—1850 гг.; русский перевод — в 1877 г.

[23] *«Пропилеи»* — сборники статей по классической древности, выходили в Москве под ред. П. М. Леонтьева в 1851—1856 гг.; вышло 5 книг.

[24] «Архив историко-юридических сведений, относящихся до России» выходил под редакцией Н. В. Калачова в Москве в 1850—1859 гг.; вышло 3 книги.

[25] Речь идет об известном сочинении немецкого философа Ф.-В. Шеллинга «Система трансцендентального идеализма» (1800; русский перевод — в 1936 г.).

[26] Речь идет о политическом памфлете князя А. М. Курбского «История о великом князе Московском» (1573) и его переписке с Иваном Грозным. Имеется в виду книга Н. Иванишева «Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни». Киев, 1849. Т. 1.

[27] Известный писатель П. И. Мельников-Печерский с 1845 г. был редактором неофициальной части «Нижегородских губернских ведомостей».

[28] О взаимоотношениях супругов Боткиных Герцен рассказывает в «Былом и думах» (IX, 255—262).

ЧИЧЕРИН Б. Н.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
Москва сороковых годов

Печатается по изд.: Чичерин Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929.

Автор — ЧИЧЕРИН Борис Николаевич (1828—1904), юрист, историк, философ и публицист, профессор Московского университета.

[1] *Поречье* — имение графа С. С. Уварова, находившееся в Можайском уезде Московской губернии.

[2] Речь идет о книге французского историка Ш.-Э. Брассера де Бурбурга «Histoire des nations civilisées du Mexique et de Amerique Centrale durant les siècles auterieurs à Christophe Colomb, écrite sur des documents originaux et entiérement inédits, puisés aux anciennes archives des indigènes (P., 1857—1858. t. 1—4).

[3] Леопольд фон Ранке умер 25 мая 1886 г.

[4] Синопское сражение состоялось 18(30) ноября 1853 г.

[5] Автором данного стихотворения, которое впервые было опубликовано в журнале «Русское обозрение» (1896. № 2. С. 960—961) под названием «От студентов Московского университета адмиралу Нахимову», является Михаил Александрович Стахович.

[6] После поражения революции 1848 г. бесчинство правительственной реакции достигло апогея. По свидетельству современников, «прямые действия цензуры превосходили всякие вероятия». Ее бдительное око следило не только за периодической печатью, но и за художественной литературой, учебниками. «Изъятия», как правило, были самые несообразные. Как пример курьеза, в 1849 г. из учебника по истории были «вымараны» самые имена героев Греции и Рима по той причине, что они были республиканцы. Один цензор дошел до того, что находил подозрительными даже многоточия в математических книгах. Об этом см.: Нифонтов А. С. Россия в 1848 году. М., 1949.

[7] В. Ф. Корш был редактором «Московских ведомостей» в 1856—1862 гг. За это время газета (с 1859 г.) стала ежедневной.

[8] П. Г. Редкин заведовал кафедрой энциклопедии права в Петербургском университете в 1863—1878 гг.; в 1873—1876 гг. был ректором.

[9] Эта работа была помещена также в первом томе собрания сочинений К. Д. Кавелина, вышедшем в 1897 г. (с. 5—66).

[10] К. Д. Кавелин занимал кафедру в Петербургском университете в 1857—1861 гг.

[11] В докторской диссертации Т. Н. Грановского «Аббат Сугерий» (1849) освещена история образования государства во Франции. Особое внимание было обращено на церковь как силу, содействующую этому процессу.

[12] Расхождения Герцена и Грановского относятся к началу 40-х гг. и касаются вопросов, связанных с оценкой буржуазии и роли революционных методов борьбы. Процесс становления Герцена на революционно-демократические позиции, нашедший свое выражение в изданиях Вольной русской печати, вызывал недовольство Грановского. После выхода в 1855 г. первой книжки «Полярной звезды» он, по его собствен-

ным словам, собирался написать Герцену резкое письмо, но этому помешала преждевременная смерть.

[13] Об авторе см. с. 645, сн. 14. Верноподданническая позиция С. П. Шевырева служила объектом многочисленных эпиграмм, вроде:

Усопшего царя напутствовали ревом
Греч, дважды сеченный, с кликушей Шевыревым.

(См.: Рулин П. Московские настроения в марте 1855 года: (По неизданным материалам архива П. А. Кулиша)//Былое. 1925. № 4 (32). С. 166); или приводимая Б. Н. Чичериным:

В дни верноподданных скандалов,
Когда пел оды Шевырев,
В честь тупоумных генералов
Давали много мы пиров... (Чичерин Б. Н. Воспоминания. С. 103).

Злой иронии подвергла Шевырева и поэтесса Евд. Ростопчина в своем памфлете «Дом сумасшедших», в котором были выведены в сатирическом плане литературные и общественные деятели Москвы 30—50-х гг.:

Вот профессор сладкогласный,
Что так горько был гоним
Молодежью, столь пристрастной
К людям, к мнениям иным.
Очистительною жертвой
Духу века принесен,—
Видит он: теперь уж мертво
Все, что чтил, что славил он...
И враги ему студенты,—
И за то он им постыл,
Что любил кресты и ленты,
Что метафоры любил!.. (Русская старина. 1885. № 3. С. 689).

Тем не менее следует сказать, что рядом с этими отзывами есть и другие, имеющие прямо противоположный смысл, относящиеся к 20-м г. А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский с интересом и уважением относились и как к литературному творчеству Шевырева этого периода, и к нему как к человеку, от которого ждут оживления «нашей дремлющей северной литературы», «истинный талант» которого «неоспорим» — в оценке Пушкина.

[14] Имеются в виду основные положения теории «официальной народности» С. С. Уварова.

[15] Речь идет, по-видимому, о переложении стихотворения Ф. Н. Глинки «Из псалма 43-го» или «Илие — богу». См.: Глинка Ф. Н. Избранные произведения. Л., 1957. С. 253—254 (Серия «Библиотека поэта. Большая серия»).

[16] См.: Неволин К. А. Энциклопедия законоведения. Киев, 1839—1840. Ч. 1—2.

[17] См.: Эверс И.-Ф.-Г. Древнейшее русское право в историческом его раскрытии. Спб., 1835.

[18] См.: Рейц А. М. Опыт истории российских государственных и гражданских законов/Пер. с нем. М., 1836.

[19] См.: Кавелин К. Д. Основные начала русского судопроизводства в период времени от Уложения до Учреждения о губерниях. М., 1844.

[20] См.: Соловьев С. М. Об отношениях Новгорода к великим князьям. М., 1845.

[21] Первый том сочиненя А.-Ф.-В. Гумбольдта «Космос» вышел в 1845 г.

[22] Речь идет об Ольге Алексеевне Киреевой, по мужу Новиковой.

[23] См.: Соловьев С. М. История отношений между русскими князьями Рюрикова дома. М., 1847.

[24] Реакционный публицист М. Н. Катков начал свою политическую деятельность как сторонник умеренного дворянского либерализма. В 1851—1855 гг. он редактировал газету «Московские ведомости», затем стал одним из редакторов журнала «Русский вестник». Во время первого демократического подъема в России — начало 60-х гг. XIX в.— он, по словам В. И. Ленина, «повернул к национализму, шовинизму и бешеному черносотенству» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 43—44). В 1863—1887 гг. он стал редактором-издателем «Московских ведомостей», рупором монархической реакции. Сам Катков называл себя «верным сторожевым псом самодержавия».

[25] В революционные 1848—1849 гг. во Франкфурте-на-Майне заседало общегерманское национальное собрание (так называемый Франкфуртский парламент), созванное с целю объединения страны и выработки конституции. Свои заседания оно открыло 18 мая 1848 г. Лишь к марту 1849 г. оно завершило половинчатую конституцию, в соответствии с которой германские государства должны были составить монархическую федерацию, но не успело провести ее в жизнь. Вся работа парламента вообще закончилась полной неудачей из-за колебаний либерально-буржуазного большинства, а также нерешительности и непоследовательности левого крыла. Заседания, перенесенные в Штутгарт, в июне 1849 г. были разогнаны войсками вюртембергского правительства. Точно так же никакого результата не достигло и национальное собрание Пруссии, созванное 22 мая 1848 г. в Берлине.

[26] Известный французский публицист, политэконом Ф. Бастиа во время французской революции 1848 г. в ряде памфлетов выступил против социализма и коммунизма («Prodection et communisme»,

«Capital et rente», «Maudit argent», «Propriéte et spoliation») и вступал в ожесточенную полемику с П.-Ж. Прудоном. Впоследствии в работе «Harmonies économiques». (P., 1850) он выступил с проповедью теории гармонии классовых интересов в буржуазном обществе, что вызвало критику со стороны К. Маркса. См. его послесловие ко 2-му немецкому изданию (1872) I тома «Капитала», а также ряд мест основного текста тома — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 18, 70, 91, 92, 204, 419, 575.

[27] См.: Заблоцкий-Десятовский А. И, Граф Павел Дмитриевич Киселев и его время. Спб., 1882.

[28] См.: Показания графа А. А. Закревского о некоторых представителях московского образованного общества//Русский архив. 1885. № 2.

[29] Стихотворение Н. Ф. Павлова «К графу Закревскому» (1849) было впервые опубликовано в журнале «Русский архив» (1884. Т. 1) в разделе «Забытые стихотворения». Полностью стихотворение было опубликовано Б. Н. Чичериным с незначительными разночтениями. См.: Павлов Н. Ф. Соч. М., 1985. С. 240.

[30] О реакции московской общественности на отставку в 1858 г. Закревского свидетельствует следующий факт, сообщаемый Д. А. Галаховым, когда в одной из газет было опубликовано объявление довольно-таки курьезного содержания: «Нам пишут из Москвы, что в нынешнем году наступила весна очень рано, так что прежде Юрьева дня выгнали скотину в поле». (Исторический вестник, 1892. Т. 47, С. 414).

[31] *Караул* — имение Чичериных в Тамбовской губернии.

(Н.Ч.) ЧАЕВ Н. А.

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ. ПРАЗДНОВАНИЕ СТОЛЕТИЯ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Печатается по изд.: Русское обозрение. 1896. № 1. С. 218—219. Подп. Н. Ч.

Автор — ЧАЕВ Николай Александрович (1824—1914), студент историко-филологического факультета Московского университета, впоследствии — писатель, заведующий репертуарной частью московских театров.

[1] Ректором Московского университета в 1855 г. был А. А. Альфонский.

[2] *Эминента* (Eminentia.— *лат.*) — возвышенный.

КЛЮЧЕВСКИЙ В. О.

<МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ПИСЬМАХ И ЗАПИСКАХ>

Печатается по изд. Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М.: Наука, 1968.

[1] *Гвоздев* Порфирий Петрович (1838/1840—1901), одноклассник

Ключевского по Пензенской духовной семинарии, затем преподаватель латинского языка в Казанской второй гимназии, в 1871—1883 гг. приват-доцент Казанского университета по кафедре римской словесности, впоследствии перешел на службу в Московский учебный округ.

[2] Ректором университета в 1850—1863 гг. был А. А. Альфонский.

[3] Описка Ключевского: июль. См.: Ключевский В. О. Письма. Дневники... С. 16.

[4] По-видимому, имеется в виду статья М. И. Сухомлинова «Ломоносов — студент Марбургского университета» (Русский вестник. 1861. Т. 31. № 1).

[5] Речь идет о произведении Ломоносова «Слово похвальное блаженныя памяти государю императору Петру Великому, говоренное апреля 26 дня 1755 года».

[6] См.: Вебер Г. Курс всеобщей истории. М., 1859—1861. Т. 1—4. (по-видимому, 4-я книга вышла после сентября 1861 г.).

[7] Речь идет об учебнике Н. Берте «Краткая всеобщая история в простых рассказах для детей и обучающихся в высших учебных заведениях и частных пансионах» (Спб., 1858; 2-е изд. — Спб., 1860).

[8] *Холмовский* Василий Васильевич (1839—?), одноклассник В. О. Ключевского по Пензенской духовной семинарии, в начале 900-х гг. мировой судья в Сухум-Кале.

[9] В 1861 г. была отменена обязательная форма, но было разрешено донашивать ее в течение года.

[10] *«Православное обозрение»* — ежемесячный журнал, издававшийся в Москве в 1860—1891 гг., редактором которого до 1869 г. был Н. А. Сергиевский.

[11] Речь идет о пензенском (позднее тобольском) архиепископе Варлааме, который при посещении Пензенской духовной семинарии часто устраивал диспуты между Ключевским и его другом П. П. Гвоздевым.

[12] Речь идет о труде английского историка Джорджа Грота «История Греции» («History of Greece». London,1846—1856. Vol. 1—12.).

[13] Студенческое движение, явившееся одной из форм общественной борьбы периода революционной ситуации 1859—1861 гг., охватило крупнейшие университетские центры страны. Оно началось в Петербурге и привело к закрытию Петербургского университета, о чем и было сообщено 26 сентября в «Московских ведомостях». Вскоре этими волнениями были охвачены университеты Москвы, Киева, Харькова, Казани. См. также наст. изд., с. 441—446, 657—658.

[14] Как с основанием полагает академик М. В. Нечкина, можно считать, что речь идет о прокламации «К молодому поколению», которая была отпечатана в Лондоне и привезена в Москву петербургскими

студенческими делегатами. См.: Нечкина М. В. Василий Осипович Ключевский: История жизни и творчества. С. 90.

[15] Речь идет о книге Якова Гримма. «Изучение немецкого языка». (Берлин, 1848). «Geschichte der deutschen Sprache (Berlin, 1848.)

[16] В 1859—1863 гг. попечителем Московского учебного округа, а следовательно, и Московского университета был генерал Н. В. Исаков.

[17] В 1859—1864 гг. военным генерал-губернатором Москвы был П. А. Тучков.

[18] В 1849—1869 гг. московским обер-полицмейстером был полковник И. И. Сечинский.

[19] 28 октября 1861 г. Б. Н. Чичериным была прочитана вступительная лекция о значении государственного права. Призывая студентов готовиться к будущей государственной деятельности, он в то же время предостерегал их от следования революционным идеям, категорически отвергал все критические замечания в адрес царского правительства. Эта лекция, получившая одобрение со стороны властей, с возмущением была воспринята студенчеством; во время чтения очередной лекции Чичерин был освистан аудиторией.

[20] Появление работы Н. Г. Чернышевского «Антропологический принцип в философии» (Современник. 1860. № 4), в которой были изложены основы материалистического философского мировоззрения, вызвало резко отрицательную реакцию апологетов религиозно-философского идеализма, вылившуюся на страницах журналов. Ответом Чернышевскому и явилась статья профессора Киевской духовной академии П. Д. Юркевича «Из науки о человеческом духе» (Труды Киевской духовной академии. 1860. № 4), которая тут же была перепечатана М. Н. Катковым (Русский вестник. 1861. № 3, 5). Ответом былй две статьи Чернышевского: «Непочтительность к авторитетам» и «Полемические красоты (коллекция первая)», опубликованные в «Современнике» (1861. № 6). См.: Чернышевский Н. Г., VII.

[21] *Европейцев* Иван Васильевич (1823—1867), дядя В. О. Ключевского.

[22] Имеется в виду Наполеон III.

[23] В знак протеста против нарушения университетом установленного порядка избрания на профессорскую должность на новый срок для профессора полицейского права В. Н. Лешкова шесть профессоров подали в отставку, принятую министерством. Впоследствии они по просьбе Александра III взяли назад свои заявления.

[24] В 1860—1870 гг. министром народного просвещения был А. В. Головнин.

[25] Речь идет о статье «Москва, 10 февраля», посвященной вопросам народного просвещения.

ХУДЯКОВ И. А.

ЗАПИСКИ КАРАКОЗОВЦА
Московский университет
(1859 — 1860 год)

Печатается по изд.: Худяков И. А. Записки каракозовца. .., 1930.

Автор — ХУДЯКОВ Иван Александрович (1842—1876), револю-ионер-шестидесятник, в 1866 г. привлекался по делу Д. В. Каракозова был выслан в Верхоянск; фольклорист, этнограф.

[1] Латинская грамматика немецкого филолога-классика К.-Г. Цум-га (Zumpt), вышедшая в Германии в 1818 г., в 1835 г., в переводе П. Попова, была опубликована в России.

[2] Юрий Мосолов и Николай Шатилов были руководителями и орга-изаторами московского подпольного кружка «Библиотека казанских гудентов» и членами московского отделения общества «Земля и воля»; осле ареста в 1863 г. были приговорены в 1866 г. к ссылке в Сибирь.

[3] Арест в июле 1861 г. Перикла Аргиропуло и Петра Заичневского оложил начало следствию по обвинению их и многих членов их круж-а («Библиотека казанских студентов») в литографировании запрещен-ых сочинений, в создании тайной типографии и печатании революци-нных прокламаций; оба они были авторами знаменитой прокламации того времени «Молодая Россия».

[4] Враждебная позиция части профессуры университета нашла свое ыражение в «Исторической Записке», составленной университетской омиссией. Авторы утверждали, что у студентов «укоренилась привыч-а к сходкам и депутациям», сетовали на то, что, уничтожив карцер, олиция «лишилась всяких исправительных средств», жаловались, что литография лекций послужила поводом к распространению недозво-енных сочинений», что вообще было расценено современниками как рямое доносительство. Об этом см.: Титов А. А. Студенческие бес-орядки в Московском университете в 1861 г.: Из бумаг О. М. Бодян-кого. М., 1905.

[5] 31 мая 1861 г. были введены новые университетские правила, огласно которым запрещались всяческие формы студенческой корпо-ативной жизни, вводилась обязательная плата за обучение, что фак-ически закрывало доступ в университет юношам из бедных разночин-ых семей. Данные правила были сообщены студентам лишь после их озвращения с летних вакансий, что соответственно вызвало взрыв не-овольства, а это, в свою очередь, привело к закрытию Петербургского ниверситета.

[6] О панихиде 4 октября 1861 г. подробнее см. воспоминания I. Г. Прыжова, в наст. изд., с. 447—449.

[7] Речь идет о событиях 5—15 октября 1861 г. В ночь с 11 на 12 ок-ября прошли аресты среди студентов, участвовавших в сходке по

поводу составления адреса Александру II с просьбой отменить новые университетские правила.

[8] Совет университета отказался принять адрес и обратился к полиции с требованием прекратить беспорядки.

[9] 12 октября студенты отправились к московскому генерал-губернатору П. А. Тучкову, обещавшему ранее свое содействие в передаче адреса императору, разрешив при этом его составление. Но на этот раз он уклонился от встречи, а полицейские отряды, окружив студентов, подвергли их избиению.

[10] Дмитрий Юрасов был членом московского общества «Организация»; в 1866 г. был арестован по делу Каракозова и приговорен к каторжным работам, с конца 1871 г. находился на поселении в Якутской обл.

[11] Максимилиан Загибалов был членом общества «Организация», привлекался по делу Каракозова и приговорен к шести годам каторжных работ; в декабре 1871 г. вышел на поселение, впоследствии участник революции 1905 г.

[12] Феофан Борисов также привлекался по делу Каракозова, но в 1866 г. был освобожден и отдан под негласный надзор полиции.

[13] Этим событиям была посвящена большая статья «Московская бойня студентов», опубликованная Герценом в «Колоколе» (1861. 22 ноября. Л. 113). Автором ее была известная писательница графиня Е. В. Салиас (см.: За кулисами политики и литературы: Воспоминания Е. М. Феоктистова. Л., 1929. С. 368). Графиня, опасаясь преследований со стороны властей за свое сочувствие к движению, в рядах которого был и ее сын, выехала за границу. (Литературное наследство. Т. 39—40. С. 259). Студенческим событиям в Петербурге и Москве октябрьских дней 1861 г. посвящены также такие публикации Герцена, как «Петербургский университет закрыт», «Преображенская рота и студенты», «Третья кровь!», «По поводу студентских избиений».

ПРЫЖОВ И. Г.
МОСКВА, 4 ОКТЯБРЯ

Печатается по изд.: Прыжов И. Г. Очерки. Статьи. Письма. М., 1934.

Автор — ПРЫЖОВ Иван Гаврилович (1827 — 1885), этнограф, публицист, историк.

[1] И. Г. Прыжов в своей «Исповеди» следующим образом характеризовал «старый порядок вещей», времени начала 50-х г.: это «было самое жестокое для умственного развития... Ни одной книги из-за границы, ни одного живого слова в литературе, ни одного приятеля, чтобы отвести душу, и если мы встречались, так на одних лишь похоронах Грановского, его жены, Кудрявцева, Гоголя и т. д., встречались и дивились, что еще живы» (Прыжов И. Г. Очерки... С. 12).

[2] Имеется в виду ряд ура-патриотических стихотворений Ап. Майкова.

[3] Могила Грановского на Пятницком кладбище была не в третьем, а в пятом разряде; рядом погребены М. С. Щепкин, А. Н. Афанасьев, Н. Х. Кетчер, Е. Ф. Корш.

[4] Книга, которую читал Грановский в день своей смерти, было сочинение французского историка Ф. Перренса «Jérome Savanarole» (1853).

[5] О посещении Прыжовым могилы Грановского 4 октября 1861 г. рассказывает профессор Московского университета С. В. Ешевский: «4 октября я приехал на Пятницкое кладбище вместе с В. Ф. Коршем... и прошел прямо на могилу Грановского... На кладбище почти никого не было. Прыжов... со сторожем мели большое пространство, обнесенное решеткой; увидя нас, он бросил метлу и, сказав: «Пусть дометают друзья Грановского», надел пальто и вышел» (Русская старина. 1898. Т. 6. С. 595).

[6] Московским полицмейстером в 1849 — 1869 гг. был И. И. Сечинский.

КАРЕЕВ Н. И.

АНЕКДОТА

(Кое-что из «неизданного» о профессорах А. Ф. Кони)

Печатается по изд.: Анатолий Федорович Кони. 1844—1924: Юбилейный сборник. Л.: Атеней, 1925, С. 57—69.

Автор — КАРЕЕВ Николай Иванович (1850 — 1931), историк, профессор Высших женских курсов, Варшавского и Петербургского университетов, член-корреспондент Академии наук, член ЦК конституционно-демократической партии.

[1] См.: Кони А. Ф. Борис Николаевич Чичерин (ум. 3 февраля 1904 г.). Кони А. Ф. Очерки и воспоминания: (Публичные чтения, статьи и заметки). Спб., 1906. С. 281 — 286. [Далее: Кони А. Ф. Указ. соч.— *Ред.*]

[2] Телесные наказания были отменены при проведении судебной реформы в 1864 г.

[3] Неверно: Г. А. Иванов напечатал статью «Взгляд Цицерона на современное ему изучение красноречия в Риме в связи с его собственным образованием. Актовая речь» (М., 1878), а также ряд небольших заметок, некрологов (в том числе и на П. М. Леонтьева в 1875 г.).

[4] И. К. Бабст был управляющим московским Купеческим банком с 1867 г.

[5] М. Н. Капустин был попечителем Дерптского, а затем Петербургского учебных округов.

[6] См.: Беляев И. Д. Крестьяне на Руси: Исследование о постепенном изменении значения крастьян в русском обществе. М., 1860.

[7] Франко-прусская война 1870 — 1871 гг.

[8] Московское Юридическое общество возникло при ближайшем участии В. Н. Лешкова, первым председателем которого он состоял в 1865 — 1880 гг.; съезд русских юристов был созван в 1875 г.

[9] См.: Крылов Н. И. История римского права: Лекции... 1868/9 г. М. [1869]; Он же. Система римского гражданского права. Курс лекций... [М., 1871]. Т. 1.

[10] С. А. Муромцев в 1906 г. был председателем I Государственной думы.

[11] См.: Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. Т. 32. С. 870.

[12] См.: Кони А. Ф. Указ. соч. С. 229 — 238.

[13] См.: Кони А. Ф. Указ. соч. С. 282.

[14] Н. И. Крыловым были опубликованы работы: 1) речь «Об историческом значении римского права», произнесенная 11 июня 1838 г.» в кн.: Краткий отчет о состоянии и действиях Московского университета за 1836/7 и 1837/8 академические годы. М., 1838; 2) «Критические замечания, высказанные профессором Крыловым на публичном диспуте в Московском университете 21 декабря 1856 года на сочинение г. Чичерина «Областные учреждения в России в XVII веке» (Русская беседа. 1857. № 1), а также несколько юридических заметок в газете «Молва».

[15] Выступление Н. И. Крылова в 1857 г. в «Русской беседе» и «Молве» с рецензией на работу Б. Н. Чичерина «Областные учреждения в России в XVII веке» (М., 1856) положило начало ожесточенной полемике, а вернее, травле рецензента со стороны «Русского вестника». Выступление М. Н. Каткова, Ф. М. Дмитриева и П. М. Леонтьева (под псевдонимом «Байборода») ставило своей целью сорвать с оппонента «пышную мантию незаслуженного авторитета», но, по сути дела, свелась к полемике по ряду мелких спорных вопросов. Ожесточенность позиции «Русского вестника» вызвала выступление молодого юриста Шпилевского и С. П. Шевырева (под псевдонимом «Ярополк»), поддержавших Крылова. Эта травля не прошла бесследно для Крылова.

ЯНЖУЛ И. И.
О ПЕРЕЖИТОМ И ВИДЕННОМ...

Печатается по изд.: Воспоминания И. И. Янжула о пережитом и виденном в 1864 — 1909 гг. Спб., 1910. Вып. 1.

Автор — ЯНЖУЛ Иван Иванович (1845 — 1914), академик, выдающийся русский экономист и статистик.

[1] Речь идет об историческом сочинении «Анабасис» древнегреческого историка Ксенофонта, посвященном описанию похода 10 000 греческих наемников в составе войска Кира Младшего.

[2] Эта полемика велась со страниц основанного в 1860 г. Н. А. Сергиевским духовного журнала «Православное обозрение», редактором которого он был в течение девяти лет.

[3] См.: Беляев И. Д. Крестьяне на Руси.

[4] Проблемам археологии и антропологии края А. П. Богданов посвятил две работы: «Курганное племя Московской губернии: Предварительная заметка» (М., 1865) и «Материалы для антропологии курганного периода в Московской губернии» (М., 1863).

[5] О полемике «Русского вестника» с Н. И. Крыловым см. подробнее воспоминания Н. И. Кареева и комментарий к ним в наст. изд., с. 456, 660, сн. 19.

[6] Расхождение позиций русских либералов и революционной демократии с очевидностью наметилось еще в «Письме к издателю», написанном К. Д. Кавелиным и Б. Н. Чичериным и опубликованном А. И. Герценом в 1856 г. в первом номере «Голосов из России». При личной встрече в Лондоне осенью 1858 г. Чичерин пытался убедить Герцена придерживаться более умеренного тона, ибо «у нас были общие враги, общие воспоминания, общие интересы»,— вспоминал позже Чичерин (Воспоминания Б. Н. Чичерина: Путешествие за границу. М., 1932. С. 49). Эта встреча положила начало их разрыву. «С первых слов я почуял, что это не противник, а враг»,— писал позже Герцен (Герцен А. И., IX, 248). Резкое письмо Чичерина, опубликованное в «Колоколе» (1858. Л. 29), с предисловием Герцена под заглавием «Обвинительный акт», продемонстрировало окончательное расхождение позиций, что нашло горячую поддержку в России. Не нашел Чичерин поддержки даже среди большинства единомышленников и друзей, в числе которых были К. Д. Кавелин, И. К. Бабст, П. В. Анненков, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, А. В. Никитенко и др.

[7] Б. Н. Чичерин был московским головой в 1882—1883 гг.

[8] Американский публицист и экономист Генри Джордж в работах «Прогресс и бедность», «Что такое единый налог и почему мы его добиваемся?», «Великая общественная реформа. (Налог с ценности земли)» считал экспроприацию земли у народных масс единственной причиной разделения людей на богатых и бедных и делал вывод, что не пролетарская революция и национализация всех средств производства, а национализация земли буржуазным государством или высокий государственный налог на частную земельную собственность могут положить конец обнищанию масс в буржуазном государстве. К. Маркс, критикуя подобную позицию, считал, что это «не что иное, как скрытая под маской социализма попытка спасти господство капиталистов и фактически заново укрепить его на более широком, чем теперь, основании» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 27. С. 140). На ошибки Г. Джорджа указывал и В. И. Ленин, который говорил, что заблуждением автора является смешение частной собст-

венности на землю с господством капитала в земледелии» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 367).

ТИМИРЯЗЕВ А. К.
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ СТОЛЕТОВ

Печатается по изд.: Ученые записки Московского государственного университета. Вып. 52, 1940. (Юбилейная серия.)

Автор — ТИМИРЯЗЕВ Аркадий Климентович (1880 — 1955), физик, профессор Московского университета, сын К. А. Тимирязева.

[1] С данным докладом автор выступил на торжественном заседании совета физического факультета Московского университета 15 сентября 1939 г. в ознаменование 100-летия со дня рождения А. Г. Столетова.

[2] Цитата из оды М. В. Ломоносова «На день восшествия на всероссийский престол ея величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». См.: Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 206.

[3] См.: Страхов П. И. Краткое начертание физики. М., 1810.

[4] См.: Михельсон В. А. Избранные задачи по практической физике. 3-е изд. М., 1926 (1-е изд.— М., 1902).

[5] Н. Н. Шиллер с 1903 г., по существу, отошел от научной деятельности, занимая пост члена совета министерства просвещения.

[6] Памяти Р. А. Колли Столетов посвятил некролог (Спб., 1891).

[7] См.: Столетов А. Г. Михаил Петрович Авенариус: Биографический очерк. Спб., 1895.

[8] По настоянию Столетова в 1881 г. на Международном конгрессе электриков была принята единица для величины электрического сопротивления — Ом.

[9] Д.-К. Максвелл выдвинул идею электромагнитной природы света, установил статистическое распределение, названное его именем.

[10] Доклад А. Г. Столетова «Об актино-электрических токах в разреженных газах» был опубликован во французском журнале «Journal de Physique» (2), 9, 1890. См. также: Столетов А. Г. Собр. соч. М.; Л., 1939. Т. 1. С. 270—275.

[11] Президентом Академии наук в 1889 — 1915 гг. был вел. кн. Константин Константинович.

[12] Принадлежа к наиболее прогрессивной части русской интеллигенции, Столетов, особенно в последние годы жизни, своим сочувствием к революционным выступлениям студентов навлек на себя немилость правительственных кругов, что и послужило одной из причин, по которым в 1893 г. его кандидатура в Академию наук была неожиданно снята, что тяжело отразилось на душевном состоянии ученого.

[13] См.: Столетов А. Г., Соколов А. П. По поводу «исследований» кн. Б. Голицына. М., 1893. См. также наст. изд., с. 519—520, 671 (сн. 2).

[14] Активно сотрудничая в Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии, Столетов возглавлял там в 1881—1889 гг. отделение физических наук.

[15] Имеется в виду И. Д. Делянов.

КОВАЛЕВСКИЙ М. М.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В КОНЦЕ 70-Х И НАЧАЛЕ 80-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА

(Личные воспоминания)

Печатается с сокращениями по изд.: Вестник Европы, 1910. № 5. С. 178—221.

Автор — КОВАЛЕВСКИЙ Максим Максимович (1851 — 1916), историк, юрист, социолог, профессор Московского и Петербургского университетов, академик, член I Государственной думы, член Государственного совета, член партии «демократических реформ», земский деятель.

[1] Повести Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность» были впервые опубликованы в журнале «Современник» (1852, № 9; 1854. № 9; 1857. № 1), В 1856 г. две первые повести были изданы отдельной книгой.

[2] М. М. Ковалевский после окончания Харьковского университета в 1872 — 1876 гг. работал в европейских архивах и библиотеках, собирая материал для своей магистерской диссертации. К этому времени относятся его встречи с Г. Спенсером и К. Марксом, сыгравшие решающую роль в становлении его исторического мировоззрения.

[3] А. И. Чупров был председателем статистического отделения Московского юридического общества; его работа «Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства» (1897) подверглась критике В. И. Лениным в работе «Развитие капитализма в России». См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 207, 311.

[4] Этим вопросам посвящена работа И. И. Янжула «Английское фабричное законодательство» (М., 1880).

[5] И. И. Янжул в 1882 — 1887 гг. был фабричным инспектором Московского округа, что нашло свое освещение в его книге «Из воспоминаний и переписки фабричного инспектора первого призыва: материалы для истории русского рабочего вопроса и фабричного законодательства» (М., 1907).

[6] Имеется в виду работа немецкого юриста Р. Иеринга, появившаяся в 1852 — 1854 гг., первый том которой был переведен на русский язык. См.: Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях своего развития. Спб., 1875. Ч. 1.

[7] Журнал «Юридический вестник», основанный Московским юридическим обществом, выходил в Москве в 1867 — 1892 гг. Редакторами в разное время были Н. В. Калачев, В. Н. Лешков, М. М. Ковалевский,

С. А. Муромцев и др. Журнал был либерального направления. В нем была хорошо поставлена экономическая статистика, материалами которой, в частности, пользовался В. И. Ленин, работая над книгой «Развитие капитализма в России». В 1892 г. журнал был отдан под предварительную цензуру, в результате чего Юридическое общество решило прекратить его издание.

[8] См.: Стороженко Н. И. Роберт Грин: Его жизнь и произведения: Критическое исследование. М., 1878. В Англии в 1881 — 1886 гг. А.-Б. Гросартом было осуществлено 15-томное издание сочинений поэта, в первый том которого и вошла переведенная на английский язык монография Стороженко.

[9] Получили известность труды В. Ф. Миллера о русском языке и фольклоре, индоиранских языках. При изучении былин им были разработаны основы исторической школы в фольклористике.

[10] Журнал «Критическое обозрение» выходил в Москве под редакцией В. Ф. Миллера и М. М. Ковалевского два раза в месяц в 1879—1880 гг. В нем проводилась идея буржуазного конституционализма.

[11] См.: Буслаев Ф. И. Русское искусство в оценке французского ученого//Критическое обозрение, 1879. № 2, 5.

[12] См.: Ковалевский М. М. В горских обществах Кабарды// Вестник Европы. 1884. № 4.

[13] См.: Ковалевский М. М. Современный обычай и древний закон: Обычное право осетин в историко-сравнительном освещении. М., 1886. Т. 1—2.

[14] Эта работа была издана в Париже на французском языке в 1893 г., журнальный вариант (на английском языке) — в 1883 г.

[15] Славянские комитеты в России развернули широкую и разнообразную деятельность по оказанию помощи народам Балкан, восставшим против турецкого ига,— материальная помощь, вербовка и отправка русских добровольцев; в 1877 г. вся деятельность комитетов сосредоточилась на помощи в формировании и обмундировании болгарских военных дружин, покупке и доставке оружия.

[16] М. Х. Черняев в 1876 г. был главнокомандующим Тимокско-Моравской армией.

[17] Ю. Ф. Самарин умер в 1876 г.

[18] В. А. Черкасский с октября 1876 г. был уполномоченным русского Красного Креста при действующей армии в Сербии; с ноября 1876 г.— заведующий устройством гражданского управления в Болгарии при главнокомандующем.

[19] Н. А. Киреев, принявший участие в сербо-турецкой войне, погиб 6 июля 1876 г.

[20] О. А. Новикова, жившая в 80-х гг. в Лондоне, тайно переписывалась с Александром III и играла видную роль в английских официальных кругах.

[21] Английский историк А.-В. Кинглек, будучи в Крыму во время высадки союзных войск в 1854 г. и участвуя в битве при Альме, был автором известного сочинения «History of the Crimean War». London. 1863—1887. Vol. 1—8).

[22] В конце июля 1876 г., когда о жестокой расправе турок над восставшими болгарами стало известно в Европе, общественное мнение европейских государств потребовало от своих правительств расследования событий. Многотысячные митинги, петиции в адрес английской королевы Виктории, премьер-министра Дизраэли и других министров, запросы либеральной оппозиции во главе с Гладстоном заставили английское правительство согласиться на организацию расследования. С этой целью была создана миссия Уолтера Беринга и ряда других лиц.

[23] Отрицательное отношение русской общественности к итогам Берлинского конгресса (июнь 1878 г.), сведшего на нет успехи России в русско-турецкой войне, нашло свое резкое выражение в речи И. С. Аксакова, с которой он выступил 22 июня 1878 г. в Московском славянском благотворительном обществе. Обвинив в трусости и уступчивости канцлера А. М. Горчакова и военного министра Д. А. Милютина, он заявил, что «весь конгресс не что иное, как открытый заговор против русского народа. Заговор с участием самих представителей России» (См.: Аксаков И. С. Соч. Спб., 1886. Т. 1. С. 297—308). Правительство Александра II не могло допустить, чтобы эта речь рассматривалась кем бы то ни было как проявление официальной линии русской внешней политики. С этой целью уже 7 июля Аксакову был объявлен строжайший выговор от московского генерал-губернатора В. А. Долгорукова. Одновременно было принято решение министерства внутренних дел о немедленном его отстранении от места председателя Московского славянского благотворительного общества, а 21 июля было упразднено и само общество и последовало распоряжение о высылке Аксакова из Москвы. 26 июля он выехал в с. Варварино Владимирской губернии, где и пробыл до декабря 1878 г.

[24] См.: Ковалевский М. М. Критическая заметка: Материалы для изучения Болгарии//Вестник Европы, 1878. № 3.

[25] См.: Ковалевский М. М. Заметка по поводу болгарской конституции//Слово. 1879. № 3. Март. С. 134—139.

[26] Речь идет о восстании в Царстве Польском в 1863—1864 гг.

[27] Уставом 1863 г. университетам предоставлялась широкая автономия (кроме Дерптского и Гельсингфорского, которые имели свои уставы). Советы университетов получали право самостоятельно решать все научные, учебные и административно-финансовые вопросы, выборность ректора, деканов и профессоров с последующим утверждением их в должности министром народного просвещения. Это был один из либеральных университетских уставов в царской России.

[28] Впервые против устава 1863 г. Н. А. Любимов выступил со

статьей «По поводу предстоящего пересмотра университетского устава» в 1873 г. (Русский вестник. № 2). Его вторичное выступление в 1876 г. являлось законченной реакционной программой по университетскому вопросу. Его программа и деятельность в комиссии министра просвещения И. Д. Делянова вызвали резко отрицательное отношение в университетских кругах. В коллективном письме 35 профессоров высказали ему «нравственное осуждение». Клеветнические письма М. Н. Каткова и Н. А. Любимова в «Московских ведомостях» (1876. 29 декабря; 1877. 6 января) против московской профессуры привели к созыву 13 января 1877 г. чрезвычайного заседания совета Московского университета под председательством ректора С. М. Соловьева. Совет университета квалифицировал выступление Любимова как ложное и оскорбительное для университета. К этому мнению присоединился и совет Казанского университета, что демонстрировало уже широкую общественную позицию, а это никак не входило в расчеты правительства. Министерство народного просвещения расценило действия совета Московского университета «неправильными», профессора В. И. Герье и С. А. Усов получили выговор. В этих условиях С. М. Соловьев был вынужден подать в отставку. По свидетельству современников, травля и доносы Любимова ускорили кончину выдающегося русского историка.

[29] См.: Вырубов Г. Н. Школьные воспоминания. Спб., 1910, с. 41—42.

[30] См.: Любимов Н. А. Крушение монархии во Франции: Очерки и эпизоды первой эпохи французской революции (1787—1790). М., 1893.

[31] Ошибка: издано 20, а не 18 томов, как утверждает Ковалевский. См.: Viel-Castel L. de. Histoire de la Restauration. P., 1860—1878. T. 1—20.

[32] В первом номере журнала «Критическое обозрение» за 1879 г. была помещена рецензия С. М. Соловьева на кн.: Rockain F. L'Esprit révolutionnaire avant le révolution (1715—1789). P., 1878.

[33] См.: Чичерин Б. Г<осподину> редактору «Критического обозрения» М. М. Ковалевскому, 4 февраля 1879//Критическое обозрение. 1879. № 4. С. 32—33; Ковалевский М. М. Ответ проф. Б. Н. Чичерину. Москва, 11 февраля 1879 г.//Там же. С. 33—37.

[34] См.: Ключевский В. О. Древнерусские жития святых, как исторический источник: Исследование. М., 1871; Он же. Сказание иностранцев о Московском государстве: Рассуждение студента Василия Ключевского, писанное для получения степени кандидата по историко-филологическому факультету//Московские университетские известия, 1866. № 7—9. В том же году эта работа была издана отдельным из-

данием. См.: Ключевский В. О. Московское государство по описанию иностранцев XV — XVII веков. М., 1866.

35 Кроме двух рецензий В. О. Ключевским без подписи был опубликован в «Критическом обозрении» (1879. № 20. С. 37 — 40) некролог на смерть С. М. Соловьева.

36 См.: Ключевский В. О. Крепостной вопрос накануне законодательного его возбуждения//Критическое обозрение, 1879. № 3.

37 См.: Васильчиков А. Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах. Спб., 1876. Т. 1—2.

38 См.: Герье В., Чичерин Б. Русский дилетантизм и общинное землевладение: Разбор книги князя А. Васильчикова «Землевладение и земледелие». М., 1878.

39 Рецензию Ковалевского на книгу А. Нассе «О средневековом общинном землевладении» (Ярославль, 1878) см.: Книжное обозрение, 1879. № 2.

40 О диспуте Ковалевского по поводу магистерской диссертации Н. И. Кареева «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века» см.: Критическое обозрение, 1879. № 9, 10.

41 См.: Гизо Ф. История цивилизации во Франции. М., 1877—1881. Т. 1—4 (т. 1—2 — переводчик П. Г. Виноградов; т. 3—4 — Мария Кореак).

42 См.: Ковалевский М. М. Общественный строй Англии в конце средних веков. М., 1880.

43 Итогом работы П. Г. Виноградова в 1883—1884 гг. над обширными архивными материалами Англии явилась его диссертация «Исследования по социальной истории Англии в средние века» (Спб., 1887).

44 Рецензию М. М. Ковалевского на работу Виноградова «Early English Land Tenures» см. журнал «Law Quartely Review» (1888. Vol. 4. N 15); в этом же году в Лондоне вышла отдельным изданием.

45 См.: Vinogradoff P. English society in the eleventh century. Essays in English medaevel history. Oxford Clarendon Press, 1908.

46 Г. Брактон был автором неоконченного трактата «О законах и обычаях Англии».

47 См.: Maitland F., Pollock F. History of English Law. L., 1895.

48 Об этом см. статьи Алексея Николаевича Веселовского в журнале «Вестник Европы» (1878, № 5), в первом томе собрания сочинений Ж.-Б. Мольера (Спб., 1884), а также во французских специальных изданиях («Le Molieriste» и «Molièri-Museum»).

49 Речь идет об Александре Николаевиче Веселовском.

[50] См.: Веселовский А. Н. Музыка у славян//Русский вестник. 1866. № 4, 7.

[51] См.: Веселовский А. Н. Старинный театр в Европе. М., 1870. Он же. Deutsche Einflüsse auf das alte russische Theater. Praha, 1876.

[52] См.: Веселовский А. Н. Этюды о Мольере. Тартюф. История типа и пьесы. М., 1879; Он же. Этюды о Мольере. Мизантроп: (Опыт нового анализа пьесы и обзор созданной ею школы). М., 1881.

[53] См.: Веселовский А. Н. Бомарше: Опыт характеристики//Бомарше П.-О. Трилогия Спб., 1888. С. 1—83. Этой работе предшествовала большая статья «Бомарше и его судьба» (Вестник Европы. 1887. № 2, 3).

[54] В журнале «Вестник Европы» Веселовский помещает работы, посвященные Д. Дидро (1884. № 10, 11), Джонатану Свифту (1877, № 1), песням Беранже (1895. № 1) и т. д.

[55] См.: Веселовский А. Н. Байрон: Биографический очерк. М., 1902; 2-е изд.— М., 1914.

[56] Работа А. Н. Веселовского «Западное влияние в новой русской литературе: Сравнительно-исторические очерки» (М. 1883) выдержала пять изданий (последнее, значительно дополненное — М., 1916).

[57] См.: Миллер В. Ф. Взгляд на «Слово о полку Игореве». М., 1877.

[58] Все многочисленные публикации работ Миллера были затем собраны автором в одно издание. См.: Миллер В. Ф. Очерки народной словесности. М., 1897—1910. Т. 1—2. Третий том вышел уже в советское время (Былины и исторические песни. М.; Л., 1924).

[59] В работе «О происхождении русских былин» (Спб., 1868) В. В. Стасов выдвинул тезис, согласно которому русские былины объявлялись не самобытными национальными произведениями, а целиком заимствованными с Востока, представляющими лишь пересказ его поэтических произведений. С опровержениями выступили А. А. Шефнер и Ф. И. Буслаев (См.: Беседы в Обществе любителей российской словесности. М., 1871. Вып. 3). Полемика сыграла свою положительную роль, ибо привела к пересмотру некоторых прежних толкований и наметила, в свою очередь, пути для историко-литературного метода изучения, исходя из факта общения всех народов в процессе поэтического творчества. Тезис Стасова о восточном происхождении некоторых былинных сюжетов был в дальнейшем развит Г. Н. Потаниным.

[60] См.: Янжул И. И. Исторический очерк развития фабрично-заводской промышленности в Царстве Польском. М., 1887; Он же. Отчет по исследованию фабрично-заводской промышленности в Царстве Польском. Спб., 1888.

[61] В 1901 г. М. М. Ковалевский основывает в Париже с группой единомышленников Русскую высшую школу общественных наук для

эмигрантской молодежи. Директором этой школы был сам Ковалевский, почетным председателем — И. И. Мечников. С лекциями выступали Н. И. Кареев, М. И. Туган-Барановский, Г. В. Плеханов и др. В феврале 1903 г. В. И. Ленин прочитал здесь четыре лекции на тему «Марксистские взгляды на аграрный вопрос в Европе и в России» (См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 107—116, 475—476.).

[62] О травле Янжула Шараповым и об обстоятельствах его отставки см: Янжул И. И. Воспоминания о пережитом и виденном в 1864—1909 гг., с. 172—191.

[63] Автора статьи «Самодержавие по-ученому. Из литографированных курсов настоящего» (Русское слово. 1886. № 33. 6 декабря) возмущает то, что, по мнению «крамольного профессора», русский государственный строй был лишь «стадией мирового развития государственности и в разные моменты существования России изменялся в прошлом, а следовательно, может измениться и в будущем!»

[64] Имеется в виду инспектор Московского университета А. А. Брызгалов.

[65] По словам министра просвещения И. Д. Делянова, удаление Ковалевского из университета было необходимо, «ввиду политического вреда, могущего произойти от преподавания этого профессора и его упорства в самом развращающем умы юношества направлении». (Цит. по кн.: Щетинина Г. И. Университеты в России и устав 1884 года. М., 1976. с. 173). Это же он повторил в своей резолюции по поводу увольнения Ковалевского: ...лучше иметь на кафедре преподавателя со средними способностями, чем особенно даровитого человека, который, однако, несмотря на свою ученость, действует на умы молодежи растлевающим образом» (Цит. по кн.: Сватиков С. Опальная профессура 80-х годов//Голос минувшего. 1917. № 2. С. 42). 6 июня 1887 г. ученый, которого К. Маркс называл одним «из моих «научных» друзей» (Письмо К. Маркса Н. Ф. Даниельсону от 19 сентября 1879 г.//К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. М., 1967. С. 397), был вынужден покинуть Россию.

[66] В 1887—1905 гг. М. М. Ковалевский живет за границей. Вначале он получил приглашение в Стокгольмский университет, где читал лекции от фонда Лоренса (первая попытка организации высшей школы общественных наук). В 1888 г. последовало приглашение от Оксфордского университета, где им был прочитан курс «современного обычая и древнего закона в России». Далее Ковалевский в течение пяти лет читал курс истории экономического развития Европы и России в Новом Брюссельском университете. Параллельно с Высшей школой он читал лекции и в «Collège lebre des sociales» в Париже. Вскоре он получил приглашение из Америки и стал вести курсы в университетах Чикаго и Сан-Франциско.

[67] В 1905 г. Ковалевский вернулся в Россию и стал читать лекции

в Петербургском политехническом и Психоневрологическом институтах, в 1906—1916 гг. — в Петербургском университете и на Высших женских курсах и т. д. Избранный в 1899 г. членом-корреспондентом Академии наук, в 1914 г. он стал ее действительным членом. В 1906 г. он был избран в I Государственную думу, а в 1907 г.— в Государственный совет.

[68] В данном случае речь идет о работе В. А. Легонина «О расстройствах выражения состояния (афазия) в судебно-медицинском отношении» (М., 1883).

[69] Н. П. Боголеповым написаны учебники о значении общенародного гражданского права в римской юриспруденции (М., 1876), учебник по истории римского права (М., 1895). Кроме этого, им неоднократно издавались его лекции по семейному римскому праву, литографированные курсы по римскому праву и т. д.

[70] См.: Харузин М. Н. Сведения о казацких общинах на Дону. М., 1885. Вып. 1.

КАБЛУКОВ И. А.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ХИМИИ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ С СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ XIX ВЕКА

Печатается по изд.: Успехи химии. 1940. Т. 9. Вып. 6. С. 727—733.

Автор — КАБЛУКОВ Иван Алексеевич (1857—1942), физико-химик, профессор Московского университета, почетный член АН СССР.

[1] Русское физико-химическое общество было создано в 1868 г.

[2] Подробнее о работах В. В. Марковникова этого периода см. библиографию научных трудов ученого в кн.: Марковников В. В. Избранные труды. М., 1955. С. 845—849.

[3] Лермонтова Юлия Всеволодовна, одна из первых русских женщин-химиков, ближайший друг С. В. Ковалевской. Об этом см.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма [2] изд., испр. М., 1961. С. 337—385.

[4] Речь идет о покушении народовольцев на Александра II.

[5] Имеется в виду процесс разложения молекул на более простые молекулы, атомы, атомные группы или ионы; различаются диссоциации термическая, электролитическая и фотохимическая.

ТАНЕЕВ П. В.

ВОСПОМИНАНИЯ О КЛИМЕНТЕ АРКАДЬЕВИЧЕ ТИМИРЯЗЕВЕ

Печатается по изд.: Климент Аркадьевич Тимирязев: Сборник. М., 1940. С. 108—121.

Автор — ТАНЕЕВ Павел Владимирович (1889—1961), почвовед.

[1] Речь идет в данном случае о неудачных действиях сербской армии, под руководством русского генерала М. Г. Черняева, против турецкой армии.

[2] См.: Голицын Б. Б. Исследования по математической физике. М., 1893. Ч. 1—2. По мнению советских физиков, ненужная полемика, возникшая вокруг неверной рецензии на эту диссертацию, помешала Голицыну довести до конца решение проблемы температурного излучения. Это было сделано позже немецким физиком М. Планком и советским физиком В. А. Михельсоном. Несомненно, что Голицын вплотную подошел к новой, квантовой теории в физике.

[3] Об этом см. воспоминания М. С. Сабашникова в наст. изд., с. 580—581.

[4] Работы К. А. Тимирязева «Жизнь растения» (1878) и «Чарльз Дарвин и его учение» (1883) неоднократно переиздавались как при жизни их автора, так и после его смерти.

[5] Лекции, которые в 80-х гг. читал в Политехническом музее К. А. Тимирязев, вызывали большой интерес слушателей и проходили с большим успехом. Об этом см. свидетельства самого Тимирязева (Соч. М., 1938. Т. 5. С. 74).

[6] 29 июля 1899 г. были введены «временные правила», согласно которым в солдаты отдавались бастующие студенты. Об этом см. статью В. И. Ленина 1901 г. «Отдача в солдаты 183-х студентов» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 393—396). Сочувственно относился к студенческому движению и резко протестовал против правительственных карательных мер и великий русский писатель Л. Н. Толстой. Об этом см. его статью «Студенческое движение» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 31) и переписку с В. Г. Чертковым (там же, т. 88).

[7] Речь идет об отце писателя Андрея Белого.

[8] К. А. Тимирязев поступил в Петербургский университет в 1861 г., но был исключен из него в 1862 г. за отказ подписать обязательство не участвовать в сходках и организациях. Он вернулся в университет через год в качестве вольнослушателя.

[9] В Кремлевской библиотеке В. И. Ленина хранится экземпляр книги К. А. Тимирязева «Наука и демократия. Сборник статей 1904—1909 гг.» (М., 1920) с дарственной надписью на с. IX: «Глубокоуважаемому Владимиру Ильичу Ленину от К. Тимирязева, считающего за счастье быть его современником и свидетелем его славной деятельности». (См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 423). 27 апреля 1920 г. В. И. Ленин ответил с благодарностью: «Дорогой Климентий Аркадьевич! Большое спасибо Вам за Вашу книгу и добрые слова. Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания против буржуазии и за Советскую власть. Крепко, крепко жму Вашу руку и от всей души желаю Вам здоровья, здоровья и здоровья!» (там же, с. 185).

[10] К. А. Тимирязев участвовал в работе Государственного ученого совета Народного комиссариата просвещения РСФСР, помогал в организации Социалистической (позднее Коммунистической) академии, чле-

ном которой и был избран в 1919 г. В 1920 г. был избран депутатом в Московский Совет.

[11] Это письмо, оглашенное на пленуме Московского Совета 6 марта 1920 г., на следующий же день было опубликовано в «Правде» и «Известиях» ВЦИК (Тимирязев К. А. Соч. М., 1939. Т. 9. С. 433).

[12] В 1919 г. в знак протеста против английской интервенции К. А. Тимирязев отказался от звания почетного доктора Кембриджского университета.

[13] Памятник К. А. Тимирязеву работы замечательного советского скульптора С. А. Меркурова был воздвигнут в Москве в 1922—1923 гг. Решением СНК РСФСР от 10 декабря 1923 г. Петровская академия была названа Сельскохозяйственной академией имени К. А. Тимирязева; его имя также присвоено Институту физиологии растений АН СССР.

ЩЕТИНИН Б. А.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

(Из недавнего прошлого)

Печатается по изд.: Исторический вестник. 1905. № 2. С. 501—514.

Автор — ЩЕТИНИН Борис Александрович (? — ?), князь, публицист, литератор.

[1] Речь идет об университетском уставе 1884 г.

[2] В 1884 г. А. А. Брызгаловым был организован студенческий хор и оркестр, который, по свидетельству современников, фактически превратился в черносотенную «дружину», выделявшую из своего состава добровольных шпионов и доносчиков. Вполне естественно, что сознательные студенты покинули оркестр. Намерение Брызгалова пригласить на концерт в качестве почетного гостя М. Н. Каткова вызвало в 1885 г. возмущение студентов, что привело, в свою очередь, к новым акциям со стороны инспектора — обыскам, арестам и ссылкам. Брызгалову и этого показалось мало, и по его распоряжению была закрыта кухмистерская, ставшая, по его выражению, «гнездом нигилистического разврата». Таким образом, «брызгаловская история» 1887 г. была вызвана не мелочными придирками и опекой университетского инспектора, а явилась выражением протеста студенческой молодежи против его политической деятельности. Возмущение студентов положило конец «деятельности» излишне ретивого инспектора и вынудило его подать в отставку.

[3] Князь Владимир Андреевич Долгоруков был московским генерал-губернатором в 1856—1890 гг.

[4] *«Гражданин»* — политический и литературный журнал-газета, выходивший в Петербурге в 1868—1914 гг.; активно защищал монархический строй, подвергая нападкам все прогрессивное на Западе и в России.

[5] *«Новое время»* — политическая и литературная газета, выходив-

шая в Петербурге в 1868—1917 гг. В описываемое время издателем газеты (с 1876 г.) был А. С. Суворин. Газета вела ожесточенную борьбу против русской демократии, не гнушаясь прямым доносительством и клеветой.

ВАСИЛЕНКО С. Н.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КОМПОЗИТОРА

Печатается с сокращениями по изд.: Василенко С. Н. Страницы воспоминаний. М.; Л., 1948.

Автор — ВАСИЛЕНКО Сергей Никифорович (1872—1956), композитор, с 1907 г. профессор Московской консерватории, с 1940 г. н. а. РСФСР.

[1] Речь идет о В. А. Легонине.

[2] М. П. Беляев, являясь горячим пропагандистом русской музыки, в 1884 г. учредил Глинкинские премии. Кроме этого, он организовал «Русские симфонические концерты» (1885 г.), а также «Русские квартетные вечера» (1891 г.), на которых исполнялись произведения русских композиторов. Беляевский кружок музыкантов, собиравшихся в 80—90-х гг. XIX в. в Петербурге, возглавляемый Н. А. Римским-Корсаковым, по своей направленности был преемником «Могучей кучки».

[3] О данном свидетельстве С. Н. Василенко см. также соображения академика М. В. Нечкиной в книге «Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества». (с. 603).

ГОТЬЕ Ю. В.
УНИВЕРСИТЕТ

Печатается по изд.: Вестник МГУ, 1982. № 4. С. 13—27.

Автор — ГОТЬЕ Юрий Владимирович (1873—1943), историк, археолог, академик (с 1939 г.); в 1891—1895 гг. студент Московского университета, в 1903—1915 гг. приват-доцент, а затем профессор Московского университета.

[1] См.: Мельгунов П. П. Первые уроки истории: Древний Восток. М., 1879; 8-е изд.— М., 1907.

[2] О защите В. Е. Якушкиным магистерской диссертации «Очерки по истории русской поземельной политики в XVIII и XIX вв.» см.: Исторические диспуты в 1890 г.//Историческое обозрение. 1890. Т. 1. С. 300—301. Книга Якушкина вызвала оживленную полемику в печати, в которой участвовали П. Н. Милюков, В. А. Мякотин и др. Ее завершило письмо Якушкина в редакцию журнала «Вестник Европы» (1890. № 11. С. 444—445).

[3] Об общественно-политической позиции В. И. Герье после револю-

ции 1905 г. см. подробнее: Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963. Т. 3. С. 252—253.

[4] См.: Любимов. Н. А. Крушение монархии во Франции: Очерки и эпизоды первой эпохи французской революции (1787—1790). М., 1893.

[5] Трактат Аристотеля «Афинская полития» был обнаружен лишь в 1890 г.

[6] Первая часть «Курса русской истории» В. О. Ключевского вышла в свет в 1904 г., вторая — в 1906 г., третья — в 1908 г., четвертая — в 1910 г. За период 1904—1911 гг. Ключевский подготовил несколько переизданий своего труда. Пятую часть, которую он стремился довести до 1855 г., года смерти Николая I, историк не успел закончить.

[7] Речь идет о книге С. М. Соловьева «Общедоступные чтения о русской истории (М., 1874; 3-е изд. — М., 1894).

[8] См.: Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества//Русская мысль. 1880. № 1, 3, 4, 10, 11; 1881. № 3, 6, 8—10. Эта работа была защищена им 29 сентября 1882 г. в качестве докторской диссертации; в том же году она вышла отдельным изданием.

[9] В. О. Ключевский читал лекции в Московской духовной академии 36 лет, с 1870 по 1905 г.

[10] О своем общении с Ключевским в момент работы над образом Бориса Годунова и Досифея Шаляпин рассказывает в автобиографии «Страницы из моей жизни» и во втором автобиографическом произведении «Душа и маска». См.: Федор Иванович Шаляпин: (Сборник). М., 1957. Т. 1. Их встреча относится к 1898 г.

[11] В. О. Ключевский читал курс политической истории вел. кн. Георгию Александровичу в Абастумане (Грузия) с 1 сентября 1893 г. по 1 апреля 1894 г. и с 20 декабря 1894 г. по 1 марта 1895 г.

[12] О защите П. Н. Милюковым диссертации на тему «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII ст. и реформа Петра Великого» (Спб., 1892) см. отзыв В. Н. Сторожева в «Историческом обозрении» (1892. Т. 5. С. 198—215).

[13] П. Н. Милюков, отстраненный от чтения лекций в Московском университете в 1895 г., переехал в Болгарию, где в 1896—1897 гг. был профессором всеобщей истории Софийского университета.

[14] См.: Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Спб., 1897—1901. Ч. 1—3.

[15] Милюков, начавший политическую деятельность в первой половине 90-х гг., с 1902 г. стал сотрудничать в издававшемся за границей журнале буржуазных либералов «Освобождение». В октябре 1905 г. — один из основателей партии конституционных демократов (кадетов), затем председатель ее ЦК и редактор центрального органа — газеты

«Речь». Был членом III и IV Государственных дум. После Февральской буржуазно-демократической революции — министр иностранных дел в первом составе буржуазного Временного правительства; в августе 1917 г. принимал активное участие в подготовке контрреволюционного мятежа Корнилова. После Великой Октябрьской социалистической революции стал одним из организаторов иностранной интервенции против Советской России. С 1920 г.— в эмиграции, где издавал в Париже газету «Последние новости».

[16] См.: Готье Ю. В. А. Н. Савин: (Студенческие воспоминания)// Голос минувшего. 1923. № 2. С. 183—187.

САБАШНИКОВ М. В.
ВОСПОМИНАНИЯ
В университете

Печатается по изд.: Сабашников М. В. Воспоминания. М., 1983. С. 138—151, 160—162.

Автор — САБАШНИКОВ Михаил Васильевич (1871—1943), в 1892—1897 гг. студент физико-математического факультета Московского университета, впоследствии — издатель.

[1] Речь идет о брате М. В. Сабашникова — Сергее Васильевиче Сабашникове (1873—1909), также закончившем физико-математический факультет Московского университета; в 1891 г. основал, вместе с братом, известное издательство «Бр. М. и С. Сабашниковых» по выпуску естественнонаучной и художественной литературы.

[2] Н. П. Боголепов, будучи министром народного просвещения, проводил реакционный курс, направленный на усиление инспекции и подавление студенческих выступлений. Он был одним из авторов «Временных правил» об отдаче студентов в солдаты за участие в студенческом движении. В марте 1900 г. по его распоряжению был временно закрыт Московский университет. 14 февраля 1901 г. на него было совершено покушение исключенным студентом П. В. Карповичем, в результате которого Боголепов скончался 2 марта 1901 г.

[3] Трехтомный труд Д. Н. Зернова «Руководство описательной анатомии человека» (М., 1890—1892) в 1924—1926 гг. вышел в издательстве Сабашниковых 13-м изданием; в нем автор доказал несостоятельность теории Ч. Ломброзо о врожденной преступности.

[4] В издательстве Сабашниковых посмертно вышли две работы Столетова: «Введение в акустику и оптику» (2-е изд. М., 1900) и «Общедоступные лекции и речи Александра Григорьевича Столетова». С портретом и биографическим очерком о нем К. А. Тимирязева (М., 1902).

[5] В. Н. Львов был активным пропагандистом идей Дарвина в России. Так, в его переводе, с изменениями и дополнениями Сабашниковы

выпустили в 1898 г. книгу английского ученого Т. Паркера «Лекции по элементарной биологии». Он был автором пяти выпусков из серии «Первое знакомство с природой» (1902—1913), составленных им по книгам английского популяризатора естественных наук А. Беклея. П. П. Сушкин выступил автором многочисленных трудов по орнитологии, зоогеографии, сравнительной анатомии позвоночных. А. Н. Северцов явился основоположником эволюционной морфологии животных, создателем научной школы. Н. К. Кольцов первым разработал гипотезу молекулярного строения и матричной репродукции хромосом, предвосхитившую главные принципиальные положения современной молекулярной генетики и биологии.

[6] Л. Н. Толстой присутствовал на заседании съезда естествоиспытателей 11 января 1894 г. на докладе В. Я. Цингера «Недоразумения во взглядах на основании геометрии». Об этом см.: Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1891—1910. М., 1960. С. 119.

[7] Отлучение Л. Н. Толстого состоялось в 1901 г. В «Церковных ведомостях» было опубликовано определение синода от 20—22 февраля 1901 г. о том, что «церковь не считает» Толстого «своим членом и не может считать, доколе он не раскается». Одной из причин отлучения послужила резкая критика церковных обрядов в романе «Воскресение».

[8] Московский губернатор, вел. кн. Сергей Александрович был убит 4 февраля 1905 г. бомбой, брошенной эсером И. П. Каляевым.

[9] Памятник К. А. Тимирязеву, работы скульптора С. Д. Меркурова, был установлен в 1922—1923 гг. в соответствии с ленинским планом монументальной пропаганды.

ПИЧЕТА В. И.

ВОСПОМИНАНИЯ О МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1897—1901 гг.)

Печатается по изд.: Славяне в эпоху феодализма: К столетию академика В. И. Пичеты. М., 1978. С. 52—65.

Автор — ПИЧЕТА Владимир Иванович (1878—1947), советский историк-славист, академик.

[1] В. И. Пичета учился в Московском университете в 1897—1901 гг.

[2] Началом к выступлению московских студентов 15—21 февраля 1899 г. послужило столкновение петербургских студентов с полицией 8 февраля того же года. Студенты создали Исполнительный комитет, выпускали прокламации. С 15 февраля начались аресты и высылки студентов из Москвы. Развитие событий привело к тому, что по распоряжению министра народного просвещения Н. П. Боголепова университет закрывался до 22 марта, т. е. до периода экзаменов. Подобной такти-

кой он рассчитывал дезорганизовать студенческое движение. Однако исполнительный комитет постановил продолжать забастовку и после 22 марта.

[3] См.: Любавский М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. С приложением текста хартий, выданных великому княжеству Литовскому и его областям. М., 1910.

[4] См.: Любавский М. К. История западных славян (Польша и Чехия): По запискам слушателей. М., 1911 (литограф. изд.). Вып. 1—2.

[5] См.: Любавский М. К. Историческая география России в связи с колонизацией: Курс, читанный в Московском университете в 1908—9 акад. году. М., 1909 (литограф. изд.).

[6] См.: Кизеветтер А. А. История России XIX века: Курс, читанный в Московском университете в 1908—1909 акад. году: Издание для слушателей. М., 1909 (литограф. изд.). Ч. 1.

[7] См.: Рожков Н. А. Обзор русской истории с социологической точки зрения. Спб., 1903—1905. Ч. 1—2; Он же. История крепостного права в России. Ростов н/Д, [1905].

[8] См.: Богословский М. М. Областная реформа Петра Великого: Провинция 1719—27 гг. М., 1902.

[9] Впоследствии, уже после смерти Богословского, под редакцией проф. В. И. Лебедева, вышел его основной труд по данной теме: Петр I. Материалы для биографии. М., 1940—1948. Т. 1—5, доведенный до событий 1700 г., предшествовавших Северной войне.

[10] Речь, по-видимому, может идти о следующих работах М. В. Довнар-Запольского: «Тайное общество декабристов» (Киев, 1906), «Мемуары декабристов» (Киев, 1906) и «Идеалы декабристов» (Киев, 1907).

[11] Впоследствии М. В. Довнар-Запольским была издана книга на эту тему: «История русского народного хозяйства» (Киев, Т. 1, 1911).

[12] М. В. Довнар-Запольскому В. И. Пичета посвятил статью в «Энциклопедическом словаре Гранат» (т. 18, стлб. 515).

[13] См.: Герье В. И. История Рима..., читанная в 1901—1902 ак. г. М., 1901; Он же. История римского народа: Лекции... [Б. м. и г. изд.] (литограф. изд.); Он же. Лекции по римской истории..., читанные на 1 и 2 курсах историко-филологического факультета в 1895—96 году. М., 1895; Он же. Лекции по римской истории... читанные в 1903-4 учебном году. М., 1904.

[14] Курс лекций В. И. Герье по новой истории (литограф. и типограф. изд.) начал публиковаться с 1877 г. и выдержал в итоге девять изданий, последнее изд.— [1901 г.].

[15] Эта тема нашла отражение в книге В. И. Герье «Идея народовластия и Французская революция 1789 года» (М., 1904).

[16] Курс П. Г. Виноградова «История Греции» выдержал шесть изданий: 1-е — М., 1883; последнее — М. [1901].

[17] Курс П. Г. Виноградова «История средних веков» выдержал также шесть изданий: 1-е — М., 1882; последнее — М., 1901.

[18] См.: Fustel de Coulanges N.-D. La cité antique. P., 1864.

[19] *«Дейпнософисты»* («Пирующие софисты») — сочинение Афинея, греческого грамматика и софиста (нач. III в. н. э.), содержащее выписки из многочисленных утраченных сочинений греческих авторов на моральные, эстетические и научные темы.

[20] «Афинская Полития» Аристотеля была обнаружена лишь в 1890 г. На русский язык переведена в 1937 г. Анализ этого политического сочинения в России впервые был дан в работе В. П. Бузескула «Афинская Полития Аристотеля как источник для истории государственного строя Афин до конца V в.» (Харьков, 1895).

[21] См.: Книга для чтения по истории средних веков. Сост. кружком преподавателей под ред. проф. П. Г. Виноградова. М., 1896—1899. Вып. 1—4; последнее, шестое изд.— М., 1913. Вып. 1.

[22] См.: Виноградов П. Г. Учебник всеобщей истории: Средние века. М., 1893. Ч. 2; 12-е изд.— М., 1913—1915; 13-е изд.— Древний мир. М., 1917. Ч. 1.

[23] См.: Корелин М. С. Ранний итальянский гуманизм и его историография. 1892. Т. 1—4; 2-е изд.— М., 1914.

[24] См.: Виппер Р. Ю. Церковь и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма. Влияние Кальвина и кальвинизма на политические учения и движения XVI века. М., 1894.

[25] См.: Виппер Р. Ю. Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX в. в связи с общественным движением на Западе. Спб., 1900.

[26] Курс лекций С. Ф. Фортунатова по истории Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки был издан (литограф. изд.) во время первой мировой войны.

[27] См.: Веселовский А. Н. История западноевропейских литератур: Курс лекций, читанных на историко-филологическом факультете имп. Московского университета в 1896-97 акад. г. М., 1896.

[28] Курс лекций А. И. Чупрова, издавался неоднократно под различными названиями: «История политической экономии», «Очерк истории политической экономии» — и выдержал ряд изданий.

[29] См.: Самоквасов Д. Я. Исследования по истории русского права. М., 1896. Вып. 1—2; Он же. История русского права. Варшава, 1878—1884. Т. 1—2; то же — [б. м. изд.], 1909.

[30] См.: Мрочек-Дроздовский П. Н. Памятник русского

права времени местных законов: (Пособие к слушанию лекций и к практическим занятиям). М., 1901.

[31] См.: Числов П. И. Курс истории русского права. М., 1914. Кн. 1; то же. М., 1915. Вып. 1—3.

[32] См.: Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Киев, 1886. Вып. 1—2; 7-е изд.— Киев, 1915.

[33] См.: Сергеевич В. И. Русские юридические древности. Спб., 1890—1903. Т. 1—3.

[34] Об этом см.: Пичета В. И. Диспут А. И. Яковлева//Исторические известия. 1917. № 1. С. 208—213 [о защите магистерской диссертации «Засечная черта Московского государства в XVII веке». М., 1916]; Он же. Диспут Ю. В. Готье//Голос минувшего. 1913. № 6. С. 293—297. Без подп. [о защите докторской диссертации «История областного управления в России от Петра I до Екатерины II». Т. 1. М., 1913].

[35] См.: Туган-Барановский М. И. Русская фабрика в прошлом и настоящем: Историко-экономическое исследование. Спб., 1898.

[36] См.: Мякотин В. А. Перлы ученой полемики: (Запоздалый ответ г. Туган-Барановскому)//Русское богатство. 1899. № 5. С. 58—69. Это выступление Мякотина было оставлено без ответа. Туган-Барановский ответил на первое выступление Мякотина «Попытка общей истории русской фабрики» (Русское богатство. 1899. № 1. С. 1—30; № 2. С. 1—22) статьей «Споры о фабрике и капитализме (Моим критикам)» (Начало. 1899. № 1—2. С. 22—52).

[37] Тема магистерской диссертации Н. А. Котляревского нашла свое отражение в его книге «Мировая скорбь в конце XVIII и в начале XIX в.» (Спб., 1898; 3-е изд.— 1914).

[38] См.: Трубецкой С. Н. Учение о логосе в его истории. М., 1900. Т. 1. *Логос* (непереводимое) обозначает такое единство мышления и языка, которое доходит до их полного тождества. В связи со стоическо-платонической концепцией эманации (истечения, исхождения) Филон учил о логосе как о самом высоком и совершенном творении бога.

[39] См.: Рожков Н. А. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке. М., 1899.

[40] См.: Отчет о сорок четвертом присуждении наград гр. Уварова// Записки Академии наук по историко-филологическому отделению. Спб., 1904. Т. 6. № 7; перепеч.: Ключевский В. О. Соч. М., 1959. Т. 8. С. 368—389.

[41] О диспуте см.: Исторический вестник. 1900. № 7. С. 346—347.

[42] См.: Любавский М. К. Литовско-русский сейм: Опыт по истории учреждений в связи с внутренним строем и внешнею жизнью государства. М., 1901.

[43] См.: Довнар-Запольский М. В. Спорные вопросы в истории Литовско-русского сейма//Журн. м-ва нар. просв. 1901. № 10. С. 454—498. Эта позиция была поддержана историком Н. А. Максимейко в его книге «Сеймы Литовско-русского государства до Люблинской унии 1569 года» (Харьков, 1902). Любавский, полемизируя с данными исследователями, ответил статьей «Новые труды по истории Литовско-русского сейма» (Журн. м-ва нар. просв. 1903. № 2. С. 379—393; № 3. С. 121—167).

[44] О диспуте М. К. Любавского см.: Исторический вестник. 1901. № 7. С. 360—361.

КЛЮЧЕВСКИЙ В. О.

НАБРОСОК РЕЧИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 150-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

[*До 12 января 1905 г.*]

Печатается по изд.: Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 196—197.

12 января 1905 г. под влиянием Кровавого воскресенья 9 января и последующих событий нараставшей первой русской революции Ключевский вместо публикуемого варианта речи произнес нашумевшую в свое время речь с предсказанием гибели династии Романовых («Николай II — последний царь. Алексей царствовать не будет»). Об этом подробнее см.: Нечкина М. В. В. О. Ключевский: История жизни и творчества. С. 456; Киреева Р. А. В. О. Ключевский как историк русской исторической науки. М., 1966. С. 220—221.

РАДЦИГ С. И.

СТРАНИЦЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается с незначительными сокращениями по изд.: Советское студенчество. 1938. № 10. С. 56—57.

Автор — РАДЦИГ Сергей Иванович (1882—1968), филолог-классик, профессор Московского государственного университета.

[1] См.: Под знаменем науки: Юбилейный сборник в честь Николая Ивановича Стороженка, изданный его учениками и почитателями. М., 1902.

[2] См.: Стороженко Н. И. Вольнодумец в эпоху Возрождения. [Типограф и издатель Этьен Доле]. М., 1897.

[3] В декабре 1901 г. П. Г. Виноградов в результате конфликта с министром народного просвещения Ванновским подал в отставку и вскоре уехал в Англию. В 1908 г. он вернулся в Московский университет, но в 1911 г. вновь подал в отставку вместе с другими профессорами в знак протеста против политики министра просвещения Кассо.

ДРУЖИНИН Н. М.
ВОСПОМИНАНИЯ И МЫСЛИ ИСТОРИКА

Печатается по изд.: Дружинин Н. М. Воспоминания и мысли историка. 2-е изд, доп. М., 1978. С. 9—27.

Автор — ДРУЖИНИН Николай Михайлович (1886—1986), выдающийся советский историк, академик, профессор исторического факультета Московского университета, лауреат Государственной премии СССР (1947 г.) и Ленинской премии (1980 г.).

[1] Устав 1884 г. фактически покончил с университетской автономией, существовавшей с 1863 г. Несмотря на протесты профессуры и студентов, университеты были отданы под контроль министерства народного просвещения.

[2] Сражение под Ляояном состоялось 11—21 августа 1904 г. Генерал Куропаткин, не сумевший использовать благоприятную обстановку, сложившуюся в ходе боев, отошел от Ляояна, потеряв свыше 16 тыс. человек (потери японцев около 24 тыс.).

[3] Осенью 1904 г. правительство, стараясь привлечь буржуазию на свою сторону, разрешило земству и буржуазии устраивать совещания и банкеты. Итогом этой кампании был общеземский съезд (6—9 ноября), на котором была принята умеренная программа политических реформ русской буржуазии.

[4] Стачка началась 13 декабря 1904 г., и уже 18 декабря бастовало большинство предприятий Баку. Размах стачечной борьбы привел к тому, что 30 декабря предприниматели вынуждены были пойти на ряд уступок: 9-часовой рабочий день, увеличение заработной платы, улучшение условий быта и труда и т. д.

[5] В рассказе Л. Н. Андреева «Красный смех» (1904) обличаются ужасы войны.

[6] Под таким названием выходили две большевистские газеты. В данном случае речь идет о газете, выходившей под редакцией В. И. Ленина в Петербурге с 26 мая (8 июня) 1906 г. вместо газеты «Волна»; вышло 17 номеров. На ее страницах было опубликовано несколько статей. В. И. Ленина. 14(27) июля газета была закрыта.

[7] Стачка началась 6 октября 1905 г. по призыву Московского комитета РСДРП, и уже к 17 октября была прекращена работа на всех железных дорогах страны, что «самым решительным образом парализовало силу правительства» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 321). Поддержанная трудящимися всех центров, она вынудила царизм пойти на уступки, и 17 октября был опубликован манифест, «даровавший» народу «свободы».

[8] Решение о начале вооруженного выступления было принято пленумом Московского Совета 6 декабря 1905 г. Москва была охвачена восстанием с 7 по 19 декабря.

[9] IV (Объединительный) съезд РСДРП состоялся в Стокгольме 10—25 апреля (23 апреля — 8 мая) 1906 г.

[10] Под влиянием революции правительство было вынуждено издать 27 августа 1905 г. «Временные правила», согласно которым университету предоставлялась «автономия» — право выбора ректора, его помощников и деканов. В то же время правительство оставляло за собой утверждение избранных должностных лиц, что в значительной степени сводило на нет и без того куцую автономию. Кроме того, за студентами признавалось право собраний. Однако продолжал существовать институт инспекторов — педелей. После поражения революции данные правила были вовсе отменены и устав вернулся к образцу 1884 г.

[11] Э. Давид в 1894 г. выступил приверженцем охраны крестьянского хозяйства, что и нашло свое отражение в проекте программы. Бреславский съезд 1895 г. отверг эту программу как обещавшую крестьянству упрочение его частной собственности, признав в то же время, что сельское хозяйство имеет особые законы развития, отличные от развития индустрии. К. Каутский в работе «Социализм и сельское хозяйство» (русск. изд.— 1906 г.) стремился доказать исходность положения ревизионизма, что марксистское учение неприменимо к сельскому хозяйству.

[12] См.: Oncken A. Adam Smith in der Kueturgeschichte. Bern, 1902. Bd. 1.

[13] О М. М. Чемоданове см. воспоминания Н. М. Дружинина, опубликованные в журнале «Коммунист» (1982. № 1. С. 63—66) и в книге «Из истории Европы в новое и новейшее время. К 100-летию со дня рождения академика И. М. Майского». (М., 1984. С. 128—133).

[14] А. А. Боровой был сторонником индивидуалистическо-синдикалистского направления. См. его работы: «Общественные идеалы современного человека» (М., 1906) и «Революционное миросозерцание» (М., 1907).

[15] См.: Ланге Н. И. Исследование об уголовном праве Русской Правды. [Спб.], 1860, (*ценз.*).

[16] Впоследствии эти темы легли в основу двух исследований Н. М. Дружинина: «Декабрист Никита Муравьев» (М.: Издательство Политкаторжан, 1933) и «Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева» (М.; Л., 1946—1958. Т. 1—2), за которое автор в 1947 г. был удостоен Государственной премии СССР.

[17] Под редакцией А. Олара, видного историка Великой французской революции, выходило многотомное издание «Recueil des actes du Comité de salut public...» (P. 1889—1933. T. 1—27); на русс.

яз.— «Французская революция в провинции и на фронте (Донесения комиссаров Конвента)» (М.; Л., 1924).

[18] Жореф Жан, видный деятель французского и международного социалистического движения, активно выступавший против войны и милитаризации, был убит 31 июля 1914 г. французским шовинистом Р. Вилленом.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

---

* См. комм., с. 627

---

* См комм., с. 623

* См. комм., с. 639

* См. комм., с. 643

---

* См. комм., с. 648

---

* См. комм., с. 634.
** См. комм., с. 633...

* См. комм., с. 633

* См. комм., с. 628

---

* См. комм., с. 632

** См. комм., с. 673

* См. комм., с. 680

* См. комм., с. 618

* См. комм., с. 670

* См. комм., с. 659

---

* См. комм., с. 636

** См. комм., с. 663

* См. комм., с. *617*

* См. комм., с. 622

---

* См. комм., с. 621

---

* См. комм. с. 676
** См. комм. с. 638

---

* См. комм., с. 623

** См. комм., с. 657

* См. комм., с. 680

* См. комм., с. 671

---

* См. комм., с. 620

---

* См. комм., с. 642

* См. комм., с. 640

См. комм., с. 670

** См. комм., с. 662

*** См. комм., с. 620

См. комм., с. 616

---

* См. комм., с. 636

* См. комм., с. 618

---

* См. комм., с. 657

** См. комм., с. 654

* См. комм., с. 650

* См. комм., с. 672

СОДЕРЖАНИЕ

**Московский университет
в воспоминаниях современников
(1755 — 1917)**

Редактор *Л. Исаева*
Художник *В. Сергеев*
Художественный редактор *А. Никулин*
Технический редактор *Е. Васильева*
Корректоры *В. Лыкова, Т. Воротникова*

ИБ № 5500
Сдано в набор 24.02.88. Подписано к печати 22.11.88. А10143. Формат 84x108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 38,64. Усл. краск.-отт. 38,64, Уч.-изд. л. 43,92. Тираж 100 000 экз. Заказ 858. Цена 2 р. 70 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30